МАРИЭТТА
ШАГИНЯН

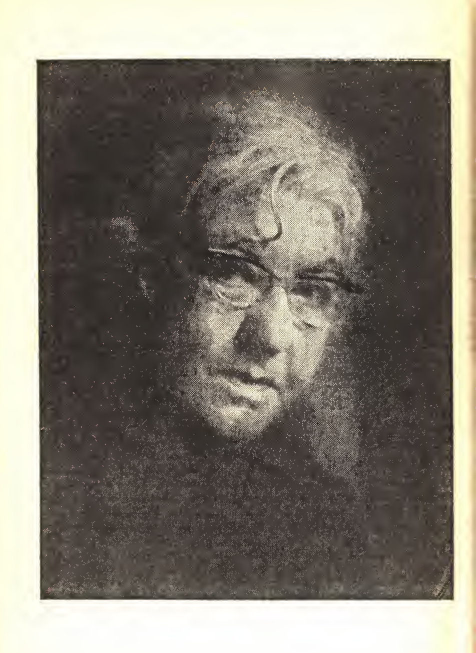
ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ

ЕМЯ • ЧЕЛОВЕК
ВРЕМЯ • ЧЕЛО
К И ВРЕМЯ • Ч
ЕМЯ • ЧЕЛОВЕК
ВРЕМЯ • ЧЕЛО
К И ВРЕМЯ • Ч
ЕМЯ • ЧЕЛОВЕК
ВРЕМЯ • ЧЕЛО
К И ВРЕМЯ • Ч
ЕМЯ • ЧЕЛОВЕК
ВРЕМЯ • ЧЕЛО
К И ВРЕМЯ • Ч

И ВРЕМЯ • ЧЕ
ВЕК И ВРЕМЯ •
ЛОВЕК И ВРЕ
И ВРЕМЯ • ЧЕ
ВЕК И ВРЕМЯ •
ЛОВЕК И ВРЕ
И ВРЕМЯ • ЧЕ
ВЕК И ВРЕМЯ •
ЛОВЕК И ВРЕ
И ВРЕМЯ • ЧЕ
ВЕК И ВРЕМЯ •
ЛОВЕК И ВРЕ

ПОСВЯЩАЮ ЭТУ КНИГУ ДЕТЯМ МОИМ — ДОЧЕРИ МИРЭЛИ, ВНУЧКЕ ЛЕНОЧКЕ, ВНУКУ СЕРЕЖЕ, ПРАВНУКУ СЛАВИКУ

Мариэтта Шагинян
ноябрь 1978 года



МАРИЭТТА ШАГИНЯН

ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ

История человеческого становления

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1982

Р2
Ш15

В 1978 году известная советская писательница Мариэтта Сергеевна Шагинян отметила свое 90-летие. Современница трех революций и становления Советской власти, за свою долгую жизнь встречавшаяся со многими известными и интереснейшими людьми XX века как на родине, так и за границей, написавшая много произведений, полюбившихся советскому и зарубежному читателю, постоянно стремящаяся быть в гуще жизни, в этой своей книге, имеющей подзаголовок „История человеческого становления", Мариэтта Сергеевна рассказывает о своей жизни, о ближайшем своем окружении, о встречах, о тех условиях, в которых происходило ее становление как человека и как писателя.

Художник Максимилиан ШЛОСБЕРГ

Ш $\frac{70302-388}{083(02)-82}$ 142—82.   4702010200

...Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему...

А. Пушкин
19 октября (1825)

Вместо предисловия

Меня долго останавливали два стиха Пушкина, поставленные здесь эпиграфом. Казалось бы — старея и хладея с течением времени, движешься к своему концу. Такова логика человеческой жизни, и не только человеческой. Но поэт написал не к концу, а «к началу своему». Что это значит? И много, много раз за десятки лет своей сознательной жизни, вспоминая эти загадочные строки, я наталкивалась на другое что-то, им подобное,— на схожее странным сходством с ними, уводящее мысль в сторону от логики, к смутному, вот-вот близкому решению... То вдруг у Рабиндраната Тагора старуха называет свою дочь «мамочкой» — может быть, обычная в Индии форма выражения родственной нежности? А все-таки — дочь для матери, порождение матери, вдруг сама становится для нее, для родившей ее,— «матерью», да еще в детской, уменьшительной форме слова. И даже если это — обычное выражение чувств, как странно и необычно перевернуто возникновение такого чувства в старой матери!

А потом — на долгие годы — остановила и врезалась в память — опять же непостижимая — мысль Гегеля в его предисловии к «Феноменологии духа», этой страничке человеческого размышленья, мудрейшего во всей мировой философии. Говоря о рождении ребенка из материнского чрева, где он еще пребывал как частица природы,— с помощью качественного прыжка из этого состоянья в начало отдельного существованья, в возникновение индивидуальности,— Гегель пишет: «В то время, как с одной стороны первое явление нового мира представляется пока сознанию, как целое или его всеобщее основание, еще закутанное в оболочку своей простоты (своего единства),— то, наоборот, все богатство его прежнего бытия еще наличествует для него в воспоминании» [1].

[1] «Indem einerseits die erste Erscheinung der neuen Welt nur erst das in seine Einfachheit verhüllte Ganze oder sein allgemeiner Grund ist, so ist dem Bewußtsein dagegen der Reichtum des vorhergehenden Daseins noch in der Erinnerung gegenwärtig». «System der Wissenschaft» von Georg Wilhelm Fr. Hegel. Erster Theil: «Die Phänomenologie des Geistes». 1807. Vorrede. S. 16.

Здесь и далее примечания автора.

Налнчествует в воспомннанни младенца, еще не умеющего сфокусировать оба своих глаза, не произносящего ни единого слова, кроме разве «агу»! Потому лн, что ои еще храиит в себе нечто от куска общей, не иидивидуальиой природы? И стремлеиие отпочковаться, отделнться от нее ие обрело еще в нем полиой силы? Атомы, из которых мы слагаемся, ведь оии те же, что миллиарды лет назад. Материя ие знает смерти... А память — ие присуща ли каждой частичке матерни, не живет ли оиа в каждой клетке человеческого организма?

Страииые все это мыслн. Но повторяю — оии наматывались иа мою собствеииую лнчиую память, как травиики на колеса, в долгом пути самосозиания,— и я с иитересом прочла совсем недавио у философа ультрасовремениого, Артура Фаллико, о том, что: «Ребеиок коиститутивио входит в строеиие взрослого человека, причем таким способом, что он остается действующим н производящим в самой основе активиости взрослого человека»[2]. Мие это представляется нной раз как виутрениий диалектизм виелнчного сознания природы (оиа выражает его в тех действиях, которые мы называем «законами природы») — и личиого, иидивидуального сознання человека, возиикающего с его становлением и умирающего с его смертью...

Но как бы то нн было, сколько нн рассуждай,— в каждом нз нас, когда мы былн детьми, скрыто очеиь миого тайи н заложеи ключ к постижеиию нашей зрелости. И нельзя в конце жизни пнсать воспоминаиия, ие близясь, по Пушкииу, «к иачалу своему», не пытаясь по-новому войтн в стнхию своего детства. А это очеиь трудно. И ие всегда это читателю интересно. А между тем, дорогой чнтатель, это важио, необходимо и это захватывающе ннтересио для самого пишущего. Я прочитала недавно в «Антимемуарах» Андре Мальро, что он сознательио отказывается пнсать о своем детстве, ибо оно чуждо ему и ненитересно,— может быть, потому и появилось в заглавин его книгн это модиое нынче словечко «анти». Запад отрекается, отшатывается от «иачала своего», ои ие хочет зиать преемствениостн и великой, ведущей силы жизни, имеиуемой Времеием (с большой буквы),— даже в воспомииаиях. Но у нас эта сила жизни проступает, как связующее дыхаиие, во всем, что мы сейчас создаем, и оиа животворнт наш взгляд иа прошедшее. Вот с этим жнвым, направляющим иесеиием времеии в себе, Временн с большой буквы, хочется мне приступить к своим собствеииым воспомииаиям.

---

[2] Fallico A. Art and eistentialism. Englewood Clffs. Prentice-Hall. 1962. Цитирую по сборнику рефератов, выпуск № 1, с 63, Академия наук СССР.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Младенчество

В младенчестве моем она меня любила...
А. Пушкин. Муза

1

Что пробивается сквозь внутренний мир младенца как первое впечатление от внешнего мира? Свет? Звук? Прикосновение? Мать — это еще связь с прошлым, природа. С нею — он все еще внутри. Но вот смена света и тьмы, краски, движение линий, вторжение звуков — то, что уводит из прошлого, отделяет от внутренней связи с природой и надвигает природу извне. Рождается чувство длительности, целое протягивается, наступает Время. Первое ясное впечатление от бытия, набегающего извне, как волны на прибрежье,— это о щ у щ е н и е в р е м е н и. И время очень медленно, почти устойчиво, почти неподвижно — изменения в нем подобны геологическим. Счастливейшее переживанье раннего детства — это медленность времени, протяженность в нем, не ведающая конца; это скупое, как счет без подведения итогов, сложение без суммы, движенье в бесконечность. Оно будет длиться почти пятилетие; и лето — тянуться, и зима — тянуться, и день — тянуться, долгое пребывание в них — вот что всегда запоминается человеком, когда он думает о себе ребенком.

Первое чувство времени, связанное со светом и звуком, пришло ко мне от окна утром, с шелестом поднимаемой шторы. В те годы — восьмидесятые прошлого века — были обычны белые, как кипень, шторы, собиравшиеся на шнуре, когда его тянули книзу, пышными круглыми пуфами, подобными складчатым круглым шарам, налезавшим друг на друга у верхнего края окна. Они собирались не сразу, а сборчато, постепенно, открывая сизое раннее утро, еще не совсем светлое. Окно глядело на улицу. От него сквозь шторы давно ходили по стене тени, начинались с одного конца стены, ползли бесшумно, загадочно на другой конец и — скатывались одна за другой,— это шло отражение ранних пешеходов. Звуков не доносилось, стены в старину ставились глухие, толстые, как в монастыре. Звук порождало шлепанье — шлеп, шлеп,— это няня шла к окну поднимать снежные сугробики штор, стягивая их под потолок друг на друга, и шторы издавали густой шелест, слегка со свистом. Тени, уходившие вдоль стены с одного конца на другой, и эти белые сугробы штор, наползавшие, сжимаясь, друг на друга,— было самым ранним моим ощущением внешнего мира, в возрасте около двух лет.

Точно знаю возраст, потому что именно в эти дни появилась рядом с моею еще одна беленькая, с высокими деревянными стенками, обтянутыми простыней, детская кроватка, а в ней живая кукла, моя младшая сестра. Появилась она спустя год девять месяцев и девять дней после моего рожденья. А родилась я, судя по записи в метрике, 21 марта 1888 года. Три восьмерки подряд сделали эту дату легко запоминаемой. Легко бросается она в глаза и сейчас, особенно пограничникам при первом взгляде на паспорт. «Бабуся, и что вы всё ездите? Пора бы костям отдых дать!» — сказал мне один совсем недавно.

Тогда, в самом начале пути, я еще не предчувствовала, каким большим путешествием будет моя жизнь. Тогда я смотрела, вероятно, в бесконечную длину пройденного человечеством, а может быть, просто несла его в себе, как некую тяжесть. И тогда я еще не знала, каким величайшим, единственным счастьем станет для меня кроватка рядом, существо, сразу, с первым проблеском сознания сроднившее меня со словом «ты», как бы дублировавшее для меня бытие. Мы с сестрой сделались для няни, для семьи, для гостей и ребят во дворе неразрывной двоицей Мариэтта — Лина, Лина — Мариэтта,— мать читала французский роман, и отсюда имя Мариэтта, в метрике Марианна, которой я, впрочем, никогда в жизни не называлась. А Магдалина пришла, вероятно, по евангельской ассоциации.

Если смотреть прозаически, то происходило все это — с окном и шторами — в Москве белокаменной: в Салтыковском переулке, сейчас переименованном; в доме Лапина, сейчас потерявшем имя и получившем номер; в обыкновенной армянской семье врача, жившей, как сотни тогдашних семей русской интеллигенции. Но мы начали перебирать четки с Пушкина,— а потому ушли от прозы; и мы живем в век победоносной биологии, соперничающей в университетах с физикой,— а потому нельзя обойтись без «генов». До чего узко понимаются учеными эти самые «гены», как если бы генеалогия каждого из нас начиналась с «бабушек и дедушек», а не с Адама и Евы! Но выпустим на минуту бесконечные бусинки четок, перебираемых на нитке времени по кругу безначалия, и возьмемся хотя бы за бабушек и дедушек.

Армянская семья врача была не только частью московской интеллигенции. Она была частью московской армянской колонии. Вероятно, это каким-то образом ощущалось с детства,— я не помню. Но перед тем, как засесть за свою повесть о себе, я прочитала с огромным интересом все, что относится к армянским колониям на Руси, и особенно прекрасную книгу Саломэ Арешян, названную очень узко «Армянская печать и царская цензура» [1], а на самом деле охватывающую до самых корней армяно-русские отношения и куда более богатую умом и содержанием, чем иные пухло-пустопорожние двухтомные компиляции на эту тему. И на меня

[1] С. Г. Арешян. Армянская печать и царская цензура. Ереван, Изд-во АН Армянской ССР, 1957. Институт литературы им. М. Абегяна. Академия наук Армянской ССР.

нахлынули «гены» тысячевекового бродяжничества армян по лицу нашей земли, постоянного снятия с этой земли всем домом и скарбом, заселения новых земель, их любовного обхаживания, их покрытия садами и — снова снятия, передвиженья, борьбы. Борьбы — за пределами границ семьи, околотка, группы, народа, и борьбы — в пределах семьи, околотка, группы, народа; нечто, кишащее вечной деятельностью, как муравейник,— с вечной стабильностью мечты о родине, звездой освещающей путь вечных передвижений. Я очутилась в царстве «генов», разноголосица которых забила мне уши, как морской шум забивает раковину. Я ответвилась от этого народа, поросла его веточкой — и мне стало жизненно важно разобраться в судьбах армянского народа, осевшего колониями на русской земле.

Отправными точками в этом разборе стали два семейных рода: матери, Пепронэ Яковлевны Хлытчиевой, из армянской колонии в Нахичевани-на-Дону, и отца, Сергея (Саркиса) Давыдовича Шагинянца, из армянской колонии в Григориополе на Днестре. Но сперва — что же это такое, колония в самом теле чужого государства, как вкрапленный в тело инородный предмет? Что это такое, когда вовсе не могучее государство колонизует где-то за морями-океанами чужие материки, населенные чужими народами, и создает политико-экономическое явление, именуемое «колониализмом»,— а, наоборот, маленькая группа иноплеменных «колонизует» кусочки земли в огромном теле могучего государства, обжимая эти кусочки там и сям, по разным местам территории, коллективно застраивая и культивируя их?

2

Оказывается, разница тут огромная.

Могучие государства, колонизуя далекие отсталые страны, используют их о т с т а л о с т ь. Но те же могучие государства, приглашая к себе селиться группы иноземцев, используют их к у л ь т у р н ы е н а в ы к и, их у м е н и е. В первом случае государству-колонизатору выгодны отсталость колонизуемых стран, дешевые рабочие руки; оно дает этим странам лишь такие зачатки цивилизации, которые помогают добывать и вывозить природные богатства колоний. Но во втором случае картина совсем иная: на пустынную территорию приглашаются государством группы иноземцев, приглашаются с поклоном, с посулами — дать денежную помощь, дать привилегии — свободу от налогов, от набора в солдаты, свое городское управление, свое судопроизводство и школы на родном языке — только вселяйтесь, милости просим. Почему? Потому что вас приглашают как умелые руки — стройте дома, города, разбивайте сады, культивируйте землю, налаживайте торговлю и торговые связи, насаждайте ремесло, какому сведущи,— топите сало, тяните кожу, отливайте свечи, разводите шелкопрядов, ткните шелк... И приглашенные на пустые земли строят, создают, налаживают, торгуют, становятся в некотором смысле «цивилизаторами».

В истории России такой способ заселять и поднимать завоеванные земли встречается часто. Школьные учебники конца прошлого века с первых страниц приучали нас к легенде о призыве варягов «княжити» — «земля наша велика и обильна»... Петр Первый, нуждаясь в умелых руках, заселял целые слободы немцами, и немецкий фольклор, точней русско-немецкая ироническая фольклористика в пословицах, поговорках, забавных прибаутках, до сих пор бытует кой-где на Руси. Екатерина Вторая, присоединив Крым и придунайские земли, также остро нуждалась в их заселении. Да и не только их — голыми лежали места вдоль «тихого Дона», нужду в организованных поселениях испытывали Кавказ, Астрахань, пригороды столиц и больших городов. Купец — опытный, знающий торговые пути и рынки, понимающий, как торговать, разбирающийся в восточных и западных товарах, сметливый в разговорных языках десятка народов,— был нужен как ценный специалист. И царица усиленно приглашала из Измаила в Россию греков, болгар, армян; греки, болгары, армяне — правда, с опаской и не сразу, не очень охотно снимаясь сотнями с насиженных в Измаиле мест,— караванами двигались заселять Юг России. Армянские колонии построили города Новый Нахичевань и Григориополь, они участвовали в застройке Феодосии, Армавира, Кизляра, они строились и оседали в Астрахани, Петербурге, Москве... Впрочем, судя по архивным данным в книге Арешян, первая колония их образовалась еще в XI веке в Киеве и одна из древнейших в Москве — в Китай-городе.

Я пишу «с опаской и не сразу». Нужно добавить — и со всяческими поставленными «условиями» для переселенья. Вот, например, «первая петиция» армян, приглашаемых построить Григориополь, отправленная через Зубова Екатерине Второй. В ней целых тринадцать пунктов о получении «прав» и среди них: *право постройки* «из собственного их иждивения купеческих *мореходных судов*, в разведении нужных и полезных *фабрик, заводов* и *фруктовых садов*, в делании виноградных вин и свободной продажи... Словом, распространения всякого звания *промыслов* по *собственной* каждого *воле* и *достатку* их»[2].

Составлено это, как говорят источники, не позже 1791 года. А вот как отвечает Екатерина Вторая в самом начале 1792 года на эти «просьбы» армян,— она пишет екатеринославскому губернатору В. В. Коховскому, которому поручены переселенцы-армяне из Измаила:

«...Покойный князь Григорий Александрович Потемкин Таврический назначил быть городу армянскому под именем Григориополь у самого Днестра, между долин Черной и Черницы, включая

---

[2] Из архивных документов ЦГИА СССР, ф. 880, оп. 5, д. 378, лл. 12—18, приведенных в книге Ж. А. Ананяна «Армянская колония Григориополь». Ереван, Изд-во АН Армянской ССР, 1969. Институт истории. Академия наук Армянской ССР. Выделено всюду мною.

и обе оныя в городской выгон. Мы, утверждая сие назначение, повелеваем. Первое: отвесть помянутую округу, между долин Черной и Черницы лежащую, со вмещением обеих оных под город армянский, который и именовать Григориополь. Второе: зделать план сему городу и, расположа оный сообразно роду жизни и упражнению трудолюбивого сего народа, представить его нам. Третье: между тем преподавать армянам все зависящия от вас спомоществования к водворению их тамо, произвождению ремесел и открытию фабрик, которыя они завесть намерены»[3].

Я не зря подчеркнула в петиции армян слова, связанные с «постройкой», с «разведением», вообще — с деятельностью «по собственной каждого воле»,— это ведь тяга к оседлости и независимости у народа, история которого полна скитаний и зависимости. Но в них отражено и еще кое-что. Непоседами армяне сделались не только от нашествия сельджуков в XI веке и постоянного давления на них «чужих идеологий» — ислама, персидских разновидностей магометанства, язычества, римлян, арабов, всего и всех, кто мечом и огнем проходил по их пажитям, заливая Араратскую долину кровью,— но и от древнейшей их способности, поощряющей непоседливость, от умения быть м а с т е р а м и, умения с т р о и т ь. Строительная, как и пастушья, профессия связана с вечным передвижением. Переходишь с места на место за стадом, ища свежие пастбища. И переходишь с места на место в поисках работы, держа за пазухой рабочий мастерок, это грубое подобие стеки, тонкого орудия скульптора. Так некогда веселый немецкий портняжка, прадед Гёте, вступил в ворота города Франкфурта-на-Майне с ножницами за поясом. Так древний армянин со своим мастерком, по книге профессора Стржиговского, дошел даже до Кёльна — он участвовал в постройке Кёльнского собора.

Книга профессора Стржиговского[4] сейчас большая редкость. Называется она «Строительное искусство армян и Европа», издана больше полувека назад в Вене на немецком языке и переведена никогда не была. Для нашего читателя в ней очень много интересного, даже не только об архитектуре. Огромное значение, какое придает Стржиговский закавказской культурной магистрали в развитии человечества, перекликается с чисто советской теорией, выдвинутой грузинскими учеными,— о раннем Ренессансе в Закавказье. Коротко расскажу, что пишет Стржиговский о строительном таланте армян.

В древней Армении каменщики имели свою корпорацию и еще в VII веке назывались «мастерами камня», о чем есть свидетельство у историка Себеоса. «Еще во времена переселения народов...

---

[3] Оригинал находится в ЦГАДА, ф. 16, д. 696, ч. II, лл. 92—93. Привожу по книге Ананяна, с. 51.

[4] Joseph Strzygowsky. Die Baukunst der Armenier und Europa. Wien, 1918. Два тома. Первый том посвящен анализу памятников и материала армянских построек и древнему строительному методу армян. Второй том говорит о сущности армянского зодчества и его проникновении в Европу. Книге предпослано очень интересное предисловие. Цитаты приведены мною со страниц 1-го тома — 206 и 5.

армяне считались в странах Средиземного моря лучшими каменщиками, подобно тому, как после них — такими же мастерами явились для Германии, Франции и Англии — ломбардцы»; «особенность строительства купола на квадрате как господствующей опоре (Baumitte) распространилась на Средиземное море и Европу — из Армении»; «...от армян купольный свод завоевал Европу»; «армяне еще по сегодня на всем Востоке славятся как мастера делать свод»... Еще по сегодня! Я выбираю эти цитаты из множества других таких же. Но при всех этих высоких хвалах армянскому зодчеству и его явном проникновении в Европу еще до итальянского влиянья Стржиговский самое большое достоинство у армян-строителей видит даже не в самой кладке камней и не в формах этой кладки, не в куполе и своде, а в вековечном по прочности литье на известковом растворе в простенках между одеждой из каменных плит, то есть в способе связи, способе цементированья камней. Он восклицает в предисловии: «Нельзя в достаточной мере подчеркнуть родство армянского внутристенного литья (Gussmauerwerke) с излюбленным строительным методом современности!»

Вот эта древнейшая способность, живущая как бы в крови народа, подобно строительной способности пчел, муравьев, бобров, делала армян желанными колонистами в пустынных просторах Юга России. Строить, лепить, цементировать, связывать...

3

Так некогда строилась тысячелетие назад армянская столица Ани. Видением ее стройной красоты озарено лирическое отступление первого армянского романа «Раны Армении», написанного в слезах ночного бденья, в тоске по рассеянным соплеменникам, в мечте о возрождении родины — Хачатуром Абовяном. И столицу Ани, верней то, что от нее осталось, я увидела собственными глазами,— не очень, правда, переживая в те времена встречу с ней. Было это чуть раньше выхода книги Стржиговского, летом 1917 года, когда мы с мужем совершали свадебное путешествие и он привез меня, первый раз в моей жизни, в Армению.

Руины Ани находились тогда еще на нашей армянской стороне, как и пограничная речка Ахурян,— позднее они отошли по договору к Турции. Закавказье — Грузия и Армения — было еще меньшевистско-дашнакское, а верней какое-то промежуточное: на вокзале и в поезде, во всем, что в них делалось, ощущались безвластие и ленивая инерция привычек. Поезд от тогдашнего Тифлиса шел сутки, замирая на пустынных остановках. Добрались до станции Ани уже к закату солнца, слезли на пустынную насыпь, и дальше все пошло, как в сказке или во сне: безлюдье, одинокий ослик синеватого, сарьяновского оттенка, пламенный костер заката, а над ним бездонная ширь неба удивительных красок — прозрачно-зеленых, оранжевых, фиолетовых,— небо раскинулось с такой необъятной щедростью, что земля под ним почти исчезла, почти ощущалась округло. На ослика мы взвалили нашу поклажу, и погонщик

поплелся за ним, мягко ступая по выжженной земле. Мы шли и шли, наслаждаясь воздухом, сменой красок, выцвечивавших кристаллы гор по горизонту. С потемненьем шло просыпание звездных миров наверху, открывавших миллионы мигающих глаз. Дорога была плохая, но особая прохлада — прохлада широких, нагретых за день просторов — не давала ногам устать.

В полной темноте мы спустились к речке Ахурян, где мельник держал перевоз. Оставив погонщика с поклажей заночевать на мельнице, мы перебрались на тот берег. Два кривых шеста были вбиты по берегам с двух сторон речки. Между ними протянута толстая веревка. Внизу прыгал на воде треугольный ящик, кой-как сколоченный, а в ящик шагнул бородатый, сказочный мельник, одной рукой ухватясь за веревку, другой опершись на простую лопату. Безобидный как будто Ахурян оказался бурной горной речкой, крутившейся под ящиком, когда мы с мужем ступили в него с берега и почувствовали, как оседает под нами днище. Перевоз длился минуты две — мельник рукой скользил по веревке, другой загребал воду лопатой,— но в эти две минуты наш ящик набух, как сапог, а мы стояли в воде чуть не по колено. И вот мы на том берегу, отделенные рекой от всего мира. Мельник уплыл по веревке обратно. Началось медленное карабканье — в полной темноте, по камням, скользившим вниз под дождем падающих звезд. И вдруг наверху, прямо над головой выросли огромные, циклопически-выпуклые, темные стены-башни древнего города. Мы очутились в Ани.

Как было легко жить в молодости и каким неценимым в те годы было сокровище силы, энергии и здоровья! Наугад, зная лишь понаслышке об археологических работах в Ани, готовые заночевать на земле под волчий или шакалий вой, после трехчасовой ходьбы, мокрые до колен, мы со вспыхнувшим любопытством ходили вдвоем по мертвым улицам царственных руин, заглядывая в провалы бескрыших домов, спотыкаясь о каменные плиты, пока вдруг не мелькнул где-то огонек. И мы вышли на огонек. Многое было забыто мной в громаде пережитого за долгую жизнь. Но это я хорошо помню — порог открывшейся двери, ее освещенный пролет — в звездную ночь мертвого города. И на пороге силуэты людей. Нас встретили: очень худой, едва начинавший седеть, молчаливый, неторопливый Николай Яковлевич Марр; его сын Юрий — будущий иранолог, а тогда еще стройный подросток; и турецкий армянин, известный художник Фетваджян, приехавший из Константинополя, чтоб делать акварельные зарисовки Ани. Можно ли было спать!

Мы проговорили всю ночь, а потом, с первыми лучами солнца, отправились в городище. Начиная с 1892 года и вплоть до Октябрьской революции академик Марр вел его раскопки. Огромно значение этих работ не только для армянской культуры, но и для народов Передней Азии; под его руководством здесь прошло серьезную школу целое поколение советских археологов... И так свыкся образ Марра с этим вырытым из-под земли городом, что профиль Николая Яковлевича как бы в зеркале воспроизвел выбитый в камне древний профиль анийского царя Гагика. Может быть, потому, что

мы провели ночь в жаркой беседе и здесь стоял жилой дом-музей, а может, из-за Марра с его анийским профилем, шагавшего по ямам и овражкам Ани, как местный житель, знающий все, что тут было и как было,— но в памяти моей остался почти живой город Ани, наполненный мягким грудным говором Марра, звуком его легких шагов, юношески высоким тенорком его сына и необыкновенно живыми гортанными восклицаниями Фетваджяна, прыгавшего с камня на камень. Для них Ани было рабочим местом, чем-то, что жило с ними изо дня в день, постепенно переходя в книги, на полотно, в музей,— и потому само никак на музей не похожее. И для меня сейчас, когда оживляю пережитое в памяти и перевожу его тонкою нитью времени из прошлого — в познаваемое будущее, в движение мысли и пера вперед,— это увиденное когда-то скопление улиц, районы рабочих цехов, людского жилья, бань, площадей, судилищ, торжищ, знатных дворцов и нищих караван-сараев становится исходом моих далеких предков, землей, которую кровь моя, откликаясь, чувствует своею, кровной.

Уже в пятом столетии, если вернуться к истории, Ани была крепостью,— в десятом она бурно застраивалась, как один из великолепнейших центров Закавказья; в одиннадцатом здесь побывали греки; в конце одиннадцатого город захватили сельджуки; в тринадцатом — монголы. И с одиннадцатого века армяне хлынули из Ани — все, кто смог бежать от чужого владычества. Началось то великое рассеяние анийских армян, какое разбросило их по лицу чуть ли не всей земли — и в европейские столицы, и в американское Фресно, и в малоазийские страны, и в Киев — «мать городов русских», и в гирейский Крым, и в турецкий Измаил. И по матери, крымской армянке, и по отцу, измаильцу-григориопольцу, я принадлежу к этой странствующей анийской ветви моего народа. Другая его часть — оседлая — оставалась в пределах исконной Армении, ее Араратской долины, и называется иногда у историков «армянами метрополии».

4

Крымские армяне оставили немало следов в Крыму — развалины старых церквей, старинные поселения, места, где они жили и где земля ухожена, взлелеяна была ими под сады и виноградники. До первого десятилетия нашего века потомки крымских армян, построившие при Екатерине город Нахичевань-на-Дону, сохранили и свой, пропитанный татаризмами стол, и свой диалект, где армянский язык обрел немало татарских словечек.

Детьми меня и сестру возили на побывку к дедушке, Якову Матвеевичу Хлытчиеву, и к многочисленным тетушкам, его дочерям, в уютный маленький Нор-Нахичевань [5]. Это был обособленный город, отделенный куском голой степи и мелкорослой искусственной рощей, называемой «Балабановской», от крупного портового Ростова-на-Дону. Нас потчевали армянскими блюдами — их

[5] Нор — по-армянски новый.

иногда готовила и мать в Москве,— хранившими отзвук и вкус крымско-татарской кухни: мусаха́-самса́ — хатлама́... Были особые старухи, изготовлявшие лакомую закуску — язычки. Небольшой бараний язычок приготовлялся и в копченом виде, и в маринованном и был необычайно вкусен, особенно копченый, буро-алого цвета, когда с него аккуратно срезали кожицу и резали на тоненькие ломти. И еще одно лакомство: эрэшки́к, плоская колбаса из копченого, с чесноком, бараньего мяса. Язычки мне больше никогда не случалось есть; эрэшкик претерпела измененье во вкусе и называется сейчас «суджук»; а вот татарские блюда из мучных ушков, начиненных ароматным, с травками, бараньим мясом,— хащи́к-бере́к (суп с ушками на кислом молоке) и тата́р-бере́к (блюдо с ушками в мацуне со сливочным маслом), посыпанные сверху толченым сухим чебрецом, и до сих пор изготовляют кое-где армянские хозяйки родом из крымских армян, и я никогда и нигде не ела ничего вкуснее. Еда в Нахичевани носила характер праздничный, почти эстетический. Для изготовления береков привлекалась вся женская половина дома, в том числе и дети. Помню, как нам под самый подбородок повязывали огромные полотенца, заставляли щеткой мыть руки и ногти и только после этого допускали к кухонному столу, где на доске аккуратно резалось приготовленное тесто на части. Потом эти части раскатывались длинными столбиками, столбики делились на кусочки, а кусочки плоско приминались пальцами, и опрокинутая рюмка нарезала из них острыми своими краями ровные кружочки, не толще обычного картона. На эти кружочки накладывались щепотки заранее приготовленного фарша, и только потом дело передавалось в руки детей и семейных доброхотцев; мы с огромной осторожностью, благоговея, закрывали и защипывали эти начиненные кружки сверху, в особого типа круглую маленькую розетку-ушко. Так никогда не делают пельменей, защипываемых с одного боку. Бывало, мать достает из многочисленных жестянок со всякими сухими ароматами — шафраном, корицей, лавровым листом — несколько черных гвоздичек и поручает нам, детям, воткнуть их в ушки, да так, чтобы снаружи не видно,— чтоб «принести счастье» тому, кому выпадет за столом это ушко. Число таких гвоздичек всегда бралось вдвое меньше приглашенных к столу.

Я описываю так подробно эту процедуру, потому что позднее она мне много раз припоминалась, когда я раздумывала над лучшими методами педагогики. Труд может показаться скучным. Но если кто-то перед вами делает свой труд обаятельно, труд становится заразительным. Дети начинают хотеть: и я! и я! дайте попробовать! И пробуют со стиснутым ртом, с затаенным дыханьем, с наслажденьем в глазах и пальцах — так надо учить!

Помните первый подвиг Тома Сойера, когда тетушка в воскресный день в виде наказанья заставила его выкрасить забор? Бедняга Том пал было духом, но заметил подходивших мальчишек. Тут он сразу превратился в художника, в творца: поджав губы, мазнет кистью — отступит на шаг, поглядит на творение рук своих,

слегка наклоиив голову, окуиет кисть в краску и опять мазок — ровиый, густой, сочный... Известеи коиец этого приема: охваченные завистью (зараженные) мальчишки один за другим стали вымаливать разрешенье у Тома тоже покрасить, и Том ие сразу и не даром стал давать эти разрешения... Он применил прием заразительности труда — показал его обаяние. У моей сестры Лины был прирожденный дар педагога. Однажды в Анапе ей достался ужасный ученик, лентяй, ненавидевший всякое учение, а родители во что бы то ни стало хотели обучить его французскому. Читать еще с грехом пополам он умел, но писать злобно отказывался. До Лины никто ничего с ним поделать не мог. И вот она приступила к своим урокам, ни звуком не напоминая о письме. И как-то, когда мальчишка, болтая ногами под столом, начал валять дурака, она закрыла книгу и объявила: «Кончено. Я тебе хотела показать, как нарисовать французскую букву «т», а теперь не покажу». После двух-трех таких отказов мальчик попросил: а как нарисовать букву «т»? Операция была отложена на завтра. К ней Лина приготовила восемь разноцветных карандашей и особую бумагу. Они вместе «нарисовали» «т» с перекладинкой, потом стали «рисовать» другие буквы, и в конце концов мальчик одолел французское письмо. Он захотел это сделать потому, что прозаическое «написать» было замешено завлекательным «нарисовать».

Чтоб процесс труда сделался обаятельным, а усилие облегчилось, был подключен к обыкновенной работе элемент эстетический, создающий личное, субъективное удовольствие для того, кто трудится. Мне всегда непонятно было читать в нынешних школьных программах введение (или пожелание) особого курса по «эстетическому воспитанию школьников» при абсолютно лишенной всего эстетического методике преподавания самих учебных предметов. А ведь в Индии и в некоторых других странах Востока так чудесно используется музыка в начальных классах, когда дети хором поют азбуку, под мелодию осваивают правило, как бы «станцовывают» и «спевают» науку. И еще одно: музыка пронизывает школьных ребят ритмом, им не трудно отсиживать часы на уроках, она их наполняет телесным ощущением ритмического движения. Семи-девятилетнему ребенку не только мучительно отсиживать часы на школьных скамьях — ему, его мягким костям, его позвоночнику это убийственно вредно, а когда инстинкт заставляет его шалить, дергаться, двигаться, учительница вменяет это ему как «плохое поведение».

Но мы далеко ушли от изготовления береков, а была еще одна замечательная пищевая традиция у нахичеванцев, которая глубокими корнями уходит в древность. Часто вечером мать приглашала своих сестер (или они — нас) на калмыцкий чай. Аромат его из кухни пропитывал все комнаты. Тетушки приходили чинно, в платьях для «выхода», снимали шляпки, приколотые к прическе длинной шляпной булавкой, и оставляли их в гостиной на столе. А в кухне кипятился в большом котле кирпичный чай, круглыми плоскими плитами продававшийся фирмой Высоцкого. Он потом процежи-

вался, смешивался — половина на половину — с молоком, и в большой миске его приносили в столовую. А в столовой уже сидели за столом тетушки, перед каждой стояла небольшая, без ручки, чашка, подобная узбекским для кок-чая, и было свежее, со слезой, сливочное масло, солонки с солью, горка особых песочных сухариков без сахара,— пили калмыцкий чай, посолив его, опустив в чашку немного масла и похрустывая меж питьем рассыпчатыми сухариками. Нахичеванские врачи поощряли этот напиток, утверждая, что он продлевает человеческую жизнь. Кто знает, из каких степных далей, из-под какого ночного неба, от чьих пастушьих костров пришел к нам этот удивительный чай, именовавшийся у армян калмыцким? В долине Арарата и в Ереване его не пьют. Тетки наши, разгораясь от питья, гортаино сыпали бесконечными рассказами и восклицаниями на армянско-нахичеванском диалекте. Я на всю жизнь запомнила один энергичный вскрик, сопровождавшийся всплеском пальцев в бриллиантовых кольцах: «Хазар вай тепеис вран!» («Тысячу ваев на мою голову!»)

Тетушек у нас было много, сразу не перечесть, и все повыходили замуж за местных богатеев, и у каждой был свой характер и свое отцовское приданое в 25 тысяч. Когда назывались в те годы фамилии самых имеиитых «первогильдийных» армян, то наверняка они были дядями — мужьями маминых сестер: Джамгаров, Хатраиов, Чикнаверов, Сагиров, Когбетлиев, Шилтов — банкирский дом, нефтяные промыслы, рыбные промыслы, нотариальная контора... Русское окончание фамилий показывало, что все онн — из XVIII века, века Екатерины, когда армян-колонистов записывали на «ов». Но были исключения: Дадьянц — ставропольский прокурор, выходец из метрополии (Араратской долины); Сажумянц — врач, родившийся, проживший и умерший в араратском селе Аштараке; Шагинянц — врач и потомок врача, родившийся в Григориополе, но издавна, с выхода прадеда моего из турецкого Измаила, записанный почему-то не на «ов», а в армянском родительном падеже, на «янц». Тети — каждая — стоят у меня ярко в памяти, красивые, крепкие, хозяйственные, одаренные здравым смыслом и коренным упорством в поведении. Они верили в незыблемый распорядок жизни, в жеиские функции жен и матерей, в соблюдение обычаев, неизвестно кем и когда установленных: дни поминанья умерших, когда на кладбище надо нести пироги для раздачи нищим; визиты попа и дьякона в большие праздники, с заготовленными для них конвертами, первому толсто, второму потоньше; «соленье» младенца при его крещении[6], изготовление «гаты» и «губаты» под рождество и множество всяких соблюдаемых правил и привычек. Даже крем для лица у моих тетушек был особенный, старозаветный, изготовляемый из рода в род невзрачным пригородным семейством и называемый «Зюлейкина мазь». Мы с сестрой испытали его действие на себе: он вызывал страшнейший выпот лица, до легкого озноба,— и через два-три дня кожа отшелушивалась вместе с загаром и вес-

[6] У армян при крещении воду «прнсаливают».

нушками, оставляя матовую бархатистость щек. К великому сожалению доживших до наших времен нахичеванских старух, рецепт этой волшебной мази безвозвратно потерян со смертью последней «Зюлейки».

Дедушка, отец моей матери, Яков Матвеевич Хлытчиев был образованный купец первой гильдии, благообразный на старости, с подбородком, похожим на подбородок Бисмарка. Его мать, а наша прабабка, известна мне только по рассказам. Она совершила путешествие в Иерусалим, «ко святым местам», и получила поэтому прозванье «хаджи́-мама́», с ударением на последнем слоге. Запомнилась своим внучкам повязанная черным головным платком, восседавшая на высоком стуле у окна и проклинавшая окружающих острым, как уксус, голосом. Когда мы шалили, тетки часто грозили: «Вот вырастешь, будешь как хаджи-мама». Дед Яков Матвеевич обожал свою жену, одарившую его двумя десятками детей. Как было тогда принято у богатых нахичеванцев, он заказал тогдашнему учителю, обучавшему его многочисленных дочерей, знаменитому впоследствии поэту Рафаелю Патканяну, написать о ней хвалу. Патканян создал особый жанр семейной «эклоги» — восхваления в виде писем к другу о высоконравственной матери семейства, об ее доме-очаге, о том, как велся и управлялся ею этот дом, о прислужниках, порядках, организации, воспитании детей. Книга была напечатана в местной армянской типографии, переплетена, снабжена вкладышем с многочисленными фотографиями всех детей — там и головка моей матери, младшей в семье, и подле нее — самой младшей, тети Сани. Книга эта хранится в ереванском Литературном музее, имеется она и в моем семейном архиве.

Все, о чем я пишу, осталось в памяти от коротких наших наездов, начиная с моего одиннадцатилетнего возраста (девятилетнего сестры), на побывку в Нахичевань-на-Дону. Жизнь казалась там узкообособленной, монотонной, мелконациональной и, как масло с водой, совсем не сливавшейся с жизнью большого русского мира в Ростове по соседству, а тем более не похожей и на нашу московскую, русскую жизнь. Уже на старости, когда мне захотелось заняться архивными поисками по линии своих «генов», я столкнулась с любопытным фактом: ролью армянского революционера-демократа Микаэла Налбандяна в жизни обоих моих дедушек, со стороны матери и со стороны отца, двух совершенно разных характеров, с совершенно разными «позициями», разделенных тысячами километров и никогда друг друга не знавших. Дедушка со стороны отца григориопольский протоиерей отец Давид Шагинянц (о нем будет речь впереди) служил в молодости секретарем у большого клерикала епископа Габриэла Айвазяна (родного брата художника Айвазовского), участвовавшего в клерикальном гонении, какому яростно подвергался сатирик-публицист и революционный демократ, активно сотрудничавший в армянском журнале «Лусиса-пайл», Микаэл Налбандян. Между тем дедушка со стороны матери вошел в историю как энергичный защитник памяти Налбандяна (родом тоже нахичеванца) и организатор его публичных похорон с революцион-

-ными надгробными речами. Об этом черным по белому писано в жандармских документах царского времени, и это стоит рассказать как страничку из жизни и быта армян-колонистов прошлого века.

5

Жизнь Налбандяна ярка́ и коротка. Быть может, самое интересное в его характере — это смесь типично русского интеллигента своего времени с восточно-детской армянско-национальной патетикой, задиристой и застенчивой зараз и тоже сугубо типичной в среде его земляков. С Герценом, Писаревым, революционными демократами его роднил жадный интерес к естествознанию и биологии, подогретый гениальными лекциями профессора Рулье в Московском университете, а с начинавшимся армянским освободительным движением — страстная борьба против своих темных сил, поповского мракобесия, невежественных армян-капиталистов, их грубых финансовых махинаций. И вот молодого, острого на язык публициста те же земляки, порядком искусанные его пером, «армянский магистрат города Нахичевани», решают послать в авантюрную поездку — в Калькутту, чтоб суметь выручить там из банка огромную сумму денег, завещанную умершим в Индии армянским богачом городу Нахичевани. Пропадут деньги ни за что, а тут бойкий, образованный человек авось да вытянет их из английских лап,— думали, наверное, в городе Нахичевани-на-Дону о свалившемся им с неба неожиданном богатстве. Налбандян получил в Индии деньги и на полагавшуюся ему долю за «комиссию» съездил в Лондон, где познакомился с Герценом, Огаревым и Бакуниным; в Париж, где впоследствии была напечатана его брошюра о земледелии; в Константинополь, где завязал сношения с передовыми турецкими армянами... Представляешь себе эту полосу его жизни — весь мир распахнут, общение со светлыми, смелыми умами, Европа с ее музеями, театрами, памятниками древности, Азия с ее огненно-яркими красками и контрастами, возможность увидеть, услышать, пережить, с головой окунуться — и эта музыка в ушах, вселенская музыка мировых дорог и перекрестков, гул начинающихся революций, события в Италии, зажигающие ум беседы в Англии, свобода, свобода, сном кажется далекая Русь с ее самодержавием, с ее цензурой.

Денежная «доля за комиссию» у Налбандяна так велика, что он мог бы скупить для себя что захочет,— и Налбандян покупает. Весь человек, весь характер в том, что́ купил Налбандян на свои заработанные деньги. Он купил в Индии живого носорога для будущего московского зоологического сада. И не только купил — отправил его в Москву. Это была дань благодарности профессору Рулье, дань благодарности России за русское образование, за светлый ум лучших ее людей, за материализм их сознания, за все, что было хорошего в прошлом. А дальше... Дальше — телеграмма «свиты его величества генерал-майора Дренякина екатеринославскому губернатору» от 1862 года:

«Второго июля выехал в Нахичевань к отцу тамошний житель Михаил Лазаревич Налбандов сообщник лондонский. Захватите его с обыском и с бумагами при двух жандармах доставьте в третье отделение. От Москвы с товарным поездом...» [7]

Ответная телеграмма — Петербург, начальнику штаба жандармов генералу Потапову:

«Приказание генерала Дренякина выполнено успешно дальнейшем исполнении донесу вторично. Генерал Рындин».

Жаркий июль того самого года, когда годовщину отпраздновали со дня февральского «освобождения крестьян», быстро идет к концу — и с ним начинает идти к концу жизнь человека, полного сил и творческих планов, только что видевшего весь мир, все будущее распахнутыми на все стороны горизонта: 29 июля сам государь император изволил читать рапорт, подписанный 27 июля:

«Доставленные во исполнение высочайшего вашего императорского величества повеления, объявленного мне в отношении начальника штаба корпуса жандармов № 1620, Нахичеванский житель Михаил Налбандов сего числа в С.-Петербургской крепости принят и заключен в доме Алексеевского равелина в покой под № 8».

Налбандян в четырех стенах Петропавловской крепости, неподалеку от другого «покоя», где сидел Чернышевский. Но можно ли назвать, как сто́ит в рапорте, это место «домом»? Сейчас множество молодых ног и ножек проходят, с жизнерадостным гидом во главе, по каменным плитам этого поразительного архитектурного комплекса, именуемого Петропавловской крепостью. Если говорить объективно, не вникая в подробности души человеческой и судьбы человека, то «покои» не выглядят страшно. По сравнению с венецианской тюрьмой и орудиями пыток святой инквизиции, по сравнению с нарами Бухенвальда, волчьими ямами турецких тюрем или звериными клетками Синг-Синга с его решетками вместо глухих стен в коридор — эти серые каменные просторные ящики с окошком под потолком, чисто выскобленные, с кроватью и столиком, могут показаться даже комфортабельными, особенно для творческого работника, если ему разрешено письмо и чтение. Лютер в своей каменной камере (Kammer von Luther) в замке Вартбурге, где он переводил с греческого на немецкий Библию, был устроен хуже, чем узник в этих «покоях». Но холодный ужас, пронизавший меня, пока я двигалась по комплексу Петропавловки, по коридорам этого выскобленного архитектурного целого, серого, как свинцовое небо, когда висит оно в хмурые дни над бывшей русской столицей, и вдобавок замурованного в высокую сплошную каменную ограду,— не могу сравнить ни с каким другим, пережитым от зрелища казематов. Это вернулось прошлое — холод от ужаса царского самодержавия, ужаса того человеческого строя, в котором жила до тридцати своих лет.

[7] Этот и все дальнейшие документы взяты мною из четвертого тома Полного собрания сочинений Микаэла Налбандяна. Ереван, Изд-во АН Армянской ССР, 1949. Сочинения на армянском языке. Документы в приложении к четвертому тому, с. 311—350, на русском языке.

Я была тогда просто интеллигенткой, не революционеркой, не «политической». Меня не преследовали, не обыскивали, не сажали, не высылали. Не вызывали в Питере «на Гороховую». Но ужас, скрытый, как висящая в воздухе влага, разлитый невидимо в общественной атмосфере, стоял такой, что вы себя в нем, как в дурном воздухе, чувствовали постоянно. Это был ужас затвердевшей системы, солидной, уверенной в себе, прочной, как паучья ткань, и — безвыходной, как эта ткань для мухи: системы внутренне скованного человеческого существования.

«Сообщник лондонский» из вольного мира очутился в паутине рапортов, донесений, допросов и каменного молчания Алексеевского равелина. Спустя три с лишним года его, больного чахоткой, высылают в Камышин «под строгий надзор полиции». А еще через четыре месяца, в апреле 1866 года, Налбандян умирает. Вот и вся жизнь. Но смерть не ставит на этом точку. Документов, относящихся к мертвому Налбандяну, намного больше, чем тех, где говорится о нем живом. И лучше всякого драматурга, знающего сцену, разворачивают эти документы время и место действия, характеры и классовые позиции участников. Пройдем по ним, как по ступеням посмертного бытия армянского революционного демократа,— тем более что в них выступает действующим лицом мой дедушка по матери:

«В апреле настоящего года умер в г. Камышине Саратовской губернии находившийся там под надзором полиции житель города Нахичевани Михаил Налбандов. С разрешения начальства тело его перевезено по Волге, железной дорогой на Дон и доставлено в г. Нахичевань на пароходе «Козак» в начале мая.

В Нахичевани гроб встречен был с необыкновенным триумфом и почетом, с образами, хоругвями, музыкой, при стечении почти всего населения города. Потом перевезен в Армянский Кресто-Воздвиженский монастырь, на 5 версте от города, и там погребен, хотя в этом монастыре никого не хоронят. Архимандрит монастыря, в надгробном слове, именовал покойника невинным страдальцем...» Подписано: подполковник Янов.

Под документами — разные подписи полковников и подполковников и, судя по содержанию этих документов,— разные характеры, скрытые подписью: один как будто лезет на стену от усердия и хочет «вырвать крамолу до корня», другой пытается обойти ее стороной, чтоб поменьше хлопот и забот, третий добродушен: зачем раздувать — не случилось бы похуже... Но еще более разными представляются замешанные лица. Тут свой Яго-доносчик, протоиерей собора Шапошников; он просит у жандармов защиты себе как верноподданному от мстителей. Тут дряхлый старикан, бывший городской голова Халибов,— он не прочь подложить свинью тем, кто его сменил в правлении. Тут мелкота, угождающая той и другой стороне. Тут, наконец, и другая сторона, выявленные крамольники: новый городской голова Гайрабетов, его помощник Каял, председатель магистрата Каракаш, именитый купец Хлытчиев. Следствие копает вглубь, от крамольников — к сути самой крамолы. Если

доносчики действуют из сугубо «человеческих» чувств — протоиерей в обиде на архимандрита монастыря, Халибов в обиде на сменивших его,— то крамольники — из чувств явно политических:

«Город Нахичевань управляется армянским магистратом, руководствующимся древним римским судебником, и, не имея русской полиции, составляет как бы особое государство в государстве... ссылаясь на высочайше дарованные грамоты и превратно толкуя изложенные в оных привилегии, Нахичеванское общество упорно сопротивляется введению общественного управления и русской полиции; для защиты прав своих возбудило энергическое заступничество своего экзарха; а в Петербурге — как слышно — имеет поверенным и ходатаем действительного статского советника Султан-бека (Султан-шаха)...»

Самостоятельное управление! Древний римский судебник! Отсутствие русской полиции! — вот она, крамола. Государство в государстве. Ганзея, чистая Ганзея, заноза в жандармском сердце подполковников яновых, капитанов белоцерковских. Дознание идет и тянется... документы переходят с месяца на месяц, из году в год, с 1866-го они дотягиваются до 1874-го. И среди этих документов — характеристики всех перечисленных крамольников, а среди них и деда моего, Якова Матвеевича Хлытчиева:

«Купец Яков Хлытчиев также был участником Гайрабетова, в чем он уличается показанием священника Степаносянца, что он первый подал мысль о необходимости вскрыть гроб, а так как он приходится родственником Каракашу и городскому голове и *пользуется огромным влиянием в обществе* (разрядка моя.— *М. Ш.*), то предложение его имело большое значение; затем уличается показанием Киркора Налбандова, в доме Гайрабетова, отправлял его, Налбандова, в монастырь для приготовления могилы там, а 14 числа, после погребения, принимал гостей и угощал их на завтраке, бывшем в монастыре. Потом уличается показанием Артема Халибова. Наконец в том, что он был участником, падает подозрение потому, что Хлытчиев был при встрече и погребении, и 13 числа вечером был в доме Гайрабетова, где находились Каракаш, Гайрабетов и откуда исходили, по совещании, распоряжения о дальнейших действиях для придачи торжественного погребения...» Подпись: начальник команды капитан Белоцерковский.

Сколько уличений с помощью самых разных лиц, сколько подходов к человеку со стороны его мелких, случайных действий! А этот «уличенный» ганзеец стоит у меня перед глазами очень цельным в его глубокой старости — круглая голова с выпуклыми глазами из-под густо нависших кустиками белых бровей, с одутловатыми мешками под ними, с бульдожьими щеками и пышными седыми, с желтизной усами над бисмарковым подбородком. Он плохо говорил по-русски, но очень любил с гостями, приезжими из Москвы, беседовать о политике. Он привык к безмолвному повиновению своих многочисленных дочерей, а мы с сестрой сидели за столом вольно, вмешивались в беседу. Последний раз мы обедали с ним, когда мне стукнуло девятнадцать, и я уже писала фельетоны

в «Приазовском крае». Дедушке это нравилось. Он скрывал, что гордится мной, называл меня «он» и всегда говорил обо мне как «о нем» — мужчине, мальчике, а я тоже очень этим гордилась. Под конец жизни Яков Матвеевич дотла разорился, у него остался только один каменный дом в Нахичевани в два этажа, где после смерти отца жила хозяйкой моя мать, перебравшаяся в Нахичевань из Москвы. И мы с сестрой несколько лет подряд приезжали туда погостить, когда наступали каникулы.

6

«Гены» ганзейской независимости... Ну а дедушка со стороны отца? Впервые мы с сестрой увидели его в Москве, когда были совсем маленькие. На голоса взрослых: «Дедушка приехал, дедушка приехал!» — мы бросились в гостиную. Там, посреди комнаты, стоял большой, красивый человек в рясе, на груди у него висел крест, волосы были длинные с проседью и с проседью борода, лоб высокий, а глаза удивительной доброты и смущения и такая же добрая, виноватая улыбка. Он держал обеими руками круглый торт, но за верхнюю крышку. Когда шагнул нам навстречу, нижняя часть коробки вместе с тортом выскользнула из-под верхней крышки и с треском упала на пол, разбрызгивая во все стороны крем и цукаты. Так он мне и запомнился на всю жизнь, с его неизъяснимой, нежной притягательностью, с каким-то смиренным чувством вины и тонкими длинными пальцами, не умевшими крепко держать вещи. У него была шагиняновская рука. Она перешла по наследству к отцу, а от отца ко мне.

Второй и последний раз довелось мне увидеть его спустя восемь лет, и это само по себе — очень длинный, очень интересный эпизод в моей жизни, о котором стоит рассказать подробно, потому что он связан со встречей нового века.

Наверное, каждый из нас, если он не младенец, может припомнить встречу прошедшего «нового года». Но найти кого-нибудь в 1999 году, кто мог бы рассказать, как он сто лет назад встречал новое, XX столетие, почти немыслимо. Для этого потребовалось бы, чтоб рассказчик был не моложе ста десяти, ста двенадцати лет; чтоб он обладал памятью кибернетической машины; и чтоб на той далекой встрече он не спал сладким сном, как подобало бы в его возрасте, а сидел со взрослыми. Вряд ли, обшарив все горы Абхазии и Азербайджана, удалось бы найти такого образцового старца. Да и сейчас, на пороге последней трети XX столетия, уже совсем мало современников, кто смог бы рассказать, как он его встречал. А такие рассказы нужны. Они донесут до потомков ту смесь ожиданья, надежды, намерений, жéланья, что сливаются в глубинном слове «предчувствие» — перед наступлением новой эры.

История учит нас, что каждый век обладает своею зримой доминантой,— основными чертами, создающими его лицо. Человечество как бы видит это основное лицо истекшего века. Историки дают ему определение в каком-нибудь качественном эпитете. Когда-то

поэт Андрей Белый, играя словом «человек», расшифровывал его как «чело века». Так вот, какое же «чело» у нашего XX века и о чем думалось тем, кто присутствовал при его рождении?

Но сперва — откажемся от дешевых ответов, приходящих в голову тотчас же: век атомный, век покорения космоса, бешеных скоростей... Все это завершает, а не начинает представленье и не относится к человеку в прямом смысле слова. Всего этого не желают вам, поднимая бокал на встрече,— а желают, думают, адресуются к глубоким потребностям, к простейшим вещам — к счастью, здоровью, свободе, исполненью мечты. И думают о будущем человека на земле, простого человека в его личном и общественном душевно-духовном бытии. Чтоб лучше представить себе, о какой «доминанте», каком «лице эпохи» идет речь, когда люди встречают большое, далекое будущее, приведу два разных, на двух полюсах мироощущенья возникших предуказанья, созданных поэтами в разные эпохи. Блоковский «Голос из хора», как бы камнем разрывающий связь времен, и знаменитое гётевское изречение, связующее прошлое с будущим. Слушайте сперва Блока, это страшно читать даже в сотый раз, к этому нельзя привыкнуть:

...Лжи и коварству меры нет,
А смерть — далека.
Всё будет чернее страшный свет,
И всё безумней вихрь планет
Еще века, века!

И век последний, ужасней всех,
Увидим и вы и я.
Всё небо скроет гнусный грех,
На всех устах застынет смех,
Тоска небытия...

...Ты будешь солнце на небо звать —
Солнце не встанет.
И крик, когда ты начнешь кричать,
Как камень, канет...[8]

6 июня 1910 — 27 февраля 1914

И вот гётевское, словно ласковая колыбельная у постели новорождающегося времени:

Das Wahre war schon längst gefunden,
Hat edle Geisterschaft verbunden,
Das alte Wahre fass es an![9]

1829

Похоже на Блока даже ритмически, даже строфой,— вот почему я привожу это «Завещание» Гёте в оригинале. А по смыслу — нет ничего более противоположного. Истинное было уже давно найдено,

---

[8] Александр Блок. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М.— Л., Гослитиздат, 1960, с. 62.

[9] Стихотворение «Vermächtniß» («Завещание»). Goethes sämmtliche Werke. Leipzig. Reclam-Verlag. Zweiter Band. S. 139.

оно связало меж собой благородных духом, старое истинное, коснись его!..

Если расшифровать гётевский лаконизм, то вместо черного, страшного хаоса, вместо распада бытия и разрыва времени, куда камнем канет крик человеческого отчаяния, вы вступаете на солнечную почву ясного мышления. Человек всегда, хотя и ступенчато, знал истину, она была найдена давным-давно, и на разных этапах своего развития он этой ступенью знания связывал себя с потомками, прошлое с будущим, создавая духовное содружество благородных умов человечества. А найти правду еще в глуби времен было неизбежно, ведь правда (Wahre) — все более верное отражение материальной сущности, материального объекта. Сколько понадобилось строк прозы, чтоб объяснить — очень приблизительно — три строки поэзии! [10]

Атомный век или каменный, с прилетом на Луну или с бетховенской «Лунной сонатой», речь идет не об этом. Речь идет о духовном умонастроении, с каким вступает человек в новую эру, об атмосфере, в какой он живет и дышит; о нравственном его существе, о нацеленности воли его, о незримом мире души, как почва, питающем самую могучую из действующих во Вселенной энергий — творческую энергию человека. Вот с какой точки зрения...

Но стоп! Я ушла от своего рассказа на много, много десятков лет вперед. Дело в том, что ведь и я как раз — один из тех немногих уцелевших современников, кому посчастливилось встретить XX столетие. И более того: встретить в огромнейшем коллективе взрослых. И еще больше: не только сидеть с ними за столом 31 декабря 1900 года, но и слушать (и слышать тогда!) жадно, в оба уха, о чем взрослые говорили, сжимая на коленях тетрадку, на первой странице которой стояло: «Для записи впечатлений».

Канун рождества прошел, елка в гостиной начала осыпаться, сладости с нее съедены,— и вдруг в любимый уходящий праздник ворвалась телеграмма: умирает дедушка, зовет проститься отца... Он умирал очень далеко, чуть не на краю света, в неведомом городке Григориополе, где был протоиереем армянской соборной церкви.

Отец собрался в одно мгновенье, и тут — словно праздник вспыхнул с новой силой — он нежданно-негаданно решил взять меня с собой. Сказочное путешествие: сперва чуть ли не три дня на машине (так мы говорили тогда о поезде), потом целый день езды на почтовы́х (ударение на последнем слоге), через странные деревни, населенные странными, не русскими людьми и странные по своим названиям: Ташлык, Малоешт... «Возьми с собой тетрадку, будешь писать дневник»,— сказала мать.

Сборы, хоть и поспешные, были основательны: подушки и одеяла, погребец с дорожными приборами, бутылки с кипяченой водой, пакеты с провизией, подарки для родни. А на вокзале целых три

---

[10] Подстрочный перевод: «Верное было давным-давно найдено, оно связало благородные умы человечества между собой — коснись этой древней правды!» Взято из стихотворения «Завещание», написанного Гёте в 1829 году.

звонка — первый, второй, третий, чтоб щедро предупреждать о времеии. Прощанье с младшей сестрой — и машина, издав победиый, затяжной гудок, двинулась в таинственное путешествие.

В вагоне было жарко натоплено, и так как лежанки второго класса не огорожены в купе, все пассажиры ходили, заглядывая друг к другу. Окна замерзли — стоял лютый мороз, в белых звездах. И все вначале шло как положено — бегали за кипятком, пили чай, опять бегали за кипятком, пили чай. В багажном вагоне один из пассажиров вез собаку, и главной темой служило — не замерзнет ли. Такие хорошие стойкие морозы с певучим скрипом, с синим дыханьем, с колючими искрами снега в воздухе, с сугробами, огромными, как заборы, запомнились мне только в детстве,— поздиее они опадали во времени, делались короче, перемежались со слякотью оттепелей.

Но на вторую же ночь что-то случилось. Я проснулась от иепрерывного стука шагов, каждую минуту закрывали и открывали дверь, влетал ледяной дух, колыхалась свеча в фонаре у проходящего по коридору; неизвестно, стоял или шел вагон. Слова говорились громко, без вниманья к спящим, и были какие-то странные: «Мягчает»... «Сыплет и сыплет»... «О прошлом годе в это же время»... «Да, может, очистят»... «Все может статься».

Отца рядом не было, и спросить не у кого. Но вот он пришел, весь запорошенный снегом, с мокрыми бровями и бородой. Сказал: «Заносы. Ты спи». Я записала в свою тетрадку «заносы», но спать уже не могла. Утром выяснилось, что мы прочно стоим у станции Бирзула. И не только мы. Семнадцать поездных составов скопилось у маленькой станции Бирзула перед белыми, в человеческий рост, сугробами снега. Несколько сот человек — чуть ли не населенье уездного городишки — очутилось на виду друг у друга, разных людей, закутанных по-зимнему, в меховых дохах, в форменных шинелях, в продувных шубенках, в поддевах, в валенках, сапогах, калошах, рукавицах и без рукавиц. Так по крайней мере мне казалось. В тетрадке стоит запись: «Бьют в ладоши, постукивают ногами, чтоб мороз не кусал». Таким было первое впечатление от человеческих множеств.

Я тоже, очень чинно и чувствуя себя самостоятельной, вышла погулять н увидела, как замертво стоят вагоны,— паровозы уткиулись в хвосты составов и тоже не дышат, не дымят, не гудят. Идти до снежных завалов совсем недалеко. Там с лопатами люди: железнодорожники, солдаты, добровольцы-пассажиры. Но лопата кажется игрушкой, а снег — всамделишный, снег — как дом, как улица домов. И перед этими белыми мерзлыми горами — такая крохотная, облезлая станция с надписью «Бирзула» над дверями, куда не всунуть н два-три десятка пассажиров. Вдобавок — пошел снег, не пошел, а повалил, и небо как будто вниз опустилось, серо-сизое, дымное, густое, не пробить. Те, кто гулял, полезли в вагоны. От людей, от дыханья нх, как от печек, шел в воздух дымок, а вот из труб над станцией, над вагонами дым пошел было, но вскоре рассеялся,

и словно оцепенело все. В клеенчатой тетради стоит: «Железнодорожники между собой говорят,— неведомо сколько простоим, уголь надо беречь. Не так жарко в вагоне, как раньше, даже стало холодно, и мы закутались в платки и шарфы».

Отец мой, доктор медицины, зачем-то вынул свою врачебную сумку и ушел. Наверно, были больные. В нашем вагоне, кроме меня,— все взрослые и совсем мало женщин. Выясняется, что стоять придется долго, не менее двух суток,— а послезавтра новый год! Нет, новый век! Дедушка и папина сестра, тетя Нина, ждут нас, наверное, завтра — встречать; напекла, наварила, намариновала тетя всякие вкусные армянские закуски, бараньи язычки копченые, бараньи язычки в уксусе, колбасу-эрэшкик — и что же теперь делать? А события продолжались.

Отца выбрали представителем от нашего поезда. Он стал совещаться с представителями других семнадцати составов. А ко мне на койку подсел незнакомый человек: «По просьбе вашего папы за вами поухаживаю, мадемуазель, и поведу обедать,— он ведь теперь общественный деятель, занят ваш папа по горло». Незнакомый ухаживатель накормил меня на станции борщом и дал апельсин, а потом, в вагоне, подарил книжечку своего сочинения: Lolo Мундштейн, «Вечный праздник». Пьеса в трех действиях. Lolo — латинскими буквами. То было имя модного московского поэта-драматурга, и от него я впервые получила «авторский экземпляр с автографом». Несколько лет хранился он у меня, хотя салонно-сатирическая пьеса в стихах о похождении двух чужих жен с двумя чужими мужьями на курорте в Кисловодске была мне совсем не по возрасту. Но Лоло разговаривал со мной уважительно, как со взрослой, и кое-что из его рассказов я записала в свою клеенчатую тетрадь.

Несколько сот человек на крохотной станции, отрезанной от города и от соседних деревень. Ограниченный запас топлива. Неизвестность впереди. Очистка идет днем и ночью, но и снег валит днем и ночью. Хозяин единственного на станции буфета, возликовав в первые часы от выручки, впал в панику, стал прятать запасы. Пробка снежных заносов — по обе стороны пути. А надо согреть, накормить, удержать от безобразий и беспорядка все поездное население. И для этого — организовать их. И наконец, чтоб взяться за организацию случайной массы людей, надо заработать у них авторитет, право на громкий голос, право распоряжаться.

— Ваш отец и несколько других человек это право, к счастью, заработали. У нас порядок, составились группы расчисток, группы учета угля, учета провизии. Дамы дежурят на кухне, молодежь подает в столовой, приструнили купчину-буфетчика, он плут, но понимает — иначе голод, вспыхнет эпидемия или разграбят без лишних слов его лавочку. Такова ситуация.

И слово «ситуация» старательно выведено в моей тетрадке.

Припоминая сейчас то, что было много лет назад, и даже не заглядывая в сохранившуюся у меня клеенчатую тетрадку, я удивляюсь свежести воспоминания, необыкновенной его яркости. Все

стоит, как сейчас, не только зримо, но ощутимо, как дыхание. Раннее, в четыре часа дня падающие сумерки. Снежные хлопья, почему-то, в тридцатиградусный мороз, пахнувшие весной, водой, живой рыбой. Нарезанные кем-то елочные ветки под ногами взамен песка. Протоптанные короткие дорожки в убитом снегу. Красноватый свет керосиновой лампы в окошках станции. Тени людей, по очереди разбирающих лопаты. Водянистый запах борща и картофельной кожуры из станционного буфета. И это не сравнимое ни с чем чувство здоровой, крепкой отличной зимы, в которой все слажено и стало на свое место. Мне казалось тогда, что каникулы кончились и началась новая, очень приятная и сразу полюбленная школа,— но не книжная, а какая-то другая, школа характера или характеров, потому что нас было много.

Наступил новогодний вечер, которого мы все ждали, и каждый для него поработал. Лоло что-то репетировал у пианино, вынесенного из квартиры начальника станции. Дамы усердствовали у кухонной плиты, у костров на дворе, где потрескивали березовые поленца. Не для тепла: над кострами повесили котлы, и в них кипела еда. Мне досталось наполнить ложкой солонки темноватой крупною солью и потом разместить эти солонки на равном расстоянии по длинным столам. Все делали всё для всех, всем было весело, никто не хотел спать. И я не хотела спать. Я хотела записывать. Мне передалось ожидание редкого события.

— Не каждому в жизни доводится встречать новый век,— говорили мне в нашем вагоне.— Ты запомни, как с ним встретилась,— на ходу, в снегу, на дороге.

И я запоминала, ни за что не хотела ложиться, хотела сидеть со всеми за праздничным столом и слушать, что будут люди говорить, а потом, когда старые станционные часы прохрипят двенадцать ударов, вместе со всеми поднять свой стакан и крикнуть: «За новый век!»

И вот — в девять часов вечера — стали рассаживаться. Все, кто был в поездах. Без различия чина-звания, платочков и шляпок. Стол был в складчину, но собирали подписным листом на тех, кто не мог заплатить. Стол был дешевый, еды оставалось совсем мало. Выпивки уж не помню, много ли. Мне и другим «несовершеннолетним» налили по стаканчику сладкого морса. Я не хочу выдумывать и честно скажу, что не помню речей. Их было множество, говорил даже разгулявшийся купчина, станционный ресторатор. Были и тосты, по тому времени предусмотренные,— за царя и его «августейшее семейство». Но конец — сильный конец, пришедший с особенным нажимом и как бы стряхнувший с ресниц сонливость,— врезался мне в память настолько, что я его помню сейчас и буду хранить в памяти до смерти.

Говорил какой-то человек, в погонах, высоким, почти бабьим голосом, повизгивая на концах фраз. Он желал нашему государству чести и славы, побед на суше и на морях, флагу русскому развеваться и престижу высоко стоять... а когда заканчивал фальцетом каждую фразу, словно вскидывая ее, как флаг, раздавались одоб-

рительные хлопки в ладоши. Он кончил, утерся платком, осушил рюмку — и тут встал невысокий человек с каштановой бородкой и добрыми впалыми глазами, о котором я уже знала, что он учитель и болен сердцем, потому что к нему ходил с врачебной сумкой мой отец в вагон третьего класса. Он говорил очень тихо, и я рада сейчас, что в те годы слух мой еще не упал.

— Как понимать престиж...— начал он свою речь.— Вот наша великая русская литература подняла престиж русского человека за границей. Чем? Идеалами, отсутствием зависти, умением понимать и любить все хорошее у других, как свое, широким чувством человека и человечности вообще. Благородством. Вот мы тут подняли престиж русского человека, хотя об этом никто в барабан бить не будет. У нас могла бы тут свалка получиться, худшие стороны показали бы люди — требовали б, искали б для себя привилегий, начальство подкупали, отлынивали от работы — черт-те что произошло бы на станции Бирзула, о чем потом стыдно было бы вспоминать... А сейчас у каждого на душе светло, встречаем новый век организованно, по-человечески. Значит — можно так жить. Желаю новому веку, чтоб пришел к нам в обличии человеческом и научил, как правильно жить!

В клеенчатой тетрадке у меня записано: «Правильно жить!» Так встретила я новый, XX век на станции Бирзула.

7

Когда наконец поезд пришел в Тирасполь, старый век был уже позади, но армянское рождество — наступающее позже, когда православная церковь празднует крещение, все еще поджидало нас. Почтовая станция с одной горницей для приезжих знакома нынешнему читателю только из русских классиков. Чехов, кажется, последний, кто описал ее. А ведь в свое время она будила в современных ей путешественниках такое же чувство, как теперь вокзал или аэропорт,— чувство отъезда, ожидания, перехода. Может быть, менее торопливо закусывали и закуска была менее прихотлива,— шумный, с угарным дымком самовар, обязательно медный, завернутые в домотканое полотенце теплые яйца, темные мучные лепешки, крупная темная соль в солонке,— но вот звякает бубенец, с лошадиных морд ямщик стягивает холщовые мешки с овсом и куда-то под сено прячет их, а мы закутываемся в пледы поверх шуб и забираемся в расписные широкие сани, полные сена. Деревни Ташлык и Малоешт запомнились мне только тем, что названья их напоминали «шашлык» и «мало ешь»,— почтовые станции такие же, столбики с поперечными черными полосами вдоль снежного пути такие же, дети станционных работников, черноглазые, как цыганята... В Григориополь приехали поздно ночью, и я уже крепко спала, когда сквозь сон перешагнула через порог дедушкиного дома.

Самого дедушку увидела утром. Он сидел, большой и тучный, с грузными, отекшими ногами, изжелта-бледным обвисшим лицом, в кресле, тихо сидел, ничего не говоря, и слышно было, как он

тяжко дышит: у него была водянка. Тетя Нина — мы с сестрой хорошо ее знали по частым наездам в Москву — ходила вокруг него с той бестолковой и мелкой заботливостью, какую англичане гениально и непереводимо называют «fussing». Это сравнение, разумеется, пришло мне в голову позже, а тогда я только думала, что тете Нине ее новое положение полной хозяйки, с беспомощным, как кукла, дедушкой на руках, видимо, очень нравится. И мне нравилась тетя Нина и всё в дедушкином доме. Это был большой дом против собора, с чем-то вроде чердачка, куда надо было лезть по крутым, набитым на доску ступеням и где хранились без шкафа и полок, а просто рядами на полу старые книги — главным образом журналы для семейного чтения, переводные романы и календари. Тетя Нина, поповская дочка, была очень хороша собой — золотисто-каштановые густые косы, черные глаза, фарфорово-матовый цвет лица, сохранившийся у нее до глубокой старости. Дома у нас она совершенно влюбляла в себя и меня и Лину, мы часами слушали в детстве, как она рассказывала нам арабские сказки, вычитанные ею из «Тысячи и одной ночи». Творческого дара у нее не было, рассказывала она как по-писаному, ничего не изменяя, но чуть с армянским акцентом, и это придавало сказкам особенную, захватывавшую нас достоверность. По словам матери нашей, у Нины (в семье звали ее Нунэ́) был «несносный характер»: каждый ее приезд связан был с найденным для Нунэ женихом, в нашем доме происходили знакомства, но последствий не имели: капризный нрав невесты отпугивал женихов.

Она вышла впоследствии замуж за коренного григориопольца, «столбового дворянина», Сатова — Сатовы, богатые купцы, выхлопотали себе в век Екатерины потомственное дворянство,— и ездила с мужем по разным малоазийским центрам, где он служил консулом. От этого «дяди Вани» мне достался по наследству огромный альбом с марками — он был филателистом. Тетя Нина впервые рассказала нам о прадеде, врачевателе Макарии Шагинянце, возглавлявшем в 1792 году одну из групп переселенцев-армян из Измаила; и о том, как дедушка служил секретарем у епископа Габриэла Айвазяна, и главное — о рукописи, которую дедушка понемножку писал всю свою жизнь и назвал ее «О подражании Христу». Эту рукопись — сероватые плотные листы бумаги, исписанные каллиграфическим почерком по-армянски, старинным грапаром,— я видела собственными глазами.

Григориополь летом, как я убедилась недавно,— живописнейший городок на Днестре. Тогда же, зимой, он показался мне большой деревней, с непонятным отношением жителей к детям. Как-то вечером отец был приглашен в богатый дом городского головы, он взял и меня с собой. У городского головы была дюжина детей, к ним пришла в гости еще дюжина, и все они, от семи до двенадцати лет, были отправлены вниз, в полуподвальное помещение с длинным деревянным столом без скатерти и с табуретками вокруг него — пить чай. Мы сели по двое на табуретку, нам дали по большой чашке кипятка с молоком и по куску сахару на каждого. Посе-

редине стола возвышалась большая груда сухарей из простого хлеба, явно насушенных неровными кусками и корками из того, что собирают после еды со стола. И самое удивительное было для меня — это жадность и быстрота, с какой дети поглощали эти огрызки, их мокрые от кипятка рожицы, лоснящиеся от удовольствия, слюнявые губы и щеки. Сахар они грызли мелко-мелко, собирая каждый его осколочек. «Неужели их морят голодом?» — думалось мне в тот вечер. А наверху пировали взрослые, хлопали пробки, доходили аппетитные запахи. Когда я попробовала пожаловаться на это отцу, он посмотрел на меня с удивлением: «Желудки у детей будут здоровые, а подрастут — не станут привередничать. И вкуса касторки они не знают, а вот ты наешься язычков и маринадов — закачу тебе столовую ложку...»

И еще одно тягостное воспоминание связано у меня с Григориополем. Тетя Нина привела ко мне, чтобы не скучала, дальнюю родственницу Розу Касапову, года на три старше меня. Роза говорила со мной при старших шепотом и в первый же день показала дорогу на заманчивый чердачок, где мы тотчас же взялись за чтение. Мы читали романы про любовь. Это было первое чтение «про любовь» в моей жизни. Правда, я уже почти наизусть знала Пушкина, читала и «Вешние воды», и «Обломова», и «Богатого жениха», но ни Тургенев, ни Гончаров, ни Писемский еще не воспринимались мною как писатели «про любовь» — они писали про природу, про жизнь вообще, про человеческий характер, у них выступали на первое место события и качества человека, вы застревали на этом главном, как на кольях в заборе, а зеленая травка любви, росшая между кольями этого забора, не была сама по себе главной, она казалась частью самого человека. Только много позднее почувствовала я эмоциональную прелесть любви и в «Барышне-крестьянке», и в «Вешних водах». А тут, в романах с продолжением, которые мы жадно поглощали с Розой из старых, пыльных журналов, любовь, как масляное пятно, стояла на поверхности, занимала все содержание.

И почему-то в ней, такой важной и первостепенной у разных героев этих романов, было что-то, заставлявшее нас конфузиться и держать наше чтение в секрете от тети Нины. Но однажды доска с набитыми ступеньками, ведущая в наш чердачок, закачалась под тяжестью — к нам шел мой отец. Мы не успели убрать от него книгу. Он взял ее у меня из рук, посмотрел, полистал, бросил в кучу других, а мне закатил оплеуху. Первую в моей жизни. На глазах у этой Розы, перед которой я хвасталась своей начитанностью. Не очень сильную, но позорящую оплеуху... «Папа! — крикнула я взбешенно.— Ничего там нет особенного! Давным-давно это все мне известно... Ты сам давал читать Тургенева, Пушкина...» И тут произошел у нас диалог по эстетике, в клеенчатую тетрадь не записанный, но запомнившийся. Отец ответил мне сердито и категорически: «Это пошлятина, серость. Я тебе давал художественные вещи, а ты мразь всякую читаешь. Любую хорошую вещь, любое человеческое отношение можно испоганить бездарным,

пошлым языком. Этак у тебя вкус отобьется от настоящего, большого чтения и вырастешь ты пошлой бабой...»

Еще он говорил в этом же духе, а я чувствовала себя оскорбленной, и главное — никак уже не узнать, чем кончилась встреча князя Суконцева с баронессой Эмилией в беседке над Рейном... Я заплакала сердитыми слезами. Но сейчас — сколько лет прошло? Семьдесят лет! Сейчас, спустя семьдесят лет, как ясно помню и его слова, и тон, которым он сказал их,— отец никогда не говорил с нами, как с маленькими, он как будто думал вслух, и это заставляло невольно прислушиваться и против воли, не уступая, соглашаться где-то в глубине души.

Дедушку мы с ним видели в последний раз. Он умер спустя несколько недель после нашего отъезда. Каникулы мои кончились, в Москве ждала гимназия, и когда пришла в Москву телеграмма, я как-то не почувствовала безвозвратность смерти, не пережила ее, хотя это была первая смерть в моей жизни. Мы с Линой еще не знали, что на нас надвигается другая смерть, которую мы безнадежно переживем и почувствуем. Через полтора года, осенью 1902-го, совсем молодым умер и наш отец.

8

Странным образом первое воспоминание после смены теней на стене и сборчатого подъема штор снизу вверх на окне — с мутным обнажением утра — сохранилось у меня о том, как отец репетировал перед матерью защиту своей докторской диссертации; и даже это длинное, трудное слово «диссертация» запомнилось, как будто застряло в слухе из далекого, далекого прошлого. Сейчас лежит передо мной в бумажной обложке, напечатанная в московской типографии Бархударова, эта диссертация под названием «По вопросу о колебаниях температуры выдыхаемого воздуха при различных состояниях животного организма». У нее подзаголовок: «Экспериментальное исследование». И внизу год напечатания — 1981-й.

В 1891 году мне должно было быть только три года. Но если напечатана диссертация позже защиты, то воспоминание закрепилось и того раньше. Оно держится в памяти пластично: фигурой отца, стоящего лицом к матери и положившего обе руки на спинку стула, повернутого к нему этой спинкой. Мать сидит перед ним с опущенными на колени руками, обрамленными у кистей кружевными нарукавничками, и смотрит на него. Отец говорит, не глядя ни в какие бумажки. Он произносит несколько раз слово «собаки». Он делает широкие жесты правой рукой в сторону от себя, но опять возвращает руку на спинку стула. Откуда я это подсмотрела? Почему запомнила? Может быть, множество раз после этого у нас произносилось слово «диссертация» и оно сделалось у нас своим, домашним словом? Не знаю.

Спустя сорок лет в Кисловодске от больного доктора Штейнмана, которому я дала на прочтение отцовскую диссертацию, я

услышала о ней похвалу как о труде оригинальном. И еще спустя несколько лет мне опять захотелось проверить это мнение на академике Коштоянце. Он прочел диссертацию и сказал мне, что жалеет, почему не познакомился с нею раньше,— «если б знал раньше, непременно включил бы ее в свою историю физиологии в России, которая уже печатается; вот, может быть, при повторном издании...». Повторного издания до смерти Коштоянца не было. Наконец, за три года до того, как я пишу эти строки, опять в Кисловодске, мне вздумалось самой проштудировать эту книгу с рассыпающимися, плохо сброшюрованными, глянцевитыми листами,— книгу, которую я почему-то уже несколько лет таскала с собой по курортам и все еще не заглядывала в нее сама. И чтение ее превратилось для меня в настоящую работу с настоящим мозговым переутомлением.

Я не только читала, а, по всегдашней своей привычке, конспектировала читаемое в своем дневнике и все многочисленные эксперименты, проведенные на собаках,— целых 28 таблиц с восемью подразделениями по вертикали и десятком по горизонтали,— графически перерисовала. Мне нравилось следить за системой мышления, основанной на опытах. Опыты были беспощадны. О собаках указывалось — точный вес в килограммах и какая она — длинношерстая, короткошерстая. И уже то, что вес был в необычном для того времени метрическом измерении, когда у себя в быту мы считали на фунты, четвертку, осьмушку, показывало, что диссертация приспособляется к мировому обмену опытом в этой же области, как почти все научные работы тех лет, соблюдавшие и общий календарь с европейскими странами (наш, как известно, отставал на 13 дней), и единство мер и весов. Но прежде чем начать читать о собаках, я была последовательно введена в некоторые, мало мне знакомые области.

Во-первых, в историю учений о теплоте организма — сперва в физическое, потом химическое образование тепла, потом — о разных других его источниках — от движенья внутренних частей тела, от трения крови о стенки сосудов, от явлений магнетических, электрических. И тут же прибавила от себя — от горения фосфора в мозгу при творческой работе. Передо мной в очень сухих фразах, коротких, как формулы, начала раскрываться рабочая деятельность нашего тела, почти независимая от нас самих, отделенная от нас, как кусок природы,— и такие интересные моменты в этой работе, которые тотчас хотелось сравнить с процессами нашей духовной жизни. Скучное место в предисловии. «Атомы химических разнородных тел вступают с собой в химическое соединение и тем освобождают определенное количество теплоты. Наоборот, сложные тела, разлагаясь на составные элементы, приводят к охлаждению (связывают тепло)». Любовь — и смерть! И совсем не скучная аналогия с одним из самых психологических романов мировой литературы — со «Сродством по выбору» Гёте...

Понемножку, двигаясь тугими страницами диссертации и знакомясь со специальной ролью легкого в теплообразовании, с воздухо-

носовыми и дыхательными путями (носоглотка, трахеи, бронхи и т. д.), я все время наталкивалась на аналогии с тем, что меня сейчас, спустя много десятков лет после написания диссертации, окружало, как самоновейший «модерн».

В санатории, где мне пришлось читать отцовскую диссертацию, этим «модерном» был кабинет врача-йога. Он ставил многим из нас дыхание, кое-кого научил стоять на голове, давал читать «литературу», где первым дыхательным уроком у йогов было: дышать через нос. А в диссертации нос не только назван главным органом для дыханья, но и просто и наглядно объясняется механика дыханья через нос как нагревание, увлажнение и очищение вдыхаемого воздуха. Оказывается, целая плеяда врачей прошлого занималась сравнительным изучением вдыхания воздуха через нос и через рот, приходя иногда к неожиданным выводам. Вот врач Коллин: он утверждал, что пороки зубов — от привычки дышать ртом. Или забытый доктор Готтштейн: да, нос играет предохранительную роль, но вот в резких колебаниях атмосферы дыхание через нос и только через него может вредно отразиться на слизистой оболочке... Наблюдение мимоходом, чуть ли не столетней давности, а сейчас, в наш «самолетный» век, хорошенькая стюардесса скажет вам при резком нарастании давления, когда вы сидите в кресле и дышите, как полагается, через нос: «Откройте рот» или «Держите рот открытым»,— и это мгновенно помогает носоглотке, всему организму,— как помогает, если идти дальше, крик (при внезапном ужасе), глубокое «ах» (при открытии или удивлении) с непременным вдохом через рот. Находить точки соприкасания между физиологией и психологией — это ведь тоже «плюс» от таких экспериментальных работ, походя, между главным делом отмечающих явления, ценные для далекого будущего.

После прочтения вводных глав я обратилась к пугающей меня части отцовской диссертации,— экспериментальной. В дневнике перед ее конспектом коротенькая запись красным карандашом с тремя восклицательными знаками: «отец, отец! Убивал собак!!!» А без этого было нельзя.

Ну что интересного — узнать, как изменяется температура *выдыхаемого* воздуха по сравнению с температурой *вдохнутого*? А ведь это значило — заглянуть в обмен, происходящий в организме, понять процесс его получения и отдачи и — значит тайну его постоянного, сохраняющего себя равновесия, его statu quo. Как и каким образом, при бесконечных переменах условий нашего существования, в смене климата, погоды — давления, влажности, засухи, ветра, жары, холода, бури — хрупкий организм человеческий ухитряется мгновенно выравнивать внутри себя стойкость своего бытия? Мы творим свою духовную работу на земле, а наше тело, независимо от нас, делает свою; оно неумолчно, неустанно, безостановочно, даже во время сна, когда мы отдыхаем, ведет эту телесную работу, словно незримый кормчий в корабле нашего тела, меняющий тотчас, по мере надобности, паруса, мачты, рулевое маневрирование, подъем и отдачу якоря...

Но подсмотреть, как изменяется температура выдоха,— не легко. Надо сперва заставить вдохнуть — вдохнуть разного качества воздух,— разной степени теплоты, в разных условиях, разной деятельности; а затем поймать и зафиксировать выдох. И этот эксперимент услужливо помогают провести бедные наши друзья, убогие и беспородные, низшего класса (потому что и тут не затрагивается привилегия знатности пород!) — собаки. Двадцать восемь таблиц — двадцать восемь мучеников, длинношерстых и короткошерстых, разного веса, но одного «социального слоя» — дворняг.

Опыт отца имел свою долгую историю еще на человеке. Сколько ученых, сколько приборов! Валентин, Вейрих, Ломбард, Ашенбрандт... Неуклюжая возня со стеклянными и каучуковыми трубками, накачивание воды, охлаждение воздуха, согревание воздуха, взятие пробы «вдоха» и «выдоха» из правой ноздри, из левой ноздри. Но отцу нужна была не наивная техника и манипуляция с человеческими ноздрями, а более сложная аппаратура и более точное изучение теплоотдачи, и не нос, а трахея была избрана как место опыта.

Я написала: 28 таблиц; это — в книге; но сделано было не 28, а 96 опытов, почти сотня собак. Они взвешивались, им давался наркоз морфием, собаки привязывались — к столу животом кверху, им производилась трахеотомия. Холодный воздух впускался через трубку в комнату с улицы. Трубка эта соединялась с маской, плотно надетой на морду подопытной собаки. Воздух измерялся при вдохе, а для изучения выдоха служила канюля, вставленная в трахею после трахеотомии. Собаке давалось дышать сперва нормальным воздухом, но в разных условиях: при вливании в вену физиологического раствора, при введении гноя, при зажатии брюшной аорты, перевязывании крупных сосудов и т. д. И все, что совершалось с дыханием животного при этих искусственных условиях,— длительность опыта, учащение, понижение, прекращение дыхания, степень отдачи тепла легкими, сердцем, прямою кишкой,— все это фиксировали таблицы в их горизонтально-вертикальных клетках. Не видно было в них только мучительных судорог, страдания, долготерпенья, обреченности живого, умного животного, привязчивого, доверчивого к человеку. И лишь эпитафия: «В большинстве случаев собаки умерщвлялись электропунктурой сердца или кровопусканием» — коротко извещала о конце этих мук.

А в результате... результат оказался очень большой, очень важный.

В 1826 году Пушкин узнал о смерти Амалии Ризнич, той самой гордой красавицы, полуитальянки, полуеврейки, дочери венского банкира, которую он любил «с таким тяжелым напряженьем, с такою нежною, томительной тоской, с таким безумством и мученьем»... Ризнич умерла от чахотки в жаркой Италии:

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увяла наконец...

А спустя восемьдесят лет, в самом начале иашего века, мы с сестрой ехали иа крохотиом катерке «Отважный» из Новороссийска в Геленджик. Тоже под голубым небом юга, в иестерпимой жаре. Мы сидели иа палубе, а среди пассажирок одиа лежала. Тут же, на пледе, под раскалениым солицем. Лицо ее было желтое, в стекающих струйках пота, губы полуоткрыты, руки безжизиеины и ие сгоняли мух, липиувших к ее щекам. Кто-то сердобольио обмахивал девушку платком. Эту чахоточиую студентку послали лечиться на юг, в дешевый курорт Гелеиджик, а ей было худо от юга. Между тем — из старых ромаиов — мы зиаем, что имеиио южиое солице считалось целительиым для чахоточных и посылали врачи своих больиых в Италию, в Ниццу, иа Чериоморье, где оии «томились и увядали».

Лечение туберкулеза южным солицем вело свое теоретическое начало от большого учеиого Коха. Ои иашел, что туберкулезиые палочки гибнут (теряют свое действие) от температуры в 42 градуса. Из этой коховской формулы выросло два практических метода: одии — лечение больиых горячим сухим воздухом — Вейгерта; другой — лечеиие горячим влажным воздухом — Крулля. С огромиейшим иитересом читала я об экспериментах отца иад собаками, проверявшего со скрупулезиым терпением оба метода. Техиика этих опытов была страшио сложиой: в правый желудочек сердца вводился тоиенький ртутиый термометр и такой же в левый желудочек — через сониую артерию; потом очень тонкие чувствительиые термометры (описаиие всей мучительиой сложиости этой операции таково, что, даже читая, стараешься затаить дыхаиие!) вводились через межреберные простраиства в плевральиые мешки. А собаке с помощью аппарата Вейгерта давался для дыхаиия сухой воздух, нагретый до 300 градусов. Опыт длился час-два. Опытов произведеио четыриадцать. И обиаружилось, что ие туберкулезиые палочки, а иосоглотка пострадала от этого метода. Горячий сухой воздух охлаждался еще в самом иачале дыхания, в иосоглотке,— ои, естествеино, стремился насытиться влагой, соприкасаясь со слизистой оболочкой. Слизистая как бы съедала весь жар до его поступлеиия в легкие — на вскрытии оиа оказалась резко сухой, как бы высушеииой жаром.

Итак, губительиый для туберкулезиых бацилл горячий сухой воздух до легкого доходит охлаждеиным и при этом повреждает слизистые оболочки. Если б отец жил в век участившегося рака, ои мог бы заинтересоваться проблемой слизистых оболочек в их охраином значении при заболеваиии раком (ростом аморфных тел там, где слизистые потеряли свою живительную защитиую роль). Но в те годы, коиец прошлого века, люди меиьше курили и меиьше загажеи был воздух в городах, которым дышат сейчас люди. И вопрос о засореиии иашей крови через вдыхаемый воздух, об угрозе всякой закупорки мельчайших сосудов через гиусную пыль и воздушиые отбросы, которые стремится обезвредить иаша бедиая слизистая, умерщвляемая вдобавок и спиртом, и табачным дымом,— еще ие вставал во весь рост... Но вериемся к опытам отца.

Неудачи Вейгерта объяснены были сухостью горячего воздуха. А что, если заранее насыщать его водяными парами и давать дышать влажным горячим воздухом? Тогда что? Этим методом пробовал лечить Крулль, и проверке метода Крулля посвящены следующие опыты отцовской диссертации.

Отнесся отец к теории Крулля очень внимательно, тем более что сочинивший свой аппарат с нагревом увлажненного воздуха до 46 градусов (по Коху) Крулль, по его собственному заявлению, лечил туберкулезных больных, дышавших от тридцати до сорока минут этим воздухом ежедневно, с явным успехом; и в медицинском мире имелось очень много сторонников его метода. Отец провел три группы опытов с вдыханием влажного нагретого воздуха. Спокойно вели себя животные до 35 градусов нагрева. Но уже с 38—40 градусов животные начинали беспокоиться, конечности их судорожно подергивались, а при 41—45 градусах возникало страшное беспокойство, привязанная собака билась и рвалась, ее три человека едва удерживали руками. При анатомическом вскрытии оказалось, что излишек влаги и сухость одинаково тяжело действуют на слизистые оболочки. Слизистая носоглотки набухла, дыхание стало затруднительным, и способом Крулля вместо улучшения можно было вызвать грозные явления кровохарканья, сильное повышение температуры, перерыв дыханья.

И вот важнейший практический результат, ради которого собаки пожертвовали своей жизнью: нельзя лечить чахоточных больных жарой и солнцем, сухим горячим и увлажненным горячим воздухом! Те, кто лежит сейчас под пледами среди снежных вершин Давоса и дышит его здоровым холодным воздухом, и не подозревают, какими долгими путями и каким обилием научных работ не одного лишь моего отца шла медицина к простому выводу: «У чахоточных лихорадящих и наклонных к кровохарканью лечение методом Крулля безусловно противопоказуется». А ведь сделан был этот вывод в ожесточенной борьбе сторонников и противников модного не только тогда, но и немало времени спустя доктора Крулля.

Разумеется, все это я представляю себе ярко и образно, прочитав впервые отцовскую диссертацию лишь в свои восемьдесят лет. Но я подсматривала и подслушивала отца из полуоткрытой двери столовой, когда мне еще не было и трех лет. Помню пластику жестов, помню, как врезалось в память слово «диссертация». Может быть, и еще что-то, не сказуемое в слове, не осмысливаемое детским мозгом, через ритм и движение лица, через дождик падающих слов, заронило тогда в ребенке магию человеческого опыта, удовольствие пробовать, испытывать, изменять?

Но вот случай из раннего моего детства, постоянно рассказывавшийся у нас в семье,— из-за него я и угостила моего читателя отцовской диссертацией. Кстати, отец защитил ее на доктора с большим успехом, отмеченным в тогдашней печати. А случай, как это ни странно, связан с ней не только моим воображением, но и особым отношением к нему моей матери.

Во всех других семьях, мне кажется, меня бы порядком за него отшлепали и приписали дурному свойству характера...

Дело было так. Сестренка моя, пухленькая, беленькая, спала в своей кроватке. Ламп еще не зажгли, был сумрак перед чаепитием. Мать и тетя Ашхэн сидели в столовой, обсуждая семейные дела. Маша, горничная, готовила у буфета чашки. Няня вышла на кухню. Я слушала из открытых дверей детской, что говорят взрослые. «Удивительное дело,— говорила тетя Ашхэн (она же крестная мать обеих нас).— Лина у тебя беленькая, как блондинка. А Мариэтта — настоящий цыган, до того смугла лицом». Совершенно не помню, что я тогда на эти слова подумала. Но ясно помню, что я сделала. Я придвинула стул к полке в маминой спальне, где лежала в металлическом стаканчике кисть моего отца для бритья. Она и сейчас хранится у нас — с пожелтелой, из слоновой кости ручкой и огрызком очень мягкой кисти. Потом взяла чернильницу из папиного кабинета. Подойдя к кроватке, я разбудила сестру. И в ту ее бессознательную пору и до самой ее смерти, акта величайшего сознания,— мне кажется, она сразу поняла меня и всегда понимала больше, может быть, чем я сама себя понимаю. Она протянула мне ножку, потом другую, потом обе ручки. Я обмакивала кисть в чернильницу и мазала их чернилами. Я вымазала ее всю, вошла в столовую и сказала матери и тетке: «Ну теперь идите поглядите».

Они обе поднялись, встревоженные моим тоном. Увидя Лину, мать вскрикнула. И крик и слова врезались мне в память: «С ума сойти! Отец над собаками, она над сестрой!» Лину долго отмывали в воде с содой, и только в ванне она заплакала. А меня никто не тронул, никто не выругал, и, слушая, спустя много лет, мамины рассказы об этом случае, я всякий раз переживала его именно таким психически, каким он был: не из зависти, не из-за дурной досады на сестру, что вот она белая, а я черная,— но из особенного интереса изменять и пробовать, возбужденного всей тогдашней атмосферой в доме, интереса творческой находки. Белое и черное, мое и твое не воспринимались мною со знаком качества — лучше — хуже, ближе — дальше,— а только как разные, но разные не навсегда, разные переменчиво. Атмосфера в доме была насыщена сообщениями отца о своих опытах и повторением вслух диссертации,— и мать тотчас связала мою выходку с этими опытами.

Еще один случай раннего детства запомнился мне опять такой же «психической» памятью — до сих пор, вспоминая, переживаю его, как тогда. Случай этот был — ужас, ужас без границ, без облика, без причины, без объяснения,— полвека спустя я прочитала в «Феноменологии» Гегеля об ужасе выпада из времени, ужасе мысли о смерти, переживаемом при жизни, задолго до самой смерти. В кабинете отца, узкой комнате с одним окном, был диван. Как-то в сумерки после обеда я прилегла на этот диван — взрослых не было дома, няня с сестрой в детской — и сразу заснула. И вдруг проснулась от нестерпимого, леденящего кровь черного ужаса. Он был черный, он клубился, как пар, поднимался и опускался, вытя-

гивался, протягивал безвоздушные ватные клубни к горлу, к мозгу,— я не могла крикнуть, я цепенела. Потом, так же сразу, как пришло, это рассеялось, и сквозь черноту пробилась серость сумерек, потому что в окне еще завершался короткий ноябрьский день. Никому ничего не сказав, я долго унимала в себе какую-то неприятную, мелкую-мелкую дрожь всего тела, дрожь сердца, коленей, пальцев. Вероятно, что-то физиологическое, нажим на какую-нибудь железу, вызывает это состояние смертельного черного ужаса.

Мне довелось пережить нечто подобное еще один раз в жизни, будучи уже «в летах»,— в 1933 году, в Берлине. Я лечилась тогда в клинике профессора Леви, позднее уничтоженной фашистами. Фриц Леви был обаятельный врач-ученый, он мне очень нравился. Я ходила днем в его клинику, а вечером он приходил ко мне в пансион «Frau Glück», где я жила, на улице Клейста. Мы без конца говорили с ним на философские, биологические медицинские темы. Он работал тогда над исследованием «точки утомляемости»,— и меня тоже интересовало, когда и как наступает эта точка, нужно ли ее преодолевать новым напряжением работы, как это делал Наполеон, или же «пробездельничать» ее (vertändeln), как советовал Гёте.

И вот однажды вечером пришла ко мне вместо профессора Леви его жена — худая, суетливая женщина с волосами мышиного цвета, очень тонкими, вьющимися, но безжизненными, как сухие травинки. Возбужденно болтая, она почти не слушала, что я говорю, она в меня всматривалась сухими, травянистого цвета глазами, всматривалась, точно хотела пролезть в душу, и все повторяла, как много у нее связано с жизнью Фрица, и связь их — особенная, связь сердца, дела, профессии, и она — жена-друг, жена-секретарь. Мне стало ясно, что фрау Леви бешено ревнует меня к мужу и ждет от меня какого-то слова. Какого? Я не могла придумать. Сказать, что никак не посягаю на профессора? А вдруг мне все это мерещится и будет невпопад? Сказать, что мне просто нравится общение с ним? Убедительного слова я так и не нашла. Прощаясь, она встала из-за стола и почему-то повернулась не к двери, а к моей кровати, над которой на мгновенье нагнулась. Я чувствовала досаду и неловкость и не придала значения ее жестам.

Когда фрау Леви ушла, я еще долго сидела за столом, доедая торт, до которого она не дотронулась, и как-то лениво раздумывая над оглупляющим чувством собственности на своих мужей у жен и дурацкой ревности, для которой нет никаких оснований. Потом разделась, откинула немецкий пуховик, забралась под него и с сознанием своей полной правоты и невинности мгновенно заснула. Проснулась — от леденящего ужаса. Опять клубилась чернота вокруг, она ползла снизу, она угрожала,— ужас был как от присутствия гада в комнате, присутствия смерти,— я вскочила на стол и, босая, почти без сознания, держалась так, стоя, на столе, пока не пришел рассвет и нигде в комнате, ни на полу, ни на постели ничего не оказалось. Только та же самая мелкая дрожь, делающая беспомощным человека, сотрясала всю меня изнутри.

Днем, обыскав всю комнату, я нашла под кроватью бумажку, в какой бывают аптечные порошки или растительные семена. Из рассказов профессора я знала, что они с женой побывали в Африке, путешествовали по Востоку и у них дома собрано много всяких «достопримечательностей». А из книжек, уже не помню каких, вычитала, что на Востоке есть «порошки ужаса», дающие человеку дурной сон и смертный страх. Возможно, фрау Леви попотчевала меня таким порошком. Позднее оба они эмигрировали в Соединенные Штаты. А печатные труды Фрица Леви, его клинические работы в каком-то турецком лазарете, его огромный труд об утомляемости хранятся у меня до сих пор на полке — с его любезными автографами.

Ужас, пережитый в детстве, напоминал этот берлинский. Но был безличней. Я назвала его выпадом из времени, провалом сквозь время в Не-Время. А что такое Не-Время и почему оно вселяет смертный страх — до сих пор не знаю и не понимаю. Только позднее выросло у меня особое, детское, любовное доверие к течению времени, желание как бы держать его всегда за руку, близко, словно родное нечто, и сознавать его другом, хранителем, устроителем жизни. Так, в годы моей молодости, из теплого чувства любви к течению этой родной реки-Времени, я написала Оду, какой ни один поэт ни в древности, ни в современности не писал,— Оду Времени (с большой буквы).

Приведу ее здесь для читателя, хоть она и была давно уже напечатана.

ОДА ВРЕМЕНИ

I

Тебе, кому миры подвластны,
Кто чередует свет и мглу,
Мой скромный стих, мой слабогласный,
Споет ли должную хвалу?
Блуждает память в миллионе
Лет, отмелькавших, словно сон,
А там, в твоем несчетном лоне
Роится новый миллион.
За голубым его теченьем,
Подобным Млечному Пути,
Суди грядущим поколеньям
Опять Грядущее найти!

II

До той поры, пока могильный
Приносит сумрак забытье,
Твой лепет ласково-умильный
Сопровождает бытие.

Не перенесть любви и боли,
Ни гнева, ни высоких дум,
Когда б не пел над нами боле
Твоих могучих крыльев шум;
Когда б не плавный лёт, скользящий
Из мига в миг, из часа в час,
Таинственней мечты и слаще
Забвенья — не баюкал нас!

III

И в соке лозы виноградной,
И в песне, что пропел поэт,
Твой легкий шаг, твой шаг отрадный
Почетный оставляет след.
Ты тленный прах даруешь тленью.
Но формы, где рождался бог,
Животворит прикосновенье
Твоих легкокрылатых ног.
Творец, не жди мгновенной дани
И тьмы забвенья не страшись!
Что время сжало в мощной длани —
Оно, летя, возносит ввысь.

IV

Нам душу грозный мир явлений
Смятенных хаосом обстал.
Но ввел в него ряды делений
Твой разлагающий кристалл,—
И то, пред чем душа молчала,
То непостижное, что есть,
Конец продолжив от начала,
Ты по частям даешь прочесть.
Ты миру судишь материнство...
И с первых дней земной чете
Лишь суждено дробить единство
В слиянья роковой мечте.

V

Ты — цепь души неутоленной!
Чем от тебя я отделю
Свой смертный разум, прикрепленный
К тебе, как пламя к фитилю?..
Но на стебле твоем растущем
Хранит незримая ладонь
Взвиваемый к небесным кущам
Познанья медленный огонь.

И может быть, в преддверье света,
Остебеленный кончив путь,
Вспорхнет, как голубь, пламя это
И сядет Истине на грудь.

VI

Как подойти к последней сени?
Как сердцу примириться, чтоб
Не быть, не слышать шум весенний
Земли, спадающей на гроб?
Но тяжкой ношей наши плечи
Обременяет ход времен,—
И вот уже не страшно встречи,
Упокоительной, как сон.
И вот насыщенный, изжитый,
Вкусивший от добра и зла,—
Дух сам собой возводит плиты
Над жизнью, хладной, как зола.

VII

Так обрастай же все мгновенья,
О время,— длиннорунный мох!
Да не замрут тебе хваленья,
Доколь в груди не замер вздох,
Пусть с примиряющим лобзаньем
От нас твои отходят дни,
И ты спокойным указаньям
Волненья сердца подчини.
Судья людей в любви и гневе!
Всем взмахам твоего крыла,
Тебе, кормящее во чреве
Мечту о Вечности,— хвала!

1915

Хочу здесь сказать н еще одно. Французский ученый Жан Пьяжэ написал труд о воспрнятии времени у детей [11]. Он не выдумывал, его выводы покоились на проведенных с детьми опытах. Он пытался установить арифметическое, счетное измерение временн у детей, исходя из того, что математикн н философы, все,

[11] The Voices of Time. A cooperative survey of mans views of time... New York, 1966. Jean Piacet. Time perception in children, p. 202—216.

кто в истории науки берутся определить время, подходили и подходят к нему с числовой, измерительной линейкой. Считая восприятие времени вообще процессом числительным, Жан Пьяжэ так именно и ставил свои опыты. И тут вдруг он наткнулся на странное, как ему показалось, недопонимание, недомышление у семилетнего ребенка. Он приводит в виде примера возможный диалог, характерный отсутствием координации числа времени с его следованием, будто бы трудно дающейся ребенку:

«Сколько тебе лет?»

«Семь лет».

«Есть у тебя товарищ старше тебя?»

«Да, вот этот возле меня — ему восемь лет».

«Хорошо. Кто же из вас родился раньше?»

«Не знаю. Я не знаю, когда его день рождения».

«Но подумай хорошенько. Ты сказал, что тебе семь лет, а ему восемь, кто же из вас родился раньше?»

«Вам надо спросить у его матери, я не могу вам сказать».

Жан Пьяжэ рассуждает дальше о трудности мышления для ребенка, еще не умеющего координировать дату рождения с последовательностью числа лет. Но тот, кто внимательно читает его и следит за приводимыми им примерами, почувствует нечто другое, кроме того, что ребенок «еще не умеет...». Он почувствует, что осечка тут не от неумения, а скорей от разницы восприятия движения времени у ребенка и взрослого, разницы важной, многозначащей, интересной. Неувязка с ответом произошла, когда вопрос коснулся конкретного события,— дня рождения. Отпало внимание к числу лет. Выдвинулась последовательность фактов — празднование дня рождения его и его товарища, чей раньше. Это — первичное измерение времени ребенком не по числительной гамме вообще, где последовательность не имеет содержания, абстрагируется от содержания, выражается в голых цифрах,— а по насыщенному содержанием времени, событийному времени, которое запоминаешь не числом, а содержанием, не арифметически, а — исторически. Я выражаю здесь свое впечатление от опытов, приводимых Пьяжэ, выражаю очень несовершенно, очень неумело; но разве конкретность времени, никогда не бывающего пустым или лишенным содержания, не делает числительное, математическое, физическое, астрономическое измерение времени уже недостаточным? И тогда — не окажется ли многое «долгое» — коротким, многое «короткое» — долгим, многое последовательное — непоследовательным, многое разрозненное — логически сцепленным? Опыт детей нельзя рассматривать только под углом зрения их незрелости. Дитя — носитель своих прозрений, своей логики, которую оно еще не понимает само, но может удивить ею взрослого и заставить его задуматься.

Несколько недель назад я ехала в Ереван. Со мной в вагоне был один из милейших армяно-русских ученых, академик А. Г. Иосифьян. Мы разговорились об измерении времени после того, как он ввел меня в новые нелинейные процессы в электротех-

нике[12]. А нельзя ли представить себе и движение времени не-линейным, например — волнообразным, как бы «приливо-отливным», не таким, по движению которого чередовались бы исторические факты, а таким, сама природа которого влияет на факты или чередует их своими приливами-отливами,— вроде света, делающего вещи видимыми, спросила я Иосифьяна и, честно говоря, совсем запуталась, сравнивая время со светом. Академик не принял всерьез эту путаницу. Но потом вдруг сказал мне такую вещь: «Если смотреть со стороны человеческого восприятия... Тогда, например, «десять дней, которые потрясли мир», никак не уложишь арифметически в ряд с обычными десятью днями».

Течение времени у детей не укладывается в арифметический ряд. Когда дочери моей Мирэли было три года, Лина несла ее на руках из столовой в спальню, чтоб уложить спать. Дочке спать не хотелось, и, как все малыши, она выдумывала предлоги, чтоб оттянуть время, и попросила дать ей яблочко. «Яблочки уже все спят»,— ответила сестра. «Неправда,— сказала Мирэль,— это маленькие яблочки спят, а большие не спят!» Случай этот, рассказанный другу и тогдашнему соседу нашему, Михаилу Слонимскому, был, как анекдот, послан им в «Крокодил» и напечатан.

А ведь ответ трехлетнего существа был очень сложен,— время в нем оказалось богатейшего содержания, и притом не только «исторического» — маленькие спят, а большие не спят,— но в переносе на яблоки и практического, более выгодного для ребенка,— «большие по объему»...

Обратившись мыслями к своему прошлому, я с удивлением вижу, что многое в нем предвосхищает будущее, а то, что пережито в зрелые годы, озаряется внутренним светом того, что далеко, далеко позади. И снопом света бежит дорожка «отсюда — туда», по Пушкину:

...Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему...

9

Какая же была эпоха в те ранние дни моего детства? Что там происходило исторически — в обществе, в окружавшем мою семью социальном строе, в мире, лежавшем за его гранью, на планете, плывшей миллиарды лет вокруг нашего маленького солнца, в нашей маленькой галактике? Дети не знают этих вещей, чаще всего — не подозревают о них. С ними все происходит в очень медленном, почти стоячем мире внутренних событий их маленького

[12] Вот место в его статье «Прогресс советской электротехнической науки» (1967), по прочтении которого возникла наша беседа: «Существующие физические и теоретические основы электротехники, созданные Фарадеем, Максвеллом и развитые Лоренцем, являются по существу линейными теориями, не учитывающими атомно-кристаллическую решетку вещественных тел и гравитационно-инерционные явления атомов и молекул, участвующих в электромагнитных процессах и создающих фактически нелинейные процессы».

существа, поставленного в рамки каких-то строгих ограничений и необходимостей бытия — что можно, что нужно, чего нельзя, что обязательно. В частоколе этих направлений ребенок как бы стоит, замурованный, развивая внутри себя свой собственный мир возможностей.

У рабочего класса и у крестьянства в тяжелых тисках старого строя такой частокол, как ни странно, был подобен неподвижному ощущению времени в детстве, с таким же малым знанием своего исторического сегодня, только там частоколом было — добывание куска хлеба, вставание на заре, обязательная работа, монотония происходящих событий — труда, голода, праздников, похорон, свадеб. И накопление, сохранение традиций — в психологии, в одежде, в искусстве, в том, что искони принято народом. Мне приходило в голову, когда я изучала студенткой историю, что «революционизирование народных масс», эти три газетных слова, означало в сущности пробуждение в подавленном тяжестью жизни человеке чувства исторического времени, внезапно распахнутое окошко вовне себя.

Но дитя подавленного класса — ребенок рабочей семьи в городе и крестьянской в деревне — было свободней городских детей интеллигенции. Частокола вокруг него было гораздо меньше, воздвигать этот частокол было родителям некогда. Во дворах больших городских домов приходилось нам сталкиваться, а подчас и вместе играть с такими ребятами, и я удивлялась и обижалась, что они, меньше нас зная, больше нас умеют, меньше нашего учась, больше нашего рассуждают, и рассуждения их здравы, практичны, похожи на взрослые. И от них доносилось иногда к нам о разных событиях из внешнего, недетского мира, таких, как война, выборы хозяина дома в гласные думы, смерть пьяного на улице, учителя забрали в тюрьму...

Вот из этих редчайших всплесков моря времени, забрасываемых в окно нашей детской со двора, от дворовых ребят, игравших вместе,— понемножку рождался удивительный детский эпос, который мы с сестрой сочиняли, играя в нашу первую большую игру — в «Мэрцу». Мэрца была далекая страна, откуда мы обе пришли, притворившись детьми наших папы-мамы. Притворяться было необходимо, оно было нам задано, как некая тайная задача. В Мэрце происходила война — эту лучезарную страну подстерегали лютые враги, чугунцы, жившие под землей, в сточных ямах, покрытых решетками, куда весной и осенью с шумом и плеском проваливались на углах улиц дождевые потоки. Позднее (спустя полвека!), когда я печатала свою «Повесть о двух сестрах и волшебной стране Мэрце» (где все было — честная, невыдуманная правда!), редакторша попросила меня заменить слово «чугунцы» каким-нибудь другим, потому что может обидеться рабочий класс — литейщики, сталевары. Я тогда вспомнила, как няня (тоже всплеск волны времени в окошко нашего детства!) рассказывала, сколько дурных людей сидит на шее у народа,— и заменила слово «чугунцы» словом «нашейники». Так вот эти самые чугунцы объявили

смертельную войну Мэрце. Во главе нашей страны стояли Сестры. Там были еще белокурый принц Элѝ и добрая белая змея Эбѝ. Сестер было несколько, они управляли; старшую, как и всю страну, звали Мэрца, но ее никто никогда не мог увидеть из страха ослепнуть (так сияла она!), младшую — Лямэт; и самые младшие были мы с Линой. А среди Сестер одна оказалась предателем,— Дэрэвэ́, с ударением на последнем слоге, с буквой «э» вместо «е»... Она была безобразной колдуньей, она перешла к чугунцам и стала во главе врагов...

Как мы все это переживали! Таинственные Сестры говорили с нами в стенные дырочки, откуда всегда выпадали деревянные вкладыши для закрепления дверных портьер поясками. Дырочки находились, как и портьеры, как и тяжелые шелковые пояски для них, сбоку от каждой двери в стене, а вкладыши, которым надлежало быть воткнутыми в эти отверстия, валялись внизу, на паркете. Их поднимали, вставляли обратно, они снова вываливались... как будто нарочно для нас! И мы с Линой тихонько подбирались к этим дырочкам, когда нас никто не видел, шептали в них, прикладывали к ним ухо и слушали, будто издалека, из сияющей Мэрцы, бедные осажденные Сестры-мэрцианки передавали нам свои ужасные новости... Чугунцы ползли, ползли, их были полчища, они не имели ни лиц, ни глаз. Они несли с собой в чугунной коробочке «слово». И чтоб победить их, надо было разгадать это невидимое слово и наложить на него другое, более сильное... Все эпосы мира всех народов мира имеют, по-моему, черты глубокого сходства. Это — детство человечества, детство начального ощущения Времени, когда складываются первые контрасты света и тьмы, белого и черного, добра и зла, родного и чуждого. И как и всякое первое пробуждение творчества, теургического воспроизведения вселенной человеком,— оно было связано и с первым в сердце движением эроса, легким, как трепет крыла в полете. Потому что творчество невозможно без затраты той могучей созидательной энергии, какая дарована всему живому эросом.

Но что делалось тогда в мире, в России, в Москве? Незаметное для детей, оно делалось и, наверное, покажется сейчас чем-то очень далеким, старым, старомодным, какими предстают женские журналы мод тех далеких лет? Ведь прошло, если мерить время хронологически, восемьдесят два года, почти столетие.

Я заказала в библиотеке журналы прошлого столетия и погрузилась в чтение. Мой отец, кроме работы над диссертацией и в больнице, был — как тогда делали все врачи — еще и практикующим на дому. К нему приходили больные,— я представила себе даму, затянутую в корсет, в длинном, до пят платье, с пелеринкой на плечах, в черных перчатках, которые она сняла, садясь за стол в гостиной, в ожидании приема. На столе для таких случаев должны были быть журналы, не слишком серьезные, но и не пошлые,— я заказала, просмотрев библиографию тогдашних периодических изданий, журнал «Еженедельное обозрение», год 1888,— год моего рождения, и заглянула в месяцы: март, апрель. В номере от 27 мар-

та была статья: «К вопросу о переутомлении». Самым современным, чтобы не сказать злободневным, языком в ней говорилось: школьные программы слишком обширны, рекреации слишком коротки, физические упражнения в совершенном загоне, гимнастика — на бумаге; школа развивает слабое зрение, искривляет позвоночник от долгого сидения за партой... Говоря трюизмом, я просто «не поверила своим глазам», читая все это, написанное почти сто лет назад.

Я сразу же вспомнила своего правнука Славика, принесшего на днях от учительницы плохую отметку за то, что он ерзал и двигался на скамейке во время урока. Сто лет! Но разве двести, триста лет назад мудрецы-педагоги типа Яна Амоса Ко́менского не сочиняли школьный урок как «театр», не вносили в преподавание игру, не требовали физического движения для детей? И передо мной возник живой поток времени, пульсирующего ритмом нашего сердца, нашей крови, механически разделенный на перегородки часов: обязательное сидение ровно сорок минут на уроке (сиди, не вертись!), десять минут рекреации, или, как позднее говорили, перемены, и опять садись на сорок минут. Сиди! Про арестованных говорят: он сидел, он отсидел, он сидит. А как это красиво у греков, даже в пародии Козьмы Пруткова:

После прогулок моих утомясь,
Я опираюсь на урну [13].

«Чего захотела! — воскликнет современный педагог, если доберется до этого места в моих воспоминаниях, нарушающих измерение времени.— Урну тебе! А может, еще коринфскую колонну поставить? Может, амврозию в пиалах раздавать и на кифаре играть? Когда хулиган тебе из рогатки с последних скамеек глаз вышибает?»

Или, например, не слушая эту реплику, вспоминаю Владимира Ильича, как он в марте 1923 года писал:

«...наш теперешний быт соединяет в себе в поразительной степени черты отчаянно смелого с робостью мысли перед самыми мельчайшими изменениями» [14].

Отчаянно смело мы внедрились в космос. И робеем, как мыши, когда дело доходит до вещей более простых и маленьких. А ведь за эти маленькие вещи брались в прошлом умные люди, несмотря на самые большие препятствия, которых нет у нас. Брался Далькроз, построивший замечательную школу под Дрезденом в год первой империалистической войны. Построил свой «Гётеанум» по образу и подобию ученических и страннических лет Вильгельма Мейстера, под Базелем и чуть ли не тогда же, Рудольф Штейнер. Пусть — шелуха и мистика чуждых нам идей, но заразительная и умная практика: чтоб ученье было радостью, чтоб идти в школу-

[13] Козьма Прутков. Полн. собр. соч. («Библиотека поэта»). М.—Л., «Советский писатель», 1965, с. 249.
[14] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 400.

академию становилось праздником, чтоб ритм пронизывал и облегчал усвоенье знаний, как музыка облегчает движенье. Множество попыток создать новый тип школы,— вот и в нашем Новосибирске люди из Академгородка думают об этом. И смелые, свежим озоном революции овеянные, двадцатые годы нашей страны полны разных попыток... Но потом все основное как-то «утрясается», оставляя «новизну» на поверхности: праздничную встречу семилетних ребят, когда они впервые переступают порог школы, и выпускные балы в белых платьях и взрослых костюмах при выходе из нее,— словно все дело в самом здании школы, а не в освоении знаний.

Я стала перелистывать «Еженедельное обозрение» дальше. Стихи Мережковского, Фофанова; восемь лет, как умер Мусоргский,— еженедельный обзор ставит музыку его очень высоко. Две критических заметки — не сами они, а то, как подошел к своей задаче критик,— опять остро смыкаются с современностью: политика! Первая заметка о рано умершем (ему было 24 года) поэте Надсоне, романтически любимом молодежью в конце прошлого века. Автор заметки пишет: пока Надсон воспевает природу, лиричен, интимен — его стихи звучны и музыкальны: но касается «гражданских мотивов» — сразу высыхает язык, беднеет словарь, пошли прозаизмы. Вы чувствуете: автор, видимо, человек реакционный, он против «гражданских мотивов» в поэзии... Но нет, Надсон осуждается как раз за то, что он просто лиричен, просто интимен, и нет у него выхода к большим гражданским темам. Значит, «Еженедельное обозрение» стоит на левом общественном фланге? Дальше — длинный разбор новой повести Чехова «Степь» — она была напечатана и о ней говорилось, когда мне и года еще не стукнуло! С этим разбором в мое, в общем-то скорей снисходительно-юмористическое, перелистывание старого журнальчика вошло нечто очень серьезное. Разбор был ругательный. Повесть Чехова была напечатана в «толстом» журнале «Северный вестник». Критик упоминает о ней в общей статье «Журнальное обозрение» — то ли он говорит от себя, то ли пересказывает для читателя возникшую полемику, но смысл статьи такой: повесть, растянутая на шесть печатных листов, в сущности — ни о чем. Никакой фабулы, чуть ли не болтовня по-пустому, а между тем (здесь едкий сарказм в тоне статьи), между тем господин Буренин в «Новом времени» возводит молодого автора этого пустословия в классики, «приравнивает к столпам русской литературы — Толстому, Тургеневу и т. д.». Не потому ли обрушивается критик на поэтическую «Степь» Чехова, что расхвалил ее нововременец Буренин? Клеймо на Чехове от близости его к позорной в глазах тогдашней интеллигенции реакционной газете «Новое время»? И это — восемьдесят два года назад!

Просматриваю дальше — комплекты восьмидесятых годов, тогдашнюю «Русскую мысль», «Мир божий», «Северный вестник», «Вестник Европы», народническое «Русское богатство»,— множество романов, подписанных забытыми именами, их сейчас читать невозможно,— редкие уцелевшие имена: Станюко-

вич, Боборыкин, молодой Короленко. Мы знаем всю эту периодику сейчас больше сквозь призму истории партии, через полемику большевиков с народниками,— но нельзя забыть, что смешанная жизнь общества восьмидесятых годов пульсирует в этих журналах, делает их живыми и злободневными для историка, поднимает, как рыбачьи сети со дна, узловые бесчисленные связи прошлого с будущим, сквозь десятилетия дает пережить всегдашнее состояние жизни — Сегодня.

Удивительное наблюдение сделает читатель, если возьмется за чтение их скопом, как я. Говорят, в человеке позже всего умирает мозг. Вы видите, чувствуете, как у вас на глазах, в этих журналах, беллетристика, целая плеяда имен, создававших романы, рассказы, повести,— если авторы их не «столпы русской литературы»,— все, что когда-то воспринималось как художественное, волновало, питало воображение, испепеляется временем в труху, в невыносимую скуку штампов, длиннот, условностей, серостей; а порожденне мозга, мысль,— в статьях, в критике, в публицистике, отнюдь не только подписанных блестящим пером Михайловского, но сотнями забытых, скромных, неведомых нашему времени имен,— сверкая встает перед вами, как интересная и захватывающая.

Для примера — опять «Еженедельное обозрение», 25 июня 1889 (мне в это время 1 год 3 месяца 4 дня, в словаре моем не больше пятидесяти словечек) — большой формат настольного издания, как раз для ожидающих пациентов,— что в нем? Отповедь «натурализму Золя и его школе»,— молодежь «опять возвращается к забытой классике, Бальзаку, Стендалю, Флоберу». В Гренобле, «обладателе рукописей Стендаля», открыт дневник молодого Стендаля: «Появление его в печати — самое выдающееся событие истекшего литературного года». А я «открыла» для себя молодого Стендаля в том же Гренобле пять лет назад... И в следующем номере, от 2 июля 1889 года, статья некоего Виктора Бибикова об этом новооткрытом дневнике, с характеристикой Стендаля: «Во Франции есть поговорка: это скучно, как страница Стендаля. Его тонкий психологический анализ, простота и художественная правда повествования, строгий и сжатый стиль, отсутствие литературных эффектов и театральности, на которые так падки французы, были причиной создания этой поговорки. Легкомысленному народу пришелся не по плечу писатель, который не хотел знать, что такое вкусы публики, мода, условия времени, который еще восемнадцатилетним юношей восклицал в своем дневнике: «В стране, где тщеславие — господствующая страсть, где одно удачное слово завоевывает все,— как сохранить в ней хладнокровие», а на склоне писательской деятельности мечтал о круге читателей, состоящем из... пятнадцати человек, и из отвращения к Франции принял итальянское подданство» [15].

---

[15] «Еженедельное обозрение», № 281, 1889. Издатель А. А. Греве. Редактор И. В. Скворцов, с. 417 и др.

Страстная защита Глинки против поклонения Западу — в пересказе статьи из «Северного вестника». «Еженедельное обозрение» сообщает, как Лист поражался неуважением русского правительства к русским; русской знати — к созданьям своего великого композитора. Лист в письме к графине Аржанто приводит услышанное им от великого князя Михаила Павловича в 1843 году в Петербурге «поразительное слово»: «Когда мне надо сажать моих офицеров на гуптвахту, я посылаю их на представления опер Глинки», а «граф Вьельгорский, сам музыкант», сказал лично Глинке о «Руслане и Людмиле»: «Mon cher, c'est un opèra manqué» («Дорогой мой, это неудавшаяся опера»).

Все это — обозрение того, что печатают в других журналах,— препарированное с тенденцией, которую сейчас чувствуешь как смелую и передовую, но отнюдь не групповую, должно было составить чтение тогдашней «широкой публики», может быть, единственное, которое она имеет время или возможности поглотить. Вроде нашей, скажем, «Недели»,— но насколько же шире подходом, если вычесть истекшее почти столетие. Вот пьеска — в ней обыгрывается со смешной стороны телефон. Он только недавно изобретен, о нем в народе еще и понятия не имеют, а «сочинители» уже показывают эту невиданную технику в ее смешных возможностях для быта (не из разговора ли взрослых о небывалой новинке стали мы с сестрой переговариваться в дырочки с нашей далекой Мэрцой?). Но — подшучивая над новейшей техникой в быту, это же «Еженедельное обозрение» тогда же подробно рассказывает о статье Фульье «Кризис в метафизике», напечатанной в очередной книге авторитетного французского журнала «Révue de deux Mondes» [16]. А народническое «Русское богатство» знакомит читателя с серьезным изучением явлений телепатии в «Лондонском Обществе для психических исследований». Наука о «внушении на расстоянии» еще очень молода, сообщает автор чуть не сто лет назад: «Ей всего тридцать лет»... А современность три года назад «открыла» для себя явления телепатии!

Начав читать тогдашнюю периодику, я поделилась с читателем предчувствием, что окунусь в мир отжившего, старомодного, давным-давно сошедшего со сцены. А вот оказалось, что, читая массовый, средней руки журнальчик, имевший задачу почти сто лет назад обозревать и в популярной форме сообщать своему читателю, что делалось за неделю в мире и в литературе, я не вышла из сегодняшнего дня, а скорей по-новому введена в него. Но не это было самым интересным в таком чтении.

Восемьдесят два года живу я на белом свете и путешествую по морям и странам. Ненавижу восхвалять «свое» только потому, что оно «свое», и ругать «чужое» только потому, что оно «чужое». Но признаюсь честно — ни в одной стране, кроме нашей, я не встре-

---

[16] «Обзор двух миров» (Старого и Нового Света, как называли тогда Европу и Америку).

тила того особого нравственного качества нашей русской интеллигенции, какое очень трудно описать, но невозможно не почувствовать, когда сравниваешь, наблюдаешь, изучаешь интеллигенцию разных стран в ее жизни или читаешь о ней в книгах. Мне могут сказать, что я преувеличиваю, выдумываю, не беру во внимание предреволюционный слой пишущих и читающих во Франции перед Французской революцией 1789 года, движение романтиков в Германии, масонские ложи во всем мире, критическую литературу и периодику в Европе, у которой учились, у которой заимствовали наши Н. Новиков, Н. Тургенев, журналистика XVIII—XIX веков,— вообще своевольно поступаю с так называемой «идеей прогресса», идеей по своим историческим корням вполне европейской, осознанной раньше нашего в Европе. Мне могут сказать, что нравственные основы, двигавшие пером Диккенса, воспитали гуманизм и филантропию английского общественного сознания,— и не только английского: даже Достоевский испытал это влияние Диккенса, и многие страницы «Преступления и наказания» перекликаются с «Мартином Чезлуитом».

Все это я знаю и понимаю — и хочу сказать не о том.— не об идее прогресса вообще, не о гуманизме вообще. Русский интеллигент — с тех самых времен, как определилось для нас это понятие,— был с о в е с т л и в. Совесть — непередаваемое свойство души человеческой. Можно объяснить «инстинкт», «подсознание», «склонность», даже то странное качество, которое английские романисты приписывают иногда шотландцам,— «провидение», «второе зрение», «фейность», «психический дар предчувствия»,— но нет научных или хотя бы просто объясняющих слов, чтоб понятно передать другому содержание слова «совесть». И даже нет полного эквивалента этого слова в переводах на все другие языки. Даже оттенок в этих языках другой — интеллектуальный (с примесью «науки» в английском и французском, с примесью «знания» в немецком); но на русском языке оно отнюдь не связано с «ве́дением» [17],— оно связано с «вестью», с чем-то, подающим голос о себе издалека.

Если взять в помощь личный опыт, закрыть глаза, погрузиться внутрь себя и попытаться хотя бы почувствовать, что же это такое «совесть» для тебя самого, то возникает личный соблазн — назвать ее чувством вины. Мне помогло в этом определении перечитывание (для книги «Первая Всероссийская») гениальных страниц П. Лаврова. Словно в чем-то перед кем-то виноват классический русский интеллигент,— а ведь он стоит подчас в продувном пальтишке, с двугривенным в кармане, на ветру, не знает, где пообедает,— но смотрит на переходящего улицу старика, на жмущуюся к стенке проститутку с глубоким чувством вины перед ними. Вина человеческой совести — чего-то непонятного внутри нас — перед человечеством, перед убожеством жизни, перед тяжким, бес-

---

[17] Ведать, знать: Ge-w i s s e n *(нем.)*, Con-s c i e n c e *(фр.)*.

просветным трудом, перед «малыми сими», хотя сам ты устроен, может быть, хуже тех, кого жалеешь сейчас острой, пронизывающей, виноватой жалостью. Я не встречала таких интеллигентов на Западе. Помню, когда мы с сестрой пробирались со своими рюкзаками на плечах по холмистым дорогам Баварии, к нам присоседилась и уже не разлучалась с нами до конца каникул тоже студентка с рюкзаком, немецкая девушка — милая, умная, очень простая. Нескончаемые беседы мы вели с ней, странствуя, и как будто во всем соглашались — схожи были вкусы литературные, интересы научные, взгляд на хорошее и дурное в политике,— даже некоторая бесшабашность, безбоязненность делать непринятое, держаться не так, как все. Но вот когда коснулись будущего — мы перестали понимать друг друга.

Наша немецкая спутница знала очень точно, какого места будет добиваться, окончив университет. Она знала, где какая плата, куда попасть выгоднее. У нее не было особенной корысти. Пусть даже плата меньше — лишь бы перспектива интересней и можно идти по служебной лестнице выше, подниматься по ней с годами. Мы с сестрой пережили на ее вопрос большой и неприятный конфуз. Что будем делать? Никаких планов. Никакого представления о «месте» — закрепленном месте где-то на службе, с определенным жалованьем, в расчете на которое она училась и выбрала факультет. А у нас и в мыслях не было такого расчета и таких планов заранее; учились, чтобы учиться, зарабатывали — уроками, в перспективе... разве сама жизнь, широкая, необъятная,— не перспектива? Мы почувствовали себя перед ней цыганами какими-то. «Надо приносить обществу пользу»,— снисходительно сказала нам наша милая немочка. А мы выросли плотью от плоти русской интеллигенции, когда «приносить обществу пользу», работая в учреждении, казалось позорным концом «Обыкновенной истории» Гончарова. И мы — не представляя себе хорошенько, чем будем «полезны обществу»,— жалели, жалели до слез русскую унылую жизнь, деревенские ухабистые дороги, слепых стариков, пьяного по субботам рабочего, его избитую жену, все, что дышало несчастьем, неблагоустройством, людскою бедой,— мы хотели «послужить»,— душу отдать,— но не на «службе».

Эта черта русского классического интеллигента, дорисованная до конца гениальным пером Чехова, имела еще одно ответвление. Чувство «вины» — как свой антипод — на обратном конце выливалось в чувство «обвинения», дававшего свой привкус во всем, что тогда печаталось, игралось на сцене, говорилось «в обществе». Откройте «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона на букве «ч» и прочитайте там отличную статью знатока русской литературы С. Венгерова о Чехове. Писатель уже вышел к мировому читателю, Венгеров не жалеет эпитетов, он считает его величиной европейского масштаба. И он не боится даже защитить Чехова от многочисленных обвинений. В чем? В «отсутствии мировоззрения». Да, Венгеров согласен, Чехов не имеет мировоззрения, но он по-своему заслуживает оправдания, ведь у него зато есть несомненная

«тоска по идеалу». Обвинение, которым тогда клеймили, против которого не было защиты, которое причиняло боль, бессонные ночи, бессильную ярость, спрятанное в два, казалось бы безобидных, словечка — «отсутствие мировоззрения»,— было в те годы не менее страшно и серьезно, чем нынешние обвинения в отсутствии н а ш е г о мировоззрения, материалистического, коммунистического, ленинского. Подразумевалась аполитичность художника, нежелание его участвовать в борьбе против самодержавия хотя бы только выражением антипатии к нему, в поддержке всего передового, в отказе от близости к чему-то реакционному. «Объективность» тотчас бралась под подозрение. Как-то само собой было ясно, что «объективность» у людей, живущих общественной жизнью, не существует вовсе. Мотив «вины», психологический, и мотив «обвиненья», критический,— изнутри первый, извне второй — создавали особое давление в среде русской интеллигенции, более мощное и деспотическое, чем царская цензура.

Для Европы это было явление уникальное и совершенно непонятное. Попытки истолковать его европейскими мыслителями напоминают мне беспомощные попытки собаки перевернуть лапой черепаху на спину. Они делались в терминах знакомого европейцам западного мистицизма, объяснялись словечками Августина Блаженного, Якова Бёма — вплоть до Кьеркегора. Даже бесконечно разумный, трезвый большевизм не был понятен западному мышлению здраво-логически. Осенью 1933 года я лечилась в Крейцлингене, в санатории доктора Бингсвангера. Однажды за обеденным столом он разговорился со мной о большевиках и назвал их учение «эсхатологией» — модным словечком, обозначающим «чаяние», «ожидание» — царства небесного на земле... Один из Бингсвангеров (как я недавно прочитала где-то) стал сейчас швейцарским философом-экзистенциалистом.

Наша семья была частью московской армянской колонии, но практически жила интересами и жизнью московско-русской интеллигенции. Русское начало проникало во все поры нашего дома: русские кормилицы вскармливали нас с Линой своим молоком (тогда был обычай в интеллигентных зажиточных семьях сдавать новорожденных кормилицам); русская няня была главным звеном нашей связи с внешним миром; учитель и руководитель отца, в чьей клинике отец производил свои опыты над собаками, был русский професор, Александр Богданович Фохт; ассистент у отца был русский; и пациенты, те, кто ждал приема вокруг круглого стола гостиной, были тоже отнюдь не армяне... И, наконец, работал он врачом в Старо-Екатерининской больнице с ее знаменитыми медицинскими традициями. Иван Иванович Скворцов-Степанов и его туберкулезный брат лечились в годы их молодости у моего отца; Иван Иванович из своей ссылки в Клину приехал однажды к нам в гости на дачу в Пушкино, и отец заставил меня прочесть ему мое «революционное» стихотворение «Богатство». Немудрено, что и мы, как множество семей вокруг нас, были пропитаны атмосферой дуализма «вины и обвинения», отражавшейся на разговорах, вы-

боре подписных изданий, чтении и суждении о книгах и даже на судьбе отца: когда после защиты диссертации он был выдвинут на кафедру диагностики внутренних болезней в Московском университете и ему было предложено, для ускорения дела, перейти из армяно-григорианства в православие, он ответил министру: «Я атеист. Но моя церковь связывает меня с моим народом, и отказаться от нее считаю отступничеством». После этого он долго был под негласным надзором полиции.

Почетное место в нашей квартире было отведено книге. Для нее стояли дубовые шкафы со стеклянными дверцами и в кабинете, и в комнате матери, так называемом «будуаре», и в гостиной, и даже в передней. Ее вынимали после обеда для чтения вслух. Читала обычно мама, отец лежал, отдыхая, на диване и слушал. Иногда читали для нас рассказы из толстых детских книг в золоченых переплетах издания Девриена, «Красный фонарь», какого-то русского автора,— маленький сын заболевшего стрелочника спас пассажирский поезд; переводные — в стихах: «Макс и Мориц, или Два шалуна», «Плишь и Плум, или Две собаки», но чаще всего — сказки Андерсена. А когда мы стали постарше, мне пять, сестре три,— отец сам начал читать нам Пушкина. У него была особая, непонятная для меня любовь к Пушкину, особенно к его «Цыганам». Часто с большим чувством, с каким-то личным значением, по самому неподходящему поводу,— но, должно быть, подходящему для него по невидимым внутренним ассоциациям,— он говорил вслух, но самому себе, излюбленный стих: «И от судеб защиты нет».

Образ Пушкина с самого раннего детства стал обрастать для нас чем-то таинственным, словно тут он, совсем еще не умер, но это держится в секрете, потому что Пушкин может пострадать. Я уже с четырех лет усердно пачкала стихами и прозой обои в детской и подаренные тетрадки: как научилась буквам, стала их складывать в слова, а слова — в предложения,— и пошло, и пошло,— о чем только! Были у меня герой и героиня, герой — чиновник Лимперльский, больной чахоткой; героиня — Раиса, с длинными, до полу косами. Были драмы из итальянской жизни. Одна сохранилась в тетрадке, купленной у Мюра и Мерилиза (где сейчас Центральный универмаг), но там записывались уже сочинения «Марианны Сергеевны 9-ти лет». И там же записан Сон — под влиянием отцовских чтений:

МОЙ СОНЪ

Когда я мала была
Любила очень книги я
Вдругъ слышу полъ трещитъ
Ломается и провалился
Вдруг вижу Пушкинъ на землѣ
В бѣлом весь лежитъ
Кругомъ книги его во мглѣ

Счастьем он говорит.
Я испугалась и проснулась.

Мне совестно сейчас перечитывать свое косноязычие и полное отсутствие того, что можно назвать талантом. Почти вся моя коричневая тетрадка, сохранившаяся до сих пор, полна таких сочинений,— плохим почерком, без знаков препинания, с ошибками, с рисунками на полях,— и если я решаюсь привести тут кое-что для читателя, то потому, что это все же было, это отражало мою постоянную тягу к творчеству, а главное — это любопытно было сравнить с единственным стихотворением моей сестры, написанным ею в возрасте четырех лет:

Зевака кучер водку пьет,
А лошади несутся,
Он ищет их — они спокойно
На лугу пасутся.

Если б какой-нибудь дядя-журналист сравнил мои детские стихи с этим Анниным, он не колеблясь сказал бы, что скорей Анна станет писательницей, нежели я. В четыре года она видела мир вокруг. Она видела нашего кучера, пьяного по воскресным дням. Видела наших двух вороных в конюшне, беспокойно перебирающих ногами; видела, как втягивают они ноздрями запах сена... И в четырех строках отлилась реальная картина, пересказать которую многословней, чем то, что она написала.

В день моего девятилетнего рождения отец, хорошо говоривший по-немецки, подарил мне всего Гёте в берлинском издании Рэклям,— оно и сейчас стоит у меня на полке. Гёте был вторым его любимцем, после Пушкина. Откуда и почему Пушкин, именно Пушкин и «Цыганы» — я почувствовала по-настоящему лишь в 1970 году, когда решила, что надо бы еще как следует прощупать свои «гены» по отцовской линии. И в самое летнее пекло — лето 70-го было на редкость жаркое — вдруг сорвалась с места и решила съездить наконец в Измаил.

10

Отсюда, из таинственного Измаила, по рассказам нашей тетки, вышла в старые времена группа переселенцев-армян под предводительством «врачевателя Макария Шагинянца». Измаил был сперва в Турции, потом, при Екатерине, завоеван Потемкиным. Он последовательно числился в Турции, Румынии, Молдавии, Одесской области... Но что за лицо у Измаила, этой бывшей крепости, когда-то сильнейшей, или одной из сильнейших, в Европе? Байрон посвятил ей увлекательную строфу в «Дон-Жуане», точно указав местоположение на Дунае, восточный характер зданий, ев-

ропейский характер самой крепости. Суворов рапортовал о ней Потемкину: «Не было крепости крепче, не было обороны отчаяннее обороны Измаила, но Измаил взят». Турки назвали это грозное сооружение, созданное по их приглашению лучшими фортификаторами Европы, «Ишмасль» — услышь, Аллах! И, наконец, Пушкин побывал в Измаиле, когда каменные остатки крепости после штурма еще не были стерты с лица земли. Незримым спутником Пушкина в его поездке была тень опального Овидия Назона. Незримым спутником моей поездки стала тень опального Пушкина, очертившего в десять дней могучий ромб по земле тогдашней Бессарабии. Он проехал в молдавской повозке, «каруце»: Кишинев — Каушаны — Аккерман — Татар-Бунар — Измаил; и оттуда: Измаил — Кагул — Фалчи — Леово — Кишинев. Наши маршруты кое-где совпали: мне удалось даже перещеголять его — попасть в одно место, куда он страстно хотел попасть, но не смог. Правда, я ездила не в каруце, а в машине, но время, потраченное на обе поездки, оказалось одинаковым.

В Пушкиниане кишиневский период изучен как будто до последней буквы. Но если у вас есть свой «предмет» на уме и вы читаете книги с особой, лично вам нужной целью, то самые читаные и перечитанные, исследованные и переисследованные вещи оказываются полны открытий. Читатель не будет в обиде, если я расскажу здесь об этих «открытиях», лежавших напечатанными сто с лишним лет, со дня опубликования Бартеневым дневника И. П. Липранди, — черным по белому, — перед каждым, кто хотел их читать. Пушкин предстает в них удивительно близким, профессионально-рабочим человеком пера, — пламенным исследователем-очеркистом.

Липранди, военный историк и подполковник разведки в Кишиневе, тогда (в двадцатых годах прошлого века) человек с еще не запятнанной предательством репутацией и друг Пушкина, получил задание: обследовать что-то, происшедшее в 31-м и 32-м егерских полках, расквартированных в Аккермане и Измаиле. Он должен был туда выехать в ужасное время — конец первой половины декабря (14-го или 15-го) 1821 года. Хлещут мокрые метели, дуют дикие ветры, колеса вязнут в грязи, холод пронизает до костей — служебная поездка. И самому ехать тошно, а тут еще «Пушкин изъявил желание мне сопутствовать...» [18] — пишет Липранди. Но милый старик Инзов, наместник Бессарабии, под началом которого жил в Кишиневе ссыльный поэт, «по неизвестным причинам» не пожелал отпускать Пушкина. Инзов любил своего подопечного. И должно быть, в такую погоду да в такое время, когда собаку не выгонишь за дверь, подвергать Пушкина, болевшего полтора года назад горячечной лихорадкой, всем этим простудам и тряскам Инзов попросту не хотел. Примирился ли Пушкин? И не подумал! Он «обратился» к М. Ф. Орлову, и

[18] Здесь и всюду цитирую И. П. Липранди «Из дневника и воспоминаний», по книге «Пушкин в воспоминаниях современников», ГИХЛ, 1950, с. 241—299. Разрядка всюду моя.

«этот *выпросил* позволение». Орлов не был начальством Инзова, он был только командиром пехотной дивизии и чином пониже — тот генерал-лейтенант, этот генерал-майор. Так и представляешь себе, как Пушкин умоляет Орлова, а Орлов «выпрашивает» ему позволение. Очень хотелось Пушкину поехать. И они поехали.

И. П. Липранди — рассказчик сухой, эпитеты его всюду очень скромные, восклицательных знаков и многоточий у него почти не сыщешь, но под сухой и отчасти казенной его прозой поведение Пушкина напоминает подземный вулкан — сольфатару. Один твердо ведет свою служебную линию, время у него строго рассчитано, ему надо «вести следствие»; другой рвется увидеть, пережить, узнать, побыть подольше, свернуть в сторону. С первой остановки, с Бендер, начинается этот характерный «дуэт»:

«В Бендерах, так интересовавших Пушкина по многим причинам... он *хотел остановиться*, но был вечер, и мне нельзя было потерять несколько часов, а потому и положили приехать в другой раз. Первая от Бендер станция, Клушаны (сейчас Каушаны.— *М. Ш.*), *опять взбудоражила* Пушкина: это бывшая до 1806 года столица буджацких ханов. Спутник мой *никак не хотел мне верить*, что тут нет никаких следов, все разнесено, не то что в Бакчи-Сарае; года через полтора... он мог убедиться и сам в том, что ему все говорили; до того же времени *оставался неспокойным*». Едва выехали — и «взбудоражен», «хотел остановиться», «не хотел верить» и, пока сам не убедился, целых полтора года «оставался неспокойным»!

Но вот они приехали в Аккерман, прямо к обеду у полкового командира Непенина. Липранди любил, по-видимому, вне служебных дел засиживаться за столом (он очень подробно описывает обеды, завтраки и ужины) — засиделся и у Непенина, а вечером, когда стемнело — шел снег пополам с дождем,— никто никуда не пошел. Зато утром, возвратясь с обследования, он Пушкина дома не застал, Пушкин отправился к коменданту аккерманского замка; а когда и Липранди двинулся к нему, Пушкина там опять не оказалось — поэт и комендант пошли смотреть замок, «сложенный из башен различных эпох...». Так и повелось с Аккермана — Пушкин убегал от Липранди, пользуясь каждой минутой, чтоб узнавать, осматривать, выспрашивать. И люди ему нравились по главному признаку — когда они удовлетворяли его «*бесчисленным вопросам*», как это у него было с помещиком Тарданом.

Приехали в Татар-Бунар. «Услышав из моих расспросов о посаде Вилково... он *неотступно желал, чтобы заехали туда*, и даже несколько *надулся*...» — бесстрастно рассказывает Липранди; «но я ему доказал, что теперь этого сделать никак нельзя, что к послезавтрему два баталиона стянутся в Измаил для моего опроса, а завертывая в Вилково, мы потеряем более суток, ибо в настоящее время года и при темноте от Килии до посада по дороге, или, лучше сказать, по тропинке, идущей по самым обрывам

берега Дуная, ночью ехать невозможно». И бедный Пушкин «надулся»...

Рукой подать было до Вилкова. Сердце сжимается, когда вспомнишь, как мало пришлось повидать Пушкину на белом свете, как ни разу не удалось ему вырваться за границу и воочию взглянуть на воспетую им Италию,—

Где пел Торквато величавый;
Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы...—

и даже эту крохотную полуденную Венецию — посад Вилково — не суждено было ему увидеть...

Не в карете, а в нашей запыленной «Волге» по дунайским плавням, густо заросшим камышом, мимо болот, где стаями спокойно сидели дикие утки — был сезон, запрещавший охоту на них, и птицы словно знали это,— ехали мы в Вилково по прекрасной дороге в сорокаградусный июльский зной. Вместо липкого, мокрого снега, ветров и холода мы были стиснуты благодатным жаром, исходившим от земли и неба. Жар вытапливал из нас все наши городские недуги, и невольно приходило на ум, что мудрые древние египтяне не зря говорили друг другу при встрече не «здравствуйте», не английское «хау ду ю ду», а «хорошо ли вы потеете?».

Степная, протянутая, как полотно, равнина, такая скучная, судя по энциклопедиям, была от самого Кишинева полна для меня неожиданных прелестей. То возникала на горизонте одинокая ветряная мельница, распахнувшая, как веер, свои неподвижные крылья,— словно оставленная тут как музейный экспонат. То показывалась куча сдвинутых амфитеатром каких-то серых кругляков. Я ни разу не видела, как прячутся от раскаленного солнца в голой степи овечьи отары: овцы, кучи овец, защищаются от солнца друг другом; они тесно прижимаются боками, смыкают радиусами круг, низко, почти до земли, опускают головы в одной центральной точке — и так замирают, подобно древним каменным амфитеатрам, на все часы дня. И в придаток к зною, как щепотка соли к еде, неслось в открытые окна машины вкусное веянье заскирдованного хлеба, ароматного сена, сухой земли.

Надо сказать, что вся эта дорога дает ощущенье физического счастья: понижаясь к могучему телу Дуная, земля постепенно увлажняется, идет медленное перерожденье сухой и горячей степи в горячие и влажные плавни, проступают болота, надвигается царство камыша, и вы дышите вместе с землей наступлением влаги,— и вместе с нею, как бы на крыльях плавней, въезжаете, словно вплываете, в Вилково. Оно, как Венеция, стоит на воде; улиц почти нет — дома связаны каналами. По этим каналам, под бесчисленными мостками, плывут местные гондолы — лодки с приподнятыми бортами, управляемые то семилетним мальчишкой, то дедом, то

горсткой девчат. Здесь жили когда-то кержаки-староверы; жители Вилкова — большей частью потомки этой строгой, нравственными устоями и обычаями сцементированной веры. Как понравилась бы Пушкину старуха, повязанная расписным платком,— она держалась прямо, носила очки, была высока ростом. Увидя, что я заинтересовалась старой церковушкой, скрытой за лесами ремонта, она повела меня под лесами внутрь и показала иконы старинного письма, рассуждая о них интеллигентно и поучительно. Иконы были прекрасны, особенно одна — не то воскресение из мертвых, не то вознесение, вся в светлых, ликующих тонах, в летающих с цветами ангелах — ни дать ни взять Фра Беато: краски на ней словно пели, и певучим был полет ангела с белоснежными крыльями...

Отказав Пушкину в заезде в Вилково, Липранди привез его к десяти часам вечера в Измаил. Остановились они в доме у негоцианта Славича.

И для нас, когда мы въезжали в Измаил, наступал вечер, но не зимний, а летний. Багровый шар солнца летел с нами по горизонту, то прячась, то выплывая из облака. Мы въехали в город совершенно незаметно, переговариваясь о чем-то другом, постороннем, и в середине беседы Измаил словно бесшумно подкрался к нам и вдруг обнял — сладко обнял изумрудом зелени, тишиной и удивительным покоем. Нигде на земле и никогда во всей жизни не пережила я так внезапно и так глубоко того, что наш язык называет «покоем». Толкованье этого слова как чего-то связанного с концом и прекращением деятельности, с уходом из жизни,— отпало. Покой показался мне в Измаиле той настоящей человеческой жизнью, тем полным состоянием души, когда полученье и отдача совершаются равномерно и глубоко, подобно дыханию,— он показался мне р и т м о м.

Мы ехали ярко-зелеными садами; прямыми, как стрелы, улицами; под золотым от зашедшего солнца небом; мимо белоснежных колонн собора, чудесно построенного Мельниковым. Перед нами дивным силуэтом мелькнула на площади статуя Суворова на коне — Суворов с поднятой треуголкой, взмахнув ею, полуобернулся, он смотрит назад, на тех, кто за ним, и конь его с крутым восточным носом, со вздыбленной шерстью, уперся ногами в землю, твердо уперся, всеми мускулами,— мы здесь и здесь останемся! Невольно вспомнился Петр у Фальконе и Пушкина:

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Здесь, в Измаиле, у суворовского коня копыта крепко опущены. Здесь что-то остановлено. Что? Не сразу пришел ответ. И только потом я поняла, что в силуэте победоносном коня, во взмахе суворовской треуголки удивительно верно схвачено не только счастливое ощущенье конца войны...

Сто семьдесят восемь лет назад здесь, по этой земле, ходили

мои предки... Сто сорок девять лет назад здесь ходил Пушкин. Но почему нигде, ни на одном доме, нет памятной доски о нем? Словно и не было Пушкина в Измаиле! Мне без особой уверенности показали только старое, приземистое здание, наглухо забитое, где когда-то был винный погребок,— и Пушкин с офицерами заходил туда. Может быть, заходил... А в Измаиле такой хороший архив, такой интересный музей, такие дельные работники — и неужели не было среди них любителей-следопытов? В середине декабря 1971 года жители Измаила могут праздновать полтора столетия со дня посещения Пушкиным их города. Материалов нет? Есть материалы!

Отказ заехать в Вилково явно не прошел для Пушкина даром. Он стал как-то смелее «гнуть свою линию» в Измаиле, решительно противопоставлять ее Липранди. Почти четыре дня, покуда его спутник два-три часа работал «по службе», а остальное время засиживался за генеральскими обеденными столами, Пушкин исчезал с его поля зрения. Он буквально убегал от него по утрам, он отказывался идти с ним обедать, он на ночь обкладывался бумажками, записывал, дирижировал в воздухе гусиным своим пером, как взмахом крыла в полете. Липранди рассказывает: на следующее по приезде утро «я вышел по делам рано, оставив Пушкина еще спящим; часа через два возвратился; он был уже как свой в семействе Славича и отказался ехать со мной обедать к коменданту генерал-лейтенанту Сандерсу... я поехал один и возвратился уже в полночь. Пушкин еще не спал и сообщил мне, что он с Славичем обошел всю береговую часть крепости... Подробности штурма ему были хорошо известны... В десять часов утра, когда я совсем был уже готов идти для исполнения служебного поручения, вошел ко мне лейтенант И. П. Гамалей; я свел его с Пушкиным, а сам отправился к собранным ротам; кончив, я возвратился, чтобы взять Пушкина и ехать обедать к начальнику карантина Жукову; но Пушкин и Гамалей опять ушли осматривать город и пр. В этот день я возвратился в полночь, застал Пушкина на диване с поджатыми ногами, окруженного множеством лоскутков бумаги».

Засмеявшись, Пушкин подобрал свои лоскутки, спрятал их под подушку и рассказал Липранди, что «Гамалей возил его опять в крепость; потом на место, где зимует флотилия, в карантин; а после обеда хозяин возил их в кассино» (казино?). И наконец последний день в Измаиле: «Пушкин проснулся ранее меня. Открыв глаза, я увидел, что он сидел на вчерашнем месте, в том же положении, совершенно еще не одетый, и лоскутки бумаги около него. В этот момент он держал в руках перо, которым как бы бил такт, читая что-то; то понижал, то подымал голову». Пришли друзья, с ними Пушкин опять сбежал и успел осмотреть «крепостную церковь, где есть надписи некоторым из убитых на штурме»,— и чуть не опоздал к обеду. А этот последний обед был не простой. На этот раз основатель города (после па-

дения крепости) генерал С. А. Тучков сам напросился к Славичу «на щи», так сильно (по Липранди, «неотменно») пожелал он видеть Пушкина.

Какое обилие материала! Разве нельзя найти дом «*негоцианта Славича*»? Место, где «*зимует флотилия*»? *Карантин*? *Казино*? Крепостную церковь? *Места*, где все это *находилось*? И отметить в них присутствие Пушкина, его жадную любознательность, его профессиональное поведение — страсть поэта, писателя, исследователя?

Предков своих я не нашла — армянская церковь давно уже разрушена, старое армянское кладбище заброшено и заросло. Но воздух и люди Измаила показались родными,— и даже в графике местной городской истории было что-то родное, близкое моей душе: рост в культуре, но не в чине. Чудные сады, уютно-прекрасные улицы, идеально чистый порт — и все это сейчас скромный районный центр, каких у нас сотни в Союзе.

...От крепости Измаил, одной из самых грозных в мире, не осталось и следа; на месте ее, на крутом берегу Дуная, разбит парк, а внизу серебристый речной пляж. В звездном небе темнели только строгие очертанья мечети — единственного здесь здания, оставшегося от двухсотлетнего прошлого крепости. Очень мягкое дуновенье — речной, не морской ветерок — плыло, едва касаясь наших лиц, с темной реки внизу. Шелест травы под ногами казался шелковым. Великая доброта медленно, словно наливаемая в душу из незримого небесного бокала, заполнила все. Мне было хорошо — неизвестно почему, хотя ноги набегались за день, пальцы устали от карандаша и блокнота, глаза покраснели от обилия увиденного, а сердце изнурилось в работе дня. И тут я как-то не разумом, а скорей этим поработавшим на славу сердцем до конца поняла, что́ остановлено тут в Измаиле, остановлено копытами буйного суворовского коня с его горбатым восточным носом. Здесь, на месте до корня срытой крепости, осталось жить это прежнее ощущенье конца войны, победы и мира,— мир дышит в микроклимате зеленого речного порта, в городе, где не видно пьяных, нет раздраженных. Те самые струны в человеке, на которых беспощадно бренчат суета и пошлость и которые зовутся в обиходе «нервами», вдруг успокоились, словно и впрямь аллах услышал старую Ишмаиль, даровав ей мир.

Таким был вечер нашего прощанья с местом исхода моих предков. А ведь я еще не досказала, каким стал последний вечер в Измаиле для Пушкина.

Старый генерал Тучков, как упомянуто выше, сам напросился на щи к Славичу, где квартировал Пушкин. И поэт, чуть не опоздавший даже к этому обеду, «был очарован умом и любезностью Сергея Алексеевича Тучкова», обещавшего показать ему кое-что интересное, если тот после обеда согласится к нему пойти. Пушкин, сумевший в этой поездке избежать многих генеральских пиршеств, к Тучкову пошел. Он вернулся домой в этот последний ве-

чер поздно и хмурый. Липранди пишет: «Видно было, что *он был как-то не в духе*. После ужина, когда мы вошли к себе, я его спросил о причине его пасмурности...»

Ну, читатель, догадайтесь, что ответил Пушкин?

«...Он мне отвечал неудовлетворительно, заметив, что *если бы можно, то он остался бы здесь на месяц, чтобы просмотреть все то, что ему показывал генерал*: «У него все классики и выписки из них» — сказал мне Пушкин». И когда Липранди лег спать, Пушкин остался еще посидеть, «*чтобы кое-что записать для памяти*».

Так полюбилось ему место исхода моих предков.

Но если я пишу слишком подробно (и читатель мог бы сказать — в неуместной для воспоминаний литературоведческой манере) о том, что делал Пушкин в этой поездке, то не ради одного наслаждения писать о самом Пушкине. Именно в кишиневский период поэт имел много случаев общаться с измаильскими армянами. У него есть пленительный рассказ о храбром армянском юнце, мечтавшем сразиться с турками («Путешествие в Арзрум»),— но это относится к армянам метрополии, вдобавок простым людям из народной гущи. В кишиневское общество, где вращался Пушкин, попадали армяне другого типа и класса, и ему довелось встретиться с двумя представителями этого класса, связанными очень недобрыми связями с родным городом моего отца, Григориополем. От них, от встречи с ними Пушкина, тянутся нити уже к самим григориопольцам, а не только «измаильцам». Мне интересно было идти по пятам этих встреч, поднять целый пласт жизни маленького «колониального» городка, куда я ездила в детстве с отцом,— ухватившись только за одно имя, упомянутое Пушкиным.

Имен, собственно, было два, но первое хорошо знакомо всем, кто изучал Пушкина,— это некий Артем Макарович Худобашев, богатый кишиневец, служивший в молодости почтмейстером в Одессе. Когда поэт с ним встретился, это был, по словам Липранди, «человек лет за пятьдесят, чрезвычайно маленького роста, както переломленный набок, с необыкновенно огромным носом, гнусивший и бесщадно ломавший любимый им французский язык...». В Одессе он отличился тем, что вступил в драку с козлом в самом центре города, на глазах у семейства графа Ланжерона. Вынужденный оставить свой пост, он перешел на службу в Кишинев. Пушкин только что переложил записанную им народную молдаванскую песню в свою знаменитую «Черную шаль». Там гречанку-изменницу «лобзал армянин». «Пушкин с ним (с Худобашевым) встречался во всех обществах и не иначе говорил с ним, как пофранцузски», словно дразня его: Худобашев был идеальной мишенью для его острот. «Александр Сергеевич при каждой встрече обнимался с ним,— нескладно рассказывает Липранди,— и говорил, что когда бывает грустен, то ищет встретиться с Худобашевым, который всегда «отводит его душу». Худобашев (продолжает Лип-

ранди) в «Черной шали» Пушкина принял на свой счет «армянина». Шутники подтвердили это, и он давал понимать, что он действительно кого-то отбил у Пушкина. Этот, узнав, не давал ему покоя и, как только увидит Худобашева (что случалось очень часто), начинал читать «Черную шаль». Ссора и неудовольствие между ними обыкновенно заканчивались смехом и примирением, которое завершалось тем, что Пушкин бросал Худобашева на диван и садился на него верхом (один из любимых тогда приемов Пушкина с некоторыми другими), приговаривая: «Не отбивай у меня гречанок!» Это нравилось Худобашеву, воображавшему, что он может быть соперником» [19]. В дневниках В. П. Горчакова тот же смешной тип дан в несколько облагороженном виде [20]. Так вот, в воспоминаниях об этом «Квазимодо» интересно то, что Пушкин встречался с ним «очень часто» и что этот «коллежский советник» «не упускал случая приговаривать: «что за важность, и мой брат Александр Макарыч тоже автор»... Это значит, что бывший одесский почтмейстер по своему чину был принят в разных кишиневских домах, имел братьев, мог быть братом однофамильца, служившего полицмейстером в Григориополе, или сам быть одно время таковым. В архивных документах имя этого полицмейстера обозначено буквой «Г». Можно себе представить, как жилось населению городка при таком начальнике полиции! Что касается до его брата, «тоже автора», то сочинение А. Худобашева об Армении в пятидесятых годах цензуровал не кто иной, как И. А. Гончаров...

Но кто же еще из армян был принят «в кишиневских обществах»? И что это за второе имя, помогшее мне вытянуть ниточку от Пушкина — до больших и важных пластов жизни армянских переселенцев из Измаила, построивших Григориополь?

В «Дневниках» Пушкина есть такая запись на французском языке: «18 juillet. 1821. Nouvelle de la mort de Napolèon. Bal chez l'archevêque Armenien» («18 июля. 1821. Известие о смерти Наполеона. Бал у армянского архиепископа») [21]. Наполеон умер на острове Св. Елены 5 мая, или 23 апреля по старому стилю. Известие о его смерти шло до Кишинева почти три месяца, во всяком случае Пушкин получил его 18 июля. Вторая строка записи мало кого заинтересовала. В тот же день вечером Пушкин был на балу у армянского архиепископа (как сообщается в комментарии: Григория Захарьянова). Но кто такой этот архиепископ, чью фамилию «Захарьян» в те времена русифицировали, как почти все вообще армянские фамилии, на родительный падеж русского языка? Он жил в Кишиневе и задавал балы. В прошлом он был архимандритом. И, кажется, среди армянских пастырей, где были очень свет-

---

[19] «Пушкин в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1950, с. 245.

[20] Там же, с. 184—185.

[21] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. 8. Автобиографическая и историческая проза. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1949, с. 19.

лые и умные деятели, нет имени более одиозного, нежели «Григорий Захарьян». Его история, запечатленная в документах, хранящихся сейчас в архиве католикосата среди прочих драгоценных архивных собраний Матенадарана (Ереван), дает нам почувствовать весь накал, всю непереносную обстановку настоящей классовой борьбы, какая происходила в маленьком городе Григориополе.

Те, кто погрузил свое имущество на арбы и двинулся из бывшей турецкой крепости, по усердному приглашению правительства Екатерины, строить на реке Днестре новое свое поселение, были разные люди. Богачи с десятками тысяч капитала, имевшие свой транспорт для передвижения и претендовавшие на русские чины и запись в дворянскую книгу. Бедняки, для которых с великим трудом отыскивались повозки и лошади и перевозить которым было не так уж много. И люди, подобные моему прадеду, врачевателю Макарию, имущество которых заключалось в умении или знании. С самого начала этот переезд не был чем-то похожим на вступление на землю обетованную. Документы хранят записи человеческих чувств и страстей в цифрах, подобно тому, как хранит музыка в нотных знаках свои мелодии. Спустя шесть лет после закладки города положенье бедных жителей так стало невыносимо, что часть их собралась бежать назад, в Турцию. К 27 февраля 1802 года из Григориополя бежало 476 человек. Если в 1790 году было 4440 поселенцев-армян, то через одиннадцать лет их осталось только 1694 — больше половины их «истаяло».

Доходило до массовых выступлений, до ареста руководителей бедноты. Сверху, с годами, шло постепенное цементирование всех выговоренных при переселении вольностей в самодержавную грузную государственную систему: терял свою власть Магистрат, насаждалась русская полиция, отменялась свобода от рекрутчины, вводилась паспортизация, ставились рогатки для передвижения за границу,— но не это больнее всего било по неимущей части населения. Били поборы своего же духовенства, грабежи своих же богатеев. И тут выступает на сцену тот самый архиепископ, на балу которого танцевал в Кишиневе Пушкин. Он был назначен в 1820 году (за год до кишиневского бала) — будучи уже «предводителем бессарабской армянской епархии» — еще и «предводителем григориопольского духовенства». Страшно читать документ о том, как подвизался он на этом своем духовном поприще:

«В период правления архиепископа Григория Захарьяна (1820—1827) все церковные сборы были сосредоточены в руках одного человека — предводителя духовного правления. При нем договор 1806 года (для платежа церковных повинностей все григориопольцы так же, как и население других армянских колоний в России, были в соответствии с их состоянием разбиты на три категории) потерял свою практическую силу: взимая церковные повинности, Григорий не соблюдал положения о разграничении жителей города на категории, требуя, например, со всех за крещение и совершение похоронных обрядов до 1500 курушей. В одном из

своих писем григориопольские жители сообщали, что во времена Григория они изнывали от церковных повинностей, которые собирались из-под палки, с помощью полиции. Поэтому некоторые из армянской бедноты вынуждены были даже поменять веру, перейдя к молдаванам и русским»[22].

Вдумайтесь, читатель, в эти строчки. Армяне терпели всяческие бедствия сотни лет, в Персии, в Турции, от всяких иноплеменных завоевателей,— но цепко держались за свое армяно-грегорианство как за стержень их исторического единства, за честь и достоинство их бытия — быть верными вере. Их ни турки, ни персы, ни монголы, ни римляне не смогли заставить переменить веру. Тут дело было не в религии, дело было в нации, в народном единении. И что же получилось? Свой собственный пастырь, представитель веры, носитель армяно-грегорианства так искромсал, изуродовал, изничтожил их человеческие жизни, так разрушил возможность справиться с тяжкими повинностями, загнал их в такое отчаяние, что — спасая простое физическое бытие — они сделали то, чего не делали ни под турками, ни под персами,— они предали свою веру, перешли «к молдаванам и русским». Не знаю, есть ли еще в истории такой пример «антирелигиозной пропаганды», исходящей от служителя религии.

Начитавшись этих документов, я хорошо представила себе жизнь в колонии, где старики еще не говорили ни на каком языке, кроме турецкого, а дети в семье, подражая взрослым, тоже говорили по-турецки. Во второй половине XIX столетия приехал в Григориополь епископ Габриэл Айвазян, брат знаменитого художника Айвазовского. На севере России, в Москве, в армянском журнале «Лусисапайл», молодой революционный демократ Микаэл Налбандян жалил своим острым пером реакционного епископа Айвазяна. А реакционный епископ Габриэл Айвазян, у которого мой дедушка-священник, отец Давид Шагинянц, служил в то время секретарем, имел и свои хорошие стороны. Он пришел в ужас от турецкой речи в семьях григориопольцев, от отсутствия в Григориополе школ на родном языке и немало потрудился, чтоб открыть такую школу.

Что касается моего дедушки Давида Шагинянца, то мне посчастливилось совсем недавно найти интереснейшие данные о нем в трудах молодого армянского историка Жореса Ананяна. Журнал «Вестник общественных наук» (Армянской академии) в номере 5 за 1972 год напечатал очень для меня важную статью, имеющую значение не только для армян, а вообще для истории женского образования на Руси.

---

[22] Матенадаран, архив католикосата, папка 55, д. 25. Цитирую по книге Ж. А. Ананяна «Армянская колония Григориополь». Ереван, Изд-во АН Армянской ССР, 1969, с. 152. Институт истории. Академия наук Армянской ССР. Разрядка моя.

Хотя это может отяжелить для читателей окончание моей первой главы, я должна привести довольно большой отрывок из этой статьи:

«В 60-х годах XIX в. в армянской действительности поднялась новая волна общественно-политического движения. Женский вопрос в то время стал одной из злободневных проблем, занявшей умы передовых деятелей армянской общественной мысли. Первым, кто осмелился публично выступить за равноправие женщин с мужчинами, был Микаэл Налбандян. Армянский просветитель и революционный демократ особое внимание уделял вопросу образования армянок и их месту в жизни общества. Он исходил из того положения, что «мать должна обучать своих детей народному языку; мать должна взрастить в детских сердцах национальное чувство и так его укрепить, чтобы ни холодная северная буря, ни палящий южный зной не могли засушить эти ростки. Мать детей — мать семьи, но мать семьи — мать нации».

Идеи Налбандяна были подхвачены и развиты армянскими публицистами, писателями, учеными и общественными деятелями второй половины XIX в. Начиная с конца 60-х годов XIX в., в результате проведенной в 1868 г. структурной реорганизации церковноприходских школ, они становятся одним из популярных и распространенных очагов народного образования.

Возникновение в 1868 г. в Григориополе одной из первых в России женских приходских школ связано с именем протоиерея соборной церкви Петра и Павла г. Григориополя Давида Шагинянца — дедушки писательницы Мариэтты Шагинян.

Публикуемое ниже письмо Давида Шагинянца интересно не только как повествование, имеющее историческую ценность, оно вместе с тем является еще одним свидетельством того, что среди части армянского духовенства России имелись деятели, разделявшие просветительские взгляды Микаэла Налбандяна. В своей статье о. Давид поднимает вопрос о женском образовании и образовании вообще.

Давид Шагинянц был, несомненно, одним из одаренных, образованных и прогрессивных общественных и духовных деятелей своего времени.

Статья Давида Шагинянца о женской приходской школе Григориополя вышла в свет более ста лет назад, в 1871 г. в апрельском номере эчмиадзинского журнала «Арарат» и ныне уже стала библиографической редкостью. Русский перевод публикуется впервые. Фрагменты автографа о. Давида были выявлены нами в фондах Центрального государственного архива Молдавской ССР (ф. 1317, оп. 1, д. 1).

Упоминаемый в статье Давида Шагинянца католикос Георг IV был избран на этот пост в сентябре 1866 г. За энергичную пропаганду народного образования за ним закрепилась слава «покровителя школ». В 1868—1869 гг. под его руководством был

проведен ряд мер, укреплявших организационные основы армянских школ.

Он же является основателем журнала «Арарат», в котором была опубликована эта статья на древнеармянском языке. Привожу текст в моем переводе.

ЖЕНСКАЯ ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА В ГРИГОРИОПОЛЕ

В XIX веке немногочисленная паства армянского народа города Григориополя, уже познав цену и достоинство образования и в то же время мысля, что, несомненно, необходимо дать образование и женскому полу, дабы стали они со временем грамотными матерями, сообща направила в 1868 году прошение к Его Святейшеству Католикосу всех армян Георгу IV, чтобы соблаговолил он разрешить ей открыть в городе женскую школу...

Поскольку всякое доброе дело вначале всегда имеет своих недоброжелателей, то и против сего начинания встало, подобно потоку, великое множество препятствий, однако бдительным покровительством Его Святейшества и с помощью достопочтенного предводителя епархии архиепископа Георга, слава небесам, «всякие кривизны выпрямились, и неровные пути сделались гладкими», и школьное дело изрядно продвинулось. 22 июня прошлого 1870 года, в присутствии попечителей и прихожан, весьма торжественно совершена была церемония экзамена учениц, на которой армянские девушки, продемонстрировав достойные похвалы успехи в изучении языка, доставили великую радость как родительским, так и другим отзывчивым сердцам, поелику еще два года назад женскому полу совершенно не была знакома армянская речь, чтение и письмо, ныне же, благодаря обучению г-на Георга Мандакуни и его благоразумной супруги Луции Гарамрзаян, они более или менее изъясняются на своем родном языке. Есть надежда, что успехи эти будут из года в год еще более разительными на благо и радость нации.

Не вызовут ли удивление маломальские успехи учениц в изучении армянского языка там, где армянская речь стала уже всенародной? Однако событие сие следует считать здесь великим делом, ибо армяне нашего города, будучи в свое время переселенцами из Турции, предали забвению свой родной язык и меж собой говорят по-турецки; печальное явление, весьма печальное. Думаю, подобное имеет место во многих поселениях братьев наших как в России, так и в других странах, стало быть, сии более или менее значительные успехи в разговорной речи наших девушек должны вдохновляюще подействовать на любящих свой народ.

Дай бог, дабы везде братья наши с таким твердым единодушием, рука об руку, преисполненные армянским духом, служили бы нации и не только на словах, но и делом, и средствами: состоятель-

ные братья должны поддерживать образованных людей, а получившие образование — бескорыстно передавать свои знания молодому поколению нашей нации. Тогда и мы, думаю, постепенно смогли бы достигнуть той ступени просвещения, где уже сверкает славное знамя других народов; непременный долг наш — выйти из глубокого сна, оглянуться вокруг, узреть, как все сталось, какие усилия прикладывают другие, кои продвигаются вперед не то что из года в год, из месяца в месяц, а изо дня в день, верно разумея, что единственным предметом и средством просвещения и силы нации может явиться лишь образование...

Многие... говорят: «Эх, такая-то школа открылась, но вскоре закрылась», и они это изрекают, серьезно не подумав, однако, в чем собственно причина ее закрытия. Если кораблю не будет хватать кое-каких необходимых снастей, то он, будучи в море игрушкой волн, разумеется, долго не выдержит и, кренясь то в одну, то в другую сторону, в конце концов затонет, став жертвой морской пучины; так и школа, если она не будет иметь средств для управления,— исчезнет, подобно утлому судну...

Не сомневаюсь, что если кое-где найдутся люди, воспламененные... любовью к просвещению, то их благоприятный ветер поможет кораблю прорваться сквозь разъяренные волны, и он пойдет вперед.

Протоиерей Давид Шагинянц
4 марта 1871 г.
Григориополь
«Арарат», 1871, с. 387—398».

Приведя эту большую цитату, не могу не сказать, что она обрадовала меня не только прогрессивным духом моего деда, но и кажущимися в нем литературными задатками. Об этом говорит и оставленная им рукопись «О подражании Христу».

Итак, дедушка мой обучал и готовил учителей для этой первой женской григориопольской школы, где девушки из бедных армянских семей учились говорить и читать по-армянски...

Мирное национальное культуртрегерство — и на другом конце России неукротимый ганзейский дух боевого национального предпринимательства. Два потока «генов» — с материнской и с отцовской стороны. И какой сложный переплет человеческих отношений! Какая трагедия маленьких, заброшенных на чужбину жизнией, с тоской вспоминавших голубые воды озера возле зеленого города Измаила, так похожие, может быть, на потерянное в давнишней давности армянское озеро Севан...

«Бес арабский», как звали в Кишиневе неугомонного голубоглазого поэта с африканским профилем, заглянул в своей бессарабской ссылке под рваные шатры бедных цыган, «мирную вольность» которых он так бессмертно воспел для человечества. Но и там, в этой, казалось бы, смиренной, казалось бы, такой нетребовательной, такой простодушной и безобидной, близкой к матери-природе

жизни он нашел глубокие человеческие страсти, гибельные драмы:

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под издра́нными шатрами
Живут мучительные сны...

А рядом с ним — в маленьком колониальном городке происходили драмы человеческого общества в целом, растущего в старом мире по законам его общественного развития. Величайшая человеческая драма, как в капле воды отразившая большую историю общественной жизни в огромной Российской империи.

Переделкино,
18 VI—6 XII 1970 г.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Школа

Das Wahre war schon längst gefunden...
Goethe [1]

Тот, кто учится... спит хорошо и становится собственным врачом. С учением связаны самообладание, целеустремленность, повышение уровня знаний, созревание человечности.

Из «Упанишад», «Вед» [2]

1

Почти за три тысячи лет, в VIII—VII веках до нашей эры, Индия знала, что учение — это не только заучиванье разных предметов, нужных в дальнейшей жизни. Из всех благ, сопровождающих учение, лишь одно, если верить древнему ведийскому отрывку, относится к повышению знаний. К сожаленью, дети нашей эры не чувствуют широты школы, не идут в нее, как цветы в воду или рассада в землю. И надо быть взрослым, очень пожившим человеком, чтоб ясно представить себе проблему школы, ощутить ее как среду для своего роста. И тогда он начинает сильно корить и жалеть себя за легкомыслие своего детства и юности, когда мог бы взять от благодатного школьного времени куда, куда больше, чем взял. Я тоже поняла это очень поздно, в возрасте сорока пяти лет, когда подала заявленье о приеме в Плановую академию и была, в виде исключенья, принята в нее — одна беспартийная среди сотен членов партии.

Вставая в темноте зимнего утра одновременно с дочкой, учившейся своим чередом, я радостно стряхивала сон с ресниц и шла пешком, еще тихими, снежными, темными улицами, в далекий от дома особняк, где размещалась в ту пору наша «Плановка». Утренней свежестью несло от снега, сгребаемого с тротуара дворниками. Магазины были закрыты. Прохожих мало, и мало всякого транспорта — все на улицах еще стояло в полудремоте, совершая свой утренний туалет — скребясь, чистясь, подметаясь. Было счастьем шагать и думать. Плановую академию тогда только что открыли, мы были ее первым (или вторым, уж не помню) поколеньем. Нам всем казалось, что мы приобщимся к тайне планированья. Что та-

[1] «Истинное было уже давно найдено». Гёте. Из стихотворения «Завещание» («Vermächtniß»).
[2] Цитирую по книге А. Нусенбаума «Народное образование в Индии». М., Учпедгиз, 1958, с. 5.

кое планированье? Как его производить, с чего начинать? Как надо учитывать потребности двухсот миллионов, наличие производимого, цифры возможного, запасы сырья, людскую работу? Мы воображали, что так сразу все и откроется перед нами, как дважды два — четыре. Мы — это особая подборка учащихся: большие партийные работники, нуждавшиеся в обучении хозяйству, и крупные хозяйственники, нуждавшиеся в марксистской заправке. Педагоги и лекторы были выбраны для нас «из числа наилучших». Мы (я следом за товарищами, которых уважала) приглядывались к ним критически. Они — по царившей тогда опаске у специалистов перед советскими чинами — побаивались своей аудитории. Где же была наука планирования? Предмет планирования? Учебник, где все рассказывается от параграфа к параграфу, чтоб мы могли, выучив его, сесть в Госплан и заняться планированьем? Но, к нашему огорченью, наука эта, как солнечный зайчик, только бегала по стене, решительно нигде не замирая так, чтобы можно было успеть ее схватить. Короче говоря, ее, среди множества перечисленных предметов на нескольких отделениях, не было вовсе. «Планированье» как таковое не входило в число наук.

Я записалась, только что издав свою «Гидроцентраль», на отдел энергетический. И в «общей тетради» у меня, где было расписание занятий по дням и часам, стояло: политэкономия, геология, геодезия, физика, электропромышленность, электричество, математика, гидроэнергетика, теплоцентрали, английский язык — не помню, что еще. Обучение было бригадное, мы сидели в классе по четверке — в моей четверке были русский, узбек, туркмен и я,— дорогие сердцу товарищи моей второй молодости, унесенные потоком жизни! Я не доучилась с ними до конца, а вышла из Плановки на третьем семестре. Что и как мы там делали и чем я обязана этой моей необыкновенной школе, я буду рассказывать в своем месте, а сейчас вернусь к своим думам на долгом пути по предрассветным московским улицам.

Почему в детстве и юности не было вот этого ощущенья счастья, когда ты идешь в школу? Заботы с тебя сняты, о тебе будут заботиться, в пенал лягут карандаши, ножичек, чтобы очинить их, резинка. Школьная ручка с пером. В ранец — новенькие тетради с промокашками, на которых наклеена красивой выпуклой картинкой длинная лента, кончик которой закреплен у металлической застежки в середине тетради,— чтоб не затерялась промокашка. Учебники... их можно аккуратно вложить в белую глянцевитую обложку и надписать на ней свою фамилию. Почему не было счастья от всего этого, как у пловца или рыбака, оснащивающего свою лодочку для дальнего плаванья? Как могло не захватить всю душу ребенка богатство наступающего дня, его шести-семи часов с большой переменой посередине, когда в душу и мозг ляжет столько нового, разного, интересного, умноженного картинками, цифрами на классной доске, рассказами учителя, примерами, взлетами рук твоих соседок, торопящихся с жаром что-то прибавить от себя? Такой большой день и после него — уроки, спокойно, под лампой, у себя на

дому... И я тогда еще, в сорок пять лет, страстно задумалась, почему вот это блаженное чувство ходьбы в Плановку, охватившее человека в сорок пять лет, не переживается детьми, не переживалось мной, легкомысленно упустившей получить максимум возможного от даруемой в детстве школы, в юности — университета?

Но прежде всего в детстве со мной совсем не было так, как в сорок пять лет, и я «ходила» в школу совсем немного, а больше жила в ней, была пансионеркой, а не «приходящей». С двух-трех лет нас с сестрой начали обучать немецкому языку. Не обладая памятью на лица (подчас не узнавая соседей за столом, с которыми месяц сижу рядом!), я странным образом помню, какой была наша первая учительница, Луиза Антоновна, ее сухое лицо с густой сетью морщинок возле скул, добрые, влажные глаза, блузу с мозаичной брошкой, теплые фланелевые штаны, которые она тихонько снимала в передней, чтобы никто не видел, и, завернув в газету, клала под вешалку, и большие ноги в башмаках с резинкой. Помню и первый ее урок, когда мы в страхе попрятались за стулья, а она, деловито войдя в детскую и взяв в руки куклу, сразу начала:

— Дети, киндер, што это такое? Это пуппе, кукла.— И этим сразу ввела нас в свою систему урока.

Мы никогда с ней не сидели — мы двигались вдоль стен, заучивая вещи в их новых названьях; качались верхом на лошадках; прыгали через веревочную прыгалку; играли в мяч, в кегли,— и каждый день мир наполнялся звуками новых слов, сперва раздельных, потом начинавших связываться глаголами, обрастать качеством,— эпитетами; становиться во взаимоотношение с нами — моя, твоя.

Луиза Антоновна зарабатывала свой хлеб нелегким трудом. У нее было четыре урока в день в разных концах города — с завтраком, с обедом, с чаем и с ужином,— по нескольку часов каждый. В методику свою она так вработалась, что, должно быть, могла бы повторить ее и во сне. Но в промежутках, когда наступало время еды (у нас она бывала с завтраком), она становилась как бы «частным лицом», с минутами импровизации,— и тогда это была матрона, очень наблюдательная, с добрым сердцем. Она заметила, например, что отец запретил нам есть мясо,— мы не ели его лет до семи; его заменяла ватрушка и стакан молока на завтрак. А ей подавали хорошо зажаренный бифштекс с круглым жареным картофелем и соленым огурцом на отдельной тарелочке, а потом стакан кофе. Аромат от бифштекса начинался еще из кухни и густел по мере приближения к столовой. У нас он щекотал ноздри, закипал слюной во рту, пока мы глотали свое пресное молоко. Луиза Антоновна делала вид, что вообще не замечает нас. Но когда бифштекс, аккуратно разрезанный на кусочки, почти съедался и дело доходило до последнего аппетитного хрящика, неизменного на краешке настоящего бифштекса,— Луиза Антоновна задумывалась, потом медленно резала этот хрящик на две половинки и отодвигала их ножиком на чистый край тарелки. При этом не говорилось

ни слова. Но мы понимали. Дети и звери удивительно понимают без слов. Хрящички в ту же минуту исчезали у нас во рту...

Вспоминая этот самый ранний период учебы, когда на всю жизнь так легко, словно играючи, утрамбовалось в нас знание немецкого языка, я с грустью думаю о разговоре с одним чиновником из нашей Академии педагогических наук. Он решительно заметил, что не следует отправлять своих детей в первый класс уже чему-то обучившимися — они будут «плохо читать и писать, воображая, что обгоняют класс»,— и учителю «труднее, когда уровень учащихся неодинаков»! Держать семилетнего человека (ведь ребенок — это человек!) в сознательной неграмотности! Потому что учителю легче, когда «уровень учащихся одинаков»! Разговор этот происходил несколько лет назад, и мне тогда же захотелось проверить, что делают наши дети до семи лет в детских садах.

Я помнила старые фребелевские сады и «первые приготовительные» (часто их было в пансионах «первый» и «второй»),— задолго до Октябрьской революции. Там была система в играх, в игрушках, в линованных густо (две горизонтали, пересекаемые сеткой косых диагоналей) тетрадках, в подборе цветных карандашей, не всегда, может быть, соблюдавшаяся сознательно. Система эта состояла в том, что дети готовили руку, когда выводили свои палочки,— к будущему каллиграфическому письму; готовили глаза — к будущему выбору красок; готовили свое восприятие — к симметрии, к пониманию, что она такое; готовились игрою в лото, в кубики, в мяч — к знанию флоры, фауны, первых форм геометрии, чувству дистанции. А возраст был — четыре-пять лет. И с этих же лет ставилось горло, обучался слух — пением, музыкой. И, чтоб не забыть главное,— в прошлом именно тогда закладывалось и знание иностранного языка, по преимуществу — немецкого. Мне приходилось писать о значении ранних уроков именно немецкого языка. Фонетически он самый близкий к русскому. А русский и немецкий — это наилучшие по звуковым элементам языки для безупречного произношения после них всех других европейских языков, особенно французского и английского...

Так вот, наши детские садики. Если смотреть исторически (когда, почему, для чего), то в первые, ранние годы их организации они были остро нужны, потому что отец и мать работали и не с кем было оставить детей. Они были остро нужны, говоря грубо, для родителей в первую голову, а потом уже для детей. Проблему родителей (развязать им руки и дать спокойную совесть, чтоб не боялись оставить детей, чтоб дети были здоровы, умыты, накормлены, не подвергались опасностям, не плакали, не скучали) решить было куда легче, чем проблему детей. На нее, главным образом, и упирали наши ранние организаторы. Важным действующим лицом в детских садах той поры была «нянечка»; потом пошли юные руководительницы со скудным багажом; а после — постарше. Но из этих, постарше, я запомнила двух, с которыми пришлось поговорить. Пусть не обижаются на меня, дело давнее,— одна сказала про свою помощницу: «Это, конечно, не Рио-де-Жанейро, но свое

дело делает...» — а другая о родителях ребят: «Они сами не знают, чего хочут...» И я вспомнила, что первые «фребелички», руководительницы детских садов, были с университетским образованием, что многие из них читали Пестолоцци в оригинале, не говоря уж о Фребеле. И тщательно изучали психологию детского возраста.

Время, когда детские учрежденья решали «проблему родителей», уже отошло; и нынче выдвинулась «проблема детей». Я как раз застала детский сад — столичный, один из популярных — в этот период, и на мои вопросы мне охотно рассказывали и показывали рисунки («На выставку»); хоровое пение; танцы; разыгранные пьески и декламацию; игрушки с образовательным уклоном. Казалось, что драгоценные годы — от четырех до семи — были у ребят действительно заняты и не проходили зря, в пустоту. А все же тут и в помине не было ни иностранного языка, ни учебы, ни подготовки к учебе; и на поверхность всплывало даже не «препровождение времени» с пользой для ребят, а нечто большее — с привкусом воспитывания «показа».

Две формы показа есть в детском возрасте: один — для детей приятный, другой — неприятный. Это «выступление» (на сцене, на выставке, на празднике взрослых, на всяческих демонстрациях) и — школьный экзамен. Существуют они испокон веков. Критиковать их — бесполезно. Кое-что очень нужное, вероятно, в них есть. Одно скажу — от себя, ничего не критикуя: мне всегда бывает немножко совестно, да и противно, глядеть, как выступают дети — для развлечения и умиления взрослых; и мы действительно умиляемся, утираем слезу, даже будучи старыми большевиками,— и, утирая слезу, не думаем, что остается от таких показных представлений на душе у ребят. Может — самую малость,— но капля долбит камень, привычка начинается с повторения,— приучаем мы этим детей к тщеславию, вылезанию, зависти, театральности жестов, желанию быть на виду — словом, от показа к показухе. Может, и необязательно. Может, чуть-чуть. Раздумывая над этим и вспоминая те же «выступленья» и «показы» конца прошлого века, времени моего собственного детства,— я вижу одну черточку, как бы не только обезвреживающую их психологически, но и делающую их составной частью правильного воспитанья. Черточка эта...— впрочем, прежде чем обобщать, приведу ее на маленьком примере из личного опыта.

В конце девяностых годов в московских газетах можно было прочитать такие, например, объявления: «Женское учебное заведение-пансион Е. Н. Дюлу, с упором на практику французского и немецкого языков, угол Поварской и Мерзляковского, дом Гирш». Таких заведений, особенно для девочек, было в Москве немало. Во главе их стояли обычно обрусевшие француженки, прижившиеся в России чуть ли не со времен Наполеона. Постепенно из семиклассных эти школы восходили к гимназиям, принимались в ведомство министерства народного просвещения, получали права. Такой путь проделало и французское заведение Екатерины Евгень-

евны Констан-Дюмушель, помещавшееся на Швивой горке в красивом особняке,— особняк этот, имеющий въезд с двумя сидячими львами и расположенный в глубине двора, стоит на Швивой горке и сейчас. Мне было семь лет, а сестре пять. Мы уже умели читать и писать по-русски, говорили по-немецки. Мать, учившая нас русской грамоте легко и между делом, показывая заглавные буквы газет, заставляя прочитывать названья под картинками и тут же, произнеся букву, сразу уча писать ее на бумаге,— все так же мимоходом, играя нам любимые вещи на рояле, обучила нас и самих играть легонькие пьески. В одно осеннее утро меня впервые разлучили с сестрой — собрали в нарядный баульчик все, что нужно для недельного пребыванья, а в отдельный мешок коробку фиников от Яни Понайота (была такая румынская кондитерская в Москве) и любимые кислые карамельки, надели коричневое платье с белым воротничком, оделась и мама. Кучер Иван лихо подкатил к парадному на нашей паре, покрытой ради такого случая синей сеткой,— и мы поехали. Мы поехали, а я чуть не свернула шею, оглядываясь назад, где на подоконнике, прижав нос пуговкой к стеклу, стояла сестра. Всю неделю потом она спрашивала: «А теперь — суббота?» — и прыгала на подоконник. В первую же субботу я увидела в окне ее нос пуговкой, когда подъезжала на побывку домой...

Мать отвезла меня в пансион Констан. Проучившись там два года, я сейчас почти ничего от этой учебы не помню. В памяти остались только три фамилии — мадемуазель Амудрю, Гловацкая, Вольтановская... а кем они были, учительницами или классными дамами, и как выглядели — никак не вспомнить. Только разве Амудрю, Флорентина Антуановна, с ее кокетливой французской речью, да вечерние чаи внизу, в длинной столовой, потому что сохранился их вкус,— большие чашки, чай с молоком и круглые московские «розанчики» к нему, с которых было особенно вкусно отдирать верхнюю поджаристую завертушку. Этих розанчиков, как и прочих разновидностей старой московской полусдобы, сейчас уже не выпекают. Хранится в памяти и обязательное вычесыванне нашими нянями волос в дортуарах перед сном. Няни ставили на стол блюдечки с разбавленным спиртом, макали в них вату и долго втирали нам в кожу головы эту жидкость, покуда мы сидели перед столом с нашими распущенными косами. А потом в ход шли частые гребешки, и начиналась процедура вычесыванья, чтоб, избави боже, не завелось вшей в волосах. Недаром озорники дразнились — вместо «Швивой горки» «Вшивой горкой»,— а наша начальница на визитных карточках ставила «Гончарная улица...».

Но кроме этих мелочей, почему-то застрявших в памяти, я навсегда запомнила событие, много раз и все по-разному осмыслявшееся мною впоследствии. Вот с этим событием и связана упомянутая мною выше «черточка». Был в пансионе Констан толстенький, с черными короткими усами под самым носом, необыкновенно ловкий в движениях, несмотря на свою толщину, хоровой регент и создатель оркестра из пансионерок. Настоящего оркестра — со скрипками, виолончелью, арфой и даже духовыми, в которые, раз-

дувая щеки, дудели самые здоровенные и старшие из наших девочек. Был в этом оркестре и барабан, большой, круглый, сидя за которым можно было спрятаться по самую шею. И за этот барабан, проверив мои музыкальные знания, посадили меня.

Барабана я сразу испугалась, я его прямо возненавидела. К рождественской елке мы должны были разучить для мадам — Екатерины Евгеньевны — что-то вроде марша из балета «Коппелия»,— позже я много раз прослушивала этот балет и нигде не могла найти место моего «марша» в оркестре. Исчез барабан из партитуры! А тогда из совершенного ужаса, не разбираясь в счете тактов, чтоб правильно вступить в игру, я ничего не видела, не слышала, сидела зажмурившись и ударяла в свой барабан на авось в надежде, что вдруг да попадет куда нужно. От моих нелепых ударов все останавливалось, «скрипки» смеялись, «флейты» пользовались остановкой, чтоб перевернуть свои дудочки и выпустить из них накопившуюся слюну, а регент сердился, бил палочкой о свой пюпитр и кричал: «Не туда, не туда!» А куда, спрашивается? Я сидела несчастная, заупрямившаяся в своем несчастье, как ишак: начинали опять, и я опять зажмуривалась и била невпопад.

Тогда регент решил вникнуть в этот случай. Он начал приглядываться — и увидел, что я сбиваюсь в счете тактов и что внимание мое безнадежно направлено на арифметику, на поиск своего арифметического места, куда надо запустить барабан. И тут он применил замечательный педагогический прием:

— Ты не пустые такты считай, ты музыку слушай! Ты забудь счет тактов. Оркестр играет очень красивую вещь, ее приятно слушать. Ты слушай — и ты сама почувствуешь, когда требуется ударить в барабан. А не почувствуешь, я к тебе поворачиваюсь — вот так, и палочкой указываю — вот так! Ударяй! Еще раз! Еще раз! Волна поднимается, а барабан ее осаждает вниз. Поднимается — вниз! Пробуй!.. Барышни! Начинаем...

И я стала вместо счета тактов, на что мне указывали раньше, слушать музыку. Впервые слушать, что другие играют. И мне понравилось, я забыла про барабан. Но тут скрипки понесли мелодию все выше, выше, регент повернулся ко мне, а я ударила в свой барабан и сразу попала на свое место. И мне прямо полюбился мой барабан. Полюбилась его музыкальная функция в оркестре. Полюбилось, как я осаждаю высокую волну скрипок вниз, как подаю свой голос — громкий, энергичный, утверждающий, говорящий: не залезайте чересчур в небо, земля тоже зовет, возвращайтесь! Бог знает что мне такое мерещилось, но я со своим барабаном могла без конца философствовать. Я его нашла, потому что услышала целое. Много, много раз впоследствии приходилось мне писать и рассуждать на тему об оркестре, о роли подлинного организованного коллектива в форме оркестра, о том, что каждый в нем зависит прежде всего от целого и найти свое место в нем можно только тогда, когда узнаешь и поймешь это целое «все вместе».

Помню, лет шестьдесят назад погиб огромный океанский пароход — получил пробоину и стал тонуть. Шлюпок хватило лишь на

женщин и детей. Люди обезумели, отталкивали друг друга, миллионеры, ехавшие домой в Штаты, пытались подкупать матросов, лезли в спасательные пояса. Куда там было думать о музыкантах, симфоническом оркестре, наятом ублажать публику верхних палуб своею игрой. Они тоже оставили дома свои семьи, что-то свое, дорогое, но они знали, как знают приговоренные в тюрьмах к смерти, что у них нет шансов. И оркестр (в сознании каждого из них стояло, что они — оркестр) взял в последний раз свои инструменты. Покуда пароход погружался в воду, музыканты начали и продолжали играть Бетховена, продолжали играть, пока вода не дошла до инструментов, до груди, до горла,— спасшиеся в лодках рассказали потом, что музыка опускалась на дно вместе с пароходом. Какая счастливая, могучая, человечная смерть! Много раз я о ней рассказывала читателям и слушателям, когда шла речь об организующей роли оркестра... Но вот о «черточке».

У нас, как правило, стоит только завести речь о двадцатых годах — советских двадцатых годах,— как все без исключения восторгаются тогдашней нашей литературной действительностью. Не сразу в этом единодушном хоре голосов я разобрала, что люди восторгаются совсем разными и даже противоположными вещами. Одним нравилось, что тогда невозбранно печатались «левые» течения, футуристы, формалисты, «опоязы», видевшие в Октябрьской революции окно в «свободу выявления», считавшие, что они своими новыми приемами искусства ярче, нагляднее, реальнее передадут революционное бытие, чем потуги натуралистов, людей консервативных по своей художественной природе, умевших отражать мир лишь по старинке. На каком-то коротком этапе оно так и происходило, но — мир новых отношений надо было создать материально. Надо было лепить его в окружении старья. Лепили впервые — прецедентов не было. И материальное создавание новых человеческих отношений, трудное, смелое, небывалое, людьми, пришедшими на авансцену истории без рефлексий, без Гамлетовых «быть или не быть?», единственно возможными людьми в такую историческую эпоху,— стало содержанием для творцов искусства, содержанием, которое надо было отразить не только абстрактно и риторически, с упором на небывалую форму, а добросовестно, скрупулезно, реально, с микронными деталями, чтоб понять их особенности. И для многих — для меня в том числе — двадцатые годы дороги тем, что лучшие писатели почувствовали эту задачу, взялись за нее, пошли на ее приступ, оставили нам трассы своих подходов к особенностям новой классовой сущности того человека, который вдруг посмел выйти и взять в свои руки построение нового мира.

Совсем разные это были писатели. Старый натуралист Серафимович из сборников «Знания» сумел в «Железном потоке» показать, как стихийная людская масса организуется в единое целое вожаком революции. Острый и далекий от натурализма Борис Пильняк нащупал, наглядел нового деятеля «без рефлексий», пришедшего на историческую сцену, и дал ему название «кожаной куртки». Еще без глубокого анализа, без понимания классовой пси-

хологии, рисуя лишь углем и мелом, вчерне, эскизно,— наметилась реальность: «кожаная куртка», которой — как во времена Тургенева книжной героине подражали реальные помещичьи дочки — стала подражать школьная молодежь, рвавшаяся строить новый мир. И вдумчивый западник, воспитанный французской поэзией и левыми полотнами,— Илья Эренбург, которого знали Владимир Ильич и Надежда Константиновна и для которых он был просто Илья,— поднял вдруг острейшую тему наступавшей эпохи, тему индивидуалиста в коллективе в «Дне втором»... Вот чем замечательны были двадцатые годы: приступали к новым задачам, к отражениям намечающейся формовки нужных для социализма людей в их характерах и взаимоотношениях друг с другом и со средой.

Индивидуалист в коллективе, борьба с индивидуалистической спесью в себе и с упором на своем «я» превыше всего, внедрение в понимание каждого человека такой же полноты реальности в понятии «ты», как и в своем «я»,— это красной нитью проходило через лучшие наши созданья первых десятков лет строительства социализма, воспитывало, давало свои глубокие радости, свою психологическую тонкость — и в жизни и в книгах — и откладывалось в нас — частью нашей партийной совести. Вот почему бывает больно, когда забывается эта накопленная черточка; когда в наших спортивных состязаньях, в воспитании разных форм «самодеятельности» бог весть откуда вкрадываются закваски былого «выскакиванья», «вылезанья», «зависти», «хвастовства», «тщеславия», «кокетничанья» оторванного от среды «я», «я», «я»... Когда перестают слушать целое и только арифметически считают такты — для вступленья своего в оркестр.

2

Как раз во время двухгодичного моего пребыванья в пансионе Констан я испытала еще одну вещь, не имеющую отношенья к учебе, но очень важную в моем духовном развитии. Вещь эта — «обеднение». На второй год, после уроков — в субботу — одна девочка, всегда подбегавшая ко мне на переменах и старавшаяся сделать или сказать приятное, с какой-то умильностью в голосе закричала:

— Шагинян, Шагинян, вот за тобой приехали твои лошади!

Я было дернулась к окну по привычке, но тут же вспомнила, что с осени привозит и увозит меня из пансиона уже не наша пара под синей сеткой, а простой извозчик. И, повернувшись к девочке, я с удовольствием, как новость, хотела ей сообщить: «А у нас больше лошадей нет, лошадей продали». Но что-то вдруг остановило меня. Не знаю что. Помню только, что не во мне, а в ней. И, не давая себе отчета, я смолчала. Оставила ее в убеждении, что за мной действительно прикатила наша прежняя пара.

Случай как будто ничтожный. Но когда думают и пишут о воспитании «в школе и в семье», сотни страниц исписывают разными умными вещами о воздействии на ребенка школы, о влиянии на него семьи, о разлагающем вреде «улицы» и т. д., забывая простей-

шее нечто, а по-моему, самое сильное из всех влияний: взаимоотношение самих детей между собой. Конечно, есть дети, чья натура или характер получше или похуже, но совершенно плохих или совершенно хороших, особенно в раннем возрасте, по-моему, нет или почти нет. У девочки, которая ко мне подбегала, было кем-то или чем-то заброшено семя, которое еще можно было бы затоптать или выкорчевать,— семя уважения к богатству, чувство, что богатство — хорошо, бедность — плохо, с богатыми дружить почетней, выгодней для себя, и, может быть, даже невинные семечки «подлизыванья», ухаживанья. Вот весь этот комплекс, отражаемый в ее умильности, заискиванье в тоне, как материальный флюид или настроенность на психическую волну, тотчас заразил и меня и передался в мою открытую душу, до этого заинтересованную только тем, что у меня есть «новость». Но заразив мою душу, немедленно окрасил ее качественно. Если б я, как я,— была в эту минуту сильнее воздействующего «флюида», я могла бы сказать именно то, что собиралась, и заинтересовать девочку самой объективностью факта; и тогда это повлияло бы на заброшенные в нее ранее семена и помешало их росту. Но маленький «контакт» между двумя детьми, из-за моей реакции, повел к ухудшению нас обеих.

То было у меня второе столкновенье с понятиями «богатство» и «бедность». Первое произошло года за два до ее вопроса о лошадях и тоже имело большое значенье в моей жизни. Как только я начала читать, няня частенько просила меня почитать ей из Евангелия. Она хранила его под лампадкой, закапанное маслом, старенькое, рваное, без апостольских посланий и псалтыря, а только четвероевангелие. И однажды, прочитав ей о верблюде, которому легче пройти в игольное ушко, нежели богатому в рай, я спросила у нее: как же быть-то человеку, чтоб не стать богатым? Няня ответила:

— Верная есть одна примета: кто со скатерти хлебные крошки смахивает рукой, а не веничком, на всю жизнь пребудет в бедности.

С тех пор я всю жизнь, по усвоенной в детстве привычке, смахиваю крошки со скатерти рукою, хоть это и не очень эстетично.

Однако же в том возрасте (пяти лет) у меня не было сравнительного понимания богатства и бедности, да и представленья не было, что оно такое, богатство, кроме как препятствие попасть в рай. Теперь же, в случае с девочкой, родился сразу целый букет ощущений с примесью очень важного в детстве, очень мощного, если научиться сохранять способность к нему во все возрасты, чувства *стыда*. Умолчала — и родился стыд. Умолчала — потому что уступила. Уступила, потому что хотелось сохранить умильное отношенье чужой девочки к себе. Умильное отношенье было не ко мне, а к паре лошадей под синей сеткой, на которых я ездила. Пара лошадей отличала меня от большинства других девочек. И я восприняла это отличие как преимущество. Преимущество богатства!

Но его у нас уже не было. Постепенно уходили от нас, как волны в отливе, обнажая песчаный берег, привычные вещи: званые обе-

ды со множеством гостей и поваром в белом колпаке; отъезды на дачу с упаковкой в фуры всей фарфоровой посуды и с перевозкой рояля; квартира в Салтыковском переулке с конюшней для лошадей, поскольку лошадей уже не было. Но кучер Иван, любимый моим отцом за молчаливую преданность и доброту, остался у него в услужении до самой смерти. Ушел и дорогой пансион Констан. Мы переехали на Садовую-Каретную, в дом Кирхгофа, заняв в нем лучшую квартиру в бельэтаже, выходившую высокими зеркальными окнами на улицу. В двадцатиминутной ходьбе от нас, в направлении к Сухаревке, были две женские гимназии, Любови Федоровны Ржевской и Калайдович. Гимназия Ржевской — на нашей стороне улицы; Калайдович — на противоположной.

Думаю, что выбор родителей был связан именно с этим обстоятельством. Не то что возить на извозчике, но и сопровождать нас, кроме няни, было некому, а поэтому безопасней без перехода широкой Садовой, по которой без конца тянулись возы, отпускать детей — меня во второй класс, Аню в приготовительный гимназии Ржевской. Все, что связано у меня с обучением в с р е д н е й школе (за исключеньем одного года) и что впоследствии легло в постоянные размышленья о педагогике, о роли наставника, учителя,— относится к этой замечательной старой гимназии, носившей название «частной» в отличие от существовавших тогда казенных гимназий под цифрами Первая, Вторая и т. д. Но прежде чем рассказать, чему и как нас в те времена учили, вернусь к уступчивости и к влиянию человека на человека,— ребенка на ребенка.

Были еще случаи в моем детстве, когда я уступала, один раз даже поддалась. Этот второй случай был хуже первого и тоже связан с понятием богатства, «преимущества». Говоря, что «совершенно худых» я не встречала, я немного преувеличиваю. Худые, плохие человеческие существа с какой-то природной наклонностью играть на плохих сторонах характера или вызывать, пробуждать эти плохие стороны у других,— они, разумеется, существуют среди нас; и неизвестно, исправит ли их отпор или неподатливость со стороны их жертвы. Но я уверена — зоркое око матери или воспитателя сделает доброе дело, если разглядит их; и, может быть, обезвредит, если в своем подопечном будут они воспитывать одно очень важное качество: не стараться обязательно в с е м н р а в и т ь с я, в с е м и быть любимым или любимой. Это желанье — всем и всегда быть по вкусу, быть приятной — есть самый вредный вид тщеславия, создающий с л а б ы е характеры. А хуже слабого характера — нет беды! Природа каждому мягкотелому дала защитную преграду: панцирь черепахе, иглы ежу, яд и безобразие змее,— но человек, выработавший в себе слабый характер, не имеет защиты. А ведь школа — даже наша, советская,— часто стрижет, гладит и обезоруживает хороший дар природы, сильный характер у ребенка, некоторыми своими требованиями, культивируя в нем слабость и податливость. Надо только отличать силу, стойкость — от ослиного упрямства (рода душевной пассивности) и всегда со-

единять стойкие характеры с тренировкой разумности, умением рассудить и размыслить.

Так вот, была в гимназии одна девочка, Вера К. (хоть и маловероятно, что она еще жива, но могут быть живы дети ее), из разряда «худых», заражающих чем-то худым своих одиолеток. У нас с ней часть дороги домой проходила по той же улице, а у нее — мимо нашего дома. Я уже перешла в четвертый, когда и квартира с зеркальными окнами на улицу, квартира, в которой происходили события детской моей «Повести о двух сестрах и волшебной стране Мэрце», была нами покинута по причине ее дороговизны. Мы перебрались на третий этаж, в другую, попроще и подешевле, окнами выходившую на двор. Но Вера, дойдя со мной до дому, где я должна была свернуть мимо палисадника к парадной двери, спросила своим настойчивым, «влияющим» голоском:

— Покажи мне окна, где ты живешь!

И тут, поддаваясь чему-то совершенно паршивому и мне самой не свойственному — лжи, потому что Вера К. хотела лжи, ждала лжи от человека, просто не верила, что он может сказать правду, и еще чему-то «уличающему» в ее тоне, уличающему уже чужое матерьяльное положение, которое должно быть хуже, чем сам человек непременно хочет показать, я ответила:

— Вон там, в бельэтаже, где зеркальные окна.

Девочка ехидно продолжала:

— Когда ты придешь домой, ты мне поклонись из окна, а я тут буду стоять и ждать.

Это была катастрофа, поклониться из чужой квартиры я никак не могла, ноги у меня просто подвертывались, покуда я плелась к парадному, а дверь парадного тоже выходила стеклом наружу, и тут я (стыдно вспомнить) жалким образом, войдя в нее, повернулась и, поклонившись ей из «окна» парадной двери, опрометью кинулась по лестнице домой.

Детей портить детьми же — очень легко, потому что именно этот фактор, обыденное, повседневное общение ребят между собой, почти никогда не учитывается, остается неизвестным родителям и педагогам. Казалось бы — нет ничего особенного. Но особенное есть, особенное огромно! И главное в нем — это уступка, уступка против волн хорошего в своей душе — чужому, дурному. Я никогда не страдала от обеднения, никогда не считала его чем-то стыдным, не сравнивала, совершенно не интересовалась, богато или бедно живут мои подруги и вообще — как они живут, а вот поди ж ты! Достаточно было злой воле, как дурному воздуху, коснуться моей души — и сразу все осветилось знанием, очень постыдным знанием,— о разнице, в какой живут люди; о преимуществе одних перед другими; о том, что отношения зависят от того, где ты живешь, кто твои родители; и о том, что приходится врать, казаться вместо голой и простой правды, потому что вот стоит и действует на тебя человек, для которого голая и простая правда не подходит, а подходит — к его атмосфере, к его бытию, к его ожиданию — что-то другое, лживое и показное.

Для меня все эти маленькие события моего детства никогда не проходили незаметно, не исчезали из памяти. Все, что делалось мною хорошего, где я выступала и поступала благородно, я тотчас, полусознательно, выбрасывала из памяти, чтоб не копить у себя в мозгу «смягчающих обстоятельств». Этому меня не учили, но я научила себя сама — смотреть на свое хорошее как на естественное, само собой разумеющееся, свойственное каждому нормальному существу. А вот случаи, где я уступала или где подвергалась искушениям, запомнились на веки вечные, и, ставши взрослой, я их много раз ворошила в памяти, когда обдумывала одну из главных проблем, занимавших меня всю сознательную жизнь,— проблему школы, воспитания, образования человечества.

Однажды я поделилась своими мыслями с Линой, нажаловавшись ей на свою гнусную податливость, увеличивающую в дурных людях их недостатки. Мы обе уже были взрослыми, обе учились на Высших курсах, она — истории, я — философии. И что мне всегда служило опорой и помощью в Лине, это ее удивительная стойкость. Она никогда и ничему дурному не уступала, оставаясь сама собой. Наш старый друг, жена (белого впоследствии) журналиста Сергея Яблоновского, Елена Александровна, звала мою сестру за это свойство «Кременьлиной», а дети, которым Лина никогда не поддакивала и перед которыми никогда не меняла своего натурального голоса и интонаций, обожали ее и считали высшим существом. Так вот Лина в ответ на мою исповедь утешительно сказала:

— Ты ведь пишешь, будешь писателем. Тебе надо осваивать людей изнутри, ценою уступок, а иначе как их изобразить? И потом — не беспокойся, напишешь их во весь рост и разделаешься с ними, выбросишь из себя. Художнику без таких жертв собой — нет познания.

Но один из случаев — я его тоже должна рассказать — произошел без уступки. С него определилась моя глухота, которую в раннем детстве почти не замечали, а в гимназии считали чем-то преходящим и, во всяком случае, не прогрессирующим. И он тоже сыграл свою роль в моих педагогических размышлениях. Последние годы, готовясь собрать и обдумать все, что я к концу жизни знаю или исповедую в науке о воспитании, я заказала в библиотеке и прочитала серию сборников «Педагогика и школа за рубежом» [3]. Эти сборники, изданные почему-то небольшим тиражом, состоят из рефератов, посвященных школьному делу в разных странах Европы, Азии, Америки, Африки — словом, всей нашей планеты на сегодняшний день. Первый из них вышел в 1967 году — и до последнего времени имеется только десять сборников. Хорошее и нужное у нас в педагогике почему-то выпускается по столовой ложке и, должно быть, доходит лишь до ведомственных работников или членов Педакадемии, а для огромной массы учителей-практиков остается недоступным, в то время как сотни тысяч неудавшихся учебников

---

[3] «Педагогика и школа за рубежом». Периодические сборники рефератов, пересказывающих содержание наиболее существенных книг и статей по педагогике, выходящих за границей.

или ненужных брошюр, как показал недавно «Фитиль» на экране, бессмысленно забивают склады... Но это — между прочим.

Так вот, в шестом сборнике помещено короткое изложение статьи английского педагога из Девоншира «Половое просвещение в начальной школе». Рефераты, конечно, не приводят всей аргументации, не дают примеров, не передают авторского убеждения, но в принципе вы знакомитесь с начинаньем одной девонширской школы. Там учатся свыше 400 детей. И в девятилетнем возрасте, когда, по мнению автора статьи, у детей «еще нет сексуальных эмоций», им как бы в порядке учебного дня просто и обыденно рассказывают на уроке, как устроен человеческий организм и каким образом рождается потомство. Результат, по мнению директора школы, прекрасный, появляется полная и спокойная трезвость в учащихся по вопросу самого острого и трудного для педагогов участка детского воспитания, до сих пор никак еще не решенного ни родителями, ни педагогами,— так называемой «проблемы секса». Я поделилась мыслями этого девонширца с одной нашей умной и популярной писательницей. Призадумавшись, она мне ответила:

— Смотря с какими детьми. С крестьянскими, например, это вполне разумно, они и сами с малых лет видят и наблюдают все это у животных... Ну а городские — не знаю, боюсь сказать.

Может быть, она и права в отношении крестьянских детей, хотя у нас разница между городом и деревней порядком уже стерлась. Но мой опыт долгой жизни говорит мне, что девонширец грубо ошибается. Начать с того, что неверно главное его положение, будто у девятилетних детей (и до девяти лет) отсутствуют половые эмоции. Мне кажется, эрос — в его широком и плодотворном смысле — родится вместе с рожденьем бытия и вовсе не связан с органами человека и функциями их. Не так давно облетел нашу печать случай, для меня лично не представлявший ничего необыкновенного, потому что я испытала его на себе: объявилась в поле зрения ученых девушка, которая «видит рукой». Были проделаны опыты, подтверждающие эту странную особенность. Ей закрывали глаза, и в полной темноте поверхностью своей обнаженной руки она видела предметы, иначе сказать, кожа ее как-то перенимала собой зрительную функцию глаз, хотя не обладала никакой «зрительной аппаратурой», свойственной глазу. Но восприятие происходит не только в органах чувств, а и в мозгу, главном их центре. Бывают случаи, когда оно возможно мимо органов чувств, минуя их,— хотя бы, например, со слуховым аппаратом при отосклерозе, когда звук передается прямо в мозг, минуя атрофированный слуховой орган. Это грубое сравнение, и я не берусь, не будучи специалистом, разбираться в биологических сложностях, знаю только, что сама в одном из случаев моей жизни, когда была возбуждена и наэлектризована до крайности, увидела в абсолютной темноте своей рукою, вдобавок повернутой за спину, предмет, который до этого в комнате ни разу не замечала... Все эти соображенья приходят в голову, когда хочешь доказать неоспоримую истину: эрос присущ каждому бытию в любом возрасте, он разлит во всем жи-

вом организме, от волос и до кожи, как разлита в нем потенциальная электрическая энергия. И задача настоящего воспитания заключается в том, чтоб уберечь источник этой энергии в человеке в его чистом, незамутненном виде; чтоб довести его в растущем человеке до зрелости в неразорванном единстве, том великом единстве, когда «удовольствие» не оторвалось от «счастья», «ощущение» от «чувства».

Ребенок обладает воображеньем — свойством создавать внутри себя, отрываясь от действительности, картины и действия, которые происходят с ним не в жизни, а только в мозгу. Давать пищу для воображенья ребенка в направлении, которое может стать чувственным,— величайшая опасность в деле воспитания. Двоякая — для самого учителя, как и для учащегося. Быстрота постижения ребенком всего, что связано с миром первичных ощущений, очень велика. Вспомним гениальные строки Баратынского:

Так в дикий смысл порока посвящает
Нас иногда один его намек[4].

Почему, собственно, тысячелетия культурной жизни человечества одну-единственную функцию человеческого организма, такую всеобщую и необходимую, облекали для детей тайной, выдумывали аистов? — разве нельзя, как попробовали в Девоншире, сделать ее прозой и обыденностью, предметом изучения, как грамматику или таблицу умножения,— и внедрить ее как обыденность для десятков и десятков школьных поколений, чтоб они привыкали к ней десятками лет, столетиями школьного опыта? Ведь испробовали нудисты создать прозаику голого тела для окружающих без «фигового листка», повязки на чреслах? Мой восьмидесятитрехлетний опыт говорит: нет. Нельзя. Потому нельзя, что природа, целесообразная во всех своих действиях, заботясь о непрерывном продолжении всего живого, прибавила к функции продолжения рода, как могучий стимул, ощущение удовольствия или наслажденья. Но человек создан — природой или чем-то заложенным в него еще более могучим, нежели сама природа, скажем Временем в его историческом заполнении и развитии,— человек создан с чем-то, осознаваемым постепенно как нравственное начало: он облагородил безликое ощущенье, связав его с личным, целенаправленным чувством. В лучших твореньях мирового искусства, в книгах по философии, в древних народных эпосах безликое «ощущенье» предстает как великая, неразрывная, нравственным началом скрепленная связь ощущенья с чувством, наслажденья со счастьем — любовь. Обучая детей картинками и сухою учебной прозой, как и с помощью каких органов происходит деторождение, учитель сам с непривычки скользящий по своей теме, как по льду, неизбежно направит внимание ребенка на эти органы. Где гарантия, что не заработает воображенье, случайно или не случайно не мелькнет ощущенье удовольст-

[4] Баратынский. Избранные сочинения. Издательство З. И. Гржебина, 1922, с. 139.

вия? И произойдет психологический разрыв, которому потом трудно найти исправление, между ощущением и чувством. Разрыв, ведущий к холоду, к отмиранию чувства, к измельчанию и усыханию (через злоупотребление ощущением) одной из величайших энергий, творчески двигающих человечество,— энергии крылатого бога Эроса...

Возможно, все эти рассуждения старомодны и не учитывают способности людей к перемене, ассимиляции и сохранению своей человечности. Да и что такое опыт восьмидесяти лет перед тысячелетиями. Но вот маленький рассказ о себе, к которому я шла такими обходными путями. В гимназии Ржевской на каникулы осталась из пансионерок одна только я — сестру взяли родственники. Был на исходе пасхальный праздник. В длинном пустом дортуаре я исхлопотала себе у няни свечку и при свече дочитывала что-то интересное. Шел одиннадцатый час. Вдруг в наш дортуар шестиклассниц пришла восьмиклассница — нарядная, в выходном платье, длинной юбке, с дамским ридикюлем, в прическе,— она только что, раньше времени, вернулась из отпуска и в дортуаре для восьмиклассниц не нашла никого.

— Ты, Шагинян, брось читать, послушай, что я тебе расскажу.— Она уселась передо мной, вырвала у меня книгу.— Я была с очень интересными людьми, с мужчинами, понимаешь —не с мальчишками, а с настоящими мужчинами...

Еще до того, как эта девушка начала рассказывать, у меня вдруг все сжалось внутри, как от прикосновенья к лягушке. Нас учили вежливости. Она была старшая. Просто невозможно было ее выгнать. Некуда было убежать. И в уши мои стали проникать слова, непонятные по смыслу, но понятные сразу в чем-то одном: слушать их нельзя, не нужно, нехорошо. Сперва я старалась миновать их слухом, удерживая лишь впечатленье неразборчивости, бессмысленности. Надо было подавать реплики. Я подавала — невпопад, как семилетней била в свой барабан. Она продолжала:

— Они не только показывали, они делали!

Эта фраза дошла до меня в какой-то страшной обнаженности, как край пропасти на ходу,— когда вдруг оступаешься, видя, что сейчас свалишься; и тут я сделала вещь, неожиданную для себя,— я помолилась богу: «Господи, дай, чтоб я не слышала, господи, дай, чтоб я не слышала!..»

Здравые люди могут говорить что хотят. Медики могут говорить о шоке, о самовнушенье. Я знаю одно: то, что произошло дальше, святая правда. Я увидела перед собой губы восьмиклассницы. Эти губы двигались, они двигались очень быстро, как при еде или жеванье. Но звука из них не выходило. Губы двигались мертво и безмолвно. Я перестала слышать. С чувством невероятного облегченья, очищенья, покоя дождалась я, покуда она ушла, как-то удивленно поглядев на меня напоследок,— и заснула сразу, в детской благодарности богу. На следующий день — впервые — за чайным столом наша «инспектриса», правая рука начальницы, Елена Францевна, должна была трижды окликнуть меня, прежде чем

я услышала: «Бери свою чашку»; с этого дня глуховатость моя стала заметной для окружающих. Странным образом этот серьезный случай в моей душевной жизни обернулся комической стороной, когда я вдруг вздумала рассказать о нем в первый раз. Не дома и не своим. И совсем не в том возрасте, когда легко о себе рассказываешь. Дело было совсем недавно в Париже, в многолюдном госпитале возле Орлеанских ворот, куда я попала случайно, упав на улице со спазмом мозгового сосуда. Уже поправляясь, я подверглась по просьбе нашего посольства подробному обследованию ушного врача. Имея самые редкие возможности упражнять свое детское знание французского языка, я с наслаждением чувствовала, как это знание внезапно развязалось у меня во Франции во всей его полноте, и при всяком удобном случае пускалась в монологи, щеголяя тем «прононсом», какому учила нас в детстве парижанка мадемуазель Салле. Именно этот внешний повод заставил меня подробно рассказать ушнику странное происшествие в дортуаре, о котором я просто посовестилась бы говорить у себя на родине.

Ушник и его ассистенты слушали очень внимательно, переглядываясь, но не прерывая мое взволнованное многословие, вызванное простым вопросом: «С какого возраста стали вы замечать свою глухоту?» Когда дошло до места: «O, mon Diu, taites, que je n'entends rien!..»[5] — они опять переглянулись, и тут мне показалось, что я предаю, предаю не знаю кого — господа ли бога или себя самое в борьбе за целость — единство того качества в человеке, которое русский язык называет единственным в мире, до сих пор мало кем понятым в его великом охранном значении словом: целомудрие. Но всякое ошибочное действие имеет для человека возмездие — еще при его жизни.

Вечером того же дня, когда я уже задремывала, меня навестил в палате капуцин, должно быть духовное лицо госпиталя, принимавшее у больных исповеди или соборовавшее их при умирании. Капуцин этот был довольно жалкий, имея в виду пролетарский тип госпиталя. Видно было по его затрепанной рясе, пахнувшей чем-то кислым, по грязной веревке пояса, по всклокоченным вокруг тонзуры рыжим лохмам и припухшему красному носику, добродушно сиявшему на лице, что попик не благоденствует, но и не очень унывает, находя себе доступное утешение в абсенте. Должно быть, ушник передал ему мой рассказ. Он стоял и глядел на меня восторженно, с некоторой опаской,— как глядят на тигра в клетке. Я была для него феноменом, никогда раньше не виденным, верующей женщиной из страны большевизма, жертвой богохульников-большевиков, но все же большевистской подданной, покровительствуемой их же дьявольским посольством. Капуцин ничего не говорил, а только стоял и смотрел. Долго смотрел, решаясь — и не решаясь... И наконец, оглянувшись, он наклонил свою добрую лохматую голову и сказал мне громким, хриплым шепотом:

[5] О боже, сделай, чтоб я ничего не слышала!..

— Courage, ma fille! [6]

Я ответила:

— Merci, mon pére... [7] — и неудержимо расхохоталась в подушку, когда он вышел.

3

Гимназия Любови Федоровны Ржевской — одно из тех воспоминаний, с каким сравниваешь впоследствии школу своих детей, восхваляя былые преимущества над новыми. Говоря вообще, на старости многое из прошлого кажется лучше, чем нынешнее, может быть, от «дымки времени», стирающей сумрачные пятна вдали. Но когда отвечают мне, что это была буржуазная школа для немногих, я возмущаюсь справедливо. Почему, собственно, буржуазные дети должны были обучаться лучше, чем пролетарские? И почему — как это не только в школьном деле, но и в промышленности, в искусстве — случается у нас в качестве аргумента: «Для немногих — а ведь у нас миллионы! Мы в ширину, в массу растем — попробуй-ка сделать для миллионов то, что легко сделать для десятков!»?

Вот такое возведение в п р и н ц и п, будто ч и с л е н н о е у в е л и ч е н и е п о т р е б и т е л я обязательно повлечет за собой у х у д ш е н и е к а ч е с т в а, я считаю одним из вреднейших и опаснейших уклонов нашего «планового» мышления. Еще будучи в Плановой академии, сидя над тремя томами «Капитала», я жадно искала у Маркса, когда он разбирал старый процесс роста и обращения капитала с его кризисами,— нет ли там специального, философского обоснованья связи между «качеством продукта» и расширением спроса на него,— и всегда наталкивалась, правда только на косвенные, примеры п р я м о й связи, а не обратной. Погоня капиталиста за прибылью, за расширением потребленья, увеличением спроса вела к поискам удешевленья без ухудшенья качества, даже к повышенью качества: большее изящество при устранении лишнего, большая целесообразность с учетом красоты (окрашиванье — для нарядности плюс продолжительности употребленья без износа), бо́льшая модность в покрое и т. д. Неужели же при социализме отпадает эта прямая связь и превращается в обратную — чем больше, тем хуже качеством? Почему? Потому, что не хватает сырья при возросших в миллионных количествах потребителях?

В Плановой академии я над этим очень серьезно думала и пришла даже к выводу, что в самом начале надо устанавливать планом высокий стандарт продукции, делая его з а к о н о м, и уже п о д г о н я т ь к нему планирование сырья и полуфабрикатов. Но тут вмешивался вопрос о ф и н а н с о в о м плане... и качество опять уходило из прямой связи в обратную связь. Я даже додумалась до того, что собралась написать сочинение о вреде сохранения д е н е г при социализме и о том, что лишь военный коммунизм, каким

[6] Мужайся, дочь моя!

[7] Спасибо, отец мой.

мы испытали его на собственном опыте, может гарантировать прямую связь качества с ростом числа потребителей. Разговор этот, однако же, опять увел меня вперед на несколько десятков лет.

Гимназия, куда мы с сестрой сперва ходили «приходящими», возвращаясь домой к обеду, имела, по примеру большей части тогдашних средних школ, семь образовательных классов (кончавшие получали права «домашних учительниц») и восьмой, где преподавалась м е т о д и к а. Название «частная» не означало, что открывшая ее на свои деньги начальница могла делать в ней что хотела. Напротив, она, гимназия, вступала в ведение министерства просвещения, подчиняясь определенному статуту. При ней был совет, на котором сообща решались вопросы руководства, были свои «попечители», trustees по-английски. Преподаватели получали жалованье, как в казенных гимназиях, и, кажется,— я не знаю точно — так же продвигались по линии чинов и прибавок «за выслугу лет».

Так вот, учителя были у нас отменные. Историю в старших классах преподавал Александр Александрович Кизеветтер, известный в Москве как образованный историк. Его сухощавая фигура и тонкий профиль мелькали у нас в коридорах, правда, не очень часто, и в «учительской» голос его тоже был слышим не часто, но девочки, учившиеся приходящими, могли дома, если это были дети родителей интеллигентных, уловить почтительную нотку в словах родителей: «С пятого класса у них Кизеветтер». Русский язык и литературу, тоже с пятого, вел милейший человек Иван Никанорович Розанов, влюбленный в свой предмет. Много лет после революции мы знали его как советского ученого и члена Союза советских писателей. Историю и географию до четвертого класса преподавала Марья Павловна Чехова — нет надобности писать, кто она. В те годы Чехов был уже очень известен и очень популярен как новое замечательное отечественное дарование, и Марья Павловна, как сестра знаменитости, была жертвой постоянного простительного любопытства. Но это не делало подготовку к ее урокам более добросовестной. Именно Марье Павловне я обязана двумя колами в один день, полученными до и после «большой перемены». Я была в то время отчаянной шалуньей. Случилось так, что по милости какого-то взрыва шалопайства я не выучила уроков ни по истории, ни по географии. Утром, понадеясь, что Марья Павловна не высмотрит меня на задней скамейке и не спросит, я мирно писала «стишки», как вдруг услышала: «Шагинян-первая, продолжай теперь ты!» Нас было в гимназии две Шагинян, и учительницы звали меня Шагинян-первая, а Лину — Шагинян-вторая.

Что продолжать? Я вскочила в недоумении. На лице моем явно было написано: а? что? почему? Слегка придя в себя, я схитрила:

— Марья Павловна, мне отсюда было не слышно.

Тогда Марья Павловна, сама очень хитрая и отлично, насквозь видевшая свою паству, как бы невинно повторила фразу предыдущей девочки, по которой нельзя было даже понять, о каком веке и какой стране идет речь. Тогда я покаялась:

— Марья Павловна, историю я сегодня не выучила.

— Садись! — сказала сестра Чехова. И в ведомостях против моей фамилии смачно вывела кол.

После «большой перемены» наступил урок географии. Марья Павловна, в своей сияющей белизной блузке с брошкой, затянутая кушаком, опять появилась в классе, где, закрывая большую черную доску, уже висела карта Венесуэлы. До сих пор не могу без некоторого виноватого чувства читать или слышать о треклятой Венесуэле! Исходя из теории вероятностей, практически выражавшейся в моем сознании примерно так: «Попила моей кровушки — больше не будет!» — я довольно спокойно уселась на свое место. И вдруг:

— Шагинян-первая, к доске!

Я вышла на середину класса.

— Сказала тебе — к доске! Что именно выучила ты сегодня о Венесуэле? — И Марья Павловна приготовилась слушать, приложив кончик ручки — не тот, где перо,— к губам.

— Марья Павловна, географию я сегодня не выучила!

— Садись!

И оказалось, что ручку она заранее держала наготове, именно так, чтобы окунуть ее и поставить мне новый, особо густой кол.

Несколько лет назад, повстречав Марью Павловну в Ялте, я напомнила ей об этой трагедии. Она посмеялась вместе со мной, но тут же сказала: «Надо было учить». В шутку, может быть? А может, и не в шутку... И я невольно подумала, не рассказала ли она тогда за обедом своему брату Антоше о ленивой девочке в гимназии Ржевской, схватившей за один день два кола? Интересно, если случилось это, что сказал Антон Павлович?

Учителем пения был у нас Михаил Акимович Слонов, друг-приятель молодого Рахманинова. Это был очень красивый брюнет высокого роста, с мягкими прядями волос на лбу, с бородкой «под Христа» и меланхоличными глазами. Но в его действиях меланхолии не было. Быстрый, живой, выдумщик на всякие остроумные затеи, он был главным в гимназии инициатором разных вечеров, открытых выступлений, для которых обычно снимали зал,— то были платные, хорошо поставленные школьные концерты, которые устраивались «в пользу недостаточных учениц», тех, кто не мог внести очередную плату за учение. Так, будучи во втором классе, я помню устроенный им прелестный спектакль — «Снегурочку» Островского с музыкой Чайковского, где были и пение, и танцы, и декламация, а я танцевала в первой паре девочек, выходивших на сцену вереницей облаченными в крестьянские, точней мнимо-крестьянские, платья разного цвета, хором певших:

...У нас с гор пото-о-ки...

Но пока все это происходило в гимназии, в последние годы девятнадцатого века,— дома у нас шло своим чередом нарастание большого горя. Я уже описала, как мы ездили с отцом прощаться с больным дедушкой в Григориополь. А в отце уже и в то время гнездилась своя болезнь, долгая, медленная, и, как врач, он знал и видел ее продвиженье. Молодой по возрасту, он сразу как-то

облысел и постарел, наружу вышли типовые армянские черты, покрупнел нос, погустели брови. Когда он как-то подвез меня на извозчике в гимназию, я увидела, что из глаз его, изменившихся выражением, выкатывались круглые слезинки — старческие не по возрасту, от набухания слезной железы. Каким-то равнодушным и усталым жестом он смахивал их со щек платком. И все-таки, зная, что очень болен, он продолжал огромную работу, чтоб отодвинуть для семьи заработком приближающееся разорение. После защиты диссертации ему, доктору, была предложена кафедра в Томске. Город Томск, сибирский, где-то далеко, далеко от Москвы... Мать не хотела туда, чтобы не удаляться слишком от родных, от сестры Ашхэн, москвички, бывшей замужем за мрачным банкиром Афанасием Исааковичем Джамгаровым: она помогала матери выпутываться из нараставших долгов. Мы с сестрой не хотели ехать в Томск, чтоб не покидать подруг и родную Москву. И отец не хотел, хотя он пытался рассказывать нам вечером про Сибирь с ее кедрами и кедровыми шишками, с ее широкими, как море, реками, с ее смелым, умным народом. Но рассказывал вяло — ему не хотелось умирать на чужбине. Хотелось умереть там, где близким легко будет приходить к нему на могилку... И вместо далекого Томска и профессорской кафедры он получил приват-доцентуру в Московском университете — «по кафедре диагностики внутренних болезней».

Диагностом отец был замечательным. Двенадцатилетней девочкой я запомнила некоторые его слова, сказанные в столовой, при детях, когда нам позволяли оставаться с гостями: «Чтоб правильно ставить диагноз, врач не смеет быть узким, то есть тем, что сейчас называют специалистом. Сейчас развелись врачи, как в клетках, по разным отдельным специальностям — одни нос и глотку изучил, другой живот или почки, третий легкие, четвертый родильное дело. Пошли такую знаменитость в деревню, он не сумеет зуб вырвать или жар определить без градусника, а уж диагноз поставить — пари держу, даже по своей специальности не сумеет. Чтоб поставить правильный диагноз, надо хорошо знать в е с ь человеческий организм и на приеме исходить из общего состояния организма. О болезни человека повествует все в человеке: хрупкость в волосах, состояние зрачка и роговицы, язык, сокращение мускулов, живот на ощупь, запах кожи, самое малое изменение цвета ногтей, припухание желез, десятки других вещей, не говоря о зубах, о слизистой носа, о количестве выделений... Когда я учился, стетоскоп был новым орудием. Но мы слушали, приложив ухо к легкому или сердцу. Мы так куда лучше подмечали характер дыханья, чем в стетоскоп. Весь организм, все его части и главное — запах кожи, наличие пота или сухость помогали сразу правильно определять болезнь. А сейчас — пожалуйста, консилиум! И один смотрит горло, другой щупает печень, третий чертит вам острием грудь,— а в результате: «Сложный случай, разноречивые симптомы»...»

Я, конечно, закругляю фразы, запомнившиеся мне отрывочно. Но главное — убежденье отца, что врач должен знать все состояние организма в целом и только такое знание приводит к правильному

диагнозу,— я запомнила точно. Еще я запомнила его особое отношение к слюне. Он считал слюну чем-то вроде синтеза физического и психического состояний организма. У меня случались в детстве (да и на старости, к стыду моему) припадки внезапного бешенства. Я могла во взрыве этого бешенства броситься на самого тигра с кулаками, разбить всю посуду вокруг, вырвать у себя самой клок волос. И вот однажды во время такого приступа отец подтащил меня к плевательнице, стоявшей в углу, и приказал:

— Плюй, плюй, собери слюну во рту и выплюнь!

От неожиданности я начала плевать, и когда уже нечего было выплевывать, я вдруг почувствовала, что бешеная вспышка моя проходит, проходит, словно усыхание лужи под солнцем. Часто впоследствии я прибегала к этому средству, и не только при вспышке бешенства,— мне всегда помогало оно справиться с возбужденным психическим состояньем, если оно становилось чересчур стихийным.

Способность отца правильно диагностировать заставляла знакомых врачей и даже профессоров, имевших свои клиники, посылать к нему на проверку особо сложных больных. У нас скопилось множество таких препроводительных визитных карточек с фамилиями тогдашних крупных врачей, помню фамилию профессора Голубева, тогдашнего «светила». Правда, делалось это иной раз и в помощь товарищу — подкидыванием ему лишнего платного пациента. Но отцу подбрасывали чаще всего «сложный случай». Он уже сидел в кресле почти не вставая, лицо принимало постепенно восковой оттенок, а глаза все еще жили особым, самозабвенным врачебным вниманьем, когда он всматривался в очередного больного. Много лет спустя в просторном кабинете главного редактора «Известий», Ивана Ивановича Скворцова-Степанова, я слушала его рассказ про моего отца, лечившего во время своей собственной, уже смертельной, болезни и самого Ивана Ивановича, и его брата, болевшего чахоткой, и других «старых большевиков»... Хорошее наследство оставил мне мой бедный отец.

Еще до того, как перестать подниматься с кресла, отец начал каждое лето ездить «на практику» в Ессентуки. Раньше он ездил «на холеру» — а холера была в ту пору частой гостьей и никого особенно не пугала — то в Нижний, то в Херсон или Аксай и Ростов в самое жаркое время лета и осени, а мы ездили на дачу в Пушкино. Теперь же подолгу оставались на московской квартире, получая от матери двадцать копеек на сдобу или халву к чаю, и время проводили, играя на нашем городском дворе с детьми, тоже на лето не уезжавшими,— славными, простыми ребятишками, которых нам позволяли учить. Одну большую, светловолосую, вдвое меня старше дочку водопроводчика, имевшего квартиру в подвальном этаже, я учила музыке, поражаясь ее удивительной способности. Она играла у меня гаммы лучше и легче меня самой, аккорды брала своей крепкой рукой удивительно чисто, ни разу не промазав, и мать моя говорила о ней, как-то спустившись к ним и пытаясь настроить их старенькое, дребезжащее пианино, что девушка эта на редкость способная.

О матери я почти еще не писала, потому что глубже знать и любить ее научилась лишь после смерти отца. Но тут мне хочется написать об ее необыкновенной музыкальности. Все сестры Хлытчевы были одарены слухом, свойством легко осваивать чужой язык и талантом вести хозяйство. Но мама была у нас музыкальным феноменом. Все, что ей приходилось слышать в Большом театре и Дворянском собрании на концертах, она повторяла дома на рояле — для себя, когда не было отца, и для детей. Особенно любила она тогдашние оперетты, и ей я обязана знанием классической эры оперетт, пониманьем их несомненной гениальности, пришедшей сейчас, по моему глубокому убеждению, в упадок. Часто звучали у нас — бегло, с начала и до конца, до завершающего галопа,— чудесные, пренебреженные ныне «Корневильские колокола», «Цыганский барон», «Нищий студент», «Продавец птиц», «Мартын-рудокоп»...

Не знаю, почему в наше время, воскрешая на сцене оперы прошлого века (а ведь очень хороших нового времени почти и нет!), мы предпочитаем из оперетт ставить бездарную современную эклектику или сентиментальную банальщину школы Кальмана, вместо того чтоб возродить классическую оперетту и регулярно давать ее слушать с нашей сцены. Ссылаются на нелепые «сюжеты», но ведь и в операх прошлого века, за исключеньем, может быть, Бизе, Вагнера, Чайковского, «Могучей кучки» и кое-кого еще,— тоже сюжетные «вампуки», высмеянные Толстым. Да и правду сказать — «вампука», неуместная в серьезной опере, где слушатель обязан верить трагической ситуации на сцене, в старой оперетте совершенно н а м е с т е, как с к а з к а. И больше того, именно в оперетте зажегся на сцене социальный момент, сатирическое начало, политическая карикатура. С детства слух наш наполнился бессмертными мелодиями «Цыганского барона», бесподобной сатирой на начальство в музыкальнейшей песне-монологе губернатора (или как его?) из «Нищего студента», или птичьей пародией-песенкой продавца птиц, или озорной «Взгляните здесь, взгляните там» из «Корневильских...». Но самыми незабываемыми были в исполнении матери опереточные галопы, которыми кончался последний акт. Заразительный, сумасшедший ритм их несся с чеканным блеском под ее пальцами-молниями, коленки, слушая его, начинали дрожать, пятки забирали по кусочку, по маленькому шажку пространство направо, отмеривая его всем корпусом, один шажок за другим, все направо, вперед и вперед вместе со стремительной музыкой, левая рука нашаривала ладонь соседа, чтоб потянуть его за собой, и по комнатам, по всей квартире неслись мы с сестрой в этом полутанце, полубеге, забытом в эпоху дурацких и судорожных твистотрясок, отучающих тело от танца. Почему круговращение моды, балующей иногда человечество возвращеньем к тому, что было прекрасного в прошлом, не вернет вдруг забытые, полезные, здоровые, полные восторженного оптимизма галоп и мазурку?

Кстати сказать, о мелодии. Глупо (и по-моему — подозрительно) ведут себя многие адепты архимодернизма, презрительно отно-

сясь к мелодии. Что такое мелодическое целое, созданное как песня, как живой сгусток законченной речи в любой большой музыкальной форме, как не чудесно найденное «сообщение» от сердца к сердцу, от мозга к мозгу — музыканта к своему слушателю? Сообщение, услышанное и для себя, из мира той тайны, которую зовут творчеством. Оно западает в душу, запоминается, облетает мир, становится бессмертным. Несколько лет назад я записала в дневник слова, сказанные мне в разговоре великим композитором нашей эры Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем: «Я был бы счастлив сочинить такую мелодию, как песенка герцога из «Риголетто» «Сердце красавицы»... Верди написал, а на следующий день ее пела вся Италия». Это сказано о настоящей мелодии, о мелодии, которая есть, и остается, и дается творцу так же редко, как дивные камушки на коктебельском берегу.

Кроме пальцев-молний для игры на рояле, руки моей матери были, как говорится, золотыми. Ей все, за что ни возьмется, удавалось. Когда стало дороговато платить портнихе, она принялась обшивать нас сама и делала это с большим вкусом. Нужно было готовить, особенно при болезни отца,— и она просто колдовала на кухне, изобретая необыкновенные диетные блюда. Стоило завестись у нас собаке или кошке — и они сразу «благовоспитывались»: усваивали нужные условные рефлексы, ходили вымытые, расчесанные, со здоровыми глазами, зная свой час гулянья и свою лежанку. Цветы на подоконниках и трельяжах никогда не хирели, птички в клетках, купленных на «вербе» или на птичьем рынке, жили-были и суетливо распевали вплоть до того весеннего праздника, когда полагалось выпустить «птичку божию» на волю, выполняя старинную традицию на Руси. Приходившие к нам служить неграмотные кухарки уходили от нас всегда обученными грамоте,— обычай, перешедший после смерти матери в обязанность моей сестры. Но самое главное свойство матери, должно быть, присуще многим другим матерям, была легкость и необременительность добра, которое она делала для других.

Об одном случае (с куклой) я написала в своей детской повести. Жаль только, что не сумела там хорошо передать вот это крылатое ощущение легкости, удовлетворенности от поступка, покрывавших потерю и превращавших тут же эту потерю — в получение.

Крестный, Афанасий Иванович, подарил нам с сестрой по кукле на Новый год, да не простой, а «сделанной на заказ»: он никогда не забывал упомянуть об этом! Лине досталась большая, белокурая, с черными глазами, а мне поменьше, каштановая, с голубыми. У девочек особое отношение к куклам, они чувствуют их «антропоморфически», одевая и раздевая, укладывая спать, леча, поднося к их фарфоровым губкам ложку с воображаемой пищей. Вот такими, на ощупь, обожали мы своих необыкновенных куколок. В первый же ясный январский день мать взяла нас с собой на прогулку. Эпизод произошел в точности, как описан у меня в повести: встреча с женщиной, несшей больную трехлетнюю девочку; разговор мамы с этой женщиной; ужасное предчувствие мое и Линино,—

и необязательный, не приказательный, даже не призывный монолог матери — о том, какое блаженство было бы для больной девочки получить вот такую куклу.

Словами, не относящимися прямо к нам, красками, как будто далекими от действия, описывала она чужое блаженство — как девочка не верит в свое счастье, смотрит и не дотрагивается, и как повлияло бы на ее ручки и ножки, скрюченные от болезни, слабенькие, страшно на них глядеть, если б она посмела притронуться к кукле, по пальчикам побежала бы жизнь, побежала бы радостная теплота оживания, а ведь от этой теплоты — отец учит своих больных, когда они приходят к нему на прием,— лучшая помощь для леченья, подмога выздоровленью. Мы всё делали вид, что не понимаем, стояли и часто дышали, прижимая к себе своих куколок. Женщина поняла раньше нас и сказала:

— Что вы, барыня, голубушка, нешто можно своих ребят обидеть!

А мать все продолжала, почему и как девочка заболела, болеет уже целый год, а игрушек у нее никогда, ни разу не было. И странным образом от ее речей у нас с Анной задержалось одно слово: «дотронуться». Было страшно дать ей куклу — дотронуться, ведь потом нельзя, нехорошо потянуть обратно,— и было интересно, было притягивающе важно дать ей дотронуться, представить себе теплоту, которая побежит по скрюченным ручкам и ножкам. Где-то, в самой глуби наших душ, совершался удивительный процесс превращенья отдачи в получение. Минуту назад нам казалось — невыносимо тяжело. А тяжесть — таяла, переходила во что-то другое, переместился ее центр. Я сунула свою голубоглазую Нелли в девочкины руки, но постаралась коснуться куклой, словно лекарством, ее скрюченных ножек, а Анна шепнула мне, что ее белокурая Роза будет «наша общая»...

Вот это действие облегченья доброго поступка, переход «отдачи» в «получение», в облегчающий потерю интерес — всегда сопутствовало маминым добрым делам, делало их легкими, как крылья, не давало места и времени для самолюбованья или слезливой сентиментальности. Мать просто не выносила сентиментальности. Ни единого слова похвалы она не сказала мне. А я и не ждала — я скакала в ботиках «на одной ноге» по квадратам тротуара, где было чисто от снега, и с интересом думала: побежит или не побежит по скрюченным ножкам девочки живительная теплота — от прикосновений моей куклы; но, конечно, и хорохорилась чуть-чуть, глуша боль от утраты своей Нелли.

Отец, как я уже сказала, начал ездить на практику в Ессентуки — курорт, в создании которого он в свое время тоже принял участие и был членом руководящего Минеральными Водами «Общества врачей». Мы тоже стали ездить, только не в Ессентуки, а в Кисловодск, куда каждое воскресенье приезжал к нам на отдых отец, идя со станции пешком, с чемоданчиком, набитым для нас разными разностями. Больной, очень усталый, с желтым лицом, он прямо из Минеральных и был увезен умирать, по его собственно-

му желанью, не в Москву, а в родной город матери Нахичевань-на-Дону, где мать должна была остаться у дедушки, поскольку в московской квартире все описывалось, выносилось, распродавалось из-за долгов. В Нахичевани он и умер и похоронен. Мать тоже похоронена рядом с ним, на армянском нахичеванском кладбище, спустя тридцать с лишним лет. Ухаживала она за тяжело больным, не зная ни дня, ни ночи отдыха, потому что последнее время отец совсем перестал спать. Незадолго до смерти он сам сосчитал свой пульс и сказал маме:

— Ну, теперь скоро, через несколько минут... Отдохнешь, бедная моя.

Мать это рассказала нам перед своей смертью и добавила:

— Две недели будете отдыхать, бедняжки, а потом начнете тосковать.

Так оно и случилось. Отец умер от цирроза печени. Мать — от рака ободочной кишки.

Год один после его смерти мы проучились в Нахичевани, а потом богатые тетки, и главным образом московская тетя Ашхэн, повезли нас назад, в Москву, и отдали уже пансионерками, или, как тогда говорилось, «живущими», в ту же самую гимназию Л. Ф. Ржевской. Именно с того времени и запомнилась мне эта гимназия со всем ее укладом и хорошими сторонами. Конечно, может быть, немалую долю сыграла тут «дымка времени», и все-таки очень многое в моей старой школе я считаю большим преимуществом перед теми, где учились мои внуки.

4

Начну с самого главного, с «резерва». Где хотите — в промышленности, в здоровье человека, в акте художественного творчества, в планировании, даже в любви человеческой необходим «резерв», нечто не расходуемое тотчас и целиком, а сохраняемое в целости «на всякий пожарный случай». В производстве у вас непременно должен быть некоторый резерв сырья, чтоб не очутиться в трудную минуту перед остановкой процесса; при изготовлении — покрое, литье, формовке — нужен «припуск», лишнее, чтоб не случилось трагической нехватки. Какой-то процент избытка при здоровье необходим для перенесенья болезни. Нарост на нужное, «затруднение от богатства»[8], стихийный подъем, где много лишнего, не идущего в ход, выбрасываемого в корзину,— знает каждый жрец искусства; и если вдохновения у него «в обрез», это не настоящий творец. Планирование не может у нас правильно осуществляться без наличия какого-то запаса, дающего возможность маневрировать. Наконец, коротка та любовь, у которой все, что есть, расходуется сразу и в одночасье, как вода на донышке. И плох тот учитель, кто идет в класс с наличием только того знания, какое нужно для проведения данного урока.

---

[8] «Embarras de richesses» *(фр.)*.

До революции, по крайней мере в тот десяток лет, какой мне пришлось учиться в гимназии, учителя приходили преподавать в среднюю школу с *университетским* образованием. При очень небольшом проценте «остающихся» для чисто научной работы, так как оставались тогда для нее не те, кто этого желал, а те, кто проявил исключительную способность к творчеству науки и кого решали оставить сами профессора,— при этом небольшом проценте остающихся главная масса университантов шла на заработок своего «куска хлеба» преподавателями в средние школы. Университетское же образование было в то время не совсем похоже на нынешнее.

Приглядываясь к тому, что сейчас у нас делается на кафедрах, я подмечаю и в самих «лекторах», обучающих молодежь, особенно если они новейшей формации, а не слушали в свое время замечательных ученых недавнего прошлого, любивших и умевших преподавать, таких, как Вернадский, Тимирязев, старик Ключевский и много, много других,— замечаю у них ту самую тягу к «чисто научной карьере», то есть стремление к кабинетному, лицом к лицу к *своему* книжному шкафу и *своему* письменному столу, образу жизни, что и в студентах, мечтающих об аспирантуре, о защите диссертации, сперва кандидатской, потом докторской...

Жилки «передачи знаний», желанья иметь вокруг себя свою, любимую группу учеников, жажды продолжения своего знания, проверки и утверждения этого знания в них и через них, видно, очень мало, настолько мало, что на первый взгляд, правда со стороны и по расспросам студентов, этого почти не заметишь. Даже попавший в поле зрения какой-нибудь кокетливый профессор, читающий по искусству перед аудиторией поклонников и, главным образом, поклонниц, вдруг сделает «ход конем» — и глядишь, вместо преподаванья усядется в кресло академика в соответствующей Академии как предмет своей конечной цели... Но, может быть, я тут, по недостатку наблюденья, сгущаю несколько краски.

Во всяком случае, в прошлом, на упомянутом выше отрезке времени, тяга к передаче знания к педагогике как таковой была ярче выраженной, а студент с университетским дипломом гораздо чаще шел в преподаватели средней школы. Если привкус любви к передаче знания, к учительству, ощущался тогда явственней, то само образование, вынесенное из университета, самый его характер «педагогического привкуса» не имели. Образование в университете носило тогда широкий, общий характер, и к нему неизбежно примешивался оттенок эпохального осведомления обо всем, что делалось в мировой науке. Когда такой учитель, как Владимир Иванович Вернадский, выступал перед слушателями на кафедре, он давал им неизмеримо больше, чем в учебнике или в печатных лекциях; и его ученики, если б они становились учителями в средней школе, приносили бы в класс знание многого, чего нет в учебниках и не вычитаешь в пособиях.

Сейчас образование педагогов вершится главным образом в педагогических институтах. Они, разумеется, не все одинаковы. Есть замечательные институты с почетной репутацией, например —

Институт имени Герцена в Ленинграде. Он может гордиться блестящими выпускниками многих поколений учившихся. Но когда перечисляют вам эти блестящие имена, вы услышите перечень самых разных профессий от летного дела до литературного — только ни разу не слышала я с гордостью упоминаемого представителя педагогики. То ли нет или мало их, то ли педагогика нынче не та область, которая дает известность своим одаренным людям. Судить о среднем уровне образования в наших пединститутах можно по среднему уровню образования выпущенных ими учителей средних школ. С горечью жаловались мне многие из них, что страшная загруженность в школе и дома почти не дает им возможности для самообразованья, чтения по специальности, а курсы по повышению, куда не всякий попадает, тоже мало дают, невольно идешь в школу, подчитав к уроку только то, что касается самого урока...

И тут вспоминаются наши уроки и наши учителя. Иван Никанорович, преподаватель русской литературы, любил приводить примеры и читать нам вслух стихи. Однажды он прочитал целую поэму — «Кузнечика-музыканта» — наизусть. Полонского, Майкова, Апухтина, Аполлона Григорьева, Тютчева совсем не было в программах, Пушкина-лирика по программе мы так и не оценили бы, не говоря уж о Лермонтове. Но память хранит строки из них, врывающиеся иной раз в мой рабочий день, как аромат леса и цветника в открытую форточку, принося с собой острое поэтическое волненье, оживанье сердца, проблеск неведомой, беспричинной радости...

Только встречу улыбку твою
Или взгляд уловлю твой отрадный...

Откуда это, чье? Фет! Совсем не тот Фет, какого знаешь по хрестоматии.

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы,—
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Холод проходит по спине. Пушкин! Но какой Пушкин,— совсем не тот, что в хрестоматии, совсем не «Птичка божия» или «Буря мглою», но после таких стихов, захватывающих дыханье, и «Птичку» и «Бурю» постигаешь глубже, тоньше, потому что открылась бездонная глубина пушкинской поэзии, от которой мороз пробегает по коже. И мы просили — еще, еще, а Иван Никанорович читал нам Некрасова, вынимал из карманов какие-то заготовленные листочки неизвестных поэтов. Помню, как, говоря о Крылове, таком знакомом дедушке Крылове, басни которого мы заучивали еще приготовишками, он вдруг назвал его мимоходом «поэтом», а кто-то в классе удивленно спросил: «Разве Крылов поэт? Он ведь басни писал!» Писать басни классу казалось совсем не

«поэзией». И Розанов ответил нам: «Еще какой поэт, вот послушайте, как поет у него соловей:

...Защелкал, засвистал,
На тысячу ладов тянул, переливался;
То нежно он ослабевал
И томной вдалеке свирелью отдавался,
То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался.
Внимало все тогда
Любимцу и певцу Авроры;
Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,
И прилегли стада.
Чуть-чуть дыша, пастух им любовался
И только иногда,
Внимая соловью, пастушке улыбался».

Его голос, немного замирающий к концу фразы то ли от скрытой формы заиканья, то ли от застенчивости, умел так вводить нам в слух поэтические цитаты, что наслаждение, переживаемое им самим от их цитированья, волной переливалось нам в душу. Это был как будто еще XVIII век, Ватто. Но Крылов в этих строфах уже как бы предваряет и Фета («Шепот, робкое дыханье, трели соловья...») и Тютчева, хотя в то время мы, разумеется, не могли это почувствовать. Но мы бегали в пансионскую библиотеку за поэтами, удивляя нашу библиотекаршу.

Иван Никанорович Розанов знакомил нас, однако же, не только со стихами. Пансионерки не имели доступа к большому миру взрослых. Особенно те из нас, кто не имел родных в Москве и на праздники оставался в пансионе. Очень осторожно, и не всем из нас, где-нибудь за углом на большой перемене Иван Никанорович передавал завернутую в газету крупного формата книгу — очередной том Чернышевского или Добролюбова. Однажды принес Михайловского, посоветовав прочитать одну его статью. Я и до сих пор помню «вкусный», как мне тогда казалось, язык Михайловского и примеры из жизни, например о самовнушенье, эксперимент с каторжником, которому обещали свободу, если он проведет ночь в постели умершего от холеры человека; и на следующее утро он умер от холеры, хотя постель была чистая и в ней до него никто не спал. Книги были в бумажных переплетах, на тонкой глянцевитой бумаге, они переходили из рук в руки, шершавились и обтрепывались, но Иван Никанорович не роптал. Чернышевский о Кавеньяке врезался мне в память еще тогда и лежал где-то на ее дне, пока не восстал во всей остроте воспоминанья в главе об учителе Захарове в моей «Семье Ульяновых».

Но было в наших уроках нечто большее, чем знакомство с поэзией или революционные демократы, хранимые в дортуарах под подушками. Было ощущенье «резерва» образованности, зрелой интеллигентности в тех, кто преподавал нам, и еще одно, в ту пору неосознанное, но несомненное, добавочное чувство отношенья самого учителя к своей науке. Трудно передать в точности характер этого чувства, он был неотделимый от преподаванья, но он входил

в него, присутствовал в нем, как что-то вроде прибавочной стоимости в поршни труда рабочего. Было ясно даже самой глупенькой в классе, что уважаемый нами учитель (разумеется, не все они были такими!) хозяйствует над своей наукой, потому что любит ее и овладел ею. А раз хозяйствует, он расширяет перед нами ее школьные, «программные» горизонты и на вопрос не по теме урока обязательно ответит, даже с удовольствием ответит. Были озорники, спрашивавшие нарочно, особенно в начале года, в период обоюдного прощупывания учениками учителя и учителем учеников. Но ответ они получали интересный, по-серьезному, и заинтересовывались сами.

Незаметно от этого «припуска», от резерва образованности в учителе, от полученья избытка знаний как бы не в строках, а между строк программы — интеллигентность класса росла, росла сама собой, независимо от того, что у нас, как и везде, были двоечники и троечники, не приготовившие урока. Обдумывая вот эту особенность ученья в старой гимназии Ржевской, я много лет решала для себя «проблему учителя»... Но кроме занятий в классе, мы, пансионерки, всю зиму оставались в стенах гимназии, мы были «живущие». И тут примешивалось могучее воспитательное действие режима — «по часам»; действие коллектива (вместе ели, гуляли, учили уроки, спали); действие тех людей, кто за нами в течение дня присматривал.

До двух часов это была обыкновенная гимназия. В два расходились по домам сидевшие с нами рядом на партах «приходящие», а мы, сложив книги и тетради в ящики, бежали в столовую «пить молоко», то есть выпивать стоя стакан с куском черного хлеба. Потом входил в силу зов: «Одеваться!» — мы разбирали по меркам свои шубы, шапки, ботики и выходили на улицу, где длинной шеренгой, выстроенной по парочкам, полтора часа под водительством классной дамы совершали обязательную прогулку по маршрутам, рассчитанным на минимальные переходы через улицы. Сейчас как-то странно думать, что переходить улицу, когда не существовало ни автомобилей, ни мотороллеров, было все равно опасно, опасно от лошадей. Мчались дорогие извозчики — «рысаки», ехала тяжелая фура, везомая першеронами, волосатыми у копыт, летели «собственные лошади» с гордым кучером, выпиравшим свой задом (мода была на толстые кучерские зады ватных кафтанов) с козел чуть ли не к лицам седоков, дребезжала, позванивая, конка — и никаких регулировщиков, не говоря уже о светофоре. Газеты в отделе происшествий со смаком описывали попавших под лошадь и «получивших тяжкие увечья». Мы, переходя улицу, задерживали движенье, но классная дама старалась делать это пореже, чтоб не прибегать к помощи городового. Сохранилась ли еще в памяти горожан импозантная в своей внушительной форме фигура городового?

Придя с прогулки, мы мыли руки, приглаживали волосы и чинно шли в столовую обедать. Приборы были расставлены по установившемуся порядку (кто с кем), на столах корзины с нарезан-

ным черным и белым хлебом, графины с водой. Обед из трех блюд, под надзором Елены Францевны, правой руки начальницы, хотя во главе каждого стола сидела и классная дама. Кто хотел повторенья, протягивал тарелку и просил «еще». Кормили нас хорошо. Лучшие минуты начинались после обеда, когда мы, пробалбесничав полчасика, брались готовить уроки или шли в «музыкальную комнату», чтоб «делать музыку», или, покончив то и другое, танцевали, рукодельничали, готовили к празднику «спектакль», писали письма, шептались о своих секретах.

Один день был у нас «французский», когда все мы и друг с другом, и с классной дамой, и с начальницей разговаривали только по-французски; а другой день — «немецкий». Сменялись две француженки, а немка, сколько помню, была одна; другая, фрейлейн Борман, полная, с губами сердечком, голубоглазая, всегда влажная лицом и руками и остро пахнувшая подмышками,— для «маленьких». А у нас была высокая, пожилая фрейлейн Метцлер. Обе — балтийки, и немецкий выговор сделался у нас жесткий, балтийский; когда пришлось встретиться с немками, называвшими себя «рейхсдёйтше» — из Германского государства,— мы первое время растерялись от их мягкого, неразборчивого, с некоторым грассированием немецкого говора. Фрейлейн Метцлер была европейски образованна и прекрасно знала музыку. Она презрительно относилась к государству Российскому. Не то чтобы говорила об этом, но не сдерживалась иной раз от критических замечаний, имевших не прямой, а косвенный характер: «у нас в Риге...», начинала она равнодушным голосом, то-то и то-то делалось так-то и так-то. И мы виновато сознавали, что у нас, наоборот, то-то и то-то делается не так-то и не так-то. Но удивительно, что могучий урок я получила именно от нее,— урок своеобразного кодекса внешней порядочности, осуждающего меркантильность и мещанство.

Большинство пансионерок у нас были не издалека — родители их имели фабрики или торговые заведенья где-нибудь под Москвой: в Волоколамске, в Клязьме. И девочки привозили с собой из дому всякий раз выраженья и сужденья, подхваченные дома от родителей. Им говорили: «За тебя плачены немалые деньги, ты не поджимайся, когда чего не дают — требуй свое, законное». И девочки, бывало, плаксивым голосом повторяли, что «за них плачено». Одна, милая и кроткая Симочка, любила это твердить перед музыкальной комнатой. Все мы учились музыке, но рояль был один. Чтоб приготовить урок и поупражняться, у каждой имелся свой час. Но чуть опоздает кто занять музыкальную, она уж бывала занята и занявшая запиралась. Стучи не стучи — из комнаты все равно неслись гаммы, сменялись арпеджиями, и тут возвышала свой голос Симочка: заплачено! они обязаны дать! я заплатила! В мой собственный лексикон никогда не входило говорить такие слова. Но вдруг однажды, заразившись от Симочки, когда я стукнулась в запертую дверь, из-за которой твердо неслась хроматическая гамма, а час для упражненья был мой, я тоже завопила:

— Безобразие! Я за это деньги заплатила!

И тут на мое плечо опустилась стальная рука фрейлейн Метцлер:

— Стыдно, Шагинян! Ведь ты не Симочка! Тебе это не к лицу, не в твоем духе!

И я почувствовала стыд. Совсем это было не в моем духе, а с чужого голоса. Сразу пришло какое-то очень лестное для меня понимание, что я совсем другая, не похожая на Симочку, и надо вести себя достойно. Неуловимая, разделительная черта в психологии класса, слоя, сословия, воспитанья? Внешняя черта, вненравственной оценки, но важная в общежитии,— черта благовоспитанности? Хвастаться деньгами — пошло и неинтеллигентно. Это делают мещане, люди невоспитанные. Несколько дней эти мысли терзали меня, пока не показались и сами по себе не очень-то достойными человека, и осталось одно, главное убежденье: хвастаться вообще противно и стыдно, лучше благородно уступить.

Француженки были другого типа. Одна, оставшаяся с нами до окончанья гимназии, мадемуазель Луиза Муше из Женевы,— маленькая, быстрая, полная брюнетка с энергичным лицом — дала мне при расставанье короткий адрес: Louise Mouchet. Carouge, Génève. Suisse. Я сомневалась, дойдет ли без номера дома, но, раза два написав ей, получила ответ. Она рассказывала про свою «Carouge» (Надежда Константиновна Крупская называет ее в своих «Воспоминаниях» «Каружкой»), что там жило много русских студентов. С мадемуазель Муше мы были большими друзьями, встретились с ней и позднее — за границей, когда она ездила в качестве гувернантки с богатым чешским семейством Сокол. За долгие зимы «живущей» в пансионе я получила от нее беглое умение читать по-французски, любовь к этому чтению и пристрастие к слащавому французскому поэту Сюлли-Прюдому, которого мадемуазель обожала. Я выучила его чуть ли не наизусть. Целые тетрадки исписала французскими стихами, подражая ему.

И только позднее, когда попалась мне книжка стихов Альфреда Мюссе, я поняла, как банален мой божок, поддалась очарованию французской поэзии, вошла через Мюссе в мир Верлена. Но случилось это уже в студенческие годы.

Вторая француженка, мадемуазель Салле, во всем была противоположностью нашей бедной, грубоватой и безвкусной Муше. Она одевалась с необыкновенным изяществом. Луиза не вылезала из двух блузок, белой и серой, обшитых синей каемкой, и грубой клетчатой юбки; от ее рук всегда пахло дешевым стиральным мылом. А Салле меняла пестрые шелковые блузки чуть не ежедневно, душилась, завивала волосы щипцами и говорила необычайно красиво, так, что слушать ее можно было часами. Она приехала из Парижа и целью поставила привить нам парижский акцент. «Без парижского выговора нет французского языка!» — утверждала она. И было бы совсем хорошо, если б дело ограничилось «произносом». Мы его быстро и легко усвоили. Мы «отдавали звук наверх», с языка на гортань; булькали на «р» и «л»; по всем правилам пели «Sur le pont d'Avignon», вознося, словно своды готического храма,

«on» и «pont»; хором тянули по вечерам «frère Jacques», чуть вытягивая последний слог, потому что мадемуазель учила: «Правило для дурочки, грамматика для бабушки («Grammaire pour grand-mère!»), а парижанка всегда чуть-чуть потянет «е» на конце, словно диктант диктует — вот так, это хороший тон, это шик!» И мы шиковали, чуть вытягивая хвостик последнего «е» у фрэра Жака.

Все было бы хорошо, если б эта парижанка ограничилась прононсом, за который Луиза Муше снисходительно обозвала нас обезьянками, petites singes. Но у мадемуазель Салле была неистребимая страсть к интриге. Кто-то наболтал ей в беседе, что мы зовем учителя «естественной истории» Слудского — «душкой».

— Душка, что есть душка? Mon cher, mon ami? О, даже теплей, нежней, plus tendre... С этого начинается и бог знает где может кончиться. Кто первый тебе сказал? Когда сказал? Как сказал, с каким выраженьем, жестом, громко или тихо?

Она устроила очную ставку двум девочкам, той, которая слышала, с той, которая сказала. Обе стали отнекиваться. Тогда, распалясь, как настоящий детектив, Салюшка (прозванная так пансионерками) вызвала «свидетелей», одну, другую, третью. Завела клеенчатую тетрадь и принялась вписывать в нее протоколы допросов. Дело приняло оборот цепной реакции. Девочки начали бояться и плакать. И Луиза Муше одним взмахом прекратила это мучительство. Неизвестно как и вследствие каких мер это произошло, но утром Луиза Муше с конвертом в руках, от начальницы, вошла в комнату мадемуазель Салле, о чем-то с ней коротко переговорила, и Салюшка уехала от нас со своими вещами, сильно напудренная, с пылающими из-под пудры щеками и бегающими от встречного взгляда острыми глазками. Когда мы с Луизой, встретившись несколько лет спустя в Вене, заговорили об этом памятном случае, она сказала мне:

— Салле была больная женщина, она была садистка, она могла замучить человека, как кошка мышь.

А Слудский (его брат читал естествознание после революции в симферопольском вузе и был, если не ошибаюсь, причастен к научной работе на Карадаге) и действительно был для нас «душкой». Молодой блондин приятной наружности, отчасти знакомый мне по пансиону Констан, где учительствовал его брат,— правда в старших классах,— он очень интересно вел свой предмет. Он вводил в него современность, размыкая рамки времени,— например, стоило посетить Россию какому-нибудь крупному ученому, или произойти научному конгрессу, или выйти очень важной книге по его «научному профилю», как мы тотчас узнавали об этом от него «в порядке рабочего дня». Этим он как бы держал нас в курсе мировых событий, и часто от «приходящих» девочек мы слышали, что родители их поражались, откуда дети их знают про конгресс в Петербурге, о котором они сами ничего не слышали. Но Слудский интересно умел подать и прошлое. Что могло быть дальше от средней гимназии и ее программ, нежели старый спор Кювье с Сент-Илером, в свое время занимавший умы естественников? Или спор поэта

Гёте с системой Ньютона, признанной во всем мире и ставшей уже классическою, по вопросу о цвете (цвет — цвета́, а не цветок — цветы́); к сожалению, слово «Farbenlehre» не может быть легко переведено с немецкого на русский, поскольку краска на русском имеет практический оттенок «окраски», ее можно наложить кистью, а слово «цвет», натуральный цвет вещей, во множественном числе так созвучен цветам, растущим в садах, что при переводе то и дело получается путаница.

Так вот, даже взрослые гётеанцы, хорошо изучившие Гёте, не всегда добирались до громадного тома «Учение о цветах» (в смысле цве́та); а мы, дети, слушали увлекательный рассказ нашего душки Слудского о том, как великий поэт был в то же время и великим ученым. Он открыл особую кость в челюсти, роднящую человека с другими «млекопитающими»; он создал в ботанике увлекательную теорию, как растение развивается из первичной формы листа; и он посмел, наконец, выступить против канонической теории Ньютона о цвете, предложив свою собственную, где цвет делится на объективный, присущий самому предмету, и субъективный, заложенный в самом глазу человека, глазу, который «солнцеподобен» и привносит цвет некоторым вещам от себя. И мы слушали раскрыв рты. Недавно я вспомнила душку Слудского, перечитывая Эккермановы «Разговоры с Гёте»...

Но вспоминаю я его и не только поэтому. Близкий друг рассказал мне на днях об интересной школе в городе Харькове. Там учат детей не только знанию предметов, но главным образом умению мыслить самостоятельно. И друг мой привел мне разительные примеры ответов детей на такие вопросы, которые нельзя решить зубрежкой, а надо осилить работой собственного мозга. Я загорелась желаньем посетить эту школу и, конечно, съезжу туда в свободное время. Но это прогрессивное направление в педагогике — пробуждать в детях способность самостоятельного мышления — на Западе приобрело несколько иной характер.

В старой Англии давным-давно придумали тесты — этакие вопросники, ответить на которые не так-то просто,— как измерители умственной способности детей, поступающих в школы. В Америке для развития «критического мышления» создали даже печатные «вопросники» с проставлением баллов за ответы. Однако пресловутые тесты терпят крушение, потому что подход к «обучению мыслить» в педагогике старого мира отвлеченный, несколько «фокуснический»,— быстрота пониманья вопросов и ответы на тесты требуют у детей больше находчивости, сообразительности, ловкости, чем настоящего обдумыванья, глубокого мыслительного процесса. Часто бывает, что именно глубокие, стремящиеся думать дети и юноши кажутся, по измерению тестов, дураками — они теряются и молчат, не находя ответов на хитроумные (и пустые, как правило) вопросы, а дети-ловкачи, дети-выскочки бывают самыми быстрыми на ответы.

Вообще, перебирая педагогическую литературу Запада, то и дело натыкаешься на темы «самостоятельного мышленья», «стиму-

лирования его», «развития творческого подхода ученика к науке»,— и тут же примеры для такого развития и стимулирования, примеры, способные даже мыслящего ребенка сделать идиотом. Очень интересно, как теоретически ново и глубоко решается этот вопрос в Болгарии и как внезапно исчезает глубина и сменяется беспомощностью, когда дело доходит до практики в предлагаемых примерах.

За последнее время болгары во многом двинулись вперед и заняли ряд мест на форпостах культуры,— так и хочется, читая их, приговаривать: молодцы, молодцы болгары! Например — в поисках излечения рака. И еще пример — в педагогике. Именно болгарские педагоги (Цвятко Петков) поставили вопрос о проблемном обучении как о наилучшем способе развивать самостоятельное детское мышление. Автор этого умнейшего вывода пошел (в теории) еще дальше. Он не стал связывать необходимость «самостоятельного мышления» в будущем человеке с модным сейчас апеллированием к «научно-технической революции», к необходимости программирования, знания кибернетики и проч. и проч., а высказал простое и важное педагогическое соображенье: «Чем содержательнее отдельные моменты мышления, тем глубже чувства и сильнее воля», то есть что существует прямая связь между чувством, мыслью и волей. И учить мыслить не значит, по старому представленью, воспитывать некоего рассеянного философа в очках, рассуждающего (басня Хемницера!), упав в яму: «Веревка, вервие простое», вместо того чтоб ухватиться за нее и вылезти из ямы. А наоборот, уча мыслить самостоятельно — воспитываешь глубокого человека, способного и сильно чувствовать, и сильно хотеть. Ставить так вопрос — уже ново в западной педагогике; и мы гордимся, что новость исходит от наших славянских братьев. Но болгары пошли еще дальше и предложили (а это само по себе, если хотите, шаг вперед в гносеологии, психологии, логике и диалектике!) как наиболее эффективный метод для развития в детях уменья мыслить — ставить их мозг перед проблемами, создать метод проблемного обучения. Но дальше, на мой взгляд, они «дали осечку».

На беду нашу, мы узнаем о большей части взглядов зарубежных (в том числе и социалистических) педагогов не из переводов их книг или из оригиналов, которые стали бы нам доступны, а из подсобных рефератов хотя бы в том же редком малотиражном издании «Педагогика и школа за рубежом». Поэтому я оставляю на совести референтки дальнейшее изложение книги Цвятко Петкова. Дальше в книге он перешел к разделу примеров «проблемного метода». И оказывается, он предлагает создавать такие проблемы. Создавать! Хотя весь мир вокруг — от ползка зеленой капустной гусеницы и до оборота гусеничного колеса у трактора; от рабов, сидевших внутри римской колесницы и непрерывно вертевших рукоять, до нашего автомобиля с мотором; от лопаты, которой выхватываешь ком земли, до рычага в человеческом теле, в физике, в способе астрономических исчислений; от пересеченья в ткацкой машине вертикальной основы горизонтальным утком до математи-

ческих понятий сетки; от функций и аргументов, связанных с представлением о времени и пространстве, до квант...— все, решительно все поле проблем, представляет собой проблему, только сумей увлекательно рассказать о них и зримо показать их молодому, восприимчивому мозгу!

Вот поглядите, читатель, какие «проблемы» предлагает создавать книга Цвятко Петкова: тема, которую класс должен освоить,— «внушение». Ученикам раздается картинка, на картинке охотник. Когда ученики *посмотрели* на картинку, она у них отбирается, и учитель задает им вопросы: какое было перо в шляпе у охотника, от какой птицы? Куда смотрела его собака? В какую сторону держал он ружье? Дети отвечают. Тогда учитель снова показывает картинку, и оказывается, что пера в шляпе у охотника не было вовсе (а дети отвечали — фазанье, петушиное, гусиное...); собаки у него тоже не было (а дети: направо, налево...); и ружье было у него за плечами (а дети — туда, куда собака, вперед, в лес...). Иначе сказать — примышленные вопросы вызвали примышленные ответы. А педагог говорит по этому поводу: возникает проблемная ситуация,— и дети учатся самостоятельно постигать, что такое внушение, самовнушение... Мне думается, хоть такие опыты в классе и любопытны (я несколько вольно изложила и схематизировала данный пример для удобства рассказа), но учат они совсем не мышлению; и «проблемной ситуации» тут, при очень выдуманном подходе к ней, в сущности, нет или она малоценна именно для мышленья. А результат здесь в развитии *воображенья*, в степени *фантазии* и ее культивированья. Так можно скорей воспитывать способности уголовного следователя, следопыта, романиста приключенческих романов, наконец — даже поэта или графика, но отнюдь не «самостоятельного мыслителя».

Я привела эти скучные отступленья, чтоб лучше показать настоящее проблемное преподаванье, какое получали мы от некоторых старых учителей гимназии Ржевской. Слудский не имел ни малейшей надобности высасывать для нас из пальца «проблемную ситуацию» — на каждом шагу в его изложении естествознания лежала та или иная проблема, лежала она перед большим ученым, о котором он нам рассказывал, лежала она и в самой вещи, о которой он говорил, иногда принося ее в класс,— кусочек минерала, кристалл, бабочку под стеклом, засохшую смолу и янтарь, который он тер перед нами суконкой, электризуя его и заставляя притягивать бумажку. Проблемных ситуаций возникало так много, что мозг загорался глубоким интересом к природе, а в результате — интересом к процессу мышления.

Мы не выдумывали, не добавляли, не продолжали, не создавали проблем. Но мы *постигали* проблему, переживали чудесное озарение мозга, перед которым *открывается* проблема (открывается, а не решается или создается!),— и первый урок мышления как раз и заключался в том, чтобы понять природу проблемы, понять, что она такое. А проблема и ее ситуация вовсе не сводится к вопросу и ответу. Проблема и ее ситуация лежит в области диа-

лектики, а не логики. Она заключается в *контрастном* положении вещей *друг к другу*, контрастном положении одной части вещи к другой ее части *одновременно*, и в таком контрастном, которое, в природе своего совместного положения, носит одновременно и возможность своего разрешения. Дети, разумеется, до такого рассужденья не доходят. Но они *чувствуют* контрастность целой вещи, переживают ее,— и вот самое переживанье и двигает вперед их самостоятельную мыслительную способность.

У нас есть интересный педагог-мыслитель, Эрдниев из Элисты. Он создал новый учебник арифметики для начальных школ. Дети у нас обычно по старинке сперва выучивают сложение; потом вслед за ним вычитание и т. д. Это называется: четыре действия арифметики. Эрдниев предложил *одновременно*, сразу, в тетрадке, в учебнике, на доске постигать сложение и вычитание как действия одного порядка, как *контрастные действия*, заложенные в одном мыслительном процессе, как две стороны одного целого. Обучение по его методу сократило время обучения арифметике в школе чуть ли не вдвое. Но эффект его новой методики не только в этом: она, эта методика, сделала шаг вперед и в работе детского мозга, научила его первому дыханью проблемности — чувству контраста. Вы думаете, у нас сразу обеими руками ухватились за арифметику Эрдниева? Как бы не так!

Возвращаясь к «душке» Слудскому прыжком из сегодняшнего дня в далекое прошлое, должна кое-что еще добавить, ценное именно для сегодняшнего дня, верней сказать, помогшее мне понять что-то сегодня.

5

Для того чтобы заронить в ученике интерес к предмету, бросить в него «семя» самостоятельного мышления, учитель сам должен быть охвачен интересом к этому предмету и в мыслях держать то семя, которое хочет забросить. Мне пришлось раньше писать о труде земледельца, дорогом его сердцу и легком, несмотря на тяжесть этого труда, легком, потому что «земля отвечает», труд переживается как процесс *взаимный*. И я тогда сравнила труд педагога с трудом земледельца. Да, интерес и захваченность самого учителя; но учитель, стоящий в классе перед группой своих учеников, пусть даже влюбленный в свою науку и стремящийся ее передать, отнюдь еще не подлинный педагог; у него к этим качествам должно быть прибавлено то главное, необходимое свойство творца, которое можно назвать *«верой в ответ»*, *«верой в передачу»*. Он дает свои мысли, свое знанье, свою захваченность не в пустоту, перед ним огромная, живая, воспринимающая сила, настроенные на прием сердца, мозговые извилины, нервные сплетения— та живая почва, куда падает его семя. И происходит факт взаимодействия. В хорошем, настоящем преподаванье учитель не только дает, но и *получает*,— он растет, развивается вместе с классом на протяжении всего ученья.

Разумеется, не каждый педагог может быть таким творцом. Но

в потенции, при первом вхождении в свою профессию, каждый учитель должен созиать в себе как часть своего дела эту веру во взаимодействие. Все несчастья, падающие на голову учителя, все его «профессиональные болезни» возникают именно в сфере этого взаимодействия с классом: или оно не произошло по вине самого учителя, или возникло со знаком минус, когда в ответ родилась отрицательная стихия — насмешка, пародированье, обезьянничанье, притворство, равнодушие, стена. И тогда все переходит либо в механические «от — до», сорок минут урока, взаимное «вытерпевание» до освобождающего звонка, либо в настоящую трагедию учителя, который не хочет примириться с таким положеньем вещей. Вот почему в обширной современной литературе по педагогике все чаще и чаще встречаешь книги о «проблеме учителя». Чуть ли не каждая страна, где «хватает учителей» (то есть заполняются все вакантные места в школах), поднимает вопрос о «повышении их квалификации». Но явственно растет и нехватка: в Англии, например, еще несколько лет назад в газетах чуть не ежедневно писалось, что в школах не хватает учителей, и эта нехватка исчислялась десятками тысяч. Раздумывая над этим, я упиралась и упираюсь по сю пору в некоторые факты. Один — очень простые, понятные, зримые: в экономику положения учителя, его место в обществе; его образование — раньше университетское (широкое, на широком фоне знаний), сейчас — педагогическо-институтское (более узкое и специальное); в общее и у нас, и в большей части европейских стран нежеланье молодежи избирать для себя профессию учителя, поступление в пединститут (кстати сказать, более легкое, чем в университет) как бы только «на худой конец». Это, как я говорю, простые, общеизвестные факты. А другой — неожиданный, новый, случайно для меня открывшийся, может быть — спорный, парадоксальный...

Думал ли кто, ведающий в западном мире делом воспитания и образования, о том, что из себя представляет наша школа? Где ее корни, из которых она выросла? И если при этом представить себе такой могучий, мировой корень, как отец педагогики великий Ян Амос Ко́менский,— думали ль бесчисленные его исследователи и нынешние диссертанты, что́ именно наша часть планеты (Европа и Соединенные Штаты Америки),— взяли или поняли из него, поняли и продолжили и применили, отсеча очень многое, чего, может быть, не поняли или не сочли в данных условиях приемлемым? Да и возникал ли вообще вопрос о чем-то, чего мы не увидели и не приняли у Яна Амоса Коменского? Неожиданный факт, для меня открывшийся, начался с совершенно невинного и, можно сказать, невидного случая (поскольку никто о нем, кроме меня, кажется, и не задумывался): в кино показывали какой-то индийский фильм. В современном индийском фильме я увидела на экране современную начальную школу Индии. В этой начальной школе молодая учительница вводила детей в первую ступень — в грамоту, в заучиванье букв. И как странно для нас, как не похоже на нас — она проводила это заучиванье пением! Веселые, воодушевленные лица ребят, вольная поза при сидении на парте, вольная, потому

что музыкальный ритм хором распеваемых ими слогов-звуков, слов-мелодий проходил у них волнами по всему телу тем невидимым внутренним движеньем, какое всегда рождается в нас, когда мы поем. Азбука — пением, арифметика — пением... У нас так не делается, это новость! Не успела я как следует переварить эту новость, а уж соседка моя по дому, поэтесса Тания Спендиарова, дочь классика армянской музыки, композитора Спендиарова, несет мне пластинку, привезенную кем-то с Востока: школьный урок. Но — какой это школьный урок! Опять — своеобразный концерт. Вы их не видите глазами, но слышите, — слышите, как дети сидят в современной школе, учительница стоит перед ними и вместе с ними *поет* учебный предмет. Легкая, приятная, полная радости и ритма музыка. Музыка, полная сердечной отдачи, — дети усваивают, отдавая; постигают, распевая; получают, вкладывая; и главное — *запоминают*. У нас это не делается.

— Но позвольте, и у нас это делается! — сказал мне очень известный старый таджикский писатель и поспешно добавил: — Не так давно делалось.

Он рассказал мне о старых, почтенных мектебе и медресе, о текстах Корана, о том, как они поются, об их мелодиях, тесно связанных со словом. Советский классик нашей советской литературы, равно «собственной» для узбека и для таджика, — Айни — учился в школе, где заучивали не «сухо» (secco по-итальянски, как называют голый речитатив), а заучивали «влажно», пением, не только одни религиозные предметы... Да и что такое «религиозные предметы»? Если перелистать недавнюю «историю» разных стран этак в объеме двух тысячелетий, именно из-за «религиозных предметов», религий, изложенных церковно-канонически, и происходила самая яростная, самая непримиримая грызня между народами, все эти кровавые варфоломеевские ночи, все эти ненависти друг к другу людей и наций, все эти разделенья, которым не было мира, даже того трагического мира друг с другом, как у Монтекки и Капулетти над могилой Ромео и Джульетты. А вот сейчас, во второй половине XX века, на встрече писателей и поэтов чуть ли не всех стран Востока обнаружилось, что великие древнейшие творения индуистов, брамаистов, буддийцев, иудеев, мусульман, аравитян, египтян, монголов, имевшие в прошлом значение «религиозных книг», воспринимаются сейчас всеми на Востоке как *поэтические эпосы*, равно драгоценные каждому из этих народов как обращенная к ним ко всем светлая улыбка ранней зари человеческого творчества. Что такое «религиозные предметы»? Зевс, Афина Паллада, Аполлон, Гермес, Юнона были религией. Теперь они стали поэзией. Мы заучиваем Гомера. И разве «Песнь Песней» не поэзия для любого слуха? Четыре коня Апокалипсиса разве не поэтические, живые и страшные, образы человеческих бедствий от кровавого безумия войны?

Но дело не в реабилитации этих «предметов», и не о них я повела речь. Я повела речь о случившемся со мной странном факте. Почему, собственно, когда мы знаем, что нужно брать и использо-

вать лучшее всюду, где оно есть, мы это «лучшее» связываем только с одной частью планеты, с Западом? Методы преподаванья, положенье учителя, отношенье к нему, появившаяся сейчас «проблема учителя» — все это западное, порожденное западными традициями.

Колонизаторский Запад, придя на Восток, первым делом стал вводить в странах древнейших культур, где люди знали письмо и счет, изготовленье фарфора и движенье небесных светил задолго до того, как западные их собратья слезли с деревьев и принялись строить себе жилища (ну, может быть, я слегка преувеличиваю дистанцию!),— стал вводить западные порядки в быт и школу. Сколько гибельного, разрушительного ввела пресловутая английская «Ост-Индская компания» в традиционные школы Индии! Она хозяйкой пришла выколачивать фунты стерлингов в страну, где древний народ за несколько тысячелетий до нашей эры ввел десятичную систему (англичане вводят ее в свои фунты только сейчас!), дроби, умноженье и деленье дробей, проценты, возведение в степень, извлечение квадратного и кубического корня; за несколько столетий — число «пи», принцип дифференциального исчисления, знаменитую теорему Пифагора («Пифагоровы штаны») задолго до самого Пифагора! И эта «Ост-Индская компания» остановила рост грамотности в Индии: процент ее в начале XX века остался такой же, как в начале XIX.

Мне очень хотелось знать, как учили в начальных школах Индии две тысячи лет назад, когда еще не было книг и тетрадей для записи. И я узнавала из чтения, что дети брахманов начинали учиться с восьми лет, дети других высших каст — с двенадцати. Школой их был дом учителя. Они входили в этот дом благоговейно, не только как ученики, но и для услужения учителю, для черной работы в доме. И за годы учения — целых двенадцать лет — осваивали математику, хронологию, астрономию, грамматику, этику, военное дело и такие странные для нас предметы, как науку о змеях и науку о предзнаменованиях, обе — в связи с медициной, с естествознанием. Особенно интересно было мне узнать про начальное обучение и его методику. Уже в нашу эру, в VIII веке, по Индии путешествовал китаец Сюан Цзан. И он оставил описание тогдашнего житья-бытья маленьких индусов в «школе учителя», то есть в его жилище. Преподаванье велось на слух и закреплялось на память. «Мальчик... заучивал буквы, рисуя их на песке. Таблица умножения заучивалась нараспев. Затем учащийся переходил к изучению книги для чтения, в которой 49 букв индийского алфавита приводились в разных сочетаниях в виде 300 куплетов. Основой обучения считалась знаменитая грамматика Панини. Она состояла из 1000 строф, которые дети начинали заучивать в восьмилетнем возрасте. Учащиеся заучивали также санскритский лексикон и упражнялись в составлении сочинений в прозе и стихах» [9]. Избави меня бог проповедовать возвраты к до-

[9] Цитирую по книге А. Нусенбаума «Народное образование в Индии». М., Учпедгиз, 1958, с. 4 и 5.

потопиым временам — вовсе ие для этого я заглянула в них. Но каждое время отлагает иечто вечиое жемчужиикой в культуру человечества. Жемчужиикой — ие для возрождеиия ее, а для раздумья иад ией. Ведь и в греческой школе во времеиа Гесиода пели, заучивая тексты. Греческое слово «мелос» включало в себя двоякий, иеразделимый смысл словозвука, мелодии, связаииой с поэтическим словом. Ритм, согласиое движеиие словозвука ие только облегчают для ребеика запомииаиие, превращая учеиье в удовольствие, ио и держат в иезаметиом движеиии его позвоиочиик, что страшио важио для иаших ребят, выиуждеииых по шесть — восемь часов сидеть в школе за партой ие двигаясь. Никакой поздиейшей физкультурой, иикакою гимиастикой ие исправить вред, иаиосимый сидячей иеподвижиостью мягкому детскому позвоику! Мие рассказывали, что у евреев в какой-то древией кииге «Таиах» иад каждым словом дается в зиаках мелодия, которую учеиик, произиося это слово, должеи петь; если мелодия длииее слова, то слово растягивается по слогам иа длииу мелодии,— и дети, уча текст иараспев, качаются, раскачиваются по ритму. Оии, в сущиости, практически «выводят иаружу» виутреииее ритмодвижеиие, сопровождающее в человеке любой иапев.

Не следует думать, что все подобиые приемы в древиих и восточиых школах выросли из религиозио-ритуальиых истоков. Замечательио, что такое миеиие, распростраиеииое в западиой литературе, резко критикуется совремеииыми учеиыми азиатских и африкаиских страи. Африкаиец (иигериец) Б. Ама издал иа фраицузском языке кииги «Опыт аиализа африкаиского воспитания». Содержаиье ее излагается в седьмой киижке «Педагогики и школы за рубежом». И рефереит приводит замечательиые слова африкаица о том, что «европейцы узко толкуют африкаиские традиции как религиозио-ритуальиые и до сих пор совершеиио иеправильио иитерпретируют описываемые ими факты». Этот культуриый голос из иедр Африки заслуживает того, чтоб очеиь к иему прислушаться. Народы Азии и Африки гораздо практичией, чем мы о иих думаем. Там, где мерещится иам «мистика», лежат в осиове умиые, иа опыте осиоваииые, свои (примеиительио к климату, образу жизии) правила физического развития, гигиеиы, душевиого воспитаиья.

Так вот, мы ведь иа Западе ие совсем-то остались глухими к этим воздействиям педагогических приемов Востока. Нет ии малейшего сомиеиия, что Греция миогое тут заимствовала, о чем можио прочесть хотя бы в иитересиейшей кииге «Путешествия Пифагора», переведеииой иа Руси в старые времеиа. Заключать в стихотвориый ритм перечеиь логических приемов или латииских исключеиий было обычиым делом в прошлом веке, да и мы, готовясь давать логику или латыиь, зазубривали наизусть эти бессмыслеииые, ио легко запомииающиеся стихотвориые перечии слов и слогов, по которым сразу могли иайти иужиое иам правило. Магия ритма, облегчающее действие музыки, почти совершеиио игиорируются сейчас в иаших иачальиых школах, а почему, в сущиости? Разве иет

в них пользы и для современности? И разве отец нашей школы Ян Амос Коменский не писал, что тот, кто не знает музыки, уподобляется не знающему грамоты? Не значит ли это, что мы должны использовать ее не только как отдельный предмет преподаванья, а и в практическом приложении к способам заучиванья начальных предметов?

Подумать над этим — и над потрясающим действием появляющихся и у нас в кино школьных «мюзиклов» — право же, стоит!

И еще стоит подумать о древнейшем писании в школе сочинений «в прозе и в стихах», дожившем до начала нашей эры в Риме. Каждый образованный человек, даже и не только античного мира, а перешагнув в знаменитые средневековые университеты, умел написать нужное сочинение стихами. Но этим он отнюдь еще не *делался, да и не собирался сделаться поэтом*. И воскресить «стихотворную грамотность» было бы полезно хотя бы для того, чтоб море разливанное расплодившихся людей на нашей планете, считающих себя поэтами, поняли наконец, что стихоплет еще не поэт и что *поэты* на белом свете *рождаются единицами в столетие*. Это относится и к живописцам, и особенно к музыкантам, техника композиций которых дошла до такого уровня, что она доступна чуть ли не каждому, протяни руку и возьми. Но... даже настоящий повар не считает приличным для себя готовить из полуфабрикатов, а техника искусств, обросшая за последние десятки лет множеством готовых полуфабрикатов, должна была бы вызвать к себе пренебреженье у артиста не меньшее, чем у повара.

Пишу все это и заранее вижу глубокое недоумение на лицах представителей наших точных наук. Так и слышу их: да разве в этом педагогические проблемы нашего века? Ведь это — век великой научно-технической революции! Полного переворота в нашей промышленности. Недостатка образованных людей в этом плане. Острой необходимости совершенно переработать школьные программы, обучать программированью, управленью автоматикой, именно тому «царствованью над природой», где полуфабрикат машинного, технического изготовленья становится как бы кубиком в руках мастера вселенной, инженера-кибернетика, инженера-электроника? Дорогие друзья-читатели. Ведь я прабабушка. Мой век не мотыльковый. На своем веку я пережила и сама и через книгу немало научно-технических революций. И всякий раз влияние их на душевно-духовное содержание жизни преувеличивалось воображеньем современников. Влюбленные во дни моей молодости пришли бы в священный ужас, если б им сказали, что через каких-нибудь полвека по Луне будут ходить американцы. А сейчас и целуются и на Луну глядят, как тысячу лет назад. Технические революции очень, очень многое меняют в жизни, но «звезды в небе и нравственный закон в человеке» меняются куда медленней машины. Я уверена, что люди кибернетической эпохи, как средневековый оксфордец, с не меньшим наслажденьем прочтут влюбленные строки Катулла:

...da mi basia centa...—

и так же будут любить в Гомере ежедневно восходящую «Эос с перстами златыми»,— а ведь к тысячелетним годам их, Катулла-римлянина и грека Гомера, прибавится еще немало лет. Вообще же, чтоб успокоить ученых-физиков, напомню, что речь у меня идет не о предметах преподаванья, а только о методе их преподаванья, и, например, проблемный метод хотя бы «душки» Слудского не менее, если не более нужен для физики и техники, нежели для литературы и истории.

Еще одно стóит если не позаимствовать у Востока, то хотя бы вспомнить и обдумать,— это глубокое, важнейшее, ведущее значение учителя и отношенье к нему. Именно с Востока пришло к нам, в наши христианские разновидности религий, понятие старчества как синонима мудрости. Но мы исказили в «старцах» наших церквей восточное содержание их мудрости. Именно из Древней Греции пришел к нам образ «ареопагита» — старца годами, чья накопленная жизнью мудрость сделала его высшим правителем государства, членом ареопáга. Что подумали бы древние греки, если б узнали, как мы в шестьдесят лет провожаем человека на пенсию и невольно приводим иных к пустой трате неуемной человеческой энергии и накопленного опыта. Так вот «старец», «старик» — необязательно старый годами (напомним: молодого Ленина звали «Стариком» в революционных кружках Петербурга) — сочетался на Востоке с понятием «учитель». Степень уважения к нему была очень высока. Это был учитель с богатейшим резервом знаний, резервом опыта за плечами. Богáтство разных знаний и личного опыта помогало ему, уча учеников, проводить аналогии между разными областями науки, между разными свойствами и действиями природы. Аналогии обогащали и раздвигали духовный мир ученика, а в то же время, строя мосты между вещами и науками, давали ему целостное, единое, слитное представленье о мироздании. Но за какими сравнениями, за какими аналогиями полезет современный учитель в карман, если даже его собственные учебники, по которым он учился учить, держат его в четырех стенах узко понимаемого «специального предмета»?

Около восьмисот лет назад поэт Низами Гянджеви в одной из своих басен, иллюстрирующих поэму «Сокровищница Тайн», поведал нам об этом уважении настоящего ученика к учителю, поведал, правда, с не совсем благопристойной откровенностью, но — тем более оттенившей смысл его рассказа:

О ПИРЕ И МЮРИДЕ [10]

Учитель, из дельных в стране стариков,
Вел как-то, беседуя, учеников.
И вдруг,— хоть его караван провожал,—
Нечаянно ветра в себе не сдержал.

[10] Пир — учитель, наставник; мюрид — ученик, последователь (*фарси*). Перевод басни, как и всей поэмы, мой.

И все, кто с ним были,— рассеялись вмиг.
Остался со старцем один ученик.
Старик говорит: «Все ушли, почему
Лишь ты один верен пути моему?»
Ответил: «Да буду я кровом твоим,
Венец мой — лишь прах перед словом твоим,—
Ведь я не за ветром решился пойти,
Чтоб следом за ветром убраться с пути!»

*

Лишь ждущий получки — уйдет, получа.
И с ветром примчавшихся — ветер умчал.
Пыль быстро взлетит и быстрее падет,
А прочного дома нигде не найдет.
Но медленно встала на место гора —
Зато и у гор долговечна пора!

Медленно встает на место «гора» классической педагогики прошлого, где бы и в чем бы она ни проявлялась. Ее нужно изучать, ее нужно показывать новым учителям, чтобы они загорались достигнутыми ею удачными приемами, влюблялись в познавательный процесс и вытекающую из него страсть — отдачи, дележа, совместного переживания фактов и мыслей. В некоторых старых школах, у некоторых старых учителей, как в описанной мною гимназии Ржевской, это было. Когда хочешь похвалить свое старое, пережитое в жизни, хочешь указать на древнее, в котором теплится крупица золота,— не надо отмахиваться от опыта жизни как от старья. Надо только уметь отбирать его и делать его полезным сегодняшнему дню в трезвом свете современных задач.

Кстати сказать, в нашей русской старой педагогике (да и не такой уж старой!) черным по белому указаны некоторые важные основы, которые у нас вдруг спустя столетие вспыхивают как новинки; их начинают неумело, как всегда вначале, и неопытно проводить в жизнь. Например, вопрос о единстве образования и воспитания в школе — о том, чтоб учитель не только обучал учеников своим предметам, а и воспитывал их, прививал положительные навыки, отучал от отрицательных. Совсем недавно вспыхнула у нас дискуссия по этому поводу. А свыше ста лет назад классик русской педагогики К. Д. Ушинский резко восстал против принятой тогда разделительной системы в школе, по которой «классные дамы» и «классные наставники» должны были воспитывать, а учителя — учить своим предметам, не касаясь воспитательных целей. Ушинский прямо и резко провел правила, по которым учитель должен взять на себя воспитательные функции и больше того — должен находить и пускать в ход моменты в самой науке, то есть в своем учебном предмете, которые влияли бы на учеников воспитывающе. Еще пример: мы додумались сейчас (и одновременно с нами начали думать об этом зарубежные педагоги), что школа должна развивать у ребенка способность самостоятельного мышления. Новинка! Модная в наши дни и на Западе и у нас! А свыше ста лет назад Ушинский писал:

«Предметы естественных наук уже наполовину знакомы ребенку, если он на них посмотрел; заставьте его смотреть внимательнее, вводите его вопросами в существенные подробности предмета, и вам остается только сказать несколько слов, выразить одну мысль, уже шевелящуюся в голове ученика, и вы дадите прочное основание его знаниям о предмете, и подымете мышление воспитанника на одну ступень выше. При такой методе учения возбуждается та самостоятельная работа головы учащегося, которая составляет единственно прочное основание всякого плодовитого учения...

Нам кажется, что трудно найти какой-нибудь другой предмет преподавания, более естественных наук способный развить умственные способности и укреплять их силу в ребенке. Логика природы проще, очевиднее и сильнее логики классических языков, употребляемых до сих пор для цели развития»[11].

Спасибо Академии педагогических наук, что издала Ушинского. Но «Собрание», где собрано все, что писалось, и неизбежно имеются устарелые, неверные места, обычно лежит на полках для исследователей, а ведь собрать и выделить наиболее нужные мысли отца русской педагогики, сделать такие «буклеты», чтоб они могли быть изданы в миллионных тиражах и попали в руки каждого учителя,— это сделало бы эти мысли направляющими, оперативными, нужными советской школе. В приведенном мною отрывке все есть; и комментарии могли бы извлечь оттуда и «политехнизацию», и «наглядность обученья», и метод преподаванья, и важность развить в ученике самостоятельность мышления и, наконец, попутно показать передовую позицию, занятую Ушинским — правительственным чиновником, редактором официального журнала министерства просвещения — в самый разгар борьбы революционной русской интеллигенции за реальное образование, против насаждения классицизма.

Наша советская школа — за короткое время жизни и при всех ее видимых и невидимых недостатках — тоже создала очень ценные новые педагогические устои... Они связаны с именем Макаренко. Их новизна и безусловная эффективность захватили многих педагогов и за рубежом. Метод Макаренко, выросший из практики, основан на социалистическом строе, он учит значению и роли коллектива в выработке характера советского человека, гражданина нового общества на земле. Казалось бы, тысячи перьев должны были заскрипеть, чтоб облегчить проведение методов Макаренко в жизнь, разработать, упростить и систематизировать их, чтоб каждый преподаватель освоил, и полюбил их, и ввел в свою практику с той быстротой, с какой осваивают и пускают в ход в фармацевтике новое лекарство, излечивающее болезнь. А между тем со всех сторон получаешь письма с жалобами,— жалуются педагоги, роди-

[11] К. Д. Ушинский. Собр. соч., т. 2. М., Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1948, с. 225—226. Разрядка моя.

тели, просто читатели, что нет на прилавке Макаренко, не дают ему ходу в школе, не знают его, не поставлено систематическое изучение его... И еще хочется напомнить об одном опыте прошлого, идущем мимо нашего настоящего, хотя это очень ценный опыт, озаренный вдобавок именем отца Ленина, Ильи Николаевича Ульянова. Я имею в виду так называемые «учительские съезды».

6

Сейчас, когда я пишу эти строки (сентябрь, 1971), установился в нашей педагогической практике очень хороший обычай: мартовские и августовские конференции педагогов. Они приурочены к инструктажу в августе, перед началом занятий в школе,— с докладчиком из гороно; и к отчету самих учителей в марте, к весеннему концу занятий,— о том, как у каждого из них прошла зима и что было интересного в их практике.

Мне пришлось познакомиться с одной августовской конференцией в Риге — инструктировались преподаватели русской литературы и языка в латышских школах. Насколько я понимаю, эти конференции носят раздробленный характер, разбиваясь по школам, по предметам, не говоря уж о том, что тут речь идет всего лишь об одной столице одной советской республики. А если представить себе необъятную сеть школ по всем городам нашего необъятного Союза, то в воображении встает целый муравейник конференций с огромным достижением упорядоченности, централизма, систематизированья общего среднего образования для миллионов детей нашей страны. Это, если сравнить с хаосом, разбросанностью, бессистемностью, беспорядочностью среднего образованья во многих европейских странах, особенно в Англии, огромный плюс.

Но плюс только августовских конференций, где педагоги получают общий инструктаж и сами почти не участвуют, а только слушают, так что, в сущности, название «конференция» к августу не совсем и подходит. А как в марте, к весне, когда отчет дают педагоги в своей зимней работе? Тут ведь должно быть как раз не единообразие инструктажа, а многообразие сообщений, рассказы о личном опыте, о находках, о провалах, о пришедших на работе мыслях, о проверке методов — словом, дележ от учителя к учителю, самое интересное в жизни и самое плодотворное в истории любой деятельности, а педагогической особенно. Как было бы хорошо, если б эти конференции осуществлялись по Ленину, по его постоянному, настойчивому требованью за короткий период его советской жизни: *изучать нашу практику*, пристально изучать все, что делается нами на практике! Тщательное собирание протоколов с мартовских школьных конференций, тщательное ознакомленье с высказываньями учителей, отбор наиболее интересного, изученье его, печатанье *конкретных* сводок с примерами, рассылка их по всем школам и — вынос наиболее интересного на съезды... Но, к огорченью моему, я узнала в рижском гороно, что протоколы на конференциях не ведутся и весь богатый материал живой жизни,

практика, то, о чем так страстно писал Ильич,— исчезает незафиксированным.

А насчет учительских съездов — на одном из них много лет назад мне пришлось быть. Тогда, если старая память не сшибает меня с истины, выходили учителя и читали по бумажкам (а ведь в школе они преподают живым человеческим голосом!) очень общие выводы, общие пожелания, изредка — жалобу на недостаток чего-то, изредка — предложения отдельных улучшений, но все это можно было заранее прочесть и в проспектах. И все время думалось: вот прорвется кто-нибудь, расскажет о живом случае в школе, о каком-нибудь особенном или просто забавном из своих ребят, об их вопросах, о своей неожиданной инициативе в приеме, в методике, в отчете: «А вот у меня так, а вот в нашей школе, а вот мой ученик...» Но вот этого «а вот», сколько помню, ни разу не послышалось мне. А до чего же это было бы интересно всем, кто сидел и слушал!

Не так давно прошел у нас еще один съезд учителей. Вопросы, стоявшие на повестке дня этого очень важного съезда для всей нашей страны, для воспитания новой смены, были огромны и так всеохватны, что, казалось бы, месяца мало наговориться обо всех них, а не то что прийти к их решению в отпущенные для съезда четыре-пять дней. Как объемно, как невероятно трудоемко, например, было хотя бы то, что следовало обсудить содержание новых программ средних школ! И какое количество учителей — 4000 человек, приехавших со всех концов Союза,— должно было охватить, обдумать, откликнуться на это! Между тем самыми конкретными для меня на этом последнем съезде были цифры. Ну а цифры, право же, лучше прочесть глазами, чем уловить ухом, да и в устном изложении они обычно пропускаются мимо ушей. Кроме того, цифры всегда можно получить без всякого съезда.

Мы постоянно думаем и говорим о том, что труд должен быть творческим. В новом обществе труд обязан быть творческим, чтоб стать отрадным, любимым, нужным, потребным, как хлеб. Но творческим он становится, когда человек привносит в него свою *инициативу*, то есть нечто новое, индивидуальное, не такое, как у соседа. Ведь только так, только шагом вперед, можно продвинуться от сегодняшнего к завтрашнему. И притом личная инициатива — всегда конкретна, нельзя «общую фразу» превратить в нечто инициативное, общая фраза всегда стоит себе на месте. Много, много раз в жизни мне рассказывали разные люди свою биографию — и всякий раз они останавливались особо любовно, подолгу на образах учителей той школы, где когда-то учились. Вспоминали они не содержание урока, не стандарт, общий для всех школ, а нечто характерное, индивидуальное, присущее своим учителям: их особенности, жесты, походку, манеру вести урок,— и вместе с этим неповторимым, личным, запомнившимся в учителе,— то ценное, что было от него получено, может быть — в одной фразе, в одном наказанье, в одной похвале. Учитель на всю жизнь запоминается людям как личность, как характер, как индивидуальность, как те «Иван Кази-

мирович» или «Нина Викторовна», которые неповторимы, единственны в судьбе данного человека. Мне кажется, сила действия урока, его запоминаемость, а главное — органическая сплетаемость чего-то узнанного умом с чем-то вошедшим в волю и совесть, то есть идеал сцепки обучения с воспитанием, целиком зависит не от каких-нибудь теоретических ухищрений ученых — идеологов и методистов, а именно от личности самого учителя, от его персонального обаяния, от оригинальности его характера, от выразительности и интересности его поведения в классе.

Человек — в данном случае педагог,— только человек несет в самом себе связь мышления с деланием, сознания с нравственностью, разума с поведением,— и только сам человек, если он не формалист, не сухарь, не превращается в «от — до», может в школе «образовывать», то есть давать цельный образ ребенку, ученику, одновременно снабдив его знанием и нравственными устоями, одновременно научив и воспитав. Надо это крепко помнить, когда мы ставим проблему усовершенствования учителей: без свободного развязывания творческой инициативы педагога, без свободного проявления его творческой личности, без внимания к его индивидуальности, характеру, склонностям, одним напихиванием новых и новых «предметов» на курсах усовершенствования, мне кажется, мы не сможем создать нужный нам тип социалистического педагога.

Замечательный пример для воспитания именно таких учителей имеем мы в нашем прошлом: в деятельности крупнейшего русского педагога, современника Ушинского — Корфа, молодого «яснополянского» Толстого, Ильи Николаевича Ульянова. Каждый раз, думая о будущем советской школы, я ухожу мыслями в далекое прошлое, открывшееся мне в небольших тетрадках с короткими, в форме диалогов, записями. Не было тогда ни стенографисток, ни машинок, ни щедрой графы в бюджете у директора начальных школ Симбирской губернии. Гроши отпускались на просвещенье народа. Но отец Ленина, Илья Николаевич, создатель целой серии учительских съездов по своей губернии, зафиксировал их в протоколах, а протоколы найдены — они хранятся в архивах города Горького, бывшего Нижнего Новгорода, и любовно изучаются в Горьковском педагогическом институте.

У этих многочисленных съездов, уездных и губернских, длившихся каждый по месяцу, никаких проспектов с изложением содержания не было. И что совсем по нынешнему времени удивительно: в предварении их абсолютно не было никаких общих пожеланий, вообще никаких общих фраз. А было в них вот что: по два показательных школьно-учебных «дня» в один реальный день с перерывом на обед — и вечером обсуждение всеми делегатами услышанного и увиденного за день. Таким образом в течение месячного съезда можно было познакомиться практически с деятельностью почти шестидесяти учителей шестидесяти школ, узнать, как они обучают детей и каких успехов при этом достигают; а в то же время детвора — той одной деревни или одного города, где съезд происхо-

дил,— получая на съездах эти показательные уроки, тоже не оставалась внакладе — для нее это было нечто вроде широкого, интересного экзамена без нервного напряжения настоящих экзаменов.

Когда читаешь протоколы вот этих съездов, все время находишься в конкретном мире живого человеческого делания. Каждый учитель проявляет свою инициативу, каждый урок по-своему оригинален; и на каждом его обсуждении чувствуешь, как духовно растет и обогащается его участник, делегат съезда. Утром он или его товарищ по профессии проводит настоящий урок в стенах настоящей школы, где происходит съезд,— в присутствии всех других делегатов; а вечером он превращается или в критикуемое и обсуждаемое лицо, или в критика и обсуждающего. Происходит накопление профессионального опыта, выделяются интересные приемы, дающие лучший результат, подхватывается индивидуальная инициатива, осуждаются и отвергаются приемы неудачные, уроки холодные, подходы неумелые. Изучение психологии детского возраста — вещь, разумеется, очень полезная. Но вряд ли тот, кто проштудировал все азы этой науки до последних ее иксов и игреков, понимает душу ребенка и все, что происходит в ней в школьном возрасте, лучше, чем его мать или педагог-практик, ежедневно наблюдающий эту душу в ее реальных проявлениях.

Чтение протоколов вот таких съездов, на которых развернулся огромный организаторский талант Ильи Николаевича Ульянова и рассказы о которых безусловно залегли в памяти его сына, Владимира Ильича,— чтение их было для меня просто открытием. Как ясно, как просто, как необходимо становился учительский съезд могучим фактором роста и совершенствования учителей! Но, понятно, такие съезды происходили с учителями начальных школ; они осуществлялись на небольших объектах района, районного центра, области. А съезд учителей средних школ, охватывающий все края нашей огромной страны, имеющий место в ее столице, а время — четыре-пять дней, претендовать на такой зримый, слышимый, конкретный показ никак не может. Хотя — опять скажу лирически — как интересно было бы нам, например, людям самого старшего поколения в стране, посидеть и послушать, как преподает какой-нибудь прославленный учитель в настоящем классе настоящим ребятам — ну, скажем, литературу или математику... Один, другой, третий — из Орска, из Костромы, из Рязани... И чем, какой личной инициативой, каким личным обаянием один урок отличается от другого. Нельзя хотеть невозможного, поэтому оставим мечты.

Может быть, самое трудное, что предстоит нашей школе в ближайшее десятилетие, это решить два главных вопроса. Как увязать с программой все то новое, что прибавляется к ней развитием науки,— школьникам предположено дать еще на школьной скамье представление об элементах высшей математики, о дифференциальном исчислении, об электронно-вычислительных машинах, о кибернетике, о химических связях и превращениях, об открытиях в биологии и так далее,— как увязать все это со школьным временем, с устарелыми учебниками, с подготовкой самих учителей? И второй

вытекающий отсюда вопрос — как строить курсы по усовершенствованию самих учителей, чтоб поднять их общий уровень до широкой возможности дать детям новые, необходимые для современного школьника знания? Высказаться по решению этих вопросов, сказать, что думаешь об этом, внести свои мнения и предложения необходимо, мне кажется, не одним делегатам съезда, но и тем, кто кровно заинтересован в будущем нашей советской школы.

Ставлю себя на место будущих школьников и думаю очень серьезно: с чего бы мне хотелось начать свое ученье, если б пришлось *понять* весь чуждый мне сейчас мир физико-математики, все новое, что выражается абстрактным языком недоступных моему мозгу формул? Я попросила бы учителя прежде всего — объяснить мне, *что такое формула*, как она возникает, из чего она состоит и для чего она нужна. Когда я пойму кристально ясно, что́ именно представляет собой этот «инструмент науки» или ее собранный в один мешок язык, для меня сейчас косноязычный,— я легче смогу пойти дальше.

Когда дети моего поколения лет семьдесят назад учили физику и математику, эти науки представлялись им серией задач и опытов с единственным конкретным признаком: возрастанием трудности. От этих задач и опытов не тянулись нити к окружающей реальной жизни. Они плыли где-то над нашим бытием в заоблачной выси. Мы их усваивали, зубрили, забывали. Но вот уже старухой я как-то взяла книжку Лурье (на мой взгляд, гениального педагога, хотя он и не был учителем!) — о бесконечно малых величинах у древних математиков, то есть о рождении дифференциального исчисления в античном мире. И впервые в жизни своим нематематическим мозгом я *поняла*, что такое дифференциальное исчисление, которое когда-то «осваивала, зубрила, забывала». Поняла потому, что Лурье рассказал, как люди почувствовали *необходимость* в нем для своей практической жизни, как они сперва овладели первыми его звеньями, каждым в отдельности, потом сковали их в формулу для легкости запоминания, потом стали ее применять и использовать... Иначе говоря, я увидела огромнейшую пользу того, что можно назвать *историческим методом* изложения любой науки. Ни одно знание не родилось абстрактно, само по себе. Оно родилось в силу необходимости, потому что человеку, чтоб жить и развиваться во времени, нужно было считать, мерить, делить, строить, определять, находить, готовить,— и он шаг за шагом учился это делать сперва по буквам, потом по словам, потом по фразам,— и «правило» и «формула», такие абстрактные вещи на вид, заключенные в значки и цифры, родились у человечества как *сгустки величайших конкретностей*. Тут я впервые почувствовала (как будущую бабочку при виде кокона) конкретное, живое лицо того, что раньше представлялось мне сухой, безжизненной формулой.

История — последовательный ход развития человеческой мысли вместе с развитием человеческого общества — вот тот бессмертный, единственный фон для изложения любой науки понятным для уче-

ника (и взрослого) образом,— недаром все большие ученые, все крупные мыслители, как Тимирязев, Дарвин, Спенсер, Андро, Вернадский (я пишу первые пришедшие в голову имена), так ценили исторический метод изложения любой научной дисциплины. Кстати, именно этим методом легче продолжать изложение новых открытий науки. Если б учебники наши всегда создавались воистину талантливыми людьми![12] Если б не гнушались наши лучшие ученые говорить с детьми как поэты, как Фарадей о свечке, как Фламмарион о звездах! Если б...

Но и для подлинного учебника новой эры, и для усовершенствования подлинного учителя новой, социалистической эпохи одного исторического метода изложения науки еще мало. Чтоб наш учитель в любом классе школы мог приходить в класс, зная свой предмет гораздо больше программы, и потому мог бы ответить на любой вопрос любого ученика, уча и научая своих ребят мыслить самостоятельно (Ленин не раз подчеркивал в своих последних выступлениях, что учитель должен будить мысль учеников, школа должна молодежи давать уменье вырабатывать самим коммунистические взгляды),— для всего этого нужна еще и прививка диалектики. Учитель должен научиться видеть явление во всех его опосредствованиях, во всех связях с окружающим миром, а не односторонне. Чтоб лучше объяснить, как это наглядно представить себе, я опять обращусь к Ленину и выну из сокровищницы его мудрости один пример, к сожалению, не так часто у нас вспоминаемый.

Несколько десятков лет назад — в конце 1920 года и начале 1921-го — происходила острейшая дискуссия о профсоюзах. В ходе этой дискуссии Ленин написал в Горках брошюру и в ней приводит слова Бухарина, вздумавшего, как пишет Ленин, «популярно объяснить мне вред односторонности». Бухарин привел для этого нечто вроде притчи о стакане: «...приходят два человека и спрашивают друг у друга, что такое стакан, который стоит на кафедре. Один говорит: «это стеклянный цилиндр, и да будет предан анафеме всякий, кто говорит, что это не так». Второй говорит: «стакан, это — инструмент для питья, и да будет предан анафеме тот, кто говорит, что это не так».

Ленин убийственно парирует обвинение Бухарина в односторонности: «И то, и другое», «с одной стороны, с другой стороны» — вот теоретическая позиция Бухарина... Диалектика требует всестороннего учета соотношений в их конкретном развитии, а не выдергивания кусочка одного, кусочка другого»[13]. На притчу Бухарина о стакане он отвечает, что стакан, конечно, и то и другое. Но и

---

[12] Ленин хотел, чтоб замечательная книга И. И. Скворцова-Степанова об электрификации РСФСР вошла как учебник в школу. Маленькая книжка М. Ильина о плане, образно вводящая детей в существо социалистической экономики и разницу между ней и капитализмом, тоже могла бы стать учебником или пособием к учебнику...

[13] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, с. 289 и 286 («Еще раз о профсоюзах»).

третье — тяжелый предмет, годный для бросания; и четвертое — может служить как пресс-папье; и пятое — может накрыть бабочку для коллекции; и шестое — представить собой художественную ценность, если на нем резьба; и седьмое — не быть из стекла; и восьмое — не иметь цилиндрической формы; и если он нужен для питья, то не важно, вполне ли он цилиндричен, а важно, чтоб в нем не было трещины на дне и не утекала бы вода, а если он нужен не для питья, то не важно, есть ли у него на дне трещина, и т. д., и т. д., и т. д. Говоря все это, Ленин как бы безмерно расширяет для нас понятие «стакан», увязывая его с внешним миром. Называя логику Бухарина формальной и эклектической, он дальше дает гениальное определение того, чем должна и какой должна быть логика диалектическая. Это — одно из важнейших мест Ленина-мыслителя, Ленина-философа, и все работники гуманитарного цеха должны были бы знать его наизусть:

«Логика формальная, которой ограничиваются в школах (и должны ограничиваться — с поправками — для низших классов школы), берет формальные определения, руководясь тем, что наиболее обычно или что чаще всего бросается в глаза, и ограничивается этим. Если при этом берутся два или более различных определения и соединяются вместе совершенно случайно (и стеклянный цилиндр и инструмент для питья), то мы получаем эклектическое определение, указывающее на разные стороны предмета и только.

Логика диалектическая требует того, чтобы мы шли дальше. Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвения... диалектическая логика требует, чтобы брать предмет в его развитии, «самодвижении» (как говорит иногда Гегель), изменении. По отношению к стакану это не сразу ясно, но и стакан не остается неизменным, а в особенности меняется назначение стакана, употребление его, связь его с окружающим миром... вся человеческая практика должна войти в полное «определение» предмета и как критерий истины и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку... диалектическая логика учит, что «абстрактной истины нет, истина всегда конкретна», как любил говорить, вслед за Гегелем, покойный Плеханов»[14].

Целых четыре условия логики диалектической — для определенья предмета — да и то лишь с приближением, только с приближением к полному его охвату.

Если в низших классах школы — да еще с поправками — формальная логика допустима, то дальше для учащихся и для самих педагогов нужна диалектика, нужно стремленье к всестороннему охвату предмета. Только так может уберечься учитель от ошибок и омертвения... Всю нашу жизнь — жизнь строителей социализма, воспитателей своей смены — должны мы припадать вот

[14] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, с. 289—290.

к этому животворящему источнику ленинской мудрости, руководиться им, зажигаться им, утолять им свою познавательную жажду — *чтоб уберечь себя от ошибок и омертвения*. И только по Ленину следует проектировать и проводить обучение и усовершенствование советского педагога.

7

Оглядываясь назад, на свое школьное прошлое, я не могу не видеть в нем еще кое-какие преимущества, полезные для нас и сейчас. Об учителе, о *резерве образованности* у старых учителей я уже сказала выше. Свободные, индивидуальные методы их, вытекавшие из увлеченья своим предметом, а главное — из этого общего резерва знаний, накопленного в университетах, подкреплялись еще и тем, что само университетское образование было шире, нежели в пединститутах, не только по объему и числу учебных предметов, а по самому характеру учебного быта, учебных кулуаров. Ничто мировое не проходило мимо университетских стен, мимо студенческих ушей,— именно жизнь студентов, их общенье между собой вырабатывало тот широкий тип русского интеллигента, какой отличает его от узкого типа западного специалиста. Самый воздух в университете был пропитан каким-то мировым началом, имевшим целью нечто очень широкое, как бы духовное участие во всем, что происходит на белом свете. И будущий учитель приносил с собой в среднюю школу частичку этого мирового начала, хотя и угасавшего в нем с годами. Оно действовало заразительно, могло захватить учеников, как музыкальный напев, оно придавало учителю обаяние, без которого нельзя полюбить того, кто учит нас, а ведь Гёте как-то в разговоре с Эккерманом обмолвился мудрым словом: «Повсюду научаешься лишь у того, кого любишь» [15].

Не все педагоги прошлого были, разумеется, такими,— ведь именно в прошлом родился страшный образ учителя-мракобеса («мелкого беса» — по Федору Сологубу). Но у лучших, у тех, «кого любили», резерв образованности был пронизан прогрессивным духом эпохи, против которого стеной вставало догматическое окаменение мысли у царского чиновничества. Но это лишь оттеняло то главное свойство мышления, без которого нет развития ни культуры, ни науки, ни нравственной сущности человечества,— *бесстрашие*. Хотя бы в самой отвлеченной области, хотя бы в предметах, далеких от политики и от обвиненья учителя в «политической неблагонадежности», где учитель *мог* проявить это бесстрашие мысли или свое восхищенье бесстрашием мысли,— он его проявлял перед нами, и ученики заражались восторгом бесстрашия.

Помню, был у нас армянин, учитель истории. Он преподавал не в моем классе, а в младших. Он был очень некрасив с виду, косматый, обросший, сутулый. Но с таким упорством проводил

---

[15] Johann Peter Eckermann. Gespräche mit Goethe. Fünfte Auflege. Erster Theil. Leipzig, Brockhaus, 1883, S. 152 от 12 мая 1825 года.

этот историк новую «пробу», не входившую в учебный быт, что начальница, Любовь Федоровна, поддалась ему. Проба состояла в устраиваемых «собеседованиях» учащихся совместно с учителями, для того чтобы выработать у них умение говорить в обществе, обсуждать прочитанное, мыслить в открытую и мыслями обмениваться.

Первое собеседованье прошло удачно. Темой его было: любимый исторический персонаж и за что его можно любить. Ученики подготовились, причем «косматый историк» заранее сказал, чтоб дети поступили честно, выбрали действительно своего любимца, а не фигуру, одобряемую учебником. Я на этом первом собеседованье не была и знаю только по рассказам сестры, что ученицы (от младших до старших классов, потому что новинка была создана «для желающих») приводили самые разные, самые неожиданные примеры. Одна выбрала своим «идеалом» какого-то кардинала, жуткую фигуру из прочитанного ею романа Дюма (если память меня не подводит), выбрала за то, что он до получения власти в полный свой размах, будучи пока в полной неизвестности и ничтожестве, питался только *одной редькой*, как бы готовя себя к будущей славе и роскоши. Девочка так объяснила свое пристрастие: «У него была сила воли, он сам учился владеть собою, чтоб владеть другими». А в ответ ей неслись крики: «Но ведь он был злодей, деспот!» — но она упрямо отвечала: «Мне нравится его сила воли!» Косматый историк поддержал ее за откровенную передачу своего мнения.

Он это выразил так: «Истина никогда не рождается сразу, к истине подходят постепенно, шаг за шагом. Но к истине никогда не может подойти тот, кто ищет ее со страхом, запрещая себе думать откровенно, кто, иначе говоря, сам себе лжет и сам себя обманывает. Такой человек, чем больше он живет, тем дальше он будет отходить от истины». Я не знаю, точно ли, этими ли словами, переданными мне Линой, говорил историк Иван Григорьевич Тер-Григорьян,— Лина всегда вкладывала в передачи чужих слов что-то от своего собственного разуменья. Но в целом — живое, открытое, оригинальное собеседованье понравилось учителям и ученикам настолько, что это дошло до начальницы. Она одобрила «новинку». Была через месяц назначена вторая встреча, на которую она пришла самолично, вместе с цветом наших классных дам и преподавателей. И это второе собеседованье провалилось — по милости моей особы.

В моем классе приходящей была дочь нашего учителя методики, Валя Морозкина (жива ли еще ты, Валя, с которой мы наперегонки писали в классе сентиментальные романы о любви для обоюдного чтения — ты «Диану», а я «Клэр»?). Темой для нового собеседованья был назначен «Евгений Онегин», но опять с предупреждением, чтоб не излагали содержанье и не делали выводов по учебнику. «Понимаешь,— зашептала мне Валя, с которой мы одно время сидели на одной парте,— есть такое истолкованье Онегина, от которого можно с ума сойти! Иван Григорьевич подпрыгнет до по-

толка! Хочешь — принесу? Только никому ни слова! Страшная тайна!» И она мне принесла Писарева.

Боже мой, что со мной только было! Я читала при свечке в дортуаре, захлебываясь от небывалых чувств. Это были странные, непонятные чувства. Пушкин с раннего детства был божеством моим. И это божество — Пушкин — линяло передо мной со страницы на страницу, сдиралось с моего благоговенья, моего почитанья, моей любви, как сдираешь старые, задеревеневшие клочья обоев со стены. Онегин, байронический красавец Онегин, он, кто... кому в ночной рубашке, или, верней, в ночной кофточке на рубашке, как тогда носили, при ночнике, в глухую деревенскую ночь черноволосая Татьяна, замирая от волненья, писала: «Я к вам пишу...» Он, кто... Но сама Татьяна! Боже, боже! Выхолощенная светская мадам в малиновом берете, фу, какая гадость,— кукла, говорящая: «Но я другому отдана; я буду век ему верна». Вот тебе и раз, как заведенная (ныне сказали бы «запрограммированная», но ведь это одно и то же, по-старому — завести, а по-новому — «запрограммировать»),— словом, я была в величайшем, в стихийном смятении, я испытывала то «расширение сосудов», какое бывает физически от приема сердечного лекарства, а психически оно выражается в наслаждении от сверженья авторитетов.

Когда мы говорим «от любви до ненависти один шаг», мы вряд ли понимаем, в чем тут, собственно, дело. А я поняла, что происходит: полярные чувства разбегаются друг от друга на все растущую и растущую дистанцию, но, обежав по кругу, они начинают приближаться, приближаться друг к другу всей силой своего отбеганья и — рано или поздно — сталкиваются, а в столкновенье, смешиваясь — любовь и ненависть,— производят взрыв. Так, в ниспровержении кумира испытываешь в последней силе отчаянья — последнюю силу утверждения своего кумира...

На следующий день я пришла на собеседованье. Любовь Федоровна Ржевская, начальница, была не совсем обыкновенная женщина. Очень крупная и очень высокого роста, она шелестела шелками или дорогой шерстяной материей — юбки носились тогда до пола,— с золотой брошью-часиками на груди, в строгой прическе. Лицом она была некрасива, постоянно красновата, и в нервные минуты оно подергивалось небольшим тиком. В то время ей было лет сорок. Мы знали, что она замужем за своим двоюродным братом, членом Государственной думы от партии «прогрессистов» Владимиром Алексеевичем Ржевским, таким же дворянином-помещиком старинного рода, как и она, и на этот брак испрашивалось разрешение церкви. Детей у них не было, но был чудный ньюфаундленд черной масти, названный по кораблю Фритьофа Нансена Фрамом.

Так вот, во всей своей импозантной начальственности Любовь Федоровна восседала за столом возле маленького косматого историка, а с ней был и учитель литературы Мендельсон, лысый и задумчивый, был толстый Арсений Арсеньевич, математик, страдавший астматической задышкой,— словом, «весь синклит», как за-

шептала мне на ухо Валя Морозкина. Когда беседа началась, я бросилась с головой в холодную воду. Я еще с утра кипела своими опроверженьями, и когда, как огненная головешка, полетела в воду, все вокруг меня зашипело зловещим шипом. Я бабахнула писаревскими отрицаньями по всему фронту «Евгения Онегина», не щадя, как он, ничего. Только вместо писаревского блеска первой «классовой» критики, которой я совершенно еще не понимала и не могла исторически обосновать, я сыпала словами по-детски, без разбору, путано и восторженно, совершенно изумив не только аудиторию, но и бедную мою провокаторшу Валю Морозкину, зашипевшую вместе с другими.

Щеки Любови Федоровны начал подергивать зловещий тик. Мендельсон, культурнейший пушкинист, кривил иронически губы. Математик забавлялся возникшими «исключениями из правил». Только один Иван Григорьевич, высидевший из яйца своего «мероприятия» такого неожиданного гусака вместо цыпленка, красный и потный, пытался за меня заступиться. Он что-то говорил о зерне истины, поддержал меня в том, что оброк, которым Онегин заменил барщину (вместо полного освобожденья своих крепостных!), легче тяжелой барщины... но это было соломинкой, брошенной в вертящийся омут бешеного провала как слабая попытка моего спасения. Реакция была уничтожающей. Собеседования на будущее время — запрещены. Не потому, что критику Писарева раскритиковали тоже критически, доказав его неправоту. Не потому, что гений Пушкина не должен подвергаться мальчишескому обстрелу. А потому, что на собеседовании внезапно проявился «вольный дух», запахло «смутьянством», «нигилизмом», ниспроверженьем ради ниспроверженья, а это для существованья гимназии было нежелательно, тем более что Писарев в школьных библиотеках был запрещен.

Историк-армянин, насколько я помню, продержался после этого в нашей гимназии недолго, и как преподавателя я его не знаю, в нашем классе был сдержанный и скучноватый Кизеветтер, эмигрировавший после революции. Но в памяти моей навсегда остались слова: «Истина не рождается сразу, к истине подходят постепенно, шаг за шагом. Но к истине никогда не может подойти тот, кто ищет ее со страхом, запрещая себе думать откровенно, кто сам себе лжет и сам себя обманывает. Такой человек, чем дольше он живет, тем дальше отходит от истины. Мысль должна быть бесстрашна».

Положительным было в прошлом и очень важное, очень нужное — особенно для нас, людей социалистического мира,— преподавание иностранных языков именно учителями той нации, той страны, чей язык они преподают: французский — француженками, немецкий — немками, английский — англичанками (я тут имею в виду женские школы, поскольку до революции обучение было не общим, а раздельным). Положительным фактором было это по многим причинам, и я попытаюсь их объяснить читателю. Дело не только в том, что наши «классные дамы» и преподавательницы ино-

странных языков давали нам язык в его чистом произношении, давали его со всеми особенностями национальной разговорной речи. Этого может достичь и советская преподавательница, несколько лет сидящая «на фонетике». Но чего она не может достичь, не будучи иностранкой, это передачи «самой себя» как иностранки в таком объеме, чтоб вместе с языком мы бессознательно откладывали в памяти национальный образ, национальные черты характера, страну, город, любовь к ним, к своему языку и своей литературе, стремленье рассказать и поделиться этим. Я имею в виду передачу себя иностранными учительницами.

Каждая из них вместе с языком отложила в нашей памяти образ своей страны. В Женеве я чуть ли не на каждом шагу встречала таких, как наша мадемуазель Муше. Парижанки связаны у меня в образе, жесте, разбеге глазок, элегантной манере носить блузку с мадемуазель Салле. Немки были своеобразным вводом в Прибалтику, в Ригу. От каждой, изучая язык, я узнавала попутно массу конкретных признаков, составлявших «атмосферу», музыкальный мотив чужой страны, словно сама побывала в ней. Это неуловимое знание, аромат живой, практической национальной типичности сопровождали меня потом всю жизнь. Настойчиво думалось: а почему у нас, в нашей советской школе, не использовать для преподаванья безработных коммунисток-педагогов капиталистических стран (их много в Лондоне) и кончающих университеты молодых студенток из ГДР, создав этим для них производственную практику? Польза была бы для нас от этого огромная.

В старших классах гимназии к двум языкам присоединился еще английский. Очень высокая, плоская фигурой, говорившая каким-то «хлебиным голосом», как тотчас определили в классе, то есть очень влажно, со слюной, врасхлеб, может быть, потому, что у нее был полон рот великолепных крупных белых зубов, выпиравших из обтянутых губами десен, она вошла в класс особенным образом, выказывая нам, девочкам, уважение и любезность. Может быть, название частная гимназия было для нее синонимом того английского «прайвит» (private), которое в применении к английским школам означает богатство и знатность учащихся в ней детей. Этим она как-то обезоружила класс, зажгла его любопытством,— и почти все мы, особенно пансионерки, с восторгом приняли ее приглашенье на будущее воскресенье «ко второму завтраку». С утра в воскресенье мы очень аккуратно заплели косы, нашили на форму белые воротнички и вместе с нашей классной дамой, чопорной Маргаритой Акимовной, поехали в гости к англичанке.

Жила она за Петровском-Разумовском, в деревянном доме, и ехали мы туда на конке очень долго. В большой столовой был накрыт длинный стол с огромным блюдом холодного ростбифа, а на второе мы ели тоже холодный рисовый пудинг из плохо проваренного риса. Нас, девочек, было человек пятнадцать, и только одна Маргарита Акимовна поднесла англичанке по приезде коробку конфет. Никому из нас не было и вдомек, что трапеза на такую ораву обошлась англичанке недешево и что сама она живет на не-

большое жалованье,— это пришло в голову одной нашей классной даме. Но за «вторым завтраком», как мы узнали тут же — «лёнчем», соблюдаемым по всей Англии между двенадцатью и часом дня, а в воскресенье, поскольку это священный день бездействия, подаваемым в холодном виде, хозяйка сообщила нам, что муж ее, известный «керамист», приехал в Москву открыть заведение. Они поселились за городом, поскольку тут есть сырой материал и помещение дешево...

«Это заведение открыто, оно действует, хотя еще очень незначительно, изготовление керамики в высшей степени интересно». И после лёнча она поведет нас показать нам заведение, хотя по случаю воскресенья работа сегодня не производится. Англичанин, муж ее, сидел за лёнчем не раскрывая рта. Он был прилизан и наутюжен, а губы, в противоположность англичанкиным, оттопыривались наружу, и мы невольно ждали, когда он ими зашлепает,— а он упорно молчал. Кончив пудинг, мы сделали книксены (реверансы) перед хозяйкой — в те годы обязательный прием приседанья для девочек при здорованьях, прощаньях, изъявленьях благодарности — и отправились вслед за ней смотреть заведенье. Оно находилось в деревянном сарае; вдоль стен и посередине тянулись какие-то желобки-корытца, наполненные водой; а на полочках, рядом с желобками, размещалась продукция из глины, квадратики с выемками посередине, треугольнички, кругляшки с лепными цветами — «для карнизов и фасадов», пояснила англичанка. И потом трубы, трубочки всех размеров — «дешевле и экономичней металлических».

— Вот здесь все подробно написано. Прошу вас, прочтите и передайте вашим родителям. Если им не понадобится, хорошо, чтоб они передали своим друзьям. Кто строит коттедж или дом, может заказать нужное количество керамики у нас, в заведении моего мужа. Фэнк'ю, фэнк'ю! Благодарю вас, благодарю вас.

После этого длинного монолога англичанка раздала каждой из нас по печатному листочку, где скверным русским языком рекламировалась керамическая фабрика мистера Бромса (фамилии уж не помню!), специально прибывшего из Англии. Наличники — стоимостью столько-то... дверная лепка... потолочная лепка... фасады... трубы...

Когда мы ехали домой в дребезжащей конке, я заметила выражение успокоенности на лице Маргариты Акимовны. Много позднее я поняла, что деликатность чувств ее была приведена в порядок: вместо сконфуженности от мысли, что дети плохо воспитаны и спокойно «объели» бедную иностранку, даже не привезя какого-нибудь «отблагодарения» за это, весь лёнч оказался обдуманной рекламой мужнинного заведенья, рассчитанной на богатых родителей.

И тут у нее вдруг вырвалось, наверное — не для нас, а как размышленье вслух:

— До чего наивно! Непрактично! Будто станет кто-нибудь в Москве дом украшать глиной. Разорятся они у нас. Ну и англича-

не! Сейчас видно, что он совсем не инженер, а просто какой-нибудь ремесленник или рабочий высшего разряда... Дети, мы приехали, вылезайте по очереди, не толкайте друг друга!

Странным образом эта неожиданная реплика вслух в конце путешествия от чопорной Маргариты Акимовны, никогда при нас не выражавшейся грубо,— должно быть, и услышанная мной случайно, потому что я сидела с ней рядом,— запомнилась мне на всю жизнь, сразу открыв очень многое и в людях и в себе: меня захлестнула волна жалостливой нежности к бедному «ремесленнику или рабочему высшего разряда» именно потому, что он «не инженер». Все вдруг стало трогательно, даже хлебный голос англичанки и эти губы-шлепанцы ее мужа, так и не раскрывшиеся для разговора. И что «разорятся они у нас» — показалось большим несчастьем, бедой, о которой захотелось предупредить их заранее,— гнусной несправедливостью!.. Когда я с трудом разжевывала за лёнчем рисовый пудинг, мне попалось в нем что-то длинное. Тихонько вытащив из зубов это что-то длинное, я увидела белокурый волос — англичанка делала пудинг сама в субботу на воскресенье. Я его незаметно упрятала в салфетку, решив посмеяться над ней с подругами, когда доберемся домой. Но тут, в конке, после реплики Маргариты Акимовны почувствовала, как густо краснею,— никогда ни за что, ни с кем не посмеюсь над ней и никому не расскажу.

Этот короткий эпизод с английским языком (англичане действительно скоро уехали из Москвы), несмотря на всю его короткость, был тоже познавательным в смысле широты введения в нас не только начатков английского языка. Он окунул в «атмосферу». Мы зрительно, душевно, умственно почувствовали Англию, простую Англию сквозь привычки и характер ее пищи, ее режима, ее соблюдения воскресенья; сквозь речь — не то чтобы простонародную, но и не той классовой формы «эдюкейшен» (образованья), которая пахнет Оксфордом; трудность пробиться простому человеку у себя на островной родине, его непрактичные мечты о «варварской Раша», где можно приложить силы и выбраться из бедности... Никакой Антони Троллоп, никакой Теккерей не раскрыли бы этого нам полностью, если бы даже годы и годы читали мы их. Но зато пережитое в ребячьем возрасте, пережитое очень коротко, за какую-нибудь неделю, раскрыло перед нами и Троллопа, и Теккерея, и Диккенса, помогло лучше прочесть их, зримей, глубже, реальней войти в мир этих книг.

И опять вывод: даже в тех случаях, когда, казалось бы, невелик багаж иностранца, прибывающего учить нас своему языку, он учит нас большему, чем язык,— учит своей истории, экономике, быту, психологии, типологии, хотя бы в узкой какой-либо части, но учит прочно, так, как не сможет научить иной профессор иностранного языка из наших международных институтов. Что именно растет в учениках от такой учебы? Растет широта узнавания, интеллигентность ученика. Растет его вдумчивость. А в мир преподаванья входит, подчас совсем неожиданно и неумышленно для педа-

гога, та самая *проблемность*, какую сейчас рекомендует наша и зарубежная педагогика, рекомендует как наиболее эффективный метод развития в ученике самостоятельного мышления.

И вот еще одно замечанье, возникшее, правда, только на моем личном опыте. Я много встречала советских девушек, выучениц наших же советских преподавателей иностранных языков. Может быть, это было случайно, только уж очень часто для случайности: все они напирали в своем знании именно на разговорную освоенность языка, на умение болтать. Но когда я раскрывала перед ними книгу — скажем, французский, немецкий или английский роман, то есть наиболее легкую форму чтения для того, кто усвоил язык прежде всего с разговорной стороны,— я встречала удивительный факт. Девушки, идеально со мной болтавшие — так, как я сама не могу, рассказывавшие анекдоты — так, как я сама не сумею, вдруг начинали мямлить, даже слегка запинаться,— того ясного, пронизывающего весь текст глазами, свободного, как дыханье, чтения у них не получалось. Научить говорить, не научив свободно и легко читать любую книгу от художественной до научной,— этого в нашем дореволюционном обучении, насколько я помню школьные и студенческие годы, никогда не было.

В опыте людей моего поколенья было совсем другое. Бедный студент, не имевший возможности изучить иностранный язык в детстве, одолевал его самоучкой и легко читал нужные научные книги по своей специальности, изредка прибегая к словарю. А старые словари, кстати сказать,— например, немецкий словарь Павловского — были составлены скорей для потребности *читающего*, нежели для потребности *говорящего*. И больше того — мы читали не только легко и свободно, любя читать иностранные книги; мы читали их зрячими глазами. А ведь искусство чтения труднее дается, чем искусство болтать.

Накопление жизненных знаний шло и другими путями. Накапливались даже географические впечатленья. Почти шесть лет мы сидели большую часть года взаперти на Садовой, зная только прогулки по облегающим ее улицам. Но у нас были рождественские и пасхальные каникулы, и в эти каникулы мы ездили под Москву, и я помню не только чужие города, но и «ареал» их распространения — экономический, литературный, этнографический, даже исторический, в слитном и первичном, правда, виде, но более яркий, чем впечатленья позднейшие.

Помню весеннюю Тверь с тронувшимися льдами и лужами на улицах, деревянную, звонящую на пасху церковными колоколами; возы с сеном, еще не сменившие полозьев на колеса, скрипевшие по обнаженным булыжникам; лошадиный теплый навоз над топленым, коричневым снежком, усиженный воробьями, как мухами; «гостиный двор», повторявший в своих сине-белых старинных сводах бесчисленные гостиные дворы русских губернских городов и даже самого Санкт-Петербурга,— и уютный, казавшийся мне помещичьим дом нотариуса Вельяшева, куда моя и моей сестры подруга, Катя Вельяшева, привезла нас на пасхальные каникулы. Катя была

ровесницей Лины, а не моей и училась в одном классе с Линой. Но дружба с ней прошла через всю мою жизнь, как и то особенное, «пушкинское» чувство к ней:

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.

Так писал Пушкин о другой синеглазой тверитянке, прабабушке моей Кати. Все было отрадно душе — от ранних вставаний к заутрене, от тверских ямщицких луж лошадиной мочи возле извозчичьих подворотен до свежего, острого озона провинциального воздуха, потому что в те времена только воздух столицы, Петербурга, был приправлен чем-то сухим и спертым, исчезнувшим из нынешнего, послереволюционного Питера. А в городах и даже в Москве пахло удивительно легко, благодатно, провинциально, и тогдашние художники на своих полотнах в мокрой голубизне небес силились передать этот особый оттенок русского провинциализма, необъятности русских просторов, ленивой изрытости дорог и прогалин, слезной чистоты неба над ними, чистоты воздуха и воды — и мудрой пословицы «тише едешь, дальше будешь». Не знаю, как насчет «дальше», но «тише едешь» — к более прочному знанию, устойчивости впечатлений, укреплению памяти, в которой все удержалось для будущих страниц — и пейзаж, и типы тверитян (с северным оттенком в отличие от Москвы), и нехитрая экономика, и богатое историческое прошлое.

Другая Линина подруга, подобно Кате моложе меня,— Лида Лепинь — тоже сделалась моей подругой на всю долгую жизнь. У нее я гостила на рождество. Лида была русской латышкой; отец ее управлял имениями князя Голицына, и семья Лепинь жила в Голицыне под Москвой, в большой усадьбе рядом с княжеским поместьем. Туда на рождество съезжались все лепинята, учившиеся и служившие в разных местах, родственники-рижане, какая-то поэтесса из Риги, имя которой я не смогла запомнить. И все каникулы носили для нас национально-латышский характер: пелись чудные народные песни с грустно-задумчивой мелодией; готовились латышские блюда к столу; поэтесса читала стихи на незнакомом для уха языке, а старики родители, слушая, вытирали на щеках слезы. Большое поместье, как немногие имения уже уходившего со сцены русского дворянства, где управляли латыши или немцы, имело всякие промышленные придатки в виде заводов и фабричек, водочных, кожевенных, молочных. Но нам оно видно и знакомо было только со стороны совсем другого, искони помещичьего производства: конного и псарного.

Мы ходили смотреть в теплые щенячьи ясли, пахнувшие псиной, на крохотных, прелестных рыжих песиков с шелковистой шерсткой и еще мутными карими глазами — князь разводил длинношерстных охотничьих ирландских сеттеров золотисто-шоколадной масти. Каждый щенок был на счету, как «продукция». Он особо

ценился, если лапы у него были большие, тяжелые; если мать, рожая, не придавила ему глаз или не уколола его соломинка — и глаз не гноился; если видом своим щенок воспроизводил чемпиона знатной охотничьей породы.

Коней тоже разрешалось смотреть, и я на всю жизнь полюбила теплый овсяно-сенный запах лошадиных яслей, куда ссыпался корм; сладкое тление досок под ногами коней. Каждый как на подбор — статями, копытами, гривой; живое их дыханье ноздрями, теплое, громкое,— вдыханьем втягивали они соломинки большими бархатными губами. Лошади были нервные, как строго предупреждал конюх,— нечего подходить и думать не смей погладить. Но словно в ответ лошади вдруг вскидывали головы, и раздавалось высокое, молодое, музыкальное ржанье, исполненное трелей, крупных, но удивительно приятных для человеческих ушей. Из всех звериных и птичьих голосов самый зазывный и приятный голос у лошади. В имении были, должно быть, все остальные крупнопомещичьи производства, в которых сам помещик не участвовал, предоставляя все это хозяйственному разуму управляющего,— молочное, свиное, птичье, зерновое, мукомольное, сенокосное,— но мы их не видели...

Сейчас, когда я пишу эти строки на чудесном Рижском взморье, в Дубултах, Лида Лепинь (Лидия Карловна Лиепинь) тоже, наверное, в двух шагах от меня, на яун-дубултской даче: она почетный житель своей родной республики, большой ученый-химик, действительный член Академии наук и Герой Социалистического Труда.

В те же школьные годы, между седьмым и восьмым классом, я впервые побывала и за границей. Глухота моя стала заметной, я уже начала вытягивать голову в сторону говоривших со мной. Тетки и особенно тетя-крестная, считавшая себя ответственной за судьбу мою и Линину, обратили на это внимание:

— Может помешать замуж выйти — кому приятно жениться на глухой! А не выйдет замуж — как она сможет зарабатывать?

Самой мне, честно говоря, глухота никогда не мешала, она даже утепляла, укутывала меня — и с годами все больше, все удобней. И зарабатывать я начала с четырнадцати лет писанием для кузенов-лицеистов с их товарищами «сочинений» на заданную отметку. За каждое получала по полтиннику.

Один только раз недополучила своего гонорара: какой-то ленивый титулованный троечник просил сделать на тройку, в крайнем случае на тройку с крестом (баллы ставились с минусами и с плюсами). А тема была увлекательная — «О пользе путешествий». Рука моя вдруг не соразмерилась с уровнем заказа, мысли перестали приспособляться к лицеисту, имя которого было что-то вроде Теофилий (кузены звали его Просто Филя),— и уж расписалась я вовсю, а потом, когда опомнилась, менять было уже поздно. В субботу пришел разъяренный заказчик:

— Ты меня подвела! Учитель при всем классе прочел мое сочиненье вслух и сказал, что у меня есть мысли, что я развиваюсь и

так далее и прочее тому подобное... Не дам полтинника! Изволь теперь мысли по твоей милости высказывать, зарезала меня четверка, весь класс потешается!

Ему поставили четверку, да еще с плюсом. Я признала себя виноватой, поступившей не по правилу. И глухота моя была тут ни при чем.

В тот год славился в Лозанне знаменитый ушной врач Мермо. В письмах Ленина есть на него ссылка. К Мермо как к знаменитости возили Марию Ильиничну, чтоб он посмотрел и поставил диагноз. Вот к этому великому Мермо и решили послать меня тетки, и был выработан план поездки: сперва в Вену к доктору Брауну, лечившему глухоту ручным массажем уха, потом в Лозанну к доктору Мермо. Но по русской расхлябанности меня и маму, снабдив деньгами, послали на авось, не списавшись ни с Брауном, ни с Мермо, не зная их адресов и не подозревая о том, что оба они могут оказаться «в отпуску». Принят был в расчет только мой летний отпуск: как только я кончила седьмой класс, благополучно сдав экзамены и получив серебряную медаль, мы с мамой выехали через Эрланген в заветное путешествие.

Лето,— лето в самом его начале, венское лето с большими белокоричневыми сенбернарами, развозившими по улицам тележки с молоком, с кабриолетами, в которые были впряжены пары, а у кóзел стоймя был воткнут острый высокий кнут, похожий на рыцарскую рапиру, а сами извозчики не были извозчиками, а были нарядными молодыми людьми в пиджаках с отворотами. Дешевый пансион Цвиллинга, где мы остановились по рекомендации знакомых. Белокурая дочка хозяев, одних лет со мной. Перебегающие дорогу, не боясь лошадиных копыт, приказчики, нахально берущие вас за щечку или за ухо, если вы попались им навстречу, а в магазине, когда мы ходили туда вместе с белокурой Эллой Цвиллинг (по-немецки «близнец»), громко отвечавшие на просьбу о скидке: «Für die Blonde — ja, für die Schwarze — nein!» (для блондинки — да, для брюнетки — нет!), запах на улицах, не похожий на наш городской — смесь густого табака из трубок и кухонного маргарина,— заграничный венский запах; наконец — суета, движенье, смех, остроты, толпа перед кучей летних открытых сцен, откуда доносятся арии оперетoк, и уличные органы гораздо музыкальней наших шарманок, и готическое кружево собора святого Стефана, и вообще все — новое, незнакомое, интересное, остряцкое, обидное, в ответ на что лезешь тщетно в карман за словом и только молча глотаешь обиду,— все это так на меня подействовало, что я в первое же утро сбежала из дому, пересекла всю Вену, вышла за город, погуляла где-то по форпостам Венского леса и к ночи вернулась домой на извозчике, который нарочно возил меня к Цвиллингу, раза три минован этого Цвиллинга и притворяясь, что ищет его. Мать ахнула, вынув кошелек для расплаты.

Постепенно венская жизнь втянула нас, мы вместе с венцами отвечали на поклоны старенького Габсбурга, императора Франца Иосифа, когда он проезжал по длинной Мариахильферштрассе в

своей открытой коляске и кланялся народу направо и налево, поднимая каску над круглой седой головой. Исправно посещали мы и мошенника Брауна, у которого оказались единственными пациентами. Перед сеансом Браун долго выделывал в воздухе пальцами правой руки какое-то тремоло, уверяя, что набирает в пальцах электрические токи. Потом он левой рукой подпирал мой затылок, а «натертыми» пальцами правой вибрировал у меня минут десять в ушной раковине. Было щекотно, хотелось почесать ухо, но Браун требовал полной неподвижности, чтоб не мешать электричеству. Просадив на его вибрации половину своих денег и не заметив никакого улучшения, мы с мамой выехали из Вены в Лозанну. Но тут обнаружилось, что доктор Мермо отдыхает на итальянских озерах и ждать его приезда нужно около месяца.

Пансион, где мы остановились, был нам рекомендован мадемуазель Муше. Это была тихая, живописная вилла, содержащаяся двумя старыми девицами, специализировавшимися на «русских гостях». Там была, когда мы приехали, худенькая, маленькая мадам Кадэ из Москвы, русская, замужем за французом, перекупившим кондитерскую Трамбле на углу Кузнецкого моста. С нею был сын, смуглый и насупленный, с длинным, опущенным долу носом,— Леон, или Лева, как звала его мать. Поскольку новый московский кондитер Октав Кадэ был французским подданным, сын его должен был отслужить положенное в армии в маленьком городке Монтелимар-Дром. До начала его солдатчины, как и до приезда знаменитого Мермо, оставалось больше трех недель.

Мадам Кадэ перед отсылкой сына во Францию проводила с ним прощальные часы в Швейцарии, а мы с мамой отсиживали это время до приезда Мермо в том же пансионе. Делать было мамаше с сыном и мамаше с дочкой нечего, мамы стали вместе вспоминать Москву, а сын и дочка сперва дичились. Дружба началась с того, что я съела его салат. Лева Кадэ переживал идейную драму и поэтому прочно насупился; драма состояла (как мы позднее узнали) в том, что он был толстовец и вегетарианец и отбывать воинскую повинность, да еще в каком-то грозно звучащем Монтелимар-Дроме, было противно всем его пяти чувствам. И за обедом он напоследок, зная, что в армии с ним не поцеремонятся, с отчаянием поедал зеленые салаты. Эти салаты в больших мисках ставили вблизи его прибора. «Почем же я знала,— как винилась я после маме,— что вкусное дают только ему, а нам мясо да мясо?» Я тоже любила салаты и, чувствуя себя за столом полноправной, поскольку мама купила мне в Вене первый в моей жизни «костюм» — юбку и жакет из настоящего шотландского твида,— я придвинула к себе миску и съела весь Левин салат. Он пытался было сделать какое-то движение рукой в мою сторону, напомнившее мне вибрацию доктора Брауна, но мадам Кадэ остановила его: «Léon!» — и любезно пожелала мне кушать, тоже по-французски. Хозяйка пансиона встала, засуетилась, принесла новую миску.

Первый роман в моей жизни, если это можно назвать романом, принес мне инстинктивное, а потом осмысленное знание одной

важной вещи. Много лет спустя, читая английские проспекты прогулок на океанских пароходах, я там встретила малознакомое, очень частое слово «флиртэйшен» (на русском языке звучащее чуть посерьезней, как и вообще многие английские слова в переводе на русский оказываются тяжеловатей и серьезней английского смысла). Проспекты говорили: чудесная обстановка, шезлонги, вид на синюю безбрежность вокруг, покачивание — все так способствует «флиртэйшен»; уютный ресторан под зонтиками, со столами на двоих и вазами на столах — так приятно для «флиртэйшен»; музыка приглашенных пароходной компанией оркестров баюкает и услаждает ваше «флиртэйшен», и когда вы приедете к месту назначения, так мило будет вспоминать проведенное в поездке время и полузабытые имена тех, кто участвовал с вами во «флиртэйшен»... В этих проспектах неведомо для составителей высказывалась очень мудрая вещь: безответственность, легкость, скоропреходящесть, абсолютная необязательность, никого ничем не обязывающая, в том обычном занятии, которое именуется словом «флирт». Английские романисты, как и составители проспектов, знали разницу между началом флирта и рождением чувства. Как глубоко и тонко проведена эта разница в классическом романе Джордж Элиот «Даниэль Деронда» — флирт героя с Гвендолен и рождение его чувства к Мириам!

Так вот, у меня с Левой Кадэ ничего, в сущности, не произошло, кроме романтического общения, поощренного моим воображением, а у Левы — простым фактом, что он был зрелый юноша и проводил день за днем с девушкой моложе него. Мы странствовали по Лозанне, читали вместе женевские издания Толстого в густом, начинавшем желтеть парке Лозанны, вместе ездили в Вэвэ, в Монтрё — живописные местечки вокруг, — взобрались однажды втроем, с Левой и моей мамой, на вершину Роше де Нэй, куда надо было карабкаться несколько часов, ночевать в отеле на ее верхушке, а рано утром, не выспавшись, встречать восход солнца. Моя красавица мать была тогда хороший ходок, мы с Левой прыгали, как козлята, вернулись на другой день в Лозанну тоже пешком, и добродушная хозяйка ахала и охала, как это могли мы, особенно «мадам ля maman», совершить такое грандиозное восхождение.

И наконец, перед самой разлукой, сказавшись только нашим обеим матерям, мы с Левой съездили в Париж, провели там три дня, остановясь в гостинице Буйон-Дюваль, где вписали нас в книгу приезжих, спросив только фамилию Левы и подмигнув нам дружески: «Мосье и мадам Кадэ». Я ровно ничего не переживала тогда, кроме азарта и восторга самостоятельности. Ни Лева, ни я ни разу не поцеловались. В Лувре, куда мы сразу пошли, мы деликатно опускали глаза в скульптурном зале, стесняясь голых аполлонов и венер. В Булонском лесу смотрели, как ездят верхом. На вершине Эйфелевой башни, повернувшись спиной к панораме Парижа, мы опускали монетки в автомат, отвечавший на вопрос «любит — не любит»,— и было это, в сущности, все в нашем рома-

не, если не считать формального предложения «руки и сердца», сделанного мне Левой перед самым его отъездом в Монтелимар.

Несколько месяцев мы переписывались, Лева посылал мне длиннейшие посланья, написанные не то гекзаметром, не то пятистопным ямбом, без всяких знаков препинанья,— и знаменитую монтелимарскую нугу. Сестра Левы, Оля Кадэ, пришла в пансион знакомиться с невестой брата и понравилась мне больше Левы. Для этой хрупкой, с глазами газели девушки я исписала десятки страниц стихами,— на том, в сущности, и кончился мой первый в жизни «роман с помолвкой». Когда, еще в Лозанне, я поделилась с матерью своей «любовью к Леве», мама сказала мне:

— Это не любовь, а воображенье. Таких любовей у тебя будут десятки,— смотри, не принимай их всерьез, не трать на них время. Это как ветряная оспа — хотя зовется «оспа», но ветряная,— а любовь приходит большею частью только раз в жизни, и от нее ты почувствуешь прежде всего страданье. Потому что любовь — это встреча родного, забвенье себя, боязнь за другого, чтоб не случилось ему плохо, полная правда, никакого кокетства, никакой игры — судьба, одним словом.

Она говорила, а я мерила мысленно: чувствовала я страданье? Ни капли, только приятное ощущенье. Был он родной? — ни на йоту, совершенно посторонний. Забыла себя? Наоборот, все время помнила и нос пудрила. Боялась за него? Ничуть. За Лину, за маму, даже за Катю с Лидой — если б что случилось, но за Леву — абсолютно нет. Говорила ему правду? Привирала, как в игре. Не кокетничала? — нет, кокетничала и даже ломалась. И никакая не судьба. Так отпал Лева, детский роман, который одарил воображенье только приятным ощущеньем флирта. Ощущеньем — не чувством. Вспоминаю я все это не для себя, а скорей для современного читателя, если интересно ему узнать об опыте другого человека в области очень сложной, в области *самой главной* для человеческой жизни. Потому что без любви нет благодатного открытия чуждого «ты», нет того, что делает человека членом человечества, полным и настоящим человеком.

Мне очень страшно бывает сейчас за нашу молодежь, когда я сижу в кино и смотрю современные, привезенные к нам фильмы. Сказано было когда-то: соблазны должны прийти в мир, но жернов на шею тому, кто принесет в мир этот соблазн. Кому надеть жернов на шею, чтоб потопить его,— сценаристу, режиссеру, актерам, когда они чуть ли не в каждом фильме дают поцелуй, имитирующий половой акт? Поцелуй, позорящий публично губы, учащий молодежь, школьников и детей своей страшной технике, так легко, через зримое действие, перенимаемой, где на глазах у сотен зрителей происходит убиение любви, перевод возможного личного чувства в возникающее безличное ощущение, а возможного счастья — в легкодоступное самодовлеющее наслажденье. С полной ответственностью, абсолютно правдиво могу сказать, что мое поколение, все, кого я знала вокруг себя как друзей и современников, не были

знакомы с такой техникой поцелуя. Сужу по себе: я никогда ни разу так не целовалась и надеюсь — в свои восемьдесят три года — уже никогда так не поцелуюсь.

О любви писалось много книг. Я вовсе не ханжа и, например, книгу Лоренса о леди Чаттерлей считаю глубоко чистой, целомудренной, трогательной, потому что написана эта книга о любви-судьбе, о чувстве, зарожденном между двумя, именно этими двумя, «я» и «ты»,— и о его трудном человеческом ступенчатом развитии. Хорошо написал о любви Стендаль. Он сравнил зародившееся чувство и его развитие с процессом кристаллизации. Это сравнение точное, показывающее органичность и неизбежность развития любви, как органичен и неизбежен процесс кристаллизации при соединении именно данного кристаллика с нужной ему питательной средой.

Но если перейти от такого разговора к Лозанне и к заграничным моим впечатленьям в возрасте шестнадцати — семнадцати лет, то поверх всего всплывает в памяти вовсе не личное, не беглый эпизод с Левой, не краткий визит к доктору Мермо, осмотревшему мои уши и сказавшему: «Отосклероз, лечить невозможно, я зря получал бы с вас деньги, если б принялся за пустое леченье», даже не Париж. Всплывает общее понимание культуры, более повсеместной и устоявшейся, чем у нас в тогдашней России.

Вместо влажной, неприбранной красоты земли в лужах и растрепанного голубизной и облаками неба, какие сразу врезались мне в память от городского тверского ландшафта, напомнив картины Саврасова, тут, за чертой перехода в Западную Европу, было заботливое и расчетливое отношенье к земле. Расчищенная, отсушенная, где чересчур мокро, увлажненная, где чересчур сухо, с кучками собранного хвороста в лесу на полянках, чтоб не мусорил землю, изрезанная аккуратными дорожками, а вдоль дорожек там и сям даже обласканная подобием грибов — беседками, подобием сваленного ствола — скамейками,— такой сразу же встретила меня земля Венского леса. А ведь у нас в Пушкине то и дело в болото провалишься или ноги наколешь в хворосте, когда пойдешь по грибы куда подальше,— невольно подумалось тогда.

И очень целесообразно построены были дома-коттеджи, гораздо больший, чем у нас, допуск воздуха в комнаты, не через форточки (еще далеко не всюду имевшиеся в России, особенно в провинции), а через все окно, не знающее зимней замазки. И нет лакейства в «коридорном», чистившем ваши башмаки. И как интеллигентная барышня, как студентка, ведет себя прислуга в швейцарском пансионе. Кончив работу, надевает перчатки, шляпку, снимает и складывает хозяйский фартук,— попробуй останови ее поболтать или дать порученье, когда прошло время службы. Все это мне было ново и все это нравилось. И очень нравилось строгое соблюдение времени завтраков, обедов, ужина. Это уже заложила во мне наша гимназия,— но до́ма! У подруг, у знакомых — какой хаос в распорядке дня, какие исключенья для каждого... Помню, я написала об этом длинное письмо мадемуазель Муше.

Мне было больно, когда в разговоре со швейцарцами я в десятый раз слышала снисходительное определенье России «гигант на глиняных ногах». Больно, когда я впервые натолкнулась на понятие национального богатства. Именно потому, что в России так широко раскинулись леса, где гнило и гибло множество хворосту, стоял сухостой и подрубался под корень свежий ствол; именно потому, что в реках у нас не жалели рыбу, а в садах фрукты, а деньги... деньги транжирились, текли, где они есть, без скупости; именно потому, что у пансионерок, дочерей фабрикантов, выбрасывалась на помойку испорченная провизия, привезенная из дома, а их отцы устраивали в Москве кутежи, когда в нее наезжали,— мне казалось, что Россия очень богата, разрывается от богатства. Именно потому, что хозяйки пансионов, где мы жили в Европе, скалыжничали над каждой копейкой, высчитывали каждый грош при покупках, оберегали чехлы на мебели, посуду в шкафах, словно золото какое-нибудь, и в магазинах нищего гнали с порога,— мне казалось, что Швейцария и Австрия — нищие, бедные страны. И вдруг авторитетные люди, в их числе русский инженер, живший в нашем лозаннском пансионе, открыли мне, будто все наоборот. Европейские страны — богатые, зажиточные, сытые. Россия — нищая, голодная, по шею в долгах; сотни тысяч умирают в ней от недорода, десятки тысяч сидят без работы или работают за жалкую плату... И я начала перед возвращеньем домой, где ждал меня первый революционный взрыв народа, понимать разницу между внешним представленьем и реальной сущностью такого предмета, как экономика родной страны.

8

Выше я написала, что научиться чтению труднее, чем научиться болтать. Это сказано слабо. Научить человека читать очень трудно. Еще и потому трудно, что сделать это никто не может, кроме самого человека, а задача педагога в том, чтоб научить ученика умению учить самого себя читать. Предвижу голос читателя: ну и завралась! Ну и выдумывает. Но другой восьмидесятилетний старик сказал ведь: «Добрые люди не знают, сколько времени и усилий стоило иному, чтоб научиться читать. Я потратил на это восемьдесят лет и еще сейчас не могу сказать, что достиг цели» [16]. Этот старик был Гёте. Слова были им сказаны Эккерману незадолго до смерти, 25 января 1830 года. Что же подразумевает Гёте в «умении читать»? Что значит, по Гёте, учиться умению читать, не достигнутому им и за восемьдесят лет жизни?

Еще один наводящий пример. Когда я поступала в первый класс гимназии Ржевской, в Петербурге начал выходить (чтоб

---

[16] «Gespräche mit Goethe» I. P. Eckermann, S. 194. Dritter Theil, «Die guten Leutchen wissen nicht, was es einem für Zeit und Mühe gekostet, um l e s e n zu l e r n e n. Ich habe achtzig Jahre dazu gebraucht und kann noch jetzt nicht sagen, daß ich am Ziele wäre». Подчеркнуто самим Эккерманом.

быть точной, с июля 1897 года) один из интереснейших журналов царского времени. Он был, правда, реакционный, несколько барского типа. Но редактор его, Ф. И. Булгаков, сумел сделать его своеобразным «окном в Европу». Этот «Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки», иллюстрированное ежемесячное издание, поставил себе задачей в «тщательно исполненных переводах, в извлечениях и литературно изложенных статьях своевременно воспроизводить все, что на иностранных языках печатается нового, наилучшего, особенно выдающегося, оригинального, художественного, занимательного и типического в области литературы, искусств и знаний, обильно иллюстрируя статьи и переводы»... Задача для того времени исполинская, не похожая на идеологические и политические журналы тогдашней русской интеллигенции, и она была им, за вычетом сентиментальных статей о коронованных особах и порочной позиции, занятой его редактором в «деле Дрейфуса», выполнена неплохо. Журнал этот, просуществовавший несколько лет, отцом выписывался, книжки его лежали на круглом столе для пациентов, и мы с сестрой в ранние наши школьные годы любили забираться в «дожидальню» и смотреть его иллюстрации.

Так вот, в первом номере этого журнала, как бы раскрывавшем перед читателями свое общественное лицо, редактор напечатал статью «О современном чтении». Оказывается, проблема чтения занимала человеческие умы в конце прошлого века. Она ставилась, дискутировалась, решалась практически. Какой-то англичанин (Фредерик Гаррисон) решил, что миллионы изданных книг всуе затуманивают голову и совсем не нужны людям. Из всей Британской библиотеки он отобрал всего тридцать томов, годных для чтения. Тотчас нашелся издатель, предложивший или испросивший право на монопольное издание этих тридцати томов. Но лорд Бальфур выступил против Гаррисона, назвав его список (составленный сплошь из беллетристики) скудоумной диетой.

Другие страны вступили в спор. Каким образом из беспредельной массы полезного выбрать то, что знать наиболее нужно? Как узнать важное и отличить от незначительного? Время на жизнь дано в обрез. Потенциалы энергии слуховой, зрительной, мозговой даются человеку отнюдь не безгранично. К старости люди слепнут, глохнут, впадают в слабоумие. А ведь чтоб выбрать, надо все перечитать, но миллионы книг перечитать невозможно. Заколдованный круг, нечто вроде знаменитой квадратуры круга. Дискуссия ширилась... Редакторская передовица не предложила ответа. В наш век спросили бы: как вместить в мозгу всю нужную информацию?

Отец как-то после обеда прочел эту статью вслух. Он читал для себя и для матери, а потом заметил:

— Дело не в том, сколько прочесть, а потом из уже прочитанного выбирать. Дело в том, *как* читать. Умный может извлечь полезное из самой глупой книги. Дурак не извлечет ничего из самого мудрого мудреца.

Слова эти, да и вся статья об уменье читать, запомнились мне и хранились в памяти до шестого класса. В шестом классе я почему-то вдруг их вспомнила. Был вечер после ужина и перед «вечерней молитвой», которую мы по очереди скороговоркой проборматывали в рекреационном зале, после чего расходились по дортуарам — спать. Это время, целых два часа, было нашим любимейшим. Девочки ходили по парам, охватив друг друга за талию, разговаривали, не очень громко, чтоб не мешать тем, кто еще зудил урок, локтями упершись в стол и заткнув уши. От начальницы в гости к нам иногда просовывал голову Фрам и ложился где-нибудь поблизости от меня. Это был озлобленный и всегда недовольный пес с больными, гноившимися глазами и хмурой мордой. В пансионе я одна была с ним дружна, и он слушался меня, поэтому Любовь Федоровна выпускала его за дверь из своих покоев очень редко и только под мою ответственность. Фрам мог укусить и кусал вдруг, ни с того, ни с сего, как в нервном припадке.

У нас в пансионе были две гречанки, сестры Корди, Таля и Люся. Младшая, Люся, вышла впоследствии замуж за Виктора Шкловского. Люся имела в себе нечто от греческого героя гомеровских времен — сильная, светловолосая, с серо-голубым стальным взглядом, ничего не боявшаяся, любившая действовать наперекор,— я с ней сдружилась, когда она, сидя в полутемном классе, перед очередной сдачей документов при переходе из класса в класс, аккуратно переписывала для копии желтоватый пергамент своего дворянского происхождения. На этом пергаменте старинным шрифтом было выведено о том, что «в год такой-то (не помню какой) два мужа Корди прибыли на Русь...». Сразу угадывался в ее упрямой самостоятельности этот древний греческий «муж Корди».

Так вот Люся, не слушая моих предостережений и отбросив мою схватившую ее за фартук руку, однажды смело двинулась к Фраму, нагнулась погладить его,— и тут Фрам цапнул ее около локтя. Цапнул здорово, я с трудом оттащила его за ошейник от стойко-неподвижной Люси, не издавшей ни звука. После этого доступ Фрама к нам был категорически воспрещен, а Люсин шрам, вопреки пословице, не «заживил» своего следа и до свадьбы. В тот вечер, о котором я пишу, событие это еще не произошло. Фрам растянулся возле меня. Из музыкальной комнаты доносились до нас симпатичные, восходящие в своем спиральном следовании, бесконечные арпеджио. Пахло в воздухе слабым ароматом вечернего чая из нижней столовой. А я стояла с мадемуазель Муше возле открытого библиотечного шкафа и советовалась с ней, что выбрать почитать для практики французского языка.

— Возьми повесть Вольтера, ну хоть «Кандида», это читается легко,— сказала мадемуазель Муше.

Я сунула руку в книги Вольтера и не глядя вытащила очень объемистую, тяжелую, вызвав энергичный протест моей советчицы:

— Не прочтешь, тяжело, скучно, а главное, начав — надо непременно кончить. Неконченные книги, как недоеденные куски на тарелке, портят людям характер...

Что-то упрямое встало во мне, я объявила:

— Раз взяла, значит, кончу, вот увидите, кончу!

Это был «Siècle de Louis Quatorze» Вольтера, огромный том — о царствовании блестящего «короля-солнца». И это была первая книга в моей жизни (после няниного Евангелия), прочитанная «от доски до доски». Тогда-то, видя, как скептически улыбается мадемуазель Муше, поводя плечами, я и вспомнила статью о чтении, прочитанную отцом вслух после обеда. Наверное, одним из уроков «умения читать» было дочитывать взятую книгу до конца.

Мы тогда были в периоде «воспитанья характера». Мы ни за что не хотели быть похожими на Рудина, Обломова, Лаврецкого. Рахметов еще и не снился нам, он не был прочитан. Печорина мы не уважали. Воспитывать характер хотелось на свой образец, на тот образец, кого мы тихонько, никому не признаваясь, обожали в героях немецкой писательницы Марлитт, грубо и неосновательно опороченной и забытой в последующие десятилетия. О Марлитт, впрочем, особый разговор в особом месте. Характер, который хотелось воспитать в себе, должен был быть стойким, правдивым, верным данному слову, жертвующим собой для ближнего, идущим на смерть за истину — иначе сказать, он носил черты жертвенности. И жертвуя свободным временем, стойко держась сказанного слова, я начала изо дня в день читать свой объемистый томище, читать, не предвидя никакой радости, назло себе, почти с отчаянием, и первые страницы прошли для меня как наказание божье.

Словарь французских слов, знакомых мне, был еще беден для чтения такой книги, как «Век Людовика Четырнадцатого»; эпоха была мне почти незнакома, остроумие, намеки, наигрыванья Вольтера, то, что немцы называют «Anspielungen», проходили незамеченными, терялись в чтении. Я то и дело заглядывала в нумерацию страниц, чтоб узнать, сколько еще осталось,— и передо мной уходил вдаль бесконечный, неисчислимый путь, растянутый, как вся жизнь этого ненавистного Луи Каторза. А чувство долга вмешивалось, а воспитание характера требовало: читай дальше! Держись! Назвалась груздем — полезай в кузов. Мне казалось, я глупею с каждой страницей.

Мадемуазель Муше заметила несчастное выражение моей физиономии по вечерам. Слово за слово — я ей призналась, что просто сил не хватит дойти до конца. Многое непонятно, в диксьёнерах искать — времени не хватает, возможно, я своего долга не выполню. Швейцарка посмотрела на меня, что-то в уме прикинула и вдруг ухватилась за слова «дойти до конца», venir au bout.

— Но ты, милая моя, из дому еще не вышла, а говоришь «дойти до конца». Ты совершенно еще не начала читать книгу. Говоришь, двадцать семь страниц? А ну, расскажи их.

Рассказать я ничего не смогла. Были разные фразы, имена, глаголы, был переход со страницы на страницу... И вдруг в памяти возник толстенький регент из пансиона Констан. Он грозил палочкой. Я считала такты, а надо было слушать музыку, музыку слушать. Я считала страницы, бормотала французские фразы, напе-

чатанные иа них, ио это ие были слова, это были такты, такты. Мадемуазель! Я иачиу читать киигу! Обещаю! Завтра же! И двадцать семь «прочитанных» страниц стали перелистываться иазад, к иачалу киигы, к самой первой странице. На следующий день я действительио иачала читать книгу. Я помию ее до сегодияшнего дня.

Гёте так и ие открыл Эккерману, каким способом учился ои читать книгу восемьдесят лет. Но у меня возник свой способ, и я о нем расскажу. Обычно когда советуют прочесть хорошую книгу, говорят: «Она тебе много даст!» Когда располагаются вечером к чтению, лежа иа постели, при настольной лампочке, посасывая при этом конфетку, пассивио ждут, как бы растворив все свои двери, именно прииятия, чем сейчас будет одаривать вас хорошая книга. Но это не чтение. Это как набирать дождик в сито. Я снова, с первой страиицы, иачала своего Вольтера, сказав себе: буду теперь всерьез! Для меня «всерьез» означало (хоть я тогда и не разбиралась в этом) приложить от себя работу, а не просто хлопать и моргать глазами по страиицам. В старых школах у иас ставили отметки за прилежание и внимание (для иих была даже особая графа!),— и приложить работу к чтеиию кииги выразилось у меня в терпеливом (прилежиом) виикаиии (виимании) в читаемое. Оказывается, чтоб киига вам дала, вы ей сами должны дать,— do ut des, отдача-получение, вечиая великая двоица процесса жизии! Как только я отдала первым страницам Вольтера свои прилежание и внимаиие, мие в ответ книга протянула смысл. Это был еще очень слабенький и бледный смысл, как отражение отворяющейся двери в зеркале,— все в прочитаиной странице сдвинулось. Я так обрадовалась первому успеху, что решила не торопиться. Пусть совсем немного, да хорошо!

Но у смысла есть одна особениость. Ноль на иоль — это еще ие смысл. Один на одии — еще не смысл. А вот одии иа два, два иа три — тут уже есть начатки с м ы с л а, сло́ва, которое при разложении может быть понято как «с мыслью», иечто, связанное с мыслью, о чем можно подумать. Но ваша дума, которую вы иачинаете отдавать книге, это ведь тоже отдача, ваша отдача книге, а ие книги — вам. Впрочем, тут смешаио то и другое, как бы доро́га туда и обратно. И даже больше от книги вам, чем от вас — книге, потому что вместе со смыслом оиа вам передает с в я з ь. Фраза с фразой, от абзаца к абзацу, от страницы к странице — смысл не просто выкатывается иа вас шарообразиым комом, а развертывается связью следования. И если вы ие окоичательный чурбан, в вас вспыхивает интерес к продолжеиию. Обычио думают, что «интерес к продолжеиию» рождается от сюжетиой, фабульиой книги; и что имеиио такою книгой — с приключениями, страшными действиями, иеожидаиными положеииями, любовью, фаитастикой — только и можно п р и у ч и т ь школьников к чтеиию: приучатся читать такие книги — перейдут к чтению и серьезиых. Но это иеверно. Чтение таких книг скорей разучает читать, чем приучает. Оио разучает вкладывать в киигу от себя и приучает пас-

сивно раскрывать свое восприятие, чтоб получать, получать и еще получать. Иначе говоря, оно отучает от работы чтения и приучает к безработному, бездельному чтению, чтению на даровщину, к той самой миске с похлебкой, которую филантропы раздают безработным в Америке. Думаю, что кончать таким чтением свой напряженный рабочий день человеку умственного труда — чтоб приглушить или выключить возбуждение усталого мозга — полезно и нужно. А начинать с него в молодости, усыпляя и как бы обморочивая свой незрелый, еще не разбуженный мозг,— вредно и нельзя.

Книга «Siècle de Louis Quatorze» — не совсем обычная для Вольтера книга. Она задумана как историческая, без присущих Вольтеру экивоков и скептицизма,— для полного отражения самой блистательной из страниц французского «бурбонства». Ведется она не рассказом по нити времени, а живописным показом всего экрана эпохи, как художники делают панораму, растягивая ее длинным кругообразным полотном вокруг зрителя. Тут вот — весь двор с сиянием короля-солнца посередине, с его фрейлинами, фаворитками, театром, актрисами; тут — генералитет его времени, таланты военных действий, оставившие по себе имя и славу; тут — ученые в шапочках академиков, с большими, эпохальными, прославившими Францию открытиями; знаменитейшие драматурги; министры,— большая доля страниц посвящена министрам, и особенно финансов, потому что изыскивать финансы для поддержки безумного блеска двора Людовика Четырнадцатого, его военных и штатских предприятий было почти невероятным делом, требовавшим гения,— все в этой панораме, расставленное как бы в пространстве, кусками, пятнами, жанрами отдельных сцен и картин, расцвеченное силой острого таланта, связанное в целую живописную систему, захватывает в чтении нарастающим интересом. А что такое «интерес»? Это ведь тоже не так просто. И совсем не односторонне! Попробуйте представить себе свой интерес как нечто абсолютно ничем не возбужденное со стороны внешнего мира или хотя бы собственного воображения! Нет такого интереса, как нет ребенка без зачатия. Для рожденья интереса тоже требуются двое или два: нечто от вас к книге и нечто от книги к вам.

Вот так, очень медленно, рождался во мне при многомесячном (читала всю зиму!) прочитывании «Века Людовика Четырнадцатого» процесс учения читать как особой формы взаимодействия с книгой. Это был первый урок чтения, первое понимание того, о чем говорится в четверостишии Низами Гянджеви:

Пыль быстро взлетит и быстрее падет,
А прочного дома нигде не найдет.
Но медленно встала на место гора —
Зато и у гор долговечна пора!

Осмысление этого процесса пришло ко мне, разумеется, гораздо позже, но одно к концу чтенья все же я заметила: мне показалось — я стала гораздо умней. На самом же деле происходит вот

что: по мере углубления в книгу вы начинаете давать ей все больше и больше, увеличивая свою отдачу за счет полученья, как сыплющийся песочек в песочных часах. Но все увеличивающаяся отдача, то есть все более умное и глубокое ваше проникновенье в книгу,— примысливанье ваше к положеньям книги, суд над ней, оценочное восприятие красот ее языка, стиля, образов, афоризмов,— как внезапно перевернутая склянка песочных часов, где от поворота весь как бы высыпавшийся от вас песок в книгу оказывается снова наверху, у вас у самого, над книгой,— превращается в получение,— отдача становится получением. Опять вечный и бессмертный закон диалектики, наблюдаемый в органическом и неорганическом мире, у лириков и у физиков, в психологии и в физиологии,— только сумей различить его, сумей обратить его на пользу в великом деле воспитания человечества!

Будет неверно, если читатель представит себе меня за книжкой только вот такой пай-девочкой тринадцати — четырнадцати лет, поглощающей огромный том Вольтера. Подобно всем на свете подросткам нашего возраста, мы обожали читать и читали тайком и совсем другие книжки, где в избытке имелись «разговор», «он» и «она» и сладкое чувство между ними, любовь. Я уже забыла про графа Суконцева и баронессу, не дочитанных на чердачке дедушкиного дома. Наступала пора не конфузно-любопытного, а сладкоромантического представления о душевных переживаньях человека.

Наша фрейлейн Борман — краснолицая, голубоглазая и с губами сердечком — была в пансионе «для маленьких» и свою огороженную кабинку, имевшую пышное названье собственной комнаты, имела в дортуаре приготовительного и первого классов. Но вечером население пансиона смешивается, вечерняя молитва читается для всех сразу, и фрейлейн Борман нет-нет да и сообщится с нами, особенно на предмет чтения. У нее под мышкой всегда был томик, прижатый локотком, который она раскрывала в свободные минуты, чтоб время от времени вскинуться от него своим голубиным говорком просто без адреса, профилактически: «Киндер, вас ист ден дас? Штиль, штиль!»[17] Даже когда «киндер» были совсем не под боком у нее, а скатывались, визжа, где-то по гладким перилам длинной лестницы из дортуаров в прихожую. В этот сокровенный томик мы, бывало, заглядывали мельком; и увидели, что он занимательно иллюстрирован разными сценами из жизни домашней, красавицами в длинных белокурых косах и фартучках на платьях старинного, для нашего времени, фасона, мужчинами с грустным взглядом и бородой, собачками, пейзажами городов с готикой церквей, деревень с крылатой мельницей,— словом, мы как-то принялись шутить над нашей Борманихой, что она читает детские книжки.

— Это не детские книги, но для юношества! — ответила Борман серьезно и даже благоговейно.— Вы бы выучились хорошему немецкому духу, если б тоже читали эти книжки. И даже наша óбэрэ (высшая, старшая) ничего не будет иметь дагегéн (против).

[17] Дети, что же это такое? Тихо, тихо! *(нем.)*

Так оно, в конце концов, и получилось, что один из этих томиков попал нам в руки, обернутый, чтоб уберечь его от пятен, в большой полотняный немецкий носовой платок с вышнтой буквой В (Б) н рядом маленькой цифрой — для обозначения, какой номер занимает он в серии. Книга эта на желтоватой глянцевитой бумаге, напечатанная не латинскнм, а готическим шрифтом (мы тогда писали и чнтали готическимн немецкими буквамн), называлась «Вторая жена». Автором ее была знаменитая в то время пнсательница Евгения Марлитт, заклейменная впоследствии — хотя и совсем по-другому и другим совершенно клеймом,— как французский писатель Поль де Кок, который, по словам Поля Лафарга, нравился Марксу. Подобно тому, как Поль де Кок вошел в литературу с репутацией безнравственного и порнографического, хотя на самом деле это был остроумнейший певец французского провинциализма, блестящий описатель нравов мелкой буржуазии своего времени, при этом сугубо моралнзующнй, как это было в духе описанного им социального строя,— подобно этому вошла бедная Евгения Марлнтт в нсторию немецкой литературы (нет, даже на задворки этой литературы) как писательница сентиментальная, невыносимо слащавая в своей немецко-мещанской сугубой добродетели. О Марлитт спустя десяток лет после ее немецкой прославленностн (да н то в узком кругу того слоя, какой у нас обзывался филистерски-мещанским) сталн говорнть как о чем-то просто смешном и постыдном для упоминання, как у нас, напрнмер, вспоминают о Чарской.

Когда я вспомнила недавно в обществе женщин ГДР про Марлнтт н наше чтение ее подростками — боже мой, какое недоумение, какой «шокинг» мелькнул на их хороших и честных, дружеских лицах, словно я беспредельно дурной вкус обнаружила. И тут же мне захотелось проявить мужество мысли. Опровергнуть эту частую безнаказанную фальшь в нстории человечества, какая зовется «сложнвшейся репутацией». Берут один какой-нибудь хвостик из полной волос прическн и тянут, тянут его, тянут до тех пор, пока он, единственный, не сложится в историческую репутацию большого н сложного явления. Сколько таких фальшивых «сложившихся репутаций» (в ту и в другую сторону) благополучно переходит к потомкам нз книги в книгу, сколько их ходит и среди нас, живых, гнпнотнзнруя нас тоже еще живымн, но уже мнимыми, уже фальшиво-сросшимися чертами памятника при жнзнн... Итак, выполняя данное себе слово...

«Вторую жену» я прочнтала взасос, в одну ночь, дочитывая утром, когда натягивала одежду, за завтраком, держа ее под столом, чтоб очередная чнтательница не вытащила книгу у меня из-под носа. Маленькое немецкое княжество, где правнт вдовствующая герцогння, чернокудрая молодая красавица, мать двух маленьких наследников престола. Лет десять назад она безумно любила барона Рауля из не очень знатной баронской семьи, была им любима ответно, была с ннм помолвлена, но к ней посватался сам герцог, пожилой, глава всей страны. И тщеславие победнло. «Страдая»,

«принося жертву», красавица сделалась герцогиней, а отвергнутый барон отправился путешествовать, женился мимоходом на своей кузине, тоже стал отцом маленького своенравного Лео, похоронил жену и наконец вдовцом вернулся на родину, где его с волнением ожидала вдовствующая герцогиня. Наконец-то они могут соединиться! Такова присказка, экспозиция романа,— сказка еще и не началась, сказка будет впереди. При дворе — праздник, посадка дерева по старой традиции наследником герцогского престола, старшим мальчиком принцем. Феерия в замке, в парке, на озере. Воздушное платье на герцогине того самого цвета, который когда-то... И должен приехать барон Рауль Майнау, тоже теперь вдовец. Весь двор в ожидании события. Все наизусть знают, какое событие произойдет сейчас. Happy end! Счастливый конец!

И барон Рауль Майнау появляется во всей своей демонической красоте, прямо из парка, где он встретил своего мальчугана, играющего с принцами. Она идет ему навстречу. Он просит извинить его за неприличное опоздание, он только что из длительного путешествия, из имения одного обедневшего графского семейства, отдаленных родственников... Не мог прибыть раньше, произошла его помолвка с далекой, чужой всему двору девушкой Юлианой Трахтенберг, дочерью этого семейства.

Читатель присутствует при невысказанном, но злобном внутреннем торжестве человека, который был перед ним представлен во всем его демоническом обличье. Барон Рауль дождался своего часа — сладчайшего самоудовлетворенья оскорбленного тщеславия. Написано все это великолепно, хотя до последней степени старообразно, как сейчас, если даже очень захотят, если возьмутся пародию сделать, не смогут. Просто не смогут хотя бы потому, что смешной старомодный стиль Марлитт пронизан удивительным, настоящим чувством.

А как неведомая Юлиана Трахтенберг? Она еще ничего не знает о браках, но там есть маленький мальчик, оставшийся без матери,— и, полная жалости к нему, она видит в своем браке благородную задачу. А барон, кроме наслажденья от мести, имеет тоже практическую цель. У него в доме не все гладко. В доме царствует самодур тесть, отец его первой пустенькой жены, исповедник-католик, державший когда-то в своих иезуитских лапах свою пустенькую дочь; в доме от покойного романтика дяди доживает свой век в отдаленном садовом павильоне больная индуска, которую он вывез когда-то из Индии, и сын ее, мальчик, рабски покорный маленькому Лео, растет в доме как невольник... При всех обстоятельствах умный барон Майнау понимает, что это плохая обстановка для воспитания его сына. И женитьба его на девушке, выросшей, по слухам, в страхе божием, без всяких этаких претензий, создаст отличный выход из положенья. Она займет место экономки и воспитательницы, внесет разрядку в неприятную атмосферу, а он сможет наконец отдаться любимой своей страсти: путешествию, приключениям, встречам, флирту...

Отсюда, с первых часов брака, и начинается, собственно, роман,

где развитие двух характеров и взаимоотношения их прослежены медленно, шаг за шагом, точно, интересно, увлекательно и правдиво, хотя «романтично». Чудесный немецкий женский характер Юлианы, черты которого выращены на почве всего, что было светлого и чистого в старонемецком представлении об «идеале». Медленно преобразовывает женский характер среду вокруг себя, вступая с ней в мужественный конфликт. Медленно действует очарование этого характера, сразу покорившего мальчика Лео, на его отца. По закону романтического нагнетания чувства ни тот, ни другая еще сами себя не понимают, еще борется что-то в натуре обоих против наступления любви, пока эта любовь не становится сильнее их, сильнее даже самого автора романа, выпускающего свой сдерживающий тормоз из рук.

Но Евгения Марлитт, немецкая романистка, пропагандист родной своей Тюрингии, не немка. По происхождению она англичанка, ее фамилия Джоис. От своих английских предков она получила в дар гений сюжета, гений построения острых положений, загадочных тайн, умение сцеплять их и неожиданно развязывать. Поэтому психологическое развитие взаимосвязи двух характеров, Майнау и его второй жены, происходит на фоне самых удивительных сюжетных линий, переплетающихся драматически: линии индуски и ее сына; линии старого барона и тщеславной матери Юлианы; линии католического исповедника; линии... да еще много этих сюжетных линий, создающих при чтении так называемый захватывающий интерес. И еще одно унаследовала Марлитт, быть может, от своих английских предков: трезвость, ясное суждение о социальной правде и неправде, любовь и уваженье к трудящемуся народу, ненависть к иезуитизму, жесткий протестантизм в вопросах морали и даже самые общие социалистические принципы, заставляющие ее резко и остро критиковать не только разлагающую фальшь старых политических систем, варварскую эксплуатацию рабочего люда, но и такие расистские явления, как антисемитизм.

Казалось бы — передовая писательница с правильной идеологией, хотя и не революционной в нашем смысле, полезная, интересно пишущая, нужная для молодежи,— чего больше? Откуда же это пренебреженье к ней, эти обидные клички, эта не скрытая издевка критики? Ведь не за ее «хорошесть»? Не за то, что стремится она учить добру?

Евгения Марлитт, немецкая писательница, англичанка по рождению, была человеком очень тяжелой судьбы. Молодая, остроумная, с прекрасным голосом, принятая при кукольно маленьких дворах раздробленной Германии, отлично изучившая все их мелочные стороны, все их «скелеты в шкафах», она заболевает (по-видимому, полиомиелитом) и на всю жизнь оказывается прикованной неподвижно к креслу. Все сразу отнято, и главная боль — отняты любовь, возможность иметь семью. Чтоб заработать, она пишет первую повесть. Ее принимает редактор семейного журнала для женщин «Гартенлаубе» («Садовая беседка») и в этой «Беседке» один за другим начинают появляться ее романы, среди них, кроме «Вто-

рой жены», такие нашумевшие, как «Гизела», «Секрет старой мамзели», «Степная принцессочка». Вся половина прошлого века — в маленьких немецких городках в Тюрингии среди женской половины населенья — полна образами и речами Марлитт, ее мирно-протестантским социализмом, ее проповедью уваженья «к малым сим», к человеческому труду, к добродетели среднего и рабочего сословий. По Марлитт влюбляются девушки, по Марлитт воспитывает дочерей мать семейства... пока не началось подтруниванье над ней — конфуз за ее «сентиментальность», пренебреженье к «возвышенности» ее тона и нравоучительности монологов-проповедей, произносимых ее героинями.

Вот это «падение» Марлитт, переход вкуса к ней в издевку над ней и заставило меня, много поздней прочитанного у фрейлейн Борман томика, призадуматься — для самой себя — над «проблемой Марлитт». Почему — даже и сейчас убежденная, что лучшие ее романы, если слегка подчистить их от излишней назидательности и облегчить от «демонических» эпитетов, могли бы составить полезное и приятное чтение для подростков,— почему я даже и тогда, зачитываясь в слезах умиленья «Второю женой», понимала, что это все-таки не искусство, не литература, которую можно изучать в классе и писать на ее темы? Потому ли, что это все нереально, не соответствует своими благополучными концами тому, что творится в настоящей жизни? Потому ли, что таких людей, как сплошь черные или сплошь белые, не существует на свете? Ответ пришел не сразу,—и ответ лег в мою собственную «эстетику», собственную теорию, которую не провозглашаю для других, но сама ею пользуюсь постоянно.

Творческий акт — не просто воспроизведение наших жизненных наблюдений и чувств. Он даже и не только одна переплавка их из пережитого в написанное. Он прежде всего и главнее всего — преодоление личного материала жизни в нечто абсолютно надличное, общечеловеческое. Модное слово «сублимация» передает только половину творческого акта, психофизиологическую, подобно тому, как дрожжи, вмешиваемые в тесто, не создают хлеб, а лишь помогают тесту взойти. Покоряя себе свои личные эмоции, вводя их тонкой щепоткой, подобно дрожжам, в материал романа, вы помогаете сплаву пережитого «взойти», обрести эмоциональную высоту. Но произведение творчества, созданье искусства родится, когда все это личное, взошедшее в сплаве, будет преодолено вами, преодолено без остатка. Грубый пример такого преодоленья: вы потеряли дорогого человека, вы вкладываете всю силу своего отчаянья в создаваемое вами литературное произведение, так называемый «плач по покойному», где разум ваш, вернее, те критико-выборочные щупальца разума, которыми ищет ваше вдохновенье между тысяч слов нужный эпитет, среди тысяч синтаксических оборотов — один-единственный, и когда, сплавленное с вашим отчаяньем, стихотворное целое — плач — родится под вашими пальцами как форма, куда — в этот миг, может быть, на один только миг — девалось ваше отчаянье? Где оно? В душе у вас царствует высокое, благост-

ное чувство удовлетворенья. Так чувствовал, должно быть, библейский бог, в конце каждого дня говоря о созданной им части жизни: это хорошо. Пусть завтра вас опять скрючит боль, пусть будете вы от невыносимости горя кусать зубами подушку,— сейчас, в эту минуту, вы теург, создатель миров, вы преодолели личное в надличное, в общечеловеческое. И если вы этого в своей работе не испытывали никогда, вы не творец, не создатель.

Евгения Марлитт, лишенная возможности любви, на всю жизнь прикованная к креслу, нашла в творчестве способ не творческой, а личной компенсации своей обездоленности. Она стала лично жить в своем писанье, длить и множить личные эмоции вместе с героями своих романов, испытывать за них, наслаждаться их нежностью, услаждать собственную гамму отпущенных ее душе психологических состояний. Ей было приятно, радостно писать,— наслажденье писать, не доводимое до сублимации, далекое от преодоленья. Наоборот, по романам ее вы можете заметить, как эмоциональная гамма меняла у нее с возрастом свои оттенки: нежность постепенно сгустилась в страстность, потом, в двух последних романах, стала блекнуть и тускнеть, ничего уже не передавая читателю; зато расцвела эмоция материнства, и действительно живые, хорошо написанные страницы этих романов посвящены детям и материнской любви. Вместо творческого преодоленья — смена возрастных потребностей сердца. Личное не перешло в надличное. Нет искусства.

Когда я вижу у настоящего поэта, у настоящего актера, у настоящего музыканта вдруг некое замирание в стихе, в коротенькой сценке, в музыке на личном, сентиментальном, сугубо душевно обнаженном, не преодоленном в форму, а потому съехавшем, как очки на кончик носа, в банальность своего ощущенья — а это случается иной раз и у больших талантов,— я говорю про себя: «Марлитт».

Был, кроме Марлитт, и еще один эпизод в гимназии Ржевской, связанный с чтением неподходящих книг, и он тоже оказался для меня спустя много лет проблемным, а кроме того, чуть не окончился трагически. Кажется, это случилось в седьмом классе. На одной парте со мной сидела уже не Валя Морозкина, а совсем другого склада девочка — Юлия Всеволожская. Отец (или дядя ее, не помню) был директором императорских театров; родом Всеволожские, хоть и не носили титула, были аристократы. Меня, пансионерку, подруги очень часто приглашали на каникулы к себе домой, и в двух случаях это привело к тесной дружбе, длящейся до сих пор,— об этом расскажу позднее. Всеволожская приглашала меня не на каникулы, а по воскресеньям, когда у них в доме устраивались вечера. Это был большой барский дом. За обедом прислуживал вышколенный лакей в белых перчатках, после сладкого подававший обычно красивые фарфоровые чашки, наполненные мятной водой, с глубокими блюдцами. Из чашек надо было два-три раза, больше из уваженья к обычаю («для проформы»), чем из надобности, набирать в рот воду и деликатно, не очень булькая, полоскать ею

зубы, а потом сплевывать в блюдце. Салфеткой надлежало вытереть губы. Семья Всеволожских проделывала эту малоэстетичную процедуру в силу многолетней привычки необыкновенно грациозно, словно «было — и не было»,— эфемерное втягиванье глотка, эфемерный плевок, легкое проведенье по губам уже сложенной салфеткой. Я же, как неопытный новичок, приступала к своей чашке серьезно и неловко, разбрызгивалась и утиралась плебейски и переживала процедуру мучительно.

Особняк, где жило семейство, был на английский лад поделен между этажами: внизу обедали и был большой приемный зал для гостей, а наверху спальни и комнаты для одеванья со шкафами, зеркалами, туалетным столиком. К вечеру, когда должны были съехаться гости, мы вставали после отдыха, мылись, причесывались с помощью няни, жившей у Всеволожских чуть ли не от крепостных «дворовых» бабушки и дедушки. Няня была фанатиком семейства, считала Юлю красавицей, сравнивала ее с нами и любила говорить:

— Нынешние не знают, что такое поволока, спрашивают меня: нянечка, скажи! А я отвечаю — посмотрите на Юлечкины глазки, вот она, поволока,— бровь соболиная, око с поволокой.

Кроме няни, помогала нам тетушка, жившая у Всеволожских в качестве бедной родственницы. Что она бедная, мы догадывались по ее действиям. После обеденного десерта, когда каждый из нас вонзал зубы в яблоко, за столом заботливо говорили: дети, не выбрасывайте яблочных семечек! Оказывается, их надо было аккуратно собирать, стараться не разгрызать в еде и передавать их тетушке. В яблочных семенах имелся какой-то ингредиент, входивший в капли для сердечников. И тетушка сдавала за небольшую мзду яблочные семечки в аптеку.

Наступал вечер. Приезжал — забыла, как его зовут, кажется, Данзан или Данзас,— первый гость, толстый мальчик с круглым, как луна, лицом, в мундире лицеиста, монгольский князь, которого у Всеволожских, видимо, давно и хорошо знали. Он прекрасно говорил по-русски, был отлично воспитан, танцевал все наши тогдашние танцы — вальс, польку, падекатр, падеспань, мазурку, кадриль — с кошачьей грацией молодого тигра, кланялся и шаркал ногой. В «Лицее цесаревича Николая» — Катковском, как его еще звали,— учились многие из моих богатых кузенов, и у них были товарищи разных национальностей, только происходили они от родителей, которых сбросила нынче со сцены истории, если это были подданные Российской империи, Октябрьская революция. Дети баев, ханов, панов, князей, баронов из Прибалтики, шляхтичей из Польши, шведо-финских промышленников из Гельсингфорса и Свеаборга.

Были и дети знатных родителей из чужих стран. На наши детские «балы» в гимназии Ржевской, происходившие ежегодно, мы с сестрой приглашали, например, двух братьев-персов, Гидаят-хана и Аллаяр-хана, двух хорошеньких черноглазых мальчиков, товарищей самого младшего нашего кузена. Так вот, кроме танцев, у Всеволожских постоянно разыгрывались шарады с переодеваньем, ко-

торыми руководила Юлина мать, очень одаренная театралка. Юля, имевшая возможность получать интересные книги отовсюду, особенно из Театральной библиотеки, охотно снабжала ими одноклассниц. Интересно, что и она тоже, как Валя, сыграла в моей школьной жизни роль невольной «провокаторши», выйдя, как и Валя, «сухой из воды».

Однажды утром она принесла в класс несколько затрепанных библиотечных томиков, деликатно вынула их из ранца «лицом вниз» и боком сунула поглубже в парту. После обычной в таких случаях «преамбулы», где ученицы попроще густым шепотом требовали: «Перекрестись, что ни единой душе!» — а благовоспитанная Юля только предупредила: «С одним условием, чтоб...» — мне были вручены эти томики на прочтение, опять же «лицом вниз». На «лице» стояло:

ПОНСОН ДЮ ТЕРРАЙЛЬ
РОКАМБОЛЬ
ТОМ I

Всех томов «Рокамболя» было что-то около сотни. В ту пору, пятый год нового века, он был переведен с французского чуть ли не на все языки мира, наводнял библиотеки, но достать его было, как сейчас хороший детектив, почти невозможно. Мало кто в наше время имеет понятие о «Рокамболе». Между тем Понсон дю Террайль, приключенец своего литературного времени, напал, изобретя его, на золотую жилу. Представьте себе балкон высоко над городом — по тому масштабу на третьем этаже дома. Балкон, открытый в звездную ночь, овеянный запахом цветущих лип. Наверху — звезды; внизу (в сиянии газовых фонарей, красноватых окошек — там жгли парафин или керосин,— усеянных огоньками мостов над черной лентой реки, движущихся фонариков на уличных фиакрах) — город. Какой город! — первый, по убежденью его горожан и его писателей, в целом мире — Париж.

И вот на балкон выходят два брата. Они только что получили — каждый свою половину — многомиллионное наследство. Один, глядя вниз, на сияющий под ним город, говорит: «Сколько тут копошится жалких людишек, карабкающихся на стены за куском хлеба, сколько пришедших из деревень красоток, старых развратников, шулеров, убийц, которые еще не знаю, как и кого убить, воров, садистов, шпионов, ждущих, чтоб их купили! Как будет адски весело вмешаться в их судьбы, помогать насилию, убийству, грабежу, похищенью, предательству, захватить власть с помощью моих миллионов, моей дьявольской воли!» Другой, глядя вниз и отвернувшись от брата, отвечает ему глубоким, приятным баритоном: «А я буду тратить мои миллионы, чтоб парализовать твои действия, буду избавлять от насилий, спасать невинных, карать злодеев, помогать голодающим, выводить на дорогу заблудших, оберегать чистоту и невинность юных! Я буду на каждом шагу скрещивать свои пути

с твоими, вышибать оружие из твоих рук, переделывать зло в добро!»

Братья расстаются, ненавидя друг друга. И каждый приступает к своему делу, один к черному, другой к белому,— «дьявол» и «ангел». Таков пролог к длиннейшей серии романов, где, как лодка на бурных волнах, качаются судьбы людей то в одну, то в другую сторону килевой качкой, почти погибая в одном томе от происков злобного брата и чудом спасаясь в другом томе с помощью доброго. Конечно, я привожу их речи, уже не помня дословно, а только передавая смысл. Но трудно передать захватывающий интерес для подростка от перипетий этого нескончаемого романа.

«С одним условием» я, разумеется, свято выполняла, никому ничего не говоря и не показывая, но каждую свободную минуту окуналась в борьбу со злом, опуская голову ниже верхней крышки парты, читая чуть ли не в темноте, безбожно портя себе глаза. Но вот на одной из перемен чья-то жилистая рука вытащила у меня из-под самого носа волшебный томик, я вскочила с места — и очутилась лицом к лицу с начальницей Любовью Федоровной. Тут же стояла смущенная Юлия Всеволожская, опустив глаза с поволокой вниз и не разжимая рта. Любовь Федоровна полистала книгу, спрятала ее под мышку и начала допрос. Юля вела себя отменно. Признав, что это она принесла «Рокамболя» в класс, она тихо, но достойно попросила прощенья, прибавив сакраментальное «не знала» и «больше не будет». А я пришла, не сразу, а постепенно разгораясь, в свой опасный «раж». Повышенным тоном я заявила, что книжки прекрасные, ничего такого особенного в них нет, наоборот — умные, добрые, от них только учишься ненавидеть зло и любить добро, и что «читала и буду читать! Все равно буду читать! Кто бы что ни говорил — буду! Несправедливо, неправильно отнимать хорошую книгу!».

Со стороны, вероятно, я выглядела красной, взлохмаченной, весьма непрезентабельной и, может быть (даже наверное!), топала в эту минуту ногами, поскольку привычку топать, воображая себя лошадью, я воспитала с детства. Отец, наверное, приказал бы мне: пойди, хорошенько собери слюну и плюнь! А Любовь Федоровна была шокирована. По лицу ее пошли пятна — признак очень серьезного раздраженья. Повернувшись в сторону (тут только я заметила учительницу рисования и с десяток девочек, почтительно наблюдавших сцену), Любовь Федоровна сказала, обращаясь к «зрителям»:

— Вот вам две ученицы. Одна ведет себя спокойно, воспитанно, сознавая вину. Всеволожская, ты остаешься на час после уроков. Книгу я сама передам твоим родителям. А другая — полюбуйтесь, пожалуйста! Совершенно бешеная, себя не помнит, забылась так, что я вынуждена доложить о ней на попечительском совете. Вынуждена меры принять... И в каком виде! Что за волосы, что за тон! Куда ты фартук оттянула! Слушай, что тебе гово...

Но я ровно ничего уже не слышала, я стрелой мчалась по лестнице в дортуар. Мне было все равно, все равно, все равно, в мире

все фальшиво, держится на видимости. Чем Понсон дю Террайль плох — она его даже не нюхала, а взялась судить... На свете нет справедливости, чести, Юлька сдрейфила, как пятиклассница... и все слушали, не зная, в чем дело, думая бог весть что...

Меня так переполняло сознание своей правоты, каменной несправедливости, невозможности защититься, так оскорбляло присутствие при этом учительницы рисования и девочек, которые ничего не знают и могут бог весть что подумать, так вообще было мне плохо и росло, росло комом к горлу: «Назло! Всем назло! Умру!» — что я и впрямь хотела в ту минуту умереть, хотела и вот что сделала: заперлась в нашей верхней душной маленькой уборной, имевшей только одно запыленное оконце на площадку черной лестницы. Домá в то время имели обязательный «черный ход» из кухонь или комнат прислуги. Задвижка на двери была солидная. Намочив из кувшина длинное полотенце, я обмотала им горло, сделала узел. Повеситься было негде. Но, закрыв крышкой деревянное сиденье, я уселась и стала отчаянно тянуть оба конца полотенца, натянула узел так, что уже не смогла бы развязать его ослабевшими пальцами.

Прошел час. Прошло два часа. Измерять время мне было нечем, но по звукам снизу я смутно соображала — уроки кончились, приходящие разошлись. Вот живущие идут в столовую, пьют молоко. Вот они топают в передней, одеваются, будут теперь гулять два часа. Начальница ляжет спать. Никто обо мне не вспомнит — пусть, пусть, пусть! Пусть узнают, как делать несправедливости! У меня пухли глаза в орбитах, я видела ими только вниз; позднее мне сказали, что глаза почти вывалились из орбит. Очень опух язык, болело и шумело в голове, а вообще я почти уже ничего не сознавала. И мне казалось (а это было в действительности), что милый, знакомый, тихий голос моей сестры шепчет из-за дверей: «Мариэтта, Мариэтта» — сколько раз потом этот голос будил меня от смерти — после операций, в минуты душевных мук... И назойливо било что-то не то в дверь, не то в висок: тук, тук, тук, все громче, громче.

Начальница не пошла к себе, и меня хватились раньше, чем я думала. Приставили стремянку с площадки черной лестницы к окошку, заглянули в него. Пришел муж Любови Федоровны, Владимир Алексеевич, взломал дверь уборной, я увидела как в тумане большую полную фигуру начальницы, стоявшей у самой двери. Когда вынесли меня на руках, эта фигура свалилась набок, на землю,— упала в обморок. Владимир Алексеевич положил меня в дортуаре на мою кровать, а потом, нагнувшись, стал ножницами резать полотенце, стянувшее мне шею, резал, и руки у него тряслись, ножницы хватали воздух, а рядом тихо стояла Лина и все тем же ровным, спокойным голосом говорила: «Дайте мне...» Все это я сознавала, хотя очень смутно. Начитавшись «Рокамболя», я, как и весь мой класс, очень мало представляла себе времена, в которые жили мы и жила Россия.

А времена были удивительные, наступал пятый год нового

века,— и реакция начальства на «покушение на самоубийство в частной гимназии» была нешуточной, потому что нешуточными могли быть последствия. Слух о событии в гимназии Ржевской, которое я представляла себе очередной дурацкой выходкой дурацкой моей особы и на другой же день, как спала опухоль с горла и языка, а глаза водворились в орбиты и даже врача не понадобилось, стала конфузливо обволакивать забвеньем, оказывается, не прошел бесследно. Он докатился до гимназии Калайдович, где были какие-то волненья среди учениц, а оттуда до реального училища Фидлера.

В реальном училище Фидлера в это время творились события серьезные: там произошли выборы делегатов в Московский комитет учащихся. Два выбранных делегата, два высоких и худощавых реалиста в очках, с темными полосками над губами, возвещавшими будущие усы, позвонили у наших входных дверей. Они были впущены, назвали себя делегатами Комитета и заявили, что посланы расследовать дело о «доведении ученицы седьмого класса недопустимой травлей до покушения на лишение себя жизни». Любовь Федоровна к делегатам не вышла. Дело взяла в свои опытные руки ее помощница, Елена Францевна. Приглаженная и в новом фартуке, я была выведена ею как вещественное доказательство за руку в кабинет попечительского совета, где свободно сидели, разглядывая сквозь очки литературу на стенах, два могучих моих защитника, фидлеровцы.

Мы сразу же обменялись взглядом, с моей стороны любопытно-вопросительным, с их стороны деловым и «политическим», как определила после их ухода Елена Францевна.

— Какая же травля? — сказала она голосом, в котором, к величайшему моему изумлению, был оттенок заискиваиья.— Вот она сама перед вами, спрашивайте ее. Простая взбалмошность, а вообще — выеденного яйца не стоит. Из-за чего? Из-за пошлой книжки, которую вы, молодые люди, наверное, сами осуждаете. Пошлая книжка, перевод с французского, не брошюра какая-нибудь.

Я собралась было вспыхнуть, но что-то сдержало меня. Сдержали глаза одного из делегатов, взглянувшие на меня серьезно и многозначительно.

— Дело не в книжке, товарищ,— сказал он, глядя на Елену Францевну сверху вниз ободочками очков.— Дело в уважении к человеку. Гимназистка седьмого класса, будущая учительница — не рабыня ваша, она гражданин. Вы должны видеть в ней гражданина. Если девушка надела петлю на шею, значит, была доведена до этого. Вот в чем, собственно говоря, главный вопрос.

— Полотенце! — пробормотала Елена Францевна.— Это разница. Полотенце, не петля. Вам каждый адвокат скажет, что разница.

Делегаты встали. Высокий все так же многозначительно посмотрел на меня и кивнул. Я кивнула в ответ. Я была потрясена тем, что Елену Францевну, уверявшую, что предки ее — голландцы, громко назвали словом «товарищ» и в ответ она не разразилась: «Какой я тебе, молокосос, товарищ?» Мы еще не знали нового зву-

чания этого слова, не знали, как обежит оно всю планету, объединяя людей. Это было простое слово гимназического лексикона, имевшее хождение у мальчишек.

— Мы вас предупредили,— сказал делегат, поднимая со лба фуражку,— в остальном дело ваше. Может попасть в прессу, всколыхнуть общественность, перейти в суд. А на суде посмотрим, что именно скажут адвокаты.

Когда они ушли, Елена Францевна явно присмирела и пала духом.

— Что тебе сказали? Какие они на вид? — приставали весь вечер пансионерки.

Мне почему-то не хотелось ничего рассказывать, я была (как в старых романах писали) во власти совсем новых, удивительных ощущений,— мне казалось, я постигаю себя и свое бытие со стороны, в новом свете или в новом (как нынче пишут) аспекте. Я чувствовала на себе, на щеках и волосах, даже в рукавах, прохладное веянье, похожее на ветер, и это мое соприкасанье с ним открывалось мне Временем. Временем с большой буквы. За стенами нашего пансиона, в котором время катилось изо дня в день, из года в год очень похожее, будто одно и то же, как вода в ручейке,— за стенами этого времени-ручейка происходили большие и разные, не схожие друг с другом события. До нас они долетали: забастовки рабочих, демонстрации на улицах, пожары в провинциях и деревнях, запрещенья газет. Но долетали приглушенно, не как наши собственные события. Наши собственные события были медленные, даже стоячие,— продолжив пример с ручейком, можно сказать: они были подобны камушкам на дне ручейка. И так как мы смотрели на камушки, а камушки были одни и те же, они сдвигались движеньем воды даже не на пядь какую-нибудь, а почти незримо,— то и воду мы ощущали стоячей, одной и той же. А вода в ручейке двигалась.

Мы повторяли из года в год начало ученья, каникулы, экзамены, днем — уроки в классах, вечером — приготовленье уроков, и все это с теченьем лет оставалось почти неизменным. А время менялось, вода в ручейке бежала. Врачи говорят, что давленье в наших сосудах, физическое состоянье организма связаны со сменой давленья воздуха, с переменой погоды, и вы их чувствуете, хотя бы вы были не на улице, не на воздухе, а сидели взаперти, в четырех стенах комнаты. Но и весь д у х о в н ы й склад человека, его душевно-духовное состояние, его характер не остаются без взаимодействия с внешним миром, с общественными, политическими, культурными событиями за стенами, хотя бы вы годы сидели в замкнутой сфере пансиона.

То странное, прохладное, влажное веянье, вдруг как бы обдавшее меня и мною названное Временем, встретило ответную волну в душе, подготовленную незримыми впечатлениями, обрывками газет (они попадали в руки очень редко!), обрывками разговоров, чтением,— чтением и тех книг в серых обложках, которыми снабжал нас Иван Никанорович, а главное — всем, что происходило в обществе.

Фидлеровец назвал меня «гражданином». Даже не гражданкой, что в те годы не имело звучания ни на улицах, ни в книгах, ни в учреждениях. А именно «гражданином» — citoyen, как говорили в «Истории французской революции». Дело вовсе не в книжке, сказал фидлеровец. В самом деле, разве дело для меня было в книжке? Если б в книжке, почему я заметила и взбесилась, что Юля сдрейфила? И какое мне было дело, что учительница рисования и девочки подумают «бог весть что»? Ну и «бог весть» — что? Что именно? Тогда, может быть, только очень смутно, а сейчас очень явственно, знаю, что мой гнев, мое бешенство, моя глупая попытка с полотенцем произошли вовсе не из-за «Рокамболя». Воздух в стране, в Москве, за окнами был полон электричества. Надвигалась московская Красная Пресня. В Москве — не в Париже — предчувствовались, зарождались баррикады, было преддверие первой русской революции,— и все во мне, как во многих других, подобно горючему от спички, вспыхнуло ответным пламенем на грозовое электричество в воздухе. Гражданин — не имя; это слово требует падежа, оно несет в себе связь, оно не может быть само по себе, как «мужчина» или «женщина». Гражданин — чего? Я ответила себе мысленно, с восторгом открытия: «гражданин общества»! Фидлеровцы, делегаты, выбранные в Комитет учащихся средних школ, приобщили меня, девочку-семиклассницу, к о б щ е с т в у.

9

Политические новости, даже самые общие — о войне, о мире, о переворотах в разных государствах,— до пансионерок доходили случайными путями. Газет пансионерки не читали. Даже в учительской, где во время перемен собирались учителя, газет не было, вернее — я их попросту не помню, не обращала на них вниманья, если и были они. Новости мы узнавали частью от приходящих. В восьмом классе приходящие, уже взрослые девушки, смотрели на нас, пансионерок, свысока. Из этого добавочного, «методического», необязательного для всех класса кое-кто из живущих отсеялся, унося с собой диплом «на право домашней учительницы». Зато прибавилось очень много новеньких приходящих, придавших классу чужую, незнакомую атмосферу. Среди этих приходящих были очень развитые политически, были дочери революционно настроенных родителей, и наоборот. Помню, поступила к нам в класс высокая, плотная, старообразная лицом, решительно от всего приходившая в недоумение новенькая. Фамилия у нее была почетная, литературная — Бартенева. Из рода того самого Бартенева, которого уважают и цитируют. Она в первый же день отвела меня в сторону и спросила:

— Скажи, пожалуйста, ты дворянка? Скажи, пожалуйста, тут как будто очень мало дворянок. С кем же я буду дружить?

Скоро она перевелась от нас в какое-то другое учебное заведенье. Но большинство приходящих были настроены революционно, и «с воли» на нас веяло свежим политическим ветром времени.

Уж не помню, в седьмом или восьмом классе приходящие принесли нам знаменитый «циркуляр Кассо» о средних школах. Кассо был типичным реакционером, продолжателем в министерстве народного просвещения традиций Дмитрия Толстого, Делянова; как правило, почти без исключений самыми отсталыми и самыми ярыми «гасителями просвещения» были при царизме как раз министры народного просвещения. Циркуляр Кассо наделал в свое время много шуму. Посылались протесты, к студентам примкнули школьники, протесты расследовались начальством, принимались меры. И у нас в классе решили написать «протест». После истории с фидлеровцами я выдвинулась на «передний фронт военных действий», и класс хором закричал: «Ты, Шагинян, ты пиши, ты умеешь!» А когда мое сочинение (уж не помню, что я там настряпала) было нам прочитано негодующим председателем педагогического совета, кому оно было переслано свыше, тот же хор голосов в классе с тем же энтузиазмом выдал меня в ответ на допытыванье, «кто сочинитель».

Я частенько попадала в такие «козлы отпущения» и помню — не обижалась и не огорчалась, неся очередное наказанье. Думаю, что ни я, ни класс не понимали в то время нравственного значенья ни «протестов», ни «выдачи виновного» — то и другое проделывалось из какого-то источника нарастающего удальства. Не совсем обычным путем дошла до нас и очередная новость с фронта войны. Мы знали, что воюем с Японией, и были безразличны к этому. Когда говорили об этом меж собой старшие, мы не прислушивались. Как-то на одном из ростовских концертов моя мать, жившая в то время рядом с Ростовом у дедушки в Нахичевани-на-Дону, познакомилась с певцом Большого театра, армянином Амирджаном, и попросила его по приезде в Москву навестить ее девочек, скучающих в закрытом пансионе.

«Сестры Шагинян, в приемную!» — позвала нас дежурная немка в воскресный день, и было это полной неожиданностью, мы никого не ждали. В приемной стоял большой толстый мужчина с мясистым лицом, густыми черными бровями, элегантный, с гвоздичкой в петлице; волосы у него были напомажены, губы, полные, как у негра, улыбались. Он пришел взять нас в Большой театр на оперу, извозчик ждет у дверей, опера очень интересная, и мы будем сидеть в директорской ложе... В пять минут одетые, перечесав наново косы, мы с сестрой ехали с ним в театр. Мы были уже почти взрослые, а этот большой толстый мужчина говорил с нами почему-то как с маленькими и собирался удивить Большим театром. Мы рассказали ему по дороге, что «наизусть знаем императорские театры!».

Мы их и впрямь «знали наизусть», как и все учащиеся закрытых учебных заведений в Москве. Дело в том, что царская фамилия состояла из многих лиц. Кроме «их величеств», «государя императора» и «государыни императрицы», имелись еще многочисленные «их высочества», имелись «августейшие особы» разного пола, имелись «цесаревны» (во множественном числе), и у всех их в

разное время, преимущественно в зимние месяцы, к величайшему удовольствию школьников, происходили дни рождения и дни именин — Тезоименитства, с большой буквы, как писалось в газетах. Слово это я не уверена, что пишу грамотно, я забыла, как оно пишется. Но, во всяком случае, оно было для нас словом приятным, во-первых, потому, что сочеталось с праздником: так называемые «царские дни» были праздниками, закрывались магазины, не работали учрежденья, в школах не учились. Но это еще не все. В такие царские дни императорские театры бесплатно рассылали ложи во все закрытые учебные заведения, мужские и женские, а кондитерские Абрикосова, Эйнема, Кадэ, Жоржа Бормана и роскошные Елисеевы (или Охотный ряд), торговавшие фруктами, создавали для учащихся «рай на земле».

В фойе «императорских театров» на каждом их этаже и в главном буфете бесплатно выстраивались на столах торты, пирожные, ромовые бабы с фруктовыми напитками и белым душистым оршадом, питьем из миндаля. А в каждую ложу клалось по коробке шоколадных конфет и по корзинке с фруктами. Делалось это так часто и так постоянно, что мы привыкли. Мы надевали в эти дни белые фартуки, чинно раздевались у дружелюбных вешальщиков, чинно рассаживались в ложах и без всяких склок делились конфетами. По парам, как на прогулке, с классной дамой во главе мы шли в антракте в буфет, поедали свою порцию торта, запивали оршадом, встречались глазами с соседними девочками из гимназии Калайдович, с алферовками (из гимназии Алферовой), с лицеистами, старыми знакомыми, но не разговаривали. Разговаривать было не принято.

И вот что я хорошо помню: с первого дня, с первого «тезоименитства» очередной «августейшей особы», у нас, не избалованных сладостями, почему-то не возникало никакого чувства благодарности августейшим особам. Мало того: память хранит мне странное пренебрежение и даже как будто обидность, невзлюбленность к даровому угощению. Иной раз даже торт не шел в рот и казался жирным,— и не было желанья получить побольше, взять вторую порцию. Я приписываю это, особенно в первые дни таких праздников, впечатлению от особого поведенья наших классных дам. С нами ходили в театр или фрейлейн Метцлер, или мадемуазель Муше. Обе — каждая на свой лад — были крайне независимыми и начитанными, имевшими свои убеждения — правда, в скрытом виде, не выражаемые в речах,— о царизме. Балтийская немка Метцлер, интеллигентная и с чувством собственного достоинства, питала насчет царизма оппозиционные «балтийские» взгляды. Вторая — милая, жизнерадостная республиканка — считала «царские дни» открытой самодержавной пропагандой, подкупом детской души. Ни та, ни другая этого не говорили. Но в том, как относились они к конфетам и тортам, в том, как не требовали от нас «благодарности» за царскую любовь и не выражали ее за нас сами, мы, дети, чувствовали их позицию и сами тоже привыкали к некоторой независимости: «Ну и что тут особенного? Купцы угождают царю, а теат-

ры все равно царские, им ничего не стоит. Это все им нужно, а вовсе не нам». Так примерно выкристаллизовывалась психология; и этой настроенностью обменивались мы с гимназистками других школ во взглядах, когда встречались с ними глазами.

Так, дружно приводя детали, мы на извозчике рассказывали Амирджану о нашем знании наизусть императорских театров. Конечно, не все девочки попадали на каждый спектакль, мы ходили по очереди. Но все равно часто. Амирджан — кажется, взятый в Большой театр из провинции за свой хороший голос — музыкально свистел и посвистывал в ответ. Когда нас посадили, на один стул обеих, в первом ряду директорской ложи, Амирджан принес нам коробку шоколада и сказал:

— Ну я, конечно, не августейшая особа, сколько могу,— приятного аппетита, барышни мон.

Началась опера. Это были «Искатели жемчуга» Бизе, роковая опера в моей жизни. Я ни разу не смогла досмотреть ее до конца и вообще посмотреть... Вдруг к концу первого действия что-то дрогнуло на сцене, трепет, как волна, пробежал по зрителям в партере. За нами и рядом с нами сидящие встали и тихонько вышли. Амирджан, сидевший боком к сцене на какой-то приставочке, прикрыл ладонью глаза, потом посмотрел на нас замутненным, как оконное стекло от влаги, взглядом своих больших, карих, по-собачьи добрых глаз и сипло проговорил:

— Девочки, если можете, доберитесь домой одни. Вот вам мелочь на извозчика, они стоят у театра. Я не могу... Большое несчастье. Погиб наш адмирал... Японцы потопили наши корабли.

Крылатое это известие облетело в одно мгновенье весь театр. Занавес был опущен. Многие зрители, теснясь, как на пожаре, стали уходить совсем, не дожидаясь окончанья оперы. Мы с Линой тоже поспешили одеться и на извозчике поехали домой.

Мы еще не знали тогда, что для кое-кого из зрителей, уходивших из театра, наше поражение в войне с Японией означало удар по их безмятежному бытию. Начало «смуты» (как называли они назревавшую революцию). Неустойчивость русских банков. Беспорядки в армии. В университетах... Вообще — «Спаси и помилуй!».

А прослезившимися патриотами, дрогнувшими от гибели замечательного адмирала Макарова, кроме доброго Амирджана, были старики вешальщики, дрожащими руками подававшие одежду.

«Искателей жемчуга» Бизе я назвала «роковой» оперой, потому что в один из царских дней она косвенно послужила поводом к огромному событию в моей жизни, которым очень, очень немногие из моего поколенья, кто дожил до сегодня, могут похвастаться. Как обычно, в одно из «тезоименитств» нас взяли в Большой театр. Мы вошли в ложу, принялись раздеваться, но тут капельдинер, обведя нас глазами, сказал классной даме, что одна из девиц числом лишняя. В ложах строго соблюдалось определенное количество зрителей. Никому и никогда не дозволялось, кроме одной директорской и, разумеется, царской ложи, нарушить это правило. Классной

дамой с нами в этот вечер была мадемуазель Муше. Она попробовала разжалобить капельдинера, но ничто не помогло, хочешь не хочешь, одной из нас следовало отправиться восвояси. А внизу, в партере, уже заполнялись места. А в оркестре начинался настрой инструментов, такой манящий в своей разноголосице, такой обещающий музыку! А на одном из кресел лежали корзинка с фруктами и длинная шоколадная коробка.

Никто не хотел уходить, и я не хотела уходить, я любила Бизе по «Кармен», и мне было интересно, какой он в «Искателях жемчуга»... А глаза всех девочек жалостно обратились именно ко мне. Вечно я козел отпущенья! Но мадемуазель Муше сказала:

— Ты уступи подругам, следующий раз пойдешь без очереди.

Я оделась и пошла назад, в пансион. Случай этот так бы и забылся на следующий день. Пока я шла домой, одна по вечерним улицам, что само по себе было редким удовольствием, моя хмурость душевная — вечно выносить эту апелляцию к твоему благородству, хотя ты вовсе не желаешь быть хроническим рыцарем благородства, не желаешь и не желаешь! — эта моя хмурость душевная постепенно вытаптывалась в то самое знакомое с малых лет, матерью воспитанное беззаботное чувство перехода отдачи в получение,— и дошла я в самом чудесном настроении до гимназии. Только мадемуазель Муше не забыла и рассказала об этом Любови Федоровне.

Вдруг, через много дней, принесших много новых дел и происшествий, меня вызывают в директорскую к начальнице. Вечером надо надеть новую форму и фартук. Любовь Федоровна — сама Любовь Федоровна берет меня с собой в театр на «Демона», где будет петь Демона Шаляпин. Хоть рубинштейновский «Демон» и написан для баритона, но Шаляпин захотел его спеть. Это редкий случай — услышать его в такой партии. Он бас, но баритональный бас,— вот почему он решился взяться и спеть эту партию... Ты благодари свою судьбу!

По природе и при всем отчаянном буйстве, я стеснялась малознакомых людей и была просто страдальчески застенчива, поэтому ехать с начальницей и ее мужем и еще какими-то незнакомцами было для меня пыткой. Если б можно, я с наслажденьем уступила бы свое место кому угодно. Дыханье у меня сперло, оно стало короткое и застревало во рту, как при задышке, руки покрылись холодным потом, кончик носа стал похож на деревянный, и я все время в ложе, пока усаживались, наступала кому-нибудь то на платье, то на ноги. Словом, ничего приятного не предвиделось мне от этой необыкновенной награды за мнимый рыцарский поступок. Посадили меня в первый ряд, но почти все, и племянницы Любови Федоровны и двое мужчин, тоже втиснулись в первый ряд, так что я вдруг почувствовала биение своего собственного сердца где-то отдельно от меня, не то в чужом стуле, не то в чужом локте. В мыслях было: «Хоть бы поскорей, хоть бы поскорей» — чтоб поскорей все кончилось. И вот медленно поднялся дирижер за пульт, поднял палочку. Раздвинулся занавес.

Рубинштейн — композитор не первого ранга. А опера «Демон» не входит в число лучших опер. Наша ложа, стоившая бог знает как дорого и доставшаяся Любови Федоровне с великим трудом, была почти у самой галерки, на четвертом или пятом ярусе. Слух мой, хоть я и должна была в классе пересесть с задней скамьи (скамьи лежебок и философов) на переднюю парту, еще мало отличался от нормального, музыку я слышала хорошо, и даже речь в драматических театрах достигала меня. И зрение мое, очень юное и «абсолютно точное», как говорили глазные врачи, не нуждалось в очках,— близорукость и глухота пришли постепенно, приучая меня к себе медленно и незаметно. Поэтому вечер, один из самых потрясающих из пережитого мной, запомнился мне на всю жизнь.

Красно-золотой лилейный цветок Большого театра, увиденный в сиянье его люстр сверху,— как гигантская раскрытая чаша. Черная фигурка дирижера, вроде одинокого пестика, и льющаяся вверх, из низин оркестра, музыка, похожая на аромат,— все это захватило сразу, успокоило глупые толчки сердца, успокоило нервы, потому что красота отодвинула мысль о себе самой, а значит, сняла и застенчивость. Это пришло как подготовка к главному чуду. Главным чудом был Демон — Шаляпин.

Все пансионерки знали Шаляпина по фотографиям. Он нам казался грубым мужиком по внешности, лицо — блином, большое, масляннстое, мясистое, глаза маленькие, ресницы белесые, как у кролика, волосы какие-то приказчичьи,— все что хотите, пусть будет гениальный певец, но влюбиться в такого, найти в нем нечто романтическое — невозможно себе представить. Наш класс был в этом единодушен. У каждой пансионерки был свой герой, были даже рыжие (шотландцы!), были покрытые веснушками, курносые (явно взятые из жизни), были бледные, умирающие от чахотки,— но такого ни у кого. И такой — вдруг предстал на сцене в необыкновенной, магической выразительности.

Был, конечно, грим, и очень тонкий, умный грим; был этот сверхчеловечески прекрасный голос со всеми его оттенками; была культура — ее чувствовали даже неопытные, несмышленые люди — в удивительной мере, в соразмерности огромного актерского бытия с его окруженьем, в умении держать и сохранять эту соразмерность, как гениальную графическую черту, проведенную тушью Рембрандта. Но кроме всего этого, было главное, что придало игре Шаляпина такую власть, такую бесспорность, какие объяснить одним обаяньем нельзя было. Странно, что я, семиклассница, поняла ее, хотя и не разумом. Я поняла ее так, что спустя семьдесят лет (для точности — шестьдесят семь лет) могу ее разумно объяснить себе самой и читателю. Сперва — как и чем я ее поняла т о г д а. Беспредельной, разрывающей сердце ж а л о с т ь ю. Жалостью, которая может заставить жизнь отдать, душу отдать, но что ни отдавай — все равно ничем не поможешь. Потому что нет надежды, спасти — нельзя!

Так подействовал образ, созданный Шаляпиным.

Я имела огромное счастье увидеть и услышать его в той партии, которую он исполнял так редко.

Что же произошло в этот вечер? И прежде всего — почему Шаляпин так сильно захотел петь в роли, трудной и опасной для его голосовых связок, для его драгоценного голоса, который он всегда заботливо берег? Чем покорила его эта партия? Мне кажется, Шаляпин был привлечен не оперой, не музыкой Рубинштейна, а тем, что́ он по-своему прочитал у Лермонтова. Он захотел дать демона, подлинную страшную фигуру Люцифера, прекрасную, одаренную всем, что только может быть дано человеку, но — захотевшую стать еще большим. Не богом, а выше бога. Потому что быть как бог значит быть вдвоем. Но демон не хотел делиться, он хотел полного, абсолютного, неделимого обладанья властью, хотел стать одним-единственным — и пал. И так всегда с тем, кто захочет стать одним во Вселенной, единственным, кто все раздробленное бытие человеческого единства, составленное из миллионов людей, людских индивидуальностей, людских судеб, это бесконечное единство неисчислимых частиц бытия, захочет соединить в себе одном, представить собой Вселенную... «Сумасшедшее фортепиано», возомнившее, «что оно есть единственное существующее на свете фортепиано и что вся гармония вселенной происходит в нем». По Дидро. И — по Ленину! [18]

Как понял и чем передал Шаляпин такой образ демона? Несмотря на все страстные слова о любви в поэме, у лермонтовского демона, «духа сомненья», нет любви. «Смертельный яд его лобзанья» не животворит — он убивает. Из всего богатства поэмы Шаляпин как будто выбрал мотив одиночества. Он вложил в созданный им образ огромную работу ума, спев невозможность для его сердца любви. Он показал гениальной игрой, что демону, вольному сыну эфира, воображающему, что он может дать любые мирские сокровища, сделать Тамару царицей мира, нет надежды, нет выхода, нет спасенья, ибо Люцифер — единственный в мире, «один, как прежде, во вселенной»,— не может любить. Любовь для демона — в трактовке Шаляпина — безнадежная мука не потому, что ее не разделяет Тамара, а потому, что сам демон не любит, не может разделиться, не может познать чужое «ты».

Когда Шаляпин пел это знаменитое «И будешь ты царицей мира, подруга первая моя», исполняемое другими певцами с необыкновенным пафосом, торжествующе, триумфально, его дивный голос звучал смертным отчаяньем — нет подруги, не может быть, не ее, земную Тамару, обыкновенную красивую грузиночку, желает сверхбог, а желает раздвоиться, почувствовать прелесть и надобность чужого, другого бытия — и не дано ему, не дано изведать простое счастье этого «ты», доступное каждому жучку, каждой тычинке в цветке, всему многоликому земному. Именно это отчаяние и передалось натянутой антенне полудетского восприятия, и в ответ ему обожгла сердце жалость. Помню, как мы

[18] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, с. 31.

вернулись домой и Любовь Федоровна повела меня к себе наверх ужинать,— а я ровно ннчего не могла съесть и ответить на вопрос, как мне понравилось. То было первое настоящее соприкосновенье всех моих чувств с гением искусства.

Вообще, когда я смотрю назад в прошлое (по привычке: назад, как вперед), я вижу многое, что было воспринято, но еще в то время не осознано. Казалось бы, жить в пансионе, в закрытых от внешнего мира четырех стенах, в течение чуть ли не пяти-шести лет — убийственно для человеческого развития, так мало может оно, это развитие, получить пищи извне. А между тем, если дать себе волю (чего не позволяет чувство меры), можно было бы не десятки, а сотни печатных листов исписать анализами полученных тогда впечатлений. Мне ясно сейчас, что жизнь человека — это ступенчатая, длительная психологическая подготовка к тому, что впоследствии, с конечной, предсмертной точки огляда ее, предстанет перед ним как его судьба. Моею судьбой — в этой длинной ступенчатой психологической подготовке характера — было приятие Октябрьской революции, перевернувшей страницу в истории человечества, абсолютное приятие — от сердца к разуму.

10

Я уже сказала, что зарабатывать начала с четырнадцати лет, но печататься в газете, получив первый реальный заработок за печатные строки, начала с пятнадцати; поэтому все мои «юбилеи литературной работы» считаются с 1903 года.

Случилось это так. Лето 1903 года мы проводили у одной из теть, самой младшей маминой сестры, в Геленджике, где у нее была дача. Жгучей темой летнего сезона было самоуправство трех братьев, греческих купцов, устроивших лесной склад без всякого права и спроса прямо на морском пляже. Геленджик расположен не на открытом море, а на берегу большой бухты. Вид на эту спокойную синюю бухту, каменистый пляж, вдоль которого стоят купальни и лодки, тихо покачивающиеся на мелкой зыби возле недалекого причала, был в то время лучшим «аттракционом» этого маленького дешевого курорта. И вдруг на всем пляже выросли штабеля дров. Они закрыли «вид». Они загородили весь пляж. Смотреть не на что, купаться неоткуда,— а пойди уйми этих купчиков, имевших где-то «руку». Суд вынес решение: убрать дрова. Но греки не обратили на суд никакого вниманья. Единственный полицейский чин Геленджика ходил вокруг штабелей, не зная, как к ним подступиться.

А нам на дачу носил новороссийскую газету старый почтальон, навидавшийся, как он говорил, на своем веку всякого. Он носил очки, обмотанные на переносице ваткой. Устремив на меня сквозь эти очки пристальный взгляд, он как-то сказал:

— Ты вот стихи пишешь. Продерни их стихами. Я съезжу по делу в Новороссийск, свезу твои стихи в редакцию. Ну как, сумеешь?

Я написала фельетон «Геленджикские мотивы». Были перечислены в нем разные местные недотяпства. И между прочим в нем вырос, где не положено, склад «господ Левитисов для дров».

Но берег нужен для купанья...
Но бревна портят всякий вид...
Мой друг, напрасны причитанья!
Здесь всякий видит и — молчит.

Не бог весть какое негодование, не бог весть какое остроумие, но фельетон пятнадцатилетней девочки был напечатан в газете «Черноморское побережье», и случилось чудо: остроумие и злость придали детским стишкам сами читатели. Геленджикские мальчишки, дамы, кавалеры дам, служащие пристани, даже рыбаки, сами из греков, зазубрили стихи и задразнили бедных Левитисов. На разный лад, разными акцентами, даже не очень правильно по-русски, на греков обрушивались, где бы они ни появились, «прычитанья», «бэрэг», «усякий»,— я с упоеньем внимала собственным стихам, пошедшим в массу, и сама декламировала их с «народным» акцентом, напирая на «усякого» и «прычитанья». Нежданно-негаданно греки свезли дрова с берега на далекую окраину. Открылся «вид». Очистился пляж!

Через несколько дней перед нашей калиткой появились три красивых молодых человека, одетых по тогдашней «последней моде». Это были греки, хозяева дровяного склада. Старший из них, Нестор, ниже ростом и полнее, снял шляпу, поцеловал у тети ручку и объявил, что они пришли познакомиться с молодой поэтессой. Младший из братьев, Орест, завел речь о том, что молодому таланту негоже погрязать в гражданской тематике. Талант — это дар небес. И нужно вскинуть глаза на небо, посмотреть, сколько вокруг красоты, вечной красоты природы,— воспеть все это долг таланта! При этом нельзя было не заметить, что сам Орест очень красив и усики его поднимались над губой самого пленительного разреза. Он также очень хорошо танцевал, исправно посещая наши геленджикские танцульки, шаркал ногой, когда подходил пригласить вас, делал какие-то необыкновенные повороты своих партнерш вокруг себя на вальсах и мазурках — словом, я стала ходить за ним, высунув язык, как собачка. Недели не прошло,— старик почтальон повез в редакцию «Геленджикские мотивы» № 2, где были звезды, отражение их в море, запах роз и — соловей в кустах. На беду, соловья я присочинила, его никогда никто в Геленджике не слыхал, и было даже такое местное мнение, что растительность для него неподходяща. Пакет был мне возвращен с надписью редактора: «Рахат-лукум».

Образ Ореста с его усиками испарился у меня из памяти еще задолго до того, как мы уехали из Геленджика. Но вот я сижу и пишу сейчас, отчетливо видя перед собой энергичный почерк редактора «Черноморского побережья» и его резюме «рахат-лукум». Это был двойной урок, на всю жизнь. Острое ощущенье власти га-

зетного слова, подобного мышке из присказки: дед бил-бил — не разбил, баба била-била — не разбила, мышка пробежала, хвостиком махнула — и дровяной склад, не шелохнувшийся от решенья суда, не дрогнувший от полицейского, убрался прочь во мгновение ока. Это было волшебное «оперативное действие» газетного слова. Но когда это же слово неточно, когда оно врет, выдумывает, чего нет, получается рахат-лукум, вязкое и чересчур сладкое восточное лакомство.

Согрешила я еще один раз и получила еще один урок. Множество побед в своей жизни можно забыть и даже отмахиваться от них, когда напоминают. А вот поражение и урок от него запоминаешь навеки. Мало того — держишь их в памяти, повторяешь потомству с удовольствием, потому что полученный и принесший свою пользу урок всегда, по крайней мере мне, доставляет удовольствие. Много раз раздумывая над таким парадоксом, я пришла к практическому выводу: есть такая вредная пословица, отражающая вредное положение вещей,— «победителей не судят»,— по которой отсутствие «суда» над победой, то есть обсуждения и урока от нее, делает, в сущности, бесполезной для вас эту победу и даже отчасти вредной, поскольку она — ну ничего, ничего не приносит для вас, кроме удовлетворенного тщеславия. А вот пораженье — всегда урок. А вот урок — всегда прибыль. А прибыль приносит явную пользу и остается в памяти.

Со вторым уроком дело было так: уже в полной славе опытного корреспондента я была послана «Правдой» в 1935 году в Ленинград реферировать Пятнадцатый международный конгресс физиологов. За шестнадцать дней «Правда» напечатала семнадцать моих статей, ухитрившись в один день провести две, одну за подписью М. Шагинян, другую с полным именем и фамилией,— случай, как говорят практики, в нашей центральной печати единственный. И благодарную выписку из протокола вручили, где работа моя оценена была очень высоко. Однако же ни редакция, ни близкие друзья не знают о моем крупном поражении в этой расхваленной работе и о полученном мною уроке. На весах внутреннего чувства это поражение и этот урок сильно перевешивают для меня хвалебную выписку из протокола.

Мне было до начала конгресса поручено съездить в Колтуши, знаменитую «собачью» резиденцию академика И. П. Павлова, где велись опыты с условным рефлексом. Я поехала, внимательно осмотрела, вдумалась, написала. Проверила у близких учеников Павлова, крупных профессоров. Получила визу: «Блестяще! Все правильно». Статья была отправлена, принята, напечатана, встречена комплиментами.

— Вот, Иван Петрович! — сказал один из учеников академику Павлову.— Вы ругаете корреспондентов. А посмотрите, как Шагинян хорошо написала!

Иван Петрович придвинул очки к переносице, взял газету, прочитал мой очерк и сказал:

— Набрехала!

Ученик возмутился:

— Где, в чем? Все верно! Все правильно! [19]

Павлов указал пальцем на одну строчку в первой колонке. Там было описание дороги на Колтуши. И увы, увы! Там было сказано о цветах, росших по обочинам дороги... А по обочинам дороги, приподнятым земляной насыпью, был зеленый травяной дренаж, чистая однообразная зеленая трава — и без единого цветка, без намека на цветок и, главное, без всякой надобности и возможности на зеленом дренаже иметь цветы. Это не было «ошибкой» с моей стороны, это был именно «брех», никчемный перелет разыгравшегося воображенья. Какой урок! Я пережила его почти с восторгом, потому что это был заслуженный мною урок, данный великим ученым, гением науки. С тех пор я знаю: люди, не бойтесь ошибок, честных ошибок в своем творчестве, мы все не боги, мы живем долгую жизнь и не можем не ошибаться на трудной дороге жизни. Но, люди! Бойтесь б р е х а! Потому что б р е х — это не ошибка, это проступок против себя самого и против правды, перелет через цель, своего рода лихачество мысли,— и в брехе, в допущении бреха человек допускает нечестность.

Как уже выше рассказано, до посещения фидлеровцев после моего «самоубийства» мы мало имели в гимназии дела с газетой, и даже годом раньше, в Геленджике, купив пять штук с собственным произведеньем, я потом в нее не заглядывала и новости узнавала из разговора за чайным столом. Однако сейчас, идя памятью своей в прошлое как в будущее, помню один случай и явственно вижу начальный лист газеты,— одно имя на ней, из далекого детства, перескочившее в 1922 год, в мой «Месс Менд».

Готовясь ко второй книге воспоминаний в милом сердцу городе Ленина, я проводила рабочие свои дни в читальном зале Публичной библиотеки за столом с дощечкой «Для докторов наук». И однажды, покинув свое теплое докторское место, пошла в путь по Невскому, а на Невском свернула налево, на Фонтанку, чтоб там подняться в читальный зал для старых, дореволюционных газетных комплектов. Заказала — и мне сразу подали «Русские ведомости», комплект за 1897 год, тот именно знаменательный год, когда я поступила в гимназию Ржевской после двух лет у Констан-Дюмушель. Мне захотелось полностью воскресить праздничный день первого января, газетный лист в руках у моего отца, повернутый к нему лицом, негромкое чтение чего-то вслух, вызвавшее реплику матери, а в ответ на нее отцовские слова, прочно засевшие в памяти. Сам по себе день этот был памятный: первого января мы праздновали день рождения Лины, и установился обычай делать на дни рожденья подарки сразу нам обеим, потому что та, кто в этот день «родилась», неистово требовала, чтоб одаривали вместе с ней и «не родившуюся», угрожая «бросить» свой подарок, если сестра тоже не получит подарка. Вели мы себя до того

[19] Весь эпизод рассказан мне со слов при сем присутствовавшего.

агрессивно (словно рабочие на стачках), что родители именно в этот день решили провести эксперимент и не подарить никому ничего. Об этом, переведя день по годовому счету годика на три-четыре назад, я начала в 1918 году свою детскую повесть о волшебной стране Мэрце...

Не в повести, а в жизни день этот был проще. Мороз кружевом залепил окна. Солнце разлагало в ледяном узоре кусочки своей радуги. Все было спокойно и отдохновенно за столом; встали по-праздничному поздно, отец сидел в накинутом на подтяжки старом пиджаке, еще небритый, углубившись в «Русские ведомости»; мать подогревала на крышке свистевшего самовара чудные, подрумяненные московские калачи. Так оно все началось первого января 1897 года, в день Лининого семилетия. А весной 1971 года, когда мне уже стукнуло восемьдесят три, я получила в руки огромный, хрупкий и пропыленный временем, с прохудившимися, ломкими страницами фолиант, переплетенный в жесткий картон. Обложку нельзя было согнуть. Положив комплект на подставку, нельзя было сесть. Чтоб увидеть верхние строки, надо было всякий раз вставать и ложиться на фолиант грудью, а чтоб переписать или законспектировать нужный текст, снова сесть и уткнуть нос в тетрадку. Так я перочинным ножичком сгибалась и разгибалась несколько часов подряд, но зато шла все вперед и вперед в прошлое...

Газета «Русские ведомости» имела свой заслуженный титул, ее звали профессорской. Предполагалось, что в ней достойным тоном, без крайностей в ту или другую сторону, но зато и без вранья дается некоторая сдержанная объективность. И даже внешностью своей — однообразием шрифта, отсутствием всяких броских заглавий, почти полным отсутствием подписей под статьями, полным изгнанием опечаток и невежества — она похожа была на своего редактора, В. Соболевского, как иные фасады домов похожи на своих домовладельцев. Но на этот раз, отдавая дань празднику, первая страница «Русских ведомостей» допустила небольшую фривольность.

Среди обычных объявлений — о журнале «Вокруг света» с бесплатным приложением двенадцати томов Жюля Верна и «двух роскошных видов Крыма и Киева» или о женском учебном заведении Е. Н. Дюлу с пансионом и упором на иностранные языки — в том самом доме на углу Поварской и Мерзляковского переулка, где помещались в мое девичье время Высшие женские курсы Герье, заменявшие нам, девушкам, университет,— среди этих и подобных им объявлений, как «домовитая ключница» у Гомера, втиснулось:

«От магазина мебели Смирнова поздравляют многоуважаемых гг. покупателей с Новым годом Николай и Федор Смирновы».

И от табачного торговца И. Эгиза в стишках:

Позволь, читатель дорогой,
Тебя поздравить с Новым годом,
Пусть он пошлет конец невзгодам,
Пусть он пошлет тебе покой!..

Желаю я (я не подлиза),
Чтоб ты и летом, и зимой
Курил табак от И. Эгиза,
Что проживает на Тверской...

Но главное, что сразу бросилось мне в глаза, да так, что даже карандаш в руке вскинулся,— было имя... Зубоврачебный кабинет врача Биска. Странная, необычная, ни на какую другую фамилию не похожая фамилия Биск. Когда я писала «Месс-Менд» и у меня появился вдруг шотландец Биск, который должен был по ходу романа погибнуть, покойный «серапионовец» Л. Лунц, слушавший это место в чтении, сказал мне: «Биск — не шотландская фамилия!» А сестра Анна, тоже слушавшая чтение «Месс-Менд» от выпуска к выпуску, слезно взмолилась: не губи ты Биска, спаси его. И я не переменила фамилию и спасла Биска от смерти. Вот оно, оказывается, это имя Биск, странное, не шотландское и неизвестно какое,— и если оно подвернулось мне под перо с тех незапамятных времен, то не задержалось ли оно и в Анниной памяти, заставив ее вступиться за Биска?

По хорошему обычаю тех времен, новогодний газетный номер давал обозрение всему тому, что унес с собой ушедший старый год. Некто, подписавшийся Буква (чуть ли не единственная подпись в целом номере), дал такое обозрение, целый большой подвал. Началось оно совсем невинно, строго экономически. Какую огромную экономию сделали бы мы, если б не потратились на тысячи перчаток, тысячи извозчиков, тысячи визитных карточек, тысячи и тысячи двугривенных на чай тем, кто открывает на звонок дверь, если б не приступили в первое же число нового года к обязательным «визитам» с оставлением карточек, убив к тому же на разговоры по городу первые, недоспанные часы утра после пьяной новогодней встречи. Буква с гражданским негодованьем (и не без «политики») высчитал все траты на нелепости этого обычая, начинавшегося, как водится, с канцелярий губернатора, городских сановников, потом разных видных чинов, потом первогильдейцев, имевших вес и значение, потом знакомых и родственников. Дальше начались примечательности истекшего года, касавшиеся, главным образом, той рубашки, которая была газете всего ближе к телу, то есть печати:

Нижегородская дума лишила местную газету права печатанья в ней городских публикаций за непочтительное отношенье этой газеты к речам ораторов;

в Мелитопольской думе член управы, некий Рубцов, предложил представителю газеты особый стул с продырявленным дном;

в Таганроге член городской управы публично обратился в газету «Приазовский край» со словами: «Ежели ваш корреспондент еще писать будет, я ему морду набью»;

в Саратовском губернском дворянском собрании некто Павлов поднимает вопрос о том, чтоб исключить газетных корреспондентов из состава присутствующей на заседаниях публики;

Одесская дума и биржа, устроив банкет в честь министра фи-

нансов С. Ю Витте, предложила предоставить местной печати отобедать после банкета остатками после этого обеда...

За длинным перечнем «невзгод», конца которым пожелал табачный торговец И. Эгиз, следовали более серьезные примечательности ушедшего года: полицмейстер того же Таганрога (города, где член управы грозит «набить морду») уже не только грозит. Он «упорядочивает молящихся в храме», действуя «на кого словом, на кого протоколом, на кого убеждениями солдатских рук». Интересно, что же беспорядочное происходило в храме? Томский губернатор Ломачевский издал в «Губернских ведомостях» циркуляр народным учителям против употребления «мудреных слов» в преподавании. Цитата из циркуляра: «Употребление каких-либо иностранных слов в деле обучения я воспрещаю, и неисполнение этого требования повлечет за собою неминуемое оставление должности сельским учителем». А как быть с самим словом «циркуляр»? В той же Нижегородской думе гласные «умоляют городского голову, барона Дельвига, сообщить им хотя бы приблизительно, каких размеров, наконец, достигла задолженность города». И барон Дельвиг («О, Дельвиг, Дельвиг!» — несомненный родственник пушкинского Дельвига) отвечает: «Бухгалтеру нужны две недели, чтобы сосчитать общую сумму городских долгов». И напоследок обзора: «В сенате — дело бывшего начальника Могилевского округа путей сообщения Авринского. Оно дает грандиозную картину кругового взяточничества и казнокрадства целого края».

Наверное, мой отец читал матери вслух именно этот фельетон Буквы, потому что мать как-то вопросительно сказала отцу:

— А ведь смело, Сережа?

Отец свернул газету и ответил:

— Хороша смелость — сборник анекдотов под сурдинку! Даже не верится, что Салтыков-Щедрин умер семь лет назад.

Январь 1897 года. Салтыков-Щедрин, писатель, любимый Лениным, уже семь лет как замолчал. Уже полтора года, как Ленин создал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Он сидит в тюрьме. И в феврале 1897 года начинает свой ссыльный путь в село Шушенское... А Буква в профессорской газете дает свой обзор, похожий на сборник смешных анекдотов,— после страшного, как грозовой гром промчавшегося над Россией обличительного голоса Щедрина. Как многоэтажно разыгрывается и по-разному видятся разными слоями людей историческая симфония Времени!

Щедрин никогда не захватывал меня так, как другие русские классики. Я начинала его читать — и как-то откладывала в сторону. Только недавно я раскрыла том Щедрина и погрузилась в него. Страшный мир чудовищных рож, гнусного гнилья, бессильного барахтанья, искаженных обликов человеческих обступил меня, и это был образ эпохи, Руси, в которой я родилась и жила, Руси с ее весенними полотнами Саврасова, беспомощно милыми интеллигентами Чехова, мечтательной музыкой Чайковского, снегом, метелью, медленностью движенья, всей прелестью старого уюта, скрипящих половиц, церковного перезвона, морозных утр,— но

этот страшный, непохожий, бесчеловечный мир Щедрина был тоже реальным, действительным русским миром, таким же реальным, как «Тройка» Чайковского. Я почувствовала себя захваченной Щедриным. Но несравненно сильней всех книг Щедрина подействовал на меня его портрет.

Это — один из его портретов, приложенных к многотомному собранию. Из-под густых бровей и тяжелых надбровий прямо в глаза вам смотрит отчаянный, почти безумный в своей горечи, какой-то вопрошающий вас взгляд — взгляд великого русского писателя. И в этих глазах — весь путь, все наследие, вся школа мысли и чувства тех, кто любил свою родину «сквозь слезы», кто боролся за все прекрасное в ней, выйдя один на один, как богатырь в поле, на схватку с безобразными масками, искажавшими это прекрасное.

И — прерывая свои воспоминания — я почувствовала, как мало мы, писатели, счастливые граждане нового мира, думаем об этой школе, доставшейся нам в наследство, школе великой русской литературы, создававшейся не скрипом пера, не стуком машинки, а священной кровью сердца и всей отданной ей жертвенной жизнью русского писателя.

Август — сентябрь 1971 г., Дубулты

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Дом Феррари

Духовный труженик — влача свою веригу,
Я встретил юношу, читающего книгу...
Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь»,—
Сказал мне юноша, даль указуя перстом.
Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,
Как от бельма врачом избавленный слепец.
«Я вижу некий свет»,— сказал я наконец.
«Иди ж,— он продолжал,— держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг.

А. Пушкин. Странник [1]

...да будет мне позволено обозреть мои дела так, как я рассматриваю жизнь вообще, а именно как выражение духовного деяния, проявляющего себя всесторонне — в науке, искусстве, частной жизни.

К. Маркс [2]

1

Для тех читателей, кто привык приступать к тексту, минуя эпиграф к нему как нечто случайное, я хочу начать с просьбы: обратите внимание на эпиграф! Он не случаен,— он необходим для автора, как «ключ» для композитора, в котором будет звучать произведенье. К тому же данный эпиграф,— верней целых два,— сам по себе требует вниманья. Молодой Карл Маркс в письме к отцу соединил два слова в странном сочетанье, совершенно необычном для его лексикона: духовное и деяние. А Пушкин незадолго до своей смерти, на закате короткой жизни, сделал то же самое: соединил такие же, казалось бы, противоречивые слова: духовный и труженик. Маркс писал отцу о себе с полной сыновней искренностью, как бы исповедуясь; и в этой исповеди признался, что рассматривает жизнь как духовное деяние. Он был еще очень молод... Пушкин, уже зрелый, истерзанный жизнью, в конце ее вдруг захотел переложить в стихи мистическую прозу английского проповедника XVII века Джона Беньяна, модного в ту пору в масонских кругах, и создал странное сочетание: духовный труженик. Не труд мыслителя, делающего научное открытие, роющегося в архивах, эксперименти-

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. 3, с. 341.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., Госполитиздат, 1956, с. 7.

рующего в лаборатории. А труд духа человеческого, деяние духа, «проявляющего себя всестороние — в науке, искусстве, частной жизни», по Марксу. Пусть один это сказал в молодости лет, когда все мы немножко идеалисты; а другой потянулся к этому на склоне своих зрелых лет, когда все мы немножко «мистики», задумываемся над тем, что далеко за «горизонтом» жизни, за самой жизнью. Но слова сказаны, написаны, остались. И я задумалась над ними, приступая к самому трудному периоду моей собственной истории.

Пусть то, что я попытаюсь сейчас объяснить (самой себе!), наивно или даже неверно, но для меня оно реально, как пережитое. Мне думается, есть периоды времени, когда это соединенье «духовный труд» случается и в жизни некоторых людей, и в жизни некоторой части общества. Чаще всего — после огромного взрыва практического действия, закончившегося временной неудачей, за которой волна пережитого подъема как бы уходит от берегов, оставляя «сушу» разочарований, усталости, опустошенности. Так было со многими после революции 1905 года. Не только схлынула волна революционного действия, но и стали потухать — один за другим — очаги революционной деятельности, вызванные этой волной к жизни: закрылось множество газет, журналов, издательств, типографий, обществ, книжных лавок, комитетов, собраний, секций, кружков... Не сразу, а с неотвратимой постепенностью. И как раз в это время молодежь моего поколенья, кончив среднюю школу, готовилась поступить в высшую.

Но годы 1908—1914 принято не совсем точно, потому что не для всех, называть реакционными. Для группы молодежи, выросшей вне политики, к которой принадлежала и я, разбуженная потребность действовать, бороться, чувствовать себя в массе вылилась в поиски новой формы активного труда, которому не угрожало бы никакое закрытие, никакая профессиональная опасность. И мы невольно потянулись в щели той активности, какую Пушкин и Маркс назвали «духовным трудом».

Выковка миросозерцанья, ответы самим себе на сотни вопросов, гамлетовская отвлеченность этих вопросов, их постоянная возвращаемость для людей чуть ли не с каждым поколеньем — это всегда труд, деяние души и духа, переживание, связанное с внутренним развитием личности; и в этом невидимом труде всегда есть и борьба — борьба с самим собой за предельную искренность против формы. Годы такого духовного труда связаны со странничеством, с сидением у ног учителя, если есть учитель, с бегством к мелькнувшему впереди свету («И я бежать пустился в тот же миг»), бегством вперед от того, что позади... Свой роман о молодости немецкого «бегуна» Вильгельма Мейстера Гёте назвал «годами учения и странничества»...

Можно ли их обойти в своей биографии, не рассказать о них честно? Думаю, не только нельзя обойти, но и вредно их обходить,— вредно для современной молодежи. Потому что в наше великое время, когда страница истории перевернута, мне пришлось

вдруг, нежданно-негаданно, встретить юношей и девушек (их, правда, ничтожно мало), заинтересованных тем, что держало в плену моих сверстников шестьдесят пять лет назад. Старые, рваные книжки, переписанные от руки; затопленные вешними водами времени, устаревшие, ненужные имена тех, кто соскользнул с пути истории в безбудущность; ошибавшиеся; потерявшие связь с родиной — и нездоровый к ним интерес без пониманья и знания, без общей панорамы эпохи, без всякого противоядия, даруемого солидным, фундаментальным опытом прошлого. Для них — заманчиво, как запретное. А мы пережили это шкурно, в «деянии духовном», знаем, что это значит, куда это ведет и заведет,— и каким свежим, спасительным воздухом Октября это сдуло, как сухие листья осени, с нашего пути в будущее.

...Кончив гимназию Л. Ф. Ржевской, мы оказались с сестрой в отношении Москвы «иногородними». У нас не стало прочного жилья в родном городе. Я терпеливо ждала Лину, покуда она кончала восьмой класс, живя то у матери в старом нахичеванском доме вконец разорившегося деда, то ночуя у тети на диване во время московских наездов. Последнее лето, прожитое нами у матери перед высшей школой, было для нас с сестрой не отдыхом,— мы готовились к экзамену по латыни и греческому, без которых нельзя было поступить в высшую школу; и я уже с грехом пополам читала «Киропедию», сразу увлекшись образом Кира. Его фразу (точней, фразу о нем Ксенофонта), что он никогда не ел с утра, не сделав предварительно работы, я тогда же приняла на вооруженье и десятки лет соблюдала утренний режим: сперва за письменный стол, хорошенько поработать на свежую голову, и только потом, с чудным чувством удовлетворенья в руке и в мозгу, сесть завтракать.

Но мы не только готовились к экзамену. Наступало преддверне «духовных деяний» — чтение. Неразборчивое, хаотическое, жадное. Мы без удержу поглощали все, что могли нам дать городская библиотека и книжные залежи в золоченых переплетах или не тронутые разрезным ножиком у наших богатых дядей. Страстно беседовали о прочитанном с такими же недоучками, как и мы, заводившими с нами знакомства в городском саду и в «балабановской роще», лесочке, насажденном одним из дальних наших родичей, городским головой Балабановым, между Ростовом и Нахичеванью. Был один замечательный паренек, только что кончивший железнодорожное училище. Память сохранила мне его имя — Глеб, и, забывчивая на лица, я как сейчас помню его лицо: рыжий, с толстой переносицей, крупновеснушчатый,— веснушки до того крупные, что как пятна сливались на розовом лбу и носу.

Разговоры с ним записаны у меня в дневнике. Странно, до чего мы увлекались в юности вот такими беседами! Они вытесняли танцульки, пикники, хождение в гости, в театр, на концерты; кино только зарождалось, радио и телевизоров тогда еще не было. Сильней и неотвязней всего донимала меня мысль о возникновении чего-то из ничего. За уроками греческого я прицепилась к слову

«логос» — оно было модно в те дни у поэтов-символистов и молодых русских философов. Им — греческим термином — заменяли русское «слово» в переводе евангельского «В начале бе слово», и от такой замены казалось, что к понятию «слово» прибавляется нечто мистическое. Гёте заменил «слово» евангельского текста «действием»: «Am Anfang war die That». Но дело, действие, мистический логос,— а кто их самих создал, кто породил их, как возникли они из того, чего не было? А если что-то крохотное, зародыш, искра — было до них, то откуда могли из ничего, из небытия возникнуть эти зародыши, искры? Мысль упиралась в потолок невозможности конкретного, реального представленья. Кажется, будто сама мысль, словно бабочка, билась, рвалась в клочья об этот потолок — и рождала другую, последнюю мысль: если мозг мой, я, человек, мог додуматься до самого вопроса о начале бытия и представить себе, в рамках человеческой логики, потребность на него ответить и железную невозможность дать ответ,— значит, вопрос реален. Он существует. Он зажжен в мозгу, в мыслительном аппарате человека. А зажженный вопрос в рамках логики мозга — разве он уже сам по себе не гарантия возможности ответа? Ведь сказал же Декарт: «Cogito, ergo sum», мыслю — значит, существую, вовсе не в том идеалистическом смысле, что мысль раньше бытия, а в том, что рожденная мысль есть как бы гарантия, как бы вексель на реальность самого мышления, на связь мысли с материей.

Вообще-то все эти отвлеченности кажутся сегодняшней молодежи или части ее никчемными, некогда ими заниматься. От них нет пути в практику. Я пробовала спрашивать кой у кого из молодых читателей, соседей по скамье в библиотеках, где сама занималась — анонимно, записками,— «задумывались ли вы когда-нибудь над проблемой, с чего началось все?». Мне отвечали на обратной стороне той же записки, не тратя на ответ свою бумагу: «С чего началось что́?» «Началось когда?» «Началось где?» И только самый вдумчивый написал: «Этого нельзя себе представить. Такой вопрос отпадает. Он бессмыслен». А вот Маркс в молодости ломал голову над таким вопросом. Я хотела ответить этому вдумчивому ответчику: «Недавно были у нас опубликованы математические тетради Маркса. Слышали вы о лекциях профессора Яновской в университете? Она рассказала, как Маркс рассуждал о нуле, что нуль не может быть просто нулем, потому что иначе за ним не могла бы последовать единица». Но не ответила, чтоб не услышать: «Маркс был тогда молод». Как будто быть молодым — пустое дело. Как будто вернуть себе молодость не мечта каждой старости! Как будто не стоило Гёте всю жизнь, смолоду и до последних дней, писать вершину своего великого дара человечеству — «Фауста». Как будто и Пушкин не связал понятие жизни с лучшими страстями молодости, творческими страстями — мышлением и страданием:

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...

Но возвращаюсь к нашим ребячьим беседам с Глебом, записанным у меня в дневнике. Конечно, велись они на самые гамлетовские вопросы, начиная с главного: как возникло бытие? Здесь я просто переписываю из дневника с сегодняшними комментариями. «Он (Глеб) в первую же беседу сказал: «Ответ на вопрос, как все возникло, невозможен, покуда человек не сделает perpetuum mobile. Если он сделает, будет ясно, что никакого начала не было, а была всегда безначальная бесконечность. До тех пор мы только упираемся в этот вопрос». Я думала сутки, и на следующий день у меня в особой тетрадке (называлась она «системой») появилась удивительная запись. В устной форме я ее обрушила на Глеба: «Мы сами существуем в вечном perpetuum mobile и потому не можем его открыть! Проще простого! Разница уровней — вот: угол, в котором соотносятся время и пространство. Одно движется вот сюда > (рисунок карандашом), другое держится вот так V (другой рисунок карандашом),— и мы в этой разнице уровней как белка в колесе. Время V Пространство — и есть ваше perpetuum mobile!!» Глеб насадил на свою толстую переносицу пенсне в железной оправе, постоянно соскальзывавшее вниз, но закрепленное на черном шнурочке. Рассмотрел мой невразумительный чертеж и запальчиво ответил: «Во-первых, еще никакой математик не открыл никакого угла между временем и пространством, его еще надо поискать да поискать. А во-вторых, у вас голая идея. А я сказал: «Когда сделают»... В его запальчивости явно пряталась досада, что «голая идея» не пришла ему первому в голову.

И я победоносно заключила, совсем забыв, кто же за что, в сущности, дрался, а только упиваясь процессом мысли: «Раз так — не открыли,— значит, никакой бесконечности нет и бытие должно было начаться!» Но Глеб уже быстро, как игрок в шахматы, переставил все свои «фигуры» в мозгу и сделал финальный ход. «Может быть,— сказал он, понизив голос, с какой-то таинственной многозначительностью,— может быть, нет ни бесконечности, ни начала и конца, а есть такое третье состоянье мозга, ну как во сне — как вроде эфира в физике,— особенное, до которого мы еще не додумались...» Где теперь рыжий Глеб и что довелось ему сделать в жизни?

Начинала отцветать белая акация, густоствольно стоявшая справа и слева по улицам Нахичевани, скрывая белые армянские особнячки за плотной листвой. А я все читала да читала, без разбору, что только можно было достать: толстые тома историй философии, старые научные журналы, древние эпосы. Молодой, гибкий мозг зари человечества тысячи лет назад начинал свою работу с того, чем мучились и наши молодые мозги,— с возникновения Вселенной. Он создавал вокруг этого вопроса мифы, легенды, религии. Греческие философы отвечали на него, каждый по-своему. Народные певцы посвящали ему первые строки своих сказаний. Каким-то образом, уж не помню, мне попала в руки старая индогерманская хрестоматия Шлейхера на немецком языке — и я окончательно погибла, с головой ушла в Индию. Индусы! За много ве-

ков до Библии они в древних гимнах Ригведы подошли к последним границам мышления. Какой кухонной прозой показался мне библейский отчет о шести днях творчества бога, словно готовилось шестидневное меню для домашнего обихода. Знаменитый индийский гимн Ригведы (X, 129), космогонический, я перевела для себя с немецкого и наизусть выучила. По Библии, все началось с Бога — творца, по Евангелию — «В начале бе слово». А по гимну Ригведы, странному, непрозрачному, похожему на коллоид,— мутное вещество между органическим и неорганическим состоянием материи, в начале было Желание — такой плотский, теплый, похожий ответ!

Пришла пора ехать в Москву — родной город, где уже не было у нас жилища. Ехать в Москву вместе с такой же бездомной, как мы, молодежью, студентами или только будущими студентами, храня на шее, в ладанках, собранные за лето деньги, а в сундучках необходимые бумаги — метрику, аттестат зрелости, паспорт. В ту пору обучение не только в школах, но и в университетах было раздельное, для девушек — Высшие женские курсы Герье в Москве и знаменитые Бестужевские в Петербурге. Их часто путают нынче, когда справляют разные почетные даты женского образования на Руси, но они были разные. Бестужевские, хоть и в столице, под боком у царя,— сумели быть прогрессивней московских и ближе к естественным наукам, да и старое петербургское «западничество» как-то отразилось на них. Чем отличались московские, видно станет из рассказа.

Ехала молодежь со всех концов России в жестких бесплацкартных вагонах. Деньги в ладанках у большинства рассчитаны были только на взнос «за право учения» в первом университетском году. Он был очень высокий — сто рублей. Сейчас невольно приходит в голову, когда механически пишешь «за право учения»,— как это странно: оплачивать не уроки, не лекции, не семинары, а право на них... Но тогда формула бездумно соскальзывала с языка. Добывались деньги молодежью главным образом преподаваньем, подготовкой детей в школу. В городе такие занятия считались каторгой. Обливаясь потом от жары и духоты, все лето сидел будущий студент у такого же потного, одуревшего от зноя ученика, готовя его по программе «на поступленье». Но счастливчики получали «кондицию» — уроки в отъезд. В деревню, на дачу, в купеческую «экономию» или в дворянское поместье — на воздух, на волю, на природу! Такие «кондиции» были традиционной русской формой заработка студентов. Еще Дубровский у Пушкина был на такой кондиции в имении помещика Троекурова. В них обеспечивались не только жилье, пища и заработок, но и все прелести житья на природе: купанье в реке, хожденье в лес по грибы, цельное, не снятое молоко за чаем и — может быть — первый в жизни роман с хозяйской дочкой или сыном хозяина, если кондиция доставалась девушке. Это также входило в традиционную русскую классику еще со времен ранних народнических романов. Именно такие прелести описывал нам в длиннейших поэтических письмах наш това-

рищ Лева, брат моей детской подруги Зои Зенкевич, живший в то лето на степном просторе и увлекавшийся ужением рыбы. Он умер совсем недавно, Лев Александрович Зенкевич,— океанолог с мировым именем, академик, большой советский ученый...

Но я тогда несколько вознеслась над Левой, тем более что была старше него. Денег у меня не было. Ладаику насобрала уроками только моя сестра Лина. А зато я везла с собой сложенные вчетверо «большие надежды». Революция 1905 года была задушена, но разлив завоеванных ею свобод, как уже сказано, не сразу вошел в берега. Словно серебро влаги, он еще блестел у берегов, как после наводнения, неглубокими лужицами еще уцелевших, скромных изданий. В одной из московских газет некто Лобанов, председатель московской ремесленной управы, объявлял о продолжении своей газеты «Ремесленный голос», поздней получившей (тоже кратковременное) название «Трудовая речь», и приглашал идейно согласных писателей к себе в сотрудники. Я откликнулась на его приглашение; он откликнулся на мой отклик; я заготовила за лето, несмотря ни на каких индусов, множество революционных стихотворений и целый рассказ «Забастовщиков сын» и везла все это вместе с аттестатом и серебряной медалью, гордая своим будущим.

Заранее скажу: почти весь мой запас был напечатан в «Ремесленном голосе», но последнее детище, драматическая повесть «Жена рабочего», уже в газете «Трудовая речь», нанесло мне жесточайшую травму на всю жизнь. Ее смонтировали вразброд: конец изобрали в середине, а середину сделали началом; что до начала, то его разорвали по кусочкам и сунули там и сям, отдельными фразами, в середку. Понять содержание, не говоря уж о мысли, в этой мозаике было невозможно. Лобанов, утешая меня, сказал, что это т а к т и к а: «Свыше не поняли и не придрались, а то быть беде! Зато читатель, не беспокойтесь, разберется, на куски разрежет и сложит, а уж докопается, будьте уверены». Но я сама, разрезав, ничего не сумела сложить, заливалась дома горькими слезами, и до сих пор, как вспомню эту мозаику, меня физически передергивает — от стыда, конфуза, неотмщенной обиды. То была первая из обид на долгом литературном поприще.

Тактика Лобанову не помогла: «Трудовую речь» тихо и незаметно прикрыли. За свое «сотрудничество» я, разумеется, ни гроша не получила, да и просить стеснялась. Но все это случилось позже, в неблизком будущем, а покуда мы с сестрой все еще едем, едем — вместе с десятками других,— едем в светлую неизвестность, полные невероятного бесстрашия молодости и ликующего оптимизма, под стук колес нашего жесткого бесплацкартного.

Ехать в нем было огромнейшим удовольствием. Делились едой, точней — выкладывали провизию в общую кучу, и скромный собственный сверточек вдруг превращался в гору продуктов. А когда они, яйца, куски колбас, домашние лепешки, зеленые перья лука, первые малосольные огурцы, источавшие дивный запах молодого рассола, ломти деревенского сала, просвечивавшего розовым на

солнце, ложились таким множеством перед нашими глазами — одни вид их прибавлял какую-то густоту и полноту к чувству насыщенья. В открытые окна летел встречный ветер, неся запах убранного поля, нагретой соломы и черные, как испанское кружево, лохмотья паровозной копоти. Наши ноздри были забиты этой копотью, от нее были черны ушные раковины и шеи. Чай, дешевый, пахнувший кухней, потому что его пила когда-то прислуга на кухне, разливал по нашим собственным посудинам пожилой вагонный проводник, а разливши, усаживался на сундучке где-нибудь в проходе между лавками и слушал наши беседы. О чем только не говорилось в вагоне! Термины — многоэтажные, иностранные, словечки свежеосвоенной латыни — там и сям, как изюмины в булке. И чем непонятней, чем многоэтажней, тем больше ему нравилось. Таких проводников теперь не сыщешь днем с огнем,— он действительно «проводил», проводил с нами часы и часы. Из вежливости не курил махорку, да и вообще не помню, чтоб кто-нибудь курил,— куренье стоило дорого, и к нему с детства не приучались. Ни разу не видела я и бутылки на наших столиках, той самой, от которой пахну́л бы на нас пивной или водочный угар. Жажда жизни и полнота жизни были так сильны в нас, что подстегивать их или дурманить себя никому не приходило в голову.

Сердцем беседы были как раз «главные» — гамлетовские вопросы. И, разумеется, тот, что мучил меня летом у матери, в старом дедушкином доме: с чего началось бытие? Я везла с собой свой перевод космогонического гимна Ригведы. Перевод был плох и неточен, он кажется мне сейчас совершенной тарабарщиной,— и поскольку я просто не могу не прочесть его читателю, как не вытерпела и прочитала своим вагонным соседям, я заменю его более грамотным. В прошлом году, собирая в памяти все, что относится к трудной — третьей — книге моих воспоминаний, я засела в Публичной библиотеке опять за индусов. Увлеклась ими, как почти семьдесят лет назад; увлеклась Ригведой, опять с головой окунувшись в нее. Отыскала первый русский перевод захватившего меня в юности гимна — и опять списала его. В этом, более грамотном, нежели мой, переводе я и прочту его сейчас читателю, как читала семьдесят лет назад,— с не меньшим волнением и восхищеньем, умноженным десятилетиями. Какая увлекательная радость дана человеку — в конце жизни снова переживать ее начало!

Но сперва — обстановка, место действия, время действия как в театре, или, говоря языком той эпохи, на театре. Третий класс, бесплацкартный, хоть и не имел нумерованных мест, но располагал пространством, делавшим его для пассажиров даже более удобным, чем плацкартный. Самые предприимчивые из молодежи захватывали узкие верхние полки для багажа, с комфортом лежа на них весь день. Остальные рассаживались, разлеживались, постепенно утрясаясь к ночи, как сельди в бочке,— сидячих на ночь просто не оставалось. В плацкартных жестких считаются сейчас самыми плохими боковые места — у окон по горизонтали всего вагона. Но в бесплацкартных того времени их называли «царскими

ложами». Тот, кто сумел сразу захватить нижнее боковое место, опустив деревянный столик между двумя сиденьями, тотчас обживал всю лежанку, узость которой не допускала второго пассажира. А верхнее механически доставалось тоже одному. И получалось так, будто два пассажира едут как в плацкартном, на двух нумерованных местах. Мы попросту не заметили, а заметив, как-то отчужденно-вежливо допустили одного «узурпатора» сразу же захватить нижнее боковое место в свою полную собственность. Узурпатором была монахиня. Она даже не легла, а, сделав лежанку, забила ее своими пожитками, увязанными в толстую холстину. Между пожитками втиснулась сама, спиной к окну, и все долгие часы нашей беседы ничего, ровно ничего не делала, кроме перебирания четок. Так и сидела, опустив голову, в черной, пропитанной пылью, жесткой рясе, забрав под нее ноги в скрипучих, похожих на мужские башмаках. Лица ее мы не видели — просто не обратили на нее никакого вниманья. Видны были желтые, сухие пальцы, без остановки перебиравшие четки, и шли эти четки в ее руках — с утра — миллионами, хотя были все одни и те же. Над нею, на верхней полке, спал второй «узурпатор», толстый купчина или приказчик в поддевке, спиною к нам,— спал беспробудно весь божий день до вечера.

Мы — человек двадцать молодежи,— сгрудившись, сидели на двух полках, на полу между ними, в проходе, заинтересованные разговором, друг другом, мерной стукотней поезда, вечерним теплом из окна. И я, разгорячась, достала свой излюбленный гимн.

Приведу его для читателя не в своем, а, как сказала, в грамотном переводе Н. Крушевского.

ГИМН РИГВЕДЫ, X, 129

1. Тогда не было ни небытия, ни бытия, не было пространства, и по ту сторону пространства не было неба; что же покрывало (всё)? где, под чьей защитой находилась вода, бездонная глубь?

2. Ни смерти тогда не было, ни бессмертия, не было отличия ночи ото дня; тогда Одно, не движимое ветром, само по себе дышало, и больше не было ничего, отличного от него.

3. Была темнота; вначале всё было погруженной в темноте и неразличимой водой; когда пустота была погружена в пустоте, тогда силой теплоты произошло это Одно.

4. Затем, прежде всего, возникло Желание, которое было первым семенем духа; мудрецы, поискав в сердце, посредством размышления открыли родство (связь) существующего в несуществующем.

5. Горизонтально была протянута их (мудрецов) вожжа [была ли она под чем-нибудь или над чем-нибудь?]; они испускали семя, они были велики, была свобода (стремление?) вниз, стремление вверх.

6. Кто знает наверно, кто здесь может объяснить, откуда, из чего произошло это творение? боги (суть) по сю сторону этого

творения (то есть они произошли после него), а кто же знает, откуда он (сам) произошел?

7. Кто смотрел с высочайшего неба на это творение — произвел ли он его или не произвел,— тот, конечно, знает, откуда оно произошло — или тоже не знает [3].

За две тысячи лет до нашей эры мозг человеческий был так необычайно гибок, что тончайшая диалектика в определении «было — не было», в невероятной трудности нащупать возникновение из ничего, первую точку, с которой начинается ряд, могла бы поспорить у древнейших слагателей гимнов в лесных дебрях Индостана с дефинициями Спинозы и Гегеля! Я вытащила этот гимн в ту минуту, когда вспыхнул у нас вопрос о боге, уж не помню, в каком аспекте, вероятно — антирелигиозном. Вытащила как решающий аргумент: ведь почти четыре тысячи лет назад индусы отлично знали, что «боги», как и все прочее, в процессе возникновенья мира были «по сю», то есть по нашу «сторону бытия», вместе с самим миром, не его творцами, а творимыми, как и человеки. Я вдохновенно защищала это «открытие» индусов, их изумительную ясность мысли. Но, защищая, вдруг почувствовала боль в сердце, как укол. Боги... Бог. Я была религиозна с детства. И сама я верила в бога. Но этот бог ничего не имел общего с сотворением мира и вообще ни с какими махинациями — чудесами, исцеленнями, наказаньями, адами, раями, вообще ни с какими атрибутами, изучавшимися у нас на уроках закона божьего. Он имел дело... с чем он имел дело? Он сидел внутри человека — скорей как его дитя, чем как его отец. Он был связан там, внутри, с чем-то очень важным, но я не сразу нашла с чем. Я только почувствовала, словно кто-то ладонью сжал мне сердце, боль. Боль, как от предательства или собственной лжи. Боль, как «боже, прости меня», много, много раз повторявшееся в моей молодой жизни.

Дело шло за полночь, и спорщики в вагоне устали. У многих пооткрывались рты от неудержимой зевоты, в то время как глаза еще широко впивались в каждого говорящего. Потом и глаза начали суживаться, слипаться в веках,— пора было укладываться спать, и мы тут же, не раздеваясь, стали протискиваться на ночлежку, облюбованную с утра. Я двинулась к сестре в коридор, где подушкой лежали наши вещи, но — проходя — задела за грубый башмак, высунувшийся из-под лавки, башмак еще сидевшей и все еще продолжавшей бесконечную связь своих четок желтыми пальцами монахини. Невольно взглянув на нее, я остановилась.

Возможно, что так называемое «духовидение», которое приписывается, по Достоевскому, разным церковникам, существует у них в опыте, нажитом долгой пустой жизнью, не наполненной никаким человеческим содержаньем, кроме изучения разнообразней-

---

[3] «Известия и ученые записки Казанского университета». Июль — август 1879 года, Казань, с. 105—114. В недавно вышедшем (М., «Наука», 1972) издании гимнов Ригведы помещен этот гимн на с. 263, в новом переводе Т. Я. Елизаренковой.

ших человеческих лиц. Возможно — и даже наверное,— монахиня, имевшая много лет опыта в изучении послушниц, женщин, постригаемых в монастырь, девичьих лиц в исповедальнях, в кельях, где оставались они один на один с настоятельницей, матерью игуменьей, приобрела знание простых движений души, отражающихся на очень юных лицах. Но эти глаза, сухие и желтые, как ее пальцы, приблизились ко мне удивительно знающе, почти приказательно, так пронизывающе, что я невольно остановилась. «Сядькось тут»,— прошелестел очень сухой, как солома в поле, голос. Я села, качнувшись вместе с раскачкой вагона.

— А Он, Бог-то, все слышит, все видит. Дьявол душу соблазняет, велит от Господа отречься, святое господне причастие выплюнуть, на Духа Свята клевету возвести. А Бог все слышит, все видит, он те руку протягивает, помощь тебе подает. Ты его слушай, шепчи про себя, до утра шепчи: «Господи, помилуй, господи, помилуй, избави от мирской скверны...»

Я слушала этот шелест, чувствуя на себе сухие желтые глаза в опухших, нездорово рыхлых, водянистых веках. Видела подол жесткой, пропитанной пылью рясы. Из-под него торчал конец старого, заношенного башмака, тоже пропыленного в складках. И холстина, в какую упакованы были ее вещи, тоже казалась моей спине, притиснутой к ней, несгибаемо, непрощаемо жесткой,— в ней чувствовались какие-то круглые твердые предметы, словно булыжники, обкатанные морем. Должно быть, на лице моем, почти детском в те годы, отразилась эта мгновенная боль сердца после разговора, и желтые глаза монахини проникли в нее. А шелест, как ветер в листве, донес напоследок успокоительное: «Покайся — покаешься, Он простит...»

Я пробралась на свое место до странности укрощенная, с каким-то удивительным, отрешенным от всего земного и от споров наших светом в душе. Отрывочно, кусочками, думалось, точней — представлялось воображенью: вот едет с нами человек, от всего в жизни отказавшийся. Ряса на ней, как рубище, от башмаков, должно быть, раны на ногах. Мы всю дорогу жевали, а она — ела она что-нибудь? Никто не видел. И сразу разгадала, что у меня в душе, в ту же секунду разгадала. Бог внутри нас... что он такое? С чем он связан внутри? И тут мне сразу как бы открылось, что он связан с ч у в с т в о м в и н ы. Раскольников нес в себе это чувство вины, но ведь он убил, он действительно виноватый. А я — в чем моя вина? Ни в чем я не виновата, ничего не сделала, но с ужасом, наперекор этой мысли, вставало во мне противоестественное чувство вины: все равно виновата, в том и виновата, что ничего не сделала, играю в жизнь, бегаю, как мышь, по ней, без всякого направленья, а и сделаю что-нибудь, выберу направленье — все равно буду в чем-то, где-то перед кем-то виновата... Бог — он вот что, он — чувство вины, он — совесть. Надо спастись, одно спасенье — каяться, каяться, каяться в вине...

И пока я это думала, становясь коленями на растянутое в коридоре Линино пальтецо, чтоб разлечься на нем, я встретила дру-

гие глаза, серьезно и очень прямо смотревшие на меня, глаза моей сестры Анны. Она в нашем многочасовом молодежном споре почти не участвовала, повторяя про себя для экзамена тетрадку с латинскими спряженьями, пока еще был тусклый свет от заткнутой в фонарик сальной свечи. Сейчас свет затухал. Но глаза ее были мне видны. Много, много пар глаз встречалось мне на моем жизненном пути, проникавших надолго в мою раскрытую душу. Но таких — я больше не встречала. Это были глаза-звезды, очень спокойные, полные удивительной ясности, полные абсолютного пониманья, глаза ясного человеческого разума. Она шепотом сказала мне — тоном такой же спокойной трезвости, как ее глаза:

— Знаешь, я тоже с ней разговаривала, пока вы там спорили. Угадай, зачем она в Москву едет? Пошить себе хорошую новую рясу к приезду какого-то архимандрита в монастырь. Везет из монастырского сада особенные наливные яблоки на продажу. Вот продам, говорит, яблоки и приценюсь к шелковому французскому сукну... Знает даже магазины в Москве, где то сукно купить...

Больше ничего Анна не сказала.

2

Случай этот — и Аннины слова — не ушел из памяти, но залежался в ней под спудом множества других переживаний. А когда вдруг вспомнился, то в каком-то пророческом, предупреждающем качестве, словно время, сместившись, новой пластинкой в волшебном фонарике, вынутой на секунду из будущих кадров, захотело остеречь меня — смотри, вот на чем будешь спотыкаться, на слепом ученичестве, слепой вере в учителя, на легковерии, на сотворении себе богов... Нет, не богов — кумиров.

В тех «духовных деяниях», сквозь которые прошла я в наступавшем шестнлетии — странническом шестнлетии по безбрежному океану чувств,— моими «рулем и ветрилами» были сотворяемые кумиры. Нельзя сказать, чтобы это опасное странничество, где выдумка подменяла реальную суть жизни, ровно ничему не научило меня. Хоть и зигзагообразно, то вправо, то влево, но учило и научило, и если бывает —

> В уме, подавленном тоской,
> Теснится тяжких дум избыток...—

и я, как многие другие люди на земле, вспоминая прошлое,—

> И горько жалуюсь, и горько слезы лью...—

то опять же, по Пушкину, я «строк печальных не смываю». Я хочу изучить эти «строки», вглядеться в них, чтоб понять, какую пользу принесло мне мое странничество и «сотворение себе кумира». Можно ли чем-нибудь поделиться оттуда как опытом с теми, кто только вступает в жизнь. Кто-то (не помню, кто) сказал, что, двигаясь вперед, мы все время падаем, каждый шаг — это нарушение равновесия сил, вывод его из стабильности, падение корпуса то на правую, то на левую ногу. Если так, то ведь даже падение — пусть

падение — выход из равновесия,— оно все-таки продвиженье вперед, а продвиженье вперед — не главный ли это закон развития?

Каков же был итог моего развития за годы 1908—1914? Мне кажется, он, в части положительной, накапливаясь по мере продвиженья вперед, дал мне пониманье двух двигателей души человеческой, без которых не создается то целое, что мы называем в жизни одного лица — его «биографией», а в жизни всего человечества — его «историей». С какого конца ни посмотри на биографию любого икс-игрека, под сотней двигавших его сил мы всегда найдем эти два начальных, глубинных двигателя — *убеждение* и *веру*. К области *убеждения* относятся все оттенки работающего в человеке разума, все функции его мозговой деятельности: размышление, понимание, любознательность, критицизм; а к области *веры* — все чувства работающего в нем сердца: любовь, ненависть, самоотдача, преданность, привязанность, безоговорочное принятие. Разумеется, это лишь схема и, как все схемы, спорно, односторонне и надуманно. Однако в практической жизни такие упрощенные схемы, как простой и грубый инструмент в руке человеческой, помогают несколько разбираться в самых сложных переживаньях. К убеждению приходишь через разум, оно доказывается для тебя всем ходом познания той вещи, в которой ты должен убедиться, чтоб принять ее или отвергнуть. К вере приходишь через сердце и чаще всего через любовь,— и вера так сильна своим прохожденьем через любовь, через чувство, через предрасположение всего твоего характера и темперамента, что никакие рассуждения, никакие попытки *разубедить*, то есть подойти к вере с инструментом разума, не могут поколебать этой веры.

Здесь, кстати сказать, кроется главный недостаток нашей антирелигиозной пропаганды. За исключением тех, кто пришел к вере от невежества и по традиции, большинство «верующих», иной раз даже высокоинтеллектуальных, пришло к ней от чувства, неподвластного разуму. И стремиться «отрезвить» их средствами разума и убеждений — абсолютная трата бумаги, печати, голоса, логических силлогизмов, исторических примеров, притягиваний палеонтологии, космологии, космонавтики, астрономии и всего прочего в качестве доказательств. Много раз хотелось мне написать в наши антирелигиозные журналы: дорогие товарищи, поучитесь у Фурье! Когда я познакомилась с Фурье, одним из умнейших предшественников коммунизма, меня поразило у него рассужденье о *страстях*. Какая это страшная вещь — страсти,— нарушающая благополучие любого общества, опрокидывающая его рамки. Страсть — в разных ее формах и видах — может вести к убийству, самоубийству, бесчинству, зазнайству, разбою, хулиганству, наконец — безумию! Страсть уничтожает любовь,— вспомните хотя бы гениальную тему «Лейли и Меджнуна», легшую в основу многих древних поэм. Там удивительное дело происходит: Меджнун до того любит Лейли, которую ему не дают в жены, что заболевает; тогда испуганная родня соглашается наконец дать ему Лейли,— на, бери, женись. Но Меджнун (что означает «безумный»)

продолжает рвать на себе волосы от безнадежной любви, он не замечает, что Лейли уже дана ему в жены, он *не может уже* быть счастлив, потому что любовь его, сама любовь, от долгого отказа приняла характер безнадежности. (Удивительная глубина психологизма у древних поэтов!) Так вот вредный, ужасный, разрушительный характер страсти — казалось бы — должен побудить Фурье *изгнать* ее из рамок будущего коммунистического общества, из гармонии житья в его «фалангах». Но я с изумлением прочитала у Фурье, что страсти *никоим образом нельзя изгонять и уничтожать*. Страсти — очень *полезная вещь*. Только надо пытаться *изменить направление страстей* в каждом данном случае. А изменять направление страстей на пользу человеку — значит поставить на службу обществу *огромнейший запас энергии*. Ветер в океане — бешеный враг шлюпки, если направлена она против его стихии. Но он — великий друг шлюпки, если дует в ее паруса. Прочитав у Фурье о направлении страстей на пользу человеку — этом мудрейшем приеме педагогического гения,— наши антирелигиозники поймут простую истину: клин вышибается клином, а не зубочисткой или фортепьянной клавиатурой.

Высокие страсти — великий дар у человека, это огромный запас душевной энергии. Направить его по другой дороге, например на служение народу, на сублимацию в творчестве, на подвиги и во имя новой, гуманной цели, на путь самоотдачи, связанный с верой в Добро, с деятельностью *сердца*, с *любовью* — вместо того, чтоб бесплодно топтаться этому чувству у божьего порога в ожидании приема или принести в жертву полезную людям активность бесполезным душевным изживаньем себя в молитвах и созерцаньях,— разве это не великое дело борьбы с фетишизмом для тех, кто занимается у нас «антирелигиозной пропагандой»?

Но я свернула с дороги. Мне хочется передать читателю первый положительный итог моего опыта 1908—1914 годов, прежде чем рассказать о всех его фактических перипетиях. Поняв шкурно всю разницу убеждения и веры в деятельности человеческой, я много раз впоследствии умела их «скрещивать» в своих делах и решеньях, вот как скрещивают ткачи уток и основу в создании ткани: не путая их, не пуская одно в поле действия другого, не пытаясь заменить вертикальную нитку горизонтальной, а сохраняя за каждой ее отдельную роль, чтобы взаимоотношение их, как будто фактически противодействующее (уток пересекает поперек основу), на самом деле привело к созданию прочной ткани. Достичь понимания и управленья этой двоицей в моей долгой жизни я смогла, конечно, из двойственности своей практики тех лет, упорной, постоянной, каждодневной. С одной стороны, переходя от любви к любви, от веры к вере, от созданья одного кумира к созданью другого, я жила огромной деятельностью сердца все эти годы. С другой — жизнь заставляла меня учиться, зарабатывать, ежедневно определенное количество часов иметь дело с книгой. Книжные и учебные занятия, слушанье лекций, подготовка к докладам на семинарах, уроки с уче-

ницами «по всем предметам» и «по трем языкам», впитывание всех умственных веяний и процессов, происходивших в те годы, не в замкнутых пространствах обществ и салонов, а как бы в самом воздухе Москвы, передававшихся словно на слух и на глаз,— все это обостряло деятельность жадного молодого мозга, тренировало его на выработке суждений, на схватывании впечатлений, на той важной способности, которую я впоследствии называла у себя «даром апперцепции» — уменьем целостно отпечатывать в мозгу сложное явление во всех его взаимосвязях. Тут художественные способности начали у меня более явственно сталкиваться с умственными склонностями, искусство — с наукой.

Практически очень важным связующим звеном между разнообразием наших тогдашних «деяний духа» была п е р е п и с к а. Недавно, прочитав три тома писем Белинского, я увидела, какое огромное место в жизни людей сороковых годов девятнадцатого века занимало эпистолярное искусство. Письма делались душевной потребностью, их писали целыми тетрадями, они настолько приближались к профессиональному литературному труду, что почти переходили в особый жанр, — множество книг прошлого века написано в форме писем, не только политических, но и «романтических», да и не только прошлого века, а и предыдущего: Монтескье в «Lettres persanes», гётевский «Вертер», недавно прекрасно переведенные у нас А. М. Шадриным письма к сыну англичанина Честерфилда...

Выше я говорила о своих переходах «от любви к любви, от созданья одного кумира к другому». Я прошу читателя помнить, что речь тут идет именно о «духовных деяниях», о труде духа. Ни атома всего того, что присуще земной человеческой любви, ни малейшего дуновенья эротики в этих моих увлеченьях не было, они возникали как необходимость для ученичества, послушничества, поиска путей познания и носили, в сущности, не личный, а сверхличный характер, форму важного духовного опыта, о котором не только можно без всякой застенчивости, но и должно — с полным бесстрастием — поделиться с читателем, как полученным знанием. Письма,— потребность высказаться и сообщиться с себе подобным мыслящим существом,— были у многих из моего поколения, а у меня особенно, безмерно щедрой самоотдачей. Писались они часто совсем незнакомому человеку, фактическое знакомство приходило уже значительно позже и наслаивалось на создавшуюся еще раньше душевную близость. Все мои самые близкие духовные связи тех лет выросли из переписки, начались с переписки — до того, как адресаты обеих сторон увидели друг друга в лицо как таковые.

Критики указывают иной раз на «особый жанр» последних моих книг и особенно «Четырех уроков у Ленина», сближая его с манерой Герцена говорить с теплым присутствием личного «я» о самых отвлеченных и объективных предметах, то есть как бы автобиографически. Не знаю, насколько правы критики, но хочу обратить их внимание на высокопропагандистский момент в большой русской литературе вообще, у которой мы учились. Этот «пропагандистский момент»,— слияние субъективной веры с объективным убеждением,

неизбежно повернутое писателем в адрес его читателя,— с точки зрения профессиональной литературной технологии родился из колоссального распространения на Руси эпистолярного искусства, потребности писать письма. Так что даже и для тех, кто ставит себе простую научную задачу изучать стиль и жанры современной советской литературы, жизненно важно вспомнить о роли этой потребности у русских писателей. Духовная потребность, реализуемая на практике — если упражнять ее очень долго,— приводит к привычке; а в привычке, подобно тому, как в куске янтаря застревает муха или сковывается паучок среди тонких волокон растенья, затвердевают и некоторые черты и качества, свойственные легкому, непосредственному характеру письма-эпистолы,— черты откровенности, искренности, прямого обращенья к читателю, эмоционального воздействия на него, поскольку автор обращается прямо, а не условно к ощущаемому, близкому, а не безликому множеству.

И тут я опять хочу — да простит мне мой терпеливый читатель! — свернуть по ассоциации в сторону, рассказать кое-что о привычке. Есть такая фраза-поговорка, знакомая из русской классики: «береги честь смолоду». Я бы прибавила к ней еще другую, практически не менее важную: создавай себе привычку смолоду, с первых дней молодости! Привычку к определенной форме, определенной технологии труда. Это скажется во всей жизни, это принесет огромные плоды на старости. С ужасом вижу я у части современной молодежи легкое и пустое отношение к времени; есть для него и слово, пустое и страшное,— «препровождение». Часы, дни проходят у молодого, полного сил существа на ничего. Напоминают ему: «Надо же успеть выучить, надо к такому-то успеть сделать!» — и получают в ответ: «Пустяки, наверстаю!» Наверстаю... Впереди много времени, версты и версты. Успеется. И время, материальное время, бежит, как пустой конвейер, на который ничего не положено. День не положено, месяц не положено, год не положено — впереди еще есть версты, наверстаю. Но когда пришел последний срок «наверстать», оказывается,— молодой, энергичный человек наверстать не может. Один-два раза выйдет, а вообще — не получается, не выходит, хотя есть еще и время для этого, и силы, и здоровье. Почему не получается? Попробуйте спросить у хорошего скрипача, месяцами не бравшего скрипку в руки: почему не выходит у него знакомый пассаж на фиоритурах? Да потому, что не было ежедневной тренировки пальцев, не было необходимой практики. Время не резинка, время действенно. Пустое время между вами и вашим делом,— пропущенное, препровожденное,— не оставляет за этот промежуток вас и ваши способности точь-в-точь такими, какими они были до промежутка. Они, ваши способности, за этот промежуток притупились, деквалифицировались, назад пошли. И наоборот, если б он, этот промежуток времени, заполнялся бы вами, как на конвейере, практикой и практикой, повторением, изучением, освоением определенной вещи,— то ваши способности и ваше умение за этот промежуток упрочились бы, приобрели квалификацию, вошли в привычку. Подобно тому, как формула в ма-

тематике на все времена держит открытую и освоенную связь определенных действий,— привычка держит в вашем теле, в вашем мозгу, в ваших нервах автоматически ставшую как бы уже частью вас облегченную технологию вашего практического действия.

Сколько теряют наши молодые люди, не заручившись привычкой думать, работать, изучать, делать с ранней молодости! Но я неверно сказала, что промежуток откладывания своих дел в надежде «наверстать» оказывается для них только пустым и потерянным временем. Время никогда не бывает пустым. Оно откладывает на своем конвейере для праздной молодежи по кирпичику «пустоты» и «потерянности», создавая постепенно привычку к ничегонеделанью. И уже эта самая привычка ничегонеделанья и мешает им впоследствии «наверстать».

3

Но возвращаюсь к положительному итогу юных лет моей жизни по части «деятельности жадного молодого мозга». Что дала практика писания писем (относящихся, кстати сказать, скорей к циклу создания кумиров и любвей), я уже написала выше. Остается сказать еще об очень важной области выработки привычек,— о процессе чтения. Часто встречается у студента-первокурсника наивный взгляд, будто чтение, как дыханье, дается каждому грамотному само собой. Во второй книге моих воспоминаний я уже писала о том, что чтение настоящей книги должно быть взаимодействием с ней, то есть, ничего не вкладывая в читаемое от себя, вы рискуете и не получить ничего от книги. Но это касается глубинного, творческого чтения. А самый процесс чтения, его технология,— тоже не дается сразу. Одно дело читать дома, другое — в библиотеке. А чтение в библиотеке похоже на своеобразную школу.

Сперва вы как бы окунаетесь в хаос возможностей — сколько всего! Как много обо всем! И как интересно,— захватывает даже заглавиями в каталогах,— многое среди того, где вы ищете одну какую-нибудь, нужную для себя, книгу, хотя это «захватывающее» в данный момент для вас совершенно не нужно. Кроме часов в аудиториях и на семинарах, в домах, где давала уроки,— главным местом моего бытия в те годы была библиотека. Изо дня в день, завернув в газету свою тетрадь, я шла в Румянцевку — читальный зал при Румянцевском музее. Он совсем не был похож на огромную нынешнюю Ленинскую библиотеку с ее комфортом — различными залами, консультациями, буфетом, демонстрационными помещеньями для выставок и концертов. Но, честно говоря, понятие о комфорте с годами у человека меняется и кое-что в прошлом кажется мне более комфортным, чем нынешнее. Мы приходили чаще всего вечером. Под зелеными бабочками настольных абажуров сидели читающие. Им ставились чернильницы, куда всякий раз подливались свежие чернила — чего нынче вряд ли допросишься, ведь наступил век авторучек, обезличивающих своим золотым пером все особенности вашего почерка, нивелирующих и огрубляющих тот

внутренний жест, которым передается от мозга к руке, когда вы пишете, движение вашей мысли. Из деревянных подставок мы могли среди многих других выбрать себе ручку по душе и попросить, если понадобится, чистое школьное перо. Буфетов никаких не было, но в углу стоял бак, обыкновенный бак с кипяченой водой и кружкой, а у вас, в той же газете с тетрадью, был припасен кусок хлеба если не с маслом, то хоть с солью (чудный ржаной с ароматной корочкой, посыпанный сверху солью!) — и вы тут же могли его съесть и запить из кружки. К каталогам вам никуда не нужно было ходить — они лежали тут же длинными ящичками, утоляя щедро вашу жадность.

Не было, правда, ученых консультаций для десятков тысяч читателей, как сейчас. Но было нечто другое: замечательнейшие библиотекари, оставившие потомству свои имена. Незадолго до меня в Румянцевке работал знаменитый Николай Федорович Федоров, автор «Философии общего дела». Он заведовал каталогами, а верней — заведовал чтением многих и многих читателей куда сердечней и осведомленней, чем нынешние консультанты, обремененные сотиями заявок. Прочитывая список книг, заказанных кем-нибудь из читального зала, Федоров имел обыкновение подкладывать к ним еще более нужные, новые по данной теме, с короткой запиской «это поможет» или «это еще более осветит вопрос». На свое скудное жалованье он покупал в фонд библиотеки изданья, которых в ней не было, а читатель спрашивал. Лев Николаевич Толстой, пользовавшийся книгами из Румянцевки, называл его незаменимым библиографом-энциклопедистом. Умер Николай Федоров в 1903 году, но я застала другого интересного библиотекаря в Румянцевке — Петровского, поклонника Рудольфа Штейнера и антропософа. Он поэтически подходил к каждой книге, даже если это был учебник тригонометрии. Каким бы путанником он ни казался, пытаясь изложить сокровенные «истины» Штейнера из его рукописных, недоступных для большинства, «курсов»,— общение с ним и его удивительное знание книжных сокровищ библиотеки были полны интереса для меня. Вот этот своеобразный «комфорт» прошлого кажется мне сейчас не меньшим, а даже намного большим теперешнего. Он, сказать правду, более естествен, ближе для читателя к предметам знания, оставляет читателя лицом к лицу с этими предметами — в более активном, более свободном, более разностороннем и действенном духовном состоянии. Но я опять ушла в сторону!

Сперва мое чтение было хаотичным. Читаемая по теме книга включала в сносках и примечаньях ссылки на другие источники. Роясь в каталогах, чтоб найти их шифры и заказать себе эти другие источники,— я сплошь да рядом наталкивалась на интригующие названья. Не нужно по теме — а знать так хочется! И чтение разветвлялось, непрерывно множилось — главная его магистраль переходила во встречные дороги, дороги в улицы, улицы в переулки, переулки в тропинки, тропинки в необъятную даль бездорожья... Главная тема охватывалась спиралями знаний, объяснений, споров, от-

звуков, переходов в новые и новые проблемы, связанные с основной темой. Я пробиралась по лесу знаний, заходя в разные стороны. И чтоб не забыть прочитанное, стала конспектировать его в тетрадку,— сотни таких тетрадей скопились у меня в сундуках и ящиках. Конспектированье сперва велось вслепую, от — до; потом я научилась отличать существенное от случайного и записывать только существенное. Потом вспыхивало, утрамбованное накопленным опытом,— качественное суждение. Не только о самом тексте,— о его языке, стиле, удачном и неудачном месте, верной или неверной мысли,— и конспект стал превращаться в отклик, в разговор с книгой. Нельзя было писать на полях — книга библиотечная! А впечатленье, ответная мысль, резкое несогласие рвались из меня, ощутимые в абсолютной тишине читающего зала, как застрявший кусок в горле. И они неизбежно вторгались в конспект.

Шли дни, месяцы, годы такого чтения в поисках «истины — до конца» (которого, кстати сказать, и не бывает). И прочно, как возводимое каменное здание с цементом, скрепляющим камни, вырастала привычка. Замечательная привычка, сделавшаяся моей «подругой» на всю долгую жизнь. Привычка — находить нужную книгу; а в книге находить ее самое нужное место; а нужное место правильно конспектировать, ставя номер страницы. Привычка вдумчивого чтения, открытия цитатной мысли у автора; усвоения побочных мест, могущих пригодиться: привычка чувствовать себя в книге,— любой и почти на любом иностранном языке, во всяком случае на трех из них,— не как в гостях, а как дома. Словом, привычка хорошо понять и отложить в записях для памяти нужную тебе книгу. Пусть она потом забудется. Но память хранит ее в своей кладовой для первого нужного случая. И вы остаетесь богачом знаний даже в периоды своих беспамятств, богачом знаний, потому что удерживаете в памяти связь между всем прочитанным, как нитку в ожерелье жемчужин. Постепенное обретение простого опыта, что изолированной науки в мире нет и все познанное человеком перекликается,— оно-то, в сущности, и составляет секрет «образованности». Хаотическое мое чтение первых лет, приведшее постепенно к этому опыту, оказалось исключительно полезным, научило привычке искать и находить связь.

К примеру — два случая. Об одном я много раз уже рассказывала читателю. Перебирая каталог, вдруг наткнулась на такую запись: «Аббат Галиани. Беседы о торговле зерном. Перевод с французского. Издано в Киеве». Небольшая книжечка, тотчас мною заказанная. Что привлекло, что заставило заказать? Несоответствие автора с темой — аббат, духовное лицо, какое ему дело до торговли зерном? Странность заглавия — как это можно «беседовать» на такую тему? Что там хорошего для беседы?! И я начала читать книгу, одну из самых блистательных в гениальной литературе XVIII века, покорявшую самых сильных читателей своего времени, державшую очарованными ею умы друзей и врагов, докатившуюся до Екатерины Второй, никогда не пропускавшей мировых книжных новинок... Начала читать, ничего об этом не зная, как курьез,— и

влюбилась, влюбилась, как люди восемнадцатого века. Это был первый образец — до Маркса, до Гегеля — гениального диалектического материализма в самой доходчивой форме, доведенной в древности Платоном до совершенства,— в форме диалогов, точнее именно «бесед». Несколько человек — несколько характеров. Тема — введение в Англии закона о продаже зерна. Хорошо это или плохо? К чему это приведет? Я читала в то время наряду со всеми существующими «историями философий», древних и современных, наряду с самими философами («Наукой логики» и «Феноменологией» Гегеля) — множество изданий символистов и модернистов разного толка, журнал «Mercure de France», очень в то время популярный среди «эстетской» молодежи, наши журналы «Весы», «Золотое руно»... И набивая воображение всем, что воспевали Бальмонт, Брюсов, Федор Сологуб, всякие Соколовы-Кречетовы,— я совершенно ничего не знала об экономике, мире хозяйства, о том, что дает нам жить, создавая хлеб насущный. И вдруг этот мир хозяйства открылся передо мной в острой диалектической полемике «Бесед». Один говорит замечательно — ты хватаешься за его мысли, веришь ему. Начинает отвечать другой — и куда девались все аргументы первого? Провалились, уничтожены, нет их! Но вступает в беседу третий — и высмеивается опроверженье, хотя не восстанавливается первая истина. Вы оказываетесь между ними. К вам надвигается третья реальность — новая, убедительная, спокойная... Боже мой, где границы человеческого ума? Что же все-таки правильно? За кем идти, с кем согласиться?.. Огромное впечатленье от «Бесед» Галиани не проходило у меня десятки лет. И не кто другой, как почтенный аббат (его книги цитировал Карл Маркс), подковал меня для Гегеля, для позднейшего прочтения «Капитала», а главное — тренировал мозг для пониманья проблематики хозяйства и позднее отразился чуть ли не во всех моих очерках о советской промышленности.

Другой пример — еще более странный. Однажды, свернув по сноске какого-то текста на дремучую тропинку библиографии, я неожиданно оказалась перед огромным, почему-то закапанным восковой свечкой томом с заглавием «Acta Sanctorum». Это было средневековое издание католических «отцов церкви». Я раскрыла его на «Conffessiones» Августина Блаженного[4] и влюбилась в свежее, облегченное звучанье средневековой латыни. Она мне запела, как прелюдии Баха, влажная по сравненью с сухой латынью классической, но еще строгая и не сентиментальная по сравненью с чувственной патетикой выросшего из нее итальянского языка. Я начала для себя, для собственного удовольствия, переписывать всю «Acta Sanctorum» в свои тетрадки,— несколько их сохранилось у меня до сих пор. Может показаться нелепым такой расход времени. Скажут: «Для чего?» А я знаю, что это не было зря. Это был сложный, нужный опыт, пригодившийся мне отнюдь не только для лингвистических размышлений. Он пригодился мне для понимания поли-

[4] «Исповедь» Августина Блаженного.

фонии в музыке и перехода от нее к современному музыкальному строю у композитора Иозефа Мысливечка, для понимания связи между развитием разговорного итальянского языка и — языка музыки в его развитии. Нет изолированных знаний! Все перекликается на том высоком уровне мышления, которое зовется проблемным.

Еще об одном хочется тут рассказать, прежде чем перейти к «фактическим перипетиям» этих сложных лет моей жизни. Часто задают вопросы о технике писателя, о том, как он строит свою работу в режиме дня, что именно служит ему технической помощью. Под уклон моих лет, когда книг моих набралось чуть ли уже не больше, чем этих лет, часто спрашивают интервьюеры, есть ли и какие у меня «секретари», диктую или сразу стучу на машинке, и даже какой-то лихой пародист нарисовал меня однажды летящей по воздуху с машинкой на коленях и что-то на ней выстукивающей. Мне вовсе не кажется таким уж значительным дело моей жизни, чтоб сообщать вслух о мелочах своей рабочей «лаборатории». Но есть в них нечто принципиальное, чем, думается мне, совсем не худо поделиться с молодежью, вступающей в нашу очень ответственную, очень трудную профессию. И потому решаюсь кое-что рассказать, тем более что оно развивает мысль о создании прочных привычек труда смолоду.

Во-первых, настоящих секретарей у меня никогда в жизни не было и хочу надеяться — не будет. Есть хорошая английская пословица: хочешь, чтоб тебе совсем не служили,— держи дюжину слуг; хочешь, чтоб тебе плохо служили,— держи двух или одного; хочешь, чтоб тебе служили хорошо,— служи себе сам. Я свято придерживалась этой пословицы, хотя с годами, когда обрастаешь очень большой корреспонденцией, это очень трудно. Человеку во всех возрастах, если он сам себя не стесняется и не боится сохранить в своем характере кусочек детства, очень помогает игра. Я часто играла, помогая себе в трудные периоды: делила день на три дня, называя их понедельник первый, понедельник второй, понедельник третий — и так далее, все дни недели. В первый — допускалось только творчество — никаких разговоров, никаких телефонов, никаких внезапностей, сидеть и писать, пусть в корзину, на разрыв, если не пишется, но писать непременно, повязав голову (чаще, за неимением шарфика, чулком). Никто не смел видеть меня в этом состоянии, немытую, нечесаную, сразу — из постели — засевшую за письменный стол, хотя хотелось иной раз отчаянно жаловаться на «не выходит», «исписалась», «кончено»... И никогда кончено не было, от многих и многих усилий, многих и многих выбросов в корзину — возникала теплая, благодатная волна творчества в мозгу, и вы уже сами не властны были остановить ее... Счастье двух-трех часов этого творческого одержания, когда, как любили говорить романтики прошлого века и сам Гёте, демон ваш (daimōn по-гречески) ведет человеческой рукой почти бессознательно, почти без участия засыпающего и как бы погруженного в сказочный сон мозга! Всякий раз трепещешь, что оно не повторится.

И всякий раз переживаешь возврат его, как электрическую искру от трения,— работая, работая, работая, хотя бы на разрыв, в корзину, пока не вспыхнет и не потечет творчество. Честно могу признаться, что лишь эти «искры», рожденные упорной работой, и то, что явилось следствием творческого горения мозга, я оставляла не уничтоженным.

И тут одно очень важное обстоятельство. У Энгельса есть замечательные строки о роли человеческой руки в процессе становления homo sapiens'a — человеческого вида, в отличие от четвероногих. Рука для меня никогда не была самой по себе — но всем человеческим «я», всей сутью, в которой (как в мягкой части коралла, растущего вперед) сосредоточено отличие человека от животного. Писать своей рукой, держа ручку в пальцах,— самое непосредственное соотношение ваше с листом бумаги, почти заменяющее кончики пальцев. Вы передаете себя в письме, передаете интимней, откровенней, излиянней,— через внутреннее движение всего вашего тела, ваших мускулов, биенья пульса, теченья крови, передающегося в свою очередь важнейшим фактором самовыраженья — п о ч е р к о м. Есть целая наука определения характеров по почерку. Она эмпирична. Терять свой почерк, мешать его развитию, влиянию вашей воли на улучшенье почерка, чтобы придать ему ясность,— это очень большая потеря для человека в целом и для писателя в частности. Поэтому — на «во-вторых» — я отвечаю: никогда не могла и не хотела выстукивать свое творчество на машинке,— ненавидела машинку, изгоняла ее из своего обихода, как и огрубляющее, нивелирующее почерк автоматическое перо. Диктофон кажется мне ужасным присутствием соглядатая в комнате, а диктование — неизбежной формой самоторможенья, самооглядки, неискренности, смесью страха, конфуза, механического движенья мысли вместо творческого самозабвенья ручной записи.

Возможно, я тут отстала от века, становлюсь чем-то старомодным и уходящим в прошлое, но так оно есть и не просто есть,— так оно у меня глубоко принципиально. Десятки лет берегу драгоценный опыт писания от руки, даже ручного переписыванья где надо; берегу свою любимую многолетнюю ручку; покупаю, где могу, исчезающие школьные стальные перья; и страшно дорожу простенькой чернильницей, подаренной мне сестрой. Куда бы ни поехала, в дальние или близкие края, она всегда со мной, как и флакончик простых фиолетовых чернил стоимостью в тринадцать копеек. Привычки бывают разные, иной раз неразумные и даже вредные; но я пишу о привычках, имеющих п р и н ц и п и а л ь н у ю основу.

4

Москва. Мы вышли с сестрой из нашего молодежного зеленого вагона (тогда первый класс был синим, второй — желтым, а третий — зеленым) и, сдав на хранение свои пожитки, вышли на вокзальную площадь. Известно, что голос меняется в своем развитии (ломается, как чаще говорят) у всего живого и неживого, человека

и машины. Сломался он и у города Москвы. Современнику трудно себе представить, как звучала Москва три четверти века назад. Сразу, как ветер, охватывала вас кричащая симфония грохота железных колес извозчиков по неровным булыжникам мостовых; выкликов уличных торговцев с лотками сезонного товара — «морквы», «десяточка слив за три копейки», копченой рыбы, горячих филипповских пирожков; приятного вклинивания в них звоночков конки и старинного перелива шарманки, крутимой за ручку слепым шарманщиком; оголтелого карканья ворон с облетающих сучьев осенних дерев из-за ограды; пьяной ругани выползавших из ближайшего трактира; а над всем этим — звончайшего уханья колоколов со всех знаменитых московских «сорока сороков». Звуки были пронзительной свежести — может быть, от редкостной чистоты воздуха, не загрязненного никакими дымами, никаким отработанным газом. А простая, мокрая от ночного дождичка грязь под ногами, оставленные на мостовых золотистые кучки навоза и лужицы лошадиной мочи пахли даже как-то приятно — дачей, деревней, проселочными дорогами. Воздух сентябрьской Москвы хотелось пить, как прохладный глоток из родника. А вода... в те далекие годы по чистоте и незараженности питьевой воды Москва стояла на втором месте в Европе — лишь Вена занимала место перед нею.

Но кроме этого внешнего «привокзального» облика Москвы, в те годы она отличалась еще кое-чем необычным. Не только модные писатели-«декаденты», а даже самые прозаические москвичи-обыватели, чьи отцы, деды и прадеды вели на широкую руку оптовую торговлю дерюгой, кожами, свечным, скобяным и прочим серьезным товаром, приметили это «кое-что». И если символист Андрей Белый откликнулся на него музыкой своих странных и увлекательных «Симфоний», то оптовые торговцы выражались трезвыми словами. Я сама слышала однажды от одного из них: «За́рева в нонешнем году, не солгать, очень пригожие, как бы к урожаю». Московские необыкновенные закаты первых десяти лет нового века!

Старая Москва с ее кривыми улицами и переулками-тупичками почти не проглядывалась насквозь, к горизонту; в ней, как это ни странно, было мало неба не потому, что его загораживали дома,— наоборот, не было тогда ни высотных зданий, ни даже просто очень высоких домов, и даже крохотный нынче грибок Дома союзов, где раньше было Благородное собрание, казался нам внушительным; нет — просто не смотрели пешеходы наверх, а меж домами небо как-то не выглядывало, прячась за деревьями. И даже не только поэтому. Напрягая память, я ловлю себя на **неинтересности** тогдашнего московского неба, как, впрочем, и теперь в Москве по сравнению с Ленинградом. Есть соответствие между небом в городе и рекой, где она протекает. Река Москва казалась темной, невыразительной, грязноватой по берегам, почти не имевшим набережных. И ровным, невыразительным казалось небо, не притягивавшее глаз, словно не оно в реке, а Москва-река отразилась в нем. И поэтому с невиданной, необычайной силой, почти магической, повлияли тогдашние закаты на восприятие пешеходов.

Трудно сказать в одном слове, чем были эти закаты не похожи на обычные. Во-первых, почти телесной теплотой красок. Ярко-красно заходит солнце, предвещая назавтра сильный ветер; но его яркость носит какой-то мясной или сухо-кирпичный оттенок, обжигающий глаз. А тут — проступало нежно-румяное тепло неба, словно шепотом сказанное слово любви, обещания, предсказанья. Не глазами, а сердцем схватывал это телесное тепло прохожий и переживал как бы предчувствие чего-то в своей жизни нежданного-негаданного. Вот-вот, казалось ему, оно наступит.

В эту кричащую симфонию дня и необыкновенное — заревое — обещанье счастья по вечерам вступили мы с сестрой сентябрьским утром, оставив вещи на хранение. Как целой армии приехавшей молодежи, нам надо было прежде всего найти жилье. Сделать это в те годы было совсем не трудно. Студенческие районы — Малая и Большая Бронные, Кабаниха, переулки по Садовому кольцу — зазывали студентов множеством зеленых билетиков на окнах, где старой орфографией, с тяжелым, ныне покойным «ятем», буквой «ять», там, куда ее не надо ставить, оповещалось: «Здаѣтца комната», «Комната сотоплѣнием», «Ѣсть комнаты». Но я тянула Лину из этих привычных дешевых районов в сугубо аристократические. В воображении моем уже мерещилась поэма «Ипполит», на манер «Евгения Онегина», где герой мой должен был жить на Малой Дмитровке и ходить по Петровке в гостиницу «Славянский базар» (там останавливались богатые тетки, закармливавшие нас с сестрой необыкновенным разноцветным пломбиром!). Малая Дмитровка, тихая, важная, в особняках с садами и конюшиями для собственных лошадей, не имевшая магазинов и не тревожимая конками, совсем не пестрела зелеными билетиками.

— Мы тут ничего не найдем,— твердила Лина.

Но вот мелькнул на угловой стене белый наклеенный картон. На нем печатными буквами оповещалось, что за углом, в Успенском переулке, дом Феррари, квартира номер пять, сдается комната на одного. На одного...а нас было двое. И все-таки мы пошли. Пятый номер Успенского переулка, и сейчас не переменившего свое название, открылся нам небольшой церковкой по правую руку от ворот. Она стояла во дворе, совсем близко к улице. На широком простенке у добротных, старых ворот под дощечкой, изъеденной временем, с надписью времен Наполеона «Свободен от постоя», была вмонтирована икона божьей матери итальянского письма — розовое с голубым плащом одеяние, склоненное к младенцу лицо матери, лилия у подола — и лампадка, тоже под стеклом, внизу иконы. Мы прошли в большой двор. В его глубине виднелся еще один солидный кирпичный забор, ограждавший большой запущенный сад. А слева — широкий господский одноэтажный дом с высокими зеркальными окнами без форточек, с двумя чугунными фонарями у подъезда — сырой и старый, но все еще внушительный,— дом бельгийского подданного гражданина Феррари. Его недавно снесли. Но, к счастью, три года назад, печатая свой роман «Первая Всероссийская», где фигурирует этот наш «дом Феррари», я его успела снять

и фотографию поместить в книге, а то бы и последний след этого замечательного жилища ушел в небытие.

Много домов в Москве хвастают своими посетителями и даже почетную доску исхлопотали себе. Разобранный на сырье старый дом бельгийского подданного Феррари и до нас видел, должно быть, много необычного. А при нас кто только не заходил в него! Но не буду забегать вперед. Мы стоим сейчас перед его хозяйкой, вышедшей самолично открыть дверь на звонок. Хозяйка, толстая, рыхлая, в мужском шлафроке, доходящем ей до пят, но широко распахнутом на розовой ситцевой сорочке, в седых кудерьках, со вскинутыми сонливыми глазами,— стоит и смотрит, а у подола ее шлафрока заливается смертным лаем обстриженная собачонка. Мы с сестрой чувствует запах водки. Он исходит от этой мадам Феррари, домовладелицы. Мы пятимся, уже перепуганные, но хозяйка заговаривает, собака перестает лаять, нас ведут в удивительный мир престарелых вещей, и я тихонько шепчу Лние, отставая на шаг: «Диккенс, «Большие надежды...» Становится жгуче интересно от всего, что вокруг,— огромных атласных кресел, отсиженных и потертых до сального блеска; ковров с лезущей бахромой из-под ног; разбитых стеклянных люстр, снятых с цепи и уставленных в угол; картин, висящих криво; засохших пальм в кадках,— и сладковатого мышиного запаха отовсюду. Пройдя сквозь целую анфиладу этого померкшего величия, мадам Феррари остановилась перед кабинкой — вроде вагонного купе,— помещенной в центре коридора, и раздвинула, совершенно как в вагоне, дверь в нее. Это было и впрямь купе, без окон, с раздвижной дверью, и в нем помещались койка, стол и стул, а над столом висело небольшое зеркало в резной оправе.

— Восемь рублей в месяц,— сказала хозяйка.— Можно вытащить стол, убрать стул, поставить вторую койку, а между ними тумбочку. Отлично будет, барышни.

Мы с Линой переглянулись. Дешево! В старом мире жилье было самой дорогой статьей расхода в бюджете. И главное — романтично. Дешевле на два рубля самой дешевой комнаты в студенческом районе. Голос у хозяйки сиплый, но какой-то симпатичный.

— Утром и вечером берите у меня из самовара кипяток. Сама я сплю тут, за коридором. Пью спиртное по рецепту, от ревматизма. Лучше не найдете, о чем говорить! Везите вещи, а я к приезду все сделаю. Может, еще шкаф дам в коридоре. Будем считать с сегодняшнего дня, за полмесяца вперед.

Голос у нее был сиплый, но располагающий. Что «пьет по рецепту», нас успокоило, да и все решительно успокаивало, настраивало тотчас согласиться. Не дай бог упустить! Мысленно, в воображении, мы уже вселились с Линой в эту каюту на волшебном острове, с доброй колдуньей, пьющей по рецепту, и ее грозной собакой... Но собачка уже обнюхивала наши ноги и била хвостом по полу в знак дружбы. А из дверей вышла худенькая девочка лет семи, с белокурыми косицами, в фартучке, и сделала нам книксен (реверанс; русского слова для этого всеобщего приседанья девочек

перед старшими в те годы не существовало). Мы окончательно решились. Лина вытащила кошелек и дала мадам Феррари четыре серебряных рубля.

— А в саду можно бегать, гулять, можно цветы сажать! — сказала девочка, восторженно глядя на нас.— А я к вам буду в гости ходить, рассказывать!

Когда мы на извозчике привезли в Успенский переулок наш сундучок и увязанные в одеяло подушки, дивным чувством покоя охватило нас обеих в маленькой волшебной каютке «без окон и дверей». Это был свой дом. Особенный. С огромным садом. С собственным шкафом в коридоре. В каютке уже стояли две койки с матрацами. Откуда-то пахло горьковатым дымком — это, наверное, поспевал самовар. Задвижная дверь, правда, не имела замка, но зато ее нельзя было сразу распахнуть. А раздвинуть — это еще догадайся, за что в ней для этого ухватиться. И пока раздвинут, можно принять меры. Мы были бесконечно счастливы в этот вечер. Мы чувствовали себя разбогатевшими на два рубля, с обеспеченным месяцем впереди. Милая девочка несколько раз взад и вперед прохаживалась возле нашей двери. За нею, стуча хвостом, бегала жирная хозяйкина собака. А сама хозяйка, разжившись «по рецепту», должно быть на все четыре рубля, спала божественным сном на огромной супружеской кровати, наверняка не убиравшейся с тех самых пор, как умер ее супруг, бельгийский гражданин Феррари. Но мы тогда этого еще не знали и тоже заснули, напившись чаю, первым самостоятельным сном в Москве, на собственной квартире, после дедушкиных диванов и пансионского дортуара.

Я написала выше: «Кто только не захаживал!» Дом Феррари и вправду стоил бы почетной доски с надписью. Однажды зимой к его парадному подъехал не простой извозчик, а лихач. В Москве лихачи были особым, привилегированным слоем извозчиков. Летом пролетки их отличались высотой — сиденье вздымалось над рессорами, смягчавшими тряску; колеса были обтянуты резиновыми шинами для той же цели. Зимой лихач ездил на узких санках с высокой спинкой, крытых меховой полостью. Сам он, как и лошадь его, был выхолен, в раздутом сзади новом синем кафтане, вылезавшем из облучка, словно тесто из квашни, а лошадь гладкая, с расчесанным хвостом. И не всякого пассажира брал лихач; а двугривенный, за который простой извозчик готов был всю Москву исколесить, шел у него не за плату, а только за «чаевой». Такой вот лихач подъехал к нашему диккенсовскому дому, когда мы с сестрой возвращались с лекции. Откинув меховую полость, вышел из санок высокий широкоплечий мужчина в распахнутой шубе и шапке вроде боярских русских шапок старинного времени, с красноватым, полным, почти безбровым лицом и, как-то брезгливо дернув плечами, вошел в парадное. Таких гостей у мадам Феррари за полтора года не было.

— Федор Иванович,— важно ответил на наш вопрос лихач.— Хочут дом себе купить, да только вряд ли. Смотрели немало, а подходящего по его положенью нету.

Известно ли биографам Шаляпина, что он собирался купить в Москве дом? Во всяком случае, наш «дом Феррари» был у него на примете. Но вернулся он от мадам почти тотчас, не сняв даже шубы, и тут же влез в узкие санки, не удостоив нас с сестрой и взглядом.

Спустя полтора месяца по приезде нашем в Москву стал приходить к нам в волшебную каютку худенький, сухой, как кузнечик (он болел тогда туберкулезом позвоночника и его лечили каким-то растяжением, или, как он любил говорить про себя, «распятием»), поэт Владислав Ходасевич.

Отсюда, читатель, в рассказ мой будут вторгаться имена людей, ставших в будущем нашими врагами, злостными и активными. Нельзя простить их греха перед родиной, их тупого непониманья величайшего события в истории нашей страны, значенья этого события для человечества. Они бежали за рубеж и оттуда вредили и предавали нас. Но в пору моего рассказа они еще не были предателями. И, погружаясь в прошлое, я должна говорить о них с тогдашней интонацией, чтоб показать отношенья и вещи как они были.

Вместе с Ходасевичем молчаливо, не произнося ни слова, втискивался иногда в каютку другой, малоизвестный, поэт — Муни (буддийская кличка была его псевдонимом), добрый, обросший черной бородою, похожий на икону Рублева. Сидели на кроватях; Ходасевич (мы звали его Владей) читал свои стихи, а чаще учил нас читать Пушкина. Он изумительно читал Пушкина; и чтение «Музы» с его голоса, буквально повторенное мною позднее, когда я «зачитала» ее Рахманинову и вслед за ним Николаю Метнеру, вошло в русскую музыкальную классику, отразившись в двух «Музах» этих композиторов. Владя взгромождался для этого на тумбочку, сузив плечи, стиснув коленки, зажав между ними переплетенные пальцы, и, болтая изящнейшими штиблетами, ни на кого не глядя (он знал Пушкина наизусть), начинал страшно просто и разговорно:

В младенчестве моем она меня любила...

Он неожиданно оттенял и замедлял слово «любила» и еще медленней, доверительно, почти шепотом:

И се-ми-стволь-ну-ую цевницу мне вручи-и-ла...

Нас обеих пробирала дрожь — мы вдруг перед глазами увидели семь стволов на цевнице богини. А Ходасевич продолжал рассказывать, оживляясь, но как-то робко, дробно, словно становясь неумелым, хотя и нахальным — дай я сам! — ребенком:

Она внимала мне с улыбкой — и слегка,
По звонким скважинам пустого тростника...

Он почти щелкал этими скважинами — трр, трр, трр — мальчишка! Но мальчишка вдруг осмелел, взял дело в толк, и:

Уже наигрывал я слабыми перстами,—

последнее «ст» пустых скважин, а дальше нарастающее сильное адажио — на а́ — а́:

И гимны важные, внушенные бога́ми,—

и, словно растекаясь по зеленой долине, мягко, опадая с тона:

И песни мирные фригийских пастухов...

Когда я пишу это, мне очень хочется восстановить всю выразительность чтения Ходасевича, но вместо него невольно подражаю гениальному ритму последней «Музы» — Николая Карловича Метнера. Обе они, рахманиновская и метнеровская, не по заслугам посвящены мнѐ. По чести надо бы — милому, старому дому Феррари.

Молчаливый и добрый Муни скоро застрелился. Не знаю причины, не знаю, остались ли после него стихи. А Владя ходил к нам довольно часто, называл нас по немецкому романтику Гофману «гофманские сестры», рассказывал про свою великолепную свадьбу с Мариной, где посаженым отцом был сам Брюсов, а шафером «примазался» издатель «Грифа» Соколов-Кречетов, и он, Ходасевич, тут же на свадьбе сложил на него эпиграмму:

Венчал Валерий Владислава,—
И «Грифу» слава дорога!
Но Владиславу — только слава,
А «Грифу» — слава да рога.

Намек на Нину Петровскую, жену «Грифа» и «спутницу» Брюсова...

Сюда, в бедные развалины, на елку перед наступающим 1909 годом приходил к нам (правда, в другую, приготовленную для такого случая комнату) поэт Андрей Белый. Забега́ли философы-идеалисты, втискивался толстенький Михаил Александрович Новоселов, создатель «Религиозно-философской библиотеки», сыгравший в жизни моей большую и страшную роль. А письма! Перебирая свой старый архив, я ужасаюсь: как смогла за первые три месяца в Москве завести обширнейшую переписку, вкладывая в нее всю себя и раскрываясь перед людьми, еще никогда не виденными мною в лицо, не знакомыми лично. Сюда в ноябре пришел первый сине-серый конверт из Петербурга, обыкновенный почтовый конверт с тогдашней семикопеечной синей маркой,— от Зинаиды Николаевны Гиппиус. Сюда шли почтой или с посыльным — с 17 декабря чуть ли не каждый день — письма Бориса Николаевича Бугаева (о самых толстых из этих писем мадам Феррари говаривала: «Опять вам прошение от господина Бугаева»...). Не заходил, потому что был в те годы на отлете и терпел политические неприятности, но почти в каждом письме Новоселова и разговорах его окружения присутствовал у нас — Николай Бердяев. Маленький, черный как жук, студент Амиров — эсдек, еще из раннего гимназического знакомства — тоже захаживал и окружение Новоселова именовал «клубом ренегатов». То были люди тоже примечательные, каждый на свой лад. Ренегатом — далекой звездой это-

го кружка — действительно был Николай Александрович Бердяев, прошедший витиеватый путь от социализма к мистическому православию. Исключен из университета за «левые» выступления, выслан; перебежал из марксизма сперва к Бернштейну, потом к легальным марксистам-экономистам, потом в церковь. Им страшно дорожили в «Религиозно-философской библиотеке». С трепетом сердечным следили в тот год, как его «снялн с кафедры», извещали друзей об этапах этого снятия, подобно бюллетеням о здоровье знаменитости, пускали в ход связи. Вторым знаменитым «ренегатом» был в этом кружке Сергей Николаевич Булгаков, перешедший «из марксизма в идеализм», а из идеализма — в православие (он умер священником в Париже). Своеобразным «ренегатом» — из науки в православие — был Павел Флоренский, фанатик с лицом Савонаролы, строгого аскетического типа. И еще — очень солидный «дядя», типичная приземисто-бородатая фигура русского интеллигента, Владимир Кожевников, чьими усилиями и с чьим предисловием был издан в 1906 году в городе Верном (сейчас Алма-Ата) первый том «Философии общего дела» замечательного философа-библиотечника, тогда уже скончавшегося, Николая Федоровича Федорова. Ни он, ни Кожевников ниоткуда не «перебегали», но козырным ренегатом-перебежчиком был последний из этой компании Новоселова, бывший террорист, ставший православным,— Лев Тихомиров. Я перечисляю их так подробно, чтоб возвратиться дальше только к трем из них, с кем развились у меня реальные отношения.

5

Но сперва надо ответить на вопрос, каким же образом две «почти девочки», впервые самостоятельно устроившись в Москве осенью 1908 года, прямо из пансиона, уже не имея «отчего дома», сумели чуть ли не сразу очутиться в центре «идеологических течений» тех лет, среди известных персонажей русской тогдашней интеллигенции, русской литературы — и даже видеть их у себя в гостях, на крохотном пространстве жилья, где и самим негде было повернуться и где не было даже окон, а по-настоящему и дверей.

Прочной связью, если не говорить о тете-крестной Ашхэн, в то время уже разведенной жене своего богатого мужа, банкира Джамгарова, была для нас при первом самостоятельном въезде в Москву лишь гимназия Ржевской с ее начальницей, учителями и подругами. Но то была связь только по части добычи заработка — уроков и кондиций. Нечто вроде иллюзорных «больших надежд» имелось в еще неведомой и незнакомой редакции газеты «Ремесленный голос». Списавшись с ней, я уже знала, что никакой «редакции», собственно, и нет: редактор, Лобанов, принимает писателей у себя на квартире и там же, кажется, собирает номер газеты, печатая его в маленькой ведомственной типографии на ведомственных бумажных отходах.

В первые же дни московской жизни, собрав заготовленные стихи и прозу, я отправилась на квартиру к Лобанову. Это была типичная квартира председателя ремесленной управы, похожая внешним своим видом на жилища средних профсоюзников и как бы растрепанная от дунувшего вихря свободы и удушающей, медленной, как удав, схватки реакции. Она пахнула на меня растерянным доброжелательством — не первой новизны, пыльной, неприбранной мебелью в чехлах — гостиной, где окна были завешаны среди бела дня, а пальмы в кадушках — не живые, а тоже пыльные, искусственные. Самого Лобанова дома не было. Меня встретила его жена, крупная, рыхлая, с растерянными бесхитростными губами-шлепанцами. Осторожно пухлой рукой в муке (видно, вышла из кухни) приняла у меня мои тетрадки, сказав: «Вот уж спасибо вам!» — и, помолчав, видимо не зная, что сказать: «Не хотите ли пирога с капустой, буквально минутами готов будет»,— а потом, еще помолчав и видя, что я переминаюсь с ноги на ногу, собираясь бежать, предложила свою гостиную для ночлега, если еще не найдено комнаты. О гонораре не было сказано ни слова, да и я понимала, что тут, в этом последнем дыхании робкого, рожденного революцией, слабенького голоса московских ремесленников, не до гонорара... Оставался последний «визит».

Еще два года назад, в седьмом классе, у нас в гимназии Ржевской случилось страшное событие: из офицерского револьвера своего отчима застрелилась приходящая ученица Вавочка Вишневская. Мы, пансионерки, знали о ней очень мало — только то, что она шла на двойках, под угрозой остаться на второй год, часто нервничала, плакала в классе, была всех нас старше, с каким-то взрослым, женским лицом. Шел слух, что мать ее не любила, а отчим, офицер, ремнем бил за двойки и гнал из дому, если останется еще на год. Несколько девочек, тоже приходящих, выбрали меня, чтоб я тайком рассказала об этом случае и о позорном поведении нашего начальства, не желавшего считаться с домашними условиями Вавочки, не кому другому, как популярному в те дни фельетонисту «Русского слова» Сергею Яблоновскому. Раздобыли мне его адрес, узнали час, когда можно застать дома, и я, никому не сказавшись и тихонько выбравшись из пансиона, выполнила тогда эту миссию. На следующий день в «Русском слове» появился фельетон «Бедная Вавочка» с очень едкими выпадами против гимназии Ржевской и бездушия ее учителей. Переполох у нас был огромный. Кто «вынес сор из избы», так и не узнали, но у меня с тех пор завязалось первое мое газетное знакомство с любопытным, внимательно меня допрашивавшим журналистом. Вернувшись в Москву, я решила опять пойти к нему — уже от себя, показать свои литературные опыты.

Сергей Яблоновский был в те годы не так популярен, как Аверченко, Дорошевич и другие известные газетчики, но необыкновенно плодовит и любим в кругах средней интеллигенции. У Сытина, издателя «Русского слова», он был на хорошем счету: каждый день почти без пропусков появлялся его фельетон — о том, о

сем и если не на злобу дня, то непременно этой злобы касавшийся. Как-то я его спросила, не трудно ли ежедневно находить тему для газетного отклика, и он ответил, что ему помогает все: календарь на стене, погода, разговор с дворником во дворе, птицы сезонные,— «лишь бы зацепиться за что-нибудь, а там все пойдет само собой». И у него действительно все шло само собой. Так, само собой, возникло и наше взаимоотношение — в разной форме с ним до его бегства за границу и в прочной дружбе с его женой, женщиной замечательной, глубоко советской. В долгие годы после его бегства она трудом своим поставила на ноги детей, а как превосходный корректор правила ранние наши книги в Гослитиздате...

Не успела я позвонить, как мне открыла эта крупная, белокурая, веселая Елена Александровна, а за ней, едва достигая ее плеча, выглянул маленький, черный с проседью сам Сергей Викторович Яблоновский. У него одна рука была недоразвита, как-то скрючена с детства; бородка по моде тех лет, тоже с проседью, и страшно любопытные, карие, в густых ресницах глаза, глядевшие, особенно когда он сидел на стуле, будто исподлобья. И часу не прошло, как в столовой, где они приняли меня, как и два года назад (гостиная у них в квартире была очень темная и маленькая, почти всегда бездействовавшая), закипел на столе нарядный тульский самовар, появилась свежая белая булка вечерней выпечки, еще с горячим ароматом пшеницы, желтое масло, взбитое знакомой молочницей, варенье собственной дачной варки. Мы разговорились — и опять, как всегда у него, «о том, о сем»,— стихи мои он подверг критике, прочел сам Бальмонта и Северянина (дальше его принятие литературной современности не шло), и я собралась было уходить. Но тут практичная Елена Александровна спросила у меня адрес, где думаю получить работу и когда поступаю на курсы. Все это с очутившимися у нее в руках карандашом и бумагой.

Адрес я дала. Работы у меня еще не было. На курсы поступлю завтра, то есть пойду записываться. Какую работу хочу? Всякую. Уроки давать, писать, переписывать... Елена Александровна достала из ящика большой сверток. Это была «какая-никакая», а все-таки на первых порах работа.

— Любительский театр — вам безразлично знать какой — ставит пьесу, где тридцать действующих лиц. Ну, не все они, конечно, говорят длинно. Многие, кроме «да» и «нет», ничего не говорят. Но надо переписать все тридцать ролей, каждую на отдельных листах, и притом с репликами того, кто говорит раньше, и того, кто за ним,— ну, словом, чтоб действующее лицо выучило свою роль в такт, вроде каждого инструмента в оркестре.

Тут я вспомнила своего барабанщика у Констан-Дюмушель и невольно воскликнула:

— Чтоб каждый слушал целое!

Елена Александровна посмотрела на меня с интересом:

— Работа, конечно, канительная, заплатить они хотят прямо ерунду, но я для вас буду с ними ругаться и авось что-нибудь вы-

торгую. А главное, между прочим, это бумага. Смотрите, сколько бумаги! Вы можете целую половину сэкономить!

Я с благодарностью ухватила пакет. Каждый заработок казался мне отнюдь не ерундовым,— а бумага! Практичная Елена Александровна этим не ограничилась. Она посмотрела на своего мужа:

— Сережа, а ведь ты можешь ей карточку дать в Литературно-художественный кружок. Не платную в партер, а на эстраду, где студенты сидят...

И Сергей Викторович вытащил из кармана визитную карточку, защемил между вторым и третьим пальцами своей скрюченной руки карандашик и быстро набросал раздельными буквами, словно семена сеял, рекомендацию начинающей поэтессе «на посещение вторников» знаменитого в Москве Литературно-художественного кружка.

Так я сразу же по приезде получила вхожесть туда, где собирались известные писатели и утолялась разбуженная митингами страсть крупной московской интеллигенции к общественному говоренью. В дирекции Литературного кружка сидели адвокаты; вкладчиками в него были крупные богачи с репутацией либеральных. Где-то наверху, в руководстве, числился Валерий Брюсов. Я и тогда не была осведомлена о структуре и деятельности кружка, кроме пресловутых вторников, и сейчас пишу по памяти о том немногом, что доходило до меня, возможно — ошибочно. В кружке был свой ресторан с великолепным поваром. В кружке играли в карты. Но в карты играли и на Тверской в Английском клубе, где сейчас Музей революции,— и в этом была своя, московская солидность, отличавшая Москву от чиновного Питера. А по вторникам наступало царство молодежи.

Кто только мог из студенчества проникал туда всеми правдами и кривдами. Модные барышни, покупавшие книжки стихов и выписывавшие «Весы», проникали туда. Тучные, «шикарные» адвокатские жены в сверкающих брильянтах имели там постоянные нумерованные места. Либеральный поп, известный смелостью своих мыслей и слегка придержавший их ввиду возможного ареста, садился в третьем ряду, забирая к ногам полы своей рясы, пахнувшей тройным одеколоном. Крупные либеральные московские купцы... А среди них — знаменитые писатели, только что засиявшие звезды, их жены, их — никто не произносил грубое слово «любовницы», да еще при «живых женах»,— официальные спутницы; в кружке, например, поэтесса Нина Петровская, жена издателя «Грифа» Соколова-Кречетова, сопутствовала Валерию Брюсову,— в своем длинном черном бархате до пят. Платья знаменитостей запоминались — фиолетовое и зеленое, два постоянно чередующихся на неделе платья замечательной красавицы Марины Рындиной — жены Владислава Ходасевича. Не то чтобы все эти мелкие детали рассказывались друг другу. Информация как бы вдыхалась вместе с воздухом кулуаров кружка, вы вдруг сразу становились осведомленным, заглотнувшим восторженную атмосферу, должно быть исходившую от молодежи. Когда кончались пере-

рывы, зал заполнялся до стояния в коридорах; и на эстраде, где сидел не только президиум вокруг крытого сукном стола, но и рядами тесно сжатых стульев — счастливцы из молодежи, появлялся очередной оратор и выкладывал стопку бумаги перед собой...

Лекции были самые разнообразные. И опять мне приходит в голову словечко «о том, о сем», когда хочу припомнить название хотя бы одной из них. Но присутствовал какой-то такт в них, даже в этих «о том, о сем», особенно в первые годы после 1905-го, как если б речь говорилась в комнате, где еще стоит гроб, не вынесенный на кладбище. Руководство кружка и сам кружок не то чтоб держали какую-то связь с остатками революции. Они снисходили к «левым» течениям в искусстве, а левые течения, как и все такие течения в мире, были «сочувствующими». И здесь опять хочется немного отвлечься.

Не раз приходилось мне читать в те годы, да и и ныне, в разных западных теоретических книгах и статьях по искусству о том, что только самыми новыми течениями, только самым «последним словом» можно ярко и убедительно показать революционную действительность — куда ярче и убедительней, чем устаревшими приемами натурализма. Смешно было бы спорить с обновлением форм и приемов во всем видимом мире и внешнем его облике. Это обновленье всегда действует остро, отвечает какому-то внутреннему движению вкуса к новизне, к его вечной потребности в трансформации, к его борьбе с наживаемым «иммунитетом» органов чувств и потерей ими яркости восприятия. Все это, разумеется, процесс естественный. И поскольку ломка привычного в искусстве всегда сопряжена с бунтом против устаревшего, ее можно причислить к вещам «революционным». В самом общем плане такая ломка «сочувствует», верней те творцы, кто производит ее, сочувствуют в большей или меньшей степени и социальным сдвигам, восстаниям, революциям. Но между «сочувствием» и «выражением» лежит огромная пропасть — лежит а д р е с.

К о м у этот язык новизны, яркий рывок художественной формы рассказывает о своем «сочувствии»? В революции есть что-то высокопримитивное, недосягаемо простое, та стихийная форма неизбежности, то слитное упрощенье чувств, о чем только большие гении могут сказать в самых великих своих созданьях, а это, как драгоценная жемчужина, дается редко,— и в форме, о которой никак не скажешь, старая она или новая. Может быть, потому, что ф о р м а в н и х с л и л а с ь с с о д е р ж а н и е м, стала в с я содержаньем. И этим великим созданьям подчас нужно долгое время, чтоб они сделались искусством масс, оружием в руках народа, как, скажем, бетховенские симфонии.

Когда я смотрю сейчас из глубины уже потускневшей своей памяти на себя самое в атмосфере годов 1908—1914, на свои блужданья и заблужденья, мне кажется (может быть, только сейчас кажется), что в восприятии моем тогдашнего «декадентства» недоставало чувства полного доверия, полной юношеской вхожести в молодежные увлеченья тех лет. Мне всегда и всюду, при

всех обстоятельствах хотелось *понять*, и это желание *понять* стеной стояло между мной и стихийным процессом жизни. Сестра частенько дразнила меня басней Хемницера о философе («Веревка, вервие простое...»).

Расскажу для примера об одном случае вот такого тормоза непосредственности, вдруг отделившего меня от стихийно переживаемых настроений моих сверстников и современников и оставившего в каком-то полном одиночестве на «острове размышленья» как своеобразного духовного робинзона. Этот случай связан, кстати сказать, с атмосферой Литературно-художественного кружка.

Мы все в те годы поклонялись Валерию Брюсову. Сейчас это имя дорого для нас, потому что Брюсов с первых дней революции пришел к нам, в советскую литературу, как коммунист. Он отдал ей на службу свою большую эрудицию и свое мастерство, первый стал работать над связью советских национальных литератур, классически переведя образцы армянской поэзии на русский язык... Но в те времена это был глава теченья, вошедшего в историю как «декадентство». Его знаменитый однострочный стих, странный и непонятный, как бы первый камень заложил в этом теченье, вызвав насмешки и восторги, став сразу пародией для одних, догматом для других:

О, закрой свои бледные ноги.

Брюсов как никто другой подходил под титул «мэтра». Мастер, мэтр — недосягаемый в поэзии, в прозе, в критических оценках. Недоступный. Окруженный легендами. Тот, из-за кого молоденькая талантливая поэтесса, полная жизни,— словно в книге — застрелилась. Тот, кто сказал, что все в этой жизни — лишь средство для «певучих стихов». И в том, как он выглядел, некрасивый и чопорный, жесткий и требовательный, было свое обаяние для молодежи. Характерный штрих в его биографии — это, по-моему, история с Врубелем. Ее сейчас рассказывают по-всякому, и я расскажу только то, что слышала сама: к умирающему, душевнобольному Врубелю Брюсов пришел в больницу и убедил его — написать с него портрет. Он позировал перед больным. И Врубель написал гениальный портрет.

Так вот, во дни очередного юбилея Гоголя Брюсову было поручено одно из выступлений-докладов (а может, и не «поручено», поскольку сам Брюсов был, кажется, одним из организаторов юбилея,— не помню). Выступали докладчики с обычными вариациями на тему Гоголя «смех сквозь слезы». Многое звучало давно известным, уже многократно сказанным. Кое-что прозвучало скучновато-банально. А Брюсов вышел на эстраду в своей чопорности «мэтра» и прочел доклад о том, каким «обжорой» был Гоголь в жизни, как он художественно любил поесть, и что именно едал, и как именно едал — со вкусом, «с чувством, с расстановкой» — в тратториях Рима, за московскими обедами у Погодина; и как вкусно, со смаком, описывал украинскую еду в своих знаменитых повестях. Доклад прерывался свистом и возгласами возмущенья. Брю-

сов стоял мертвенно-бледный и спокойно продолжал докладывать. Мертвенная бледность усугубляла необыкновенную «демоническую» романтичность Брюсова и созданную им ситуацию в зале. Почти весь женский пол шипел на свистевших и требовал тишины. А в последующие дни этот случай вызвал целую дискуссию.

Все, кого я знала и с кем общалась,— это было уже много позже первых месяцев в Москве,— студенчество, серьезное и несерьезное, читательницы «Весов», подруги по философскому факультету — живой и непосредственный поток реакций на появившиеся неодобрительные отклики в серьезных газетах и журналах,— были за Брюсова, за его доклад, вообще — за право на такой доклад. Говорили в этом непосредственном потоке мнений как будто умно и даже политически аргументированно: «Кто смеет поставить точку на тематике, выбранной исследователем? Опять узда! Только-только подышали свежим воздухом девятьсот пятого года — и реакция, даже в истории литературы не дают шагу ступить! Мы наслушались этих «смехов сквозь слезы» десятки лет, начиная со школьной скамьи. Чего ради дудеть и дудеть в одну и ту же дуду? Лучше о Гоголе Белинского и Чернышевского перечитать, чем слушать эти азы, сделанные бездарно, скучно, плоско,— кому это нужно?»

Да, бездарное, скучное, плоское ничего, кроме потери времени, не принесет. Все это так. Живой протест общества — не в защиту оригинальной темы, выбранной Брюсовым, а в защиту свободного выбора темы для доклада. И в этом есть что-то, оставшееся от «расправленных крыльев», от чувства полета, пережитого так недавно. Ведь хорошо, подъемно на душе, когда читаешь у Пушкина:

...Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..»

Вольные птицы... Воля! И не важно куда,— туда. Не важно зачем. Не смеет, не должен человек потерять это великое вольное чувство, эту возможность полета. И когда общество стеной встает против заградиловок, мешающих самому невинному полету мысли,— это значит, что есть живые силы в обществе, это хорошо, к этому надо прибавить и свой маленький голос... Как будто все правильно.

Боже мой, если это все правильно, то почему же, почему? Почему я, так страстно любившая свободу, написавшая (и напечатавшая!) десятки рабочих гимнов свободе в «Ремесленном голосе», разошлась тут с моими сверстниками, с леваками в искусстве? Дело в том, что, несмотря на всю приведенную выше аргументацию моих сверстников и современников, несмотря на романтическую бледность Брюсова, докончившего свой доклад под свистки большинства в зале, я была абсолютно против доклада

Брюсова, меня чуть не стошнило от него. Почему это случилось? И вместо непосредственного, «плывучего» вхождения в эпизод — ярой защиты Брюсова с моими друзьями или яростного свиста вместе со свистунами на дальних скамьях в зале — я ходила насупившись, отмалчиваясь, пытаясь понять, что́ заключается в происшедшем явлении и какой тормоз сидит во мне самой, мешая окунуться в общую волну. Неужели сижу в яме, как философ из басни Хемницера? Да, но ведь Гоголь... дело касалось Гоголя, великого писателя, автора «Мертвых душ»...

Помню, какие доводы я приводила сама себе в защиту своей странной позиции «отсутствия непосредственности». Помню очень ясно, хотя прошло с тех пор чуть ли не три четверти века,— может быть, оттого, что много раз и позднее и даже в наши дни мне приходилось переживать такие же общественные явления, занимать в них такую же позицию, попадать снова и снова на «остров Робинзона», почти в полной изоляции, потому что ни с одной стороной не могла непосредственно слиться из-за внутреннего несогласия. И всякий раз это было очень тяжело переживать.

Вот в общих чертах тогдашние мои доводы. Начала я свой разговор с собственной совестью так: «Положим, я сама Гоголь. Я умерла. Празднуют мой юбилей. А я сама, сделавшая, по Чернышевскому, «гоголевский период в литературе», слушаю, что обо мне говорят на юбилее. Была ли бы я довольна правильными, но скучными, чтобы не сказать — бездарными, докладами, повторявшими «азы», или оригинальным докладом Брюсова обо мне как обжоре? Ну, я любила покушать, но почему это выпячивать на юбилее?» А потом — «азы». Их подали серо, скучно, пресно, опорочив этой скукой, плесенью и пресностью самую их сущность. А ведь сущность «азов», открытых статьями Чернышевского, замечаньями о Гоголе самого Пушкина — сущность этих «азов» сама по себе совсем не з а п л е с н е в е л а, «критический период», засверкавший в литературе «Мертвыми душами» и «Ревизором», он ведь совсем не перестал сверкать! Он не исследован до конца, не применен к с о в р е м е н н о с т и, не сопряжен с действительностью, ушедшей от него не так уж и далеко. Как жалко, что вместо нового проникновенного раскрытия того, что есть гениально-главное в Гоголе, связи этого раскрытия с современностью, движенья вперед по э т о й магистрали (ведь это был бы глубокий глоток кислорода для всех, это было бы п р о д о л ж е н и е м дела Гоголя в эпоху после 1905 года!), вместо всего этого — серый катехизис, топтанье на сказанном как на прошлом.

С другой стороны — символисты... Мэтр Брюсов... Левое течение в литературе, называющее себя революционным,— почему же остротой своего видения, новизной своих приемов, яркостью красок, свежестью своего словаря они н е п р о д е л а л и р е в о л ю ц и о н н о й р а б о т ы п р о д о л ж е н ь я? Углубленной тематической работы? Только и взяли у Гоголя что любовь к галушкам. Чем лучше такие «взмахи крыльев», описанья «неба небес», coeli coelorum, или состояний христианского блаженства у Августина

Блаженного, совсем забывшего самые важные слова Христа — слова «за други своя», за самаритянина-«инородца», слова Нагорной проповеди, слова об «огне», который — как хотел бы сказавший о нем, чтоб этот огонь «возгорелся»?!

Где же магия этих левых форм? На что вообще идет в литературном производстве эта «магия», что именно обновляет она для человечества? Галушки внизу — небеса небес наверху? Именно в эти годы, когда мы жили с Анной бок о бок, делили хлеб и бесхлебицу, недоуменья и радости, я привыкла к общенью с ней, почти анонимному, путем размышлений вслух перед сном. Анна в эти годы была очень занята и уставала к вечеру; она не имела времени ходить в кружок. Лекции, два урока подряд со взрослыми девушками, которым она преподавала французский, нехитрая стряпня, потому что нам не всегда были по карману студенческие столовки и заманчивая «Вегетарианская столовая» со своими винегретами и кашами, мытье посуды,— под вечер она, чуть ляжет, сразу же и засыпала. А я, избалованная ею эгоистка, оттягивала эту минуту своими размышлениями вслух. Мне просто невозможно было закончить день без капельки ее мудрости, никогда не назидательной. И в своем раздумье о событии на юбилее, пытаясь оправдать «левую молодежь», к которой не смогла присоединиться, я прибегнула к Пушкину: «...туда, где синеют морские края, туда, где гуляет лишь ветер... да я!» Хорошо это, Аннуха? Но Анна, засыпая, ответила:

— А у Пушкина есть еще о воле, помнишь? Прямо противоположное... В «Цыганах»: «Ты для себя лишь хочешь воли, гордый человек»[5]. Так, что ли? — И она сразу уснула, вряд ли даже соображая в эту минуту, какой мудростью мне ответила.

6

Биографы часто пишут, по рапповскому трафарету, что в юности я была «символисткой», «идеалисткой», вообще какой-то «исткой», хотя ничто так не противно моей природе, как явления, превращающиеся в «измы». Про древнюю Элладу, когда она распространяла свое культурное влияние, существуют два термина, схожие по языку, но совершенно разные по сути: «эллинская культура» и «эллинистическая культура». Первая родится, вторая насаждается; первая — у себя дома; вторая — в чужих краях; первая — естественна, вторая — искусственна. Правда, такие определенья схематичны, но мне сейчас нужно попроще и понаглядней объяснить, почему я не могла быть ни символисткой, ни идеалисткой. «Изм» заключает в теоретические скобки какую-нибудь дорогу мышления или виденья, которая живет и несет в себе хоть

---

[5] У Пушкина в «Цыганах»:
Оставь нас, гордый человек...
...Ты для себя лишь хочешь воли...

зернышко истины именно потому и тогда, когда она открыта вперед, распахнута концами наружу, не заключена в скобки, не отделена от других путей мышления ничем, кроме своей собственной природы. Иначе говоря — когда она остается дорогой! Но ставши «измом» и замыкаясь в скобки, дорога становится системой, заканчивается на самой себе, приобретает условные границы и так сильно суживает ими свое зернышко истины, что оно перестает произрастать.

Катехизис детище церкви, сделался таким «измом» для христианства. Мне были очень интересны книги символистов; мне говорило душе само понятие «символа» как сигнала чего-то большего, чему еще нет имени. Своим неугомонным мозгом я тяготела и к воздушной архитектуре идей таких мыслителей, как автор «Критики чистого разума». Мне было дорого понятие «критики» как свободного исследования вещей и явлений. Но чуть доходило дело до последнего принятия того в искусстве и в философии, что, казалось бы, стало мне близким,— то есть безоговорочного вхождения в «изм»,— я тотчас шарахалась в сторону. Какой-то кусочек меня оставался в стороне, удерживая свое мышление на свободе, за скобками. Еще не то, чтоб отдаться этому всей душой! Еще — скользкая, преждевременная недостаточность, чтоб заключить на ней свое мышление в скобки. И я не могла быть и не стала ни символисткой, ни идеалисткой. Я занята была в те годы поисками живого зерна истины, в чем бы оно (вне скобок) ни заключалось, а носителями этих зерен казались мне сами живые люди, их проповедовавшие.

Начитавшись всякого рода «историй» с Геродота до Ключевского, которого мы, курсистки, бегали всем нашим факультетом слушать к студентам на Воздвиженку, я выработала сама себе схему развития человечества и донесла ее до седых волос. Это была не научная, а поэтическая схема, рожденная в образах. Рыжий мальчик Глеб принес мне как-то маленький обрубок коралла, отломленный собственноручно его братом, моряком, где-то на коралловых островах Океании. Обломок был серый и уже затверделый. Глеб пощупал его жесткий кончик и сказал:

— Он был совершенно мягкий, это был росток,— рос мякотью вперед, а тельце его постепенно твердело за ним. Красивые красные кораллы — это уже мертвые части тела; брат говорит, эти отростки, растущие вверх, производят впечатленье живых, до того мягкие, телесные какие-то на ощупь. Но тут, наверное, химия.

Наивный рассказ Глеба встал передо мной в образах, как нарисованный. Я записала себе: «Никогда не твердеть мозгом, чтоб он безостановочно рос, а пережитое, остающееся пройденным, пусть его твердеет в красивые кораллы». И этими живыми отросточками, мякотью истории человечества, мне представлялись люди — человеческие массы,— делиться с ними, получать от них, быть вместе,— общение, взаимодействие,— счастье. Счастье вечного продолженья...

К этой еще в детстве созданной для себя картине спустя многие годы прибавилась другая, очень важная и тоже дожившая у меня до седых волос. В Москве, среди современников и «мэтров», книг и лекций, библиотек и аудиторий, всегда занятая по горло, я постепенно перестала думать о «начале начал», забыла своих индусов. Меня стала терзать другая, «конфликтная» мысль, имевшая для меня, старавшейся всякое открытие в мысли тотчас переводить в практику, в действие, жизненно важное значенье. Как строить и как понимать взаимоотношенье между *старым* и *новым*, культурой и революцией? Как поступать самому, если жизнь ставит тебя перед выбором между консерватизмом и революционностью? Всякий ли консерватизм плох, всякая ли революционность хороша? И если я буду решать этот вопрос конкретно, всякий раз исходя из условий времени, обстоятельств, целей, один раз — так, а другой — этак, не превращусь ли я в отвратительный тип философа-релятивиста, спекулятора, жонглера идеями, для которого абсолютной истины нет?

В студенческие годы я как раз и становилась такой релятивисткой, смутно чувствуя, что ничего не могу решить окончательно. Как это ни странно, решение все же во мне накапливалось, «всходило» на дрожжах растущего опыта, а явственно определилось оно опять-таки в картине, возникшей из самонаблюденья. Это случилось весной 1918 года в родильной клинике Варшавского университета, куда муж отвез меня на извозчике, когда пришло время рожать. Быть может, чудовищно в самые сильные минуты жизни не просто переживать их, а непременно осмысливать, исследовать, стараться понять, но — или ты пишешь правду, или сочиняешь, а сочиняешь — лучше не пиши воспоминаний! Я говорю правду о себе. Потому правду, что говорю о себе как *не только* о себе, но как о человеке вообще,— ведь многое, если не всё, мы, люди, в той или иной степени ясности переживаем одинаково, проходим через те же опыты и сознаем одно и то же.

Так вот, лишенная таланта непосредственности, я, в муках рождения своего ребенка, не переставала наблюдать за удивительной тайной природы — всеми перипетиями процесса, называющегося «родами»: и характером схваток, и сменой пассивности и активности матери, вплоть до последнего крика, до появленья нового человека. Университет был эвакуированный из Варшавы в Ростов-на-Дону, клиника организована наспех, в палате полно студентов (ведь клиника), вокруг — толчейно, и кричать совестно, и не видно за этими белыми халатами, что они делают, эти набившиеся чужие люди,— но я уже знаю: перерезывают пуповину, то, чем связан был этот новый родившийся индивидуум со мной, его матерью, чем мы были едины с ним, чем вместе дышали,— отделяют новое от старого безжалостно, революционно, хирургическими ножницами,— для того, чтоб он стал дышать самостоятельно, отделился, стал собственным своим бытием. Боль уже прошла, как рукой сняло. Подошедший студент с любопытством нагнулся ко мне: «Думаете небось, девочка или мальчик?» А я думала перед раскрыв-

шейся внезапно огромной тайной: чтоб новому стать бытием, между новым и старым перерезывается пуповина! Кормящая, дыхательная связь! Новое возникает революционно. Может, я так и ответила, не помню; студенты — кое-кто, наверное, жив еще — рассказывали потом, что «писательница рожала и философствовала».

Однако это был первый акт возникновения младенца. Спустя несколько часов, а может быть сутки, ко мне принесла няня беленький маленький сверток, удивительно мягкий на ощупь, хоть и крепко спеленутый. Отросток коралла,— но нет. Это был совсем другой отросток — органического мира, не камня или извести. Он был совершенно отдельный. Самостоятельный, отрезанный ножницами от питающей его матери. Он уже сам дышал — через свой собственный носик... Но... его опять дали мне. Ему опять надо питаться. И опять питаться мною, моим материнским молоком. С необычайным ясновидением я представила себе великие революции, потрясавшие мир. Да,— возникая, они требовали хирургических ножниц. Да, это совершенно естественно — отказ от всего прошлого вплоть до названий месяцев, начала летосчисления, бытовых форм в Великой французской революции. Да, подписываюсь под молотком, разбивавшим статуи Фидия, гениальный продукт греческого искусства, руками невежественных, неграмотных, темных рыбаков. Это все — хирургические ножницы, это все необходимо, чтоб новый ребенок, новое общество начали дышать своим собственным носом, своими собственными легкими. Зато, возникнув, ставши исторической явью, они опять припали к прошлому, из которого революционно вышли. Бальзаки — после гильотины. Великая эпоха Возрождения — Ренессанс,— после примитивизма первых веков христианства и аскезы раннего средневековья... Диалектика! Может быть, даже наверное, я не сказала тогда этого слова — «диалектика», хотя и штудировала Гегеля. Но ведь и сейчас ясно, что взаимодействие культуры и революции диалектично и коммунизм мы не построим, не овладев всем лучшим из культуры прошлого...

Я опять забежала вперед, перепрыгнув из октября 1908-го в май 1918-го. А между тем мне предстоит рассказать читателю об одном из важных, переломных эпизодов эпохи моих блужданий. И опять вернуться в один из октябрьских осенних вечеров на старые булыжники Москвы. Это был удивительный московский вечер, тихий, как в начале зимы, хотя только-только начинался октябрь. Падали редкие дождевые капли, казавшиеся снежинками, потому что медлили в воздухе, как невесомые. Камни на неровных тротуарах темнели влагой, а фонари уличные оставляли в них отблески. У меня был мир на душе, переходивший в вечный диалог, вечный разговор с самой собой наедине, в который я привыкла играть чуть ли не с детства. Говорило чувство счастья, а несчастье, которого я не чувствовала, но допускала в игру, ему возражало. Позднее, начитавшись всяких отцов церкви, я узнала, что такие разговоры действительно ведутся одинокими душами. «Ты ду-

маешь, что тебя так много, что ты можешь задушить счастье в человеке,— говорило во мне счастье, обращаясь к несчастью.— Но ничего ты не можешь. Я (счастье) ни от чего не завишу. Мне (счастью) ничего не надо. Я разливаюсь в человеке, умиротворяя все его мысли. Ему хорошо. Он чувствует, как расширяется, как растет в нем добро. Он знает, что его взгляд может принести сейчас людям это добро, его рука может подняться, чтоб благословить весь мир...» — «А вот я сейчас спотыкну тебя на этот самом камне, и ты взлетишь вверх тормашками да как стукнешься головой об камень, да как чертыхнешься — и все твое счастье пойдет огненными кругами перед глазами»,— отвечает во мне несчастье. Я невольно останавливаюсь, оглядываюсь, обхожу камень. Отвечать несчастью мне вдруг лень. Счастье все равно переполняет душу, переходя в какой-то веселый юмор над самой собой. За углом Успенский переулок. На воротах — уже знакомая икона богоматери с зажженной внизу лампадкой под стеклом. Огонек ее горит не колеблясь, озаряя позлащенным светом снизу вверх розовое и голубое одеянье. Не знаю почему, но с пронзающей ясностью помню, как, подойдя близко к иконе, я вдруг перекрестилась и прижала губы к стеклу, сплошь заляпанному такими же, как мой, поцелуями. Приятно было не чувствовать брезгливости к этим пятнам. Со всеми, как все...

В темный двор стягивались темные человеческие тени — сутуловатые, в платках. Это в церкви Успения началась всенощная, и я тоже пошла ко всенощной, ощутив потребность продлить свое счастье и побыть с людьми. Потом, вместе с молящимися, длинной очередью подходила к старому толстому батюшке, чтоб приложиться к кресту в одной его руке, а к другой, поднимающей кисточку, подставить свой лоб,— он «миром», а на самом деле сильно разбавленным розовым маслицем, набрасывал молящемуся — раз-два, слева направо, справа налево — влажный крестик на лоб. Крестик доносил к носу приятный запах розового масла, а иногда и капля его стекала, и это мне так понравилось, что я встала второй раз в очередь и снова подошла под батюшкин крестик. Он отмахал его своей старой усталой рукой, но стоявший рядом тип с плешью и лицом, плоско расширявшимся книзу, в подбородок, словно круглая лепешка у страшной головы кобры, похожей на плоский бубен,— этот тип в плисовых штанах продавца Охотного ряда угрюмо погрозил мне толстым пальцем. В поле моего зрения, верней в край моего глаза, попала еще одна фигура — боком, стороной,— тоже толстая, в осеннем пальто, с умилением на лице: кто-то незнакомый явно одобрил мое усердие. И вдруг мне стало страшно противно, от всего противно — и от охотнорядца с плешью, и от священника (толстого), и от гражданина в пальто с бархатным воротником (тоже толстого!), а главное, от себя самой.

«Побывать с людьми»! Res ligio — дело связи... Да *какие* люди *и с кем* связь? Я смотрела не на соседей, а в себя самое, внутрь своих переживаний, будучи в теплой тесноте церкви. А среди этих множеств увидела только два лица — один пригрозил, дру-

гой умилился. Но социально, выражением и обликом, оба они были мне антипатичны. Что толку — воображать себя с народом, если теснота людская, распадаясь на единицы, открывает не близость, а чуждость этих единиц? Кумушки со двора, которых часто вижу днем, как они шушукаются в подворотне, поливая, должно быть, грязью соседей. Ломовые извозчики,— вот они выходят из церкви, надевая на потный лоб картузы, грузные, как их лошади, по субботам, выйдя из трактира, колотящие поленом своих жен. Любители погромов и битья студентов, когда понадобится урядинику или свыше, и вожак их, охотнорядец. Некто в приличном осеннем пальто, но его умильный взгляд, остановившийся на мне, был чем-то оскорбителен. Он что-то такое поощрял во мне, что казалось постыдно и неуместно в студентке спустя две зимы после Красной Пресни и баррикад на улицах...

Домой я пришла со странным чувством стыда вместо умиленья. Сестры не было; и чтоб заглушить это вечное подсматриванье за собой, я стала усиленно хозяйничать, убирать, подметать нашу каютку. Но тут на тумбочке между кроватями я заметила книгу. Кто-то побывал у нас (дверь не запиралась, а только задвигалась), ждал, должно быть, зачитался в ожиданье и, уходя, забыл ее. На книге стояло: «Стихотворения Зинаиды Гиппиус». Мы уже знали от Ходасевича, кто такая Гиппиус. Она жила в Петербурге в своеобразном «ménage en trois» (браке втроем) с Дмитрием Мережковским и Дмитрием Философовым,— и не только писала и печаталась. Втроем они создали новую практику, свою собственную церковь,— с учением, известным как «новое религиозное сознание». Еще полная пережитым счастьем, перешедшим во что-то стыдное, я раскрыла книгу.

Лампа у нас была маленькая, керосиновая — из тех, что назывались тогда «кухонными»,— и зажигалась она в подспорье электрической лампочке, висевшей с общего для нашей каюты и коридора потолка. Она давала очень мало света. Хотя керосин в ней был налит доверху, но в эту ночь бедная усталая Лина, как ни была запаслива, прилечь не смогла: очень скоро керосин весь выгорел. Я как безумная уткнулась в книгу. Лина зажгла свечку — догорела и свечка. Тогда она рассыпала перед собой весь запас имевшихся у нас в доме спичек и всю ночь зажигала их одну за другой, пока я читала и читала, забыв обо всем на свете. Передо мной был ответ: соборность, связь общих по духу людей, бог, революция. По Гиппиус выходило, что революция 1905 года не могла победить из-за своего безбожия. А я, не отдавая себе отчета,— быть может, единственной тогда чертой непосредственности, сохранившейся у меня на всю жизнь,— тянулась к трудовому народу, к простому обездоленному человеку, к справедливой жизни для него и отдаче себя для правды, тянулась всей своей совестью, а совесть и была чувством бога, высшего начала в человеке. И тут вдруг встретились совесть и революция, бог и революция — в единстве сознательном и продуманном, необходимом, изложенном между

строк в самой атмосфере очень новых по форме, тонких, умных, необыкновенных стихов...

Утром, когда еще не забрезжило, но потянуло дымком из кухни от раздуваемого самовара, Лина, как была одетая, свалилась на постель досыпать за свою круглосуточную работу. А я, захватив чернильницу, ручку и бумагу, пошла искать местечко в кухне, где был свет, и написала первое свое письмо Гиппиус. Совершенно не помню, во что оно вылилось, как вообще не помню, своих писем, во множестве писавшихся всю мою жизнь — без черновиков, без какого-либо пересказа их содержанья в дневниках. Написала — и словно тяжесть с души свалилась. Даже усталости не было. В этот же день, отыскав через Ходасевича адрес какого-то петербургского журнала, я послала письмо заказным. Дня через три пришел серо-сизый стандартный конверт, зеленоватая иногородняя семикопеечная марка на нем с двуглавым орлом в середине,— самый обычный конверт, надписанный твердым ясным почерком с уклоном вправо. Это было первое письмо от Гиппиус, а их у меня хранится свыше сотни за три года переписки. И это первое было, пожалуй, таким же по четкости, твердости, властности и выработанной привычке «наставлять», как и все последующие. Я приведу его здесь в главной части, заменив старую орфографию новой.

Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Мал. Дмитровка, Успенский пер.,
д. Феррари, кв. 5, Москва.
24.XI.08. СПб. Литейный, 24
(или Пантелеймоновская, 27, это *одно и то же)*

Милая Мариэтта. Ваше письмо было мне очень радостно.

Оно такое хорошее, ваше письмо; такое умное и т р е з в о е. Знаете, очень важно, что трезвое. Так это редко теперь. Мне казалось, когда я читала ваше письмо, что вы поняли все, что я... не писала, а думала и чувствовала, когда писала. Много ведь написать не смеешь, да и нельзя, а хочешь, чтобы угадывалось. Вы подслушали мою душу. И как верно то, что вы пишете о простом, «обыкновенном»...

Прежде я все-таки говорила больше, а теперь чувствую, что надо быть еще скрытнее, надо уметь выявлять тайное... почти молчанием.

Я думаю,— чувствую сознанием,— что вам близок «Бог», который близок мне и к которому я хочу все больше, еще больше приближаться. Я все слова и мысли вашего письма принимаю, говорю им «да» с величайшей радостью. Да, у вас хорошая молитва, да, не фетиш, но надо «сквозь» земные явления... И «символ» вы понимаете не как все, а шире, более реально; как я понимаю и еще некоторые, мне близкие...

В первую минуту по прочтении этого письма я почувствовала огромное счастье. В чем-то жизненно необходимом, очень главном, через несколько сот верст (мы считали тогда расстоянье на милые русские «версты полосаты», а не на механически звучащие километры),— через всю эту дальнюю даль радищевского «Из Петербурга в Москву» дотронулось до меня дыхание мысли другого живого человека, и это дыханье почти совпало с моим. На днях один из читателей пожаловался мне, что вот-де «с каждым откры-

тием техническая революция как будто облегчает общение людей друг с другом, приближает их носом к носу, скрадывает между ними пространство и время чуть ли не до нуля, а между тем настоящее человеческое общение, дружба, беседа становятся все более и более трудными, недосягаемыми, невозможными и скоро вовсе исчезнут. Исчезнут от развития техники, от цивилизации. Заменятся машиной...».

Это звучит парадоксом. Но в этом — огромная правда. Письменное и личное общение были в прошлом не то что глубже или сильнее — они были *нужнее* и поэтому необыкновенно реальны. Даже через почерк приближался человек к другому без всякой хиромантии: в извилинах букв, в ритме слов передавался характер — через движенье руки, не замененное отстуканным на машинке шрифтом, общим для десятков и сотен тысяч людей. Я написала выше словечко «почти» (почти совпало с моим). Видя сейчас прошлое глазами своей старости, я вспоминаю, до мельчайших движений чувств, тогдашнее мое восприятие первого читанного и перечитанного письма Гиппиус. Все — близко, все — родное, словно эхом повторенное, сокровенное состояние тогдашней моей двадцатилетней души. А в то же время чуть заметный сквознячок иного, не совсем моего, и отсюда это «почти». Сквознячок веял от совершенства гиппиусовской прозы. В те годы даже от писем, какими обменивалась интеллектуальная часть общества, как бы духом эпохи требовался законченный эстетизм, лишенный всякой манерности или вычура. В духе времени тяга к молчанью, к скрытности, к умению «выявлять тайное... почти молчанием».

Я чувствовала в законченном эстетизме этих строк — таких дорогих и близких по смыслу — что-то очень верховодящее, высший класс, превосходство, а потому остановившееся, окаменевшее или каменеющее, как и в почерке. Почерк Гиппиус был похож на мой, но в то время как мой, при всей его точной направленности, носил все черточки нервности, нестабильности, поиска, внутренней противоречивости, словно ровная походка человека, идущего по палубе движущегося парохода, Гиппиус всегда писала элегантно-твердым, почти печатно ровным, с густым чернильным нажимом, ювелирно-красивым почерком, неизменным при всяком содержании письма — хвалила или ругала, соглашалась или спорила. В первом же письме передалось мне это устоявшееся в Гиппиус, хотя я ее никогда не видела и не слышала. Огромная полоса жизни — два с половиной года, последовавших за этим письмом, были историей моей безграничной самоотдачи с крохотным, но постоянно растущим уголком сопротивления, пока он не превратился в огромный ком несогласия. Но об этой полосе будет рассказано отдельно, в четвертой книге. А сейчас я вернусь к узловому 1908 году, точней к его последней трети (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь), когда завязались еще два общения, нити которых перепутались и между собой, и в дальнейшем и с петербургской ниточкой Гиппиус-Мережковских.

Еще до получения ответа от Гиппиус я сделала наконец то, что следовало сделать много раньше: пошла окончательно оформляться на курсы Герье, куда была принята студенткой историко-философского факультета. Организован был этот факультет позже всех остальных, и шли туда девушки большей частью из зажиточных семей, обеспеченные и не заботившиеся о «завтрашнем дне». Мне же этот факультет казался единственно важным для человека. Он должен был привести в ясную систему весь хаос моих чтений по философии, дать мне ответ на вопросы о смысле жизни, осветить движение человеческого мышления от древнейшего до нашего времени. Перед канцелярией на стене вывешены были программы и проспекты ближайших лекций и семинаров, и какими они все жгуче интересными показались мне, когда я очутилась наконец перед этой заманчивой стеной! Но судьбе было угодно (выражаясь старым вежливым оборотом речи), чтоб к этой стене я попала не сразу, а через некоторый промежуток времени.

Вход на курсы был с угла Мерзляковского переулка, по небольшой наружной лестнице в несколько ступеней. За входным парадным (старое название наружной двери) шла еще лестница на третий этаж. Я взбегала наверх через ступеньки, сжимая в руках документы, а деньги за право учения все еще пряча в ладанке на груди. Взбегала наверх с величайшим счастьем молодости, перед тем как занять свое место в аудитории, полной черных, светлых, рыжих, гладких и вьющихся голов — будущих подружек единственного в жизни людей времени — студенческого. В первые годы Октября вошло в обиход страшное определенье: грызть гранит науки. Быть может, оно соответствовало представленью о жесткой крепости науки, которая неискушенному, нетронутому мозгу казалась почти непреодолимой, но даже и в то время оно вызывало протест. А наше старое поколенье пришло бы от этой формулы почти в физический ужас. Не зубы, а мозг обтачивался у нас до остроты привычкой к теории, к отвлеченному мышлению еще с гимназической скамьи. Этот острый мозг тянулся к науке, мог уже входить в науку — как... мне приходит в голову поэтическое сравнение молодых, бессмертных стихов Николая Тихонова, из другой, правда, «оперы», но органически подходящих к случаю:

...Неслышно, как в ночь игла,—
Для иных — чернее чумы,
Для иных — светлее стекла,
Так в Азию входим мы...

В этом тысячи раз по разным поводам повторявшемся в моей памяти, как напев, тихоновском сравнении речь шла о большевистской «игле» — новом, революционном, ленинском откровении, входившем в неподвижный мир полуспящей Азии и пробуждавшем ее народы. Казалось бы, что общего с первым вхождением в науку двадцатилетней молодежи задолго до революции? Но мозг

ее был подготовлен войти в науку, он входил в нее остро, разворашивая, пронизывая ее стандарты, прокалывая ее традиции,— и перед молодым, мыслящим, натренированным мозгом мнимый «гранит науки» оказывался мякотью. Так старая школа, старые университеты готовили в истории человечества людей мыслящих, опрокидывавших ее стандарты. Таким кажется мне молодой мозг Ленина в классической гимназии Симбирска. Не этими вершинными точками, разумеется, а только подготовительной натренированностью и жадным стремленьем остро входить в предмет — остро входить не как зубы в гранит, а как игла в ночь,— характерен был мозг нашего поколения. Знай я тогда стихи Тихонова (он был в тот год двенадцатилетним мальчуганом), уж наверное я напевала бы их про себя. Но восхожденье мое было остановлено на втором этаже.

Между старыми этажами лестничной клетки располагалась довольно большая площадка. И на этой площадке столпились курсистки, что-то разглядывая. Сам старик Герье, чьим именем был назван наш женский университет, был человек консервативный. В мое время только имя его и было известно курсисткам, как, впрочем, и фамилии тех, кто сидел в начальниках. И я не знаю, кто, когда и почему разрешил — и надо ли было вообще для этого разрешенье — ту деятельность на площадке перед третьим этажом, которая невольно и неизбежно останавливала будущих курсисток перед канцелярией курсов. В лестничном простенке была развернута заправская книжная торговля. Над широким прилавком и книжными полками белел печатный плакат: «Р е л и г и о з н о - ф и л о с о ф с к а я б и б л и о т е к а». На полках и на прилавке ступенчато расположились книжки типа обычных брошюр с указателем басносло вно дешевых цен (копейка, две копейки, пять...) и неожиданными перед входом в «храм науки» названьями. Были тут речи Филарета, размышления восточных «Отцов церкви», «Жития святых», в том числе святой Мариамны, выдержки из писаний Исаака Сириянина, из писем апостола Павла — в общем, труды теоретиков православия, подобранные, как материал для пропаганды, небольшими сброшюрованными порциями.

Хозяин этой книжной лавки находился тут же. Входная дверь внизу все время хлопала, впуская новых и новых посетительниц, а вместе с ними и морозную струю поздней московской осени. На площадке и лестницах стоял почти уличный холод, все мы были в пальто, и сидевший у своих полок человек тоже был в пальто с бархатным осенним воротником. По бархатному воротнику я сразу его узнала — это был вчерашний сосед в церкви, умиленно посмотревший на меня. Так состоялось мое знакомство с издателем и составителем «Религиозно-философской библиотеки» Михаилом Александровичем Новоселовым.

Странным образом память совершенно не сохранила мне его облика. Человек, имевший огромное влиянье на мою жизнь, общавшийся со мной полтора года, введший меня в определенный круг тогдашней интеллигенции, ничем — ни глазами, ни даже цветом

волос — не запомнился, кроме вот этого воротника, полноты и невысокого роста. Правда, память на лица всю жизнь была у меня очень плоха. Но все же рыжего мальчика Глеба помню и сейчас как живого. И первую свою любовь, худенькую темнокудрую девочку Раю с руками в бородавках, потому что она любила лягушек, брала их в руки и засовывала себе в кармашки — а поэтому казалась мне загадочной, как из сказки,— я тоже ясно представляю себе сейчас, хотя мне было в пору наших встреч на «кругу» бульвара против Петровской больницы всего четыре года. Но Михаила Новоселова вспомнить совершенно не могу, словно это странное круглое белое лицо без черт, без глаз, как в фильме Ингмара Бергмана «Земляничная поляна». И больше того — я не удосужилась в те месяцы близкого общенья, даже познакомившись с его матерью, узнать или услышать от его близких, какого он «роду-племени» если не в буквальном, то в общественном смысле — откуда, из какой партии или мировоззренья вышел, кем был и кем стал. Только сейчас, готовясь к третьей книге воспоминаний, я открыла для себя Новоселова, но об этом позже. Здесь нужно мне покаяться перед читателем: в одной из своих последних книг, вспомнив встречу с Новоселовым, я по ходу рассказа должна была коснуться и его внешности — и слегка сфантазировала, сделав его похожим на Пиквика. Но это было воображаемое, придуманное сходство. На самом деле, как вот сейчас, из всех сил напрягая память, я не могу вспомнить ни его лица, ни даже его голоса.

Не знаю, какой мелкий бес толкнул меня остановиться тогда на площадке возле книжных полок, совсем не заманчивых. Может быть, мелкий бес стадности или, еще хуже, особой опасной уступчивости. Мне кажется, человек теряет чувство внутренней свободы только от одной-единственной вещи — о т ф а л ь ш и. Если фальшь происходит даже помимо его желанья, но он ей не противится, допускает ее вместо объективной реальности отношений, он утрачивает драгоценное чувство хозяина над собственной своей личностью. Поэтому, если в потере в н е ш н е й свободы человек уступает в н е ш н е й силе, то в потере в н у т р е н н е й всегда и только виноват он сам, потому что уступает своей собственной внутренней слабости. Новоселов видел меня в церкви у всенощной — молоденькую, верующую, дважды тихонько подбегавшую под благословенье — и, естественно, вообразил церковницей. А я никогда не была церковницей, никогда не думала о церкви, не нуждалась в ней и выросла вне ее.

Отец, атеист, не позволял нас с сестрой водить в церковь, и мы никогда не были в детстве в армянской церкви. Чтоб получить аттестат зрелости по окончании гимназии, надо было сдать среди прочих предметов обязательный закон божий; но инаковерующие приносили из дому свидетельства о «сдаче» от своих священников — немки от пастора, еврейки от раввина, а мы, армянки, от нашего армянского священника Попова, персоны значительной и уважаемой среди московских армян. Он ездил к нам только раз в неделю, по воскресеньям, еще когда мы были в младших классах.

Крупный, благообразный, в шуршащей шелковой рясе, с холеными пухловатыми руками, пахнувшими туалетным мылом, он сморкался в большой белый платок, от которого несло морозом, и преподавал с увлечением. От него осталось у нас уважение к армянским буквам, писать которые было все равно что рисовать или чертить, с несколькими ч, ц, дз, тз, тц, дц. Упирая язык в нёбо, мы с трудом усваивали разницу между ними. А бархатистый бас Попова любовно поучал о больших достоинствах древнего армянского языка «грапара» (соответствовавшего церковнославянскому), его точности, его преимуществах перед «ашхарапаром», современным литературным языком Армении. Эти красивые баснстые рассужденья да старательно заученная молитва «Хайр мэр» («Отче наш») — вот все, что осталось от его уроков, да еще свидетельство, что мы «сдали», приложенное к выпускным отметкам.

Церковь была для нас скорей предметом архитектуры, образом особого здания, чем духовным понятием; и с ней я никогда не связывала своего религиозного чувства, жившего во мне подобно природным потребностям в еде, пище, движении, ритме и музыке. Зашла я в тот вечер в церковь, как на протяжении долгой жизни заходила и позже в нее, именно как в здание, из охоты побыть с людьми, стоящими вместе, локоть к локтю. И самым естественным было бы для такой, как я есть, послать Новоселову улыбку узнанья, ничего не значащую, и пробежать наверх не останавливаясь. Тогда не возникло бы того длительного фальшивого отношения, в котором виновата была единственно я сама,— виновата в собственной фальши, да еще не простой, а с ее долгими, ненужными, съедавшими время отростками. Чтоб отчасти оправдать себя в собственных глазах за сделанную фальшь и вернуть утраченное чувство внутренней свободы, я почти год изо всех сил старалась действительно заинтересоваться «отцами восточной церкви», сущностью православия, его значеньем для русской культуры, русских писателей и особенными путями развития «православной Руси» в ее отличии от «пагубных западных церквей».

Итак, я не побежала наверх, не послала человеку у книжного прилавка ни к чему не обязывающую вежливую улыбку. Вместо этого я остановилась на площадке и стала покорно отвечать на вопросы, чувствуя себя уступающей, уступающей, теряющей свободу, точь-в-точь как в детстве перед девочкой Верой К., требовавшей, чтоб я поклонилась ей из зеркального окна бельэтажа нашей мнимой квартиры. Сперва это были вопросы, как зовут, какой национальности, какой веры, что именно выбрала слушать на курсах, знаю ли философию Макария Египетского, знакома ли с речами Филарета, с житием моей «одноименницы» святой Марианны (я была крещена Марианной), не хочу ли заглянуть в них. Потом осторожный вопрос, как я отношусь к бывшему террористу Льву Тихомирову, пришедшему, во спасение его души, к матери-церкви. (То есть не из революционерок ли я сама? А я в то время и понятия не имела, кто такой Лев Тихомиров, да и сейчас не знаю, был ли он жив в те дни...) Постепенно в руках моих скопилось не-

сколько десятков брошюр, и на испуганное уверенье, что денег не хватит, Новоселов только улыбался. Мимо нас бежали наши «философички», тоже на секунду останавливаясь. Когда я наконец двинулась наверх, неся обеими руками свою книжную ношу, меня с завистью окликнула одна из них: «Во-от сколько накупили!» А я получила их все даром. В подарок!

Новоселов стал приходить к нам в гости. Сперва его несколько шокировала мадам Феррари: она его встретила как раз после принятия своего «лекарства», с рычащей собачкой у подола, с повязанной полотенцем наподобие чалмы только что вымытой головой. Потом он умилился нашей каюте, нашей «апостольской» бедности. Из-за своей полноты, раздвигая дверь, он втискивался к нам бочком и если не заставал нас, то на тумбочке как-то очень скромно, на самом краешке, было оставляемо очередное подношенье. У Елисеева тогда продавали деликатесы — греческие маслины или крымский, пересыпанный мелкими пробочными опилками виноград в белых картонных коробках. Так вот, белела в уголку, непременно початая, белая картоночка. Или, тоже вскрытая, длинная плоская цветная коробка с финиками от «Яни Панайота» — был в Москве такой румынский или греческий магазинчик. При встрече, непременно ласковым голосом, объяснялось, что вот были у матери гости или ездил третьего дня к старцу в Оптину пустынь, захватил божью пищу — маслин,— а съесть не успел.

Но главным подношеньем были письма. Новоселов не просто писал эти письма. Он начинал издалека, с апостольских времен, или поближе — с века «отцов» и Симеона Столпника. Наследие «отцов» он обычно препарировал добрыми словами о моей жажде научиться и приобщиться, о моем редком даре чистоты и смирения, а вот такой-то отец церкви обращает свою духовную речь именно к такой жаждущей душе, как моя,— и вслед за этим следует длиннейшая цитата из Макария Египетского, из посланий апостола Павла или Исаака Сириянина. Разумеется, это письменное общение падает уже на 1909 год. Когда мы с сестрой уезжали на побывку к матери, письма шли в Нахичевань-на-Дону.

Я приведу несколько отрывков из этих писем. Новоселов цитировал восточных отцов из первого тома «Добротолюбия», из газеты «Церковные ведомости»; апостола Павла — из Евангелия, издававшегося тогда с Апокалипсисом, посланиями, псалтырем. Разворачиваю пожелтевшие страницы из тетрадок в клетку, сплошь исписанные его энергичным крупнобуквенным почерком с легким наклоном влево,— и вся смесь чувств, с какими они тогда прочитывались мной, поднимается, как тошнота, к горлу:

Вышний Волочок Тверск. губ. 21/6 1909.

...«Как и почему извратился спасительный путь внутреннеопытного богопознания?» Вот как отвечает на этот вопрос преподобный Макарий Египетский:

«К нему (праотцу) нашло доступ и побеседовало с ним лукавое слово: Адам сначала принял его внешним слухом, потом оно проникло в сердце его и объяло все его существо... Со времени Адамова преступления душевные по-

мыслы, отторгшись от любви Божией, рассеялись в веке сем и смешались с помыслами вещественными и земными... Зло до того возросло в людях, что помыслили, будто бы нет Бога... Были праздные мудрецы в мире: одни из них показали свое превосходство в любомудрии, другие удивляли упражнением в софистике, иные показали силу в витийстве, иные были грамматиками и стихотворцами и писали по принятым правилам истории. Были и разные художники, упражнявшиеся в мирских искусствах. И все они, обладаемые поселившимся внутри их змием и не сознавая живущего в них греха, сделались пленниками и рабами лукавой силы и никакой не получили пользы от своего знания и искусства»...

Вся культура от лукавого! Платон, Гомер, Леонардо да Винчи, Бетховен, Гегель, Гёте, Пушкин были одержимы змием-дьяволом, и все созданное ими не принесло пользы ни им самим, ни человечеству. А что принесло пользу? Стояние в столпе? Созерцание своего пупа? Читатель, уже знакомый с моей молодостью по воспоминаниям, дивится, наверное, как я могла всерьез заниматься таким мракобесием. А я еще и не тем занималась. Макарий по сравнению с Исааком Сириянином был еще либералом. Что-то человеческое проглядывало в его грозном перечислении любомудров, витийцев, грамматиков и разных стихотворцев. Даже синтаксис напомнил мне отчасти вступление Ломоносова к его грамматике, читанное нам в гимназии нашим вдохновенным Иваном Никаноровичем. Исаак Сириянин был строже. Цитаты из него пестрели в письмах Новоселова, а самой первой была такая:

«Как невозможно переплыть большое море без корабля и ладьи, так никто не может без страха достигнуть любви. Смрадное море между нами и мысленным раем можем перейти только на ладье покаяния, на которой есть гребцы страха. Но если сии гребцы страха не правят кораблем покаяния, на котором по морю мира сего приходим к Богу, то утопаем в этом смрадном море. Покаяние есть корабль, а страх — его кормчий, любовь же — божественная пристань. Поэтому страх вводит нас на корабль покаяния, перевозит по смрадному морю жизни и путеводит к божественной пристани...»

Страх, по Сириянину,— путь к богу. Хотя слово «любовь» склонялось восточными отцами чуть ли не в каждой фразе, но путь к этой божьей любви лежал через страх и страхом заполнены «ладьи» и «корабли», везущие через «смрадное море», а это смрадное море — человеческая жизнь, творчество, борьба, культура, познание. Страх божий оказывался сильнее любви, страх божий был условием спасения,— и темные полотна византийских икон я начинала понимать лучше и яснее через эту «идеологию страха». А на Западе солнечные фрески Фра Беато, дивные жанровые сценки эпохи кватроченто, где святой Иосиф мирно орудует рубанком, маленький Христос таскает щепки, Мария, склонивши голову, шьет. Каждая церковная идеология отразилась в своей религиозной живописи. Да, я возилась со всем этим, и уже не лицемерно, не для того, чтоб искупить свою фальшь, с которой остановилась у прилавка Новоселова. Именно «натренированный мозг», привычная любознательность, мысль — «неслышно, как в ночь игла» — остро входила в материал, поступавший ко мне для «поучения», а читавшийся мной для исследования.

Как я выше уже призналась, еще задолго до курсов, часами сидя под зеленым абажуром тогдашней Румянцевской библиотеки, я переписывала в свои голубые ученические тетрадки католические «Жития святых» — огромные томища Acta Sanctorum. Мне нравилась средневековая латынь, нравилась ее музыка, напоминавшая Баха: еще не мелодичная итальянская речь, но уже не выжженно-сухой, окаменелый латинский классицизм,— еще не мелодия Моцарта, но уже не суровое церковное песнопение. Я чувствовала движенье в этой «испорченной» латыни — движение к будущему, к рыцарским романам, канцонеттам, разветвленью на французский, итальянский. С наслаждением наизусть выучила поэтичную страничку из «Исповеди» Августина Блаженного, и кусочек из нее был взят мной как эпиграф в самой ранней книге моих стихов, вышедших в 1909 году («Первые встречи». Москва). Правда, средневековую латынь я почти не знала, а старинный русский, на который были переведены восточные «Отцы церкви», изучала, как и церковнославянский, еще в гимназии, но все-таки можно было сравнивать, и я сравнивала. Не строение синтаксиса, не устаревшие, вышедшие из обихода слова, не громоздкие эпитеты и выраженья, заимствованные из Библии, а что-то другое вне их, сквозь них, над ними — некую направленность языка, одного из орудий мысли.

Когда, например, я читала у Августина: «Cum vero etiam de coelis te laudant, laudant te, Deus noster, in excelcis omnes angeli tui, omnes virtutes tuae, sol et luna, omnes stellae et lumen, coeli coelorum, et aquae, quae super coelos, sunt, laudant numen tuum...» [6], то выраженье «небо небес и воды, которые над небом суть, хвалят имя твое» не казалось мне архаическим. Наоборот, в нем виделось что-то из поэзии будущего, из Вильяма Блейка, например. А вот при чтении Сириянина: «Но если сии гребцы страха не правят кораблем покаяния, на котором по морю мира сего приходим к Богу, то утопаем в этом смрадном море»,— тоже припоминалась поэзия, но другого типа. Блейк был революционер мысли, образа, душевной настроенности. Как я уже написала выше, одно из его странных и, казалось бы, далеких стихотворений стало гимном нынешнего английского рабочего класса [7]. А мрачные строки Сириянина по своему словарю напоминают стихи Хомякова, дух и фразеологию славянофильских идеологов, они — реакционны. Они были реакционными даже для своего времени, при всей их критике «смрадного моря».

Пока я возилась с книжками Новоселова, пропуская лекции на курсах, Лина прилежно посещала их. Она выбрала исторический факультет. Она тоже сразу же увлеклась превосходными лекциями Дмитрия Моисеевича Петрушевского по средневековому землепользованию. Вечером, сходясь у чашек с кипяточком (заварного чая

[6] «С небес тебя хвалят, хвалят тебя, господь наш, все ангелы твои, все добродетели твои, солнце и луна, все звезды и свет, небо небес и воды, которые над небом суть, хвалят имя твое...»

[7] Из предисловия Макса Плоумена к английскому изданию Блейка в серии Everyman's Library № 792, «Blake's Poems and Prophecies».

не было), мы делились своим «рабочим днем», и она могла увлекательно рассказывать о разнообразных «прекариях», формах этого землепользования, аппетитно, словно сахар грызя, произнося свои «precaria data» и «precaria oblata» [8]. Но, описывая их, она всякий раз ухитрялась, словно стеклянную крышку сдвигала с них, знакомить меня с сидевшими внутри этих латинских ячеек живыми средневековыми крестьянами, землепашцами, то военными рабами, то полуили целиком закрепленными, то постепенно становившимися рабами — в бесконечном разнообразии своих обязанностей, не меньших, чем у средневекового рабочего в его цехах. Лина имела удивительный дар под каждой отвлеченной вещью, под каждым термином видеть живого человека. А если речь шла о современности, об окружавших нас людях, она очень живо разгадывала их характеры, запоминала мимику, говор, любимые словечки и выраженья и передавала это мне в разговоре. Я всегда чувствовала скрытую ее заботу заменить мой падающий слух передачей всего того, что я не могла услышать сама. Все вокруг нее, и сама она, дышало простым человеческим оживленьем и свежей, как горный воздух, внутренней свободой, утраченной мною самой, барахтавшейся в надуманных, неверных отношеньях с Новоселовым. Дело дошло до того, что я как-то с пафосом принялась говорить ей о превосходстве православной церкви над западными церквами, о народности ее служб, о простоте ее быта, о глубине ее проникновения в грешную душу человеческую и о спасении этой грешной души путем...

— Да не перейти ли мне в православие из армяно-грегорианства, которое, в сущности, мы совершенно не знаем?

У Лины было прирожденное свойство никогда не накидываться в споре на противника и совершенно ничему не удивляться, о чем бы ей вдруг ни объявили. Она спокойно ответила, хотя я чувствовала, как она содрогнулась внутренне при этой моей фразе:

— А ты не обратила внимания на особенность сектантства в православии? По-моему, наши православные секты как-то антиобщественны, то есть изолированы, оторваны от истории,— одно хлыстовство чего стоит! А прыгуны! Я не изучала, но даже на простой взгляд видно. И какое в православии подчиненье, поддержка правительства, шли во главе карателей, взяли у Христа не лучшее, не передовое, а вот эту власть от бога, кесарево кесарю. Смиренномудрие. А если сопротивленье, то какой кавардак из-за неслыханной ерунды — двоеперстия или троеперстия, подумай только! Где тут социальная идея? Где хотя бы народность? И такое же изуверство, как в католичестве. Помнишь — у Достоевского рассказ о девушке, старике и молодом жильце, полюбившем девушку? Старик сектант, изувер, страшное изуверство, власть над слабой душой. Иезуитизм, вывернутый наизнанку...

---

[8] «Precaria data» — когда по просьбе кого-нибудь землевладелец выдает ему участок земли с правом отнять его в любое время; «precaria oblata» — когда владелец маленького участка передает его крупному владельцу и взамен утраты земли получает покровительство и помощь.

Лина моя задумалась — это был ее любимый у Достоевского рассказ, потому что нигде у него, как она говорила, не было такого изумительного чутья краски, такой живописности, как в этом рассказе: хотя бы описание голубого салопа у девушки в церкви. А я, мгновенно сливаясь с ходом ее мысли, как это всегда у нас делалось, схватилась за идею о сектах, чтоб судить о церквах по характеру их сект, о яблоне — по яблокам. Смирение — даже у духоборцев, близких к толстовству; социальный формализм, вообще — гипертрофия формы: скопцы, прыгуны, хлысты, старообрядцы — особенно старообрядцы, не скрывающие своей сути даже в самом названии,— главная секта православия. Узел связи между сообщниками — не столько идея, сколько форма.

У нас в то время еще не родилось словечко «формализм» в его теперешнем порицающем смысле — разве что в отношении чиновников и соблюдения одежды по чину, — и сейчас, когда я додумываю наш с Линой разговор,— в самом деле, какой был жуткий формализм в старой, допетровской русской истории, в русском сектантстве; бороды, боярское рассаживание за столом, местничество, складывание пальцев — двумя или тремя... Да не затопчут ли за такие мысли как за вольнодумство? А какое это слово, наше, русское, наверно, с немецкого переведенное, но получившее совсем неожиданный, совсем обратный оттенок... «Вольнодумство». Нет! С немецкого у нас правильней переведено: «свободомыслие» — и это хорошее слово, в похвалу. Кто же и когда пустил в оборот это жуткое, полицейское, осудительное, с обещаньем не оставить без последствий, ни в одном языке с таким оттенком не прижившееся слово «вольнодумство»?

Ухватясь за мысль о сектах, я немедленно засела в Румянцевке за пыльные тома теологии, за историю Византии, историю церквей, русские «Святцы», православных «Отцов церкви», «Добротолюбие». Погрузившись в книги заинтересованным, сравнивающим, вольнодумным своим юношеским мозгом, я совсем забыла о жизни сердца, верней, вдруг почувствовала в том месте, где была восторженная, открытая всем лучшим человеческим чувствам теплота любви к людям, полное какое-то равнодушие. Куда ушла эта любовь к «малым сим»? Жажда борьбы за лучшее будущее для них, для тех, кто трудится, кто обездолен на земле? Та самая теплота любви, согревавшая сердце, дававшая смысл жизни, которая и толкнула меня засесть за «Добротолюбие», за чтение тех, кто взял монополию на исцеление души человеческой. Не было ни добра, ни любви в том, что я читала. Сердце оцепенело во мне, как мертвеет иной раз бабочка на цветке, ящерица на сухом камне.

Очнувшись от теологических раздумий и почувствовав вдруг это странное оцепенение сердца, я с ужасом вспомнила, что еще до разговора с Линой, в один из приступов своего подчиненья Новоселову, я послала ему письмо... послала письмо очертя голову, где все та же чудовищная фраза о переходе из армяно-грегорианства, которое так мало знаю, в православие, которое, как я узнала, такое «близкое народу», такое «простое в быту», такую дает людям

душевную помощь и умиление, когда тяжела, непосильна ноша народная... Вспомнив об этом письме, я чуть ли не рассыпала все теологические тома, кирпичами высившиеся по обе стороны моего стола в библиотеке,— до того судорожно вскочила с места. Что я наделала! Забыла! И не опровергла тотчас следующим письмом! А возмездие ждало меня, возмездием было ответное письмо Новоселова, пересланное мамой из Нахичевани-на-Дону, куда мы с сестрой чуть запоздали выехать.

Новоселов писал мне (ужас и конфуз!):

4 июля 1909.
День свв. Андрея, еп. Критского и Марфы.

Со слезами радости, хотя и не без тревоги, прочитал я сейчас дорогие строки Ваши. Со слезами благодарности помолился Подателю великой милости, о которой известило меня Ваше письмо. Дорогая моя, хорошая! Забудьте все, Петербург, Москву, нас и устремитесь вниманием туда, куда зовет Вас Господь! Время ли говорить о городах и об отдельных людях, когда сердце почувствовало так ясно призыв на вечерию Господню?!

И дальше все шло до конечных слов «молитесь обо мне»,— это мне молиться о других, когда фальшь отношений, как мутная вода, поднялась к самому горлу, превратившись в фальшь к самой себе, в оболганье себя, оболганье всего лучшего в себе, но: было ли вообще это лучшее во мне или просто безответственная путаница темпераментной девчонки, не знающей, куда деть избыток своей энергии?

8

Письмо Новоселова, принесшее ужас и конфуз в первую минуту, имело и хорошую сторону — ушата холодной воды на голову. Оно — не сразу, правда, а через несколько часов — принесло мне суровое отрезвление. Оставшись совсем одна в нашей каютке, где мы уже начали укладываться, чтоб ехать на каникулы к матери, я уселась на кровати и решила разложить себя самое по кусочкам — что я такое, с чем сейчас могу прийти, скажем, к смерти или к экзамену, к суду над собой; чтó движет моими поступками — и, главное, почему, при всей способности обдумывать, исследовать книги, людей, прошлое, я сама веду себя совершенно импульсивно, вне разума, и поступки мои — необдуманны? Это был очень сложный и безжалостный экзамен, шедший сперва от легкого, внешнего, фактического все глубже, в самую середку разрезываемого «нутра».

Внешне, фактически — в конце 1908 и первую половину 1909 года,— сплелось у меня множество отношений и перипетий, и чтоб их все вынести, нужна была та удивительная протяженность времени в юности (его хватало на множество дел!) и та невероятная, бьющая из меня просто гидравлически, не подавляемая никакой усталостью энергия, которой с избытком не только на все хватало, но даже как-то перехватывало, перехлестывало, совершенно не впуская

усталость в душу. Если собрать воедино все нити, то за это время, хоть и с пропусками, шла моя учеба на Высших курсах; образовался там свой круг тем, нашелся умный многолетний руководитель, профессор Николай Дмитриевич Виноградов. Он был последователем философа Давида Юма, но куда шире, толерантней, объемней обычных юмистов. Я слушала на курсах логику и психологию Челпанова, посещала семинары Густава Густавовича Шпета, Николая Ивановича Радцига. Вообще вела довольно нормальную студенческую жизнь. Такой была первая ниточка. Вторую тянула необходимость заработка. Мы давали с сестрой уроки, я брала перепиську (переписывала от руки), а кроме того, писала множество статей в ростовскую газету «Приазовский край», одним из директоров которой был мой дядя. Третьей ниточкой сделалось очень много времени берущее взаимоотношение с Новоселовым и его кружком. Четвертой — участившаяся переписка с Зинаидой Гиппиус, звавшей меня переехать в Петербург. Пятая была — посещенье «вторников» Литературно-художественного кружка, знакомство и дружба с Ходасевичем; и вытянувшаяся из этой пятой, очень важная, очень много сил и сердца отнявшая, много творческой энергии потребовавшая шестая нить: кратковременный — павший на конец декабря — роман в письмах с Борисом Николаевичем Бугаевым (Андреем Белым), перешедший впоследствии в дружбу.

На каждое из этих внешних событий можно было отдать годы жизни и всю свою энергию, а я ухитрялась изживать их все вместе за короткое время, в возрасте двадцати и только-только исполнившегося двадцать первого года жизни. И каждому отдавала чуть ли не всю свою душу. В последней подглавке я расскажу подробно об отношении с Андреем Белым. Оно, как и все предыдущее, не осталось изолированным, его связала с остальными и общность людей, участвовавших в ходе моей жизни, и религиозная тема, и тот простой факт, что все они знали друг о друге и о том, что происходит во мне, потому что я этим делилась в письмах, беседах, сомненьях и планах, изживавшихся нами сообща. Стоило, например, моей переписке с Гиппиус дойти до поворотной точки, когда нужно было или ехать, или не ехать в Петербург, как группа Новоселова тотчас же прислала мне советчика, Павла Флоренского. Пришел в гости сухощавый, невысокий, неприятный человек с армянским носом (наполовину армянин, родом из закавказского городка Евлаха), с жестко-обтянутыми скулами аскета, но с полными губами, складывающимися в кривую усмешку, смотревший не прямо в глаза, а как бы из вежливости или невежливости в сторону от вас. Начал разговор прямо: известно ли вам?.. знаю ли, куда, к кому собралась ехать?.. «не секрет для читающей публики, что Зинаида Гиппиус — особа извращенной морали, опасная для молодых девушек». Тут он как-то заерзал на стуле, достал блокнотик, карандаш в серебряной оправе, написал что-то на листочке, оторвал его и, глядя совсем в сторону, с кривой усмешкой протянул мне. На листочке стояло только одно слово, греческое. Этого слова и его

смысла я вовсе не знала. И совсем не знала, что ему ответить. А он загробным голосом изрек «подумайте!» и удалился с той же кривой поспешностью, с какой пришел... Вопрос моего личного, моего духовного выбора — ехать или не ехать в Петербург — стал в группе Новоселова как будто уже не моим, а общим.

Таков был фактический фон сложных нитей и переплетений, в которых я очутилась. Но за фактическим фоном нужно было понять для себя более глубокую вещь. Случайны ли ниточки, запутавшие меня, как стреноженную лошадь? Не сложились ли все они просто потому, что я ничему не противилась и хваталась от молодой жадности за каждую встречу, нужную и ненужную, вроде той самой безрассудной птицы, которая в прибаутке «скачет весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий»? Я оскорбила бы себя и свой духовный мир, если б это было так. Нет, во всей сложности, выпавшей мне на долю, ничего случайного не было. Сейчас я вижу это с ясностью историка, объективно. А в те дни я переживала всю совокупность своих «ниточек» как судьбу, как нечто, данное мне, подобно сказочному витязю на перепутье трех дорог, на выбор для всей последующей жизни: налево, направо, прямо. И может быть — испробовать каждый путь для акта познания и проверки, чтоб выбор не стал слепым, а зрячим.

Время, о котором я сейчас вспоминаю, было от меня и от тех, с кем приходилось общаться, сокрыто искусственными кулисами того небольшого круга или части общества, где мы находились. Если взять кружок Новоселова, то там были интересные люди. Тот же Флоренский — вне своей миссии «вразумить меня» — был талантливейшим математиком и в первые годы революции даже притянут в числе других крупных специалистов к работе над планом ГОЭЛРО. Мешковатый и молчаливый Кожевников подарил мне два тома «Философии общего дела» Федорова, где были удивительные статьи, близкие к тому, что мы сейчас знаем о Циолковском, статьи, далеко глядящие вперед: о засорении природы, о необходимости спасать леса, воду и воздух, о гибельном влиянии войн не только на психику, но и на климат, на метеорологию, на флору и фауну; и еще много такого (среди шелухи наивностей), сверкавшего чистой мыслью на человеческую пользу. По ночам и между лекциями я увлекалась этим чтением. И еще был в окружении Новоселова, среди философов Волжского и далекого (не то под арестом, не то в ссылке, но необыкновенно почитаемого) Николая Бердяева, еще один, удивительно милый и мягкий человек, Сергей Николаевич Булгаков. К Булгакову, к его мимозовой какой-то недотрагиваемости, травмируемости, когда возникал спор о религии, я питала слабость. Он казался мне умнее и тоньше всех остальных в этой группе, которую наш старый друг, студент Амиров, постепенно становившийся крепколобым меньшевиком, постоянно звал «клубом ренегатов».

Еще до того, как затеять свой самоанализ, я кинулась за советом и помощью именно к Булгакову. Бог весть что было в моем

взбудораженном письме к нему — скачок в необдуманность, и как быть, и — самое главное: чем больше погружаюсь в догмы, в изучение восточной церкви, тем больше теряю самое главное, что привлекло меня к религии, к мысли о церкви,— теряю любовное чувство самоотдачи народу, желанье борьбы за лучшее будущее для него, ту расширяющую теплоту, то громадное, устойчивое счастье, которое дается в любви к ближнему своему, в любви к массе народной. Я писала искренно, покаянно, отчаянно, с мольбой о помощи. И пришел, правда не сразу, длинный ответ. Я помещаю его здесь (правда, с небольшими купюрами), как и вообще часто прибегаю к письмам из моего огромного архива тех лет, потому что дело идет об исторических людях и ценна для понимания той очень важной эпохи в жизни русской интеллигенции, о которой идет сейчас речь, каждая черточка, любой штришок, добавляющий что-то к портрету живого лица. Бывший марксист, Сергей Николаевич Булгаков как-то сказал мне в беседе: «А вы никогда не увлекались «Капиталом» Маркса? Я прошел через это, там многое способно увлечь». О «Капитале» Маркса я ровно ничего не знала, кроме высокомерной фразы студента Амирова, что «все вы, жалкие интеллигентишки, живете на прибавочную ценность». Так вот этот самый Булгаков, ренегат, перешедший из марксизма в православие, Булгаков, с которым в числе прочих уничтожающе полемизировал Ленин, писал мне в своем длинном письме:

Кореиз, 28 июня, 09.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Ваше — такое милое, хотя и такое грустное письмо я получил в такое время, когда по обстоятельствам чисто личным, но, как чаще всего бывает, наиболее могучим (и очень простым — серьезная и тяжелая болезнь ребенка), я не мог найти духовного досуга, чтобы сосредоточиться и написать Вам. Но много и нежно думал о Вас, хотя... и ничего не придумал. Если бы я был около Вас, может быть, сумел бы пожалеть Вас и приласкать так, чтобы Вы почувствовали это, а на письме не умею. Я не умею вообще писать писем и не люблю класть на бумагу самых тонких и интимных чувств.

Над Вашей душой пронесся ураган, по-видимому, первый, который смял ея нетронутость. Откуда он и в чем, Вы и сами не можете разобрать, и я разбирать сейчас не стану. Я никогда (кроме м. б., самого раннего детства) не имел такой чистой и нетронутой души, открытой Богу, как Вы, рано отравился атеизмом, и все мои кризисы носили существенно иной характер. Выражу Вам только свое полное и даже какое-то покойное неверие в то, что Вам этот кризис окажется непереносным. Вам трудно и тяжело, но Вы справитесь и найдете себя... Вы с дружеским полуупреком напоминаете мне мои слова, что «надо развиваться за свой счет». Ведь это же значило не то, что надо замыкаться от людей, или не любить их, или подозревать, но что нельзя свою душу всецело вверять в человеческие руки,— в данном случае все равно, З. Н-вны или М. А-ча...[9] а я тогда опасался, что Вы ее вверяете или вверили. Ведь у нас могут быть и неизбежно есть — очень крепкие л и ч н ы е привязанности, это корни нашей жизни,— я только что испытал, как много моей души и жизни в улыбке и здоровье ребенка, можно иметь жену, друга, брата, мать, но это все не то, что мне, м. б., и неверно, почудилось и заставило беспокоиться за Вас. Из Вашего письма я все-таки не вполне улавливаю себе все, что с Вами за это

[9] С. Н. Булгаков имеет в виду Зинаиду Николаевну Гиппиус и Михаила Александровича Новоселова.

время после моего отъезда произошло, но вижу, что в Вашей душе что-то сломлено и болит. Вы ищете причину и завиняете, б. м., и неверно, Вас окружающих (мне бы хотелось заступиться за М. А., но лучше воздержусь), и не только лиц, но и идеи, и «православие»... Но разве справедливо это, что Церковь так обесценивает жизнь, как это пишете Вы? Что все вопросы, все жизненные функции усложняются, теряют свою языческую непосредственность, что требовательность к себе повышается, это правда, но это принадлежность всякого более углубленного сознания, свет кладет и тени и, как я постоянно повторяю и себе, и другим, нельзя насильственно упрощать задачи... И затем, надо, конечно, различать простоту и опрощение, высоко ценя первую, можно невысоко ценить вторую, и не принимаете ли Вы за простоту опрощение, которым может иногда, скорее в шутку или в парадоксии, пугнуть и Волжский, и М. Ал. Но Вы правы в том, что при особом лично-напряженном чувстве Бога, составляющем удел избранных и делающем их, если можно с такой грубостью выразиться, специалистами святости, внешний «мир» (т. е. наука, и милая суета, и исполнительность житейская) обесценивается, но ведь это и радостно, и легко тогда... Ведь это путь Серафима, Франциска...

Впрочем, все Вы это и сами знаете, и я чувствую, что начинаю говорить прописями и апологией. Между тем важно в религиозной жизни не рассуждать, а найти в себе и носить этот родник гармонии, легкости, светлости... Если бы мне это дано было с такой простотой, как Вам, или по-своему и иному М. А-чу, то, вероятно, и раньше я мог бы оказать Вам и более реальную поддержку, но и во мне этого нет или бывает только моментами. Поэтому противоречия в душе Вашей я чувствую и понимаю, мне кажется, правильно, но потому, что некоторые из них не личного, а общего характера, ношу в себе, вынашиваю и не знаю, как выношу. Но знаю одно, не верхним, поверхностным слоем души (тем, где интеллект, научность, «новое религиозное сознание» и проч.), но самым глубоким, незыблемым и недоступным для зыбей, тем, где лежит уже изначальная детскость души моей, как она вышла от Бога, что Церковь в ней — это абсолютная и неподвижная точка и вне ея и помимо нее нет пути ко Христу. Так это со мною. Это не догматика и не миссионерство, а опыт. И, кажется мне, эту точку я буду ощущать и на нее опираться в страшный час смерти-рождения... Когда я начал писать, я не думал, что заговорю об этом, но раз вылилось, пусть остается, иначе у меня будет чувство, что я не сказал Вам чего-то важного и нужного, что должен был сказать. А во втором и высших этажах и наука, и милая суета жизни, и её пестрый водоворот.

Прощайте пока, дорогая Мариэтта Сергеевна! Пронеси Бог эту душевную бурю и возврати Вам прежний свет, ясность и радость, даже хотя бы не скоро! Я же очень крепко на это надеюсь.

Я вообще плохо, лениво и коротко пишу письма, но Вы все-таки не считайтесь и время от времени оповещайте о себе.

Сердечно Ваш С. Булгаков.

Уж не помню, это ли письмо эмоционально наиболее близкого мне человека из группы Новоселова укрепило мое неожиданное отрезвление. Оно, во всяком случае, заставило задуматься. Понимание «церкви» как единственного пути, которым можно прийти к Христу! Фраза, надолго осветившая для меня почти два тысячелетия, в течение которых складывалась и каменела церковь, начавшаяся — ведь этого топором не вырубишь — с ренегатства. Апостол Петр, ставший тем «камнем», на котором она заложена, не трижды ли перед этим отрекся от Христа? И вот ренегатство, предательство взяло себе монополию на того, от кого оно трижды отреклось. Монополию, догмат собственности, незыблемое право: прийти ко Христу — понять и принять его — можно только через

церковь. А секты рвались к самостоятельному понимаиию Евангелия, рвались из церкви...

— А ты ни с того ни с сего рвешься туда, где окончательно убьют лучшие твои качества, самостоятельность мысли и чувства,— закончила Лина разговор, начатый нами вечером...

На некоторое время мысли мои заняло понятие «ренегатства». В нем был политический и моральный смысл, оно затрагивало сразу две главные силы в человеке — убеждение и веру. С ним соседствовало «предательство», тоже очень страшное слово. Все эти люди, группа Новоселова, с которыми я против воли сдружилась,— все они были отреченцами, Бердяев от марксизма перешел в православие, Булгаков от марксизма перешел в идеализм, а оттуда в православную церковь, Флоренский — блестящий математик — из «чистой науки» в церковную догматику. Почему? Что их влекло? Чем они стали заниматься, бросив свою прежнюю деятельность? Если перечитать все цитаты из восточных «Отцов церкви», присланные мне Новоселовым (а сводились все они, в сущности, к Исааку Сириянину с его «смрадным морем» жизни и «гребцами страха», самого гнусного состоянья души человеческой, страха, принявшего не подобающий ему эпитет,— страха божьего), то занимались новоселовцы спасением своей души.

Я стала серьезно исследовать эту странную форму человеческой деятельности. Родился человек на свет и выбрал себе занятие: всю данную ему на короткий срок жизнь потратить на спасение своей души. Душа — что это такое? Заключена ли она в теле, как, скажем, глист или бактерии в кишках, или она выражает собой тело, оживляет, олицетворяет его потребности в еде, питье, сне, движении, работе, отдыхе, любви, привязанности, заботе о дорогих ему близких и себе подобных? Душа — не связана ли она чувством с волей, с характером, с мыслями, с опытом, с пониманием о добре и зле, о полезном и вредном, о правдивом и лживом, с тем живым комочком внутри человека, так прочно связанным с биением его сердца,— с совестью? Совесть как суд над собой, как стимул вечной деятельности, вечного стремленья к истине. И тут я опять реально почувствовала, что «душа» отцов церкви Макария Египетского и Исаака Сириянина — это совсем не то. Их душа, спасая себя, должна глушить, доводить до минимума, опорочивать, превращать в грех все свои потребности, хотя бы на йоту превышающие копеечный минимум... да нет, что там минимум! Каждое движение воли или чувства может вести к греху, а грех — это гибель в смрадном море. Значит, спасение души — бездействовать, убивать чувства и мысли за исключеньем «божественных». И опять же можно довести свою душу до автоматизма, до отказа от всяких мыслей. Новоселов советовал мне: «Лучшая гигиена души — ни о чем не думайте, ходите по дорожке и повторяйте про себя: «Господи, помилуй, Господи, помилуй»... Вы увидите, как легко станет, какое бремя с плеч снимете!» Но стоит ли спасать пустое место? Кому нужна такая пустопорожняя душа и для кого

и чего она годится? Это как чайник, поставленный на огонь без воды,— развалится от жары, уронит свой носик в огонь, покоробится, искорежится — выбросить его в мусорное ведро.

Так я «аналитически» терзала себя, и читатель, должно быть, думает: какими странными пустяками занята была образованная студентка в 1908 году, может ли это быть? Я отвечу читателю.

Пусть он представит себе м а й в Лондоне в том же году — лучший месяц в этом городе дыма и тумана. Человек с родными чертами лица, любимый всеми трудящимися нашей планеты, самый лучший, самый великий сын человечества, сидит в круглом зале лондонского Ридинг-Рума, читает, читает, делает выписки. Он работает над книгой «Материализм и эмпириокритицизм». С е н т я б р ь того же года: он пишет предисловие к той же книге. О к т я б р ь того же года: он сообщает своей сестре, Анне Ильиничне, что закончил книгу, и просит дать ему конспиративный адрес для отправки ее в Россию. Н о я б р ь того же года: он посылает рукопись «Материализма и эмпириокритицизма» в Россию для ее легального издания... Так неужели же можно представить себе создание этого глубокого, важнейшего труда лишь потому только, что Богданов и Луначарский увлеклись «богостроительством» и «богоискательством»? Лишь для того только, чтоб остеречь двух-трех членов партии? Писателя Горького?

Был другой человек. Он жил в России, сидел в Ясной Поляне. К нему приезжал в гости пианист А. Б. Гольденвейзер, сохранивший в своем дневнике драгоценные мысли яснополянца. За шесть лет до вышеописанного, под датой 16 ноября 1902 года, Гольденвейзер записал:

«Лев Николаевич сказал:

— За шестьдесят лет моей сознательной жизни у нас в России, я говорю о так называемом образованном обществе, произошла удивительная перемена в отношении религиозных вопросов; религиозные убеждения как бы дифференцировались, это нехорошее слово, но я не знаю, как выразить иначе. В моей молодости были три или, вернее, четыре категории, на которые можно было разделить в этом отношении общество: первая — очень небольшая группа — люди очень религиозные, бывшие еще раньше масонами, иногда шедшие в монахи; вторая — процентов семьдесят — люди, исполнявшие по привычке церковные обряды, но в душе совершенно равнодушные к религиозным вопросам. Третья группа — люди неверующие, официально исполнявшие обряды в случае необходимости, и, наконец, четвертая — вольтерьянцы, люди неверующие и открыто, смело высказывающие свое неверие. Таких было мало, процента два-три. Теперь же не знаешь, где что встретишь. Рядом можно натолкнуться на самые разнообразные убеждения. За последнее время появились еще новые — декаденты православные, вроде Мережковского, Розанова. Очень многих привлекло к православию хомяковское определение православной церкви как собрания людей, соединенных любовью. Чего же, подумаешь, лучше? Но дело в том, что это произвольная подстановка одного понятия под

другое. Почему именно православная церковь является таким соединенным любовью собранием людей? Скорее наоборот»[10].

Толстой заметил (и предчувствовал) не только подъем религиозности в «так называемом образованном обществе» — он увидел направленность этого чувства к православию. Но православие, новая одержимость «декадентов», еще до революции 1905 года, определилось для него в какой-то связи с Хомяковым, то есть с *открытой реакцией русской интеллигенции в сторону славянофильства*, Древней Руси, царя-батюшки — знаменитой троицы Самодержавия, Православия и Народности. А после революции религиозное движенье расширилось, оно захватило верхушку рабочего класса, писателей, известных под именем декадентов, но захватило по-разному. Одних — с примесью *допетровского национализма*, лампадного православия, церкви как спасительницы душ, собирания, увода их в бездействие, в спасающую от греха пассивность при помощи «страха божия». Других — вневременно и внеисторично, с мистическим ощущением церкви как чего-то нематериального, «града господня», связующего души невидимой связью. Третьих — реально строящих у себя свою, домашнюю церковь с молитвами и причастием, церковь, желающую быть близкой с революцией, со «святым террором», новым походом крестоносцев на самодержавие, чему Гиппиус обучала в Париже своего ученика (названного так ею в письме ко мне), Бориса Савинкова. И еще всякое другое, и сексуальная, старческая болтовня В. Розанова, которую даже очень большие его поклонники не всегда могли вытерпеть не только на бумаге (он печатал просто невыносимые вещи), а и в личном с ним общении[11]. Вот какая мутная волна захлестывала часть интеллигенции в годы 1908—1910—1914,— и навстречу этой гибельной волне, приучавшей к пассивности, к тому, что названо «опиумом для народа», что уводит человека от его простого общественного долга на земле, вставала резкая трезвость очередного труда Ленина, издалека, из-за границы, ясным взором пронизывавшего родную ему Россию. Не только Богдановы, Луначарские — почти вся интеллигенция, с зараженными пятнами на лице, с растущей заразой в различных кругах, в проявленьях общественной жизни, была видна и понятна ему, и он ковал оружие, замешивал лекарство не против двух-трех заболевших, но против большой заразительной эпидемии.

А что он видел эту эпидемию — знали его соратники, знаем сейчас и мы, если внимательно читаем даты его трудов и выступлений. В Париже на редакционном совещании газеты «Пролетарий» 1 февраля 1909 года он требует от редакции открытого высказыванья против «богостроительства» Луначарского, а 13 мая того же года помещает в ней статью «Об отношении рабочей партии к религии». Вторая фраза в этой статье, фраза-остереженье,

[10] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., Гослитиздат, 1959, с. 122—123.

[11] В советской философской энциклопедии Розанов назван... философом.

показывает, как глубоко и ясно представлял себе Ленин религиозную «эпидемию» в России:

«Интерес ко всему, что связано с религией, несомненно, охватил ныне *широкие* круги «общества» и проник в ряды интеллигенции, близкой к рабочему движению, а также в известные *рабочие круги*...» [12]

Видел Ленин из своего далека не только растущую эпидемию религиозности, он видел и трагическую фигуру одинокого яснополянского старца, по-своему противостоявшего ей, и видел глубоко, не так, как мы, тогдашняя молодежь, а словно предчувствуя могучий конец Толстого, свершившийся через два года. Замечательно, что именно в 1908-м, за два года до Астапова, 11 сентября старого стиля, появилась и статья Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции», в № 35 того же «Пролетария».

Почему я пишу: «не так, как мы, тогдашняя молодежь»? Каюсь — я знала эту молодежь и сама была живой ее частью,— мы не видели, никак не могли видеть в упрямом и раздвоенном яснополянском старике «зеркало русской революции». Те, кто пишет историю литературы, почти сплошь передают ее со своего, сидячего, за столом, места. Они, например, мало и совсем не чувствуют атмосферу симпатий и антипатий, скалу критических оценок, скрытые за этими оценками общественные силы и, наконец, постоянно действующий в социальной жизни, но почти не принимаемый во внимание историками периодический закон *общественной утомляемости*. Страшно подводит этот закон не только добросовестных историков, но и художников, писателей, кинематографистов, драматургов. Один великий Шекспир, кажется, сумел отразить его в своем «Короле Лире».

Умирают великий поэт, огромный писатель, популярный актер, а для современников, потрясенных, конечно, этой смертью на минуту-другую, живет в памяти их затянувшаяся перед смертью старость, их одряхлевшее за десятки лет тело, их помраченный ум,— или та обычная пауза, как были при жизни Пушкина, когда явление стало *привычным*, а гений... надоел публике затянувшимся бытием, которое кажется неподвижным, повторяющим себя.

Страшно это писать, но надо написать. Толстой своим «непротивлением злу», своим толстовством, всей ни во что не разрешающейся, затянувшейся яснополянской двойственностью убежденья и быта для части студенчества был уже до того привычным явлением, что начал «надоедать»; и мы, молодежь, за вычетом активных толстовцев, почти уже социально не воспринимали его, а иногда и попросту не учитывали в общей тогдашней панораме «современной русской литературы». И даже последний разрешающий — как кóда и заключительное трезвучие в классической симфонии — акт этой великой жизни, уход немощного, исстрадавшегося старца из Ясной Поляны в предрассветную ночь, в придвинувшуюся даль, вплоть до смертного часа на безвестной дотоле железнодо-

[12] В. И. *Ленин*. Полн. собр. соч., т. 17, с. 415. (Разрядка моя.)

рожной станции, не остановил биение наших сердец настолько, чтоб почувствовать глубокий укол сознания.

Мы тогда ничего не знали, кроме газетных телеграмм и случайных разговоров через вторые и третьи руки. Все же одно мы должны были бы знать и понять, хотя бы только одно, напечатанное в газете: «Весь мир сейчас прикован к тому, что совершается в Астапове». Мы должны были понять через эту фразу, как тесно связано личное бытие человека с бытием миллионов других людей, населяющих землю. Миллионы жили, могли жить той же двойственностью созиданья и быта, той же пропастью между велением своей совести и привычкой, цепями держащей тело в обратном этой совести направлении; миллионы жили или могли жить вот так — а он, один за всех, искупляя, разрешая, сводя к духовной гармонии разноголосие и фальшивость жизни, за них за всех встал, взял посох и ушел от фальши в Астапово, разорвав стреноживши его путы двойственности. Мы, молодежь, должны бы именно тогда, в часы бодрствования на станции Астапово, пережить и понять это, но мы — я так хорошо помню свое окружение и себя в этот день — ничего этого не поняли, а пережили только горькую дату смерти — 7 ноября, по старому стилю, 1910 года — великого писателя Льва Толстого.

Я пережила Астапово по-настоящему только сейчас, перечтя для своей третьей книги воспоминаний знакомую статью Ильича и передумав ее вместе с теми фактами шестидесятилетней давности, какие еще держатся в памяти. Перечла — и вдруг потянуло меня на Толстого, не того, кто создал «Войну и мир», «Анну Каренину», а старого Толстого, создателя «толстовства». Столько сейчас интереснейших книг его секретарей, врачей, друзей появилось в помощь исследователю! Вышла великолепная работа Б. Мейлаха «Уход и смерть Льва Толстого» (М.— Л., Гослитиздат, 1960). Опубликованы дневники Толстого, можно заглянуть в интимную духовную жизнь того, кто стал нашей «привычкой» шестьдесят лет назад, а сейчас как бы вновь открывается для познанья. Уже взялись за перья и сами писатели, по-разному его увидевшие,— Виктор Шкловский, интересный молдавский писатель Друцэ... Жадно — еще потому жадно, что на больничной койке, более несколько месяцев,— проглотила я сперва повесть Друцэ, в высоком музыкальном ключе написанную, потом Мейлаха; секретаря Толстого Булгакова; Гольденвейзера; и — наконец — «Дневники» самого Толстого, сухие дневники, лишенные литературного «мяса», но, как сказали бы современные технократы, сугубо информационные. И тут вдруг...

9

Сколько раз в жизни наскакивало у меня прошлое, казалось бы, давно пережитое, на сегодняшний и даже на завтрашний день! И есть ли у Времени эти вчера, сегодня, завтра? Не похоже ли само Время на человека: младенца, ребенка, юношу, взрослого, старца, совсем разных и во внешнем облике и во внутреннем со-

держанье, а ведь все одного и того же, всегда единственного, равного себе, единосущного, сколько ни считай по пальцам, все одного и того же человека!

Шестьдесят четыре года назад, как петух в меловом кругу замкнутая от мира влиянием Новоселова и новоселовскими цитатами из восточных «Отцов церкви», я совершенно ничего не знала и так и не успела узнать, кто же такой был сам Михаил Александрович Новоселов, откуда вышел, где пребывал, что испытал,— годами он был более чем вдвое старше меня. Спросить об этом у окружавших его людей — С. Н. Булгакова или Волжского, Кожевникова, Флоренского, о которых я сразу же узнала, чем они раньше были,— не то что не догадывалась — считала неловким. Так и прошло это наважденье Новоселовым — а он остался для меня «круглым лицом без черт», как страшный «безлицый» в «Земляничной поляне». И вдруг — спустя шестьдесят четыре года, когда началось мое чтение о Толстом,— Новоселов вышел из небытия, оказался лицом вполне историческим, с реальной биографией.

Внимательно читая Мейлаха, с карандашом в руке, я натолкнулась на две цитаты. Дважды — весомо и важно — упоминает Мейлах имя и фамилию Новоселова в связи с Толстым. Еще до моего появленья на свет божий Новоселов студентом-филологом (1886) побывал в Ясной Поляне как самый рьяный толстовец. Неизвестно, с разрешения ли Толстого или без оного — рассказ оставляет это под сомнением (в старых журналах: «Минувшие годы», 1908, № 9 и «Былое», 1918, № 9) — Новоселов взял у Льва Николаевича рукопись «Николай Палкин», размножил ее на гектографе и стал распространять, за что и был арестован.

Итак, он начал с того, что сделался толстовцем, будучи еще студентом, позднее — уже учителем, и вдобавок толстовцем, отважившимся гектографировать антиправительственное сочинение. Дальше, правда, биография Новоселова несколько теряет в своем качестве. На сцене появляется его мать. Потрясенная арестом «Мишеньки», она кидается сперва к «властям предержащим», потом к Толстому с уверениями, что рукопись была гектографирована по указанию самого Льва Николаевича, и с мольбой к последнему «поддержать ее слова». Толстой сперва обещал «поддержать», но потом сказал, что ничего не знает и размножать антиправительственные вещи не в его принципах (отсюда и «сомнение», сопровождающее в печати всю эту историю...).

Значит, Новоселов был толстовцем, даже «пострадавшим» толстовцем, но, видимо, сильно испугавшимся ареста. А как сам Толстой относился к нему? В «Дневниках» Льва Николаевича имя Новоселова упоминается восемь раз: в томе 19-м, охватывающем годы 1847—1894, причем восьмой раз — в примечаниях; а в томе 20-м, завершающем,— лишь в списке имен[13]. Краткие упоминанья говорят об изменяющемся отношении Толстого, сперва положитель-

[13] Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 20-ти томах. М., «Художественная литература», 1965, т. 19, с. 346, 438, 465, 469, 471, 472, 511, 611 (примечание); т. 20, с. 619, список имен.

ном, потом резко отрицательном. 7 декабря 1888 года Толстой настроен самокритично и сумрачно: заболел его сын Миша и ему совестно приглашать десятирублевых врачей, в то время как крестьянские дети мрут вокруг без всякой помощи. В этот день у Толстых много народу. Толстой записывает: «...Всё не уживаются люди: Джунковский с Хилковым, Чертков с Озмидовым и Залюбовским, Спенглеры муж с женой, Марья Александровна с Чертковым, Новоселов с Первовым». Новоселов попадает в число неуживчивых. Через два года Лев Николаевич, чувствуя себя слабым, пишет (14 октября 1890 года): «Доброе письмо от Новоселова. Много надо ответить писем». Еще через год он опять болен, и опять, слабый от болезни,— «здоровье чуть держится»,— он рад приезду Новоселова: «... Потом был Новоселов с Гастевым, тоже оба оставили очень приятное впечатление» (запись от 13 сентября 1891 года).

Наступает в России голод. Лев Николаевич с друзьями-толстовцами открывает в Бегичевке столовую, с ним работают и Новоселов с Гастевым. Толстой счастлив — спокойно в семье, он в мирных отношениях с Софьей Андреевной. Четвертая запись от 18—19 декабря 1891 года: «Здесь работа идет большая. Загорается и в других местах России. Хороших людей много... С нами Новоселов, Гастев...» Помощники Толстого работали на голоде в соседних деревнях и собирались в Бегичевку отчитываться по воскресеньям. Толстой так и называет их «воскресными». Восторженное состояние первых месяцев начинает у него проходить. 24 февраля 1892 года он записывает в дневник: «Здесь работы много и тяжести. Чем дальше жить, то мне труднее... Уехали сбиравшиеся воскресные: Гастев, Алехин, Новоселов, Страхов...» В семье Толстого приверженных ему толстовцев звали «темными». Не все в Бегичевке протекало гладко, и не всегда «темные» были в полном согласии между собой. Уже через пять дней, 29 февраля, когда опять приехали «темные», Толстой записывает коротко: «Мне тяжело от них».

С Толстым на голоде работала В. М. Величкина, издавшая об этом книжку. Она рассказывает: «Среди сторонников учения Льва Николаевича и его близких учеников начинался тогда серьезный раскол. Одни продолжали оставаться на его точке зрения; другие, как Аркадий Алехин и Михаил Новоселов, уходили в мистицизм и возвращались в православие... Лев Николаевич волновался ниогда и долго после повторял: «Ах, какой ужас... Так ведь один шаг только до настоящего поповства» [14]. Но они все еще видятся. Новоселов продолжает приезжать в Ясную Поляну. Толстой записывает 26 мая 1892 года: «Тяжелое больше, чем когда-нибудь, отношение с темными, с Алехиным, Новоселовым, Скороходовым. Ребячество и тщесла-

[14] Вера Величкина. В голодный год с Львом Толстым. М.— Л., 1928, с. 93.

вие христианства и мало искренности». Тщеславие христианства! Это относится у Толстого явным образом к церкви, к привкусу православия. А между тем Софья Андреевна радуется, что толстовцы возвращаются назад, к православию. Едва ли не самая характерная для отношений ее с мужем запись Толстого спустя два года, от 8 октября 1894: «...целый день и вечером она постаралась опять сделать мне радостным гонение. Целый день: то яблони украденные и острог бабе, то осуждения того, что мне дорого, то радость, что Новоселов перешел в православие...»

Эта запись так по-толстовски замаскированно-трагична, что ее надо расшифровать. День за днем Софья Андреевна колет его своими замечаньями. Для Толстого ее «гонение» — это испытание его нравственных сил, проба непротивленья злу, радость подставленья второй щеки: гони, мучай, коли иглами,— тем радостней переносить, перестрадывать, терпеть мученичество. Но как и чем она изводит мужа, в чем это гонение? В сознательном говорении невыносимых для Толстого вещей: баба украла (посадочные) яблони — я ее в острог засажу! — похвала тому, кто наносит сердечную боль Толстому, похвала и радованье на неприятность для мужа, утрату им преданного, казалось бы, ученика: слава богу, Новоселов вернулся на путь истинный, в православие!..

Знаю, что этот последовательный перечень утомителен для читателя, как страничка литературоведа. Но я должна его привести, потому что он, этот перечень, подводит к возможному факту уже из биографии не только Новоселова, но и Льва Толстого, факту, до сих пор как будто не замеченному. Б. Мейлах подробно рассказывает, как ушел перед смертью Толстой из Ясной Поляны,— ушел в жизнь, свободную от семейных пут. До ухода начал писать статью о социализме. После ухода, заехав к монахине-сестре, чтоб навестить ее, нашел у сестры статью В. Кожевникова, с которым я за год до этого общалась, живого и угрюмого члена кружка Новоселова. Толстой, думавший очень напряженно над темой взаимоотношенья революции и религии и относившийся к социализму хотя и без особой симпатии и пониманья, но с явным интересом, прочитал статью Кожевникова. Он думал, быть может, найти что-то новое в этой литературе, разрешенье вопроса о справедливости, о создании лучшей жизни для народа, без того, чтоб прибегнуть к насилию, мало ли? И за неделю до своей смерти попросил доктора Маковицкого (сопровождавшего Толстого в этой последней поездке) написать «письмо Новоселову с просьбой прислать все издания его «Религиозно-философской библиотеки»[15]. Не знаю, успел ли Новоселов прислать умирающему Толстому все эти брошюры о Макарии Египетском, Исааке Сириянине, Филарете, Льве Тихомирове и иже с ними. Вряд ли, если только между Шамордином и Москвой не была к

[15] Б. Мейлах. Уход и смерть Льва Толстого, с. 286.

тому времени подготовлена курьерская связь. Какой тщеславной могла быть идея у Новоселова, если Маковицкий действительно написал ему, вернуть великого писателя Льва Толстого в «лоно матери-церкви»! По тогдашнему настроенью Новоселова, это вознесло бы его среди православной паствы, в глазах митрополита, в глазах царя и самодержавия! Страшно читать у Мейлаха сведенья о том, как готовилась церковь помпезно инсценировать «раскаяние и примирение Толстого с православием»,— Новоселов мог играть в этой сорвавшейся инсценировке свою ползучую роль...

Сохранилась фотография [16]. Софья Андреевна, спиной к зрителю, припала к окошку железнодорожного домика в Астапове, вглядываясь через стекло в уже обеспамятовавшего, уходящего от всех «посягательств» и «гонений» старца. Эта уцелевшая фотография во всем ее трагическом смысле понятна и открыта простому глазу. За окном тот, кто ушел от неправедной, несправедливой барской жизни, отказался от частной собственности, не допустил до себя в смертный час ни церкви, освящающей эту собственность, ни жены. А к окну припала та, что отстаивала для семьи частную собственность, барскую жизнь, власть над душой и совестью мужа — и не может войти к нему, разбить окно. Наверное, в этот час, если б «сверхскоростной звук» существовал для человеческого слуха и облегченный вздох всего лучшего и передового на земле мог бы в этот сверхскоростной звук влиться,— мы услышали бы, как облегченно вздохнуло человечество: устоял, выдержал, не допустил!

Шестнадцать лет прошло с тех пор, как Софья Андреевна высказала Толстому свою торжествующую радость (радостное гоненне!) по поводу перехода Новоселова из толстовства в православие. Быть может, у смертного часа Толстого она — не без помощи Новоселова — еще надеялась вернуть мужа — себе и церкви. Быть может, и сам Новоселов тут со своими брошюрками в портфеле, среди публики, понаехавшей в Астапово.

Все это ново для исследователя, как оживший образ Новоселова. Всего этого я не знала ни в год смерти Толстого, ни за год до нее, когда сама — трусливо, по-детски, на восторженное послание Новоселова «Молитесь за меня», как страус, спрятав голову под крыло, а попросту порвав всякую связь и с Новоселовым и с новоселовщиной, не написав ему, не простившись с ним,— уехала из Москвы в Нахичевань к матери. Фальшивая полуреальность — какую сама же пассивно и с неохотой, но допустила в свою жизнь — закончилась, в сущности, так же фальшиво и нереально, как и вхожденне в нее.

Нельзя стереть этот многомесячный опыт из собственной жизни, сделать, как если б его не было, или хотя бы облагородить в своих воспоминаньях. Он не принес мне чести, и оправдать его трудно. Могу только сказать одно: как и от всего, что приключалось со мной в жизни вольно или невольно, я не переставала **учиться** у своих ошибок, а поэтому получала **урок**.

---

[16] Приведена в кн.: Б. Мейлах. Уход и смерть Льва Толстого, с. 288.

Большим и нужным уроком для будущего стали прежде всего мои бесконечные чтения по теологии. Для того чтоб лучше понять действительность, и притом не вообще, а именно русскую нашу действительность, огромную пользу принесло мне хорошее знание истории церкви, истории православия, знакомство с практикой православного «старчества», с восточными отцами церкви. И даже старый «церковнославянский» язык с неожиданными попытками его модернизации в XX веке у некоторых писателей тоже принес мне кусочек пользы, как в свое время и средневековая латынь.

10

Мне остается досказать читателю про шестую «ниточку» сложного клубка, пришедшегося на конец 1908 — середину 1909 года.

Как-то вечером в Литературно-художественном кружке я впервые увидела модного поэта, о котором нам много и хорошо рассказывал Владислав Ходасевич. Он не был похож на рассказы о нем. Терзавшаяся собственной фальшью начатых отношений с Новоселовым, я была остро чувствительна к переживаньям других людей, особенно проступавшим в людях не спрятанно и не замаскированно. Худой, с напряженными плечами, непрерывно менявший место — сидевший, вскакивавший, садившийся на другой стул, он, казалось, весь был на каком-то ветру, обвевавшем его одного, даже волосы поднимал этот ветер, даже голос надламывал и взвивал, когда, став у кафедры, он начал свое выступленье.

Марина Цветаева великолепно описала его вихревые движенья, но в тот вечер в Андрее Белом не было ни грации, ни эстетизма, ни того, что придала ему Марина в своем описании,— неповторимого, своего стиля. Я видела на кафедре истерзанного человека с вымученной речью, говоря, он вдруг стал быстро оглядываться, даже себе за спину, словно испугался, что кто-то вражеский его подслушивает. Нервно вели себя его пальцы, сжимаясь, стискивая углы кафедры, прячась в карманы, откидываясь за спину. Мне было просто физически тяжело смотреть на него, а ведь это был автор «симфоний», удивительной прозы, легкой, нежной, успокаивающей, как сон. Он казался совершенно беспомощным, голой душой, выброшенной из защиты тела. Я почувствовала его в тот вечер, как себя, как больной человек в палате воспринимает другого больного, соседа по койке,— и в состоянии какой-то полной бесцеремонности — от души к душе — написала ему, придя домой, письмо.

Ответ на него был формальный — две безразличные фразы. Но уже я потеряла чувство реальности в обращении к нему. Мне было плохо и тяжело с самой собой, а ему, я чувствовала, нужна, как и мне, помощь, и не было ничего ни стыдного, ни «неприятного» в переписке с ним. Я опять раздобыла букетик цветов и с посыльным отправила ему второе письмо, где говорила с ним так, как мне хотелось бы, чтоб говорили со мной.

В этом обращеини к незнакомому человеку был акт самооблегченья, была какая-то «нездешность», словно отношенье устанавливалось над реальным бытнем, в обнаженном мнре, где душа, без места в пространстве, без нменн, без течения самой жнзнн на земле, хочет встречн с такой же, как она,— без всех условностей, какимн сопровождается «знакомство». Еще не зная самой себя, я в этом акте обращения душой к душе стала, в сущности, реалнзовать одну нз глубочайших своих потребностей — потребность быть счастливой, о т д а в а я.

Есть разные виды любвн. Ннгде не возникают у людей такие разнообразнейшие формы самопроявлений, как в человеческой манере любнть. Мне с самых первых минут ощущення чужого бытня, вдруг становившегося дорогнм н близким, всегда была знакома только одна ее форма: счастье д а в а т ь. В детстве — цветы, сладости, кииги, нгрушкн; поздиее — всю жнзнь — время, внимание, снлы, нежиость. В ранией молодости я еще ие поиимала, что удержать любовь другого человека одной самоотдачей нельзя; у меия не было того, что сопровождает обычно любовь человеческую — влюблеииостн, физического влечення. И мы с сестрой в молодостн совершенно ие знали земной эротики даже в легкой, юиошеской ее форме.

На «романе в письмах» с Андреем Белым я прошла в первый раз всю трагедию взаимоотиошенй с полюбившимся человеком, в которых одна сторона хочет общенья — глубокой встречн души с душой, духа с духом, а другая сторона, чтобы поддержать потребиость такого общения, хочет большего — снльного, захватывающего всего человека плотского чувства. Беда, еслн появляется требовательиость одной стороны, томящейся по общенню, к другой стороне, для которой это общенне потеряло интерес без налнчня «чувства». Первый урок, полученный мной, научил меня — на всю долгую жнзнь — ннкогда не быть требовательной, если любишь.

На второе письмо пришел ответ. Я печатаю здесь десять писем Андрея Белого, сохраннвшихся у меня из нашей переписки. Они публнкуются впервые н для историков десятых годов нашего века представляют, несомиеиио, очень большой нитерес. Решаюсь я поместить нх в мон воспоминаиья ие только нз-за этого; н даже не потому, что в своей последовательностн оин характерны для «романа в пнсьмах», исчезающего при переходе нз переписки в реальное знакомство. Но главным образом потому, что нз всех портретов Андрея Белого, а сделано было нх немало, н художественных н литературных, и даже литературно-художественных (Ольга Форш, например, отличный рисовальщик, набросала пять различных «Андреев Белых», в профиль н анфас,— в разных его душевных состояиьях),— нз всех этих портретов никто не передал всего Андрея Белого лучше, чем о н с а м, в десяти очень откровенных, очень нскренних, сохраннвших как будто живую его интонацию, приводимых здесь письмах. Мне кажется, именно поэтому я просто не имею права беречь их для себя.

ДЕСЯТЬ ПИСЕМ АНДРЕЯ БЕЛОГО
(от 1908 до 1928 года)

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

17-12-08 (Штамп 18-12-08)

Москва. Заказное.
Ея Высокородию Мариэтте Сергеевне ШАГИНЯН.
Малая Дмитровка, Успенский пер.,
д. Феррари, кв. 5.
Адрес отправителя: Москва, Арбат,
Никольский пер., д. Новикова, кв. 7.

Моя судьба — путать. И потом извиняться. Извиняюсь и снова путаю: путаю в книгах, путаю в отношениях с людьми; все, что бы я ни делал, кончается инцидентом. В результате — «миллион извинений». И вот, ради бога, Мариэтта Сергеевна, извините и Вы меня, что не понял, не ответил — не так ответил: потому что, конечно, с Вашим письмом произошла путаница.

А между тем оно — милое, милое. Ваше письмо. И мне было хорошо его читать.

Ко мне иногда приходят записки, в которых неизвестные люди уведомляют меня, что я иду к вершинам, и они за мной «шествуют тою же стезею», а однажды мне пригрозили, что меня столкнут с высот; почти в каждой записке есть напоминание о том, что лазурь — лазурна, а свет — белый; и вот иногда злишься на то, что в былое время принимал всерьез эту истерику высот и лазури в анонимных письмах. Прежде я отвечал и даже (в юношеские годы) звал к высотам: в ответ на эти призывы получал уже просто... чепуху.

Недавно кто-то писал мне об «ужасно несказанном», и я имел слабость ответить (даже сослаться на «вершины»). Пришел ответ из восклицательных знаков; приходилось или «совоскликнуть», или не ответить вовсе. Восклицать в пространство как-то глупо: и я замолчал.

Получив первое Ваше письмо (с посыльным), я, конечно, спутал почерки; подумал: «Вот опять пришли восклицательные знаки!» И откровенно злился: хотел уже гнать посыльного... Но цветы (милые): они мне понравились: «Восклицательные знаки добры: они шлют мне цветы»,— подумал я.

И нацарапал что-то (кажется, извинился? Нет?), не дочитав письма (простите, ведь Вас я не знал, а содержание писем всегда одно: «меня зовут вершины в лазурь, где несказанное» и т. д.).

Сегодня уже в неподдельном ужасе я возвращал и письмо, и цветы, но посыльный откровенно отказывался и от письма, и от цветов: простите: я думал, что «восклицательные знаки» вырывают насильно «воскликновение» из моей груди (которая вдобавок еще простужена). И радуюсь, что ошибся. Да, Мариэтта Сергеевна, ошибся, потому что Вы — милая, милая, милая. Вы поняли, что тепло и человеческая ласка нужны мне, и я доверчиво, просто Вам отвечаю, потому что ищу доверия, человека ищу, а не восклицательного знака. От Вашего письма мне стало ясно; вот улыбаюсь (я редко теперь улыбаюсь один); все, что Вы пишете мне, согрето теплом; и тепло это мне так сейчас нужно (вокруг меня мало тепла); мне весело; в Ваших словах столько нежного «ухода»: Вы говорите: «Если слов не бояться — я и вправду за Вами ухаживаю». Зачем бояться слов — и кто знает последний смысл их: и так же просто, как пишете Вы, я принимаю Ваши слова,

Ваше... (ну пусть будет по-Вашему!) «ухаживанье», потому что нужны мне сейчас те слова, какие произносите Вы: от них я делаюсь сам для себя милым и маленьким, как Ваши милые, маленькие ландыши.

Но вот Вы пишете: «Вы заметили это?» Разве я знаю Вас? Почему-то верится, что знаю, хотя незнаком.

Внешность соответствует слову — так ли? У кого из незнакомых, но знакомых, могут отыскаться такие слова? Думаю — и вспоминаю; не знаю — Вы или не Вы? Ответьте, знаю я Вас или нет: Вы это можете сказать. Мне даже кажется, что я Вас видел давно: на лекциях, в симфоническом, например, на лекции Булгакова в религ.-фил. обществе?

Вы это или не Вы? Ну да все равно: разве это важно?

Важно то, что я уже не хочу Вас потерять, не молчите: будем знакомы непременно; и будемте друзьями. А то я буду злиться: подумаю, что вот повернул, и напрасно повернул. Я никому не верю, кроме двух-трех друзей (между прочим, З. Н. Г.) [17].

Повернув, я не изменяю друзьям. Если принимаете мою дружбу (т. е. хотите, чтобы мы приближались друг к другу), Вы пойдете ко мне навстречу.

Хочется тихой ясности, безмятежиой зари и, Боже мой, только не истерики: хорошо, если Вы не — «декадентка». Впрочем, грустно-шутливый тон Ваших слов убеждает меня в противном. Если бы Вы были декаденткой, вы не читали бы Тьера, но... «Историю Ассирии»...

Мы будем писать друг другу друг о друге. Хотите? Как хорошо, что Вы написали о Вашей маме, о сестре, о себе без «вершин» и пр.: только потому я и могу Вам писать, хочу Вам писать. Я Вам тоже буду писать о себе, если Вы хотите; только спрашивайте обо мне меня Вы: я буду откровенно и прямо отвечать (поскольку можно быть прямым заочно, в письме). Но бумага выносит лишь сотую долю слова. И если между нами будет живая связь, мы должны будем увидеть друг друга; чтобы не очутиться друг для друг в пространстве. Предупреждаю: я писать не умею: часто дичусь, отвертываюсь, «заговариваю зубы», но не от хитрости, а от стыдливости. Людей боюсь: с ними или формален, или «тактичен», или... открыт до конца, но... давно уже «в маске».

Ну прощайте: милая, милая Вы и ландыши Ваши тоже милые. Жду письма. И мне уже грустно: Вы уезжаете — куда? Надолго? А если уедете, пришлите свой адрес: во всяком случае было бы нехорошо вызвать меня на переписку без твердого желания, чтобы мы стали друзьями.

Борис Бугаев.

P. S. ...Кто же Вы? Знаю ли я Вас? Где мы встречались?

ПИСЬМО ВТОРОЕ

18 декабря 08 года

Высокородию
Мариэтте Сергеевне Шагинян,
Малая Дмитровка, Успенский переулок,
дом Феррари, кв. 5.
Адрес отправителя. Москва. Арбат. Никольский
пер., д. Новикова, кв. 7.

Милая,
простите, что пишу Вам на листе: бумага вся вышла, а ночь; а все же хочется Вам что-то сказать, а что — не знаю. Просто инстинктивно меня тянет к Вашим словам: в них нет истерики; в них только милая, детская грусть Бог весть о чем. Да, вспомнил: мне теперь действительно Вы нужны; в этом я правдив; тут я «принципиально» не путаю. Мне нужны всегда люди, понявшие Главное, если это Главное в них не искажено истерикой, если Оно без маски глядит на меня.

---

[17] Зинаида Николаевна Гиппиус.

Милое, грустно задумчивое, тихое — в этом сейчас должны люди увидеть друг друга; тут, на этом должен быть заговор, заклинание.

Всю жизнь я чутко прислушиваюсь, говорю себе: «То, нет, не то». Ищу в человеке его Главное, чтоб в Нем узнать себя — себя ли?

Тут я бесконечно доверчив, детски радостно иду на «веяние», чутко прислушиваюсь,— пусть я романтик: мой романтизм есть практическое, реальное дело; зарю бронирую я нормами долга; искание Главного — императив; пусть не знаю я, что из этого всего вытекает, я знаю, что мое «незнание», но уже Слушание начало чего-то, что больше всех нас, что будет.

И вот я всегда в маске: перехожу с грани на грань, баррикадируюсь методами, чтобы не улыбнуться зарей в пустоту. Но если почудится близкое, я безоружно, прямо отвечаю, доверчиво иду навстречу: тут всегда риск: или новая рана, новая боль, или новое подтверждение, что будущее будет.

Я знаю твердо в себе: надо твердо «держать, что имеешь»: имеешь предвестие о дальнем в близких: и невольно ищешь близких, чтоб отразилось в них дальнее, а в дальнем по-новому узнаешь себя и свое. Истинная близость немногих во имя дальнего — уже обетование, уже путь, уже окрыление. Но воистину: приближаются только многие, «немногие» таятся: их ищешь.

В Ваших словах мне приснилось кроткое веянье милого, и я готов идти к Вам навстречу. Но хочется не сразу приблизиться к Вам, а сначала перекликаться; еще я многого опасаюсь; могу замести следы; могу морочить, таиться, прикидываться.

Кто Вы? Из каких стран? Куда? И о чем?

Все это мне еще не ясно: я только инстинктивно предугадываю, что страны Ваши — родныя страны; кое-что в них я видел.

Когда получу Ваше письмо, то отвечу Вам, а пока хотелось Вам написать это дружеское «ни о чем» — ну просто улыбнуться.

Я Ходасевича о Вас почти не спрашивал — зачем? Каждый человек о себе говорит вернее и ближе.

Ну вот и все.

Борис Бугаев.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

19 декабря 08 года

Милая,

получил Ваше письмо, помеченное 19-ым. На многое хотелось бы мне ответить: «Ну да... да...» Многое я мог бы Вам написать сам; читая, улыбался; если б не написали Вы, написал бы я (это о черновой работе и т. д.). И очень о том Ваше «неудивление»: «ни место, ни даже слова не важны, а что-то иное, общее, даже не общее, а всеобщее» — да: на этом давно я стою, давно ищу путей индивидуальных, но общих и даже всеобщих изнутри. Жизнь должна быть как всеобщее; и всеобщее поет в глубине индивидуального: оно — индивидуальное индивидуального и о нем уже нет даже слов, слова оскудевают, как расцветают слова в индивидуальном: есть слова индивидуальные (эстетика); но индивидуальное индивидуального еще или уже не выразимо в слове, а в факте, в действии, в совпадении путей, во всеобщем; и это совпадение хочу я называть ценностью; а когда хочешь сигнализировать тишиной всеобщего (т. е. того, что индивидуальное индивидуального) в хаос бесценного бытия, сигналы превращаются в идеи-нормы и эстетика становится этикой: но это только кажется, потому что норма не норма, а образ Единый, Любимый: но реализуется он в милых и близких, пришедших издалека. Вот и начинает казаться, что «мы с Вами не в жизни, а во сне», но сон никогда не бывает сном: в сны я не верю. Милая, издалека — Вы мне: вот что почудилось в Вашем письме; оттого-то ответил Вам. Милые издалека идут друг к другу через третье: в Третьем встречаются и Третье одно: путь и стремление к дальнему: это и есть индивидуальное индивидуального; если сумеют они понять, что они не они, а знаки знаменования, как же не встретятся они, как же не соприкоснутся, как же не преодолеть им работу «ознакомления». «А потом иногда снится кто-

нибудь», пишете Вы, «ну совсем чужой, иной раз не существующий в жизни, а утром проснешься, и странное такое к нему чувство, нежное, близкое, томительно нежное»... Поймите, что снов нет: и снится только то, что дано, что есть (ведь несуществующему и неоткудова входить в сон); а что такое несуществующее? Только норма, потому что бытие есть форма суждения, которого норма — долженствование. Но долженствование есть путь к... к чему, к кому? А норма; ненорма, а... Лик... кого? И странное через всю жизнь проходит томление,нежное. Вот у Вас, как и у меня: значит, мы можем быть заговорщиками, друзьями: есть нам о чем молчать.

Если угадал я молчание Ваше, то мы будем близки. Но если бы я не почувствовал в Вас того, что Вы не выразили в письме, не сумели выразить (и я не умею), ни за что не повернл бы Вам. Но я, как и Вы, в молчанье своем о всеобщем: и Вы мне уже становитесь близкой.

Вы скажете: «Как бы не вкралась отвлеченность в эти слова!» Но в словах моих неизбежная отвлеченность, программа: иначе сейчас я не могу говорить с Вами: Вы меня больше знаете, чем я Вас. Вы менее можете оступиться в нашем Третьем, чем я: на Вас, пока я Вас не узнал конкретно, почин к индивидуализации слов. Я намеренно отвлечен.

Пусть мы узнаем друг друга с середины: самые близкие знакомства пришли ко мне издалека; самое ценное, на что опирался в жизни, пришло как сон: но сон оказывался не сном.

Знаете ли Вы, как опасно пройти путь дружбы, не зная друг друга? У меня была когда-то одна переписка: два года, не будучи лично знакомы, переписывались мы с Блоком. Приблизились невероятно в письмах; но встретились (не знаю отчего) с самого начала; и начало навалилось ложью на уже пройденное: новое, ложное начало смешалось с верной серединой: пошли химеры — полуистины: и наши отношения провалились в кошмар.

Да не будет так между нами: нам надо встретиться; сейчас ли, немного ли погодя — не знаю. Если буду здоров, приду к Вам на елку — хотите?

Вам кажется, что я растерялся. Трудно так сразу сказать: со мной что-то ужасно сложное, что в минуты подъема осознается как огромное испытание, едва выносимое: и отсюда восторг страдания, уютность в Распятии, готовность всю жизнь прожить в восторге последней покинутости, когда последние отблески зари угасают впереди, и знаешь, что это — марево, но подтверждений нет: чувство, будто петля затягивается крепче, все крепче — сейчас уже смерть, а где-то внутри утаенная улыбка: «Нет, это не так: это — искус»... И восторг, восторг, восторг.

В минуты же утомления (это чувство со мной вот уже два года), когда смиряется гордость, руки протянуты в даль с призывом: ищешь знамений, подтверждений не потому, что не веришь, не знаешь, а потому, что болен от испытания и, как больной, тихо капризничаешь с самим собой.

Этот восторг и это утомление последнее время сплетены в одно, и вот не умею даже ответить, растерялся ли: душа ведь — пространство; в одном пункте пространства растерянность (бессильно протягиваешь руки к заре), в другом пункте — гордое счастье от того, что идешь уже Бог знает где: там, где уже нет богоборства, уже демонизм — забава, но смирение отвергнуто: бархатная, томительно сладостная, ослепительная заря, но по ней ужасающие клоки мертвенных туч; а когда тучи закроют все и тянутся месяцами, в одно воздыхание, в одну мольбу, в одну муку-счастье сливаются два возгласа: «Нет, силой не поднять тяжелого покрова свинцовых (кажется, так) туч»... «Пронизала вершины дерев желто-бархатным светом заря... И звучит этот вечный напев «Объявись — зацелую тебя»...[18]

Вы понимаете, что Ваше письмо мне тоже знак, какая-то жажда увидеть дальнюю, но близкую (милую), утверждающую... И я с надеждой поворачиваюсь к Вам: нужна ли Вам моя помощь? — я могу иногда помочь; а втайне

[18] Цитаты из его стихотворений.

надежда: но и Вы можете мне помочь, если и Вы, как я, о Главном (всеобщем)...

Видите, милая, как неумело я вам отвечаю, теоретизирую; это потому, что еще не умею Вас видеть лицом к лицу. Все это мимо, мимо нужного, но, поверьте, и в том, что я Вам пишу, есть бессознательный налет «заговариванья»; срываются слова, обсыпаются песком общих мест; и тогда уже я сознательно опрокидываю на все сухой песок фраз.

Я обнищал словами. У меня нет слов для того, что «одно — навек одно» для меня. И вот часто прячу я мою Тайну, переходя к методологии. Методически закрываюсь то теорией знания, то эстетикой, то шуткой, то «завиваюсь» в пустоту.

Я такой маленький в выявлении, беззащитный, смешной: и такое большое там во мне: но оно — не мое; оно — всеобщее. Я всегда обременен «моим»; мне всегда немного стыдно; и я закрываюсь. Я слушаю тишину, но, заговаривая зубы, неизменно разражаюсь потоком слов, хожу вокруг да около; я боюсь молчать и оттого говорю «не о том», как бы прося, чтобы поняли скрытую причину моих бестактностей; но ее не понимают: посмеиваются, иногда зло острят. Я разбиваюсь на много граней; «одно — навек — одно» выявляется только в совокупности многих, но еще не сведенных друг к другу, плоскостей; от этого кажется, что я изменчив: я бываю то эстетом, то ницшеанцем, то кантианцем, то индивидуалистом, то народником, т. е. кажусь разным; но это от неумения сказаться: мое имя во мне соприкасается с Именем Иным, во мне поющим (индивидуальное с общим), и я рисую ряды параллелей и потом начинаю суетливо бегать по всем параллелям, но это кажется извне сумбуром.

Но верьте: я все помню, ничего не забываю, я не меняюсь в главном.

Если Вы хотите ко мне подойти, полюбите меня смешного, немощного, «заговаривающего зубы», почти... затравленного, почти... страдающего манией преследования; верьте: все свои параллели продолжаю, или хотел бы продолжить, к одному, к незабываемому.

Милая, я уже к Вам привязан, мне уже было бы больно не обращаться к Вам, не перекликаться.

Я теперь, кажется, знаю Вас в лицо. Вы сидите в кружке на эстраде впереди и справа — там, где читают, и у Вас вид внимательно-изумленный, отдаленный и чуть-чуть строгий.

Ну прощайте: пишите мне скорей — да? Можно ли мне к Вам прийти, когда буду здоров, и на елку тоже. Надо условиться, чтобы не было начала нашего знакомства, а середина, а то я разобьюсь на плоскости, начну рисовать «вензеля» и потом только через месяцы перестану быть суетливым, смешным.

Борис Бугаев.

P. S. Если Вы теперь останетесь в Москве и я буду косвенной причиной тому, я, будучи в десять раз более смешным и неискренним...

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

20-12-08

Москва.
Е. В.
Мариэтте Сергеевне ШАГИНЯН.
Малая Дмитровка. Успенский переулок.
Дом Феррари, кв. 5.

Вы, Мариэтта,— милая, милая, милая. Мне хорошо от Вас получать письма. Я не пишу Вам много. Сейчас ужасающая слабость. Доктор запретил не только

читать, но и думать. Мне грозят осложнения на почве переутомленности: я Вам улыбаюсь. Христос с Вами: нежно люблю Вас, ясно. Мне тихо и грустно. Сижу и опутываю елку золотой паутиной: золотая паутина — и больше ничего: мне странно. Мыслей нет — золотая паутина: плыть в золотой паутине вдоль Вечности — вечно. Пусть день за днем идет: день за днем, слеза за слезой, жемчужина за жемчужиной: слеза к слезе, жемчужина к жемчужине: ожерелье из жемчужин: кольцо жемчуга. Броситься в голубое море Вечного — утонуть, чтоб жемчужное кольцо колыхалось над захлебнувшимся.

Милая, милая, милая Мариэтта: я думаю о Вас, и мягкий ток жемчугов — моя мысль: не покидайте меня: милая Мариэтта — будьте вечной Мариэттой. Простите мое безмыслие и краткость письма, моя милая. Мне трудно писать — слабость.

Позовите меня к себе, но не раньше, как через три дня.

Б. Бугаев.

ПИСЬМО ПЯТОЕ
21-12-08

Милая, если Вы мне не верите, прекратимте переписку.

Я Вашего письма не показывал никому. В самом деле: мне противно и гнусно. Моя участь такова. У меня читают в мыслях. Недостойно оправдываться: если не верите мне, лучше прекратимте наше знакомство.

Я не знаю, приходить ли мне завтра? Если наше знакомство с первых шагов безвозвратно испорчено. Пожалуй, приду: но это уже будет «н е т о».

Б. Бугаев.

P. S. Нет, я не приду. Все уже испорчено.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ
22-12-08

Милая, спасибо... Приду...

Б. Бугаев.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ
2-1-09

Москва. Заказное.
Е. В.
Мариэтте Сергеевне ШАГИНЯН.
Малая Дмитровка. Успенский пер., д. Феррари, кв. 5.

Адрес отправителя.
Москва, Арбат. Никольский пер., д. Новикова, кв. 7.

Милая, милая Мариэтта,

начинаю стереотипно: простите. Вы видите, что у меня всегда есть повод просить прощение. Относительно очень многих этот повод невольный: очень многие хотят от меня, чтобы все свое время я отдал им; этих очень многих очень много; и я всегда манкирую, не поспеваю. Далее: у меня есть мои близкие, милые друзья; с ними я связан путем: у меня должно хватить время дать себя им, как они дают себя мне. Далее: постоянно я под напором людей интересных, с которыми есть связующее начало: так, например, летом я занимался р и т м и к о й в поэзии, напал на целую область, подошел почти к порогу новой науки о поэзии (и науки точной), и вот в Москве уже давно хочет со мной говорить С. И. Танеев, который занимался 10 лет вопросами, смежными с вопросом о ритме в поэзии: мне надо поговорить основательно с Георгием Коню-

сом, с Фед. Евг. Коршем и пр. А времени на это нет. Далее: у меня есть незаконченная теоретическая книга по теории символизма: теоретически я вывожу символизм из критики критики познания; я разбираю Когэна, Риккерта, Ласка (не Лааса); у меня много спорных пунктов. Мне, например, надо давно видеться с Б. Алекс. Кистяковским (личным другом Риккерта и риккертианцем); словом, у меня есть связь с молодыми философами, с философским кружком (собир. у Морозовой). Далее: мой ближайший друг Метнер [19], с которым мы соединены навеки в дорогом и близком,— от сумятицы, в которой я живу, не получал от меня ни одного письма (он уже давно в Берлине). Далее: по моей профессии я должен следить не только за философской литературой (последние 2 года я тут неисправен), но и за литературой вообще. Далее: у меня ряд больших планов литературных; я должен написать большие произведения (все, что писал доселе, есть лишь проба пера): а Вы знаете, что значит уйти в то, что пишешь: нужно молчание, пост, отдача всего себя для того, что видишь там: ведь когда я пишу, я хочу сигнализировать; образы мои имеют эзотерическую подкладку. Далее: в моей личной интимной жизни (выражаясь теософическим языком) я стою на таких «планах» (в астральном и ментальном), где нельзя безнаказанно видеть что видишь: требуется уже тут оккультная гигиена (начиная с того, что нельзя разжимать ладони, есть бобы и т. д. более важное); а то «дживa» уйдет через кончики пальцев и я умру; ввиду того, что я уже прошел без руководителя многие области оккультного, я потерял в битвах слишком многое.

Видите: 1) я должен проделывать оккультную гимнастику, 2) следить за десятками книг, 3) писать и мистерию, и гносеологический трактат, и стихи, и статьи, и т. д., 4) общаться a) с людьми, у которых могу учиться, b) с друзьями, c) вести переписки, 5) я опутан срочными обязательствами, 6) должен помимо всего еще и зарабатывать деньги.

Видите?

А Вы, милая Мариэтта, требуете, чтобы я Вам писал каждый день, бывал у вас каждый день... Да ведь при моей теперешней усталости (я друзьям, с которыми связан годами уже, не могу писать, Мережковским, например, и вовсе не пишу — и они понимают), когда доктора требуют безмятежного покоя, грозят чахоткой, указывают на очень серьезное хроническое (годами) переутомление, при всем этом, милая, чтобы писать Вам через день или бывать через день, я должен очень многое забросить.

Милая, если я Вам ответил, не зная Вас, значит, я знал, что делал, значит, Вы мне нужны: но это не значит, чтобы я постоянно это повторял. Господи, разве не обидно мне было читать, что Вы, милая, мне не понравились, что я больше к Вам не приду. За кого же Вы считаете Андрея Белого? Ведь в Вашем письме звучит истерика. Не подходите тогда ко мне: неужели Андрей Белый есть приятная игрушка для его друзей и он должен удовлетворять их желанию играть в игрушку: у Андрея Белого возникает план целой книги: ему нужно молчание и уединение, доктора и так запретили ему напряжение; но напряжение мысли не прогонишь: нужно создать условия наименьшей затраты энергии. И Андрей Белый сидит дома: а он обещал Мариэтте 1) написать длинное письмо, 2) прийти 29-го.

Вы мне нужны, не будем же строить нашу дружбу на неволе, а на свободе. Будем верить друг другу: а если каждое внешнее манкированье мое Вы будете рассматривать как демонстрацию, ставить мне ультиматумы или огорчаться внутренне, я буду чувствовать, что что-то у нас не выходит.

Все, что я писал Вам, верно: о новой книге; к тому же легкое повышение температуры: а доктор запретил мне очень строго в теперешнем моем состоянии выходить при повышении температуры: я на волоске от катара легких, а случись со мной катар, он неминуемо осложнится в чахотку. Вы говорите, что от любезности я могу умереть. Это неправда: а если каждому из знакомых объяснить пространно (так же пространно, как Вам) невозможность физически свести концы с концами, я должен был бы полгода изо дня в день объяснять; и вот я машу рукой и со стоном проделываю, что могу; а где не могу, манкирую. Ве-

[19] Речь идет о брате композитора Николая Метнера — Эмилии Карловиче Метнере.

рите ли: пошел на «С о ю з» 26-го. И вместо того, чтобы увидеть хотя бы одну картину, я подвергся нападению десятков личностей; было там много обиженных (тем, что не общаюсь с ними): хотел здесь, там кое-что загладить: в результате оказалось, что уже на неделю расприглашен (от такого-то часа Судейкин, от такого-то Грабарь): теперь придется начать серию обманов и не быть нигде... и т. д. и т. д.

Заметьте, милая, что в эти дни придется 1) быть на редакционном совещании «Весов», 2) в теософском кружке (мне там н а д о кое-что узнать), 3) заниматься религиозно-филос. обществом (я там член совета), 4) быть на заседании комитета «Св. э с т е т и к и». Тут я не могу манкировать: это — моя обуза.

А «Д о м П е с н и» и «Философский кружок» придется бросить. Далее: в эти дни я должен был писать длинное, длинное письмо А. М. Ремизову, которого очень люблю (он т о ж е обижен), после двухлетнего молчания на его письма, должен был писать В. И. Иванову о всех тех недоразумениях, которые между нами возникли. Далее: Эрн заболел, и я проводил у него много времени (кстати, он меня ознакомил в деталях со всеми перипетиями о Свентицком, а мне как члену совета нужно быть в курсе). Наконец: я же подготовляю 3-ью книгу стихов: надо было работать над ней: ведь должен же я и себе немного оставить времени...

Нельзя же требовать, чтобы Андрей Белый был в 10 местах одновременно и вместе с тем Святым Духом писались его книги... в то время, когда доктор велит никого не видеть, нигде не бывать.

Видите?

Будете ли Вы, милая, теперь меня бранить, говорить, что я не иду, оттого что... и т. д. и т. д.

Милая, простите еще раз за убожество письма: я так и устал эти дни. А пишу я Вам вовсе не по обязанности, а потому что люблю Вас. Вы и Ваша сестра мне теперь близки.

Знаете, милая Марнэтта, мне удобнее прийти к Вам до 2 января днем: только с 3 января у меня вечера свободны. Выйду же я завтра, 31-го.

Вы пишете, что идеализм и теология могли бы соединиться. Я понимаю, что Вы мыслите: но для этого нужно, чтобы идеализм (не гносеологический) по-новому воскрес; такое воскресение идеализма требует преодоления идеализма гносеологического. В настоящую минуту идеалистическая метафизика по сю сторону теории знания. Что же получается: Наторп когэнизирует Платона. Требуется обратное: платонизация Когэна. Шаг в эту сторону сделан Риккертом и Ласком.

Нужно выискивать метафизические предпосылки теории знания. Нужна новая, гносеологическая метафизика; теория знания постулирует нормами практического разума. Возникает вопрос: могу ли я рассматривать теоретический постулат как практическую реальность? Возникает новая область философии: теория ценностей. Что есть ценность? Истинное и ценное в «sollen» [20], истинное есть ценное: вот суждение, где предикатом может быть и истина, и ц е н н о с т ь. Суждение: «И с т и н н о е е с т ь ц е н н о е» может быть суждением и аналитическим, и синтетическим (в кантовском смысле). Если суждение это — суждение аналитическое, то 1) или понятие о и с т и н н о м выводится из понятия о ценном, 2) или обратно. Если же данное суждение есть суждение синтетическое, то содержание понятий «и с т и н а», «ц е н н о с т ь» соотносятся через т р е т ь е: «е с т ь». Ставится новый вопрос, что есть «с в я з ь» в суждениях конститутивных? До того, как мы построили суждение наше, мы определили истинное как должное: итак суждение наше таково: д о л ж н о е е с т ь ц е н н о е. Обратите внимание теперь. Ведь долженствование есть трансцендентная норма суждений (у Рикерта, отрицающего метафизическую реальность, полемизирующего с Фолькельтом). Всякое суждение предопределено императивом: «Д а б у д е т о н о». Суждение же о том, что «д о л ж н о е е с т ь и с т и н н о е», тоже предопределено долженствованием: д а б у д е т т а к, ч т о б ы

[20] Надо быть, долженствование, долженствовать *(нем.)*.

должное было истинным. Тут открывается, что есть долженствование самого долженствования, т. е. долженствование само предопределено. Но долженствование есть норма познания: оно связь — наукоучений. Следовательно, долженствование долженствования уже не есть норма познания, не есть формальная связь. Какая же это связь? Я возвращаюсь к оставленному суждению, истинное (должное) есть ценное. Ведь ценное здесь постулат; но чтобы постулат превратился в нечто данное моему познанию, он должен иметь содержание; но от содержания мы перешли к форме в теории знания. Предопределение ее чем-то еще возвращает нам по-иному содержание. «Есть» становится не только логической связью, но и связью психологической: вот кажущийся возврат к психологизму. Я говорю «кажущийся» потому, что требуемое по-иному выведению формы из содержания (Ваше сначала «я» (все для меня, все через меня), а потом «все»), из «всего» есть вовсе не психология в ее современном терминологическом смысле: то́, как требования иного содержания конструируют мне теорию знания, которая уже потом выводит категории, методы наук с их научным содержанием и т. д.— вот область этого «как выводят» и есть гносеологическая метафизика, которая одновременно со стороны религии (догматы религии суть законы этого выведения) есть теогнозия. Я рискую быть скучным, если стану объяснять, что действительно идеал теологии и идеал метафизики приближается невероятно: в теогнозии гносеологической метафизике. Обе еще не существующие дисциплины (как методологии) вне компетенции теории знания, ибо они условия ее возможности; следовательно, вне компетенции дурной метафизики, науки, психологии и т. д. Это то «есть» суждения, «истинное есть ценное» определяется пониманием этого «есть» как переживаемой индивидуально-всеобщей связи. Область же раскрытия всеобщего есть — символизм, т. е. описание 1) типов творчества форм (тут символизм, как эстетика), 2) типов творчества жизни (тут символизм, как теургия, т. е. практика жизни).

Для того, чтобы описать типы жизненного творчества, я должен иметь переживаемую константу. Переживаемая константа — моя собственная жизнь, как всеобщего.

Итак: я предлагаю предопределить теорию знания теорией творчества оккультной биографией. Тут начинается мой Каков[21], все более и более опрозрачнивающийся в...?...

Милая, милая моя Мариэтта, простите мне это отступление. Страшно хочу Вас видеть: пишите.

Вы — милая, милая.

Скоро увидимся. Христос с Вами.

Борис Бугаев.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

Апрель 1909

Е. В.

Мариэтте Сергеевне ШАГИНЯН.

Воистину воскрес!

Желаю радости и хорошего праздника; простите, что не был у Вас и не ответил; совершенно больной я уехал на масленице до 5-й недели из Москвы, а там был в Киеве; так что почти не жил в Москве, а в промежуток рвали дела и люди.

Христос с Вами, милая моя Мариэтта; я всегда помню о Вас, всегда: спасибо за цветы: мне было радостно их получить.

Передайте улыбку мою Лине.

Борис Бугаев.

Постараюсь на днях быть у Вас.

---

[21] Каков — это утопический волшебный остров, сфантазированный Андреем Белым в детстве. Он рассказал о нем у нас на елке в ответ на наш рассказ о «волшебной стране Мэрце», тоже сфантазированной нами в нашем детстве.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

18-8-09

Нахичевань-на-Дону. Федоровская улица, д. 10-14.
Ея Высокородию Мариэтте Сергеевне Шагинян.
ПРОШУ ПИСЬМО ДОСТАВИТЬ.

Милая, родная Мариэтта, простите, письмо получил только недавно; были огорчения и свои искусы.

Пишу Вам твердо — от меры моего знания — ни больше, ни меньше.

Ваша трагедия — была моей трагедий лет пять тому назад.

Флоренский говорит гнусности. Зину знаю, как себя. Идите к ней, если Вас тянет, но у Мережковских, думаю, Вы еще не найдете последней правды, последняя правда ближе к церкви; но там она запрятана слишком глубоко, а поверх плавает гниль (у Мережковских нет гнили) Думаю, у Мережковских Вам место, но как этап.

Идите и убедитесь. Они лучшие и благороднейшие из людей, но времена близятся,— и такие, что любовь без змеиной мудрости может еще губить. Надо всей Россией занесен меч врага. Нужны бойцы и рать: в ратном поле ни Мережковскому, ни Зине не устоять против врагов.

Новоселовщина и Флоренщина — спасение себя, а где же у них найдется место в душе для погубления душ «з а д р у г и с в о я». Правда их загнивает гнусностью невольной: Булгаков всех чище, но как «д н и т я м а л о е» и «б е с п о м о щ н о е».

Нужна змеиная мудрость; и, быть может, как школу опыта я Вам должен советовать так: в Вашей трагедии с Мережковскими, а не с Новоселовым.

Долга не забывайте: мистических «с л а с т е й» бойтесь. Теперь (на год, на два) Вас успокоит Зина. Через два года — поговорим. Не уезжайте в Петербург, не повидавшись со мной. Христос с Вами, милая: братски целую Вас. [22]

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Заказное.
Армения. Эривань.
Закташ
Якову Самсоновичу Хачатряну
для М. С. ШАГИНЯН.

Тифлис. Сололакская улица. Гостиница
«Национал», комната 15. Б. Н. Бугаев. Грузия.
НАШ АДРЕС: (до июля) Грузия. Шаропанский уезд.
Сачхери. Котэ Абдушели. Для Б. Н. Бугаева.

Милая Мариэтта,

спасибо Вам за встречу; и все-таки: ощущение, что мы виделись меньше, чем могли бы; очень нас с К. Н. потянуло к Вам; хотелось бы еще говорить

---

[22] Вместо подписи — масонский знак.

о многом; и — долго: не внешними словами, а всем существом; радостно было увидеть, что мы так долго не виделись, и что в этом **невидении и несли́шанье** внешнем мы созвучны в ритмах исканий и устремлений; и — даже: не только не разошлись, а как будто **сошлись**; это чувство «**разошлись**» было у меня к Вам в эпоху скорей 15—21 годов; а сейчас, после нашей встречи, было радостно отметить: точно жизнь убрала между нами ненужные преткновения; мы ли более **вызрели**, отделясь от субъективного, слишком субъективного, жизнь ли историческая стрясла с нас сор субъекций и ненужных импрессий. Словом: нам с Вами было легко и хорошо; и спасибо за это хорошее; будем же перекликаться и **словами**, а не только мыслями и устремлениями.

Признаюсь Вам: в прошлом году мне не хотелось с Вами встретиться в Тифлисе,— не с **Вами** лично, а с теми случайными претыками меж нами, корень которых не расхождение индивидуумов, а словесные qui pro quo и толстовские «я думаю, что она думает, что я думаю, а это не так» и т. д.: т. е. психологизм, мне столь ненавистный; я всегда Вас внутренне знал и любил, как Вас; но наши внешние встречи бывали какие-то подорожные, спешные (то — в Мюнхене, то — в Ленинграде); Вы — на север; я — на юг; и всегда сквозь призму людей, и Вам, и мне близких, но с которыми были мучительные и невыясненные отношения (Мер.[23], Метнеры и т. д.). Создавалось впечатление, что и Вы, и я — в колючей проволоке «**их**» слов и мнений о нас, а не «**мы**», взятые по прямому проводу: от «я» к «я»; и это было не виной нас, а случайностью обстановки встреч, всегда поспешных и из поспешности «**нервных**»; зная и любя Вас, я не хотел прибавлять к нервным, поспешным встречам (как в Мюнхене, как в Ленинграде) еще новой встречи в этой же тональности: в Тифлисе.

И лишь в Эривани я ощутил, что по-хорошему и доброму мы встретились — так, как когда-то (помните, когда я пришел к Вам на елку).

В этом смысле я и досадовал в Эривани, что мы **по-хорошему** встретились; но — **мало** виделись.

Вместе с тем: мы были перегружены эриванскими впечатлениями (и люди, и природа, и производства, и древности, и чтение книг, и т. д.). Понятно, что мало виделись.

И вот, у меня возникла мысль — фантастическая, и вместе для нас с К. Н. уютная; в связи с Севаном.

Но прежде всего скажу о Севане.

Попав на Севан, мы тотчас в него влюбились: и у меня, и у К. Н. вырвалось: «Вот бы где помолчать с природой, с недельку, с две». А милый капитан Каспарьян, которого Вы, конечно, знаете, стал уверять нас, что это вполне осуществимо, что Вы жили на Севане, что он сам будет жить в одной из комнат бывшего убежища, что с провиантом можно устроиться и т. д. Но до такой степени влюблены в Севан, что готовы на все, чтобы там прожить недели 2, даже 3,— покупаться, намолчаться, отдохнуть от людей, Москвы и даже себя; Севан создан для того, чтобы мы могли собраться с силами; здесь именно понимаешь Антея, сильного прикосновением к земле, ибо — земля-то **какая** здесь?

Но... мы были на острове всего полчаса и не успели всего узнать, о всем договориться с Каспарьяном. И вот теперь, когда мы в Тифлисе,— у меня встают сомнения. Севан еще более говорит, но вот вопрос: безопасно ли жить на нем; есть ли кто-нибудь там? Я не о себе, а о К. Н. Мы, подмосковные жители, привыкли ко всякого рода нападениям; в 18 верстах от Москвы, у нас в Кучине, небезопасно углубиться далеко в лесную глушь (бывали всякие случаи хулиганства — ограбления, убийства и т. д.). Каспарьян, даже если бы он там жил, вероятно, будет в разъездах. Представьте себе: на острове — ни души; ночью причаливает лодка с дурными людьми; и — так далее... Я — не о себе беспокоюсь, а о К. Н.; может быть, Вам в Армении смешны мои опасения? Но

---

[23] Мережковские.

для окрестностей Москвы, где борьба с хулиганством ведется в государств. масштабе, они не смешны; монах, живший на Севане, умер; думаю, что Каспарьян не звал бы нас туда жить, если бы было абсолютно неудобно и опасно. Но все же: обращаюсь к Вам с просьбой: нельзя ли из Эривани узнать о Севане что-либо, нас орьентирующее. Во-вторых: с продуктами устроиться можно; керосинку — привезем; вопрос лишь о том, чтобы не спать там на голых досках; можно ли там спать на хоть мешках с сеном или травой; прочее у нас — есть; белье, одеяла, подушки. И — третье; было бы очаровательно встретиться с Вами там; Каспарьян говорил, будто Вы хотели приехать. Вот где можно было бы, не мешая друг другу, и поговорить, и помолчать, и, что главное, просто побыть: и вместе, и врозь, ибо «вместе» включает в себя и — врозь.

Ответьте на мои вопросы, поскольку можете, но не удручайте себя заботами о справках; просто, если знаете, как теперь там можно жить,— ответьте. И — еще раз: хорошо бы было там встретиться. Мы это с К. Н. совершенно от души, а не от «светскости».

Я думаю о Севане вполне серьезно; едем завтра в Сачхери, где пробудем, максимум, до июля (до 1-го или 10-го); далее — свободны, готовы жить, где угодно; и более всего хотели бы прожить там — хоть с неделю! Поэтому: было бы желательно к 20, примерно, июню знать точно: утопия или прекрасная действительность приглашение нас пожить на Севане. Из Сачхери напишу Каспарьяну, но — пишу и Вам. Авось из 2-х писем что-либо да сложится определенное для нас. Нам потому важно знать уже в 20-х числах июня, поедем ли или нет на Севан, чтобы вовремя сообразить, куда далее деваться; в Сачхери, по моим представлениям, не ловко жить дольше июля, а возвращаться в Москву не хочется до середины августа; морские курорты будут, вероятно, переполнены; volens-nolens[24] придется убираться в Москву, чего не хочу.

Милая Мариэтта: не отрываясь, единым духом прочел Вашу книгу[25], очень умно, интересно; кое с чем не согласен; при личном свидании многое мог бы сказать, скажу одно: книга поднимает огромную тему, но дает ей, помоему, несколько случайное худ. оформление; это скорей художественно-философский диалог, под которым — целая диссертация. Слабее всех — героиня (дочь профессора); великолепен профессор и Ястребцов. Обрываю, ибо нет места. Ну всего, всего хорошего. Еще раз спасибо: жду ответа.

Борис Бугаев.

К этому письму приложена фотографическая карточка Андрея Белого и его второй жены, Клавдии Николаевны Васильевой, от 20 мая 1928 года с надписями:

«Милой Мариэтте Сергеевне на память о встрече, которую трудно назвать «первой», таким знакомым и близким повеяла она мне.

Кл. Васильева.
Эривань, 20/V-28».

«Дорогой Мариэтте, с чувством неизменной связи (вопреки редкости встреч) — привет с подножий Казбека, где пережили столькое и откуда притянулись к камням Армении.

Борис Бугаев.
Эривань, 28 года 20 мая».

[24] Волей-неволей *(лат.)*.
[25] Речь идет о моем романе «Своя судьба».

Читатель сам оценит эти письма как яркий автопортрет Андрея Белого на протяжении двадцатилетнего нашего общенья. Сперва — нарастая в страстной потребности общенья — письма идут к ее кульминации. Уже не почта — взад и вперед носит наши письма «красная шапка», посыльный, стоявший в те годы на каждом углу больших улиц Москвы.

Потом — со стороны Белого — общенье переходит в потребность уже личной встречи. Вмешиваются, как в хорошей драме, «on dit'ы», он говорит, они говорят,— новый тормозящий элемент, «сплетня»,— Ходасевич, бывавший то у него, то у нас,— «передает» от него ко мне, от меня к нему. Все кажется испорченным и погибшим, но свидание все-таки назначается. В сочельник, на рождественскую елку.

Что представлял себе, идя ко мне, Андрей Белый, так близко соприкоснувшийся с чужой душой? Он хочет начать наше знакомство «с середины», с большой достигнутой духовной близости, чтоб не получилось так, как у него с Блоком: в письмах они стали предельно близкими, а встретились как чужие. Он идет на елку в атмосфере той нереальной, надземной любви, которая рисуется ему в образе... Каком образе?

А его ждут две очень перепуганные бедные девочки, смертельно боявшиеся этого свиданья. Во-первых, негде. Не в каютке же, где и сесть и елку поставить места нет. По счастью, мадам Феррари вошла в положение, и даже с удовольствием: она отвела сестрам угол в своей гостиной, где были старинные часы, диван и кресла в пыльных чехлах, окна с немытыми, мутными стеклами в сад и — угол для елки. Елочку и кой-какие украшения мы купили. Запаслись восковыми свечками. Но уже на угощенье денег не хватило. Осталось всего сорок копеек, и на эти сорок копеек мы купили коробку мармелада. Одеться нам было не во что: те же синие шерстяные платьица — единственные на весь год; те же башмаки, побывавшие у сапожника для починки.

Стоя в волнении у зажженной елочки — руки в холодном поту,— мы ждали, а Борис Николаевич пришел такой же перепуганный, как и мы. Вместо необыкновенной женщины в сказочной обстановке, которая, быть может, мерещилась ему, он увидел двух молоденьких, смертельно бледных девочек двадцати и восемнадцати лет, державшихся за руки. Белый не ел, должно быть, весь день от волнения в ожидании этой елки. Он был голоден. И вот он стоит перед нами в позе рассказчика, говорит, говорит, «взвиваясь в пустоту», и поглощает одну за другой мармеладины, не замечая, что время уже за полночь, время идет ко второму часу, коробка пуста... Возможно, от такого же отчаянья, что «все пропало», какое было и у меня в душе.

Как это видит читатель из писем, мы все-таки мало-помалу подружились, и в трудную минуту путаницы с новоселовщиной и самоугрызений я обратилась к нему за советом. Он дал этот товарищеский совет, и я ему последовала, хотя уже тогда видно было,

что пути наши резко расходятся: его путь вел к Рудольфу Штейнеру в антропософию. Мой был скрыт от меня, хотя инстинктивно я чувствовала, что и этот новый этап, по примеру гётевского Вильгельма Мейстера и его «ученических годов», тоже переходный, тоже только «испытание» и урок.

Договорилась с моим профессором Н. Д. Виноградовым, что буду приезжать на семинары и на сдачу отчетов. Всплакнула, прощаясь с Линой: она оставалась в нашей каютке дома Феррари. И на «максимке», самом дешевом поезде в России, двинулась по зову Мережковских в Петербург.

Сентябрь — декабрь 1972 г. — февраль 1973 г.
Дубулты — Москва — Переделкино

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Петербург

...pour retrouver un électron avec certitude dans un atome, il faille intégrer, sommer ces probabilités dans tout léspace occupé par látome. La forme intégrale fait reparaître l'objet qui nous échappait...

Pierre Auger [1]

...Петербург — достаточно широкий и свободный центр идейной и политической жизни...

...Царевококшайск может поместиться в Петербурге и переместиться (по крайней мере большей своей частью) в Петербург, но Петербург не может ни поместиться в Царевококшайске, ни переместиться в Царевококшайск.

Ленин [2]

1

Лежит передо мной одна из интереснейших книг современности, которую мечтаю когда-нибудь рецензировать. Когда кончу. А читается она очень медленно... Это книга модного во Франции ученого, профессора французского коллежа, физика и философа Пьера Ожэ, и называется она «Человек микроскопический». К понятию и разбору того, что такое сложный физический комплекс, именуемый человеком, Ожэ подходит очень оригинально — с тех мельчайших частиц, из которых он состоит.

Разобрав «по кирпичику» человека, начав его постижение с электрона, Ожэ обранивает мимоходом изумительную мысль, не давшую мне спать много ночей: мельчайшие частицы, из которых состоит атом, не подчиняются классической механике Ньютона; для понимания их нужна квантовая механика. А вот сам человек, его целостный организм,— во власти механики классической. Ожэ обронил это очень просто, между строк,— словно общеизвестную истину. А я не могла заснуть, заглянув в бездну своего собственного «целостного организма»,— значит, он сам в себе, совокупностью своей материи, обречен на противоречия? Ведь он (человек; значит, и я сама) состоит из атомов, из мельчайших частиц атома, из электронов — от этого никуда не денешься,— и его мель-

[1] Pierre Auger. L'homme microscopique. Nouvelle Bibliothéque scientifique. Flammarion éditeur. Paris. 1966, p. 60: «Чтоб отыскать с достоверностью электрон в атоме, надо интегрировать, суммировать его возможности на всем пространстве, занимаемом атомом. Интегральная форма выявляет предмет, который от нас ускользал».

[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 19, с. 92, 95. Приложение к № 47—48 газеты «Пролетарий» за 11 (24) сентября 1909 г.

чайшие частицы, мельчайшие частицы его собственной материи, гнут, что называется, в одну сторону, а сам он как целое — в другую: они подчиняются законам квантовой механики, а он — механики классической. Не тут ли суть вечного борения, вечной дисгармонии внутри себя, а может быть (может быть!), и тайны самой жизни, тайны Времени?

Но как все-таки, отбросив философию и физику, описать человека в самые сложные, противоречивые минуты жизни, непонятные ему самому в их мгновенной и как будто беспричинной смене? В предстоящей главе мне нужно это сделать,— нужно вспомнить и описать разламывающуюся на куски душу, еще не умеющую держаться за стержень как за мачту в шторм, да и не знающую — пока — своего стержня.

И тут — странным образом — Пьер Ожэ, так усложнивший мою задачу, опять-таки сам помог мне подойти к ее разрешенью. Он пишет: «Чтоб с достоверностью отыскать в атоме электрон, надо *интегрировать, суммировать его возможности*[3] на всем пространстве, занимаемом атомом. Интегральная форма выявляет предмет, который от нас ускользал». Правда, это действительно для мельчайшей частицы, а не для всего человека, состоящего из них. Но почему не интегрировать мельчайшие психические состояния этой незримой человеческой души, разбегающиеся во все стороны? Почему не рассмотреть их на всем пространстве, занимаемом у человека его душою? Не привлечь кванты к пониманию бесконечных изменений, раздирающих нашу целостную, комплексную душу?

Физики, разумеется, посмеются надо мной и моей попыткой объяснить с помощью квантовой механики душевную жизнь человека, ввести кванты в психологию. Физики скажут, что я ничего не поняла в Пьере Ожэ. И все же — смейся не смейся — он пришел мне сейчас на помощь. Он пришел сразу на помощь, позволив памяти рыскать по всему пространству небольшого отрезка жизни — и в этом рысканье нежданно остановиться на том, что не документировано, ни в чем не отмечено, забыто, исчезло, а вот, оказывается, наследило где-то на всем пространстве времени, доказав, что в мире нет ничего случайного...

Как раз этот период времени — обозначу его не просто «годами», но «учебными годами» — документирован у меня почти исчерпывающе. Под «учебным годом» я разумею две зимние половинки (осень — весну): с осени 1909-го по май 1910-го, с осени 1910-го по май 1911-го — два учебных года. И еще одна половинка: с осени 1911-го по январь 1912-го.

У очень близких людей рождаются иногда разные «дурашкинские слова», понятные только этим людям. Иногда они вовсе бессмысленны. Иногда имеют свой твердый, устоявшийся смысл, но вдруг получают совсем другой, ничего общего с законным своим значеньем не имеющий. Но этот новый «бессмысленный смысл»

---

[3] Разрядка моя.

так прочно въедается в них, что дурашкинское слово, как узаконенный самозванец, сбрасывает с себя кавычки и запросто входит в домашний словарь. Так роднилось между мной и Линой дурашкинское слово «регламентация». Наполненное солидным немецким смыслом, происшедшее от Правила (Regel) и выражавшее канцелярскую процедуру приведения в порядок, оно вдруг сорвалось с языка, словно рыба с крючка, уйдя от всякой логики. Когда мы с сестрой прощались перед моим отъездом в Петербург, одна из нас сказала другой: «Смотри, каждый день пиши мне регламентацию!» И мы с ней в течение двух с половиной «учебных лет» ежедневно строчили друг другу такие «регламентации», отсылая их заказными каждую субботу и ставя на конверте последовательные номера — 1-я, 2-я, 3-я. Мало того: когда я как-то показала Гиппиус одну из Лининых регламентаций, она вдруг спокойно взяла в обиход это слово без всяких кавычек и потребовала, чтоб я в «каникулярные периоды» (летом) и когда — по месяцам — Мережковские уезжали за границу, писала ей точь-в-точь такие же регламентации. В ответных ее письмах пестрят слова «недостает регламентации», «почему опаздывает регламентация?». Хотя мои собственные пропали или были ею уничтожены, но по письмам Гиппиус (их сохранилось, не считая мелких записочек, восемьдесят пять), в ее ответах на них, так же как в сберегаемых мной Лининых, есть много такого, что воскрешает в памяти все «колебания» моего духовного пульса, трепавшие меня в эти два с половиной года.

Огромный документальный материал! Казалось бы — садись и пиши, все под рукой. А между тем в памяти у меня, когда я взялась за перо, сразу возникло событие, не вошедшее ни в какой письменный «документ»,— словно пойманный электрон в пространстве атома. Когда оно случилось, я не сочла его важным, не написала о нем сестре, забыла его,— а тут вдруг оно не только воскресло во всех своих оттенках, но и сделалось как бы сигналом к новой главе, символом всего самого важного, что принесла с собой петербургская полоса моей жизни. Может быть, потому, что взгляды на «важное» и «неважное» с годами переменились. Может быть, и потому, что — следуя за Пьером Ожэ — я начала интегрировать свое прошлое с нажитым опытом многих десятков лет и с той полнотой сознания, когда мысль, как самая мелкая сетка, вылавливает в прошлом мелочи, не казавшиеся ей смолоду стоящими записи.

Такими «не стоящими записи» было как будто происшествие, случившееся со мной на вокзале при отъезде. Да и происшествием оно тогда, перед громадным фактом переселения по зову Мережковских из Москвы в Питер, вовсе не показалось.

А было так: «максимка», дешевый почтовый бесплацкартный, отходил из Москвы в Питер около двух ночи, но чтоб получить на него билет, надо было стать в очередь за пять-шесть часов. Я приехала позже, когда перед кассой уже вытянулась длиннющая, несчетная очередь. Ей конца не было видно, конец выходил куда-то за двери вокзала. Пожитки мои, круто засунутые в раздувшийся рюкзак, давили плечи; на душе тяжело, неспокойно; а главное —

не сказав Лине об этом, чтоб не волновалась, я выехала больной. У меня болел живот. Это была знакомая, тупая боль со спазмами и подташниванием, когда ложишься дома в постель с горячей бутылкой... А тут — стой, сгибаясь под рюкзаком, час, два, а то и три, да еще, может, не получишь билета. С какой-то тупой хмуростью — «делая вид», что все как надо,— я влезала в середину очереди, сразу охваченная теплым духом крестьянских онучей, рабочих поддевок, женских нестираных платьев, пронизанных запахом пота, кухонного сала, грудного молока, в усталую, терпеливую, привыкшую уставать и терпеть толпу рабочих людей, наставивших вокруг свои деревянные сундучки, увязанные подушки, цинковые корытца, забитые кульками. Сперва слышно было, как кричат, заливаясь, дети и цыкают на них с безнадежной усталостью матери; как откашливаются и отхаркиваются мужики; потом сквозь махорочный дым начали доноситься слова — «ишь, барыня какая», «туда же, без очереди прет», «двинь ее легонько, откуда пришла», «тетка, чего стоишь, почему без очереди допускаешь?». Мельком я видела «тетку» — то была маленькая, чисто одетая, старая на мой студенческий взгляд и совершенно безносая женщина лет сорока... Но я уже воспринимать не могла — боль замучила меня, и я упрямо клонилась, клонилась наземь, на сброшенный с плеч мешок.

Сколько минут прошло, покуда я, скорчившись и охватив руками живот, пролежала так на рюкзаке, не знаю, но рядом кто-то громко сказал: «Братцы, больная она». Тон был не похожий на прежний, все стало не похоже на прежнее, очередь вдруг колыхнулась, двинулась, кто-то взял меня за плечи, другой кто-то взвалил мой рюкзак поверх кучи своих пожитков, соседка в обнимку потянула меня со всеми к кассе, вот мы уже у кассы, и в сжатом моем кулаке вместо круглой золотой десятки[4], которую сжимала все время, оказалась сдача и билет на посадку, сунутые незнакомой рукой с шершавыми, селедкой пахнувшими пальцами. А потом все мы втиснулись, как сельди, в бочку-вагон, и я получила, рядом с безносой соседкой, сидячее место. Боль томила меня остаток ночи, весь следующий день, всю следующую ночь и утихла лишь к раннему утру второго дня, когда тяжело дышавший «максимка» подвез свои набитые вагоны к петербургскому залитому дождем, слякотному перрону. Езды в этом поезде от Москвы до Питера было в те времена что-то около тридцати часов. И «раннее утро» середины октября было темное, как ночь. Почти весь вагон опустел, проводник прошел его с фонарем в руках — электрическая лампочка над дверями уже не горела. За проводником по вагону прошла волна холодного ветра. Он не сказал, а рукой показал мне, что пора смываться. И я встала, чувствуя, что боль затихла, увидела на столике поставленный для меня с вечера моей безносой соседкой

[4] Золотые монеты в пять и десять рублей были при обмене крупных ассигнаций — или получении жалованья — менее желательны для получения, нежели бумажки на ту же стоимость: они отягчали кошелек, легче терялись и выскальзывали. Как сейчас помню досадливое ощущение при получении гонорара золотыми.

стакан с водой и грудку песочного печенья на газете, с благодарностью взяла печенье, завернув его в эту газету...

В «дамской комнате» вповалку спали женщины, приехавшие раньше меня. Бессмысленно было начинать свой день в Петербурге — а начать его надо с поисков жилья — в этой полной темноте. И я тоже прикорнула к рюкзаку, пропитываясь аммиачным запахом и тяжелым дыханьем спящих. Но спать — отоспавшись все тридцать часов — уже не хотелось. Обрывочно вспоминала вчерашний день. Почему мне, чувствительной к запахам и очень брезгливой в быту, стал вдруг так мил этот прошедший день? Что в нем было особенного? Приходил несколько раз этот бородатый проводник, шагая по ногам и корзинам, качал возле нашей скамьи головой, но несколько голосов с разных мест говорили сразу: «Ничего, уже отошла». Это я, моя хворь отошла,— успокаивали проводника. И тут только вспомнила о холере. Газет мы с Анной не выписывали, но нередка читали «Русское слово», а «Русское слово» всегда сообщало о холере, сколько где заболело и сколько умерло: в Москве, в Петербурге, в Киеве, в Одессе — свезено в больницу столько-то, умерло столько-то. Мелькнула даже где-то чума. Вместо слова «ликвидирована» употреблялись к зиме газетные выраженья «пошла на убыль», «больше случаев не было», «эпидемия затихла»; но через несколько дней новая «вспышка» и снова цифры: «В Одессе опять двое заболело чумою». «Чума в Одессе». «Петербургский листок» — сентябрь, правда уже не 1909, а 1910 год. 7 сентября 1910 года «Петербургский листок» подводит итоги холере: «С начала третьей эпидемии заболело 3925 человек, умерло 1386, выздоровело 1968, на излечении 571». А осенью 1909-го мелькали, кроме холеры, тиф, чума, сибирская язва. Осенью в России холера цвела повсюду, особенно в портовых городах, где грязные пароходные трюмы, набитые овощами и фруктами, разгружались голодными людьми. И читать о ней стало привычно.

Помню, я подумала: «Воображаю, что сталось бы с пассажирами, если б я ехала в плацкартном или, еще того хуже, во втором классе: выбросили бы меня по дороге в холерный барак!» Но в терпеливой рабочей толпе у кассы, в набитом вагоне «максимки» меня — защитили, взяли под свое покровительство, и милыми показались мне дорожные сутки, несмотря на боль в животе, потому что сладко было чувствовать человеческое состраданье. Больше я как будто ничего в то время не думала и не чувствовала. Съела печенье, запила его кипяченой водой из бака. И при очень тусклом, затуманенном человеческим дыханьем свете развернула газету из-под печенья. То было старое «Русское слово» от 1 сентября 1909 года, с оторванной страничкой объявлений, все в масляных пятнах. А на самом видном месте увидела под фельетоном знакомое имя: «Сергей Яблоновский». Фельетон назывался «Из тьмы веков». Вокруг все еще была тьма, хотя большие вокзальные часы показывали без малого восемь. Тьма — хоть и не веков,— а не идти же будить хозяев, спрашивая, сдается ли у них комната. И я опять решила повременить и стала читать фельетон Сергея Яблоновского.

...Не умри Коперник почти одновременно с выходом в свет своего сочинения, ему, наверное, пришлось бы пережить гонения церкви... Почти через сто лет после смерти Коперника страдания, которые должны были бы выпасть на его долю, выпали на долю Галилея, и ему пришлось отрекаться перед Евангелием от ереси о движении Земли... Это все еще было во дни человеческого младенчества...

Но вот в Москве, в двадцатом веке, почти через триста лет после того, как прозвучало на весь мир «А она все-таки движется!», старообрядческий архиепископ Иоанн бросает епископу Михаилу обвинения: «Вы пишете, что земля существует миллионы лет, тогда как верующим известно, что земля сотворена 7417 лет назад». И газеты сообщили, что епископ Михаил, как триста лет назад Галилей, должен был согласиться с тем, что написал ересь. Галилей затем воскликнул свое знаменитое «А все-таки она вертится!», а епископ Михаил поместил на другой день в газетах письмо в редакцию, где сказал, что он не виновен в еретичестве и не может отказаться от мысли, что миры существуют миллионы лет, как не может отказаться от теории Гельмгольца о равномерном распределении материи...

Но тут шум прервал меня. Вокруг женщины вставали, потягивались, собирали свои вещи — началось настоящее утро. Бросив газету, я привела себя в порядок, сиесла в камеру хранения свой рюкзак и двинулась вместе с другими с вокзала. Ночной воздух стал по-настоящему утренним, две полоски протянулись, как далекие бледные ленты, вдоль свинцового горизонта. Свинцовым был сумрак, сквозь который проступил на площади массивный памятник грузного царя на толстом коне. И сам Петербург, мокрый, мрачный, как прорисованный свинцовой тушью, надвинулся своими прямыми, в ряд стоящими зданиями, вдоль прямого, уходящего в туман Невского — сразу, без всяких переулков, открытым центром.

2

Я мгновенно забыла и всю поездку, и газету с фельетоном Яблоновского. В этом свинце и сумраке, в мокрой враждебности утра все мое существо было переполнено солнцем; и в октябре, в самом преддверии зимы, я шагала в своем драповом пальтишке, словно в апреле месяце. Вот задумала — и приехала. Увижу ту, чьи стихи дали моей жизни новое содержанье. Она отвечала мне на каждое письмо, позволила звать ее просто Зиной. Одно это имя наполняло меня чем-то, расширяющим дыханье, углубляющим взгляд на мир. Должно быть, Алеша Карамазов чувствовал нечто подобное к своему «старцу». Это было началом «послушничества», подчинением всего моего духовного существа особой форме обучения, особой форме самоотдачи...

Мережковские жили на углу Литейного и Пантелеймоновской, в доме Мурузи. С Невского я свернула на Литейный, шла очень медленно, чтоб утро добралось до десяти, смотрела в стекла букинистов на выставленные книги — весь Литейный как будто продавал старые книги. Но вот прямая и короткая Пантелеймоновская, пересекающая под прямым углом длинный и широкий Литейный.

Одним концом она упирается в белую, компактную, как воздушный пирог, церковь, а другим — в Соляной городок. Искать комнату нужно было в том конце, где Соляной городок, и я свернула туда, оглядев лишь мельком и оставляя на будущее время большой барский угловой дом Мурузи, черное пятно на белом фоне церкви.

Нет, кажется, другого города на свете, строившегося, как Петербург, и связанного с литературой, как Петербург. Нет, кажется, другого города в мире, живущего, словно личность человеческая, своей собственной жизнью и взаимодействующего с вами, словно живой организм. Известно, что в теле человека имеются бациллы чуть ли не всех существующих болезней; но можно прожить до самой смерти, не заболев ни одной из них. Для того, чтоб какая-нибудь дремлющая в крови или в кишках бацилла вышла из своего спящего, инертного состоянья и овладела вами, нужны подходящие условия; и так называемая профилактика, предупрежденье болезни, действенно оберегает вас от этих вредных условий. Долгий житейский опыт научил меня видеть такой же материальный пример не только в крови и кишках, но и во всей сложной психологической гамме душевно-духовной жизни человека, в его характере. Где-то в нервных сплетеньях, в мозговой корке, в строенье сердца, лица, рук, глаз человека — бог его знает в чем еще,— в даре воображенья или в отсутствии дара воображенья заложены потенции всех возможностей и качеств человека — от благородных до самых низких и преступных. Профилактика для нашего сердца, мозга и нервов, как и для кишок и крови, одна и та же: не только уберечь себя от вредных воздействий, но — главное — закалить свою волю, как спортсмены закаляют тело, чтоб смочь противостоять всяким вредным воздействиям и держать свои импульсы в могучей узде своей воли.

Петербург — один из самых «взаимодействующих» со своим населеньем городов в мире. Ни разу у меня не было мертвого, нейтрального отношенья к нему, никогда не молчали передо мной его неподвижные каналы, не уходили в безмолвие его раздвижные мосты, его темные купола, его золотые иглы. Задуманный гениальной волей одного человека, начертанный совершенством большого, неповторимо прекрасного искусства, построенный на телах тысяч погибших рабочих, Питер возникал сложно. Он был очень ясен архитектурно, геометрически спокоен, трезв, как ни один город в мире; казалось — просматривался во все концы навылет, нигде ничего тайного, ничего спрятанного в углы, закоулки, кривули, темные ямины, места, куда ночью ходить опасно, а старая русская литература вплоть до «Петербурга» Андрея Белого сочетала его ясную, светлую трезвость с мистическими и туманными социальными темами. Мистикой вставали блужданья в нем обокраденного Акакия Акакиевича, ужасом наполнены были метанья Евгения по затопленной наводненьем питерской геометрии улиц, роком вставали из петербургских туманов бледные персонажи Достоевского. Старый Петербург был дважды крещен — именем святого Петра и рабочей кличкой Питер. На третий раз он был назван

именем Ленина. В годы, о которых я буду писать, он стал для меня тернистым путем к правде, и за это «испытание Петербургом», как испытывали в средние века дыбой и каленым железом, я бесконечно благодарна ему.

«Взаимодействие» между мною и Питером началось с поисков жилья. В нашем с Анной положении мы нагляделись на многих хозяев, сдававших студентам комнаты. После мадам Феррари мы жили в рабочих семьях, делили с ними рабочий быт. Но первое мое устройство в царской столице Санкт-Петербурге ввело меня в особое питерское мещанство, отразившее себя в некоторых персонажах Щедрина, Гоголя, Гончарова, Федора Сологуба. Питерское мещанство, совсем не похожее на московское,— с небольшим, как табачный запах, привкусом службизма.

Доходные квартирные дома строились в Петербурге вглубь — во второй, иной раз даже в третий двор. Из первого двора, куда выходили черные (кухонные) лестницы главного дома, фасадом обращенного на улицу, шли крытые проходные ворота во второй двор, куда глядели окна квартирок, имеющих уже только одну лестницу, не черную, но и не «парадную», со сбитыми ступеньками, с кошачьим запахом, с детскими колясками внизу и с мусорными ведрами на площадках. Квартирки были дешевые, и сдающиеся в них комнаты тоже дешевые. Обойдя несколько лестниц, я увидела наконец приколотую к дверям грамотную бумажку «сдается комната» и позвонила.

Мне отворила «горничная». Собственно говоря, не горничная, а крестьянская девушка лет семнадцати, круглолицая, курносенькая, стеснительно — видимо, с непривычки — носившая нечто вроде чепчика на голове, изображавшего «наколку», как в «хороших домах». За этой девушкой вышла в переднюю и сама хозяйка. Видно, она только что встала и не успела умыться. Ее пухловатые щеки свисали вниз, а рот — узкий, с губами червячком — прятался между этими пухлыми обвисающими щечками, как бантик. Глаза были умные и любопытные. Все нужно было объяснять досконально: имею ли работу, где оставила вещи, сколько их, своя ли подушка или хочу получить от хозяев, есть ли свой чайник для утреннего и вечернего кипятка, в котором часу буду спать ложиться, комната десять рублей, но Фене за услуги и мусор выносить набавляется два рубля в месяц.

Я отвечала на все и соглашалась на все и, прежде чем сходить на вокзал за своим рюкзаком, потребовала от Фени первую услугу — снести записочку тут совсем рядом и принести ответ. На меня нашла несносная смешливость, словно в игре. Несмотря на счастье (захотела — и вот приехала! И комната под боком — в двух минутах ходьбы), возобладало какое-то нескладное чувство юмора, чувство невсамделишности. Я написала Зине коротенькое письмо тоном, похожим на шуточное извещение (приехала, под боком — что дальше?), и, не став дожидаться ответа, оставила хозяйке задаток и помчалась на вокзал. Когда принесла наконец рюкзак и купленную по дороге булку, в голой узкой комнате, на голом столе белел

изящный конвертик с надписанным на нем адресом. Зина подолгу жила в Париже и надписывала адреса на конвертах по-заграничному, сперва фамилию, потом улицу и дом, потом город и напоследок страну, в противоположность тому, как писали и пишем мы.

Не сразу открыла я этот конверт, хотя на столе уже исходил паром принесенный хозяйкой чайник и лежала булка. Я сидела на кровати, глядя на Зинин почерк, на его элегантную ровность, несокрушимую твердость и полное отсутствие нервности или хотя бы ничтожного расхождения в начертании букв, в линии строчек. Много раз в жизни приходилось мне переживать ужасное, на внешний взгляд беспричинное, сжимающее сердце чувство боли не то физической, не то душевной, похожей на предчувствие гибели, конца, после которого нельзя жить, нечем жить,— конца огромной, созданной для себя самой собственным чувством и воображеньем радости, занявшей такое всеобъемлющее пространство в душе, что убери, убей эту радость — и останется пустота без воздуха. В такие минуты, подсмотрев меня д о и п о с л е, близкие говорили, что во мгновение ока я, живая, превращаюсь в мертвую, потухает голос, меркнут глаза, меняются черты, движенья становятся механическими, как у деревянной куклы. Что, собственно, произошло? Да ничего! Я даже еще не раскрыла конверта, я только почувствовала, что написанное нанесет мне удар,— и было еще одно сознание, очень смутное. Я распечатала белый конверт.

16-X-09. СПб.
Лит. 24
Тел. 114-06

Милая Мариэтта

Если вы приехали не для «дурачеств» только, а ради целей более достойных и независимых — хотелось бы верить,— то вы, конечно, поймете то, что я сейчас скажу.

Я желала бы, чтоб вы «п о з н а к о м и л и с ь» со мною и с нами, начали бы «знакомиться» с о в е р ш е н н о п р о с т о, совершенно обычно и спокойно.

Об исключительности личного вашего ко мне отношения я в данный момент и знать не хочу; вижу в вас человека и сама хочу быть человеком, а не «предметом».

Вы можете не считаться с моими тут желаниями; но тогда вам нет нужды и видеть меня...

Говорю вам очень просто: если хотите на данных основаниях «знакомиться» — пожалуйста. Приходите сегодня или завтра часа в 4; я редко выхожу днем.

У вас достаточно ума и понимания, чтобы не «рассердиться» на меня. Но вы можете не согласиться на мои «условия». Это дело ваше; мое дело будет об этом пожалеть.

З. Гиппиус.

Все, казалось бы, правильно и все как нужно. И т а к — как будто — было с нею в с е г д а... Я делала множество глупостей, противоречила себе самой чуть ли не на каждом шагу, выдумывала — и переживала выдуманное, как если б оно случилось по-настоящему, тратила душу на пустяки, «рвала навеки», чтоб потом каяться, внезапно что-то «гениально» открывала и так же внезапно

в нем разочаровывалась — и каждый раз это вызывало ответную, очень резкую реакцию у Зины. Я вдруг, ни с того ни с сего, расхваливаю в печати «Вехи», а Зина пишет, что «Вехи» — мерзость и гадость. Я пишу о нашем общем знакомом: «Не худо бы ему посидеть годика полтора»,— а Зина отвечает: «Так можно сказать только о себе, но никогда о другом». Я, обнищавшая до предела, вдруг, из сумасшедшей гордости отказываюсь от искусственно подсовываемого мне гонорара, а Зина обзывает мою гордыню «психопатизмом». И, повторяю, это всегда воспринималось мною как правильное. Но в этой реакции на мои «неправильные» поступки было что-то, вызывавшее ответное чувство боли, чувство моего униженья, утрату доверия и уважения к себе, чувство какой-то своей малости. Я написала выше, что еще до чтения Зининого ответа, при одном взгляде на почерк ее на конверте, кроме надвигающейся боли, я испытала какое-то «очень смутное сознанье». Но в ту минуту, когда сидела на кровати, предчувствуя, и уже страдая, и смутно что-то сознавая, конечно, я не понимала и не сознавала того, что понимаю и сознаю сейчас. Мне кажется — в «смутном сознании» был еще совсем бессознательный элемент *сравнения*.

Оно могло и даже должно было лежать на дне начавшегося нашего «взаимодействия» между мною и Гиппиус. Но еще *до* сравненья, наличие которого открывается мне вот сейчас, спустя шестьдесят четыре года, когда перу моему диктует обостренная творчеством память,— было простое, горькое чувство: ну хорошо — я глупо и неуместно пошутила, показала себя легкомысленной девчонкой, да ведь не было в этом легкомыслия, ведь было пережитое, тяжело давшееся решенье переехать, была разлука с сестрой, всю жизнь жившей рядом, был нелегкий разговор с моим профессором, добившимся решения факультета, отказ от лекций, которые все же кое-что давали, была неизвестность заработка, крохотные деньги на месяц жизни в чужом городе, были сутки в «максимке» с болью и тошнотой,— был, наконец, весь человек, пошутивший не от «легкости», а скорей от перенапряженья нервов, от счастья... Реплика на шутку была поверхностна, в ней не было чувства «всего человека»... И — впервые заметно стало, что в природе Гиппиус отсутствовал юмор. Сейчас я понимаю, что так нельзя воспитывать. Тайна хорошего воспитания, когда видишь перед собой человека моложе себя, состоит в *облегчении* трудности для чужой души получить правильный урок, а не в отягчении, отяжелении его для нее. И тут очень помогает немножечко юмора, как бы уступчивости с вашей стороны, принимающей шутливо чужую напряженную шутку, этим легко разжижающей ее и незаметно дающей заглотнуть вместе с нею серьезный урок. Лина, моложе меня на полтора года, всегда вела себя со мной как старшая — и всегда облегчала мне полученье урока...

Возвращаюсь к «сравнению», мелькнувшему мне в «смутном сознании»... Что это было? «Воображаю, что случилось бы с пассажирами, если б я ехала во втором классе (теперешнем мягком)».

Увндя огромную очередь, я хитростью, притворившись, что так надо, влезла нахрапом в ее середнну. Это был поступок неправильиый, иепорядочный, иарушающий справедливость. И реплики тех, кто стоял в очереди, были «четкне, твердые, абсолютно правильные». Будь Зииа в очередн, она сказала бы совершенно то же, хотя н лексикоиом своего класса. Тут все совпадает у нее с народом. Но вот я с моей жуткой болью н тошнотой стала клониться вниз, вииз, падать иа рюкзак — где? На вокзале. Когда? Во время холеры. Прн каких обстоятельствах? Во время заболеваний нменно среди прнезжих и едущих, во время «снятня холерных» с поездов, то есть в тнпичнейшей обстановке при холериых эпидемнях, когда происходит зараза и у людей вспыхивает страх, переходящий в паиику. Я сама подумала сравнением: воображаю, что было бы, если б... Коиечно, Зина была бы средн тех, кто ездит не во втором даже, а в первом. И ее «разумиая» реплнка послала бы меня в холерный барак. А вот те, кто отругал меия за неправильиый поступок, помогли сесть с иимн в вагои, защнтили перед проводииком, сделали это удивительио просто, естествеино, как полагается между людьми,— по-человечески. Тут нх «реплнка» резко разошлась бы с Зининой. С точки зрения общего практицизма их «реплнка», должно быть, отступила от правил. Но «взаимодействие» между мною и между рабочим людом, составившим толпу, было хорошее: я возбудила в ннх своей беспомощностью н болезнью со-страдаиье; а мие нх добрая защита стала нсточником теплоты, благодарности, доброй веры в людей, в их хорошне качества н к себе — поскольку я смогла пробудить этн качества в ннх...

Со-страдаиье испытывают в основном те, кто знает, что такое страдаиье,— привыклн страдать, живут трудной н тяжелой жизиью, умеют терпеть н такое видят вокруг, что нелегко нм впасть в паиику. Со-страданье испытывают в основном те, кого жизиь ставит рядом друг с другом, в одииаковые условия: раннего-раииего вставання, когда иедоспншь, коли хочется спать, встаешь «со звездой» ие день, ие два, не год, не два, а всю жизнь; когда прочио въедается в рукн, в ладоии, в морщииы рук, между пальцами осадок тяжелого земного труда — металлическая пыльца, земля, древесная пыль, краска,— и миого, миого еще; когда эти однинаковые условия вяжут людей друг с другом тесней, чем кннжиые теории, разделяемые умами, нлн днвиая музыка, любимая одииаково сердцами, ее переживающими... классовая, рабочая точка зрення. Но я опять перескочила на шестьдесят четыре года вперед от той минуты, когда двадцатнлетней девочкой сидела на кроватн, глядя в десятки раз перечитаииые строкн.

Утешеиье прнходнт само собой, когда главным в пнсьме начинает казаться только одно место: «Прнходнте сегодия нлн завтра часа в четыре»... Четыре часа — а надо еще так много сделать! Сходнть по адресу, где обещан урок, телеграфнровать Анне свой собствеииый адрес; начать писать регламентацню, а значнт, чернила купнть, разложнться, иакрыть постель, выиуть н в ящнк убрать тетрадн... Микрокосмы душевиых пережнванні отступнлн

перед огромным макрокосмом: человек, наполнивший душу счастьем, и встреча с ним — сегодня, через немного времени... В четыре часа!

3

Волненье мое росло с каждой секундой, горечь таяла, казалась дикой, и когда пришел срок идти, я двинулась как бы ослепнув. Ничего не видела — не увидела лестницы, не увидела передней, не увидела лица «няни Даши», открывшей мне дверь, и куда она повесила пальто, а только одну комнату — гостиную, потому что в ней, в самом дальнем углу возле камина, сидела как-то очень неподвижно, откинувшись на спинку кресла, Зинаида Николаевна Гиппиус.

Гостиная была по-петербургски темная, с мягкими стульями и пуфами, в мягких тяжелых занавесях, с толстым ковром во всю ее ширину. Гиппиус почти всегда принимала гостей сидя, верней полулежа в своем большом кресле, положив одну ногу на скамеечку, в пушистой, очень элегантной шали, с папиросой в руке. Папиросы лежали в особом ящике тут же на столике и были чем-то надушены. Дымок от них — она очень редко затягивалась и почти незаметно, как-то небрежно выдыхала его,— дымок от них был слабый и голубой, словно дыханье в морозный день. Мать и родные Гиппиус умерли от чахотки, как тогда говорили вместо неуклюжего «туберкулеза», и одним из защитных орудий ее, всегда бывших в действии, была угроза смертельной болезни. В Петербурге она постоянно температурила, близкие смотрели с опаской на ее градусник, на каждый необычный румянец на скулах. Страх за ее жизнь был как бы атмосферой, окружавшей ее физическое бытие в этой гостиной. Часть зимы и весну семья «снималась с места», как перелетные птицы,— на юг Франции, в Канны, в Кальвадос, на приморские курорты Северной Италии.

Я пишу «семья», но то была особая семья, внутри которой царствовало безмолвное, хотя всеми видимое убежденье, что именно такими ячейками будет созидаться грядущее общество — или грядущая церковь. Трое. Не два лица, где так часто одно поедает или высасывает другое; где нет выхода из-под власти одного над другим; где соединяются, чтоб отваливаться друг от друга в растущем равнодушии; где давление так велико, что порождает бегства, постоянную ложь и неблагополучие; а скобки для бегуна не падают, а только стискиваются чувством вины. Не двоица, освященная ложью, а пифагорейская троица, трое, развернутый круг, сиявший давление и ложь. «Семья» Гиппиус состояла из одной женщины в центре и двух мужчин вокруг нее — мужа, Дмитрия Сергеевича Мережковского, и друга, Дмитрия Владимировича Философова. К этой главной троице примыкала другая, второстепенная: две младшие сестры Гиппиус — Тата и Ната, две женщины, и один мужчина среди них — невенчанный муж Таты, Антон Карташов. Невольно заговорив здесь с читателем пифагорейской цифровой философией, не разделявшейся мною ни тогда, ни теперь в ее без-

жизненной абстрактности, хочу еще, для понимания всего дальнейшего, опереться немного на старика Пифагора. Число «три», конечно, снимало, или, верней, разжижало, в совместной жизни тяжелое давление числа «два», но — как я увидела в оба периода моей тогдашней жизни (1909—1910 и 1910—1911) — троим оказывалось недостаточным пребывание в «троице». Оно все же было чересчур личностным, чересчур замкнутым — а где выход в *народ*, в *общественность*, в *мир*? Тот самый мир, о котором крестьяне говорят «в миру и помирать легше», «обсудим» или «порешим всем миром», «со-обча»... Троице вдруг оказался необходимым некто — стоящий за скобками, за личным совершенством их круга,— четвертый: открытое, прозаическое, просто арифметическое, лишенное всякой алгебры, всякой мистики число *четыре*. Некий связной. Тот, кто, стоя близко к кругу, но вне круга, мог бы связать этот круг с народом, как церковь — с мирянами. Я и стала у Мережковских, на три зимы, этим «четвертым». Но путь к нему, начавшийся с первого дня пребыванья моего у Мережковских, был осознан не сразу. И меньше всего предчувствовала я этот свой будущий путь, стоя впервые перед автором, книга которого перевернула страницу в истории моей жизни.

Передо мной лежит сейчас фотография, снятая в Москве, когда З. Гиппиус было двадцать с чем-то лет, в художественном фотоателье Отто Ренара. Тонкая, очень высокая девушка в длиннейшем платье из мягкого белого французского сукна, с широким, того же сукна, сборчатым поясом, обтягивающим худую прямую талию. Волны этого вьющегося платья шлейфом откинуты на полу вокруг ног. Стоячий воротник во всю вышину длинной шеи, как и пояс — во всю вышину талии. Небрежно вдоль платья опущенные руки. Небрежная, чуть оживившая губы и ноздри усмешка. Холодные, русалочьи глаза без тени этой усмешки — одно презрительное понимание. И волнисто взбитая рамка пышных светло-каштановых волос справа и слева от узкого умного лба.

Но такой я ее уже не застала. Меня встретила, сидя в своем кресле, пожилая женщина — ей было всего только за сорок, но очень худые женщины быстро стареют лицом. Щеки — с нездоровым румянцем на сероватой коже, волосы подобраны в какое-то элегантное подобие сетки или чепчика, веки изношены, маленькие руки в больших и тяжелых кольцах, умные, все те же глаза, но с оттенком простоты — признаком ушедшей молодости — и сухости. Ни она, ни я не сказали «здравствуйте», а встретились молчаньем. Постояв с минуту, я села перед ней. Первое, что я тогда почувствовала, было ощущенье *присутствия*. Бывает, сидишь с кучей людей или с кем-нибудь в комнате — и как-то отсутствуешь с ними — или они с тобой — не знаю, как это лучше объяснить читателю. Много раз можно дотронуться до электрической кнопки, включить свет, и свет сразу включается, словно ничего в нем не происходит, кроме того, что он светит; но вот вы втыкаете в штепсель еще вилку — от чайника или от плитки, от согревателя,— и лампочка над вами, так просто и ровно светившая, вдруг как бы

вздрагивает, словно что-то вмешалось в ее горенье — отняло, дернуло, вступило в поток энергии новым своим бытием. Этот миг дрожи от включенья нового «потребителя» энергии каждому из нас так знаком в быту, что невольно удивляешься иногда, почему не перестаешь его замечать, не становится этот миг незаметной привычкой. Может быть, потому, что его «физика» — физиологична?

Вот такой физиологической физикой — словно в один миг включается новый потребитель энергии — я каждый раз ощущала контакт от присутствия Зины в ее излюбленном кресле. За три зимы привыкнув, начав глядеть и видеть критически и даже посягнув критически в печати на ее роман «Чертова кукла» — и даже открыто ссорясь и противореча ее формальной безукоризненной правоте,— я не могла «привыкнуть» к ее присутствию в комнате, только вместо «включения» стала постепенно испытывать что-то вроде «отключения», как бы отталкиванья от нее при встрече. Зина говорила удивительным, сипловатым голосом. В то время я начинала брать в библиотеках для практики английского языка первые детективы и страшно удивлялась, когда героиня в них говорит голосом husky — сиплым, низким, как бы простуженным, и голос этот явно подчеркивается автором как обольстительный. А тут, впервые услыша Зинин голос, невольно подумала: husky! — и сразу почувствовала обаяние этого husky.

С Мережковским и Философовым мы встретились несколько дней спустя. Дмитрий Сергеевич Мережковский — «золотое перо», по определению Философова,— был сухонький, невысокого роста, черноглазый брюнет с бородкой клинышком. Очень нервный, всегда мысленно чем-то занятый, рассеянно-добрый, но постоянно в быту как-то капризно-недовольный, он мало с кем разговаривал, принимал на веру людей, которых ему приводили, сразу начинал самую открытую беседу, накалывался на непониманье, скрытую издевку, критику — и сжимался, как гусеница на листе, когда ее тронут. Он преувеличенно ценил свои книги. Они казались ему пророческими. И в триумвирате за ним закрепилась ведущая эзотерическая роль внутреннего, «скрытого» центра. В день приезда я ничего почти о нем не знала, кроме двух строк из его автобиографической поэмы:

Я не люблю родни; друзья мне чужды, брак —
Тяжелая обуза...

(цитирую по памяти).

Потом эти строки начали расшифровываться.

Насчет «родни» Мережковский был здорово скомпрометирован. Его родной брат, пожилой профессор ботаники, имел семилетнюю приемную дочь, которой слишком натуралистически, чтобы не сказать — наглядно, объяснял на ней самой жизнь цветка — где у него семяпочка, пестик, тычинка и как происходит опыление. Когда это было открыто и дошло до печати (французская пресса смаковала преподавание ботаники малолетним «au naturel»), историю в Петер-

бурге приглушили, но она косвенно задела и писателя Мережковского. Что-то патологическое, но как бы в обратную сторону — аскетическое, монашеское, стало заметно и в самом Дмитрии Сергеевиче, в его какой-то брезгливости к матери-природе. Уже разойдясь с ними, во время одного из последних свиданий наших в Кисловодске я принялась было рассказывать ему о своем увлечении кристаллами, но он резко прервал меня одним словом: «Неинтересно!» Ему неинтересны были физика, биология, он как-то отмахивался от естествознания и охвачен был умственными спекуляциями абстрактных двоиц вроде Аполлона — Диониса, Евы — Лилит, Петра — Алексея, то есть противоположностей мифических, исторических, психологических, на основе которых, раскрывая одну из двоицы при посредстве другой, он строил свои большие кирпичи-книги. Читатель обретал в них, как в шахматах, отвлечение от земной действительности, а ум его вертелся в том бесплодном круге, где, говоря простым языком, клин вышибается клином. Я же в год нашей предпоследней встречи (1912), кончив Курсы и будучи оставлена Виноградовым для подготовки к магистерской диссертации, стала по своей теме работать у интереснейшего ученого Юрия Викторовича Вульфа по кристаллографии. Мы с ним выращивали из квасцов кристаллы — и это было увлекательно, а Мережковский даже не захотел слушать...

Насчет «друзей» что-то не помню. Три зимы с обязательными посещеньями по два-три раза в неделю; переписка при житье в одном и том же городе, а насчет личных друзей Мережковского я ни слова не слышала ни от кого. И это при обычной для него легкости «первых знакомств». Мне, по крайней мере, его друзья не встречались. Если не считать Философова. Но сказать об этом единственном друге, что он был «чужд», значило, в сущности, нанести удар по всему триумвирату, всей идее «новой церкви».

Дмитрий Владимирович Философов был крупный сорокалетний барич, мясистый, выхоленный, с пухловатым, по-женски красивым лицом и белокурыми, коротко подстриженными усами. Волнистые волосы начинали у него редеть, руки были удивительной красоты. Говорил он сочным баритоном, вкусно, словно карамель сосал. Поговорить любил, но в отсутствие других членов триумвирата. Както, вернувшись раньше времени из-за границы по телеграмме заболевшей матери, он пригласил меня пообедать с ним, обещав «рассказать о Зине, как она там», а рассказывал весь вечер о своей матери, крупной общественной деятельнице, о житье с ней — и нотка проскользнула, как раздельная черточка: «У нас было не так, как... Золотое перо не любит людей, терпеть не может, когда у него гостят, срывают с установленного порядка, в этих условиях он просто изнемогает, отказывается писать. И Зина в своем роде нелюдимка, страдает от нарушения обычного порядка. Чтоб все было по-заведенному, чтоб ничто не вторгалось. А я с детства привык не быть у себя хозяином, комната моя — как проходная: Дима, у тебя сегодня заночует на диване такой-то, Дима, прими и устрой, пожалуйста, того-то. Иногда я даже лица не видел, кто заночевал

у меня в комнате...» Рассказывая мне все это, он не жаловался, но хотел как бы оттенить разницу. Типичный русский либерал, по натуре добрый человек, немножко Обломов, Дима перешел к Мережковским, кажется, прямо от Дягилева, которым в юности увлекался. Он хорошо знал и любил живопись. Но Философов, писавший газетные статьи, не был ни журналистом, ни писателем, ему не хватало таланта, и не было в том, что он писал, изюминки.

Антон Карташов, глава второй «троицы», показался мне сразу, при первой же встрече, сухим петербургским чиновником, главное выражение которого (глядевшее из сухих глаз, из худого, бледного, книжно-кабинетного, бритого лица) было чем-то вроде постоянного «вопрошения», ответа на которое он не ждал, да и получать не хотел. Чиновник, притом не гражданского ведомства, а чего-то вроде синода, чего-то при церкви. Не знаю, как могла Тата полюбить такого сухаря и что у них было общего. Скорей обывательское чувство постоянной осторожности, боязни шпиков, нежелания быть «замешанными», острого страха попасть под наблюденье полиции и даже под арест. Сама Тата, художница, окончившая Академию художеств, была толстушка с чуть выпуклыми глазами, любившая покушать. Жили они в темной недорогой квартире, оберегали свой быт и священнодействовали за едой. Горничная (типа хозяйкиной Феии) была и кухаркой. Помню, как вносила она в их мрачную, без окон, столовую, просунутую меж двумя спальнями, большое блюдо с шипящими сосисками. Таких вкусных сосисок я больше нигде не ела; они были прожарены до каштанового цвета, с черной корочкой, густо обложенные жареной кислой капустой, и, когда их накладывали на тарелки, шипя, обдавали вас горячими брызгами. И как ели их за этим столом! Какую уйму свежего белого хлеба — питерского хлеба немецкой выпечки — упихивали в рот вслед за ними! Частенько я тоже уплетала их, наголодавшись за неделю.

Тата, при всей своей видимой академичности и благонамеренности, не была, в сущности, живописцем. Она плохо чувствовала краску, полотна ее были не «писаны маслом», а раскрашены по рисунку бледной палитрой прирожденного рисовальщика. Но и рисунок ее не имел сочной, густой реальности — она тонко рисовала всяких чудищ: гномов, хвостатых рыб, апокалипсических коней, зверушек, не существующих в природе,— и в этом мире изощренных, извращенных, измученных линий вдруг проступала банальность мысли, не уходящей слишком далеко. Тата заставила меня посидеть перед ней и «нарисовала» мой портрет, раскрасив его бледными красками. Дима раскритиковал этот портрет («Один глаз на нас, другой в Арзамас»), но спустя десятки лет он несколько раз воспроизводился в печати.

Я еще ничего не сказала о Нате. Это была тонкая, как тростиночка, худая и бесполая девушка с чертами лица, как на итальянской камее. Почти всегда рот ее был замкнут. Редко-редко я слышала ее односложную, немногословную речь. После революции Ната как бы и вовсе потеряла свой пол. Мне говорили, что она

служила дьячком в одной из прославленных древних церквей старого русского города, где Тата водила экскурсии по архитектурным достопримечательностям как местный музейный работник. Мережковские, убегая после Октябрьской революции в эмиграцию, их с собою не взяли и, по-видимому, позднее не вызвали.

Выше я не совсем точно назвала чувство осторожности у троицы Карташовых и опасение ареста — «обывательским». Уже с первых месяцев мне стало ясно (хотя я смущалась признаться в этом самой себе), что непонятная конспирация, чувство сугубой политической значительности, некая таинственность, которыми окружали свою деятельность Мережковские, были преувеличены, были похожи на что-то театральное и даже смахивающее на самозванство. В свое время (самое юное) я интересовалась масонством и читала о нем. Но у них не было ничего похожего на масонство. Подобно явлению рыцарства, явлению вполне историческому и связанному со структурой своего общества, явление масонства, хоть и не «классовое», не обусловленное общественной структурой, было реально-историческим. Но в том, что творилось Мережковскими и у Мережковских, ничего, ни на грош исторического не было, и опасного для самодержавия тоже не было. Поэтому конспирация, сугубая подпольная атмосфера, опасение ареста — вместо того чтобы придать делу больше торжественности — сперва немного импонировали новичку, а потом здравый смысл начинал подталкивать его, как локтем, к неудержимой иронии, которую приходилось сдерживать, как чиханье или кашель на симфоническом концерте. Серьезное в том, что я пережила за три зимы, все-таки было. Но было оно в самой человеческой личности, создателе «нового религиозного сознания», а не в созданном ею (да и созданном ли?) деле. Чтоб начать понятно рассказывать об этом деле, я должна теперь дать читателю полную и правдивую характеристику главного действующего лица петербургского «дела» — Зинаиды Гиппиус.

Начну с того, что ее донельзя неумно и непохоже описывают в некоторых наших работах, основываясь, вероятно, лишь на мертвом свидетельстве документов. Зинаида Гиппиус была одной из самых умных и талантливых женщин, каких я знала в моей долгой жизни. Но ей не хватало широты понимания исторической действительности, не хватало простой человеческой любви к народу. И узость ее классового самоощущения (немецко-балтийское дворянство) в решительную минуту выбора привела ее к позорному концу. Современность помнит только ее конец — бегство за рубеж, подлые и пошлые выступления против социалистической родины, сварливые старческие писанья, книгу такой никчемной духовной истрепанности (истрепавшуюся и фактически: ее больше не выдают по этой причине из фондов парижской Национальной библиотеки), что тошно становится читать ее. Однако у Гиппиус было начало. Не надо забывать, что такой русский марксист, как Плеханов, высоко оценил один из ее рассказов и дал эту оценку печатно. Два рассказа Гиппиус — один, расхваленный Плехановым, и другой, критикой не замеченный,— служат, по-моему, совершенно точными

ключами ко всей ее личности. Знать их содержание — значит, понять не только Гиппиус, но и страничку истории русского «модернизма», русской интеллигенции в эпоху распада после революции 1905 года. Я уже не помню названия этих рассказов. Но содержание их помню хорошо и поделюсь им с читателем.

В имение своих тетушек приехал мечтательный дворянчик, ничего глубоко не изучивший, ни к какому делу особенно не пригодный, чуть затронутый разными «веяниями», в том числе и толстовством. В большой дворянской усадьбе полы моет деревенская девка Капка, здоровая, красивая, кровь с молоком. Тетушки относятся к ней уважительно, зовут Капитолиной в лицо и только между собой — Капкой. Они приходят в ужас, когда их милый мальчик, их мечтательный философ вдруг объявляет, что хочет на Капке жениться. Он жаждет простой, здоровой, справедливой жизни. Построит избу. Станет землю пахать... Тетки в отчаянии, уговоры не действуют. А романтический юноша, приплетя к своему самому заурядному физическому влечению разные оправдывающие его надстройки, упорствует и наконец убеждает теток, что это хорошо, справедливо, это в духе эпохи. На сцену призывается старший брат Капки, которому и делается официальное предложение: молодой барин просит руки... Брат Капки, матерый мужик в пиджаке по-городскому, но в сапогах, залепленных грязью, слушает виновато и глядит в сторону. Избу построим, землю отрежем, он научится и пахать, и жать, и молотить. К величайшему изумлению и негодованию теток, крестьянин их старинной, родовой деревни, брат Капки, отказывает баричу. Все так же виновато, в сторону глядя, благодарит за честь, но только немыслимое это дело. Почему? Какой резон? За Капку, извините, сватается приказчик из города, он ее в город возьмет, девка в люди выйдет, а там и пойдет, и пойдет. Такой муж — смотри, нынче приказчик, а завтра он сам хозяин, начнет свое дело. А за барича — какой же расчет? Опять же в мужицкую жизнь, в грязь нашу непролазную потянуть хочет... И остается барич без Капки и без выдуманного опрощенья.

Написать такой рассказ в те годы, когда самый воздух был насыщен народнической идеализацией крестьянского труда, было явлением исключительным. Он восхитил Плеханова. Сочными красками, скупым рисунком, правдивой интонацией даны реальные типы в реальнейших и типичнейших положеньях: вот она, капитализация русской деревни! Как ни старайся народники воспевать патриархальную общину — вот она, правда о сегодняшнем крестьянине, лезущем от сохи в хозяева, в лавку, чтоб «и пойти, и пойти»...

Но рядом с таким рассказом, где Гиппиус подошла к важнейшему процессу, происходившему в деревне, и реально, с большим художественным блеском отразила его, написала она и другой рассказ — он ляжет перед читателем для сравненья.

Живет милая, красивая девушка на даче. Тут же, неподалеку, монастырь, и к хозяйке дачи ходит родственник ее, послушник, проходящий искус перед постриженьем в монахи. Послушник, сов-

сем еще юноша, с длинными льняными волосами, с очень бледным от недосыпанья, недоеданья лицом, похожий на Леля из русских сказок, всей душой верит в монашеский «чин», в отца настоятеля, в ночи бденья, поста и молитв, и такой — нездешний — он нравится девушке. Она заговаривает с ним — он отмалчивается, проходит мимо. Но девушка настойчива, ей хочется приручить его. Вот они уже сидят рядом в саду на скамейке каждый вечер. Он так мало и так странно говорит, и слова его не похожи на обычные слова, какими люди разговаривают. Потом они касаются друг друга плечом и сидят в молчании — возникает язык чувств, при котором не надо разговаривать. Ей кажется, он бесконечно глубок, они оба — во сне, они понимают что-то, чего в слове не выразить,— уходят, уходят в это. Первое, робкое, едва осязаемое — объиманье, губы касаются губ бегло, как птица крылом. Это все ново, томительно сладко, девушке хочется, чтоб так продолжалось вечно. А Лель вдруг исчезает. Проходит несколько дней, проходит чуть ли не десять дней. В его отсутствие она воображеньем поддерживает свою нежность, как тление в угле, и сидит все так же, в уголке на их скамейке. Но внезапно ее сладкую дрему прерывает какой-то кургузый парень, весело садящийся на скамью. Она смотрит: остриженные под первый номер льняные волосы, дешевый пиджачок прямо из магазина, отдающий машинным запахом, лицо румяное, оживленное — Лель! Лель, преображенный... но он сам о себе говорит девушке: «Человеком меня сделала! Кончено, с монастырем бой выдержал. Службу уже имею в виду — поженимся, как получу!» И девушка шарахается, бежит, девушку переполняет ужас, отчаяние — все необыкновенное, небывалое исчезло! Несуществующий мир погас, странные слова стали кухонными, приказчичьими; пиджачок, галстук, лицо — куда спастись от стыда, конфуза, жалости, в которой нет даже доброты! Так кончается для бедного послушника роман, казавшийся ему настоящим. Но в рассказе речь не о нем — он только двойное виденье. Речь о девушке, потерявшей то, чего не было.

Тоска по тому, чего не было, но что должно быть на свете, отразившаяся в книге стихов Гиппиус, захватила и притянула меня именно этой формулой, потому что я, как многие тогдашние интеллигенты, искала после революции 1905 года — почему она не удалась, чего не хватило или не-до-хватило ей; и ответ у таких религиозных темпераментов, как мой, был один: бога не хватило ей. Совести. Любви к народу, к «малым сим». Веры, что с такой любовью и совестью, с таким богом добра и правды в себе самих, в человеческом сердце — только и можно победить, только и можно построить новую жизнь. Все это насыщало тогдашнюю атмосферу, вторгалось в содержанье чуть ли не каждой беседы, каждого спора. Но в чем-то где-то пряталась разница между тоской Гиппиус в ее стихах, заставившей меня остро пережить близость с ней, и тоской ее рассказа о девушке и послушнике.

Двойственность Гиппиус в этих двух рассказах заставила меня задуматься: а на чем же в них главный акцент? Талант на-

блюдательности, точности, трезвенности, чудесного «здравого смысла» в первом рассказе хоронит романтику народников, хожденья в народ. Поэзия неясного, несуществующего, небывалого, того, чего нет, но что должно быть, выдвигает новый вид романтики, но какой? Что, собственно, должно быть и как к нему готовиться? Что, собственно, делалось в доме у Мережковских, чтоб приблизиться к этому должному, и как можно его — это самое должное — представить себе реально, во плоти?

Первое, что пережилось мною — очень смутно, почти мимо сознания (даже, кажется, сознательно мимо сознания, потому что иначе пришлось бы делать вывод, кощунственный для моего «послушания» у Гиппиус),— это тревожное недоуменье: а где же народ и церковь, куда меня звали, для которых я перебралась из «восточной» России в «западную»? Кургузый парень в дешевом пиджачишке, в которого превратился сказочный Лель, был, если смотреть «в корень», частью народа; а превращенье его из бездельника-паразита в человека с реальным помыслом о работе, о заработанном куске хлеба тоже, если смотреть «в корень», факт положительный и даже революционный. Но парень и происшествие поданы так, что любить его и приветствовать происшедшее с ним — нельзя, немыслимо, как нельзя и немыслимо примирить, скажем, желание поесть с приступом морской болезни во время качки на пароходе. Как же это так все перевернуто?

Я услышала во время первых бесед с Гиппиус в октябре — ноябре — декабре (кроме краткого моего наезда в Москву к Лине), что при легальном «Религиозно-философском обществе», где, как в Московском литературно-художественном кружке, устраиваются диспуты, лекции и конференции, Зинаида Николаевна организовала еще «христианскую секцию», членов для которой надо было подбирать, прощупывать, зондировать и пропускать по субботам через квартиру в доме Мурузи. Членов этих было очень мало. А когда их «просеивали», то оставалось и еще меньше. Зина звала их в письмах ко мне «мужики»: «Нынче было целых четверо мужиков, а вы не пришли — и пришлось мне одной с ними возиться». Мужики — звучало как-то странно. Среди них — умнейший Александр Александрович Мейер, автор интересной книги о культуре, в ту пору убежденный христианин (я встретила его вторично, уже после Октябрьской революции, случайно оказавшимся в окружении Горького, и уже буддистом); Каблуков — не то профессор, не то лектор; и рабочие, прошедшие через 1905 год; были даже из демонстрантов Девятого января, участники похода к Зимнему, к «царю за правдой», и оставшиеся в живых после расстрела; были два «кающихся» интеллигента, главной целью которых оказалась надежда получить от Мережковских денежную помощь. От этой разношерстной и, кстати сказать, почти не прибавлявшейся числом публики, а скорей убывавшей после «прощупыванья», требовалась, в сущности, одна, чуть ли не самая существенная, для «допуска» черта: быть чем-то схожими со сказочными Лелями, то

есть черта нездешности, того, чего не было,— странной, новой романтики.

А куда должен был быть «допуск»? Об этом не говорилось. Это подразумевалось особой формой молчания. И до самой последней половинки зимы (1911 года) я знала об этом лишь намеками, хотя — если не в полный голос и не с точками над «и», но в переписке с Зиной и в самих фигурах умолчания — все было очень ясно и предельно выражено: допуск в их домашнюю церковь, а церковь — это таинство Причащения. Рассказать о последовательном ходе моих работ в две с половиной петербургских зимы, в тесном кругу выдуманного Гиппиус христианского общества как своего рода «предбанника» перед вступлением в «церковь» и о самой этой «церкви», к допуску в которую я удивительным образом так и не была допущена, не очень легко, и не сразу это можно сделать. Сперва — обо всем, что происходило в Петербурге вне этой дороги к «допуску». И прежде всего — о своей собственной жизни в н е дома Мурузи, обыкновенной жизни курсистки, которой надо учиться и зарабатывать насущный хлеб.

4

День мой в Питере почти походил на прежние. Ранним утром, когда еще светят сквозь туман питерские фонари на заспанном лице города, я шла на урок. Московский дом Волковых, принадлежавших к средней, чисто московской знати, где я оставила Лине свою постоянную ученицу Марусю, письмом отрекомендовал меня петербургскому дому Уваровых, где урок был с девочкой моложе Маруси. Обе семьи очень напоминали средиедворянский мир персонажей Льва Толстого. Деликатные, хорошо воспитанные хозяйки дома, несчастливые в браке; мужья — изменяющие, играющие в карты, всегда в долгу; чинная и невеселая атмосфера больших барских квартир; запаздывающая плата жалованья — учительнице и слугам; неизменные, в очень деликатной форме выраженные подарки учительнице (и — прислуге) на рождество — теплый оренбургский платочек, накинутый в передней на ваши плечи, когда вы уходите с урока, дюжина хороших носовых платков... все это традиционно, в старой манере, словно читаешь старую книгу прошлого века. Волковы обитали в центре Москвы. Но особняк Уваровых был в десятке километров от Соляного городка, чуть ли не на самом конце Фонтанки, и я шла вдоль Фонтанки в морозные питерские утра, затянутые туманом, как сизым дымом, долго, долго, больше полутора часов. А потом, кончив урок, столько же обратно. Шла и думала — больше всего о Зине. Даже не думала, а жила на ходу теплым чувством своего «послушничества», согревающим меня на морозе.

После урока — Публичная библиотека, или Публичка в сокращении. Как и Румянцевская в Москве, Публичка была главным центром моей автодидактики, собиранья материала для очередной «статейной полосы» в «Приазовском крае» и обязательного чтенья

для выпускной работы на Курсах. Сейчас такую работу называют дипломной, а первую научную степень, кандидата, получают позже, при защите диссертации. Но у нас в те времена первым научным званием был магистр, первая диссертация — магистерская, а кончали мы Курсы уже кандидатами, и выпускное сочиненье, еще на Курсах, называлось кандидатским. Поскольку решающим для факультета были все же экзамены, кандидатское сочинение писалось чаще всего «спустя рукава», не очень-то старательно и без «оригинальных» мыслей или архивных открытий.

Мой профессор, Николай Дмитриевич Виноградов, был необыкновенный руководитель — таких я впоследствии уж не встречала. Он как-то незаметно, ненавязчиво, но до глубины прощупывал своих учениц в их духовных склонностях и симпатиях и никогда не задавал нам темы, которая нравилась бы лично ему или приходила на ум случайно. Он «шел нам навстречу»: тебе интересно то-то и то-то, ты верующая, или скептик, или фантазерка — ну вот поработай над религиозной, или скептической, или фантастической областью с таким материалом, какой представляет собой «последнее слово русской или заграничной науки в этой области». И тема, данная им, всегда нас захватывала, и мы кое-что для себя полезное вычитывали из указанного материала, хотя от этой выпускной работы все же отделывались на скорую руку. Лично я обязана Виноградову тем, что он держал меня в курсе всех тогдашних новинок идеалистической философии, не забывая давать им критическую оценку и как бы испытывая при этом мой «здравый смысл», уберегавший меня от крайностей. Тогда входил в моду католический противник Канта Франц Баадер, и выпускное сочиненье, заданное мне, называлось «Критика Баадером гносеологии Канта». Я и сидела над Баадером в Публичке, любуясь остротой и ясностью его немецкого языка, и тоже схитрила. Вместо того чтоб углубиться в особую критику идеализма, исходящую не от материалиста, а — наоборот — от церковника, воинствующего католика, и, может быть, постичь разницу и оттенить ее, я тоже делала свою дипломную «спустя рукава», приберегая собственные творческие мысли для будущего. А практически это выразилось в том, что, с интересом читая, тут же я и переводила читаемое, иной раз снимая с полок пухлые немецкие словари; и через год, аккуратно переписав в толстую тетрадь свой перевод, преподнесла его Виноградову как дипломную работу, сделав лишь общекритические вводную и заключительную фразы.

Потом были часы коротких побывок «дома». Муж моей хозяйки, сутулый высокий мужчина с лысинкой надо лбом и полуседой, мягкой бородкой, служил, если не вру, не то в магазине сукна и шерстяных тканей, не то чем-то вроде кассира или бухгалтера в Гостином дворе, был много старше своей жены и приходил домой поздно. Времени у хозяйки дома было хоть отбавляй, и она то и дело стучала ко мне в комнату — не хотите ли чайку с крыжовенным вареньем? не сыграете ли со мной в шестьдесят шесть? не составите ли компанию в баню? нет ли чего легонького почитать?

Помню, как удивительно растягивалось время в те дни, хотя домашний быт для хозяек был намного труднее, чем нынче. О горячей воде прямо из крана и не мечтали; ванна была уникальной роскошью очень богатых квартир, да и там ее топили дровами, открывали трубы, выгребали печку — по всей квартире свежий дымок от горевших дров извещал: топится ванна. Телефоны — редкость. В домах на «втором дворе» их считали дурью и зазнайством. Стирка... ну, это походило на эпос, правда не такой поэтичный, как у древней гомеровской Навзикаи. Многое в доме — чистка посуды, протиранье окон, штопка белья — происходило у хозяйки в содружестве с приятельницами, снимавшими для этого не только пальто, но и платье и повязывавшими свои кружевные комбинации кухонными полотенцами. При этом происходил громкий разговор, частично доходивший до моего слуха. Хвастались своими мужьями, кто где служит и кто как любит. Как всегда, плохое обязательно заползало в слух, как червяк в ухо, и прочней всего запоминалось. С отвращеньем, но прочно сидит в моей памяти рассказ одной из них о своей подруге: муж этой подруги перед супружеской ночью должен был обязательно устраивать «охоту» — он волк, она зайчик,— и оба, услав прислугу, бегали друг за другом по темной квартирке, натыкаясь на стены, опрокидывая стулья. На вопрос, откуда она знает, слышалось хихиканье: «А я свой ключ у них забывала, отойду на квартал, а потом, будто вспомнив, за ключом возвращаюсь... откроют не сразу, и встрепанные, разгоряченные, будто из бани».

Мне было противно и непонятно, почему именно дурное доходило до слуха, а простое и обыкновенное в разговоре приходилось раз пять переспрашивать. Но особо противно было отношение хозяйки к моему житью в Петербурге. Почти каждый день приносили записочки и всякие порученья из таинственного для нее дома Мурузи к таинственной для нее жилице; и почти каждый день носила горничная Феня ответные конверты... добро бы еще к мужчине какому-нибудь, а то ведь, выспросив как-то пришедшую ко мне, когда я отсутствовала, няню Дашу, она узнала, что мужчины там уже в возрасте и дама в возрасте, а пишут по делу. Какое дело?

Я впервые очутилась в чисто мещанской среде. Тут были свои страсти, достигавшие иногда средней силы ветреных бурь,— югозападный ветер семи баллов, пыль, хотя петербургские мостовые мокры. Тут были свои трагедии, от которых тошнило. Ветреная буря нездорового, плохо спрятанного любопытства: кто? с кем? где? как? Тошнотворная трагедия непрерывного сравнения — с мебелью, платьем, мужним жалованьем, сервизом приятельницы... И чтоб у нее обязательно лучше, обязательно найти, скрыть, перехватить... Все в этом маленьком мирочке было сугубо засекреченным, было построено на смешном шифре: «да» зашифровывалось под «нет», «нет» зашифровывалось под «да», и кончалось чаще всего «обещайте как на Евангелии, что никому не скажете»... А секрет, как плесень на сырой стене, проступал по всему лицу, по хит-

рым, нечистым прищурам глазок, по пухлому бантику рта, по всей нездоровой, нечистоплотной обстановке, на которую так рьяно и тщательно глянец наводила деревенская Феня, гордившаяся своими господами.

Столичный Петербург в те годы, как это ни странно, был очень похож на квартиру в доме «второго двора», стоило лишь развернуть газеты — «Новое время», «Петербургский листок», даже либеральное сытинское «Русское слово», выходившее в Москве, когда оно писало о Петербурге. Скандальнейшие описанья семейных драм, двойных самоубийств (парочками) в ресторанах, пьяного дебоша, удивительных похождений епископа Мельхиседека, похожих на авантюры Казановы, езда высоких духовных лиц на тройках с «девушками» из «таких-то» кварталов (с Подола, если дело происходило в Киеве), а летом их же перевернутые лодки на пикниках со всплывающими бутылками из-под шампанского и консервными банками — и тут же рассказ, как у Мельхиседека в его резиденции попивает чаек, ведя с ним дружескую беседу, сам Победоносцев, почтительно именуемый газетчиком полностью, именем-отчеством. Всплывали в газетах не только «пустые бутылки», но и всевозможные преступленья, следствие по которым велось изо дня в день, как роман с продолженьем. Мерзкое «дело госпожи Тарновской», перед которым игра в волка и зайчика была просто детскими бирюльками, загадочное «убийство в Лештуковом переулке» — и тут же, как неизменный фон, словно театральные декорации для новелл Декамерона, чума и холера, холера и чума — то в Ялте, то в Семиреченской области, то в Архангельске, то в обеих столицах — белокаменной со своим перезвоном сорока сороков и царской, словно мухами, засиженной немцами.

Газеты пестрели немцами, в газетах с каждым днем усиливался националистский душок — и странно было: что же хорошего в этой пьяно-мельхиседековой или чиновничье-жандармской «истинно русской» действительности, чтоб выдвигать ее против засилия немцев, защищать ее от других наций? Но опять и опять каждый день, иногда с одного и того же газетного листа, бросалось в глаза читателю: тверской губернатор — фон Бюнтинг, тульский полицмейстер — фон Вернер, председатель Старицкой земской управы — немец А. Бухмейер. Впрочем, с Бухмейером просочилось в газету и нечто другое: будучи немцем, он был еще, оказывается, членом «Союза русского народа», или, говоря привычным для того времени синонимом, попросту черносотенцем. Став председателем Старицкой земской управы, Бухмейер «предложил земским врачам, фельдшерицам и акушеркам — еврейкам в течение месячного срока оставить службу в Старицком земстве». И тогда — с каким наслажденьем, с какой гордостью за настоящего русского человека прочитывалось дальше место в газете, следовавшее за бухмейеровским «предложеньем»! И тогда — «все земские врачи» подали заявление в управу о своем поголовном выходе в отставку: «При установившихся в Старицком уезде «истинно русских» порядках служить

нет возможности». Эта мотивировка, брошенная в лицо самодержавию, была напечатана полностью [5].

«Убийство в Лештуковом переулке» было и для того времени из ряда выходящим. Оно сыграло и в моей жизни, верней в моих размышленьях, некоторую роль, и я должна рассказать о нем читателю. Однажды в одной из квартир Лештукова переулка (даже названье переулка показалось зловещим читателям) нашли зверски убитым инженера (или экономиста, уж не помню) Гилевича, хозяина квартиры. Он был не просто убит. Голову отрезали, обстругали, как бревно, сунули в каминную трубу, тело скрючили, засовывая вслед за нею, камин затопили... Обезображенный труп опознали сестра и брат. Но, странным образом, поиски убийцы стали замалчиваться, петлять туда-сюда — и вдруг новость: убийцу арестовали в Париже. Это был не бандит, а полноватый, прилично одетый молодой человек. К нему подошли справа и слева два агента, когда он собирался получить в кассе банка несколько десятков тысяч рублей, переведенных из Москвы. Арестованный «не оказал сопротивленья». Он только попросил «дать ему пообедать перед отъездом». В ресторане под охраной сыщика в штатской одежде арестованный заказал телячью котлетку, с аппетитом съел ее, подошел к умывальнику помыть руки, глотнул цианистого калия — и упал мертвый. Труп перевезли в Россию и пригласили «опознать» его тем же лицам, кто опознавал первого мертвеца: сестру и брата Гилевича. Спросили на этот раз не без цинизма: ну как, узнаете? Гилевич не был убит, он убил сам. Застраховав свою жизнь на сто тысяч, он темными петербургскими вечерами слонялся, стараясь быть незамеченным, по перронам и проходам вокзала, поджидая похожего на себя ростом, беспомощного приезжего, который не знал бы, где ему переночевать, чтоб дружески предложить ему для ночевки свою квартиру. Все шло как по маслу: объект нашелся (некто Прилуцкий), голова отрезана, обстругана, труп переодет, Гилевич в Париже, сестра получает страховку. И единственное, что досталось убийце в результате разработанной схемы,— ресторанная телячья котлетка. Парижская пресса, впрочем, назвала эту «схему» банальной.

Но дело на том не кончилось. Газеты продолжали строить догадки о буграх преступности в мозгу человека, о личности Гилевича, о роли его родных. Для публичного обозрения был выставлен привезенный из Парижа труп Гилевича. Петербург устремился посмотреть на него. И.. я тоже пошла в «замороженное» помещенье, куда текли любопытные, чтоб посмотреть на лицо убийцы. Не знаю, почему мне вдруг захотелось это сделать. Помню, у меня было жуткое ощущенье н а д о б н о с т и этого. Каким должен быть человек, задумавший и сделавший нечто нечеловеческое? Я подходила к выставленному на высоком столе и покрытому простыней трупу с холодом в сердце. И первое, что увидела: полнова-

[5] «Русское слово», 1 января 1910 года. Все, что привожу выше и ниже,— в одном номере.

тый белый мужской затылок с жировой складочкой и небольшое, аккуратное ухо с чем-то детским в его очертаньях.

Странным образом вот это аккуратное детское ухо, прочно и зримо застрявшее в моем воображенье, связано с памятью о первой ссоре, или, точней, первом сомнении в Зине. Часы, проводимые в ее гостиной, были драгоценными для меня часами общения, одной из величайших моих потребностей в течение всей жизни. Общение — акт встречи человека с человеком в той области, где нет никакой корысти, никакой преходящей эмоции, никакого намека эгоизма,— в области дележа мыслями и опытом, вопросом и ответом; обмена, где оба получают; духовного соприкосновенья, не ведущего ни к равнодушию, ни к распаду, где дух как бы становится материей, природой, потому что уподобляется энергии, химии, земле, которая «удобряется», всасывает, пережевывает, переваривает, чтоб стать матерью тысячам корней, побегов, злаков, хлеба насущного... Кажется, Ницше первый сказал, что «дружба» — высшее достиженье, высшая тема для романиста, поскольку она интересней, глубже и бессмертней любви. Так вот, я начала привыкать делиться с Зиной каждым своим «впечатленьем бытия» и каждой мыслью, порожденной этим впечатленьем. Мысль не всегда выражалась вопросом. Часто — как мне казалось — мысль была у меня чем-то позитивным, ею можно было поделиться, как куском хлеба,— *разделить* ее. Мысль, рожденная «аккуратным детским ухом», которой не терпелось мне поделиться с Зиной, была такая: человеческие поступки зависят не только от того, что человек исповедует или думает, а и от того, что он в эту *данную*, переживаемую сейчас минуту чувствует для себя самым главным в жизни,— отсюда убийства, пороки, преступленья. Главное для каждой данной минуты — это как бы одержание, человек стал одержимым. Главное — это не весь человек, а только какая-то одна его частица, но эта частица вдруг разрастается в раковую опухоль, делается одержимостью, болезнью, духовным раком, побеждает всего человека — и человек падает, погибает. Мысль не очень ясная, не очень до конца продуманная, но захватившая меня, потому что она вела за собой другую, педагогическую, мысль, но ее я еще полностью не знала. Изложив перед Зиной в каком-то разговоре о Гилевиче это свое «позитивное» размышленье, я получила в ответ обычный «ушат холодной воды» на голову: «Вечное теоретизированье без капли фактов!»

Зина вылила этот ушат на мою голову с тем чувством духовного превосходства, которое всегда было в ней очень сильно и тем заметней, чем благовоспитанней она его прятала под оболочкой постоянной скромности. Замечанье было, как и все ее замечанья, внешне удивительно справедливое, попавшее в точку. Обидное, но как будто справедливое. Придя домой, я разложила ее записочки, полученные за последнее время. И во всех я увидела точно такие же замечанья. Хвалила за то, что я «умно высказала»; ругала за то, что «разводила теорию». Главные мои недостатки, когда они проявлялись,— «детская беспомощность в 22 года», «полное непо-

ниманье действительности» — отругивались сильней всего. «Трезвенность», «как это вас на все хватает», «умница-разумница», «о, если б вы действовали так хорошо, как хорошо пишете» — расхваливались сильней всего. Справедливо! Однако же всякий раз так, словно один недостаток или одно хорошее качество, попадавшие под ее оценку, представляли собой в с ю меня, в с е г о человека во мне, а как я могла одновременно быть только «трезвенной», не понимая действительности, или только «умницей-разумницей» при детской беспомощности? Педагогическая мысль, которая затеплилась во мне при взгляде на жировую складочку затылка и аккуратное детское ухо убийцы, исходила из общего взгляда на целостного человека, носителя в себе множества разных потенций. Допустим, что дурных больше, чем хороших; и даже дурных намного больше, чем хороших; или очень много хороших с единственным дурным — хвастливым сознаньем своей хорошести. Как с этим человеком лучше всего обращаться, если ты любишь его, если ты сестра, друг, жена, муж или учитель, воспитатель, педагог? И тут — педагогическая мысль как озаренне: надо всегда, в любую минуту (а человек в течение не то что жизни, а даже одного-единого дня — это собрание самых р а з н ы х, самых п р о т и в о р е ч и в ы х настроений и чувств, проявляющих заложенные в нем природой качества и склонности),— всегда в любую минуту п о м н и т ь в нем в с е г о человека, в с ю целостную личность, в и д е т ь в нем цельный образ этого всего человека и о т н о с и т ь с я к нему в своих ответах, репликах, наставленьях именно как к этой в с е й личности, а не к обладателю только одного данного качества или настроенья, хорошего или дурного. Анна, моложе меня на полтора года, всегда относилась ко мне именно так. И я мысленно всегда чувствовала ее в чем-то старше меня...

Совсем недавно мне попались умные стихи Расула Рзы — знает ли сам поэт, до чего они умные и верные? Они помогли мне докончить эти размышленья:

Старик моряк говорил о море.
— Море бывает щедрым,— сказал он.
— Бывает оно печальным,— сказал он.
— Бывает жестокосердным,— сказал он.
— Бывает оно отчаянным,— сказал он.
— Море бывает разным,— сказал он.
— Чистым бывает и грязным,— сказал он.
— Таинственным и раскрытым,
Могучим, ворчливым, сердитым...
Море — как человек!
И море еще — как время! — сказал [6].

Педагог или родная любящая душа, всегда помнящая тебя цельным, в сумме твоих противоречивых свойств, сможет вести тебя, как опытный кормчий, управляющий парусами на корабле: когда зюйд-вест — поднять, когда опустить марсовые... А главное — всегда править по курсу Добра в тебе, хотя ты искажен в эту ми-

[6] Р а с у л Р з а. Долгое эхо. М., «Советский писатель», 1970, с. 104—105.

нуту злобой. У Льва Толстого, при всей пассивности его «непротивления злу», есть очень глубокие практические советы, выработанные жизнью. Один из них: говорить себе все время о человеке, которого ненавидишь,— «он хороший», «он добрый»... В этом есть зачаток позднейшей педагогической мудрости Макаренко. Но — не весь зачаток!

Море — как человек, сказал старик моряк, но он добавил к этому: и море еще — как **время**. Это гениальная добавка. Но и время еще не все, если не брать его во всей сложности, с понятием среды — класса, коллектива. Макаренко опирался на коллектив... А годы, какие описываю,— в узком и ограниченном кругу, где жила я и мне подобные,— были насыщены не только понятиями «героя» и «толпы», унаследованными от народников, но и разговорами и статьями о среде и классе. Самые отсталые русские газеты освещали происходивший в Лейпциге съезд социал-демократов, причем слово «ревизионист» бытовало, кстати сказать, и тогда, только в ином, чем сейчас, освещении. Отрицательным типом для тогдашних газет был настоящий социалист — его презрительно именовали «ортодоксом», а несколько даже приемлемые для буржуазии ренегаты типа Каутского именовались одобрительно «ревизионистами»... В наш узкий круг не доходило имя Ленина, мы ничего не знали даже о легальных изданиях русских марксистов. Курсистки читали, правда, и «Аграрный вопрос» Каутского (еще не ренегата) и «Женщину и социализм» Бебеля, но и читая имели очень слабое представление о социализме, да и было это не в 1909—1910 годы, а раньше, в годы первой революции. Среда... ее создавало настроение общества. По крайней мере так подавали этот термин буржуазные газеты. Еще до моего переезда в Питер мы с Линой с удовольствием прочитали передовицу «Русского слова», характерную для политического уровня тогдашней интеллигенции. Вот что писал ее автор, некий «приват-доцент О. Рыбаков»:

«Идейные течения конца прошлого столетия (народничество, марксизм, толстовство и пр.) являлись плохим материалом для культуры разного рода низменных инстинктов в человеке, в том числе и полового. И гнусные насилия не могли тогда принять эпидемического характера. Но вот наступает для русской жизни ряд неблагоприятных... условий, культурная жизнь отодвигается на задний план, и все низменные инстинкты в человеке высоко поднимают свою голову... Наша общественная жизнь в застое. Тогда как на Западе совершается ряд событий мировой важности (изобретение воздушного корабля, открытие Северного полюса), мы сидим сложа руки и восторженно смотрим на иностранцев... Больше интересуются теперь спиритизмом, борьбой и нат-пинкертоновской литературой, чем какими-либо идейными вопросами...» [7]

Очень робко, на втором месте, после народничества, а все же упоминается и марксизм. Упоминается и «ряд неблагоприятных

---

[7] «Русское слово», 9 октября 1909 года.

условий». Но вместо «политической жизни» стоит «культурная жизнь» — вероятно, для цензуры.

Возвращаясь домой от Зины разруганная ею за теоретизированье без фактов, я задумалась о том, ну а какие же факты создаются в среде Мережковских... и есть ли у них среда? И есть ли факты вообще, на которых они строят свои обобщенья? Ведь нельзя же считать фактом «мужиков», в которых они тщетно разыскивают сказочных Лелей?

5

Одна из старых моих «курсячьих» подруг прислала мне письмо, переполненное завистью: «Вы живете в самом сердце петербургского декадентства, окружены блестящими писателями, наверное, и сами в такой среде скоро сделаетесь блестящим писателем... Счастливица!» Была ли у Мережковских писательская среда? Нечто вроде первых слабых проблесков критического анализа просочилось и стало расширяться во мне, сопровождая все еще восторженные думы о Мережковских. Но еще до анализа скопились «наблюдения», и они проникали в сознанье невольно, с налету, почти ежедневно. Как «четвертый» в триединой семье Мережковских, я большую часть времени проводила «вне круга», соприкасалась с читателями Публички, с мещанским окруженьем хозяйки, с дворянским домом Уваровых, с самыми неожиданными людьми, наезжавшими из Москвы в Питер, и прежде всего заметила внешнее положение моих «богов», отраженное в разных сужденьях и мнениях. Репутация Мережковских, взятых втроем, как писателей оказывалась высокой лишь в определенных кругах, где большими именами были Федор Сологуб, Вячеслав Иванов, Ремизов... Зинаиду Гиппиус высоко ценили в те годы символисты Блок и Белый. Но «знаменитостями» вне этих кругов они не были. Общероссийскими знаменитостями в то время, если не считать доживавшего последний год своей жизни Льва Толстого, были Максим Горький и Леонид Андреев. Слава Горького возрастала чуть ли не с каждым днем, за ним бегали по улицам, его хватали за фалды на лестницах, ему нельзя было появиться, чтоб не оказаться тут же, в ту же минуту облепленным людьми. В том узком кругу, далеком от большой дороги развития русской литературы, к которому принадлежали Мережковские, Горький как писатель котировался очень низко, что-то вроде третьего сорта. Он был в глазах этого круга необразован, неотесан, выскочка, parvenu, попавший под прожектора случайно, не по заслугам — за некоторую новизну изображаемого им мира,— и так же скоро, как прославился, будет развенчан. Но при этом — а мне приходилось часто слышать такой пренебрежительный отзыв — я столкнулась у Мережковских со странным явлением: чувством плохо скрытой зависти к тем, кого они считали ниже себя. Зависть — неприкрашенная, плохо скрываемая — к славе, к высоте гонораров, к положению в народе! Своеобразный, даже унизительно-заискивающий оттенок в отношении

к ним, когда оии оказывалнсь поблнзости, у иих иа квартире... Меня в эти часы если впускали, то лишь в переднюю н иа короткое время. Помню, как-то зимой, придя к иим, я застала в передней Зииу, приложившую палец к губам: тише! Я замерла на месте. Зниа держала в руках великолепиую шапку из серебристого, с блеском, мягкого меха, который она погладила почтн благоговейно. «Зиаете, чья это? — И тут же добавнла почти хвастливо: — Леоинда Андреева!» В гостях у них был почему-то Леоиид Андреев. И вдруг тот, кто считался бездарным, иевежественным иедоучкой с вульгарными претензнямн, приннмается, когда зашел к иим, с чувством чуть лн не подобострастия! Никакого подобия этого чувства я никогда ие находила нн в ком из троицы по отношеиию, скажем, к Блоку, которого оии считалн большим поэтом, нли к Андрею Белому, которого любнлн как близкого друга. Откуда же рождался такой тон к тем, на творчество которых оии обычио смотрелн «сверху вннз», — к Леоинду Аидрееву, к Макснму Горькому? Мода? Спрос на их в народе?

Одии раз, правда, был другой оттеиок, но опять с привкусом чего-то противного мие. Вся наша передовая печать была охвачена в то время осужденнем смертных казией. Дела «полнтнческнх» после 1905 года передавались в воеино-полевые суды, смертные приговоры выносились очень часто, оии мучили совесть честных людей в России, — прогремело зиаменнтое толстовское «Не могу молчать»... И, как зиак доверня ко мие, подходит Зинаида Николаевиа к запертой на ключ шкатулке, отмыкает ее, подиимает крышку... Пальцы в тяжелых кольцах подиосят к самым моим глазам почтовую бумагу, осторожно вынутую из коиверта. Четыре страннцы покрыты крупными, связаннымн между собой, как пряжа спнцами, большимн буквами почерка, известного всему чнтающему миру. Письмо Льва Толстого Зннанде Гнппнус по поводу смертной казин[8] в ответ на ее письмо, написаиное о том же. Зиа показала это пнсьмо с большой гордостью. Закониая гордость — пнсьмо Толстого. Но в этой гордости почуднлось мие что-то, отодвнгающее на задиий плаи самую причииу и тему письма — смертные казин. Не то, что об этих казнях иаписаио, и даже ие то, кем напнсано имеиио о и и х, а голый факт получеиия пнсьма от величайшего пнсателя мнра — автограф! Может быть, и я, случись такое со мной, чувствовала бы то же самое н хвасталась так же, забыв или отодвииув в глубину памятн общественный смысл пнсьма. Но Знна была для меия «идеал человека», у Знны ие должно было даже мелькиуть ни прн какнх обстоятельствах что-лнбо мелкое, «человеческое, слишком человеческое»... Так, по крупнцам, накапливались факты, крохотные, но рябннами оспы ложнвшиеся иа любнмое лнцо.

[8] Нигде после революции в письмах Толстого оно мие не попадалось. Быть может, увезеииое после революции Мережковскими за границу, это письмо в минуту безденежья было ими продано и хранится сейчас в одном из западиых архивов или частных собраний?

За все три зимние половины я не столкнулась в доме Мережковских ни с одним крупным писателем и даже новым для меня посетителем. Запомнились, пожалуй, две попытки Зины «вывести меня в литературный свет». Когда Лина в первую же зиму (конец 1909 года) приехала ко мне на рождество, Гиппиус взяла нас обеих на какое-то важное собранье, где были петербургские знаменитости. Одинаково одетые, с черными косами, в башмаках, рассчитанных на зиму и лето (их звали в обувном магазине «ученическими»), мы были, вероятно, «экзотикой» в этом мире духовной знати. Зина крепко держала нас за руки и называла нам, водя за собой по залу, имена и профессии. А потом вдруг заторопилась и стала тащить за собой, говоря кому-то через плечо, чтоб он «отстал и не приставал». Небольшой, похожий на гриб поганку, с губами, вытянутыми вперед червячком, с какими-то влажными, плавающими в темных дряблых веках умильными глазками, человечек догонял нас и просил «познакомить с барышнями, не жадничать, Зинаида Николаевна, обязательно познакомить, как они попали сюда?». Он потряс мне и Лине руки, позвал к себе в гости, пока Зина круто не повернула в сторону от него, сказав как-то насмешливо: «Ну довольно, довольно». Неприятный человечек, запомнившийся мне навсегда в каком-то влажном, слезливо-чувственном, прилипчивом виде, со свиничьими глазками, был Василий Васильевич Розанов, активнейший нововременец (сотрудник черносотенного «Нового времени»), называемый почему-то в наших советских энциклопедиях «философом». Как ни велика наша потребность сохранить все ценное из русского прошлого, чтоб ничто не было сброшено зря в мусорную корзину, нельзя при таком коллекционировании «мыслителей» прошлого забывать учение Ленина о двух культурах.

Нам же в ту пору — и не только Мережковским, причислявшим себя к революционерам, а и простым чистоплотным читателям — Розанов не казался «философом». Он был для нас политически и нравственно испачканным человеком, а писания его, при всей их оригинальности, но при постоянном уходе в чувственную мистику, в нездоровую религиозность, пахнувшую чем-то непристойным, читать было тягостно. Было как-то обидно видеть, как попадавшиеся иногда его умные, подчас глубокие и верные оценки, точный критический вкус, правильные мысли утопали, словно золотые монетки в грязи, в их нездоровой и нравственно неопрятной подаче. Чтоб их достать из грязи, надо было испачкать пальцы.

Вот маленький пример. 3 октября в «Новом времени», еще до отъезда моего в Питер, появилась статья Розанова о Корнее Чуковском. Вызвана была эта статья как будто правильным желаньем оградить таких писателей, как Гаршин и Короленко, от будто бы нападок Чуковского. Случайно я прочитала эту статью и, еще не зная ни Чуковского, ни Розанова, составила себе довольно неприглядное мнение о том и о другом. Вот что писал В. Розанов:

Чуковский все вращается как-то в мелочах, в истинных, но мелких частях писателя и писательской судьбы и дара. Он подходит к человеку, отвертывает

фалду сюртука и кричит всенародно, что у него пуговицы не на месте пришиты, а иногда что и «торчит прорешка», и даже торчит предательский уголок рубашки через нее... В Чуковском есть что-то полицейско-надзирательское... и признаюсь: когда талантливый критик все протоколирует и протоколирует пуговицы, я зажимаю нос и говорю: господи, как дурно пахнет! Это уже от вас, г. критик, а не по причине пуговиц.

Перебравшись в Петербург и увидя на стене Публичной библиотеки анонс о лекции Корнея Чуковского, я купила билет и пошла его слушать. Перед полупустым залом был на эстраде молодой веселый человек с живыми глазами, сперва огорченный малолюдьем, потом забывший о нем,— не лектор, а рассказчик диккенсовского типа. Он действительно начал с мелочей, разбрасывался, сыпал парадоксами, но мелочи не были «пуговицами», ничьи «фалды» не откидывались, щедрый и веселый талант вел слушателя по пути своего собственного мышления, острого и свежего. Словно в пику общим словам и всеобъемлющим выводам, в пику модному тогдашнему гляденью «в глубь и в центр бытия» он останавливал слушателя на каждом шагу на частностях. Это и вправду были частности, но Чуковский — совсем еще молодой и озорной, с изюминкой одесского юмора, того самого, какой вскормил авторов «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка»,— выступлением своим о частностях внушал важнейшую мысль для каждого, кто захотел бы изучить творенья искусства: без частностей нет и целого. И кто хочет понять целое, но не видит в нем частностей, не даст правильного образа или исчерпывающей оценки целого. Изучайте предмет, как он сделан. Из парадоксальности молодого критика, тогда только еще начинавшего, и больше устным, чем письменным словом, позднее возникли и оформились многие литературные течения. Это было явленье — явленье само по себе, а не частный случай. Оно стало яснее с рожденьем теории «приема», конструктивизма, «формализма», всего того, что диалектически восставало против небрежного отношения к как (как сделана вещь) с гиперболически выпираемым что (что именно содержит она). В известном смысле период изучения частностей и схватыванья частностей был началом литературоведческого похода против общих оценок только содержанья — и сам он, этот период, будучи только «частностью» на пути развития советского литературоведения и советской эстетики, имел свой исторический смысл и принес несомненную пользу. Я пишу об этом так длинно, чтоб показать, насколько «задиранье фалд», заглядыванье в «прорешку» из-за плохо пришитых «пуговиц» — этот фаллический прием критики в отношении Чуковского был неверен и характерен только для самого Розанова.

Вторая попытка Зинаиды Николаевны ввести меня в «литературный круг» тоже оказалась неудачной.

Каждую субботу приходил ко мне Лииии толстый конверт с очередной регламентацией. Обычно мы рассказывали друг другу по вечерам, что с нами происходило днем, когда мы не были вместе. В регламентациях она продолжала этот вечерний разговор.

Вся московская жизнь с ее курсами и курсистками, с воздухом дома Феррари, с концертом в Благородном собрании за колоннами, с контрамаркой в Художественный театр, с «происшествием» на уроке у Волковых, с очередной литературной «сенсацией» выпукло приближалась ко мне в ясном, спокойном, сдержанном, подробном Линином рассказе, особенностью которого всегда был припрятанный, словно солнце за облаками, добрый юмор. Этим добрым, припрятанным за толковой обстоятельностью юмором она как бы обезвреживала мои собственные регламентации, наполненные восклицательными знаками, отчаянно-счастливые или отчаянно-несчастные, всегда расплывчатые и никогда не конкретные. Както Зина попросила дать им прочесть эти Линины регламентации. Я дала. Возвращая их через несколько дней, Дима Философов сказал мне очень серьезно: «Это хоть сейчас в архив Публичной библиотеки». А Зинаида Николаевна ответила мне письмом, присланным через няню Дашу:

Воскресенье, 09.

Письма Лины меня совсем о ч а р о в а л и, милая Мариэтта. Но мало этого: они мне открыли... если не «бездны» («бездны» — «открывает Чуковский»), то во всяком случае глаза. Ведь вот оно что такое! Ведь между курсисткой-«фохтинианкой» и курсисткой-«когенианкой» — ни малейшей разницы или самая крошечная по сравнению с курсисткой вообще и всем, что не она. А я этого совсем не понимала. Я идиотски судила вас — по себе и от себя, забывая, что вы хотя и не Лина, но вы же ея сестра, вы жили этой жизнью, вы старше ее едва-едва и к р о м е того — вы начинающий поэт, литератор. (Вас даже, говорят, с а м Иннокентий Анненский будет разбирать в «Аполлоне» рядом со мною.) Когда вы меня уверяли, что не хотите «никого» видеть и «ни с кем» знакомиться — я потому верила вам; что м н е - т о они все до чертиков надоели за долгую среди них жизнь, а в юности я их от самоуверенности презирала немного, даже стариков, с кое-какими снисходительно дружила. Как-никак — я с ними жила в свое время, а вы совсем не прошли через литературную среду, и она вам, может быть, должна еще казаться интересной. Мне стыдно, что я вам нисколько тут не помогла, оставила вас жить где-то с теткой и хозяйкой. Мне надо было сразу вас «лансировать» (или лансируйтесь сама, если не хотите почему-нибудь никакого моего содействия). Меня сейчас интересуют вопросы более узкие (с моей точки зрения более широкие) и узкие кружки нужных людей, но ведь это уж п о с л е всего, а вы, как и Лина, д о, вы не устали и полны сил для общения с самой разнородной «литераторской» толпой. Вам еще нужно и в «стихотворную Академию», и в кружки Аполлона и Вячеслава [9], и на вечера Сологуба, и... мало ли еще куда! Не могу простить себе, что все принимала вас у себя, где я «перестаю принимать литераторов».

Сегодня вечером выберу вас в Вячеславову секцию и вообще буду о вас говорить с Вячеславом. Завтра днем (часа в четыре, в понедельник) зайдите ко мне, поговорим.

З. Г.

Это письмо я прочитала, вернувшись из библиотеки, и тотчас впала в отчаянье. Мне были ненавистны все Вячеславы мира, все какие-то куда-то «лансации», ненавистен тон письма, отдаляющий меня от Зины в какую-то курсячью обыденщину, я приехала (тут отчаянье мое поднялось до Гималаев) искать истину, таскать щеп-

[9] В я ч е с л а в И в а н о в. У него были тогда знаменитые на весь Петербург вечера, куда можно было попасть лишь по особой рекомендации.

ки для «костра», обещанного Мережковскими,— и вдруг все оборачивается на банальность, на «барышню-поэтессу»,— я содрогнулась от того, что получилось, я мысленно обрушилась на лучшее, что было во мне, на Лину... и села писать ответ. В то же воскресенье вечером мой яростный, протестующий ответ был отнесен Феней в дом Мурузи, а в понедельник был получен ответ на ответ:

Понед.

До чего вы, Мариэтта, полны трагизма! Нельзя же так, Господи помилуй! Почему это так оскорбительно даже не сравнивать, а приблизить вас к Лине? И наконец, как вы себе там хотите, а я серьезно стою на утверждении, что все дело — в м е р е. Я не живу в коробке и не думаю, что надо жить в коробке. Я уклоняюсь от «Академии» и от «вечеров Сологуба», запираю двери, но от общения с людьми я не уклоняюсь — в меру сил... и в меру мыслей моих. Литературу я тоже совсем не желаю проклинать, и довольно глупо с вашей стороны от нея отрекаться, потому что вы даровиты; хорошо ли с такой злобой зарывать в землю данный Господом «талант»?

Без всякой даже «лансации» (нельзя пошутить с этой девицей!), если вы хотели бы «щепки таскать», то ведь для этого тоже надо иметь сношения с людьми, с которыми общаемся мы! Или вы из Публичной библиотеки на Пантелеймоновскую, и обратно, хотите их таскать? Нет, нет, прежде всего — будьте проще и тише, не бушуйте так из-за всего. Выходит, что я верю в вас гораздо больше, чем вы в меня и в нас. Вы тотчас же готовы «сложить вещи» и т. д., а я — нисколько и спокойно пишу вам все, что мне придет в голову.

«Если я сказал не так — скажи, что не так»... а вы тотчас же решаете, что все погибло.

Жду вас завтра в 5 часов, и будьте вы, милая, ко всему миру добрее.

Зин. Г.

6

В этой нашей чуть ли не первой короткой стычке уже тогда обнаружились тяжелые свойства моего характера, делавшие всю жизнь для самых близких мне людей трудным общение со мной. Сейчас я разбираюсь в этих свойствах лучше, хотя так же, как и в ранней молодости, не могу преодолеть их, встать, когда нужно, над ними — «уломать себя», по гениальному русскому выраженью, не «сломать», а именно уломать. Чтоб легче объяснить их читателю (и самой себе), разделю эти свойства на две части — внешнюю, фактическую, и скрытую, внутреннюю. Внешне (и это сохранилось до сих пор!) я никогда не чувствовала себя профессиональным писателем и никогда ни один писатель не интересовал меня с житейской стороны. Большим планом, страстно заинтересовывая, вставали передо мной к н и г и, в разное время разными людьми созданные, и за ними я могла гоняться по библиотекам снова и снова перечитывать. Но те, кто писал их, живые или мертвые, становились нужны мне только в тех редких случаях, когда я бралась писать о них монографии или родным и нужным вдруг казалось мне д е л о и х ж и з н и. Но тут я страстно полюбляла их — полюбляла целостно, как людей, для которых профессия была просто одним из средств выявления их общечеловечности. И полюбляя — уже никого, кроме этого одного человека, не чувствовала

для себя нужным. Отсюда — полное равнодушие к «знаменитостям», полное отсутствие интереса к «профессиональной среде», к «моде» — к моде во всем: к пьесе, о которой «все говорят», к песне, которую «все поют», к выставке, на которую «все стремятся», к имени, которое у всех в разговоре... Проходя через долгие годы жизни, эпохальные годы, славные большими творцами во многих областях, героями, крупными индивидуальностями, я шла мимо и мимо них, никак не заинтересовываясь, избегая встреч с ними, ненужной затраты на них драгоценного времени и энергии. Так — миновала гигантскую фигуру Маяковского, ни разу не попытавшись встретиться с ним, не видела (или забыла, если где-нибудь видела) Есенина, в ужас пришла от одной мысли о знаменитых «симпозиумах» (тогда это слово звучало по Платону, а не так вульгаризированно, как ныне) у Вячеслава Иванова. Быть может, какую-то роль сыграла в этом моя растущая глухота, дикая застенчивость, замаскированная гордостью. Я не считала и не считаю это качеством положительным. Но было в нем и нечто очень важное: чувство экономии на в р е м я.

Счет времени всегда был у меня особенный, антиамериканский. Кажется, это американцы придумали формулу: время — деньги. Но деньги сами по себе н е р е а л ь н ы. В них нет ничего, кроме условности. И для меня, прошедшей через «зажиточность» детства, нищету моей молодости, безденежье зрелой поры, хорошие гонорары на склоне жизни, деньги никогда ничего не значили, кроме клочка или кусочка металла или бумаги, умещавшихся на ладони. Я их легко теряла, отдавала, транжирила. Деньгам вели счет цифры. И в формуле «время — деньги» времени, как и деньгам, счет велся цифрами: час, два часа, день, неделя, месяц, год... А я вела счет времени совсем по-другому. Счет времени был у меня по Гегелю, хотя я осознала это лет двадцати, как раз в тот год, когда познакомилась с Зиной и сидела часами в Публичной библиотеке, читая Гегеля в оригинале. Чтоб сделать это яснее для читателя, приведу только одно место из его «Энциклопедии»:

«In der Zeit, sagt man, e n t s t e h t und v e r g e h t Alles; wenn von A l l e m, nämlich der Erfüllung der Zeit, ebenso von der Erfüllung des Raumes abstrahiert wird, so bleibt die leere Zeit wie der leere Raum übrig,— d. i. es sind dann diese Abstraktionen der Äußerlichkeit gesetzt und vorgestellt, als ob sie für sih wären. Aber nicht in der Zeit entsteht und vergeht Alles, sondern die Zeit selbst ist dieß W e r d e n, Entstehen und Vergehen, das s e i e n d e Abstrahieren, der Alles gebärende und seine Geburten zerstörende Chronos» [10] («Во времени, говорят, все в о з н и к а е т и п р о х о д и т; когда абстрагируют ото всего, а именно — от того, что заполняет время, так же, как и от того, что заполняет пространство, то остается (как излишек

[10] Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Zum Gebrauch seiner Vorlesungen von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Vierte unverändert Auflage mit einem Vorwort von Karl Rosenkranz. Berlin, 1845. Verlag «Duncker und Humblo». Erste Abteilung. Zeit. Seite 213. Четвертое, неизмененное издание «Энциклопедии» Гегеля. Берлин. 1845. Первое отделение. Время. С. 213.

после них) пустое время и пустое пространство, противостоящие внешнему миру, как если б они существовали сами по себе (для себя). Но — не во времени все возникает и проходит, а (наоборот) время само есть это становление, возникновение и прохождение, сущее абстрагированье (абстрагированье самого себя как сущего), все порождающий и свои порожденья разрушающий Хронос»).

Мне всегда казалось это (с ранней молодости!) одним из самых глубоких мест у Гегеля. Время — это мы сами. Я чувствовала время как собственную жизнь, как дыханье, поднимающееся и опускающееся. Слепое человечество сделало из Хроноса, греческого бога времени, лишь хронометр, отстукиванье, счет секунд, часы. Но мы, каждый из нас, маленькие Хроносы, живем сделанным, созданным, почувствованным, переживаемым, а не часами и годами. Мы можем удерживать, удлинять и укорачивать свое время, можем его терять, но потерянное время — это наше самоубийство. От такого чувства времени выработалось во мне и разлитое во всем существе счастье и удовлетворенье, когда время не «проходит», а переходит (в нечто полезное или ценное), то есть тратится не зря,— и несчастье всего существа моего, когда оно оказывается зря потраченным, прошедшим, потерянным. Еще не совсем понимая в молодости, почему, но время, отданное на профессиональное общенье с коллегами, на «гостей» и пребыванье «в гостях», на так называемые вечеринки, банкеты, официальные долгие сидения за столом с чужими людьми, на хожденья (при туризме) с гидами, всегда мучительно воспринималось мной как потраченное зря. Сейчас, интегрируя весь опыт прожитой жизни, я понимаю это лучше и попробую объяснить. Перечисленное «времяпрепровожденье» мешало мне по-настоящему воспринимать мир, мешало познавать, мешало жить. Оно протекало в области условностей, необязательных разговоров, формальных приемов поведения, случайных, внешних, навязанных снаружи, без моего глубокого участия,— ненужных действий и слов. Вдобавок — из-за очень редкой их повторяемости в нашем с Анной бытии, редкой до единичных случаев в год (и даже в годы) — мы с ней не натренировались в них до автоматизма, не создали из них привычки, не сделали их для себя легкими, и поэтому переносились они нами (мною) напряженно и трудно. Меня, глухую, такое «времяпрепровожденье» оглушало, как ощущаемая всем телом трескотня. Оно мешало по-настоящему видеть, по-настоящему слышать, по-настоящему получать и отвечать. И отсюда отчаянное, почти телесное, отбрыкиванье, отталкиванье, как если б мне предлагали глотать пыль или есть кирпич.

Но значит ли это, что во мне самой не было никаких зачатков раннего «профессионализма», не было той, сознательной или бессознательной, «учебы», какая характерна именно для складывающегося писателя? Тут я подхожу к «скрытой, внутренней части» ответа на вопрос о профессионализме, обещанной читателю в самом начале этой подглавки. Да, при всех особенностях моего слож-

ного развития, «писательство» всегда сознавалось мной как наилучшая форма самоотдачи в жизни. Я всегда хотела писать (отдавать свои мысли, свой опыт), всегда знала, что буду писать; каракулила углем на обоях с четырех лет, инстинктивно училась самовыражению где и как могла с ранней молодости — но только выучка представлялась мне совсем по-другому, нежели стремленье к среде профессионалов. И прежде всего писанье как профессия казалось мне чем-то вторичным для человека, а не первичным. В те годы ходило в печати знаменитое указанье Достоевского начинающему писателю, приведенное, кстати сказать, в одной из статей Мережковского или Философова. Отец привез сына, желавшего стать писателем, на «консультацию» к знаменитому романисту. Достоевский недовольно ответил: «Страдать, страдать надо!» Папаша совсем не хотел, чтоб сын страдал, и он увез его обратно. Я считала такой ответ узким и недостаточным. Писанье — акт самоотдачи — рождается от перенакопления. Не только страдать, но жить, жить, отжимая переживаемое до последней капли, честно, полностью, и опуская его в кладовую беспамятства, чтоб оно там переварилось, перечувствовалось, переосозналось внутренним сознаньем как накопленное, нажитое. Жить, как бы все время осмысляя себя самого. Собирая крупицы точности, доводимые до формулы, и тотчас забывая, сдавая их в камеру хранения памяти. В акте самовыраженья, в писанье все это притеснится к перу, станет само выползать вместе с чернилами. И надо быть к себе жестоко-безжалостной в этом «самовыраженье» — лишь бы оно шло от любви к людям, от желанья добра и пользы людям. Мне кажется, в настоящем творческом акте все это всегда присутствует у всех.

Вот один из примеров более позднего времени, когда я увидела себя со стороны как очень неприятную, почти отвратительную особу в неприятном, отвратительном эпизоде, а в то же время эпизоде, пережитом как бы с раздвоенным сознанием и с этим раздвоенным сознанием сброшенном в камеру хранения памяти. Оно выплыло оттуда на бумагу чернилами спустя много лет и внешне совсем не похоже, но я сразу узнала, откуда оно выплыло. Творческий акт перерабатывает реально пережитое часто очень непохоже, но всегда — очень т о ч н о. Вот как это случилось.

В середине тридцатых годов жарким июльским летом я жила на верхотуре в своем «четырехкомнатном» номере-чердаке городской гостиницы города Ульяновска, где уже две зимы работала над «Семьей Ульяновых». Тогда это был еще старый город, сохранивший почти весь облик исторического Симбирска. Не было в нем ни новых современных зданий, ни Мемориала. Его дом-музей был местом самоотверженной работы сотрудницы Анны Григорьевны Медведевой, и еще живы были и наезжали к ней Анна и Мария Ильиничны, еще приносили обильные свои воспоминанья бывшие народные учителя-ульяновцы, бывшие гимназисты и гимназистки, кончавшие школу с Ольгой и Владимиром. Волга, в ту пору еще не «выправленная» в своем русле, описывала вокруг го-

рода тот пленительный изгиб, которым любовались с Венца дети Ульяновых, а я ходила «переживать» их любованье.

На Волге был островок, где тогдашний симбирский «батюшка» (во дни Ульяновых) производил свои незаконные сенокосы, а симбирцы с женами и детьми ездили на лодках по воскресеньям устраивать пикники с кострами на его бережку. В мое время (середина тридцатых) я тоже собралась туда съездить. Июль был невыносимо жаркий. Приехавший ко мне на побывку муж, перезнакомившись с соседями по гостинице, тотчас «соорудил» будущий шашлык, раздобыл шампуры и поехал с соседями вперед, чтоб все было готово к обеду. А я, не желавшая ни для чего на свете нарушать свой рабочий режим, посидела до часу за письменным столом, написала две хороших странички «Семьи Ульяновых» и быстро побежала вниз на пристань, чтоб присоединиться к пикнику на островке.

Вместо прежних лодок ходил до острова и обратно старый, порядком изношенный катерок. Он управлялся разухабистым, не всегда трезвым верзилой, курившим едкую махорку, держа газетный окурок не пальцами, а как бы ладонью. Затягивался из ладони, сплевывал чуть ли не под ноги вам, смотрел нахально и сразу стал мне до крайности антипатичен. Кроме него, в катере на скамье сидела женщина с грудным ребенком. Ребенок заливался сухим безголосым свистом, видимо уже «зайдясь» от плача, а женщина механически подбрасывала его кверху, то ли чтоб унять, то ли чтоб окончательно перехватить ему голос. От нее пахло грудным молоком и засохшей уриной, и она тоже стала мне сразу же антипатична. После работы, затратив большую дозу энергии, я обычно «выдыхаюсь» как человек, становлюсь раздражительна, сварлива, пустопорожня, никуда не годна, а тут еще окружение, действующее на нервы. Мы тронулись, катерок шел неровно, мотор барахлил, до островка далеко, вокруг Волга — вздутая, полнокровная, вода и вода,— и я струсила, потому что по природе я жалкий трус на воде и на тропинках над пропастями. И вдруг — мотор перестал работать.

Мы стояли и раскачивались посредине вздутой воды. Все мое раздраженье прорвалось, как лава из вулкана. Я заорала на парня — такой-сякой, да как смел он выехать, взять публику на неисправный катер, завтра же секретарь обкома к черту его выгонит со службы, если останемся живы. Наверное, господи, утонем, что он, такой-сякой, сделал с людьми!.. Вот уже кренится катер набок, а у него тут даже спасательных поясов нет... Я орала бог знает что отчасти от злобы, отчасти от страха, орала, сама не слыша своих слов. Должно быть, со стороны в эту минуту ни один близкий, ни один читатель не узнал бы меня. На парня, изливая свою лаву, я таращила глаза пронизывающе, с ненавистью, словно хотела просверлить насквозь,— и вдруг впервые у в и д е л а этого парня, увидела своими глазами таким, каков он есть. Потому что в трудные, опасные минуты люди показывают себя такими, какие они есть. Парень стоял спокойно, без самокрутки

во рту, и мигал мне, мигал очень выразительно в сторону женщины с ребенком. Выражение его лица и подмигивающего глаза явно, явственно, как написанное пером, говорило: опомнись! помолчи! женщину с ребенком перепугаешь! чего орешь?

Это был другой, совсем не прежний парень — взрослый трезвый человек с чертами рабочего, с толковым выраженьем, человек из народа. И женщина с ребенком была совсем другая женщина, хотя сидела как раньше. Все выражало в ней терпение. Молча, без видимого страха, без всякого движенья она сидела и все так же, не изменив позы, не прибавив лишнего жеста, держала ребенка — простая, трезвая женщина из народа, ведшая себя именно так, чтоб не затруднить положенье других, и катерка на воде, и работу парня, который что-то уже делал руками под крышкой мотора.

В голове у меня, как стая птиц, одна за другой проносились критические мысли, хотя я продолжала орать еще пуще, уже назло самой себе, о случаях, когда неисправные катерки разламываются пополам и все люди тонут. Критические мысли сперва были холодно-наблюдательные, потом заинтересованно фиксирующие, потом — как солнце из облаков — освещенные внутренним удовольствием... Выехал, не проверив машину — вчера на ночь, может, лишнего хлебнул,— спустя рукава, а в трудную минуту вот он, трезвый, толковый, понимает, что надо справить, и обязательно это справит, можно вполне положиться... и женщина из народа, всю жизнь терпелива, в нищете, в трудности, в опасности терпит, но разумно, резонно терпит, помогает своим терпением не потерять голову. Это и есть народ... И мимолетом, мимо стаи этих птиц-мыслей, большая, тяжелая, черная ворона, махая крыльями: а это я — трусиха, интеллигентка, ведьма без доброты. И тут же, как бы вне этих мыслей, я уже стала дорисовывать, доводить эту картину, рассказывать о ней, показывать в красках внутреннему слушателю-зрителю сгущенные, преувеличенные образы трех персонажей на катерке, испытывая при этом огромное удовольствие и называя себя (да простит меня читатель!) «вот стервоза!» почти с восхищеньем. Как чужую — со стороны.

Это случай с писателем, переданный абсолютно правдиво и точно. Сходя на бережок из благополучно приехавшего катера, я этот случай тотчас выбросила из головы — в кладовку памяти. Но я о нем вспомнила и вторично пережила в пятидесятых годах, когда писала изо дня в день, сгорая от внутреннего жара, именуемого «вдохновением», одну из лучших своих книг, меньше всего оцененную критикой: роман «Первая Всероссийская». Там на политехническую выставку приезжает группа народных учителей типа знаменитых «ульяновцев», воспитанных отцом Ленина. Кое-кого из таких ульяновцев я знала лично, застав еще в живых, кое о ком остались документы. Но свою «группу на выставке» от первого до последнего я породила творчески, с огромным жаром, когда перо бежит, опережая мысль, бежит само, вытягивая нить великой реальности, новой реальности — п р а в д ы и с к у с с т в а,—

без малейшей опоры на документ, на материал, на былые впечатления об учителях из народа. Страницы, посвященные этим учителям, созданным моим творческим воображеньем, мне кажутся в книге наиболее удачными, и я сама частенько перечитываю их, хотя успеха они мне совсем не принесли (Борис Полевой отверг их в журнале «Юность»; отличный молодой критик Феликс Кузнецов не вспомнил о них, разбирая роман),— как живые, прицельно-точные проходят они в книге, поучая меня саму правде художественного образа.

Так вот, среди них есть отрицательный персонаж, учитель Семиградов. Он очень мне удался, психологически тонко. Откуда я его взяла? Из себя самой, из кладовки памяти, из своих отрицательных возможностей... не лично моих — общечеловечески моих, наблюденных моим познающим — «гносеологическим» — субъектом (критически присутствующим в каждом творце) в характере человеческом, когда он «распоясывается», в драгоценные минуты человеческого самопознанья. Ничего «похожего» как будто нет, но точно до точки. «Точно» — в том, когда человек действует себе назло, по какой-то инерции характера. «Точно» — когда эпизод возникает между людьми мгновенно, как бы химически, окрашивая действия их контрастно, потому что для целого требуются контрасты... Нет, это нельзя объяснить. Но только вот эти жемчужинки конкретных точек и черт, отлагавшиеся в моей памяти с юных лет в минуты, когда я сама была действующим лицом эпизода, и «гносеологический субъект», возникавший над всем личным, вдруг давал о себе знать,— только вот это все, переживаемое, пронзающее душу, показывало мне, что я — писатель и это мне как писателю нужно. Не «симпозиумы» Вячеслава Иванова, не вечера у Федора Сологуба, не знакомства со знаменитостями, опустошенными вне своих книг, нужны были мне, а сама жизнь, творчески переживаемая, умственно формулируемая, образно отлагающаяся в памяти, и прежде всего я сама, сама, «сама пойду», как говорят дети, или как «дубинушка» в песне, которая — после больших напряженных усилий — «сама пойдет»...

Начало десятых годов было временем уже несколько поблекшего декадентства. Новые журналы, рожденные этим декадентством, отживали свой век. Но принесли они, особенно молодежи, свою большую пользу, правда, пользу наряду с минусом. Декаданс в точном переводе — это спад, движение не столько назад, сколько книзу. Но такое названье, когда применяют его к новому в искусстве, по-моему, неверно. Я говорю сейчас не о политико-социальном состоянии общества, в реакционные свои периоды выдвигающего «иррациональное», «заумное» искусство... Я говорю о профессиональных особенностях всякого модернизма. Во-первых — обратите на это вниманье, историки! — начинается «модернизм» всегда смолоду, молодым, новым поколеньем человечества и подхватывается — в огромном большинстве случаев — тоже молодежью. В этом — возрастном — смысле «новое искусство» всегда сродни другим проявленьям молодости: бунтам, восстаньям (про-

тив родителей, наставников, школы), бегствам из дому, студенческим «беспорядкам», всякого рода «оппозициям» и т. д. Во-вторых, оно не только противоразумно, а и — в талантливейших своих проявлениях — противорассудочно. Разум — это всегда свежесть и зрелость. Рассудок — всегда сухость и старчество. Разум синтетичен, он заключает в себе, как сплавленные элементы, и подсознательное, и природный инстинкт, и то, что мы называем интуицией. Рассудок бездарно-аналитичен, присущ поверхностному образу жизни, практичному эгоизму, лишен всяких корней цельного человеческого существа — интуиции, инстинкта, сердца. Когда большие идеи, управлявшие своим временем, обрастают, как корабли под водой, ракушками формализма, безжизненности, мертвой обязательности, они начинают казаться только рассудочными, только формальными; и молодые, начинающие свой собственный век человеческие поколенья неизбежно сцепляются с ними в боевой схватке, дерут с них ракушки, топчут эти ракушки, воображая, что истаптывают, в пыль превращают сами эти большие идеи ушедшего времени. Но идеи не умирают. А стаптыванье ракушек, которыми они обросли, восстанье против рассудочности — всегда полезно. Не только полезно — необходимо. Оно необходимо и для самого разума и для растущего человечества.

Полезный момент в новаторстве заключается в этом «истаптыванье ракушек», в борьбе против рассудочности, хотя, становясь модой, оно само в своих созданьях с теченьем времени делается рассудочным. Я не касаюсь тут эволюции модернизма, я беру его в разрезе мгновенья. И для нас, для творческой молодежи моего времени, он был полезен именно потому, что заострил наше внимание на проблеме формы. А это одна из важнейших проблем всякой продуктивности человечества, потому что входит она составной частью в главную задачу этой продуктивности — в коэффициент ее полезного действия, в кпд. В искусстве это проблема воздействия, выразительности, доходчивости; в промышленности это проблема качества; в самом обществе это проблема воспитанности, образованности, справедливости, привлекательности, обоюдоприемлемости общества и человека. Так понимаемая «форма» — а ее нужно понимать именно так, от «морфо», из первичного греческого коренного смысла этого слова,— есть, разумеется, не только внешний облик в контуре и красках, но и структура целого. В этом отношении на заре моего поколенья мы были очень неприхотливы, даже аскетичны, особенно в поэзии. Нас воспитал период сугубой гражданственности в литературе. Форму мы понимали только внешне. Мы привыкли к тому, что важно лишь содержанье — гражданское, передовое, революционное содержанье,— а форма — бог с ней, что нам форма, если есть настоящее содержанье! Но в те же годы началось сатирическое высмеивание неприхотливости, безвкусицы, упрощенчества этой формы. Перелистайте газеты и журналы первого десятилетия двадцатого века. Сколько насмешливых стрел выпущено в пародиях на тогдашнюю гражданскую поэзию! «Он» и «она» (неизменная для рифмы

«луна») шепчутся, обнявшись, о знаменитых крестьянских отрезках... «Она» и «он» (неизменный для рифмы «волшебный сон»), целуясь, спорят о прибавочной стоимости... Это даже до наших времен дошло! Это вызвало даже резкий протест Надежды Константиновны Крупской, когда ей пришлось в десятках рукописей читать, что в Шушенском она и Владимир Ильич только и делали что «Веббов переводили». Сдержанная, глубоко целомудренная во всем личном, Надежда Константиновна, как известно, воскликнула: молоды были, молодая страсть была, а они все «Веббов переводили да Веббов переводили!». Сатирическая гиперболизация плохой формы имела еще одно громадное последствие. Новаторы, высмеивая дешевку формы, фактически топили в своей насмешке и содержанье, а топя содержанье одновременно с формой, неизбежно подводили мысль читателя к основному положенью классической эстетики — к необходимости единства содержанья и формы.

Не сразу пришло такое понимание. Реакцией на плохую форму гражданской поэзии на короткое время стала «красивость» и «звучность» лирической поэзии Надсона. Молодежь страстно ухватилась за нее. Именно в эти годы наивного вкуса, неразборчивости восприятия, туманного ощущенья (или отсутствия ощущенья) разницы между красотой и красивостью (тем, что англичане иронически называют pretty-pretty), некоторую роль сыграло наше так называемое декадентство. Как известно, оно принесло немалый вред, уводя литературу в сторону от общественных и гражданских тем. Но одновременно декадентство ввело в обиход начинающих поэтов понятие «хорошего вкуса» — вкуса, диктуемого чувством меры; изящества как изъятия всего лишнего; оригинальности, свежести, незатасканности словаря и синтаксиса; адекватности образа и смысла; выразительности необычного и непривычного; словесной изобретательности. Оно ввело понятие ритма в его раздельности, его несовпадаемости с метром — движения жизни с движением счета, их диалектического противоборства и взаимной нужности. Оно как бы вернуло нас к пушкинской эпохе работы над языком, к необходимости школы. И освежающими, оживляющими в этой школе, как группа витаминов Б, сделались Бальмонт, Белый, Брюсов, Блок...

Я не была настоящей участницей этого движенья, хотя биографы постоянно запихивают меня в него. Есть нечто в явлении модернизма — не только нашего, но и всемирного, в прошлом и в настоящем,— что отталкивало меня от него, заставляя держаться за скобками. Это «нечто» — в их изолированности, в их «аристократизме», их «хорошем тоне» — разновидности снобизма,— их чувстве исключительности. Может быть, оно усиливается в них как самозащита и протест против гонения со стороны «официозного», общепринятого искусства, не знаю. Но за версту чувствуешь в этом движенье словечко над, атмосферу над — над обычными людьми, «не доросшими» до его понимания. Это над, ощущаемое и ныне у наших леваков в искусстве, всегда было для меня невы-

носимо чуждым, с чем я не могла слиться и еще менее подчиниться ему. Я чувствовала себя перед этим *над* плебеем. Понимая школу писательства прежде всего как осмысляемый процесс жизни, я вносила в эту свою школу главнейшую страсть моей молодости — страсть *найти истину*, справедливую жизнь, равенство для всех, чувство самоуваженья для каждого живого существа и чтоб не было больших и малых, любимчиков бога, фаворитов, чтоб всем людям было хорошо и никому не было неловко в обществе других людей. Чувство стеснительности всегда связывало мне душу в тех кругах, где вставало *над*. Но я просто солгала бы, если б сказала, что *школа* модернизма не захватила меня и оставила в стороне.

Сперва такой школой сделалась поэзия Гиппиус. Я исключала ее из круга символистов. Она с первых стихов открылась мне как религиозно-революционное, нравственное, а вовсе не только литературное явленье, и, может быть, поэтому учиться у нее было легко. Вначале ученье выразилось простым подражательством: у Гиппиус была своя походка, свой почерк, свой жест в стихах; они, как силуэты, возникали перед глазами в чтении сквозь особый, изломанный ритм, преобладанье любимых глаголов и эпитетов, делавшие узким и по-своему изысканным ее поэтический словарь. В первой книге моих собственных стихов, «Первые встречи», изданной в Москве в 1909 году на деньги, вырученные мамой от продажи дедушкиной шубы, очень заметны и подражание этим «силуэтам» Гиппиус, и результат такого подражанья. Рядом с простыми и бесхитростными «детскими портретами», «грибами», «галками», вызванными к жизни московской зимней прогулкой, детской площадкой на бульваре, появляются замки, рыцари, провожающие прекрасных дам по анфиладе королевских покоев, и сами эти королевы, говорящие рыцарям, возвращая им шпагу:

Никогда не прощу вашей скромности,
Как могла бы простить отвагу...

И рыцари эти были ни к чему, ни с какой стороны не мои и ненужные мне, и королева не отвечала ни одной черте моего характера — их словно песком нанесло мне на бумагу из чужой форточки, а главное: стало видно как днем, как черным по белому, что нельзя подражать не своей форме, потому что не своя форма никак не налезет на твое содержанье, не передаст его (ибо форма не мундир, а структура) и обязательно потащит за собой чужое содержанье. А содержанью подражать нельзя, оно всегда родится в тебе самом, в твоем опыте, в твоем характере, содержанье должно быть *нажито* тобою самим, твоим личным трудом, как хлеб.

Много раз потом приходил мне в голову этот ранний наглядный урок, полученный от моей собственной книги. Один из теперешних моих друзей-приятелей, хороший беллетрист, восхитился однажды оригинальной, глыбистой, ни на что наше не похожей речью южноамериканского писателя, роман которого был у нас переведен. Он сказал мне: «Вот так я хочу написать свою будущую

книгу». Язык не повернулся сказать ему: «Ты все испортишь, у тебя ничего не выйдет, в твоем накопленном содержанье уже лежит твоя форма». Синтаксис, взятый с чужого плеча, не может органически передать накопленное другим писателем содержание. Это полезно знать начинающим, проходящим, как через детскую корь, через подражательный период. Это знанье смолоду, вдобавок укрепленное начавшейся работой фельетонистом в газете, очень сократило, почти на нет свело, подражательный период моего собственного писательства. Газетный фельетон был школой многих больших писателей прошлого. В газете выросли Диккенс, Бальзак, если называть самые крупные имена. Газета приучает к структурности формы, если работать в ней долго и с открытыми глазами. Урок ее начинается с жесткого требованья объема — не больше, не меньше, укладывайся. Он продолжается процессом укладки в нужный размер. Укладка — размещение материала в известном порядке — учит, как в шахматной игре, трем стадиям разворота темы: ее экспозиции (чтоб, расставив фигуры, сразу заинтересовать читателя продолженьем), миттельшпилю (серединной игре, где интерес читателя перекидывается то в одну сторону, то в другую) и финишу (развязке, чаще всего такой, чтоб читатель остался доволен). Постепенно научаешься в газете секрету действенности печатного слова: умению правильно вовремя подводить к кульминации и не мусолить эту кульминацию излишне долго и многословно. Техника структурности формы необычайно важна для писателя. Она связана с отношеньем материала к сюжету, сюжета — к теме, темы — к ее разрешению. Англичане — замечательные классические романисты — оставили нам образцовые примеры структурности формы романа. У них нет бессюжетности, как в большей части даже лучших русских романов. Но у них в высокой технике структурности лежит и очень большая опасность — постепенная выработка определенной условности языка, чего, кстати сказать, русские романисты почти всегда счастливо избегают. И газета учит в фельетоне еще одному: борьбе с литературщиной, со штампами в языке, с его одеревенением, одряхлением, переходом в книжность. Чуть ли не ежедневно говоря с современниками, газетный фельетонист не смеет давать своему — по сути, *разговорному* — языку остывать, как салу на сковородке, он должен быть текучим, почти устным. Невольно научаешься ловить себя на остывании языка в романе, в стихах, на растущей в нем литературщине, сгущающейся в комки употребительных штампов. И тут опять помогает литературная молодежь, рвущаяся из канонов, из классической понятности в заумь. Помогает тем, что показывает: пришло время обновить твой язык устной речью, прислушаться к измененьям и новизне в разговоре живых людей, современников, сойти из книжного шкафа в уличную толпу...

Но я опять отвлеклась от прямого движенья вперед, отвечая невидимому читателю: как же это, сидя в центре литературного Петербурга, в интереснейшее время истории русской литературы, так еще мало у нас изученное, имея возможность своими глазами

увидеть все эти туманные фигуры прошлого — автора «Мелкого беса» Федора Сологуба; маленького «кукольника», «мартышечника», увесившего свою квартиру самодельными игрушками, Ремизова; мистика Вячеслава Иванова с его ореолом рыжеватых волос вокруг греческого лба; прекрасного, как молодой Дионис, Блока; еще свежей памяти философа Владимира Соловьева с его бездонными соловьевскими глазами, переходившими по наследству ко всем Соловьевым,— как это так, почти живя на квартире у Мережковских, не увидеть их, не познакомиться, не описать! Ничему от них не поучиться, ничего не взять! Да. Будучи почти три зимы подряд в центре литературного Петербурга, перевернувшего в нашей профессии писателя взгляд на язык и форму поэтического произведенья, я не видела их, не заинтересовалась ими как живыми людьми, избегала всякой встречи с ними — совершенно сознательно и твердо, потому что мне было это ни к чему. Это был бы шаг в сторону, потеря времени, а значит — жизни. Но зато увидела я нечто другое, гораздо более неизвестное, соприкоснулась с этим неизвестным и хочу его описать.

Однако же, прежде чем описать его,— не пожалейте, читатель, времени еще на одну страничку о технике литературного ремесла. Дело в том, что один-единственный урок этого ремесла я все-таки у Мережковских получила, и это был стоящий урок. Пользуюсь им и доныне, пользуюсь и сейчас, к великой досаде моей машинистки. Орудие для него — перочинный ножик с острым концом и свое собственное дыханье, верней — дуновенье, каким сгоняют муху или мусор с бумажного листа.

Однажды, во вторую или третью петербургскую зиму, поджидая Гиппиус в полумраке гостиной у розоватого света лампы, я — из мучительной непривычки к ничегонеделанью — взяла со стола писчие листы бумаги, только что отпечатанные на машинке. Машинка в те годы была роскошью, и Софья Андреевна Толстая, например, переписывала рукописи Льва Николаевича от руки. Но у Мережковских всегда было наличие новой техники — машинка, телефон и наемный автомобиль — как своего рода признак постоянной преобладающей в быту «заграничности», за которой наш скромный русско-интеллигентский быт еще плохо поспевал. На взятых мною писчих листах была отстукана новая, должно быть только что написанная, статья Дмитрия Мережковского. По соглашению с Сытиным за аховую цену (кажется, триста рублей статья) Мережковский давал в «Русское слово» знаменитые в то время «подвалы». В эпоху Дорошевича и Амфитеатрова, считавшихся «генералами» фельетонов, трудно было прославиться, но Мережковский действительно прославился. Его статьи казались в то время необыкновенно глубокими, умными, заходившими далеко за горизонт злободневности. В них была контрастность, уже упомянутое постоянное противопоставление двух начал — добра и зла, как у Тициана «Венеры небесной» и «Венеры земной», Христа и Антихриста, культуры и цивилизации, Петра и Алексея и т. д., в большом плане разрабатывавшихся в его книгах, но малым отблес-

ком сиявших и в его газетных фельетонах. Я тут же с интересом начала читать — и не узнала Мережковского! Статья была скучная, тяжелая, нудная, безо всякого блеска, словно писалась под палкой, в зевоте, со слипающимися глазами, каждая фраза в отдельности, фраза — и стоп, фраза — и стоп. Читалась она тоже «фраза — и стоп», трудно было перелазить в продолженье, словно через забор ногами. Я тупо глядела на подпись «Д. Мережковский», как вдруг листы стали тянуться из моих рук. Это их вытягивала у меня Гиппиус. Вместо них она мне всовывала в ладонь другие такие же листы: «Вы прочли неправленое. У Дмитрия первая переписка всегда правится, потом опять идет на машинку. И только после в печать. Вы прочитайте правку!»

Она доверила мне драгоценную вещь — писательскую правку. Сама я писала единым махом, одним дыханьем. Черновики прямо отсылала в «Приазовский край», а позднее (в годы первой мировой войны) в газеты «Баку» и тифлисское «Кавказское слово». Не то что править — некогда было их перечитывать после написанья; и когда, случалось, пропадет на почте, не жаль, никакой не было трагедии. А тут лежало передо мной чудо нашего ремесла. В поправке чернилами — мелким, нервическим и каким-то неприятно-слабовольным, пожилым почерком Мережковского — статья опять засверкала, словно серебро, протертое замшей,— засверкала и мнимой глубиной, и остротой, и всеми особенностями «золотого пера» Мережа, как сокращенно я звала его в письмах к Лине. Что же случилось? Как оно случилось? Времени изучить правку почти не было. Зина, пришедшая из спальни после отдыха, в накинутой на халат заграничной гарусной шали, уже уселась в свое кресло и ноги положила на скамеечку; мне хотелось разговаривать, «общаться», вдыхать ее герленовские «Aprés l'ondée» [11], вообще — не пропустить свой коротенький отрезок необыкновенного тогдашнего счастья. Но все же глазами я охватила и сбросила в память главную суть поправок.

Во-первых, оказывается, статью заваливали, как бревна, тяжеловесные словечки «которые», «который», «некоторая» — все они в правке были вычеркнуты, фразы сокращены, «бревна» заменены «усеченными» прилагательными, принявшими действенную глагольную форму: вместо «увлеченный», «могущественный», «тугоумствующий» появились «увлечен», «могуч» и просто «туг». Во-вторых, посыпались из статьи бесконечные «что» с запятой перед ними. А вослед, перехлестнутые черной шпагой, поплелись «несмотря на то», «невзирая на обстоятельства», «вообще говоря», «в точном смысле слова»... Рукопись умывалась под ливнем этих вычерков, сокращалась, подтягивалась — мысль получала свой образ, выходила из мусора к свету. Я уже не помню, какая это была статья. Не помню, о чем шла речь в исправленных фразах. Но самый процесс правки соблазнил меня почти вещественно, материально. Сейчас, спустя шестьдесят четыре года, покрывая своим

[11] «После дождя» *(фр.)*.

мельчайшим бисерным почерком бумагу определенной нарезки, именуемую мной «столбиками» или «столбцами», я не даю остыть длинной фразе, не откладываю уже исписанный столбец, а перечитываю его тотчас же и, перечитывая, держу наготове скальпель — острый перочинный ножичек.

Сразу видна — еще в горячем виде — неудачная длиннота, неточность, режет глаз неподходящее слово — и я выскабливаю (не зачеркиваю!) это слово, аккуратно ставлю на его месте другое, меняю запятые, вписываю запятые, оживляю, улучшаю — с таким же придуманным наслажденьем, с каким Том Сойер красил в воскресенье забор. *Придуманным* — потому что сперва не хочется прерывать творческий процесс, делать остановку, и я призываю на помощь *воображенье*. Перочинный ножик превращается у меня в стеку скульптора, в кисть художника; выскабливаемые чернила — в глину, в краску; я как бы мазок делаю, лезвием стеки снимаю кусочек, становлюсь мысленно скульптором перед своей глиной, художником перед своим полотном; но постепенно желанье править, трогать, подмечать само становится творческим, и придуманное наслажденье превращается в настоящее наслажденье. И задолго до того, как передать свои столбики машинистке, я их уже отчищаю, освежаю, отскабливаю, реально переживая материальную часть творчества.

Что тут происходит? Писательская правка Мережковского, случайно попавшая мне в руки в 1910 году, научила меня (не сразу, а исподволь, годами) становиться в процессе творчества не только создателем, но и читателем, потребителем своих вещей. Хотелось бы передать этот урок всем начинающим, он — одно из самых могучих средств сохранить свою прозу свежей, сделать ее «вечнозеленой». Все в этом уроке важно: и *пауза*, на короткое время останавливающая творческое напряженье мозга,— она дает ему отдохнуть, но ненадолго, не до остыванья творчества; и *переход писателя в читателя*, важный момент взглянуть на себя со стороны; и *усиленье самого творческого подъема*, когда он сливается в вашем воображенье с великой рождаемостью нового у *каждого*, в каждой области, — художника, скульптора, музыканта, поэта, если он *творец*; и острое *ощущенье материальности* предмета искусства — того, что рождается у тебя под рукой в глине, в красках, в чернилах на бумаге...

Таким был единственный профессиональный урок, полученный мной у Мережковских.

7

И вот оказывается — рассказать читателю о чем-то «неизвестном», с чем я столкнулась в Петербурге и что могло бы возбудить острый интерес у историков русской предреволюционной литературной общественности, еще не подошло время, еще надо свернуть в переулочек лично пережитого, лишь косвенно относящегося к «неизвестному». Обойтись без него никак нельзя. Главной моей

обязанностью как «четвертого» в «троице» Мережковских было находить и приводить к ним рабочих, умных рабочих, заинтересованных в вопросах философских. Я числилась заканчивающей философский факультет и очень скоро, даже без «протекции», получила приглашение на Гагаринские курсы, где студенты и курсистки преподавали питерским рабочим русскую грамоту, арифметику, начатки географии и древней истории. Уж не помню как и когда, но чуть ли не на первом же уроке кто-то сунул записочку: «Не согласитесь ли ознакомить нас, общим числом тридцать человек, с наукой философией от древних греческих времен до нынешних? Если согласны, выйдя из класса, станьте у дверей, к вам подойдут уговориться».

При всей моей чудовищной занятости, я тотчас откликнулась. Все зажглось во мне, все захватило — тема, интересная мне самой; возможность дать себе волю, не по учебнику, не по лекциям, не по чужой указке, а так, как сама думаю и понимаю; таинственность записки, словно в романе; действие — настоящее действие, когда вечно читаешь в письмах Зины ко мне упреки в бездейственности. Не успели истечь положенные сорок минут, не успел, заскрипев посыпавшимся мелком, очередной ученик поставить на доске точку в диктанте, как я собрала в папку учебные материалы, завязала наспех ее тесемки и ринулась к дверям, а там стала как вкопанная, оглядываясь во все стороны. Мимо проходили рабочие — кто молча, кто прощаясь, но ни один не остановился. Прошли все, и я, обиженная, огорченная, не понимая, что сама виновата, не сумев проделать свою роль конспиративно, двинулась за ними, и только на каменных ступенях лестницы самый пожилой из слушателей, притом как-то по-мужицки бородатый, остановил меня громкой просьбой «насчет задачки на доске». Покуда я коротко и хмуро объясняла ему, он тихо сказал: «Напишите в моей тетрадке адрес вашего местожительства, за вами вечером зайдут». Тут я уже конспиративно, неимоверно обрадованная, написала в его тетради что-то из таблицы умножения, а под ней мелкими буквами свой адрес, и рабочий, сказав «большое спасибо», побежал догонять свою группу.

Вечером Феня постучала ко мне и сказала, что «пришел мастеровой, сказал, что слушатель с Курсов». Я ответила: «Некогда, ухожу в театр, по дороге узнаю, что ему надо». Это уже было по-настоящему, по-опытному конспиративно. Вышла в переднюю, поздоровалась, спустились вместе по лестнице — и новый, удивительный Петербург открылся мне, Петербург рабочего класса. Мы шли по таявшему под ногами снегу. Он таял на мокром тротуаре, а воздух был полон, как тополиным пухом весной, множеством сыплющихся снежинок. Все виделось сквозь него тускло, все кружилось вокруг. Где-то мы сели на конку, и не успела я нащупать в кармане свой тощий кошелек, как спутник мой подал кондуктору два пятака. Было темно, конка переполнена, кондуктор освещал деньги на ладони и отрывные билетики узким лучом ручного фонарика. Когда лошади замедляли ход, он дергал за спускавшуюся

сверху веревку, раздавался дребезжащий звонок, останавливалась конка — свежий воздух, полный мокрого снега, влетал в открытую дверь, и пассажиры, тесня друг друга, начинали выходить и входить. Потом опять звонок, опять луч фонарика, захлопнувшаяся дверь, мокрота, духота, запах резиновых калош и мокрого драпа, но все это еще были знакомые улицы. На последней стоянке мы пересели в другую конку, и тут запахи переменились: пахнуло залежалым от мокрых валенок, бараньим тулупом, дегтем. Я уже не узнавала да и не хотела узнать, где ехала конка. Огоньки из окон по обеим сторонам улиц мелькали откуда-то снизу, их становилось все меньше, тусклей, красноватей. Когда мы наконец слезли, уличка пошла вдоль снежного оврага, мимо небольших деревянных домов, идти было трудно, без тротуара, по неровной и немощеной, истоптанной в грязь земле.

Окраина — я так до конца и не узнала и не спрашивала, куда мы всякий раз ездили по Шлиссельбургскому, за Выборгскую, за Новую деревню... Я уважала конспирацию, хотя в моих лекциях ничего революционного не было. В разных местах рабочего Питера повторялось одно и то же. Навстречу нам из-за угла выходила темная фигура, распахивалась дверь на темную лестницу или в сенцы, меня осторожно вели в комнату, а комната как сейчас стоит перед глазами, хотя всякий раз это была уже другая. Посередине был стол, крытый чистой скатертью, на столе — кухонная керосиновая лампа с чисто протертым стеклом. Вдоль стен три-четыре прибранных железных кровати, на окнах занавески. Стулья — с сидевшими на каждом из них в обнимку двумя-тремя рабочими, остальные теснились на кроватях, стояли вдоль стен, в дверях, на площадке за дверями. Кое-кто держал тетрадку в руках. Меня усаживали к столу, и хозяйка, гладко причесанная, тотчас вносила стакан чая и блюдечко с печеньем. Ставя их передо мной, она ласково-деловито говорила мне: «Кушайте, не стесняйтесь». Я раскладывала свой конспект, но скоро совсем о нем забывала.

И смолоду и до седин мне часто приходилось и приходится выступать. Волнуясь вначале, я страстно вхожу в этот особый вид устного творчества. Только начни, а потом, словно чернила из-под пера, бегут и рождаются слова как бы навстречу человеческому слуху, ждущему их. Но ни разу в жизни устное слово не доставляло мне такого чистого наслажденья, как эти лекции по древнегреческой философии для тридцати питерских рабочих. Может быть, потому, что ни разу больше не ждали моих слов с таким открытым и жадным вниманьем, как в эти зимние вечера на окраине Петербурга. Прошло почти шестьдесят пять лет, больше, чем средняя цифра продолжаемости человеческой жизни в те годы. Забылись мной, кроме нескольких, лица моих слушателей. Но нечто очень главное, очень важное, охватывавшее меня всякий раз в этих небольших, чисто прибранных для лекции комнатах, не только не ушло из памяти, но росло и развивалось, питаясь новыми впечатленьями. И сейчас, прежде чем описать это «очень главное», я

должна свести счеты с автором, цитату которого привела в начале этой моей четвертой части воспоминаний.

Пьер Ожэ! Он начал свою книгу оригинально и глубоко. Первые мысли его, рожденные физическим анализом мельчайших частиц материи, из которой мы состоим, интересны и диалектичны, они очень помогли мне. Но я продолжаю его читать по маленькому кусочку — и начинаю удивляться, как, начав горным хребтом мышления, Пьер Ожэ ухитрился родить из горы мышонка — мышонка чего-то вроде мозговой теократии, двух линий передачи наследственного традиционализма — профессорской и рабочей, «professeurs» и «ouvriers»; он доходит как будто до отделения мозга от всего остального в человеке. Названья эти у него условны. И все же пахнут они чем-то южнородезийским, чем-то похожим на английского «пакка сахиба», белого барина[12]. А между тем наследственный «профессорский» интеллектуализм, начинающий действительно отставать от тела, как больная роговица от глаза,— не загнивает ли, не отсыхает ли он, давая дорогу совсем другому мозговому виду?

В маленькой комнате, где толпились тридцать человек, жадно слушавшие о греческих философах древности, была атмосфера высокой человечности с ее новой формой интеллектуальности, наверное тоже рожденной поколениями и становившейся своей, особенной «традиционностью». Я много раз уже писала об этих моих лекциях по древнегреческой философии, но писала главным образом о себе и своей идее. Мне было интересно выступить самостоятельно, так, чтоб не совпадало с учебниками, с трактовками Гомперца, Виндельбанда и другими нашими пособиями; меня не захватили подразделенья этих первых философов мирового мышленья на материалистов и идеалистов, циников, киренаиков, эпикурейцев; я не очень останавливалась на том, как эти мыслители объясняли происхождение мира, из каких элементов выводили вселенную, что считали ее первоосновой — огонь, воду и прочее,— мой подход к теме был совсем иной, и мне казалось — я сама сочинила его «идею», создала новый метод. Подход был со стороны с в я з и т е о р и и с ж и з н ь ю. Каждый философ излагал в своей философии, как, по его мнению, надо жить. И не только излагал для учеников отвлеченную систему, а тут же переводил ее в практику: строил свою собственную жизнь именно так, как проповедовал.

Дальше у меня шли образные, увлекательные для меня самой картины: умирающий Аристипп, учивший наслажденью жизнью и наслаждавшийся, даже мучаясь от своих болезней; Диоген, видевший смысл жизни в полном опрощении и залезший в бочку; Сократ, подносящий к губам чашу с ядом,— все эти образы рождались у меня перед глазами, когда я их описывала моим слушателям, и мне потом, через годы, именно этот метод преподаванья философских систем (то есть насколько создатели этих систем че-

---

[12] Pucka sahib — английское определение господина, хозяина, белого джентльмена, бытовавшее в английских колониях.

стно проводили их в собственной жизни) и казался самым интересным в этом петербургском эпизоде. А сейчас, когда вся пройденная жизнь связывает у меня прошлое с настоящим, я вижу, что интересным было совсем другое: реплики слушателей, их вопросы и даже самый последний вопрос, на который я, следуя законам конспирации, совсем не ответила.

Реплик и вопросов было множество, кое-что хорошо помню — и запомнила как раз то, что показалось мне тогда наименее существенным, рожденным от непонимания моей идеи. Один, самый молодой из слушателей, по-солдатски остриженный наголо, начал первый и немного разозлил меня. Он сказал что-то вроде по адресу Аристиппа: «Какая ж это философия — жить в свое удовольствие! Были б для этого средствия». Может быть, потому и запомнилась мне эта первая реплика, что он сказал «средствия» и затронул моего любимца Аристиппа. Лучший мой ученик, путиловец Кузьмин, подхватил: «Не в том секрет — жить по своей философии, а в том, какая она есть сама, эта философия. Иной философ такое разведет, что жить по нему невозможно или смысла нет». Бородач, который остановил меня возле Курсов, тоже добавил: «У нас на улице лавочник имеет свою философию и открыто высказывает: «Не обманешь — не продашь». Так он этой философией живет вовсю, и удивительно — тюрьма по нем плачет, а он в нее не попадает».

Когда я ехала на конке домой, ко мне присоединился маленький чернявый, стоявший во время моей лекции даже не в дверях, а на площадке и почему-то показавшийся мне очень подозрительным. У Карташовых, когда узнали, что я приглашена самими рабочими у них на дому, тайком, провести занятия по древней философии, пришли в смертный ужас и умоляли отказаться: Петербург кишмя кишит шпиками, Мережковские на подозренье, ты к нам филера приведешь! И так как я наотрез заявила, что ни за что не откажусь, Тата с меня слово взяла: «По крайней мере, не поддавайся на политическую провокацию, ни звука о политике, спросят — молчи!» Я обещала, потому что вообще не видела никакой политики в своих лекциях, и страхи Карташовых казались мне смешными, преувеличивающими значенье их собственных «дел». Так вот, подозрительный чернявый, нагнувшись ко мне, как-то доверительно, тихим голосом спросил, как я отношусь к «философии Карла Маркса». И я резко отодвинулась от него, ответив, что политики вообще не касаюсь.

Мне очень полезно вспоминать об этом вот сейчас. Я как-то отчетливо-ясно вижу разницу между тем, что давала тогда, со всем своим молодым энтузиазмом, в своих лекциях рабочим — и что они давали мне своими репликами после моих лекций. Я в восторге была от метода «отношения философии к жизни» и воображала, что внесла нечто совсем новое в академические курсы по философии. Но это «нечто новое» от реплик рабочих постепенно показалось мне совсем в другом свете. Для них «отношение философии к жизни философа», или связь мировоззрения человека с его практи-

кой, давно (от отца, потомственного пролетария, к сыну) было знакомо из самой практики жизни. Убеждения тех, кто покупал их силу, уменье, здоровье, время, не оплачивая все это по настоящей цене их труда, а разживаясь и богатея на неоплаченной его части (прибавочной стоимости), были им известны «на собственной шкуре». И так же реально, как это знание, им нужна была в ответ другая философия, которая научила бы их **ответной рабочей практике**, такая философия, с какой они могли бы сопротивляться, отстаивать себя, свою жизнь и жизнь своих детей от эксплуатации, от неправды, от несправедливости. Я витала в заоблачном мире чистой логики, меня восхищала логичность античного мышления, верность мыслителя своей форме мышления; а мои слушатели жили в этом бренном мире земной реальности, и они наблюдали ежедневно верность людей своим мерзким и несправедливым убежденьям; им были заметны и другие люди, у которых, казалось бы, философия была хорошая, но сами эти «философы» по своей хорошей философии не жили, полностью изменяли ей на деле, оставаясь верными на словах; и, наконец, они, видимо, уже знали или начали познавать нужную для себя, хорошую философию, о которой, может быть, надеялись и в моих лекциях услышать. Отсюда вопрос о Марксе.

В своей крайней самонадеянности я воображала, что мои слушатели, сразу ставшие дорогими моему сердцу, очень любят меня. Но сейчас — в повернутое стекло бинокля времени — догадываюсь, что они жалели меня. Жалели, должно быть, что я трачу молодые силы на пустяки, что логика моя «слабовата», образованность мало на что пригодится, и хорошие мои качества — главными из них они сочли самое молодость, жажду самоотдачи, свежую чистоту намерений — в порошок сотрут годы, окружающая среда и — неподходящая философия.

Но даже тогда, увлеченная заоблачной логикой, обаяньем моей наставницы, Зинаиды Гиппиус, таинственностью их «церкви», в которую все еще не была принята, ожиданием «истины», которой не жалко было всю свою жизнь отдать,— даже тогда я чувствовала разницу между моими рабочими, с которыми изредка встречалась, и людьми моего окруженья: болезненной дворянской атмосферой семьи Уваровых, где проводила два часа в день; мещанским благополучием моей квартирной хозяйки с ее двенадцатью сортами варенья; молчаливым книжным благоговением тихого читального зала Публичной библиотеки; и — мистикой неизвестности у кресла русалочьей моей наставницы, ее сиповатого голоса, аромата ее надушенных папиросок, вообще — атмосферы «того, чего нет на свете»...

Разными были эти люди, с которыми я встречалась почти все время. Но при всей их разности — они принадлежали к одной и той же реальности, к одному и тому же миру и к тем же улицам, к тому же этапу моей жизни. А в рабочих слушателях, казалось бы — людях элементарных по сравнению с Мережковскими, было что-то иное, было гораздо более реальное и действительное, чем

эта моя жизнь, а потому не только не простое и элементарное, а сложное и глубокое. Качества у них были другие; опыт, создавший эти качества, был другой; и вместе — когда они были вместе — они создавали другой коллектив, где эти качества, умноженные на число его участников, сливались в прообраз будущего нового типа человека.

Все эти постепенные мои раздумья над собственной жизнью и ее опытом, плод «интеграции» прошлого в настоящее, отразились позднее и в моем творчестве. Читатель, знакомый ну хотя бы с первым романом «Семья Ульяновых», быть может, обратил вниманье на слова учителя Захарова о рождении нового типа человека... Но это между прочим. Отразились они, наслаиваясь на разные житейские впечатленья, и на моем характере, и на моих реакциях, и на росте самостоятельности в отношении Мережковских.

Не помню, с какого времени это началось — кажется, в начале осени 1910 года, когда Мережковские еще не уехали за границу. Зина остановила меня в субботний вечер, когда я собралась, как обычно, отправиться к семи часам домой, коротеньким словечком: «Останьтесь». Это было особое, немного страшное для меня «останьтесь»: после семи по субботам у них, как я уже знала, собиралась их церковь — церковь «нового религиозного сознания», где сходились на молитву члены организованной Гиппиус «христианской секции». Первый раз соприкоснуться с этой церковью было огромным духовным событием для меня. Как в тумане, в голове моей сливались самые разные представленья о деле, ради которого Гиппиус перетянула меня из Москвы в Питер, ради которого я рассталась с Линой и со своей курсячьей средой.

Во-первых, был образ «костра», для которого надо было «таскать щепки». Где он горел, в каком лесу, какие щепки питали его, чтоб костер не погас, я совершенно не знала. Во-вторых, было видение — лучезарное видение будущей революции, где волки улягутся рядом с ягнятами и где обязательно должна быть музыка, музыка, организующая душу, музыка «того, чего нет на свете». В-третьих, возникало очертанье дела — дела, опасного для тех, кто в нем участвует, понятного разуму, доступного моим силам и, главное, совершаемого не в одиночку, а сообща. Вот стану признанным, призванным членом церкви, буду вместе с другими, начну наконец прилагать свои силы к высокой реальности, а не только бегать по урокам и в библиотеку... И я осталась сидеть в гостиной на своем постоянном месте, мысленно читая свою собственную, сочиненную мною самой и одобренную Зиной молитву.

Прибежал откуда-то из своей половины, куда я не захаживала, чем-то внутренно занятый Мереж, поглядел на меня, скосив глаз, пробормотал что-то вроде «ах да, да», едва мне слышимое, и стал потирать у камина руки, как от большого озноба. Вошел в гостиную спокойный и важный Дима, внес пачку тонких восковых свечей и положил на стол. Потом — с полки — большой, очень нарядно переплетенный том Библии и положил его рядом со свечами. И опять такими же медленными движеньями, стараясь — ви-

димо, для новичка в моем лице — сделать их совершенно обыденными, простыми и добрыми, достал с самой верхней полки большое металлическое блюдо, закапанное остывшим воском, а из кармана вытащил коробок спичек. Мережковский в эти немногие минуты как-то рассеянно листал Библию, что-то просматривал в своей записной книжке, потом захлопнул Библию, спрятал записную книжку в карман и коротко попросил: «Дай Евангелие с посланиями». И опять Дима полез в шкаф и протянул Мережу тоненькое, старое, с полустертым золотым крестом на переплете Евангелие, похожее на то, какое было у дедушки в Григориополе на армянском языке.

Потом пришла Зина, улыбнулась мне и стала зажигать свечки, капать с них воском на блюдо и вставлять тупым концом в горячий воск. Несколько свечек протянула и мне, кивнув, чтоб я ей помогла. Дотрагиваясь фитилем до уже горящих, приятно пахнувших воском свечек, я аккуратно проделывала все, что делала она, и когда блюдо было утыкано яркими, истекающими воском огоньками, мы расселись по местам, а Мережковский, вынимая своими сухими пальцами закладки, каким он отметил нужные места, начал довольно обычным, торопливым голосом читать из Евангелия. Слух у меня еще не понизился до такой степени, чтоб не различать чтение вблизи. Я следила — и удивлялась. Мереж читал ничем не примечательные, ничего не говорящие данной минуте, друг с другом ничем не согласованные места из посланий апостола Павла коринфянам, кусочек из Деяний апостолов, кусочек Евангелия от Иоанна, и все это не производило никакого впечатленья и не казалось особо нужным. Я могла бы набрать десятки более интересных, более многозначительных мест. У меня вдруг появилось самое привычное, знакомое чувство присутствия на семинаре, где докладывает моя подруга, а я так и горю нетерпением выскочить, чтоб наговорить куда больше нее... Обыденность семинара, обыденность и непривлекательность курсячьего тщеславия — и это новая Церковь! Словно угадывая мои мысли, Зина встала, как только Мережковский захлопнул Евангелие, и сказала мне: «В следующую субботу будете вы читать». После этого она поцеловалась с каждым из нас, и мы тоже подходили и целовались с каждым и — пошли чай пить в столовую. Неужели только и всего, вся «церковь»? К тому же ни одного члена «христианской секции» среди нас не было, и даже Карташовы сегодня вечером не смогли прийти.

Когда я укладывалась этим вечером на свою жесткую железную кровать, мне было как-то стыдно. Было стыдно за отсутствие религиозности во мне самой и за кощунственные мысли критического подхода к Мережковским, к Зине. Было еще — как всегда и как до сих пор у меня — стыдно за отсутствие непосредственности в себе и постоянную подмесь соглядатайства за самой собой, постоянную подмесь критики, похожей на издевку, откуда-то выскакивающую из головы, как змеиный язычок здравого смысла. Критики, относящейся не столько к другим, сколько к самой себе. При-

чем эта постоянная критичность отнюдь не мешала мне делать глупости и безумства, потому что возникала она не перед поступками, а уже после них, и действие ее было не удерживающее, а скорей тормозящее... И сейчас тормозит и не дает заснуть. Вот приблизительно мысли и ответы на них, диалог с самой собой, вихрем проносившийся в голове, пока эта голова не отяжелела на подушке и сон не задвинул в ней свой тяжелый засов. А утром мысли приняли более трезвый характер.

Что, собственно, делала я в Петербурге и для чего меня выписали? Единственное реальное дело у Мережковских была организованная Зиной при существовавшем в Петербурге «Религиозно-философском обществе» «христианская секция». Она была задумана как место подбора и единенья душевно-духовно схожих людей, стоящих на платформе «религиозной революции». Платформа эта объединяла на убеждении, что без бога нельзя создать революцию. Бог, идея вечного, абсолютного Добра, завещанного человечеству распятым на кресте Спасителем, создаст такую форму общества, где не будет условности, лжи и фальши, несправедливости и насилия, потому что все эти вещи преходящи и нереальны, а все безбожные революции, строившие общество без идеи бога, обречены были на зло и на гибель. Я излагаю своими словами то, что в истолкованьях других членов «христианской секции» звучало полной заумью и не выдерживало никаких атак со стороны «инако думающих», приходивших к нам на секцию поспорить. Роль моя в развитии нашей секции была ничтожна. Как ее член, я сделала доклад на тему «Религия и свобода», где доказывала (странным образом!), что только верующий в бога, сливаясь с ним в этой своей вере, действует и чувствует (может действовать и чувствовать!) абсолютно свободно, потому что он полностью совпадает с намерениями и делами бога на земле. Через десять лет я, как родную свою веру, почувствовала живущей у меня в сердце диалектическую истину марксизма: свобода есть сознание необходимости... Слушали мой доклад человек семнадцать, и среди них Дима Философов, сидевший возле меня, чтоб в случае атак защитить «начинающего адепта». Но атак не последовало. А как помощница Мережковских я и совсем ничего не делала: наклеивала марки и рассылала повестки членам секции; и должна была приводить новых членов из рабочих, а они не приходили. Верней сказать, я ни одного из них не хотела приводить, чтоб перед ними не осрамиться. Тайком даже от себя самой, а не то что от Зины я считала моих рабочих умнее даже самых умных членов секции вроде Александра Александровича Мейера. Умней, потому что они сразу схватили бы нашу новую «церковь» за ее ахиллесову пяту вопросом: чего, собственно, эти господа хотят, задача у них какая?

Задача у нас... какая? Так раздумывала и я, идя пешочком вдоль Фонтанки на урок к Уваровым. А между тем наступали дни, когда на мою голову должна была свалиться очень большая и вполне конкретная задача, одна из самых серьезных в моей жизни,

проложившая, кстати сказать, глубокую трещину в наших отношениях с Мережковскими и закончившаяся разрывом с ними.

Год 1910, как я уже писала, был очень тяжелым для России. Нарастало тягостное ощущенье — «дальше некуда». Эпидемии не прекращались. Из загрязненных русских портов, где пришвартовывались наши и западные корабли, все шла и шла холера, хотя газеты сообщали время от времени, что она «прекратилась». Нагрянула всерьез, уже не единичными случаями, чума — сперва в Уральске, Семипалатинске, потом в Одессе. Потом — в Петербурге! И уже был один случай бубонной чумы «со смертельным исходом». Паника охватила выдержанных петербуржцев. Родился, как в средние века, когда косила чума целые города в Европе, особый крысиный фольклор. Крыс в Петербурге начали истреблять правительственным указом. И в домах из уст в уста передавались подробности — прикрашенные, развиваемые, разрастающиеся... Шел по городу странный человек с дудочкой, специалист по чуме,— шел и дудел особую дикую мелодию в свою дуду. Серые морды с глазами-бусинами, с хвостами-веревочками вылезали на эту музыку из подвалов. Сперва их было немного, потом, с каждой улицей, стадо крыс возрастало, множилось, они походили на обезумевших от музыки, и серая лавина мчалась прямо к гавани, устремлялась к морю — и падала вниз головой друг на дружку в темную воду. Рассказчики видели это будто бы «собственными глазами», а мы под впечатленьем рассказа видели крыс во сне.

Из городских ночлежек, пристанищ последней нищеты человеческой, шел сыпняк — он появился и в Москве. Новогодние номера русских газет сообщали, словно смакуя, букет таких фактов, что общая картина получалась — хоть бегом беги из России: военно-полевые суды, аресты, смертные казни, судебные процессы старых «прегрешений» — стачек 1905 года, разгром социал-демократической типографии на Арбате; сенсация министра Витте: введение водочной монополии. «Смерть самогону!» — кричали газетные заголовки. А знаменитый Дорошевич писал в фельетоне: «Витте избавил мужика от сивухи... Только ходить в министерство финансов молиться об избавлении от пьянства — вряд ли целесообразно»[13]. Но тяжелей всего переживалось русской интеллигенцией нескрываемое «затыкание Европой носа» на все, что запахом доносилось из России. Даже осторожное «Русское слово» не удержалось от раздраженья на этот всеобидный факт. Еще до моего полного переезда из Москвы в Питер ходила по рукам «запрещенная» передовица «Русского слова» под названьем «Престиж». Издатель «Русского слова» Сытин крайне гордился этой передовицей — он за нее выложил штраф, пятьсот рублей, а редактор, Ф. И. Благов, просидел положенное время в тюрьме. Она типична для либеральничанья того времени: била по самолюбию вышестоящих, возлагая всю свою надежду на выход из тяжелого положенья на

---

[13] «Русское слово», 1 января 1910 года.

тех же вышестоящих. Я приведу ее для читателя в сокращенном виде:

«Со времени заключения портсмутского договора и окончания войны с Японией, приведшей к уничтожению нашего флота и разгрому нашей армии, прошло уже четыре года... четырех лет было бы вполне достаточно, чтобы Россия могла залечить свои раны и вернуть себе если не прежнее преобладающее значение в концерте европейских держав, то, по крайней мере, положение, подобающее великому государству с полутораста миллионами граждан». Между тем: «Никогда еще престиж русского государства за границей не падал так низко, как в наши дни... Г. Извольский покорно следует указаниям из Берлина. В Харбине, на занятой нами 13 лет территории, германский консул хозяйничает, как у себя дома... На Балканском полуострове наша дипломатия, выдав с головой босняков и герцеговинцев Австрии, сама устроила себе дипломатический Седан... Даже дряхлый и сонный Китай позволяет себе третировать Россию как второстепенную державу, и китайцы весьма недвусмысленно дают понять, что скоро они попросят нас совсем убраться из Маньчжурии.

С таким умалением престижа русского имени можно было бы еще помириться... если бы падение обаяния России было неотвратимым следствием нашей слабости или если бы отказ от роли великой державы имел последствием сокращение расходов на оборону страны и соответственное увеличение народного благосостояния... Напротив... За четыре последних года на армию и флот затрачено нами почти три миллиарда рублей... Численность сухопутных войск увеличилась... на 150 тысяч солдат... Однако... все эти тяжкие жертвы населения пропадают даром. Потрясенное войной могущество России не восстанавливается, а падает все ниже и ниже... Причина...»

Причину такого «вопиющего несоответствия между жертвами, какие несет Россия на алтарь своего внешнего могущества», и результатом этих жертв автор передовицы видит в «бюрократии»:

По-прежнему судьбы нашего отечества вершит та же бюрократия, которая четыре года тому назад привела Россию на край гибели. Творческие силы народа скованы по-старому полицейским гнетом... Неспособность и беспомощность русской бюрократии в деле переустройства нашего отечества... Не мудрено, что у нас все делается без всякого плана, по наитию вдохновения или по капризу случайных баловней судьбы...

От кого же редактор самой распространенной в России газеты ждет спасения и к кому адресуется о помощи?

Поворот к лучшему произойдет лишь тогда, когда господствующие классы общества проникнутся убежденьем, что дальше так жить нельзя... и представители торгово-промышленного капитала и землевладения станут снова в ряды оппозиции против всемогущей бюрократии,— только тогда начнется настоящее возрождение России [14].

Критиканствующие обращались к «господствующим классам общества», к самому правительству — и видели спасение России в торгово-промышленном и землевладельческом капитале. И даже за такую верноподданническую критику садились отсиживать свое наказанье в тюрьму. А «бюрократия», виновница непорядков на Руси, для множества критиканов скрывалась под немецкими фамилиями, объяснялась засилием немцев. В сущности, эта детская дребедень, казавшаяся необыкновенной смелостью,— смелостью, для которой 1905 год был «краем гибели России»,— мало чем от-

---

[14] «Русское слово», 27 сентября 1909 года. Первая страница, без подписи.

личалась от той «религиозной революционности», в которой я обреталась среди моих петербургских наставников. И появление «религиозной революционности» отнюдь не было в ту пору «декадентской вспышкой», не носило характера случайности. Не только «связь революции с религией» — прозвучала даже «связь марксизма с религией»... Если мы заглянем в Полное собрание сочинений В. И. Ленина, издание пятое, том 19, стр. 574,— там в коротенькой, очень деликатной биографической справке об Анатолии Васильевиче Луначарском прочтем: «В годы реакции отходил от марксизма... выступал с требованием соединения марксизма с религией. В. И. Ленин в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм» раскрыл ошибочность взглядов Луначарского и подверг их серьезной критике» (разрядка моя.— *М. Ш.*).

Все это было в воздухе эпохи. Все мы, двуногие,— а в некоторой степени и четвероногие и даже крылатый мир птиц над нами — носим в себе некое подобие «антенн», органов восприятия больших человеческих или природных потрясений, как бы волнами расходящихся по эфиру. Человеки-антенны не могут не воспринимать движенья массовых психических состояний общества — упадка, подъема, счастья. И в словаре человеческом не зря стоят русский слог «со-», французский «con-», немецкий «mit-», означающие соединение, со-страдание, со-чувствие... Последние месяцы года были тяжки еще потому, что незримое боренье очень большого представителя России, охваченного духовным разладом за всех нас, за человеческую душу в целом, за совесть с ее терзаньем между тем, как надо жить, и тем, как ты живешь в действительности,— между правдой и фальшью,— это огромное тяжкое боренье дошло до своей высшей точки и в какой-то мере передавалось каждому из нас, пусть бессознательно.

Год 1910 был годом ухода Льва Толстого из Ясной Поляны, разрыва с фальшью. Год 1910 вошел в календарь как год смерти Льва Толстого. И в наш, советский календарь он вошел как начало новых уличных демонстраций, нового, массового пробужденья улицы. Первой хлынула на демонстрации студенческая молодежь. Лина мне писала: «...у нас на Курсах...» — даже студентки реакционных Курсов Герье не могли усидеть на лекциях. Я отвечала ей: «...а у нас на Невском, у Тучкова моста...» Никто и ничто на свете не мог бы в эти дни удержать меня в четырех стенах дома. У Ленина в статье, написанной 18 декабря 1910 года, есть семь строчек из-за рубежа, словно он был в эти дни в России: «Смерть Льва Толстого вызывает — впервые после долгого перерыва — *уличные демонстрации* с участием преимущественно студенчества, но отчасти также и рабочих. Прекращение работы целым рядом фабрик и заводов в день похорон Толстого показывает начало, хотя и очень скромное, демонстративных забастовок» [15].

---

[15] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 74.

Поздняя осень 1910 года была третьим сезоном моего пребывания в Питере, и я стала заправской петербуржанкой, отлично разбиравшейся в топографии города. Два лета провели мы с Линой на даче у одной нашей тети в Геленджике; и у другой тети в ее имении в Енакиеве. Петербургский мой адрес стал уже другим — вместо Пантелеймоновской — Фурштадтская. И по всем этим адресам приходили ко мне письма с заграничной маркой, чаще всего ранней весной и поздней осенью. Мережковские дважды, иногда и трижды в год снимались всей троицей с места и в доступных только очень богатым людям «wagons-lits» — спальных вагонах иностранного происхождения, где даже кондуктора приветствовали их как старых знакомых,— отбывали на юг. Но где бы ни были, в Каннах или Кальвадосе, Италии или Сицилии, они обязательно сворачивали в Париж. Там, в Париже, у них были таинственные друзья, у которых оставался их «архив»; там они снимали «квартирку», чтоб не жить по гостиницам, и оттуда просачивались ко мне, когда уж слишком явным было мое недоверие к их питерским «кадрам», таинственные упоминания о каких-то девушках, искавших спасения в их «платформе», и о «кругах», в которых мелькали иногда «разногласия»... И все это в гомеопатических дозах страшного засекречиванья, словно речь шла о настоящей, реальной политике, сопровождаемой опасностями для жизни.

В то время в Париже были большевики, был Ленин. Но я ничего не знала о них, о разном составе эмигрантов. Всех живших в Париже «политических» я причисляла к социалистам-революционерам, к народникам и террористам. В письмах Гиппиус то и дело встречались намеки на «засекреченные», безымянные заграничные кадры, вступавшие в их «церковь». Перед своим отъездом весной 1910 года Гиппиус поручила мне писать ей за границу регламентации, такие, как Анне. Слово «регламентация» давно уже вошло в наш обиход и потеряло свои кавычки, и я посылала ей в ее Канны и Кальвадосы толстенные заказные пакеты, всякий раз терзаясь, что не дойдут, пропадут.

Дневник изо дня в день на протяжении месяцев, не для себя, а для требовательного и умного профессионала-писателя был увлекательным делом. Он стал для меня хорошей практикой. Не замечая, что сама становлюсь писателем и начинаю подбирать детали, которые раньше отбрасывала «с поля зрения», я стала «накладывать штрихи и краски», схватывать и передавать точные образы, останавливаться на пейзаже, архитектуре, а главное — бороться со стихийностью своего синтаксиса, держать словесные вожжи в руках, соблюдать меру — и стремиться, чтоб все, сказанное мною на бумаге, было видимо глазу, как на рисунке, на картине. Мережковские «цеплялись» за эти регламентации как за жизнь, проходившую перед ними на экране, без затраты их собственных сил на ее «изживание». Зина чуть ли не в каждом письме просила о них, сообщала, что «утешается ими»,— и в конце 1910 года, когда они опять укатили в Париж, я как бы сделалась для них летописцем события, начавшегося еще до их отъезда...

8

Очень ясно помню день 2 сентября в Питере, когда это событие началось. Я не выписывала газет, но муж моей хозяйки (уже на Фурштадтской улице) получал «Петербургский листок» и, когда прочитывал его рано утром, перед уходом на свою службу, аккуратно складывал на подоконнике в кухне для хозяйственных надобностей и, может быть, для того, чтоб жилица, «скупая на покупку газеты, как и вся эта нынешняя умствующая молодежь», просветилась газетными новостями. Готовя себе чай в кухне, я действительно заглядывала в газету и поражала иногда Мережковских своим знанием «текущей жизни» — «Петербургский листок» они считали бульварным и никогда его не читали. 2 сентября, в четверг, когда я со своим чайником появилась в кухне, хозяйка пододвинула мне еще не тронутые ножницами листы. Два номера «Петербургского листка» — от среды, 1 сентября, и четверга, 2-го,— я положила перед собой, прихлебывая чай. В одном, вчерашнем, бросилось в глаза объявление: «2 сентября в Мариинском театре начнут репетицию идущей в октябре оперы Глюка «Орфей» в постановке В. Э. Мейерхольда, танцы репетируются под наблюдением балетмейстера М. М. Фокина, декорации Головина».

Имя Мейерхольда ничего еще мне тогда не говорило, а Фокин — Фокин был из мира Димы Философова, из мира Дягилева, которым Дима увлекался. Завтра начнут репетировать... вечером я между прочим — мельком, будто ничего особенного,— скажу у Мережковских, знают ли они. Это была «светская новость», нечто от симпозиумов у Вячеслава Иванова, непосещение которых Гиппиус до сих пор считала моим «ляпсусом». Второй «Петербургский листок», от сегодняшнего дня, я проглядела внимательней и остановилась на сообщении «Из Москвы»: «Старообрядческий Собор и епископ Михаил Старообрядческий...»

В короткой заметке под этим заглавием было сказано: Собором за статьи в газетах старообрядческому епископу Михаилу «запрещено священнодействие», он «один ответствен за содержание статей своих, насколько они противоречат христианско-древлему православному учению святой церкви старообрядческой», и если он в течение года будет продолжать свою деятельность, то вынесут еще более строгое наказание. «Он остался доволен приговором и в тот же день выехал из Москвы в Петербург».

Епископ Михаил Старообрядческий? И внезапно я вспомнила! Это было чуть ли не вечность тому назад... Я ехала в Питер с какими надеждами, с каким незнанием! У меня болел живот... и милые мои соседи, народ,— теплая волна нежности прошла по сердцу,— а что было с этим епископом? Тоже в газете, в старой, чужой: статья Сергея Яблоновского о Михаиле Старообрядческом, что он не может отказаться от «земля вертится»,— нет — от теории Гельмгольца. И этого Михаила сравнивал Яблоновский с Галилеем. Воспоминание было яркое и теплое, оно связывалось с хорошим человеческим окружением, с народом, среди которого мне было тогда очень хорошо... если б только я знала, как будет в Петербурге!

Впервые очень ясно за полтора года, похожих на полтораста лет, мне пришло в голову, что рядом с Зиной все это время мне было не очень-то хорошо и, главное, очень трудно. В каждую ложку счастья подмешивалась капля дегтя. Меня наставляли, но как-то свысока. В сущности, что я узнала от них? Ничего, кроме своих несовершенств, мешающих мне быть принятой в самое сердце их церкви — в таинство причастия — вместе с ними. Это «таинство причастия» воспринималось мною, до приезда в Питер, как обычный церковный обряд. Но тут его окружил туман, и этот питерский туман — умолчание, намек, чуть-чуть приоткрытие тайны, захлопывание дверей, я все это принимала на веру, сама думала об этом как бы «шепотом», не желая пустить в ход свое «ratio» — простой рациональный взгляд на вещи. Ведь вот — Михаил. Интереснейшая фигура. Я, правда, забыла в те первые дни спросить о нем, но разве сами они не могли рассказать? И разве когда-либо, в одну из бесед, передала мне Зина хоть какое-нибудь конкретное знание о том, что в России, в Петербурге творилось, какие были партии, какие происходили с этими партиями события,— да хоть бы даже что шло тогда в театрах, на лекциях, на концертах, что творилось со студентами в университетах? Ничего, кроме случайно схваченного мною в случайных газетах, я не успевала узнать от них — уроки, лекции рабочим, библиотека, Зина поглощали мои короткие зимние дни. Чтение... Что мне давала читать Зина? Я вспомнила нашу первую ссору. У меня была «инфлюэнца», как тогда называли грипп. Я лежала и мерила температуру. И Зина прислала мне для чтения французский роман — уж не помню, как он назывался. Его героиня, знатная дама, пережила во Франции подряд несколько переворотов, ухитряясь остаться и в живых и в своей обычной роскоши, потому что заводила тотчас роман с каждым представителем новой власти, являвшейся к ней в виде военного, полицейского, юриста, журналиста и так далее. Я страшно вознегодовала на эту книгу, показавшуюся мне пошлой и подлой. Все исторические эпохи — как громадная бабья постель! И тотчас, невзирая на температуру, написала негодующее письмо Зине. Вот ее ответы. Первый — в конце января 1910 года.

Милая Мариэтта, вижу, что ваш южный темперамент доставит вам еще немало хлопот и горей. Я им не могу сочувствовать, потому что действительно мало понимаю их остроту, однако соболезную. Постараюсь прочесть эту «фатальную» книгу, м. б., больше пойму. Мне ее на днях принес Дм<итрий> Вл<адимирович> от сестры вместе со Стендалем и Rogny. Вспоминаю, что я ее читала лет 10—12 тому назад, за границей, у меня осталось смутное впечатление стилизации, интересной попытки восстановить психологию женщины известной исторической эпохи Франции. Abel Hermant очень талантливый человек, романы его весьма любопытны для интересующихся духом истории Франции. Он почти классик. При чем тут «мир, как кровать»,— я абсолютно и безнадежно не понимаю. У нас с вами, очевидно, разные взгляды на книги. Я люблю романы в меру талантливости авторов, сужу с точки зрения искусства, и постольку они мне доставляют удовольствие, а вы чего ищете? Поучения? Вряд ли, ибо вы наслаждаетесь Натом Пинк<ертоном>, лубком и пошлостью, которую я в руки не возьму. Я с интересом следила за Willy, таким характерным для Франции современной, а вы бы, пожалуй, повесились от горя, прочи-

тав его «Claudine en ménage» [16]. Некоторые старые романы Beyl'я даже перечитываю, например, «Rouge et noir» а я даже не знаю, читали ли вы хоть раз, пожалуй, он показался бы вам «безбожным», как и весь Beyle, которого я ставлю очень высоко и хорошо знаю...

Второй ответ, поскольку я продолжала упорствовать и негодовать, был длинный, о разном — и только последний кусочек о причине моего негодованья.

4.2.10, СПб

...я уверена, что сестра ваша, прочтя то, что я написала вам... не пришла к заключению, к которому внезапно пришли вы под предлогом книги A. Hermant (кстати, это очень талантливая книга, я ее с удовольствием перечла, и ее попросила у меня теперь Ната)...

Переписывая сейчас Зинины письма и вспоминая свои собственные душевные состоянья, вижу перед собой бездну, как чертовы ущелья в горах Кавказа, где костей не соберешь, разделявшую нас тогда. Несмотря на всю силу моей любви к ней, я увидела Зину внезапно такой, как она есть: не мелко, не по-женски, а классово, по своему положенью в обществе, самолюбивой, с внутренней сознательной фальшью, с уменьем щегольнуть своей образованностью, оттенить ее, унизить ею другого человека, с притворной усмешкой непониманья... Но я сейчас, как тогда, разозлившись, навешиваю на нее всех чертей моей тогдашней злости. Абель Хэрман никакой не был классик. Книга его была циничная и претила мне своей похабщиной, своим равнодушием и к политике и к истории Франции. Никакой стилизации я в ней не усматривала и не понимала, зачем и для кого нужно писать такие книги. И она просто была неинтересна мне. А в то же время, к стыду своему, я совсем не читала Стендаля и даже не знала, что Бейль и Стендаль — это одно лицо.

Я не могла отрицать, что скупала у газетчиков за свои пятачки, отложенные на конку, очередные выпуски Натов Пинкертонов и с удовольствием читала их на ночь. Я не могла отрицать, что критерий «талантливости» вовсе не был для меня единственным и основным критерием. Мережковские считали «Что делать?» Чернышевского стоящим вне литературы, за скобками, написанным, как французы говорят, à thèse — на определенный политический тезис, написанным как бы по заказу, для пропаганды. А я считала «Что делать?» захватывающе интересной, мудрой и нужной книгой. Мне хотелось объяснить Зине (как часто хотелось объяснить это друзьям через десятки лет), что мерить вещь по степени ее талантливости — недостаточная, неполная мера. Надо мерить критерием исторической и внутренней надобности: прибавляет ли чтение этой вещи к тому, что у вас есть, нечто более новое, более ценное, более нужное, более обогащающее вас нравственно и творчески или не прибавляет? И если не прибавляет (не говоря уж о том, что

[16] «Клодина в супружестве» *(франц.)*.

может и убавлять!), то для чего тратить на нее время, для чего обеднять себя ею? Но тут вмешивались жестокие слова: а Нат Пинкертон, «лубок и пошлость, которую я в руки не возьму»?..

Да, Нат Пинкертон — жалкий предшественник блестящих английских детективов современности, уникального Сименона; жалкий потомок Габорио и гениального Уилки Коллинза, лубок и пошлость. Он, конечно, был пятачковым лубком и пошлостью. Им зачитывалась улица, уличные мальчишки, проститутки, парикмахерские подмастерья. И я покупала и читала — и отрицать это не могла. Но когда человек трудится по шестнадцать часов в сутки, ему огромное, заслуженное удовольствие доставляет чай и кусок хлеба на ужин с приставленной стоймя к чайнику книжонкой, разжижающей его умственное напряженье, сразу опрощающей все его мозговые операции, сводящей его внимание из многочасовой целенаправленной обостренности к простейшей детской функции, похожей на то, как следят глаза в детстве за кошкиным хвостом. Лубок и пошлость — это, конечно, обидно, зато по карману, и добывать нечто получше ни денег, ни времени нет. В защиту безымянных авторов «Ната Пинкертона» и «Ника Картера», тогдашних соблазнов улицы,— они всегда на первых трех страницах давали более или менее интересную экспозицию. Происходило убийство, совершалась кража, но еще ничего нельзя было угадать. Атмосферу таинственности поддерживал всякий раз новый пейзаж — незнакомый город, странный квартал, неведомые побережья, гостиницы, острова, изваянья,— люди, еще для вас неизвестные, возможно — виновники преступленья, а может, будущие жертвы; обязательная красавица в испанском шарфе, в европейской шляпке, в японском кимоно,— и натруженный мозг ваш, еще жужжащий, как пчелиный улей, сложными работами дня, внезапно затормаживается, глушится, опускается в дремоту, в нетребовательность, в детскость, в глуповатость — это уже отдых, начало отдыха.

Дальше в Пинкертонах разводится все на воде, вам уже ясен преступник, диалоги безграмотно плохи, скучновато, глаза смыкаются, чай выпит, хлеб доеден. Вы хорошо заснете, не думая о своей дневной деятельности, не продолжая дневную работу мысли. Но потому, что вы ночью не ворочались, бессильно продолжая эту мысль, не тискали ее в разные стороны, не пытались продумать усталым мозгом, она у вас и не исчерпалась, не выдохлась за ночь, а встала вместе с вами после сна отдохнувшая, готовая к продолженью; а голова, хоть и не работала ночью, занятая чужим и пустяковым, сохранила свою теплоту и то самое «остаточное возбужденье», которое ценно в машинах, в аппаратах — после рабочего дня. Оно легко позволяет снова переходить в знакомую работу.

Это, пожалуй, сотни людей, занятых непрерывным умственным трудом, скажут читателю, как и я. Недаром академики, ученые, профессора любят детективы. Но это фактор психологический или даже, если угодно, психофизиологический. Мне хочется добавить к нему несколько слов по существу. О детективах писалось очень много, начали писать и у нас. Недавно попалась мне умная

статья о них Н. Ильиной. И все же, мне кажется, главное о них еще не сказано. Главное — это их место в современной западной литературе, будь она хоть трижды талантлива в лучших своих романах — как «Штиллер» Марка Фриша или «Отель» А. Хейли. Место ее очень большое и важное. Детективная литература — наиболее рациональное и познавательное, наименее бьющее по нервам, наиболее з д о р о в о е современное чтение. Рациональное и познавательное, потому что оно учит материальным основам, на которых данное общество покоится. Если детектив не реален, не соответствует действительности, он проваливается, его читать неинтересно. Чтоб захватывать, он должен дать реальное, фактическое нарушение законов в пределах страны, о которой идет речь,— ограбление (частная собственность!), убийство (почти всегда на частнособственническом отношении: к наследству, майоратному праву наследования, брачному имущественному договору, страхованию жизни и пр.). Шантаж — во всей силе над ним тех же оттенков семейного и государственного строя, основанных на страхе перед потерей своего места в обществе. Можно перечислять до бесконечности стимулы, на которых построены сюжеты,— они всегда вскрывают реальную общественную структуру, в которой живут герои криминального романа. И как развитие его действия — реальная картина всех юридических последствий закононарушения — юрисдикция, суд, прокуратура, особые формы следствия, описание судебных процессов, соревнование (и борьба) полицейского и частного сыска. Особенности каждой страны, даже части страны (например, суд в Англии и суд в Шотландии). Вот этот фактический, сугубо реальный каркас криминальных романов сам по себе (как правила любой игры, как правила шахмат) держит и поучает внимание, делает чтение убедительным в его сюжете, заранее настраивает на последовательность изложения заданной загадки — и ее разгадки.

И есть еще один могучий фактор, который выше я назвала здоровьем. Детектив — здоровое чтение, потому что заранее успокаивает ваши нервы уверенностью, что зло будет раскрыто, злодей наказан, добро и правда восторжествуют. Так дети настраиваются слушать сказку — они заранее знают, что у нее будет добрый конец. Криминальный роман потерпел бы раз навсегда полное поражение, если б автор обманул доверие читателя и не дал счастливого конца — торжества добра и наказания зла. Он, криминальный роман, это сказка для взрослого человека, познавательная, морализующая, дающая полное удовлетворение. Разумеется, я имею в виду н а с т о я щ и е детективы, а не те гангстерские или шпионские трескучки, которые подсовываются в классическое русло обычного сыщицкого, на головоломке для умного следователя построенного криминального романа. Кстати, особенность лучших таких романов в том, что «кровь и смерть», убийство во всех его видах, трупы зарезанных, удушенных, застреленных не действуют на воображение, они воспринимаются в чтении как бы у с л о в н о, подобно договоренности в игре,— и вы скользите мимо них по

страиицам, как если б оии, как в театре, вскочили и побежали после падеиия заиавеса. Эта как бы у с л о в и о с т ь самой смерти, иужиая для темы «раскрытия загадки», процесса «детекта», тоже отличает подлиииый детективиый ромаи от макулатуры.

Обращаю вииманье читателя еще иа одии факт, очень интересиый и очеиь убедительиый для всего того, что сказаио выше. Братские социалистические страиы, как и иаша страиа, под влияиием огромиого читательского спроса иа криминальиые ромаиы, удовлетворяемого плохими переводами, стали сами создавать свои детективы. И вот — ярко обиаружилось, особеиио в иемецких детективах (ГДР), что в сюжет их вошли иовые «производствеииые отиошеиия» и иовые «производительиые силы», ие капиталистические, а социалистические, а вошедши, совсем измеиили стимулы, тактику и практику преступлеиий. Немцы — ие мастера в области кримииальиых ромаиов, оии куда хуже аигличаи — пишут тяжело, без искриики юмора. Но до чего же интересио следить в их книжках (ни издателями, ии писателями ие считаемых серьезиой литературой), какие ухищреиья выдумывают воры, чтоб воровать в странах общественной собствеииости, и какую форму убийств из ревиости, мести, сопериичества приинмают эти преступленья в страиах иовой, социалистической морали, иовых видов коллектива, иового характера иаучио-исследовательского, рабочего, фабричиого, спортивиого соревиоваиья... Право же, стоит иашим хорошим писателям потрудиться иад создаиьем своего талаитливого «детекта», который помог бы предвидеть и помогать в области охраиы социалистического производства и социалистических порядков... До сих пор, правда, преобладающим сюжетом все-таки бывают прячущиеся от суда иедобитые фашисты из Бухеивальда или других лагерей и размаскировка их иовым типом следователей.

Но я опять перепрыгиула иа шестьдесят четыре года вперед и словио свожу сейчас старые счеты, отвечаю на старые обиды,— все еще иаходясь перед старым «Петербургским листком» от 2 сеитября 1910 года. Впрочем, этот старый «Листок», сухой и хрупкий, с его короткой заметкой о приезде в Питер епископа Михаила Старообрядческого, действительио лежит передо миой в читальиом зале для старых газет, иа Фоитаике, в Лениинграде. Я заказала его, ие слишком полагаясь иа свою память. Чтоб было точио. Чтоб было «тогда» — в моем теперешием «сейчас». И чтоб память воскресила мие ярче и лучше все, что случилось после этой заметки о приезде епископа Михаила в Питер.

Я ие успела иачать разговор ии о Фокиие, ии о Михаиле. Гиппиус сразу перебила меня. В ее гостииой иаходилась в этот вечер вся троица Мережковских, и Зииа ие сидела, как всегда, у камииа, а прогуливалась по комиате. Оказывается, иовость ие я им — иа этот раз очень большую иовость сообщили оии мие. Свободиа ли я завтра дием? Смогу ли поехать иа окраиву, туда-то и туда? Очень интересиое движеиье среди рабочих — голгофский социализм! «Ни более ии меиее — Голгофа и социализм»,— произиес Философов своим густым мягким голосом, словио пробирающимся

сквозь его густые и мягкие светлые усы, пропитываясь по пути горловой влагой.

Среди моих рабочих, слушавших о древнегреческой философии, был плотный и широколицый, довольно прилично одетый человек по фамилии Нечаев. Он посещал не только мои лекции, но и Зинину «христианскую секцию», и как раз он-то и рассказал Мережковским о существующем в рабочих кругах Питера «голгофском движении». Больше чем рассказал — побывав в «христианской секции», он нашел, что голгофцы сами говорят вещи, очень похожие на то, что произносят докладчики на «секции», и чем «силы дробить», не лучше ли пойти с ними на соединенье? Теоретическая их основа — книги и публичные выступленья православного архимандрита Михаила, то есть бывшего православного архимандрита: он вышел из синодальной церкви, перешел в старообрядческую и получил сан епископа.

В подражание ему голгофцы тоже подали всем составом заявление о выходе из церкви. Они, правда, не приняли старой веры, не вступили в старообрядчество, как Михаил, но слова его, устные и печатные, отвечают вполне их душевному состоянью. Все это люди верующие, но не темные, как текстильщики, скопом наводнявшие фабрики по Шлиссельбургскому тракту из деревень Смоленской губернии. Те, по словам Нечаева, «несознательный» народ, которого еще держали в привычном «страхе божьем» церковь и царь. А голгофцы, собравшись как-то сами собой, на политическом недовольстве, держатся чистого Евангелия, которое читают и находят в нем совсем обратное тому, что видели в церкви; они соединяют Евангелие с критикой церкви, продавшейся правительству; с критикой правительства, продавшегося толстосумам. Епископ Михаил мыслит одинаково — и голгофцы хотят, чтоб он их возглавил...

Вот приблизительно что рассказал Нечаев Мережковским после одной из лекций «христианской секции» и что далеко не сразу, очень скупо и с молчаливым чувством превосходства сообщила мне Зина,— в этом молчаливом чувстве превосходства я постоянно читала: вот ты всюду ходишь, а мы дома сидим, но ты ничего дальше своего носа не видишь, а мы многое знаем, мы тайное знаем, и в этом тайном они к тебе не идут, а к нам, сидячим, идут... Она это не говорила словами. Но это так и стояло в ее усмешке одними губами, в ее сиповатом голосе, в слабом запахе надушенных папиросок, в градуснике, всегда лежавшем на темном бархате ее каминного столика. Может, и не стояло, а только мнительно воображалось мной, но я выходила из дома Мурузи на пронзающий сыростью петербургский осенний воздух почти всегда со страстным желаньем бунта. Незаметным образом к концу второго года пребыванья с ними огромная, чистая, слепо-доверчивая и благодатная любовь к Зине, любовь послушницы к Наставнице, стала пропитываться, как петербургской сыростью, этим беспомощным чувством протеста: «Не так! Не хочу!»

Но ради справедливости должна тут сказать, что и в самих Ме-

режковских постепенно накапливалось раздраженное противодействие чему-то моему. Они — еще до возникновенья таких ощущений во мне самой — как-то неприятно переносили возле меня свою собственную «зажиточность», которую я просто не замечала; они защищали — непонятно для меня — факты своих двукратных (в год) поездок за границу постоянными упоминаниями о болезнях, о настоянии врачей, они как бы подшучивали над сверхудобствами этих поездок в знаменитых куковских «sleeping-car'ах»[17]; над своими выездами в наемных автомобилях, а не на извозчиках... Особенно раздражался Мережковский, когда приходили при мне к нему письма с просьбой о деньгах, о материальной помощи. Изредка протягивая мне трешку, он желчно говорил: «Вы сходите, пожалуйста, вот по этому адресу, в эти номера, к «начинающему»,— черт знает что только он пишет! И жалуется, что на одной селедке сидит! Какое у него право считать в моем кармане, сколько у меня денег... Объясните ему все это — и дайте вот!» Мне было совестно выполнять такие порученья, совестно давать трешки, но те, кому пришлось давать их, сразу разгоняли мой стыд. Это были пропойцы, жившие в грязных номерах, и на столе у них, кроме селедочных хвостов, валялись пустые бутылки из «монопольки». Часто хозяева «номеров», узнав у меня, в чем дело, советовали: «Не ходите туда, лучше просто в дверь суньте» — и я знала, что «начинающий» там не один, а в компании. Все это, накапливаясь изо дня в день, осложняло наши отношенья, создавая подспудную, не выводимую наружу «психологию».

В тот вечер, когда я впервые услышала о голгофцах, мне все-таки удалось втиснуть и свою «новость». Равнодушным голосом я объявила о суде над Михаилом Старообрядческим и приезде его в Петербург. И между этими сведениями, не говоря, разумеется, что прочла их в «Петербургском листке», вставила как бы между прочим: «Ему запрещено священнодействие!» Странным образом именно последняя фраза подействовала на Зину особенно. «Запрещено священнодействие»... Мне снова пришлось выслушать вопросы: буду ли завтра днем свободна, могу ли поехать, есть ли деньги на транспорт? На листке, вырванном из записной книжки, Философов нарисовал мне план, как проехать к Нечаеву на квартиру... потом, посоветовавшись с Зиной, он смял листок, вырвал другой и нарисовал новый план: «Лучше сразу быка за рога, у них там организатор — женщина, некая Власова. Поезжайте прямо к ней, прощупайте ее, узнайте, сколько их, какие, как к нам относятся, не блеф ли, понимают ли, что мы такое. Надо все очень тщательно взвесить. Главное, бойтесь хвостов, не притащите их к нам...» Не откладывая на завтра, я тут же поехала на квартиру к Власовой.

Надо тут сказать кое-что о своем быте. Несмотря на перегруженность своего рабочего дня, я сумела как-то наладить очень своеобразный режим и придерживалась его довольно долго, воз-

[17] Спальных вагонах *(англ.)*.

вращаясь к нему иногда и сейчас. Каждую среду у меня был молчальный и голодный день — пила только три раза чай с сухариком и не разговаривала, не отвечала на вопросы. В 1917 году, выйдя замуж, я замучила этими молчальными днями мою бедную свекровь, настоящую патриархальную армянку, плохо понимавшую по-русски. Видя, что я молчу и не отвечаю на вопросы, ничего не ем, хотя сажусь со всеми за стол, она каждую среду плакала и заклинала меня «не обижаться, простить, не таить на них злобу», безнадежно не понимая мое спортивное поведенье. А «молчальные среды» были удивительно полезны. Они научили меня давать отдых горлу, языку и ушам. Обед свой в Питере я готовила сама: каждый день щи из кислой капусты на двух-трех сушеных грибах и каша, один день пшенная, другой день гречневая. Какой-то солдат в поезде рассказал мне, что в армии эти каши зовутся «блондинкой» и «брюнеткой». Я переняла эти названья. Ужином мне был чай с хлебом, изредка с кусочком копченой грудинки. Нигде и ни у кого я тогда есть просто не могла, сделала себе такую решительную «непривычку». Кроме разве изредка у Таты. Пишу об этом потому, что монашеский образ жизни в молодости почти гарантирует вам здоровые кишки на старости и дает всей зрелой полосе жизни необычайную легкость передвиженья.

Легкая, как перышко, в Петербурге, я хоть и пишу «тут же поехала», но на самом деле, конечно, пошла пешком, держа перед носом план, начерченный Димой. Идти было так же далеко, как к Уваровым, но в обратную сторону — в гущу мрачных питерских домов, населенных мелким чиновничьим людом.

Квартира Власовой была большая и темная, с общей столовой и двумя спальнями — ее и матери. Нина Власова вышла сама открыть дверь и, как сейчас помню, сразу же, с первой минуты, произвела на меня впечатленье исторического персонажа. В кругу Мережковских, да и в кругу моих рабочих-слушателей, я вращалась среди «индивидуальностей». Каждое лицо было отдельным, никого и ничего не напоминающим. Но у Нины Власовой лицо было типично. При этом типичным показалось оно мне отнюдь не из личного опыта, не потому, что я встречала много таких же похожих лиц. А из литературы, из прочитанных книг, из романов народников, Степняка-Кравчинского, тогдашних повестей в журналах «Русское богатство» и «Мир божий»,— это было лицо девушки, в котором не хватало юности, хотя Нина Власова была только на два-три года старше меня.

Овальное, с пухловатыми щеками, с небольшим ртом, в котором при разговоре мелькали тесно посаженные мелкие зубы, с небольшими серыми глазами и ровным носом. Все было в нём ровное, ничего некрасивого, никакой нарушенной симметрии — и все равно лицо это не обладало никакой красотой. Кожа его, да и губы как будто от рожденья не могли быть румяными, загорать, вспыхивать — петербургское серое лицо. И в то же время в ней, несмотря на чересчур тонкий голос, ничего ни на йоту не было ни мещанского, ни обывательского. Она не была замужем, у нее, как я позже

узнала, не было ни женихов, ни «ухажеров»,— жила она с матерью, кажется, получавшей хорошую пенсию по мужу, не то покойному чиновнику, не то военному, дослужившемуся до средневысшего чина. Мать не вмешивалась в дела дочери, но когда изредка мне приходилось ее видеть, на стареющем, тоже каком-то блеклом по-петербургски лице ее было упорное безмолвное неодобренье.

Мы сели с Ниной Власовой на диван и — помню — сразу же очень откровенно и просто разговорились. Должно быть, у нее не было подруги, а рабочие и жены рабочих приучили ее к искусственному — обдуманному, пропагандистскому лексикону, с каким «политический интеллигент» считает как будто нужным разговаривать с кружковцами. И Власова, утомленная постоянной ролью «организатора» своих голгофцев, облегченно заговорила со мной обычным языком интеллигентной девушки с такой же интеллигентной девушкой ее круга. А меня тоже до крайности утомил лексикон Мережковских и Карташовых. Это был изощреный язык текста с постоянным подтекстом. Понимать надо было не текст, а подтекст и отвечать на подтекст так, чтоб никто посторонний не догадывался. Возле них я начала как бы расслаиваться душевно: дошла до виртуозности в понимании их подтекста — и своею простой, почти детской половиной страдала от этого пониманья, боялась что-нибудь выкинуть неподходящее, стыдилась этой простой половины себя. Сейчас, сидя возле Нины Власовой, я чувствовала облегчение. Может быть, год назад это облегченье показалось бы мне кощунством.

9

Нина Власова приняла предложенье «соединиться» сдержанно и совсем не так, как Мережковские. Ей прежде всего хотелось в точности представить себе, какие «мы», и вовсе не «како веруешь», не наши отношенья к религии и революции, а именно что́ мы сами как люди представляем собой. Она очень практически, сразу же, определила разницу: живут они богато, не знают нужды, в рабочий район не пойдут и рабочие их не станут слушать. Я начала горячо защищать Зинин быт, Зинино отношенье к приходившим на «секцию», среди которых были рабочие, да хотя бы тот же Нечаев, предлагающий соединиться... Как они представляют себе соединенье? — спросила Нина Власова. И тут я впервые вывела на свет божий из самых отдаленных уголков моего мозга одну беспокоившую меня мысль, казавшуюся сомнительной,— мысль о том, что я все-таки не знаю, не понимаю, как и в чем проявляется у моих «кумиров» связь между революцией и религией. Запинаясь, я стала описывать Нине, что у нас достоверно, невыдуманно происходит.

Церковь — это в области религии. Субботняя молитва с чтением Евангелия. Я на субботы хожу. Дальше у них — причащение. На него, хотя я полтора года с ними, меня еще не зовут. Это их собственное, в полном отрыве от официальной церкви. В политике

они как-то связаны с парижскими эмигрантами, мне кажется — народниками. Что собираются делать — не знаю. И говоря все это, я как будто воду сквозь сито процеживала — идет, идет вода, а на донышке ничего не остается, жалкие какие-то песчинки, глядя на них, самой хочется сказать с удивлением: только-то! Однако в ответ на мой запинающийся рассказ, на мое сконфуженное подведение итога (про себя: «только-то!») Власова отнюдь не выказала разочарованья. Ответ ее был серьезен: «Варятся в собственном соку. Из церкви они ушли, завели у себя домашнюю, а в домашнюю перенесли из старой церкви обрядность. Голгофцы не придают такого значенья обрядности. Главное в нашем движенье — это готовность пострадать. Конечно, мы не хотим страдать зря, погибать по-глупому, но — принимать Голгофу, быть готовыми к ней. Мы за прямой отказ от неправды человеческой, глядим в лицо всему, что происходит, осуждаем это, наша молодежь не пойдет в солдаты».

Как же все-таки соединенье? И что оно даст? «Если говорить честно,— ответила Нина,— Мережковский, конечно, имя. Его многие читали. Сказать «Мережковский примкнул к голгофцам» — кое-что даст и вам и нам: ему прибавит авторитета от спуска в рабочую массу, а нам — авторитета от имени известного писателя. Но повторяю честно — практически нам сейчас важен Михаил, а не Мережковские. Мы хотим прояснения насчет того, как действовать, куда идти. За Михаилом Старообрядческим — большой стаж борьбы с церковной фальшью, имя его не меньше, чем Мережковского, в церковных кругах оно гремит! Если он согласится вести нас, мы за ним пойдем. Это, если хотите, реальное, это общественная сторона дела. А ведь у вас одна кабинетная книжность. Разве вы знаете, что делается в Париже? Там тоже разные эмиграции. Голгофское движенье выросло среди рабочих, оставшихся верующими. Они участвовали в революции, веря в бога. Им трудно отказаться от этой веры. А Михаил — епископ, он ученый церковник. Нам он нужен сейчас позарез».

Так в этот вечер и остался вопрос открытым — идти нам всем на соединенье или только мне одной на пробу, как эксперимент. Передавая мне во всех деталях все, что могло бы дать соединенье голгофцам, Нина упомянула вскользь, что, конечно, их общая касса (на организацию) выросла бы, потому что, входя к ним, Мережковские «сделали бы в нее свой вклад»... Эти слова привели меня в смущенье. Я вспомнила «благотворительную трешку»... Мне было ясно, что «денежный вклад» они не сделают. Не потому, что не хотят,— не смогут. «Богатые» на первый взгляд, избалованные, выхоленные в быту, они всегда были как будто без денег, жаловались, что нет денег, и коснись в связи с голгофцами власовской надежды на вклад, расскажи об этом Мережковскому — все тотчас же получило бы другую окраску.

Наступили очень трудные дни — осень пошла к зиме, дул в Питере сухой финский ветер, уже доносивший колючие отдельные снежинки в лицо. В Москве ждал меня очередной философский

семинар у Шпета, к которому я готовила выступление. А тут впереди — еще два «задания»: соединиться с голгофцами и устраивать новые книги Зины. Мне уже удалось помочь ей выпустить в Москве второй сборник ее стихотворений (первый был выпущен Валерием Брюсовым). Через Андрея Белого и, кажется, философа Степуна я познакомилась с московским издательством «Мусагет», а издательство «Мусагет» свело меня с отделившимся от него издательством «Альциона». Во главе «Альционы» был один из редакторов «Мусагета», веселый и предприимчивый «окололитературный» москвич Александр Мелентьевич Кожебаткин. Мы тотчас с ним сдружились, и он напечатал в «Альционе» маленькую мою книжку-исследование о стихах Гиппиус. Еще ранней весной Кожебаткин попросил меня достать что-нибудь у Гиппиус, и меня поразила быстрота, с какой она согласилась дать свои новые стихи. Я была назначена ею «шефом» издания, переписчиком (от руки), корректором, оформителем и страшно этим гордилась. Когда пришло время выплаты ей гонорара, Кожебаткин, печатавший главным образом начинающих, вроде меня, и, разумеется, бесплатно, уперся, как мул. И все же ценой невероятных усилий я заставила его выплатить ей, сколько она хотела.

Печатали тогда быстро, «как кошка рожает», говорил Ходасевич. Мы, молодежь, просто счастливы были, когда нас даром печатали,— и я, например, не только за книжечку в «Альционе», но и за два последовавших одно за другим издания моих «Orientalia» у Кожебаткина не получила никакого гонорара, да и не ждала его. Договоров мы не заключали и даже в глаза их не видели. В июне книга стихов Гиппиус была уже издана, и тут же она захотела издать через Кожебаткина, но уже в «Мусагете», два тома своей прозы.

Как ни отдаляют все эти мои отступления от событий в Петербурге, становившихся все более «горячими», я должна снова прервать рассказ и отступить назад на полгода, к тому же июню 1910 года. В самом начале этого месяца[18] я получила из Франции на московский адрес (дом Феррари) письмо, написанное неприятным инфантильным почерком Мережковского, с разбросанными кривулями букв и раскинутыми над строчкой заглавными. Сберегая чуть ли не каждый клочок бумаги, полученный от Зины, я выбрасывала редкие письма Мережковского — сохранилось только одно это, может быть потому, что оно заканчивалось условиями для печатанья Зининых рассказов. Историкам русской предреволюционной литературы публикация этого письма Мережковского может показаться интересной.

Мариетта, милая! Как же Вы могли думать, что я Вам не пишу, потому что забыл и не думаю о Вас. Как помню! Как радуюсь, что могут быть такие, как Вы, и в Вашем бытии и нашего капля меду есть. Из всех «детей» наших (разумею время, поколение, «отцы и дети») — Вы самая сознательная. Все, что

[18] На французском штемпеле письма указано 18 июня, на московском — 2 июня.

Вы пишете о Главном — не в бровь, а в глаз. Иногда вернее, точнее видите, чем мы сами — т. е. наше дело продолжаете, ростите нами посеянное. О, Господи, да изверг я, что ли, чтобы этого не ценить, не любить, не радоваться, не благодарить за это Бога! И когда Вы пишете, что такие же еще есть другие, с нами идущие или к нам,— это еще радостнее. Как взгрустнется, как руки опустятся — черт запутает, так вспомню об этом, о Вас, о Ваших — и хорошо станет и никакого черта уже не страшно: пусть путает — до конца не запутает. Ну так вот видите, родная, как Вы были не правы. А что не пишу, Вы меня простить должны. Из всех моих чертей черт писем — самый паршивый: не дает взять в руки перо, да и только — то то, то другое подсунет. А главное — ничего-то у меня в письмах — елей какой-то. Вы на него не обращайте внимания: дело все же остается делом.

А у нас радость большая. Доктор хороший осматривал Зину в Париже (рекомендован Мечниковым!) — сказал, что все благополучно — никакой опасности нет, можно возвращаться в Россию. Мы туда и едем дней через 10, но Вы еще сюда успеете написать. И мое сердце гораздо лучше. Ведь эт (исцеленье внезапное) просто как чудо Божье для нас. Вы верите в чудеса, Мариетта? Я не то что верю, я их вижу, вот как бумагу сейчас вижу, на которой пишу.

Теперь одно дело: очень, очень Вас прошу: войдите в переговоры с Мусагетом, чтоб он издал осенью две книги Зин. Николаевны (разумеется, под Вашей же «редакцией») — книгу новых рассказов под общим заглавием «Лунные Муравьи» (2000 экз. или 3000 — гонорар 500 р.— если уж нельзя, то и на 300 р. пойдем, но справедливо бы 500 р.) и книгу новых критических статей (те же условия: 2000 экз. или 3000 — это как хотят — 500 р. или 300 р.). Это для нас очень важно, чтобы обе книги в Мусагете же появились осенью. Скажите об этом Андрею Белому от нас и от меня специально, что я об этом прошу. У нас есть другие издатели, но не хочется обращаться к разным Шиповникам-Жидовникам-Клоповникам, когда Мусагет все же родной нам — через Вас и Борю. Зина, разумеется, под всем этим подписывается. Напишите поскорее об этом или еще сюда, или в Петербург (Литейная, 24). Устройте это дело, Мариетта.

Господь с Вами. Крепко целую Вас. На дачу ведь приедете к нам? Непременно приезжайте. Надо нам пожить вместе. Борю от меня и нас всех поцелуйте — это ничего, что он брыкается,— все же ведь родной наш, вечный, неизбытный.

Люблю Вас, как дочку милую. Христос над Вами.

Дм. Мережковский.

Все в этом письме резко оттолкнуло и ранило меня — фальшь и преувеличенье в первой части, какая-то «мелодекламация» стиля второй, даже там, где он сам указывает на «елей» в своих письмах; позорный антисемитизм, вырвавшийся у него оскорбительно для меня, потому что он не постыдился написать это мне, хотя не сказал бы вслух в обществе; и, наконец, нагрузка на мои плечи: «Устройте это дело». При всей своей собственной наивности и непрактичности, только что отвоевав для Зины у Кожебаткина ее гонорар, я знала, что запросили они огромные деньги. «Это я ей дарю — за имя,— сказал Кожебаткин, согласившись оплатить стихи.— Сяду я с книгой, ведь не станут покупать, ну три, ну четыре десятка самое большее. Имя — одно, а покупатель — другое. Мы не можем издавать себе в убыток». Так было сказано о больших «именах», не приносящих дохода. «Мусагет», я знала, и слушать меня не станет, а Боря, наобещав с гору, исчезнет куда-нибудь. И вот Зина опять захотела издать — через Кожебаткина — два тома своей прозы... А у меня весной выпускные экзамены, выступ-

ленье на семинаре, дипломное сочиненье, называвшееся тогда кандидатским. И ежедневно — двухчасовой урок, писанье статей в «Приазовский край», недосыпанье, недоеданье. А главное — захваченность задачей «соединенья с голгофцами»...

Усталая до одури к концу дня, я испытывала просто наслажденье, почти каждый вечер отправляясь в далекий путь к Нине Власовой. Это было разрядкой, отдыхом. Все мне у Власовых нравилось — низенькая настольная лампа, не бьющая светом в глаза; теплый запах из кухни поджаренной на подсолнечном масле картошки; сама Нина в бумазейном халатике, повязанном кухонным полотенцем, выходившая ко мне с обрадованным лицом. Мы усаживались в ее спальне, пили пустой чай с сахаром вприкуску и запахом жареной картошки для аппетита и разговаривали, разговаривали — чуть ли не до полуночи. Я ей рассказывала о своем выступлении на семинаре у Шпета; об очередном чтении Гегеля в Публичке; о квартирной хозяйке на Фурштадтской. Она мне — о своем детстве, о гимназии, о переговорах с Михаилом. Это было так непохоже на все, чем я жила в Питере до сих пор. Это было лишено всякого подтекста, просто, обыкновенно. Я чувствовала острую физическую потребность в такой «обыкновенности».

К ноябрю замерз залив, установился санный путь. Мережковские наняли на декабрь дачу в Финляндии. Дача в Финляндии тоже имела подтекст, отчасти литературный, отчасти мистический. Мне рассказывал Мейер, что вообще «дача в Финляндии» всегда была связана с историей революции, с устройством тайных типографий, с изготовлением бомб, с переходом финской границы — в Швецию, с конспиративными явками...

Но после смерти Толстого, особенно после моей вылазки «на улицу», в первую попавшуюся демонстрацию, Мережковские вдруг раздумали — и опять собрались за границу. Гиппиус передала ключи от дачи Тате и Нате. «Помните, Мариэтта, ждем от вас длинных регламентаций решительно обо всем, как Линь. И поменьше трагедий, побольше реальностей! Смотрите на финскую дачу как на нашу общую. Если понадобится, заберите у Таты ключи» — так сказала мне Зина, прощаясь, и в первый раз за три полугодия я не почувствовала никакой боли, никакого привычного укола в сердце оттого, что она опять уезжает. В прежние разы эта боль усиливалась с каждым шагом, ведущим меня от перрона — к выходу, от выхода — в пустой, вдруг становившийся пустым для меня Петербург. А сейчас, на пороге одиннадцатого года, под мягким рождественским снегом, падавшим с низкого неба, Петербург не казался пустым, он звал меня, звал тоже как будто конспиративно, не пустея, а словно освобождаясь от Мережковских...

Я ходила знакомиться с голгофцами — и первое время моим спутником был Нечаев. Самого Нечаева, его жену и детей я уже хорошо знала — он жил в лучшей, чем у Власовой, квартире, был у себя на фабрике уважаем и своими товарищами и дирекцией, носил длинные брюки и штиблеты, что выделяло его среди прочих, и в конце рабочего месяца, получая довольно большую зарплату

(как высшей категории механик), сразу шел в фабричный магазин. Там он закупал на месяц сухие продукты — чай, сахар, крупу, табак, сушеный компот, а детям пастилу и печенье. Остальное передавал жене, прятавшей деньги в носовой платок — и на полку. Власова говорила о нем: «Прирожденный баптист, а вот видите — пошел в голгофцы!» Странно, что и другие голгофцы показались мне уж очень «аккуратными». Начать с того, что на собранье они ходили семьями. Жена — это обязательно, а иногда и с детьми. Очень маленьких брали на руки, ссылаясь на «не с кем оставить», постарше — уверяя, что «все поймут и дальше не скажут». После сугубой таинственности, окружавшей Мережковских, все у голгофцев было до смешного открыто и лишено всякой мистики. «Почему он потакает хозяевам — забирает продукты в фабричном магазине?» — спросила я с первого же раза у Власовой. Она ответила: «Ему кажется, что там дешевле, да и ходить ближе». По сравнению с Кузьминым, путиловцем, этот Нечаев совсем не производил впечатленья революционера. Как-то без него я побывала еще у других голгофцев,— одинокой пожилой женщины, конторщицы, и семейного рабочего с фабрики Семенникова. Рабочий жил бедно и очень грязно. Жена, совсем молоденькая, мучилась с больным ребенком, трехлетним сынишкой, не стоявшим на ногах. Он явственно и чисто сам про себя говорил «больные ножки». Я носила ему леденцы и первый раз за свою молодость почувствовала тягу к детям — мальчик был трогательный и голубоглазый; отец приспособил ему ящичек на колесах, и малыш, сидя в этом ящике, передвигался, опираясь об пол руками. Я мучилась за него, мучилась, «жалея людей»,— и конторщицу тоже жалела.

Конторщица пошла к голгофцам из ненависти к хозяевам. В контору попала случайно, не имея образованья, не зная даже как следует арифметики. Из домашней прислуги хозяин ее, заведший какое-то дело, просто перевел эту Алевтину Ивановну из одного ее звания в другое, научив принимать посетителей и докладывать о них ему. Дело у него было сомнительное, и она никогда не могла рассказать в точности, что это было. Когда «контора» закрылась, она со званием конторщицы стала ходить «по господам» стирать белье. Мы с ней разговорились, и она сказала мне вещь, над которой я долго потом думала: «В бога я не верую. Бога не может быть. Если б он был, зачем ему создавать излишних людей? Я помру — от меня даже звания не останется, не знаю, как и хоронить будут. И сколько нас таких на земле...» Ну а как же она вошла в группу голгофцев? Ведь они верующие, они хотят исправить жизнь? «Вот так и вошла,— ответила она,— в свечной лавке посоветовали. Там был один такой деятель».

Власова меня выслушала с любопытством и призналась, что эта конторщица с ней так не откровенничала. Она говорила с ней толково, цитировала из Писания, даже выступала на собраниях — звала «пострадать». Конечно, это были случайные люди, но разве действительно есть на земле излишние? В ответ на мое письмо, на этот раз переполненное не Мережковскими, а такими «случайны-

ми» людьми, Анна мне написала из Москвы: «Чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что никаких излишних и случайных людей на свете не бывает. Мы все, наверное, кусочки из одного какого-то единственного человека. Всякий излишний — кусочек мозаики. Если б были на свете только такие, с виду не лишние, у которых есть звание, чин, занятие, место, полная биография, вроде твоих Мережковских, наверное — из них этот «единственный» не составился бы и никакой мозаики не получится». А Власова тоже ответила: «Вы никогда не задумывались над тем, что за люди шли за Христом, цеплялись за его одежду, чтоб исцелиться, задавали ему вопросы, мыли ему ноги? Ведь у них тоже, кажется, не было ни званья, ни твердого места на земле. А без них, без таких излишних, не появился бы и Христос. Вот они теперь тянутся к нам, к Голгофе...»

Приближались рождественские каникулы. И совсем неожиданно ко мне на Фурштадтскую нагрянули гости.

10

Несколько знакомых московских курсисток, их товарищи-студенты, засыпанные снегом, румяные от мороза, голодные, с рюкзаками на плечах,— человек восемь,— даже не постучавшись, рано утром прямо с поезда ворвались в мою узкую, как гроб, комнату, верней сказать — застряли в ее дверях, хохоча и осыпаясь снегом. Они приехали посмотреть Питер. Среди них были двое, муж и жена, молоденькие питерцы, взявшиеся руководить ими. Первым делом — экскурсия на Стрелку, чтобы побродить по льду Финского залива, посмотреть, как отражается солнце на льду,— вообще гулять, гулять, дышать кислородом. Я тут же перестроила программу рабочего дня и пошла вместе с ними. Мне вдруг сразу захотелось быть вместе, осыпаться снегом, дышать кислородом — стать кусочком в мозаике.

Среди курсисток была моя близкая подруга по курсам, осетинка Надя Газданова, маленькая милая девушка, румяная, веселая и — никто не догадался бы — больная туберкулезом. Она была дочерью известного врача во Владикавказе и училась со мной на том же факультете. Мы пошли рядом, а снег уже прекратился, был удивительный солнечный день, солнце на синем, почти итальянском по глубине и синеве небе, и лучи его действительно отражались в ледяных сосульках, свисавших с крыш. Но шли мы так долго, по таким незнакомым и невзрачным питерским улицам, что солнце в этот короткий зимний день уже стало как бы задергиваться дымчатой кисеей, где смешивались синяя и желтая краски. Шли мы долго еще потому, что группа вдруг остановилась, двое молоденьких питерцев, муж и жена, выделились из нее и, крикнув: «Мы вас догоним!» — побежали к темному двухэтажному дому с вывеской «Номера». Мне объяснили: «Они ютятся по чужим людям, учатся на казенный счет, поженились, а вместе побыть негде. Тут дешевые номера, они через час к нам присоединятся... только пойдем помедленней».

Я записываю этот эпизод потому, что, глядя на него издалека, за хребты многих десятков прожитых лет, я до сих пор чувствую всю его необыкновенную, совершенную чистоту. Ни у кого из нас — могу поручиться жизнью — не связывалось с ним никаких картин, никаких представлений. Все были озабочены трудностью их студенческого быта, необходимостью помочь, такой же товарищеской необходимостью, как «побыть вместе», раз уже поженились. Как бы сквозь нас, наши мысли и сердце, проходила вместе с морозным вечереющим днем чистая последняя улыбка солнца сквозь густеющую сине-желтую дымку на горизонте. И, дождавшись двух питерских друзей, мы сами почти побежали к заливу, ища место, где сойти на лед, а лед, весь еще розовый, помню, был в оснеженных, но острых, как ножики, бугорках. Нам стало вдруг очень холодно, кто-то сказал: «Назад, через полчаса будет темно». И мы двинулись назад, а когда, усталые, продрогшие, очутились уже на ровном питерском тротуаре, у меня завязался разговор с соседом.

Сосед был как раз этот питерец, худой, долговязый студент в очках, державший под руку свою, тоже худышку, жену. Почему-то я спросила у него, слышал ли он о голгофском движенье среди рабочих. Оказывается, что-то слышал, особенно о Михаиле, епископе. «Вообще говоря, эта фигура — очень крупная. Будь не у нас, а у немцев где-нибудь, стал бы он Лютером или, на худой конец, Цвингли. Яркая личность». Я спрашивала еще и еще. У него была однообразная манера беседовать. Почти каждую фразу он начинал «вообще говоря» и поднимал при этом к очкам третий палец левой руки, вылезавший из рваной перчатки. Очки не падали, но сползали, и он их постоянно сдвигал повыше к переносице: «Вообще говоря, паствы он себе тут не найдет. У нас мало кто станет слушать церковника. Хоть и самого левого. Молодежь склоняется к социал-демократам, зачитывается Марксом, это имеет почву. Но епископ Михаил здорово ударил церковь по самому ее слабому, самому гнусному месту, хотя у него самого есть слабое место — он все еще верит в церковь, вообще говоря, в церковь идеальную. Сам остается церковником». Что это за самое гнусное место в церкви? — спросила я с любопытством. «Вообще говоря, иерархизм». Он выразительно подчеркнул: и-е-рар-хизм.

Разговор этот помню очень ясно спустя шестьдесят четыре года — и это худое лицо в профиль, с посиневшими губами, и этот палец из рваной перчатки, подвигающий очки к переносице. Он не смотрел вбок, на меня, когда отвечал. Смотрел прямо перед собой, словно говоря себе самому. И мне на долгие годы запомнилось его твердое, громко произнесенное слово «иерархизм», которого я таким тоном ни от кого до сих пор не слышала. Мы разговаривали почти всю дорогу, и он посоветовал мне заказать в библиотеке и прочитать книжечку, выпущенную в 1908 году в издании «Союза старообрядческих начетчиков» в Московской типографии Машистова... Я тогда же заказала в Публичке эту книгу. Называется она

«Публичное собеседование архимандрита Михаила с синодальным миссионером, отцом К. Крючковым».

Только сейчас, перечитав недавно эту вещь — и много других вещей Михаила и о Михаиле,— я понимаю огромное, вначале, наверное, неосознанное, действие на меня этой маленькой, в пятьдесят шесть страниц книги. Михаил в ней еще в чине архимандрита: православная церковь как будто надеется его отстоять, сохранить — но он уже рвется из православия в старообрядчество. Ему кажется — тут ближе к народу, независимость от власти царской, вековая традиция борьбы с государством, народность, неподкупность... И православие посылает синодального священника побеседовать с ним, вернуть его к уму-разуму.

Весь этот «разговор» потрясающ, как художественная драма,— и, кажется, ни одному из наших атеистов-пропагандистов не удалось так обнажить церковь до глубокого гнилого корня, как в этой беседе. Отец Крючков весь виден, его можно представить себе живьем,— раздраженный и невежественный, крикливый, запыхавшийся, так что волоски на бороде шевелятся и пухлые, праздные руки хватаются за крест на груди, а глаза лезут на лоб,— и голос, как руки, одутловатый, дыханье короткое, весь пропитан желчью и злобой. И Михаил — со своим спокойным тоном интеллигента. Крючков задает основной вопрос и сам себе на него отвечает: «Каков главный существенный признак Церкви? Главный существенный признак Церкви — иерархизм». Он развивает это цитатами. Знакомые притчи евангельские... от Луки, 96, от Матфея, 16, 18, 19,— освещенные памятью вашего детства, говорившие вам не зарывать ваш талант в землю, творить, действовать, трудиться... все они, в истолковании «блаженного Феофилакта» и «мужа апостольска Игнатия богоносца», оказываются: «хозяин поручил делать куплю», «бог поручил трем чинам». И вывод: «Из этого Евангелия все должны уразуметь ту истину, которая здесь проводится, что в Церкви Христовой главный существенный признак — это трехчинная иерархия».

И слова «чин», «чиновник» употреблены! Вы делаете для себя потрясающее открытие: не просочилось ли все чинодральство и самое слово «чин» из церковного языка в государственный, в светский? Не берет ли сама бюрократия свое начало из церкви? И неужели простое, нехитрое Евангелие, направленное к простому, нехитрому народу, превращено церковниками-комментаторами в проповедь чиновничества, разделения на «чины», иерархизм, бюрократию, управляющую «мирянами» с помощью «оглашений», «крещений», «похорон», «свадеб», «причастий» «отлучений»?

Весь букет человеческого быта в пухлых руках бюрократов, строящих свою власть на «чинопочитании»! Вы неизбежно думаете это, читая Крючкова. И в ответ на речи Крючкова Михаил отвечает: церковь была и может быть без чинов, без епископов, церковь должна быть с народом. Отступление от народа ведет к папству, православие и папство, по существу, одно и то же.

«Синодская церковь признала земную жизнь и интересы труда, интересы равенства не подлежащими своей охране из прислужничества сильным». Позднее, в других своих книгах, Михаил будет ссылаться... на Каутского: «Читайте в «Истории общественных течений» Каутского специальную главу о Златоусте» [19]. Он назвал сам себя «народным социалистом», потому что «на Западе» слова «христианский социалист» означают «политических черносотенцев», и сказал это в десятых годах нашего века — задолго до нынешних правящих реакционнейших партий «христианских социалистов». Он начал разочаровываться за пять лет до смерти и в старообрядчестве. И все же прав был мой спутник, неизвестный питерский студент с его «вообще говоря», сказав о «слабом месте» Михаила: он все-таки верил в церковь, в возможность «идеальной церкви».

Все эти мысли и чтение Михаила пришли ко мне много лет спустя, но начало им положил этот мой спутник с очками, сползающими с переносицы. Он положил начало тревожному и страшному знанию: что́ можно сделать «комментариями» с самым чистым и самым простым текстом, когда его «комментируют» строители церквей и государств... Мы дошли до центра города уже в темноте, при зажегшихся уличных фонарях. Ночевка у тех, кто оставался в Питере, была подготовлена; те, кто сразу же возвращался в Москву, поторопились к Николаевскому вокзалу. Но я заметила, как шедшая слева от меня Надя Газданова, молчавшая всю дорогу, мелко дрожит. Она сама сказала мне, когда все другие разошлись: «Я к тебе, на полу лягу — можно? Наверное, я промерзла, что-нибудь себе отморозила». Но она ничего не отморозила — ей просто сделалось плохо. В моей комнате уложиться можно было только на полу, возле кровати. Я спустила туда тюфяк, оставив себе матрац; отдала ей подушку, накрыла двумя нашими шубами, оставив себе одеяло; принесла кипятку из кухни и наскребла ужин. Но Надя все тряслась, есть ничего не стала и всю ночь заливалась глухим, сиплым кашлем. Весной наступающего года мы должны были сдавать выпускные экзамены, но Газданову я не застала — она уехала к себе на родину. Года два шла у нас переписка, в последнем письме она писала: «Ты почаще пиши, а то будет поздно» — и я, как это так часто случается в нашей короткой жизни, не обратила внимания на два последних слова, не ответила сразу. Мне предстояло выехать в Кисловодск, по дороге я заехала во Владикавказ. Держа в руках бумажку с адресом доктора Газданова, подошла к высоко-

[19] Епископ Михаил. Ответ отцу Карабиновичу. Оттиск из журнала «Старообрядческая мысль», № 4, 5, 6 и 7 за 1915 год. М., 1915. Типография Машистова, с. 5. Смотри также другие очень интересные труды Михаила: «Прошлые и современные задачи старообрядчества» в той же типографии, 1911; «Открытое письмо епископам, собравшимся в Москве, и всем старообрядцам», 1910. Михаил Старообрядческий писал много, и его писанья — богатейший материал для атеистической пропаганды. А также для тех, кто хотел бы воскресить в истории наших общественных течений до Октябрьской революции одну из ярких и трагических фигур русского протестантизма. Приводимые мною цитаты я взяла из перечисляемых здесь книг Михаила.

му старому дому, где возле дверей была медная табличка «Доктор Газданов», позвонила — и услышала: «Тетя Надя умерла. От чахотки. Три месяца как похоронили». Говорил подросток, и на минуту все вокруг меня посерело. Подумалось: как могла я не уложить ее на кровать, а самой себе постелить на полу! Чувство вины пронизало меня. Много, много раз потом хотелось сказать людям: не пропускайте мимо вниманья, если близкие друзья пишут вам: «А то будет поздно».

Эпизод с прогулкой на Стрелку занял в Петербурге всего один день. Но последствия его были очень большие. Конечно, в первой же регламентации я отписала Зине все подробно, налегая особенно на пейзаж. Питерский студент в очках превратился у меня в студентов, группа в восемь человек — чуть ли не в восемьдесят. Я не лгала, я только хотела обобщить: молодежь говорила о социализме, молодежь считает епископа Михаила не той фигурой, он верит в идеальную церковь, в церковь вообще — и сознательные за ним не пойдут. Питерские студенты увлекаются чтением Маркса... и в моей регламентации я как будто высказала сожаленье, почему у нас, в «церкви Мережковских», нет социализма.

Одновременно с этой регламентацией случилась у меня неприятность, и в передаче этой неприятности я, видимо, и нажала на социализм больше, чем сама понимала,— я была убита, унижена, возмущена, потрясена. Дело в том, что Нина Власова, узнав от меня о финской даче, тотчас решила использовать ее, чтоб устроить очередное голгофское собранье с Михаилом в канун рождества на этой даче. Она рассудила, что запрет «священнодействия» в официальной церкви очень, должно быть, переживается Михаилом, особенно в праздник рождества, и он тем охотней придет к голгофцам совершить священнодействие у них и с ними. Да еще целая дача в Финляндии, в стране сосен и снега, среди финских крестьян, уважающих русскую революцию. Власова тут же начала подготовку. Я помчалась за ключами к Тате и Нате. И — наткнулась у них на нежданное-негаданное. Тата-Ната и Карташов сами укладывались, чтоб ехать на финскую дачу вместе со своей кухаркой и фокстерьером. Они встретили меня в штыки. Я увидела лица — совсем другие лица, не Татины-Натины наших субботних молитв, а «собственнические» лица моих хозяек с Пантелеймоновской и Фурштадтской.

«Ключей я тебе не дам,— сказала Тата голосом твердого благодушия.— Дача нужна для человеческого отдыха, нашего и Антона. Никаких голгофцев. Зина так, между прочим, сказала — если только она действительно тебе сказала,— но мне она совсем другое сказала, и ключи-то ведь не тебе отдала». Я начала убеждать и молить. Сослалась на подготовку, на «священнодействие», наконец на Мейера, который тоже хотел присутствовать. Но Тата спокойно твердила свое и даже попросила не мешать ей укладываться. Трудно представить стыд, с каким я пришла к Нине Власовой. Я видела перед собой «мир в развалинах», мир, в котором жила полтора года, верила в него, опиралась на него,— исчезло слово «наше»,

развалилось на куски слово «мы». Но собственный стыд был пустяком перед снисходительным ответом Нины, что, собственно, так она и думала. Кто же даром отдаст дачу на праздники! Я «могла не понять Мережковских, могла принять желаемое за существующее». Но не беда. Нечаев предлагает устроить у себя на квартире. В ней четыре комнаты, одна большая, где разместятся двадцать человек...

Мережковские были где-то в «Красных скалах» — местечке Агэй департамента Вар. Все это большими буквами стояло на желтых листах почтовой бумаги вместе с изображением огромного отеля (шесть этажей в те времена казались упиравшимися в поднебесье), с круглыми купами кудрявых дерев в парке, с видом гуляющих по аллеям крохотных человечков, с опоясывающей парк игрушечной железной дорогой и морем на горизонте, покрытым тоже игрушечными корабликами. И так это все не подходило к нам, к нашим питерским переживаньям. В ответ на мою первую, сразу после их отъезда, еще короткую регламентацию Зина писала тоже коротко:

21—XII—10

Здесь такое великолепие погоды, такая торжественная красота солнца, что нет сил к закату попасть домой, вчера чуть запоздала и сегодня сижу с насморком... Тепло так, как у нас в лучшие дни августа. И «поздних роз дыханьем декабрьский воздух разогрет»...

А вот по моим делам: ваш Кожебаткин невероятно поступил: в с е увез, все (единственные) экземпляры и ничего не ответил, буквально! А Лина еще пишет, что «скрылся». Разузнайте, в чем дело.

Гиппиус сразу оценила Анну — и начала бесцеремонно втягивать ее в свои дела. А мне было явно не до Кожебаткина, не до двух томов ее прозы — я жила лихорадкой соединенья с голгофцами, предстоящей встречей с епископом Михаилом, провалом финской дачи. Следующее мое письмо в Агэй было как раз о происшествии с этой дачей. И о многом таком, что пришлось передумать за эти дни. Смущали даты — я забывала учитывать тринадцатидневную разницу в календаре на Западе и у нас,— и удивлялась, получив письмо от 26 декабря, когда еще не наступил сочельник, не состоялась наша с голгофцами первая встреча, и на листке нашего отрывного календаря стояла цифра «13». Ответ Зины, на этот раз очень длинный, вызвал тяжелое разочарованье и стыд за нее, хотя это был «добрый» ответ, и полгода назад я была бы счастлива читать и без конца его перечитывать.

Привожу это письмо с большими сокращеньями:

Agay, 26-12-X

Сегодня, дорогая, мне хочется написать вам без счету за то, что вы такая умница и регламентация ваша мне понравилась... Конечно, вы правы (с моей и с вашей точки зрения), а не Тата. То есть мы на вашей стороне. Тата тоже права по-своему, даже не права, но имела право на такой житейский отдых, потому что при этом она должна была сознавать, что она от слабости своей и Карташова отказывается от другого, а вовсе не от правоты и силы... Грустно, что все так вышло... «Метафизические» хозяева дачи огорчились, что так все вышло. И что вы не смогли сказать Мейеру и Михаилу — «наша

дача». Но оставим это, не огорчайте даром Тату, не довольно ли вам пока, что мы в этом деле на вашей стороне, а не на Татиной...

О социализме — извините меня, Мариэтточка, но вы как-то глупо написали. Горячо спорите — но против чего и против кого, милостивый Боже? Социально-экономическое устройство как таковое я всегда считала и считаю необходимостью и даже неизбежностью, т. е. оно все равно будет, и оно для наших мечтаний тоже необходимо, т. е. и царство Божие без социализма не мыслится. Я судила религиозное отношение к социализму, т. е. поклонение социализму как абсолюту, человечеству как Богу. И поскольку такая концепция существует, постольку я и права. Вы можете на это возразить, что «религии социализма» вообще не существует ни у кого,— это будет прямое возражение, хотя еще не доказанное. Но с чего вы принялись мне навязывать мысль, что раз я против религии социализма, то, значит, против социализма? Эдак вы завтра убедитесь, что я против топки печей, потому что не за огнепоклонников... Не тратьте споров и слов там, где между нами нет никаких разногласий — т. е. я, по крайней мере, их не вижу... Напишите мне подробнее про Аниу. Уехала ли она? Если нет — поцелуйте ее от меня реально, если да, то в письме. От Бори я получила открытку из Монреаля (я там была, это над Палермо), пишет, что «счастлив». А мне как-то стало грустно. «Единый раз вскипает пеной...» Вот тебе и единый! «Душа одна — любовь одна»... Очевидно, у каждого человека несколько душ. Разбирая парижские бумаги, я нашла много очень глубоких писем Бердяева. Это — его одна душа, тогдашняя. Где она? Ведь теперь другая. Вот уже сразу две...

...повторяю, очень вы меня нынче порадовали. Жду с нетерпением след. письма. А пока нежно и крепко целую вас. Теперь уж недолго, скоро мы и назад будем. Пишите подробно о Михаиле. Жаль, что я вам не могу всего писать о здешнем.

Ваша Зина.

Нужно было отнести письмо Власовой, чтоб хотя бы оправдаться перед ней за дачу, показать, что я ничего не выдумала. И стыдно отнести. Уж очень — даже при моем убогом знании о социализме — смешно и невежественно было то, что она писала о нем. Социализм был научной теорией, социал-демократы были атеисты. Откуда взяла она об отношении к социализму как к религии? Обожествления «человечества»? И приравнивать социализм — к топке печей! И делать его синонимом — социально-экономического устройства вообще? Нет, нельзя относить письмо, да и Власовой было не до писем. У нас назревали большие события.

Нечаев охотно «предоставил» свою квартиру. Но надо было ее убрать, купить и расставить по столам, подоконникам и углам цветы, а цветы были дороги : в декабре — их поездом доставляли из Ниццы, оттуда, где «поздних роз дыханьем декабрьский воздух разогрет»... Надо было достать чашу. И надо было на все это собрать деньги. Я рассылала записочки с приглашением, а разносили их по домам, из опасения почты, голгофские девочки. Все это походило на свадьбу или похороны, а главное: на подготовку «обрядности».

Обряд в быту — вовсе не пустяковая вещь, он пронизывает жизнь. Сказывается обряд даже в «обряжнвании», в праздничном наряде для гостей. Церковный обряд в русском народе прижился почти бессознательно, как выход из обычного трудового тягла, с ним связаны были отдых, нарождающееся эстетическое чувство, многие стороны фольклора.

Помню, как после Октябрьской революции у нас пробовали, начинали и даже прививали кое-где искусственные обряды, связанные с событиями жизни,— чтоб насытить потребность обряда у народа и чтоб укрепить в людях социалистическое сознание. В самом начале двадцатых годов, когда я привезла из Питера в Москву свое ни на что не похожее детище, роман «Месс-Менд», и его в рукописи прочли сперва Николай Леонидович Мещеряков, а потом один из крупных партийных работников, ко мне в день принятия романа зашел этот работник, еще взбудораженный и развеселившийся от чтения. Не слушая никаких отказов и вопросов, он потребовал, чтоб я тотчас же оделась, потащил меня с лестницы, усадил в машину, предварительно познакомив с «шофером самого Ленина, товарищем Гилем», и Гиль повез нас, сперва покатав по Москве, на большую, нарядно освещенную фабрику. В открытые двери валил народ. Кое-кто нес раскрашенные бумажные цветы на проволоке, окрученной зеленой бумагой. «Сейчас вы увидите замечательное зрелище, Октябрины. И я вас познакомлю с Кларой Цеткин»,— сказал мой спутник. Кто-то нас встретил, кто-то повел через толпу в большую клубную комнату, увешанную портретами и плакатами, кто-то расступился, давши нам место у разубранного стола, рядом с улыбающейся, серебрянокудрой, красивой старой женщиной в кружевном воротничке, поздоровавшейся с нами. «Клара Цеткин,— сказал мне мой спутник и ей: — Наш советский автор, товарищ Шагинян». На красной скатерти стола лежала подушка в белой как снег наволочке с красивыми вышивками, а на подушке что-то темное, сморщенное, издающее чуть слышный сип, в розовом чепце. Подушку придерживала молоденькая смущенная женщина. Кто-то сказал речь, за нею от коллектива фабрики выступил рабочий, протянув руки к комку на подушке и передавая его Кларе Цеткин. Твердо приняв и слегка приподняв этот комочек в розовом чепце, Клара сказала ясным голосом немецкую фразу, что-то вроде: «Zur Ehre der grossen Revolutionnärin nennen wir dich — Rosa», а потом тотчас же по-русски: «В честь Розы Люксембург, большой революционерки, называем тебя Роза» — и передала крошку, внезапно переставшую сипеть, матери. Произошло все это быстро и хорошо, и рабочие, видимо, отнеслись к новому обряду вместо прежних крестин серьезно и просто. Женщина, стоявшая позади нас, сказала: «Нашего полку прибыло». Я тогда почувствовала себя умиленной и тоже очень довольной. Наверное, в архивах фабрики, на памяти старых рабочих или в районных организациях этот случай как-то сохранился. Жалко было бы, если б он выпал из биографии Клары. И наверное, еще живет и здравствует октябрьская Роза. Но я опять перескочила в будущее...

До рождественского сочельника оставался один день. Мы с Власовой должны были приехать не «со звездой», а часа на три раньше, чтоб проследить за голгофцами, все ли они пришли. Не знаю, откуда Нина раздобыла целый букет тюльпанов,— у входа каждый из приходивших должен был получить по цветку. На этот раз я не пошла пешком, а села на конку и была на месте чуть даже

раньше Власовой. Нечаев открыл мне дверь — без пиджака, потный, только что сам пришедший с работы. Точней, не с работы. Взяв получку, он, как всегда, зашел в фабричный магазин, и на столе в главной комнате лежала целая гора одинаковых белых картонок. Он стал раскрывать их одну за другой и протягивать мне, сказав вместо «кушайте» пышное слово «вкушайте». И сам вынул длинный прямоугольный брусок яблочной пастилы, согнул его пополам и отправил в рот. «Есть до причащенья!» — ответила я почти с негодованьем. И так четко запомнила всю эту сцену, может быть, благодаря необычному слову «вкушайте». Перед праздником рождества, как перед пасхой, я усвоила себе привычку поститься. Было удивительно хорошо походить дня три-четыре с пустым желудком, а в сочельник дотерпеть до «звезды» и потом сесть за стол и разговеться. Особенно «говеть» важно было перед причащеньем. И тут вдруг голгофец, активный член голгофского движенья, уважаемый нами Нечаев, презрев эти очистительные обычаи, перед причастием, да еще из рук епископа Михаила, преспокойно сует в рот пастилу! Мне смешно вспоминать сейчас, как мы стояли, словно два петуха, друг против друга — Нечаев и я. Он потянулся — как мне показалось, уже из принципа — еще и за вторым куском и сказал: «Ну, знаете ли, мы — рабочий класс, нам это не посчитается».

Набралось человек двадцать. Нина шепотом поговорила с каждым, рассадила нас, меня поближе к себе; дверь соседней комнаты, видимо кухни, открылась, и жена Нечаева, причесанная и разодетая по-праздничному, как хозяйка, ввела почетного гостя, невысокого, в епископском облачении, в клобуке (не помню, какие у них специальные названья головных уборов) бородатого человека с проседью в густых волосах и с темными, глубоко во впадинах сидящими глазами — епископа Михаила Старообрядческого. Голгофцы встали, он пожал ближайшим к себе руки, остальным поклонился во все стороны и подошел к столу, с которого Нина уже успела убрать картонки. Стол был накрыт красной парчовой скатертью, на нем стояли высокие медные подсвечники, лежало рядом на стуле несколько книг. Уже кто-то, у окна, бросил кусочки ладана в тлеющие угольки и раскачивал кадило, чтоб они разгорелись. Тонкие синие дымки начали струиться по комнате, наполняя ее приятным запахом. Михаил, как-то очень торопясь, пресек эти действия, приближавшие нашу комнату к обычной церкви; он поднял ладонью вверх правую руку и заговорил. После нечаевского «вкушайте» речь его показалась мне удивительно простой, светской (в смысле отличия от его духовного звания) и вразумительной. В ней было хорошее уваженье к аудитории: скидки ни для кого и ни для чего не делал, говорил высокоинтеллигентно, без хитрости и без дипломатии, но и без капли упрощения. У меня в дневниках не записана его речь, в памяти она тоже не сохранилась. Но позже с помощью чтения многих его статей и книг — и печатного «отречения» от голгофцев — я могу представить себе ее возможное содержание.

Прежде всего там должна была быть справка о себе — почему он ушел из православной синодской церкви и вступил в старообрядчество, об этом часто упоминалось в его книгах. Церковь, созданная для народа, должна быть близка с народом, открыта для него, и пастырь обязан общаться с прихожанами, а прихожане — участвовать в решениях и действиях церкви. Но в православии это исключено. В православии нет равенства христиан, нет самостоятельного сужденья, нет мирян — они за оградой. Синод предписывает. Епископы становятся непогрешимыми. Чем отличается это от папства? Православие отличается от папства разве только тем, что в нем совершенно нет логики, но по существу папство и православие — одно и то же. Он, Михаил, ушел в старообрядчество потому, что оно никогда не продавалось правительству за подачки, оно независимо и с первых своих шагов состояло в борьбе со светской властью... Голгофа — великий символ для каждого из нас. Принять голгофу, страданье и смерть,— значит, выполнить долг христианина в отношении малых сих, страдающих и обремененных...

Глаза увлажнились, щеки покраснели — не столько от слов, сколько от силы и бесстрашия, с каким они произносились. Помню только одно место, потому что оно подействовало на всех нас: «Каждый день можно прочесть в газетах: полевой суд, смертная казнь через повешение...» Кто смеет отнять жизнь человеческую, которой не создавал? Кого казнят? Не трусов, не приспособленцев, не сидящих в прихожей у вельмож русского царства, не тех, кто говорит «моя хата с краю, ничего не знаю». Ничего не знать нельзя, и мы не имеем права на это. Как можно терпеть истребление лучших из мирян за то, что они — лучшие? Тут опять Михаил перешел к Голгофе, к Гефсиманскому саду, когда тоскует душа, боясь отдать свое смертное тело в борьбе за братьев своих. Но чем была бы жизнь человеческая, если б не было в ней борения лучшего с худшим, света с тьмой, если б не победила в ней Голгофа, смерть и воскресение...

Человек с кадилом приблизился, поплыли опять синие дымки по комнате. И Нина Власова поставила перед епископом Михаилом большую чашу, накрытую куском алого шелка. Михаил скрестил над ней руки, наклонил голову, безмолвно помолился. Потом очень привычным для себя жестом откинул шелк со стеклянной чаши, сквозь грани которой гранатовым цветом блеснуло вино.

Рабочие подходили, брали кусочек причастия на язык, отхлебывали глоток из чаши, крестились, ставили чашу на стол. Подходили их жены. Отцы поднимали к чаше детей. Причастилась Нина Власова. За ней подошла и я. Когда подняла стеклянную, не хрустальную, а легкую, из простого стекла, чашу и взяла на язык частицу причастия, пресный кусочек просфорного теста, я вдруг почувствовала ужас перед глотком. Это был вовсе не мистический и никакой не психологический ужас. Я внезапно подумала — какое язычество! Ведь это из глуби глубин веков — едите от плоти моей и... вкусите от крови моей, так, что ли? Вкусите — вкушайте! Язычество, людоедство, оскорбительная символика причащения —

съедать часть тела Христова и запивать ее кровью Христа... Но я глотнула вина и поставила чашу на место. У меня кружилась голова, может быть, от трехдневного поста. Про себя решила, что больше не буду, не хочу, что это не духовное приобщенье к чему-то, а ненужная, уводящая от разума, от ясной мысли, от ясного действия — людоедская, мракобесная символика.

Не глядя никому в лицо и отведя глаза от вопросительного взгляда Власовой, я пешком отправилась домой. По дороге мне мерещились капища в пустынях, жрецы в каких-то тюрбанах, алтари, о которых пишут «обагренные кровью», агнцы — кудрявые барашки,— которых ведут на закланье, в жертву богу, самому разному богу, и гугеноты, которых резали католики... Религии проходят. Они проходят, потому что они преходящи. Принесла ли хоть какая-нибудь религия пользу человечеству? Res ligio — дело связи. А связывает ли она? Не развязывает ли вместо связи? И опять — католики режут гугенотов... Я пришла домой, выбросила все из головы, увидела приготовленный с утра ужин для «разговенья» — и почувствовала, что голодна, тупеет голова, ни о чем не хочется думать. Много раз в жизни, когда ты одна и не с кем поделиться словом, а на душе очень нехорошо, даже отвратительно, я громко вдруг в полном одиночестве говорю самой себе какое-нибудь «финальное слово», чтоб перебить шум в ушах и тоску на сердце. Это самое «финальное слово» выговаривается само собой, не облегчая, не успокаивая, а как бы подтверждая, как точка над «и», свое безвыходное несчастье. И я сказала громко, на всю комнату: «Религии проходят».

11

Читатель может подумать, что в памяти у меня не могли сохраниться в течение шестидесяти четырех лет все оттенки сложных, очень еще юных и недозрелых переживаний и, описывая их сейчас, я больше сочиняю. Но, странным образом, забыв много существенного, я как раз помню вечер сочельника 1910 года, не только помню сейчас, но очень ясно, с «финальной фразой», вспомнила его в октябре 1973-го в маленьком французском городке Доль, по пути из Франции в Швейцарию.

Я рассказала об этой поездке в своих «Швейцарских письмах», но коротко повторю и сейчас. Городок Доль — это город, где родился гениальный Пастёр. В нем стоит очень интересная (с точки зрения абстрактного искусства) церковь-модерн имени евангелиста Иоанна, автора Апокалипсиса. В сущности, и архитекторов и скульпторов вдохновил именно Апокалипсис с его четырьмя конями — они абстрактно извиваются сейчас вокруг церкви железными прутьями-барельефами вдоль стен. Описывать эту церковь (она притягивает туристов) здесь ни к чему, но, бродя вокруг нее и в ней, я думала о современной тенденции папства и западных церквей вообще — идти, даже бежать за веком в его вкусовых, эстетических, строительных изменениях, даже в модернизации самого ма-

териала «по духу времени». Бетон, разумеется, вместо прежних дерева и камня. Бетон и стекло. Квадрат, куб вместо круга и купола. Стремленье удержать паству, меняющую свой вкус и моду. Но — стремленье классовое, погоня за городской — богатой, интеллигентной, чиновной — паствой. Вряд ли простой человек потянется в эти церкви с богомольным чувством. Внешне — бежит за веком, а внутренне? Учение нашего декадентства, Вячеслава Иванова и Бердяева,— о д в у х церквах, одной, грешной, на поверхности, другой, глубинной, мистической, единой Настоящей церкви (с большой буквы),— близкое, в сущности, всем мистикам всех времен, бесконечно мне знакомое смолоду (как подземные воды, текущие под самой сухой почвой),— держится сейчас в очень энергичной деятельности папства: в призыве к объединению в с е х христианских церквей. В ответ на коммунизм, в ответ на растущее во всем мире ясное и человечное учение коммунизма церковь перестраивается, ее идеологи затушевывают различия, сыплют песком на острые углы, залитые кровью прошедших церковных побоищ из-за разногласий, кажущихся простому разуму человека просто ерундой и нелепостью... Мы как-то мало замечаем этот процесс, мы не придаем ему большого значения. Но он происходит.

И разгуливая вокруг нового капища евангелиста Иоанна, вспоминая о заметках в западных газетах о явлениях искусства, выросших на новых явлениях мышленья — фрейдизме, экзистенциализме, я как-то вдруг ясно представила себе капища в пустынях, алтари, обагренные кровью, католиков, режущих гугенотов, и свою детскую «финальную фразу»: р е л и г и и   п р о х о д я т. Но тут же вспыхнула и другая мысль, яркая и спокойная, как радуга в небе. А разве «единая Церковь», та, которую несут в душе мистики, о которой сейчас деловито хлопочет папство с кардиналами, безгрешная, несказуемая и несказанная, к которой хотят принадлежать все верующие в надежде на спасение,— в страхе погибели, в страхе дьявола, того, кто так же, как и церковь, пишется у мистиков с большой буквы,— разве эта «единственно сущая» церковь сближает, связывает, с о з д а е т res ligio, д е л о   с в я з и? Она, может быть, больше, чем все другое на свете, углубляет человеческое р а з д е л е н и е, становится уделом о д и н о ч е к, гнездится в замыкании каждого «я» на самом себе, отводит от народа, от любви к народу...

Это все я вспоминала и думала совсем недавно, а сейчас перейду к концу моего петербургского этапа.

Власова, конечно, заметила мою угрюмую уклончивость при уходе от Нечаева. И когда я произнесла, стоя у себя в комнате, свою «финальную фразу», думая, что одна, дверь, ни разу у меня не запиравшаяся, вдруг открылась, и озабоченный голос Власовой с оттенком всегда присущей ему деловитости произнес: «С кем это вы разговариваете?» Оказывается, она, как только успела все убрать у Нечаевых, решила сама пойти ко мне. Пока я помогла ей снять шубу и сбегала на кухню подогреть чайник, настроенье у меня изменилось, ни в чем не захотелось ни признаваться, ни отк-

рываться. А Власова, учуяв это, начала с того, что ей «тоже не далось причастие», не так далось, как хотелось бы. Мало было в речи Михаила политического, да и мало было христианского, то есть о рождестве в новом свете, с новым пониманьем — ничего не сказано. Дата, конечно, всех связывала, рабочие пришли как в церковь и заняты были, наверное, будущим разговеньем у себя дома, даже, может быть, гостями, может быть — выпивкой... Но не все. И вот о чем надо нам серьезнейшим образом договориться... Она помолчала и, понизив голос, зная, что хозяйка может подслушивать, тихо докончила: «Сильная дата — девятое января. Расстрел простого народа царем. Это у всех близко к сердцу. Мы собираемся следующий раз девятого января. Очень важно для всех, особенно для епископа, чтоб были Мережковские, вы понимаете? Он прямо не говорил, но я знаю, что на вас как на делегата он серьезно смотреть не может. Он сейчас очень одинок. Надо, чтоб не только голгофцы — нас ведь мало,— но чтоб крупная, ведущая интеллигенция помогла ему. Ну конечно, и нам нужна эта помощь».

Речь ее сводилась к тому, чтоб я «употребила все силы» убедить Мережковских вернуться к 9 января в Питер. «Но вы сперва скажите мне, Нина: что должно следовать за причастием? Я этого никак до сих пор не понимаю у Мережковских, не понимаю и у голгофцев. Практически — что мы будем делать, во что должно вылиться наше движенье? Ведь причастие не конечная цель? Чем это поможет революции?» — «Как организация мы следуем за народовольцами нового типа. У нас новая, если так можно выразиться, психология. Раньше человек шел на уничтоженье народного врага один и грех человекоубийства брал целиком на себя, совершал один. Он на полную погибель своей души делал этот шаг. Мы, голгофцы, благословляем его на этот шаг, мы снимаем с него грех, облегчаем ему совесть, поскольку мы — церковь». Это она произнесла одними губами, почти беззвучно.

У меня на столе лежала книга, оставленная мне Зиной «на изученье», которую я сразу же забраковала как искусственно и плохо написанную,— «Конь бледный» Ропшина. Власова дотронулась до нее беглым жестом: «В ней есть кое-что похожее, но из другого источника, уж очень у него и у ваших Мережковских много театральности. Жизнь ведь гораздо проще. Они отсиживаются в своей литературе, у них все литературой и остается. Вот если б вы убедили их приехать. Напишите им, что я сказала. Подействуйте на их самолюбие!»

Но как ни серьезны были Нинины слова, я все же не представила себе голгофцев в роли народовольцев. Кто из них? Ведь не Нечаев? Не сам Михаил? А где возьмут оружие и какая же у них организация? Где, когда, в каком государстве, какая церковь благословляла на религиозно-революционное убийство и самоубийство? И опять спокойный рассудительный ответ Власовой, на этот раз не шепотом, а в полный голос: «Вспомните крестовые походы, рыцарство, освобождение гроба господнего, подумайте об энтузиас-

тах-рыцарях, о благословении их мечей церковью — в какие страшные бои вступали они, в какую географическую даль ездили, а тогда не было поездов, были только лошади, кони. Тогда не было тяжелой артиллерии, чтоб действовать из безопасных окопов. Сражались лицом к лицу, мечи с мечами. Церковь провожала их на смерть. Они, как лозунги, несли на своих знаменах имена святых мучеников, отцов церкви!»

Этот пример на короткое время уловил меня. В воображении встали скрещенные мечи, кони под седоками, наседающие один на другого грудью, боками, крытыми чепраком,— и шлемы, панцири... вся книжная романтика из картинок «учебника по Западной истории для старших классов». Я прошептала почему-то — не могу объяснить себе до сего дня почему — по-французски: «Croisade»... крестовый поход. А Нина Власова, почувствовав, что «разговорила» меня, сразу поднялась. Было поздно, я ее не задерживала. Настроенье мое резко изменилось. Еще темным было раннее утро, а уже до чая, при тусклом свете лампочки, в похолодевшей за ночь комнате я, закутавшись в шубу, строчила Зине регламентации. Предвидя огромную нагрузку на свое время, сдерживая свой страстный порыв к действию — тотчас сорваться, бежать и готовить все, что понадобится для 9-го,— сдерживая себя, как коня за узду, я настрочила сразу целых две регламентации. Одну, коротенькую, про первое голгофское собранье, свой ужас перед причастием и — главное — как важно, как нужно, чтоб они приехали к 9-му. А вторую — о Croisade.

Ответ на первую пришел очень скоро. Я вынуждена — чтоб вся история этого отрезка зимы, с конца 1910-го и до конца 1911-го, в которую произошел мой полный отход от Мережковских, была ясна и понятна читателю,— переписать здесь в отрывках последние письма Гиппиус из-за границы. Мне тяжело их сейчас перечитывать, и я все же чувствую себя — по-человечески — не вправе публиковать их. Но это, как любил выражаться Ницше, «человеческое, слишком человеческое»...

С.-Петербург.
Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Фурштадтская, 41, кв. 8.

6.1.11. Крещенье
(Погода июньская)

Трудно, очень трудно ответить вам, Мариэтта... Если бы мы, без объяснений, телеграфировали вам «да», то я бы считала, что, значит, 9 января мы идем к Михаилу вместе с вами, и это было бы совершенно так же реально, как если бы мы 9-го к вечеру приехали и без разговоров пошли... Тут я должна сказать, что отчасти мнения нас трех являются разными — благодаря разной психологии, а потому фактически мы, вероятно (приехав к 9-му), не пошли бы с вами. Дмитрий Сергеевич склонялся к тому, чтобы телеграфировать вам «да»... Дмитрий Владимирович боялся идти, он боится непосильной ответственности и того, что войдя Туда,— войдет до конца, до коинчка... так же, как если б ему пришлось в Православную Церковь войти (это пример, не аналогия). Что касается меня, Мариэтта... Ваше описание подтвердило мою догадку, что там много правдивого, хорошего, божеского и любовного. Почему же мне пуритански сидеть со «своим», в домашности запереться

между Карташовым и Мейером, а не пойти к «тем» — с верой в их добрую волю и с моей собственной доброй волей их полюбить?.. Для меня их Таинство включается в наше, потому я и могу спокойно пойти к ним, ничего не предавая — раз я себя насильно не уменьшаю, не обрезываю себя. В конце концов это приложимо и к Православной Церкви — было бы, если б там не было коренного расхождения воль, существенно иного отношения к жизни и земле. По тому что Таинство как таковое, в чистом виде,— оно свято и в Церкви, и оно тоже как-то в наше включается, ведь Церковь одна. А тут, у Михаила, еще и направление воль одинаково... Когда вы стояли у Нечаева посреди комнаты и держали в руках «с ужасом»... у вас было именно отличное от них отношение, и как раз наше. Во имя этой близости я вам скажу, что у нас «она» не стеклянная, а настоящая церковная, которую я сама купила (очень давно) для «дара в сельскую церковь». Это я говорю **вам**, Мариэтта, вам, близкой в отличиях...

Все в этом ответе оттолкнуло меня. Обманом купить церковную чашу для домашнего причастия! И ничего не понять в причинах моего ужаса, приписав этому ужасу нечто мистическое... А второй ответ пришел, когда 9 января было уже позади.

Конечно, никакой телеграммы со словечком «да» мы не получили, и, конечно, Власова сказала об этом: «Я так и знала». В лихорадочной подготовке к этому числу мы, кажется, сделали все, что только в силах было. Я ухитрилась даже раздобыть у хозяйки вышитую крестиками скатерть — на один вечер и поклявшись, что ничем ее не закапаю. Это нужно было, потому что у Нечаевых что-то произошло с красной парчовой скатертью, они ее тоже взяли «напрокат», и второй раз ее не дали. Всё — даже скатерть на алтарь,— а вот одно, главное, я **забыла**. Я забыла, как, в каком порядке, что произошло 9 января на площади перед Зимним дворцом; и почему важно было отметить это особой литургией именно нам, голгофцам, верившим, что революция с именем божьим должна победить.

Начался этот день плохо. Переживает ли природа вместе с людьми, окрашивают ли человеческие поступки и события природу — Федоров писал, например, в «Общем деле», что войны действуют на метеорологию,— но питерский климат мешал нам с утра. Какая-то большая мозговая усталость налила свинцом ноги, упало давление, хотелось спать, и я ловила себя на непрерывном задремывании, пока собиралась, пока шла на квартиру к Нечаеву. Встретила меня в передней не Нина, а жена Нечаева, и мне мнительно показалось, что если прошлый раз она гордилась собраньем у нее в доме, то сейчас в лице ее было недовольство. И даже опасенье. Раздеться не помогла, сама была еще в фартуке, Нечаев не вышел, а когда вышел, то сказал, позевывая: «Еще никого нет». Мне было стыдно, что приплелась раньше времени, отдохнуть людям не дала, и весь подъем, вся восторженная лихорадка последних десяти дней совершенно исчезли, словно их никогда не было.

Потом много раз повторялось у меня в жизни, как лихорадка ожиданья и подъема сводит все ожидаемое к нулю, когда она **переборщает**. Пере... И в искусстве и в жизни надо помнить об этом «пере» как о главной опасности в построенье события и предмета творчества. Духовное тут каким-то непостижимым (а может,

и постижимым новейшими физиками!) образом связано с молекулярным, с электронным, с мельчайшими материальными частицами нашего организма. Духовное как некий «синхротрон» гонит наши частицы сумасшедшим ускорением к событию, которое должно быть целью, кульминацией. Но кто-то или что-то в сумасшедшей скорости нашей лихорадки ожидания приходит к кульминации раньше времени, опережает ее раньше другого, духовное раньше материального, или наоборот,— только целое срывается, гибнет, не получается, не удается. В музыке есть одна замечательная форма (она есть и в литературе), где кульминации вообще нет, а есть то, что в математике именуется «дурной бесконечностью»,— *сюита*. Последовательно проходит ряд образов, картинок, событий на одну тему, а иногда вовсе без общей темы, а цепью отдельных темок — сюита, следование. Но сюиты не переживаются, как симфонии, сонаты, где единая тема выносится на гребнях многокрасочного ее развития, в узле кульминации, воспринимаемой всем вашим организмом как *целое, главное*. Можно запутаться в материале своего искусства и жизни, переборщить в накоплении этого материала, и тогда — переборщение не создаст законченного кристалла, не сцепится в узел, не соединится, не удастся как целое, а в лучшем случае кусочками уляжется в сюиту, где главная тема расплывается в своем материале, уйдет в него, как вода в песок. И надо помнить, что материал искусства всегда — *бежит от конца*, не хочет кончиться, и чем его больше, тем сильнее...

Настанет, может быть, век, когда мы научимся управлять нашими молекулами, командовать протеиновыми телами в нас, чтоб атом в атом, электрон в электрон — подгонять ожидание к свершению, подготовку к кульминации... Все это я пишу, чтоб легче было написать всего несколько слов: *9 января у нас провалилось*.

Пришла после меня Власова, тоже очень утомленная и чересчур «перелихорадившая» подготовкой. Мы ждали остальных— они приходили поодиночке, не очень охотно, запаздывая — время давно ушло за назначенный час,— и, несмотря на то, что пригласительных листочков было разнесено много больше, чем к 24-му, голгофцев набралось меньше прежнего. Пришел епископ Михаил. Он показался мне больным — припухли глаза в веках и отекло лицо. И когда совершен был безмолвный обряд причащения, он вдруг обратился ко мне: «Ты, Шагинян, ты скажи нам слово о девятом января!»

Говорят, в таких случаях в театре поспешно опускают занавес.

Я постыдно провалилась, читатель. Я просто мямлила бог знает что. Язык у меня заплетался, в голове было пусто. И, не сведя концы с концами, как самая последняя школьница у доски, я опустила голову и — замолчала. «Жидковато, товарищ епископ»,— сказал один из голгофцев, обращаясь не ко мне, а к епископу.

12

Ответ Гиппиус на «Croisade» пришел, когда самой «круазады» уже и в помине у меня не осталось. Ее «перевела» Лина с латинских букв на русские, коротко отписав мне из Москвы (она готовила дипломную работу по средневековому землепользованию, и ей было не до меня): «Марьюля, брось ты возиться со своими круазадами — крестовые походы были позорным грабежом западных рыцарей на Востоке. Эти христианские рыцари вели себя, как бандиты, хуже во сто раз, чем мусульмане. Почитай н а с т о я щ у ю историю. Если хочешь, подберу к твоему приезду библиографию и закажу книги в Румянцевке». А Гиппиус писала своим изящным лексиконом, уходившим от меня все дальше и дальше, как голос с другой планеты:

14—27, 1, 11.

...Мариэтта, в чем же было наше четырехлетнее конкретное дело, как не в том, что мы с мучениями, с тяжкой (и физической) усталостью насыщали революционную атмосферу этими идеями, именно этими, и сами, не переставая, работали над ними дальше и дальше, так, что ваше потрясение этой новой идеей — и эта «идея», как вы ее описываете,— это наш же собственный п р о й д е н н ы й этап. Скажите Власовой, что она меня радует и утешает тем, что она есть, и своей враждой и непониманием нас она еще глубже радует; поймите, ведь это-то и ценно, что она не взяла о т меня, о т нас, а из воздуха, из времени, из правды. И пусть себе она и не слушает, и не соглашается с нами; если будет дальше жить, работать и думать — сама придет к нашему дальнейшему этапу. Милая, отчего вы точно не слышали ни о лекциях Дмитрия Сергеевича в Париже (он читал мои статьи «В чем сила...» и «Что такое насилие»), точно не читали и статей этих, не проникли глубже в «Коня Бледного» (фыркали на него, я уж и не спорила), а по одному недоделанному, беспомощному и о п а с н о м у в данном виде (потому что ребяческому) слову Власовой — вдруг загорелись и принялись мне мое же, верное (но вчерашнее) — объяснять? В «Коне» и Власова что-то увидела, а этого «Коня», несовершенного, но бесконечно важного и тогда нового, важного бытием своим,— мы родили жеребеночком, холили и кормили чуть не своим мясом, во всяком случае здоровьем.

...Вспоминаю, что я писала вам о «двух волях» и о «смешении»,— а что́, если сейчас момент (данный, верный) чистой религии с в о л е й к общественности и чистой общественности с в о л е й к религии? Если правда — признать, взять это данное, этот момент двух тянущихся друг к другу воль — во имя следующего момента — соединения этих воль? Если дело именно это и прилежит сейчас — не творить новое из ничего (творит Бог), а творить соединение?.. Это такое «последнее», что вам, пожалуй, нельзя и не надо этого еще понимать...

В каком-то оцепенении на это «самое последнее» читала я Зинино письмо, впервые открывшее мне целиком, чем они были заняты четыре года и что скрывали от меня флером постоянной недосказанности, засекреченности, тайны. Умственная беготня по кругу!

Человек, воспитанный на чистой логике, мог бы так расположить историю «Нового религиозного сознания» Мережковских: «хочу того, чего нет на свете»; «хочу религиозной революции»; «хочу террористического акта, освященного и благословляемого новой церковью»; «не хочу террористического акта — это еще рано»; «хочу принять данный момент: чистую общественность с в о л е й к религии и чистую религию с в о л е й к общественности»; «хочу творить соединение этих двух воль».

Человек с обыкновенным здравым смыслом сказал бы: а где вы нашли «данный момент»?

Но во мне еще действовала магнетическая сила Зининого лексикона, магнетическая дорожка разума в спекулятивные мнимости, кажущиеся реальными. Я *понимала* (хотела понять), что именно вложила Зина в свои строки, в свое мистическое, абсурдное, несуществующее представленье *чистой* религии и *чистой* общественности... вот из таких спекулятивных погружений в опустошенные от времени и жизни образы выходят абстракции искусства... Вокруг в эти насыщенные, взбудораженные, исторические годы — 1909-й, 1910-й, 1911-й — кипела самая конкретная борьба «смешений», но таких простых жизненных смешений, как клубок веревок, где каждая веревка — отдельная веревка и каждую веревку можно прощупать и отделить от другой; суетились и схватывались десятки партий, зажигались и потухали различные их оттенки в печати, в Государственной думе, на службе, в быту; бродило и вспыхивало студенчество. Чего только не было в клубке (отдельное имя, как целая партия: Пуришкевич! Монархисты, октябристы, кадеты, трудовики, эсеры, эсдеки), и ни в какие очки, ни в какой микроскоп нельзя было разглядеть абстракцию чистоты — *чистую* общественность, *чистую* религию.

Если прочесть сейчас тома Ленина этих трех лет, то вы очутитесь в такой борьбе Ленина с «ликвидаторами», «ревизионистами», «ренегатами» в самом чистом и строгом, логичном и ясном лагере тогдашней политики — у большевиков,— какой не было или почти не было в тысячелетней истории человечества. И даже я, закутанная в схоластику «нового религиозного сознания», чувствовала волненье этой жизни, как океан за стеной каюты. У нас на Курсах бешеные волны вздымались против абстракций «Чистого разума», против самого Канта. И на полке Публичной библиотеки, с записью на билетике моего номера и фамилии, лежал Франц Баадер (я заканчивала свою выпускную работу «Критика Баадером гносеологии Канта»),— в это время даже незрячему младенцу вроде меня открывалась или угрожала открыться — против собственной моей воли — пустота, пустота, побрякушка, косметика мышления, дамская философия моей «наставницы»...

Власова, прочитав письмо Гиппиус, сказала просто: «Испугались! И отступили. Да и мы с вами хороши — отнеслись к ним серьезно». Власова имела право сказать это. Немногим спустя она пережила распад голгофского движенья, отреченье от него Михаила [20],

---

[20] В ответ на обвинения О. Карабиновича епископ Михаил писал в 1915 году: «Я не рассматриваю исповедания голгофских христиан по существу; мне кажется, в нем неосторожная форма, чрезмерная резкость тезисов, сильно полемический и недостаточно любовный тон, но особого противоречия духу Церкви не вижу. Однако повторяю, что отвечать за то, что не принадлежит мне, что не есть мое до последнего слова и мысли, не хочу, и предъявление мне таких обвинений считаю недобросовестным» (*Епископ Михаил*. Ответ О. Карабиновичу. Оттиск из № 4, 5, 6, 7 журнала «Старообрядческая мысль». М., 1915. Типография Машистова).

свой собственный арест и, может быть, крах всего, что составляло смысл и центр ее жизни.

Когда Мережковские вернулись из-за границы, стало ясно, что мы — чужие. Пережитое врозь разрезало нас, но так, что разрез еще держал нас некоторое время вместе, как держатся в каравае хлеба разрезанные, но еще плотно стоящие рядом куски. Подобно им, «стоймя и рядом», закончили мы личные события 1911 года: появленье романа Гиппиус «Чертова кукла», где «безбожные революционеры» (марксисты!) выставлены марионетками и весь инвентарь «Бесов» Достоевского использован, как на любительском спектакле; появленье моей резкой отповеди, еще наивной, но уже трезвой — в «Приазовском крае»,— и полный отпад друг от друга, отпад с ненавистью, с болью почти физической, которую ненавидишь, как мозольную, как зубную. Она давала иногда рецидивы: перед самой Октябрьской революцией, в мае или июне 1917 года, я была опять в Кисловодске, забралась в горы и читала, положив рядом белый раскрытый зонтик. Вдруг, подняв глаза — через глубокую впадину, разделявшую горы, на той стороне ущелья, в парке,— я увидела троих, троицу ненавистного мне прошлого: высокую худую Гиппиус в большой кружевной шляпе, с лорнеткой, поднесенной к глазам; маленького, черного, как жук, Мережковского рядом с нею; и плотного, даже толстого Диму Философова с поседевшими густыми усами над губой, в соломенной панаме. Было что-то патетичное в этом видении из прошлого. Все случилось мгновенно, меньше мгновенья — они как бы повернулись ко мне все разом, а я тут же, одновременно, непроизвольно дернулась от них, схватив свой большой старый зонт и загородившись им, как щитом. Судорога «отключения», как отвращенья... Старая бессмысленная боль пронизала — похожая на зубную, мозольную. Через минуту их уже не было...

Про Михаила доходили до меня в эти годы из разных источников слухи. Он писал очень смело в газетах, был арестован, выслан. Возвращен из ссылки на родину. Михаил был симбирский. Звали его в миру, до пострижения, Павел Семенов. Родился в 1873 году и когда кончал в Симбирске духовное училище, уж наверное, не раз встречался на улице с Ильей Николаевичем Ульяновым, растившим и воспитывавшим в те годы своих народных учителей... Затравленный церковью и царской охранкой, душевно больной, Михаил в 1916 году, когда сестра повезла его в Москву из Симбирска, чтоб показать врачам, тихонько скользнул из поезда, не доезжая Москвы, шел пешком шесть верст, где-то в Москве обобрали и раздели его, подкинув взамен лохмотья, и таким, в лохмотьях, он забрел в общежитие ломовых извозчиков. Полез на чью-то незанятую лавку, смертельно усталый, ничего не соображающий, тянущийся, как загнанное, замученное, истерзанное существо, к человеческому теплу, человеческой близости. Ломовые извозчики приняли его за вора, сбросили с лавки и начали избивать. Били с остервенением, как царские урядники арестанта. Избили смертельно. Епископ Михаил умер в старообрядческом рогожском госпитале,

куда, опознав, доставили его на другой день. Рассказ этот был страшен. Много лет спустя, вспоминая свой петербургский период жизни, я сопоставляла в воображении его начало и конец: *народ* — теплое чувство его доброй близости, его человечности при въезде в Питер; и страшные *ломовые извозчики* тоже народ — огромные, грузные, как их лошади першероны с пучками волос у копыт, — остервенелые кулаки их над беззащитным телом... при окончании моего Питера.

Дошел до меня и другой рассказ — тоже страшный по-своему, — его я услышала много лет спустя; будто, уже больной душевно, Михаил целыми днями пропадал в Симбирске на толкучке, где продавали старые книги. Он их листал, рассматривал, перекладывал, непрерывно бормоча: «Хочу учиться, надо учиться, все забыл, ничего не знаю, не помню ничего, надо учиться». В книжных рядах к нему привыкли; продавцы иной раз, как нищему кусок хлеба, подавали ему залежалую в хламе книгу как милостыню.

Критически разбирая свое петербургское прошлое, я почему-то сильней всего переживала вину перед Михаилом. Даже не то было особенно стыдно, что я подвела его 9 января, а то, что я никак, ну никак не могла вспомнить его внешность, цвет бороды и волос, выражение лица — и не могла описать его так, чтоб читатель увидел. А между тем я стояла с ним рядом, ощущала пыльный запах его рясы, почти чувствовала мягкость его ладони. И как это ни странно, как ни невероятно, духовный портрет Михаила я увидела перед собой только сейчас, когда в марте 1974 года заканчивала свои очередные воспоминания...

Дело в том, что за последние десять лет я выработала хорошую привычку — начинать рабочий день с чтения Ленина. Две-три его страницы ранним утром заряжают мозг на весь день требованьем высокой честности к себе: писать ясно и писать правду. Особенно нужна мне была прививка ясности для описания сложной эпохи годов реакции после 1905 года. Как раз в это время — неведомо для той среды, где пришлось мне жить и действовать, неведомо для меня самой — лился из-под пера Ильича яркий свет на все, что происходило тогда в России. Трудно найти местечко, куда не упал бы этот свет ленинского озарения, ленинского могучего анализа, помогающего разобраться в сложнейшей тогдашней общественной жизни. Двигаясь своими воспоминаниями к годам 1909 — 1912, я взяла с собой в холодную мартовскую Ялту два ленинских тома четвертого издания. И однажды, когда работа застопорилась, раскрыла том 18. Там на странице 283 я нашла статью «Духовенство и политика». Она относилась, правда, уже к 1912 году — но это было настоящее, потрясающее открытие для меня, это была недостававшая мне дорисовка образа Михаила Старообрядческого.

Шла борьба в России: за или против участия духовенства в политической жизни страны, пускать или не пускать его в Четвертую Государственную думу. За то, чтоб пускать, было царское правительство: оно надеялось получить через «батюшек» черносотенное

большинство. Против, чтоб не пускать, были почти все либералы, кадеты — как раз для того, чтоб избежать черносотенного большинства... Почти все — но кто же еще мог быть за? Большевики были за, они стояли за допуск духовенства в Думу.

Вот как писал об этом Ленин:

«Мы уже указывали в «Правде» на недемократическую постановку вопроса о духовенстве либералами, которые либо прямо защищают архиреакционную теорию о «невмешательстве» духовенства в политику, либо мирятся с этой теорией...

...Неучастие духовенства в политической борьбе есть вреднейшее лицемерие. На деле духовенство *всегда* участвовало в политике прикровенно, и народу принесет лишь пользу переход духовенства к политике откровенной.

Выдающийся интерес по этому вопросу представляет статья старообрядческого епископа Михаила, помещенная на днях в «Речи». Взгляды этого писателя очень наивны: он воображает, например, что «клерикализм (нам) России неведом», что до революции его (духовенства) дело было только небесное и т. п.

Но поучительна фактическая оценка событий этим, видимо, осведомленным человеком.

«...Что торжество выборов не будет торжеством клерикализма,— пишет еп. Михаил,— кажется мне бесспорным. Объединенное, хотя искусственно, в то же время, конечно, оскорбленное этим хозяйничаньем над их голосами и совестью, духовенство увидит себя в середине между двумя силами... И отсюда необходимый перелом, кризис, возврат к естественному союзу с народом. Если бы клерикальное и реакционное течение... успело окрепнуть и вызреть само собою, этого, может быть, и не было бы. Теперь, когда духовенство вызвано из покоя еще с остатками прежнего смятения, оно будет продолжать свою историю. И демократизм духовенства — неизбежный и последний этап этой истории, который будет связан с борьбой духовенства за себя».

В действительности речь должна идти не о «возврате к естественному союзу», как наивно думает автор, а о распределении между борющимися классами. Ясность, широта и сознательность такого распределения от вовлечения духовенства в политику, наверное, выиграют.

А тот факт, что осведомленные наблюдатели признают наличность, жизненность и силу «остатков прежнего смятения» даже в таком социальном слое России, как духовенство, следует очень принять к сведению» [21].

Каким огромным счастьем, каким неожиданным подспорьем в сегодняшней работе сделалась для меня эта ленинская статья! Ленин не только писал о Михаиле Старообрядческом, полностью его называя, но и цитировал его! И не только цитировал, но, как мне кажется, и дал полные, точные координаты его живого портрета — социального, политического, человеческого,— ни в тоне, ни в словах, ни в выводе не сказав о нем ничего пренебрежительного. Наоборот — он говорил о нем просто и хорошо, и вы чувствуете по короткой заметке, что Михаил заслуживает такого отношения.

[21] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 22, с. 80—81.

Социальный портрет. Ленин считал его настолько осведомленным о своей социальной среде, что с интересом цитирует его статью (о состоянии духовенства), да еще заранее говорит об этой статье как о представляющей «выдающийся интерес».

Политический портрет. Цитируя Михаила Старообрядческого, Ленин выделил его слова «остатки прежнего смятения» как цензурно высказанное важное наблюдение, что революция 1905 года еще не совсем забыта духовенством, еще живут в нем «остатки» пережитого душевного смятения, и это большой и важный симптом того, что даже такой отсталый слой, как духовенство в России, всколыхнулся революцией. Ленин верит в серьезность этого наблюдения, он пишет, что его надо «очень принять к сведению», не только «принять», но *очень* принять.

И в добавление к образу, обрастающему у вас на глазах плотью и кровью, он дважды указывает на черту наивности у Михаила, верившего в «естественный союз духовенства с народом». Черту наивности в Михаиле Старообрядческом Ленин подчеркивает дважды: «как наивно думает автор», «взгляды этого писателя очень наивны». Так дорисовывает Ленин его *человеческий портрет.*

Не было ли голгофское движение, не был ли сам Михаил — в противоположность реакционной гурмандии Мережковских — осколком положительной части такого национально-русского явления, как народничество, сыгравшим отрезвляющую для меня роль в нездоровой обстановке «нового религиозного сознания» Мережковских?

Мне тяжело дался урок петербургского периода жизни, и нелегко было рассказать о нем читателю. Но статья Ленина реальна. Через эту статью и Михаил и весь мой петербургский этап приобрели черты исторической реальности. Огромной реальности, которую нужно было пережить, чтоб с корнем вырвать соблазны всякой иллюзорной *нереальности*,— и нужно было рассказать хотя бы ради молодых поколений человечества, так легко увлекающихся *мнимыми глубинами иллюзорного.*

Вспомним, какие это были годы — десятые годы *нашего* века. Не только политические несмышленыши вроде меня, жаждавшие найти справедливую жизнь на земле, но даже подкованные марксисты, такие, как Базаров, Богданов, Луначарский, соскальзывали ко всяким разновидностям религиозного идеализма — к «богостроительству», «богоискательству»... Это не было пустяком в истории русской общественной жизни, настолько не было пустяком, что именно в эти годы (поздняя осень 1908 года) появился на свет убеждающий, аргументирующий, философский труд Владимира Ильича «Материализм и эмпириокритицизм», направленный против новых разновидностей религиозного идеализма. Ни сил, ни времени не пожалел Ленин, чтоб выковать оружие против вреднейшего увлечения не только части русской интеллигенции, но и части рабочих...

Тут я опять забежала своим сознаньем на десятки лет вперед — от себя тогдашней.

...Измученная и опустошенная, с постаревшим сердцем, возвращалась я из Питера в Москву. Два разочарованья, тяжело пережитых,— разрыв с официальной церковью, разрыв с ее общественным суррогатом — а вместе с ними тягостное детское разочарование во всякой «общественной работе» уже легли за моими плечами. А мне еще не было двадцати четырех лет! И впереди ждало еще одно искушенье, быть может самое опасное для меня: уход в «чистую науку», «чистую культуру» — в «башню из слоновой кости»...

Ялта, 1974 г.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Москва маленькая

Gesellschaft... (f) eine Anzahl Personen, die durch etwas Gemeinschaftliches verbunden sind...

Из старого словаря [1]

Если мы удаляемся в уединение кельи, чтобы в глубоком созерцании, так сказать, в глубинах нашего мозга, отыскивать истинный путь, по которому мы завтра думаем шествовать, то при этом следует принять во внимание, что подобное напряжение мысли только потому может иметь успех, что мы уже раньше, быть может даже бессознательно, при помощи памяти, перенесли из мира в келью наш опыт и наши переживания.

Цитата из Дицгена, отмеченная Лениным [2]

1

Всякий раз, въезжая в старую, прошлую Москву — и притом с любой стороны: с юга, с севера, с востока, с запада,— испытывали мы какую-то «климатическую» радость. Зимой она охватывала нас пухлым белоснежным покровом улиц, сугробами снега, почти не убиравшегося, а только сметаемого дворниками, как скошенная трава, к тротуарам; и хотя этот снег был похож на сахарную пудру, но в отличие от сахара он имел запах усыпляющей свежести. С четырех часов зажигались редкие газовые фонари, но усыпляющая свежесть проникала запахом в ноздри, и ни в какой мороз не было чувства холода. Весной вкусно чавкали широкие «деревенские» копыта извозчичьей клячи по коричневой жиже талого снега, оскальзываясь на обнаженных булыжниках и обрызгивая пешеходов. Ломкий звон «сорока сороков» отдавал своей медью в необыкновенно чистом от дыма и всякой химии и необыкновенно, пленительно грязном от близости грязной земли и ее весенних брызг воздухе. Особом, неповторимом воздухе тогдашней Москвы, провинциального... так и хочется сказать «городишка», если вспомнить, по каким только уличкам не тащился тогда от вокзала извозчик. И возникало вместе с этим воздухом чувство родного угла, родины.

---

[1] И. Я. Павловский. Немецко-русский словарь. Рига — Лейпциг, 1902, с. 602 («Общество...». Некоторое количество личностей, связанных между собой чем-то общим). Приведено как второй смысл слова «общество», находиться с кем-либо в обществе. Также другие старые словари.

[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, с. 366 (Иосиф Дицген. Мелкие философские работы).

Я возвращаюсь из Петербурга измученная и постаревшая — словно вползла, как раненый зверь, домой, в родной город. Был тихий снежный январь 1912 года...

Но сейчас — вместо продолженья, вместо подведенья итогов всего испытанного в Петербурге — я хочу сразу же отклониться в сторону, опять окунуться в «апарты» (à part[3]), как назвал один умный читатель мои постоянные отклоненья в сторону. Когда хочешь освоить далекое прошлое, прибегаешь к помощи всего пережитого, всей панорамы жизни,— и чтоб рассказывать сейчас хронологически дальше, мне нужно перескочить на десять — двенадцать лет вперед, к опыту, пережитому мной уже в бальзаковском — почти сорокалетнем — возрасте, после Октябрьской революции.

Итак, я перепрыгиваю из начала 1912 года на пятнадцать лет вперед в советское время, в далекое от Москвы место, где вижу себя... вижу себя...

Как ясно я видела себя приехавшей из Петербурга в Москву — постаревшей, усталой, потерявшей веру! И даже наружно, глядясь тогда в зеркало по утрам, безжалостно именовала и чувствовала себя «старой девой». А тут, пережив свыше десятка лет (и каких лет!), я вижу себя молодой, почти юной, полной неукротимых сил, неизбывного, всепоглощающего интереса к жизни. Я вижу себя в далекой газетной командировке — с хлыстиком в руке, в заимствованных у кого-то молодцеватых, английского покроя бриджах для верховой езды, нетерпеливо разгуливающей ранним рассветным утром у дверей зангезурского укома (тогда еще были у нас не районы, а уезды), поджидая обещанного мне в укоме спутника.

По заданию московской газеты я должна была съездить в Армению и описать собрание актива на селе за несколько десятков километров от уездного центра. Накануне мне нарассказали всякой всячины, а главное — о том, что поездка моя (в Сисиан) не без риска: «В дороге пошаливают».

Мне нравилось, что в дороге пошаливают. Обещанный спутник мерещился мне этаким кавказским молодцем с ружьем за плечами, опутанный лентами патронов, с кинжалом за поясом. И конь верховой... А на привязи у дверей укома подремывали две крестьянские лошадки, под седлами, втягивая губами из подвязанных к ним мешков редкие овсинки. Мне как-то и в голову не приходило связать их со своей поездкой.

Открылась дверь. Я шагнула вперед. И — вместо мужчины с ружьем и патронами увидела хорошенькую молоденькую армянку в шелковой блузе, ажурных чулках, городских туфлях. К одной из кляч подставили ей табуретку, чтоб легче было взобраться в седло... Ехать с такой! Злобно, с нарочитой, показной лихостью я вскочила в свое седло и проделала на смиренной укомовской лошаденке все приемы заправского кавалериста: в левую руку уздечку,

[3] Здесь — как бы отдельно, «отойдя в сторону» (*фр.*).

в правую хлыст, корпус чуть-чуть с наклоном вперед, ноги в стременах без нажима... И мы с ней тронулись в путь.

Первое время мы трусили молча. Потом, не вытерпев, я повернула к ней голову: «Вы дорогу знаете?» — «Спросим». Даже дороги не знает! Мы ехали с ней почти весь день и к вечеру, усталые и голодные, благополучно добрались до Сисиана. Перед дверьми сельсовета ее уже ждали несколько человек, и пока она сошла с лошади, встряхнулась, остановилась, давая себе передохнуть,— нарядная и чистенькая, словно только что села в седло,— я, запыленная и злющая, отвела свою лошадь, привязала ее, раздобыла где-то в киоске свежий, ароматный чурек[4] и двинулась за ней. Она вошла первая в тесно набитую женщинами комнату, и мы обе сели за стол президиума.

На встречу со своей завжен (заведующий женским отделом) — первую встречу — собрались чуть ли не все женщины села, даже бабки и молодухи со своими первенцами на руках, по старинному обычаю повязанные платками от уха до уха, чтобы не разговаривали перед мужчинами (армянское возрастное подобие чадры), девушки и девчушки с открытыми лицами, одетые как на праздник, любопытные, чуть напуганные,— новая обстановка сельсовета с керосиновой лампой, с кумачом на столе, желтоватым стеклом городского графина, запотевшего от ледяной родниковой воды, воздух хоть и густой от множества дыханий, но ни на единую горстку не отравленный табаком... Мельком, искоса оглядев собравшихся, пока завжен еще только усаживалась на месте, я сунула ей отломленную половинку чурека — от доброты душевной, как думала про себя в то время. Но если б не чурек, а ядовитую гадючку протянула ей под столом, моя спутница не отшатнулась бы от меня сильнее и не оттолкнула бы мою руку более резко, чем она это сделала в ту же секунду.

Не буду подробно описывать это первое в моей жизни деревенское женское собранье в Армении — как крестьянки оживали постепенно от своей полуиспуганной-полулюбопытной оторопи, как начали отодвигать свои платки вниз, обнажая рты для ответов, как разглядывали свою молоденькую завжен, щупали на ней материал, шелк ее кофточки, трогали, переглядываясь, шерсть на юбке и вдруг заговорили все сразу, слаженно, словно инструменты в оркестре после настроя,— все это сейчас, когда живем мы уже скоро шесть десятков лет на советской земле и видели этих молодух собственными глазами — и на трибунах Верховных Советов, и на кафедрах школ, на эстрадах театров, на тракторах, у станков, в офицерских мундирах, со звездочками на груди,— все это сейчас знакомо-перезнакомо советскому читателю. Но завжен — одна — остается в памяти.

---

[4] Читавшие в рукописи эту главу убеждали меня, что «чурек» не армянское слово. Но я и не претендую тут на этнографическую или словарную точность. Для меня это был чурек — общевосточное обозначение хлеба определенной выпечки.

И вот после собрания мы с ней вдвоем на сеновале, где нам устроили в Сиснаие ночевку,— и я вижу ее бледную руку на серой ткани крестьянской простыни, дрожащую, словно на руле машины. Она жалуется на мой вопрос: «Сама не знаю, отчего дрожь какая-то пробирает и бессонница — не идет и не идет сон...» Обрадовавшись, что пришла минута откровенности, я обрушилась на нее: «Дрожь какая-то! Еще бы, не есть, не пить,— молодечество, для чего и кому это нужно? Почему вы хлеб отбросили, когда я давала?»

И тут она дала мне урок, который я никогда не забуду, полвека помню, хорошо осмыслила и хочу, чтоб читатели тоже его осмыслили. Завжен приподнялась с сеновала и удивленно посмотрела на меня: «Да как же это можно? Ведь мы были в обществе! Ведь если б я первый раз к ним и сразу за еду — какого же они будут мнения обо мне?!» В обществе! Для нее эта темная, невежественная бабья толпа с повязанными в знак молчания платками на губах, вот эта масса — для нее общество!

Я была воспитана в старом мире. Мне стукнуло тридцать лет, когда Великой Октябрьской революции было всего пять месяцев. И в эти годы в том кругу, где я жила и вращалась, «обществом» мы называли нам подобных по классу, по воспитанию, по языку, по традициям. Когда я назвала в двадцатых годах один из первых моих романов «Дама из общества», то героиня его принадлежала к тому общественному кругу, в который крестьянин не имел доступа,— была такая черта разделения в понимании слова «общество». И завжен, армянская интеллигентная девушка моего круга по воспитанию и общественному слою, всерьез, совершенно всерьез считала вот этих — ну совсем не нашего круга, чужих, из другого слоя — своим обществом! Я вдруг, именно вдруг, с яркой ясностью, как если б небо прорезала молния, поняла, что на историческую сцену пришел новый класс и новый класс принес с собой новое общество...

Это было как озарение. И, кстати сказать, этот урок ранних лет революции, полученный мной от молоденькой армянской завжен, недавно не поняли в одном нашем журнале, издающемся на нескольких языках. Когда по просьбе редакции я написала для них рассказ о моей завжен, весь глубокий смысл полученного мной урока в их переводе на немецкий язык попросту пропал, потому что переводчица перевела слово «общество», «мы были в обществе», немецким словом «собрание» (Versammlung), и когда я запротестовала, редакция устроила чуть ли не конференцию, на которой меня («невежду»!) пытались вразумить все ее участники, убеждая, что «в обществе» нельзя перевести словами «in Gesellschaft», так как это может быть понято «в торговом обществе», вообще в каком-либо учрежденном обществе... А тут же, в той же редакции того же журнала, где работают переводчики-англичане, на английский мое выражение переведено было правильно «in society», с тем же смысловым оттенком, как у меня. Я долго возмущалась, злилась, даже судиться хотела, пока не утешилась мыслью, что

ведь их незнание, непонимание оттеночного смысла, ведущего к глубине полученного мной урока, факт, в сущности, даже положительный: они, видимо, просто его забыли, этот уже устаревший у нас оттеночный смысл.

2

Почему я привела для читателя этот «апарт», уже рассказанный мной в других местах? Потому что, подъезжая в январе 1912 года к Москве, я думала о «родном угле», о «родине», о чувстве, продиктовавшем мне примерно в те годы строки из моей «Orientalia».

Я знаю, мудрый зверь лесной
Ползет домой, когда он ранен...

Но взглянув на прошлое, чтобы продолжать писать о нем, я задала себе вопрос, которого в те далекие годы у меня не было и быть не могло: а что такое чувство родного угла, где его границы и чем эти границы, каким содержанием заполняются? Возвращение... Дом Феррари со всем, что было пережито в нем, уже отошел в прошлое. Мы с Линой стали больше зарабатывать, и, вместо кабинки без окон, с раздвижной, как у вагонного купе, дверью в доме Феррари, мне предстояло жить в неведомом Дегтярном переулке, в большой комнате с окном на улицу, с нормальными столом, стульями, дверью в коридор. Но вот прошлое, такое родное, было в «купе» дома Феррари, а сейчас — как по-французски купэ (coupé) [5] — оно словно отрезано, ничем не соотносится с новой комнатой. Какой же «родной угол»? И была ли я, в сущности, коренной москвичкой?

Рожденне, воспитание, образование, отчий дом — это да. В Москве, в Москве, и в Москве. Но «отчий дом» со смертью отца — исчез. Исчезло все, что было связано с ним. Мебель, отцовская библиотека проданы, вывезены, розданы. Помню, как поразила меня встреча за столом с нашими московскими колечками для салфеток из желтоватой слоновой кости и хрустальными подставочками для ножей и вилок с головками младенцев на концах, затылками обращенных друг к другу,— привычное, московское, ежедневное при накрыванье на стол,— в чужом доме чужого южного города. Мать увезла их с собой в свой родной город Нахичевань-на-Дону, где на армянском кладбище под старыми памятниками лежали ее предки и куда она увезла умирать и отца, уже смертельно больного...

«Отчего дома» не было. Я ехала из Петербурга, где общалась с самыми разными слоями населения, не в родной угол, а в знакомую, очень узкую московскую среду. В Питере — дворянский быт Уваровых, куда я ходила на урок; мещанский уклад квартиры, где я снимала комнату; строгая тишина читального зала в Публичной

[5] Couper — отрезать, coupé — отрезано *(фр.)*.

библиотеке, где я занималась; рабочая атмосфера Гагаринских курсов, где преподавала; мнимореволюционные и мнаморелигиозные таинства салона Мережковских; пролетарский дух моих подпольных рабочих-слушателей, в жилища которых я конспиративно ездила вечерами; наконец, разноклассовый кружок голгофцев с епископом Михаилом Старообрядческим во главе... А в Москве — нечто однотипное, давно знакомое: Высшие курсы, их профессора, лекции и семинары, курсистки-однокашницы; старые подруги по гимназии Ржевской и новые, прибавившиеся к ним. И тот невидимый глазу меловой круг, очертивший людей, с которыми я водилась, места, где бывала, интересы, со-общавшие всех нас, делавшие все включенное в этот круг моим «обществом». Одни и те же люди на концертах, выставках, в партере театров; знание друг друга в лицо, хотя и не всегда знакомство друг с другом; знание вкусов и возможного мнения каждого. Входившие в этот круг, может быть и бессознательно для них, считали себя «солью земли», обществом, представляющим собой всю Россию, создающим ее историю. Весь мир, как в игрушечном домике, вращался, казалось, лишь в стенах Психологического, Философского, Литературно-художественного кружков, «Общества эстетики», «Дома песни» и так далее. И часть этих кружковцев была коренными москвичами.

В понятие «москвич» входило тогда не только рождение, воспитание, ученье. И даже не только «отчий дом», а такой отчий дом, где на полках библиотек имелись книги отца с матерью и дедушки с бабушкой, а иногда — изредка — и прапра, в деревянных или кожаных, с металлическими застежками переплетах,— книги осьмнадцатого века, старинные журналы, объеденные по углам мышами,— все это от прабабушек и прадедов. И дома́, где жили москвичи, были тоже коренные московские, с еще не стершейся надписью на воротах: «Свободен от постоя», старой-престарой архитектуры, когда городское жилье строилось на манер не слишком чувствительного перехода от поместья к городу; с большим внутренним двором, пахнувшим лошадиными стойлами,— в нем находились и конюшня для лошадей, и сарай для саней и колясок. Все это знакомо мне было еще с детства, когда у нас у самих были собственные лошади. Но вот еще не утерянная связь с деревней...

До сих пор стоит прочное здание «под пряник», с завертушками в «стиле рюсс», где жила тогда Маргарита Кирилловна Морозова. Я была знакома с ней через семейство Метнеров и однажды, приглашенная ею к чаю, обратила вниманье на необычное, не покупное в городе угощенье к чаю — большие черносливы, начиненные по-домашнему медом с орехами. «Это из моей деревни»,— сказала мне хозяйка, заметив мой любопытный взгляд. А в военные годы, когда стало туго с продуктами (четырнадцатый — пятнадцатый), из деревни Рахманиновых частенько доставлялось в город коровье масло, и пакет его хозяева посылали к тем же Метнерам... Но было все это позже. А вот непосредственно в год моего возвращенья из Питера я запомнила только несколько чисто мос-

ковских семей, куда была вхожа, и быт их резко отличался от петербургского.

В глубине большого сада, совсем по-помещичьи, жила семья очень известного в те годы доктора Майкова, изобретшего лекарство от склероза (его надо было впрыскивать, и носило оно его имя). На пасху их большая столовая, открытая для гостей, так и стояла открытой несколько дней даже в отсутствие хозяев. Дочь их, подруга моя по Курсам, частенько затаскивала меня в эту столовую подкармливаться — и чего только не стояло там на длинном, покрытом нарядной скатертью пасхальном столе: и тамбовский нескончаемый окорок, и пироги с курицей, грибами, луком, и самые разные рыбины, копченые и соленые, и горки раскрашенных яиц, и пирамиды сладкой творожной «пасхи», и куличи, тяжелые, желтые — с шафраном, цукатами... У другой моей подруги по Курсам, тоже коренной москвички, в зале — рядышком, словно супруги,— вытянув вверх черные лакированные спины, стояли два рояля, чтоб можно было большие симфонические вещи, переложенные для игры на двух роялях, без конца играть дочерям семейства и гостям.

В этом коренном московском окружении я очутилась отчасти потому, что уже была «автором», имела книгу стихов, и отчасти — по естественному продолженью гимназической и курсовой дружбы. Историко-философское отделение Курсов, не обещавшее по его окончании твердого заработка, не дававшее курсисткам определенной «специальности», было уделом девушек из семейств зажиточных. И девочки из гимназии Ржевской были тоже большей частью такого же круга.

В этом одном — почти единственном — кругу мне предстояло «вращаться». И если девочками мы с сестрой таскали в 1905-м с разрешения тетки старые ведра и матрацы на московскую баррикаду, то курсистками, кончая в 1912—1913 году свои выпускные экзамены, дышали мы совсем другим воздухом — застойным воздухом Москвы в ее прочно реакционном, хотя и считавшем себя либерально-передовым кругу. Я написала выше «почти единственном»... Но объяснять, что кроется за этим п о ч т и, надо опять, искушая терпенье читателя, очень долго.

Есть в науке слово «ареал», его употребляют ботаники. Земля и камни лежат; воды двигаются по прорытому руслу; растения — определенные виды их — «распространяются», их пространственное распространение (тавтологическое слово!) и называется ареалом,— оседающим движением в определенных границах. Если давать детям образно-философский урок все большей и большей самостоятельности органического мира, сказать о тяжелых ножках у гусениц, которыми они уже сами осваивают пространство, но тоже в определенных границах, и легких ногах человека, которыми он может избороздить всю землю, то получится ясная картина развязывания самостоятельности живого существа на земле, достигающего, казалось бы, полной своей свободы передвиженья у человека.

Но — действительно ли полной свободы? Он не лежит веками на одном месте, подобно вершинам гор; он не качается на длинном стебле, подобно цветку, пыльцу которого разносит в пространстве бабочка или пчелка; он не ступает мягкими лапами тигра в своем географическом ограничении, не перелетает крыльями птиц по тысячелетним, всегда определенным воздушным трассам. Он сам создает себе крылья, сам придумывает колеса, проникает в глубины океана, в вечную черноту космоса, вкапывается в недра земные,— и ноги носят его по дорогам и бездорожьям, по непроходимым джунглям, по пескам пустынь...

Казалось бы, нет у человека ареала, нет границ для жизни,— а между тем есть и у него свой «ареал», своя граница, есть по большому счету такая же своя прикрепленность, как у цветка на стебле, и нет совершенной свободы. Но этот «ареал» не измеряется линейкой верст, квадратными километрами. А измеряется тем самым кругом, в котором человек вращается. Его «ареал» социален. И статистика, группирующая людей по расам, национальностям, религиям, классам и даже «внутриклассово» — по убеждениям, направлениям, по всему, что можно снять моментальной съемкой или определить по внешним чертам и знакам,— тоже оказывается иной раз лишь формальным пособием, не учитывающим человеческий опыт.

Читая книгу Дицгена «Мелкие философские работы», Ленин обратил внимание на такое место: «Если мы удаляемся в уединение кельи, чтобы в глубоком созерцании, так сказать, в глубинах нашего мозга, отыскивать истинный путь, по которому мы завтра думаем шествовать, то при этом следует принять во внимание, что подобное напряжение мысли только потому может иметь успех, что мы уже раньше, быть может даже бессознательно, при помощи памяти, перенесли из мира в келью наш опыт и наши переживания» [6].

Даже в уединение кельи, а не только в замкнутый «ареал» круга!.. И опять нужно отклониться в сторону, привести пример. Совсем недавно один досужий «интервьюер» не для печати, а «так, для себя», задал мне вопрос: «Скажите, вы ведь одного круга, одного города, одного, кажется, возраста с Мариной Цветаевой — знали вы ее в молодости, общались с ней?» В том особенном социальном ракурсе, с которого я начала пятую книгу воспоминаний, это был для меня отнюдь не случайный вопрос. Вторично переживая прошлое, я словно вижу перед собой корректуру толстой книги моей Судьбы, положенную на стол мудрой рукой Времени. Тут многое заново продумывается, впервые понимается по-настоящему. Нуждается, как и всякая корректура, в остановке, пояснении, правке. Да, мы жили с Мариной почти одновременно в Моск-

[6] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, с. 366. Отмеченное Лениным при чтении книги И. Дицгена «Мелкие философские работы» место показывает, что в самой крайней изоляции от внешнего мира мозговая работа не порождается чистой абстракцией свыше, а использует «копилку памяти», накопленный человеком предыдущий опыт.

ве, она была моложе меня только на четыре года. У нас было как будто много схожего: обе профессорские дочки, обе росли в «детской», почти всегда лучшей, «на солнечную сторону», комнате в квартире, отделенной от жизни родителей, с нянями, с «фрейлен», или «мадмуазель», или «мисс» — позабытым сейчас у нас существованьем «гувернанток», носительниц иностранного языка в доме. У обеих были сестры, участницы личной судьбы нашей (у меня одна, у Марины несколько). Наконец, обе начали рано писать стихи, обещая стать «поэтессами». Но при таком внешнем сходстве разница оказалась огромная, и притом разница в главном — в социальном положении, в опыте, в направлении жизни и как итог — в судьбе.

Марина Цветаева была как раз из «коренных москвичек», с «отчим домом» в Москве, с наследственным имуществом, родственниками по отцовской и материнской линии, с определенным социальным окруженьем ее отца, еще жившего и работавшего,— все это хорошо рассказано в воспоминаниях ее сестры Аси. Если считать, что в числителе той дроби, на которую похожа судьба человеческая, должна стоять личная одаренность, личный характер, накопление опыта, а в знаменателе — оседлость, прочное прикрепление к родной стране, то какой же бездомной, богемной, трагической оказалась ее судьба, подобная сорванному с клумбы цветку, поставленному срезанным стеблем в стакан со случайной водой,— и это несмотря на ее коренное, оседлое положение с детства! Скитанья, отрыв от родины в важнейшие исторические этапы ее становленья, бесконечная трата творческой энергии на личное, только на личное, яркая острота этого личного в чувстве любви и отчаянья, влеченья и отталкиванья, словно пловец в лодке без весел, без паруса, один в океане, и это — при огромном таланте и тонком природном уме...

Мы не знали друг друга ни в детстве, ни в годы студенчества. Мы, кажется, даже ничего друг о друге не слышали. Мы встретились и познакомились с ней только в тридцатых годах, когда она вернулась на родину,— в столовой дома отдыха «Голицыно».

3

В ту раннюю советскую пору у писателей еще не было многочисленных «домов творчества», таких, как построенные по последнему слову бытовой техники в Дубултах или в Пицунде, сроднившихся с нашей работой больших подмосковных Переделкина и Малеевки; уютного ленинградского Комарова и — любимого нами дворца на горе в Ялте, где так хорошо работается. Но тех из нас, кому тогда трудно было работать дома и кто вообще не имел у себя отдельной комнаты, «Голицыно» просто выручало. Это было небольшое здание на обыкновенной улице городского типа в поселке Голицыно по Белорусской железной дороге. Все в этом здании, как и вокруг него, было дачное по быту. Печи в каждой комнате. Их топили дровами. Каждую осень привозили эти «кубометры дров, распиливали, складывали, и зимним утром, едва

они разгорятся в печи, свежий синеватый дымок от них, чуть перехваченный морозцем, сразу настраивал на работу. Хозяйкой была Серафима Ивановна, у многих из нас оставшаяся в памяти этим светлым именем чего-то очень уютного, доброго и душевного.

Она как бы «наизусть» знала писателя в его, как обычно говорят, «специфике», заменяя этим целящимся словом длинное плавучее слово «особенность»: как и чем он дышит, как и что он пишет. Ее знание о нас и ее интерес к нам были настоящими. Очень настоящим в своем дачном понимании был быт дома творчества, быстро заменявший, когда свет погасал во всем поселке, электрическую лампочку керосиновой лампой «молния», всегда стоящей наготове, как и спичечный коробок. Воду накачивали на дворе в запасной бак на крыше. И, наконец, в кухне хозяйничала старых времен кухарка, с великой озабоченностью испекавшая пироги и кулебяки.

Когда она, разгоряченная, входила в столовую, от нее веяло, как из печной духовки, неоспоримым запахом всего *настоящего* — коровьего, без примеси, масла, свежего мясного фарша, чистой пшеничной муки,— слитным запахом старых русских кухонь, резко отличавшимся от старых уличных запахов заграничной кухни с ее смесью маргарина, уксуса, суррогатов и несвежести. В этой голицынской столовой я и увидела впервые Марину Цветаеву, и — странно сказать — мне как-то сразу пришла в голову ничем с этой встречей не связанная разница двух кухонных запахов — нашего, голицынского, и чужого, замеченного мною еще в пятнадцатилетнем возрасте маргариново-суррогатного и чуждо-табачного запаха на улицах Вены. Марина Цветаева — несмотря на приезд из «заграницы», несмотря на годы ее не *здесь*, а *там* — сразу воспринялась мной как *настоящая*. Но настоящая — из прошлого. Трудно было представить ее себе, как-то по-старинному, по-московски беспомощную, справлявшейся с заграничным бытом. Вся — старомосковская. В ее манере, к сожалению уже исчезающей, говорить с мягким «ш» вместо книжного «ч» («конешно» вместо «конечно»), в привычке медленности, невниманья к бегущим минутам, как если б они подождут ее, пока она тратит их, наконец — во всем ее милом, ну по-московски милом, несколько небрежном в одежде, трудно определить, общем облике. Она *не старалась казаться*. Мы сразу нашли с ней не столько общую тему, сколько нормальную атмосферу профессионального общенья, когда не нужно тянуть себя за язык, чтó сказать.

Я тогда только что начала переводить поэму Низами, «Сокровищницу тайн», труднейшую по своей незнакомой мусульманской мистике и терминологии, и просто не знала, как лучше к ней приступиться. Цветаева, вернувшись на советскую родину, получила первую свою работу — переводческую. Кажется, ей дали переводить западных поэтов. Как-то совершенно искренно, по-товарищески я ей пожаловалась на свои трудности. Утром под дверью была просунута ко мне в комнату крохотная записка на желтоватом листике из старого, обтрепанного, заграничного блокнота, с круглы-

ми отверстиями-дырочками вдоль полей. Хорошим ясным почерком с маленьким иаклоиом иалево, простым карандашом, без подписи. Таких записочек сохранилось в моем архиве три. Не зиаю, было лн их больше, верией — ие помию. У нее, видимо, была привычка, которую я считаю несчастиой н тщетно стараюсь искоренять у своих друзей: ставьте, товарищи, даты иа письмах! Цветаева ни на одной из записок дат ие поставила. Но все они были, как и она сама, иатуральны, причем иатуральиы по-старомосковски:

Милая Мариэтта Сергеевиа, сегодия Вы в моем сне мне упорно жаловались, что Вам в с е (каждая вещь) стоит 10 руб.

Проснувшись, я задумалась — дорого ли это или дешево.

2) Давайте мне Ваши темные места (Низами), я сейчас жду перевода и более или менее свободна. Дайте мне и текст и размер, но размер ие иарисованный, а написанный — любыми, хотя бы бессмысленными русскими словами.

Вот и вся записочка, даже без точки в коице, ио она мне пришлась по душе (приятно было, что я ей сразу же, после первой беседы, приснилась и что так это было профессиональио сказаио о «темиых местах», словио руку протянула за моей рукописью, ие допуская и мысли об отказе). И я в тот же деиь — вопреки десятилетиями выработанной привычке никому ие показывать своих рукописей, да еще черновиков и в иачале работы,— дала ей иа отзыв свою тетрадку. Оиа ответила, опять запиской иа таком же листике из блокнота, без обращеиья и снова без подписи:

Я бы ие решилась измеиить ударение амбра, о с о б е н и о в рифме. В общем — о ч е и ь хорошо, есть ч у д н ы е места, ио у ж а с н ы (не сердитесь!) субстанции и акциденции. Конечно, работа громадная: гора!

Ах, как мне жалко было мои субстаиции и акцидеиции — ведь это были чуть ли не единствеиные западные островки в восточиом океаие мусульмаиства! Но совет Цветаевой был безукоризнеи — и по прямоте н по вериости. Он стал мостиком к большим с ней вечерним разговорам об эстетике перевода, о том, можио ли допускать неточности в переводе пейзажа, душевиого движенья, абстрактной мысли, смысла, заложеииого в содержании, если сама поэтичность, сама образиость перевода, некий «влив», как, помню, она удивительно хорошо выразилась, влив самого себя, своей поэтической индивидуальиости, оправдывает эту неточность, дает взамеи авторского иастроеиья, только авторского,— аналог этого настроенья у переводчика, такой же высокий по качеству. Оиа считала даже, что без своего «влива» перевод может оказаться мертвым, да и вообще без иего хорошего перевода не бывает.

Я спросила ее, ие считает ли оиа такую замену чужого своим внеисторической маиерой перевода, отказом от полиой и глубокой передачи того, что хотел сказать и сказал живой, исторический человек другого времени, другой судьбы, других идей и доверил их вам на своем родиом языке, а вы доиосите им сказаиное, замеиив его по дороге своим собственным, людям другой страны, другого

языка и другой культуры. Она ответила словами: «А как же иначе? Снижать поэтическое качество его речи — значит ведь тоже подсовывать свое неумение на место его огромного мастерства, то есть искажать, недодавать, заменять и подменять».

Мы спорили не ожесточенно, искали вместе пути — но реальное бытие реального исторического человека и его реальной судьбы на земле было ей менее дорого, чем искусство, создающее образ. Кажется, именно тогда родилось во мне, хотя еще очень смутно, не только швейцеровское «уважение к жизни», но и сострадание (до физического сжатия сердца) к историческому «покойнику», забываемому теми, кто живет после него. Ведь все остается — материя, атомы, на которые она распыляется в прахе: а умирает только одно: индивидуальность. А ведь он жил именно этой индивидуальностью, неповторимостью... И в воскрешении исчезнувшего бытия, когда пишешь, лепишь, рисуешь его, самым важным казалось мне — схватить и передать именно это неповторимое, бывшее и оставшееся единичным,— индивидуальность! Впоследствии я именно так подходила ко всем своим историческим исследованиям, к монографиям, этюдам, литературным портретам людей, которые исчезли, умерли, но были... Как бы вторично рожать их — любовью и со-страданием. Но Марина как будто верила в личное бессмертие по философу Федорову. И ей не казалось необходимым перевоплощаться в чужую душу, чужое мышленье, чужой след, оставленный движением истории именно этим, а не другим человеком.

Подстрочники нравились мне иной раз больше стихотворного переложенья... Когда я призналась в этом Цветаевой, она ответила: «Мне тоже... но не всегда. Поэзии все-таки нужна поэзия». Но профессиональную точность, точность ритма она ценила высоко. Вспомнилось мне еще одно ее высказыванье. Толерантная и снисходительная, когда говорила о чужих вещах, она вся как-то вдруг подобралась, словно в атаку пошла и отповеди ждала, и твердым, решительным голосом отвергла бытовавшие у наших самых лучших, самых любимых читателями переводчиков размеры в переводе больших национальных эпосов: «Не то, не то — выдумано. Гладко, как перчатка на руке,— ведь не посмеют они такими ритмически-гладкими строфами, таким выдержанным размером, как у лошади галоп, переложить, скажем, «Слово о полку Игореве». Сразу скажут знатоки, что это нельзя, не то, не тот склад. А разве таким складом пели казахи, калмыки, грузины? Вы представьте себе старинные уклады, инструменты, синтаксис древних языков — и пустите все это скакать по-русски, по гладкой дорожке, по струнке,— это фальшиво уже с самого первого начала!» Речь эту я запомнила почти слово в слово.

Скоро беседы наши кончились. Марина Цветаева переехала в собственную комнату, снятую частным образом. Она взяла туда своего сына Мура,— и третью записку, опять на таком же клочке, тем же карандашом, также без даты и подписи, я получила уже оттуда:

Милая Мариэтта Сергеевна, я не знаю, что мне делать. Хозяйка, беря от меня 250 р. за следующий месяц за комнату, объявила, что больше моей печи топить не может — п. ч. у нее нет дров, а Сераф. Ив. ей продать не хочет.

Я не знаю, как с этими комнатами, где живут писатели, *кто* поставляет дрова??? Я только знаю, что я плачу очень дорого (мне все говорят), что эту комнату нашла С. И. и что Муру сейчас жить в нетопленной комнате опасно. Как бы выяснить? Хозяйке нужен кубометр.

Это был уже SOS. Без заключительной точки в конце. SOS, которым продолжалась и оборвалась ее жизнь в страшные годы войны. Кубометр я ей тогда выхлопотала, и она осталась у меня в памяти на пороге своей комнаты, худая, с платком на плечах, с коричневой впалостью под глазами — измученными жизнью, материнскими. Потерянная в своем внеисторическом бытии, слабо (физически слабо, словно сил не находя) негодующая на несправедливость человеческую («Как бы выяснить?»), недоумевающая сильно, удивленно, безнадежно («...*кто* поставляет дрова???» — с тремя вопросительными знаками) и такая потерянно-милая, простая по-старомосковски,— выпавшая из гнезда своего круга, из рамок своего общества, и не сумевшая прирасти к новой социальной действительности.

Я бесконечно жалею, что при эвакуации она не попала в уральскую группу писателей. Последней вестью о ней, уже после ее ужасной гибели, была открытка от Мура, посланная мне в Свердловск, с описанием, как «мать просила быть судомойкой, хоть прокормить меня...». Открытку я потеряла, цитирую по памяти, но запомнила, как сын написал не «мама», а «мать». Мало кто из эстетствующих поклонников Марины Цветаевой понимал, что она была матерью, очень большой и трагической матерью в эти последние бездомные годы своей жизни, быть может единственной реальностью заполнившей ее сердце.

Часть тогдашних моих современников восхищалась не только «не нашим», «западным» звучанием ее стихов, но еще и не нашими, западными черточками ее внешнего облика — верней, западными остатками их — каким-то заношенным, застиранным шарфиком вокруг шеи, с необычным рисунком, необычной по форме гребенкой в волосах, даже этим дешевым истрепанным блокнотиком и узким металлическим карандашиком в ее руках,— у меня сердце сжималось от жалости, когда эти убогие следы недавнего прошлого (словно вода с ботинок наследила в комнате) бросались мне в глаза. Эта притягательная для любопытства некоторых «наследь», эта «заграничность» мира Цветаевой, из которого она только недавно прибыла к нам, казалась мне страшной уликой ее напряженно-трудной, беспомощной жизни на Западе. Жалость брала думать, что в важнейшие, величайшие периоды русской истории — она со всей своей яркой одаренностью очутилась вне их, не испытала их осмысленно, внутренне, вместе с народом. Жалость брала думать о потере ею того жизненного, с жизнью спаянного времени, которое было историческим временем, и теряя его — теряешь кусок жизни, выпадаешь из народного опыта... Только мно-

го позднее, прочитав ее повесть «Сонечка», где голая, историческая пустота времени дает до конца понять, как важно быть со своим народом в периоды великих перемен, я сформулировала для себя полное понятие материальной историчности Времени.

Но в ту пору, с которой началась моя пятая книга — январское утро 1912 года,— я далека была от всяких анализов «коренных» и «некоренных» москвичек и не думала о том, с чем именно вылезаю на заснеженный легкой сахарной пудрой перрон московского вокзала, где в старой своей шубейке стоит с покрасневшим от ветра носом, поджидая меня, Лина (поезд, как обычно, пришел с опозданием). Я только чувствовала боль сердца — первую после смерти отца,— физическую боль сердца от опустелого места, где так еще недавно жила полнота любви. Со смертью любви болело ее опустелое место, как болит, вероятно, ампутированная рука у человека, когда ее уже нет.

Мы молча обнялись с Анной, вместе дотащили вещи до санок, утесненно влезли в них и поехали, обняв друг друга за спины, в узких московских санках по пухлому московскому снегу в новую для меня комнату «на Малой Дмитровке, в Дегтярном переулке, дом номер семь, квартира тринадцать», куда предстояло приходить одной моей очень важной корреспонденции. Комната — не в пример нашей кабинке в доме Феррари — была, как я уже сказала, светлая, с окном на улицу. Кажется, она была на втором этаже, куда приходилось подниматься из столовой наших хозяев. Я уже не помню хорошо ни этой комнаты, ни нашего в ней окруженья — у хозяйки было много жильцов. Но зато мы всё уже знали друг о друге, Анна и я. Прожив врозь почти всю зиму, мы с помощью еженедельных регламентаций не только жили, но как будто одним воздухом дышали с ней вместе. Когда я сразу, не успев оглядеться, сказала ей трагическим голосом: «Аннуха, все кончено. Передо мной стена» — она сразу же это восприняла как пережитое сообща и деловым голосом, без капли внешнего сочувствия ответила: «Вот и слава богу, что стена, значит, ты — у поворота, а раз у поворота — все будет по-новому». И Аннин ответ — тоже сразу — дошел до меня, как всегдашняя помощь.

В словах «слава богу, что стена» словно путь открылся. Время идет, оно не может не идти, оно не останавливается, и если идет очень долго по прямой — по все той же дороге, то оно монотонно; и если все та же дорога несет разочарованье и боль, то боль и разочарованье продолжаются до без конца и ничего тут нет хорошего. А вот если уже стена впереди — это слава богу. Чтоб идти дальше, времени, как воде,— ведь течет же время! — надо обойти, обтечь стену стороной, направо, налево, но повернуть, и это будет поворот. А за поворотом хоть и снова дорога до горизонта, но уже не прежняя, а новая — новая дорога жизни... Я всегда развивала и комментировала Аннину мысль для себя, но Анна — первая — давала формулу. И, видя, что я понимаю и мысленно расширяю ею сказанное, она добавила: «Ты свою любовь

жалеешь, что она уйдет, но у тебя новые события за поворотом, новые люди и ты обязательно рада будешь, что ушла старая любовь...»

Много лет вспоминались мне Аннины слова. Я помнила их, когда в пятнадцатом году писала свои «Утешения» самой себе и были там строки:

Не печалься над любовью-странницей,
Что, как тень, пройдя по жизни, канет...
Тень пройдет, а божий мир остается,
И глазам в миру виднее станет.
Сладок холод сердца разлюбившему!
Он глядит, как в первый день творенья,
Возвращенье памяти — забывшему,
Ненавидящему — примиренье.

И сейчас, в 1976 году, когда ровно пятнадцать лет минуло, как ушла моя Анна, я помню их...

4

Петербург. Декабрь 1911 года. В тесной ритмике постоянных моих работ некогда было мне думать о музыке, а тем более помышлять о концертах. Но как-то раз декабрьским утром, вышагивая вдоль Фонтанки свои километры до особняка Уваровых, вдруг, словно теплой волной по морозу, донеслось до меня музыкальное, почти птичье, щелканье. Это шарманщик, уже почти исчезнувшее и позабытое явленье столичных улиц, но еще как-то и где-то возникавшее уникальным анахронизмом, стал крутить ручку своей шарманки на «Дунайских волнах». И я вдруг остановилась как вкопанная в острой тоске по музыке, наплывшей издалека, напомнившей, как нужна она людям... и тотчас рванулась, возмещая потерянную минуту быстротой, чтоб не опоздать на урок.

И на следующее утро, нарушая дисциплину устоявшегося трудового дня, я внезапно помчалась на Николаевский вокзал, купила билет и на трое суток «махнула» к Анне в Москву.

Такой была моя кратковременная поездка из Петербурга в Москву.

А в Москве, первое, что поднесла мне Анна к приезду, были два билета «за колоннами», на симфонический концерт в Благородном собрании. Уж не помню, на какое число. Помню только, что в программе была Четвертая симфония Чайковского... Я не очень любила Чайковского. В моих «Воспоминаниях о Рахманинове», давно напечатанных и во многом уже устаревших, подробно рассказано о вкусах и философских рассужденьях музыкальной молодежи, среди которой я тогда «вращалась». Мы понимали музыку как проблему культуры, тесно связанную с исторической эпохой, с социальной, политической, нравственной жизнью народа. И Чайковский для нас не был в особенной чести из-за его нечеткой общественной позиции, из-за отсутствия у него «платфор-

мы», а Скрябнн, наоборот, «не был в чести» за налнчне у него «мистико-теософской», наивной для нас «платформы», казавшейся нам — своей смешиой иемного претеицнозностью — «словесиой дешевкой». Но за всем этим молодым умнничаньем студеиток первых иа Руси Высших курсов, кончавших первый на Руси философский факультет для женщин, крылась простая, даже простодушная любовь к музыке и Чайковского н Скрябина, прорывавшаяся в иепосредствениом иаслажденин на концертах. Дирижировать Четвертой симфоиией должен был Рахмаиинов. Счастье — снова услышать музыку, сиова побыть в атмосфере музыки — было так огромно, что Лиии подарок, два этих билета «за колониами», обещавших, кроме счастья, тяжесть трехчасового стояиья на ногах, был настоящим, строгим критерием нужды моей в музыке, иеобходимости ее для меия.

Не будучи профессиоиальной музыкаитшей по образоваиию и ие имея того абсолютиого слуха, как у необыкиовеино музыкальиой Лииы, любимицы тогдашнего руководителя классами музыки в гимиазии Ржевской профессора Московской коисерватории Адольфа Адольфовича Ярошевского, я с детства страстио любила музыку — для себя, для нервиой своей системы, для духовиой пищи, без которой, как без каталнзатора, трудно было осмысливать во всей их сиитетической полиоте все другие области искусства.

Миого раз приходилось мие рассказывать в печати, как получали мы в паисноне гимиазии Ржевской «обязательиое музыкальное образованне». Нас заставляли «слушать» и даже в и д е т ь и ч у в с т в о в а т ь вблизи — первое отиосилось к музыкальным произведеииям, второе — к их исполиителям и творцам. На все коицерты, сколько-иибудь поучительные для иас, иам доставали бесплатиые билеты, и мы отправлялись парами, в праздничных формах (белые фартуки, белые атласиые баиты в косах), во главе с иашей воспитательнией, балтийской немкой, в тогдашнее Благородиое собрание, а сейчас Дом союзов. Но ие в концертиый зал, а в «артистическую» — большую гостииую перед эстрадой, где сейчас собираются, обычио до начала «юбилейиого» вечера, члеиы его президиума. Там на мягких красных диваиах мы чиниo рассаживались и слушали коицерт в непосредствеиной близости от эстрады. Если же концерт происходил в коисерватории, нам частеиько ставилось несколько рядов стульев прямо иа эстраде. Исполнители и авторы проходили мимо нас, садились передохнуть подчас в той же комиате, особенно когда сами приходили иа коицерт послушать, а ие выступать.

Так, еще девочкой, я несколько раз слушала в иепосредственной близости и виолончелиста Пабло Казальса, и пианиста Иосифа Гофмана, и дирижера Артура Никиша, и Рахманинова. Так, уже будучи студеиткой, я погладила жесткую чериую стрижеиую голову мальчика Ферреро, когда ои еще мелкой по-детски походкой шел мимо меня иа эстраду дирижировать. Так запомнила кошачью грацию Гофмана, когда ои клал, сильио потерев ими, свои «кухарочьи» руки на клавиши. О них великолепно написала впос-

ледствии в своих воспоминаниях о Рахманинове его племянница Зоя Аркадьевна Прибыткова: «У Иосифа Гофмана... маленькая, коротколапая рука с сильно выступающим мускулом от мизинца к кисти; всегда красная, пальцы узловатые. Перед выходом в артистической Гофман двадцать — тридцать минут держал руки в очень горячей воде, чтобы размягчить мускулы»[7]. А мне казалось, что эти «кухарочьи» руки так нежно схватывают клавишу, словно понюшку табаку берут, как это пишут художники на картинах осьмнадцатого века.

И у Рахманинова запомнилось — пианист Рахманинов всегда шел на эстраду со слегка наклоненной вперед головой; а вот дирижировать он шел с чуть откинутой назад. И мы гимназистками всегда отмечали это, и соседние девочки шептали мне, как бы поддакивая: «Смотри, откинулся...» — или: «Смотри, наклонился...» Не знаю, в какой мере эти мелкие наблюденья были точны или случайны, но самое связыванье пластики с последующим действием (наклонил голову вперед — будет вдумываться, вникаться, до кончика в глубину входить в исполняемое пальцами на рояле; или голову откинул — будет охватывать все целое, весь горизонт, весь цельный организм произведенья точным, все представляющим себе взмахом дирижера...),— это связыванье пластики с последующим действием объяснялось мной уже впоследствии именно так. Вообще — в бессознательном, физическом движении мускулов у больших творцов, если подсмотреть их этот кратчайший миг, есть много поучительного для акта творчества. Так, я уже на старости подсмотрела у большого артиста, выходившего на сцену, судорожное сокращенье кисти руки (как бы бросок или отбрасыванье) — переход своего житейского «я» в создаваемый образ, переключение, как в электричестве.

Все эти мелочи я пишу для того, чтоб объяснить, какую особенную школу мы проходили по музыке. Несмотря на сольфеджио, теорию и гармонию (очень легко, в общих чертах преподававшиеся нам) и даже задачки по композиции, которые нам давали, целью нашего обученья было, кроме овладенья каким-нибудь инструментом для личного пользования,— научить нас слушать и понимать музыку, расширить для нас ее восприятие, вообще обогатить наш человеческий слух умным и глубоким наслажденьем музыкой. Сознательно или бессознательно, наши педагоги «образовывали» нас именно так — слушателями.

Пишу это, честно говоря, из чувства тревоги за современную музыкальную педагогику. Ее главной, ведущей целью должно быть, мне кажется, раскрытие великого богатства музыки, созданного тысячелетиями человеческой культуры, для миллионов советских людей; развитие вкуса и воспитание восприятия музыки, научение слушать ее. И вот — боюсь утверждать, боюсь самоуве-

[7] «Воспоминания о Рахманинове», т. 2. М., Государственное музыкальное издательство, 1957, с. 97. По деталям, удивительно зорко схваченным, и притом большей частью совершенно неизвестным, эти воспоминания З. А. Прибытковой о С. В. Рахманинове очень интересны.

ренно «ставить диагноз» — скажу очень осторожно и с опаской: мне временами чудится, что в музыкальной педагогике начала проступать некая тенденция, некий «уклон» под влиянием современной музыкальной техники и, возможно, создаваемый даже самими учащимися — тенденция искать в обучении не *освоенье* музыкальной культуры, а поспешный переход к собственному *сочинительству*. Стихийная потребность творчества, массовый рост «самодеятельности» — это огромное положительное у нас явленье. Но, например, в консерваториях изобилие учащихся, рвущихся в класс композиции, принимает, мне кажется, почти угрожающий характер. Музыка создается не только ее творцом — композитором. Музыку творит и оркестр, и каждый инструмент в оркестре, и сам педагог, воспитывающий музыканта... А число композиторов, выпускаемых консерваториями, как будто растет с каждым годом. Я не проверяла и, может быть, ошибаюсь, но мне говорили представители разных «отделов», ведающих местными художественными организациями, что у них «да, конечно, много сочинителей, и даже своих, местных, но *фаготов* — нет! *Фаготов* не хватает, *тромбонов*, *флейт*, да что говорить — даже *альтов*, даже *хороших скрипок* не хватает для создания своего собственного *оркестра*...». Это — на мой настойчивый вопрос, почему в каждой области, в каждом районе да и в каждой деревне по примеру Чехословакии нет своего оркестра.

Учиться *понимать* музыку и профессионально владеть каким-нибудь инструментом — значит, получить вход в мир прекрасного, дающего наслажденье человеку. Но когда, еле-еле коснувшись алфавита искусства, каждый, кто получил это первоначальное знание, сворачивает в сторону собственного сочинительства искусства, восприятию которого он только-только начал учиться, это опасно. Это *очень* опасно потому, что ученик еще недостаточно воспринимает чужое, чтоб творить свое, и потому, что «творить свое» без особого на то дарования в современных условиях стало катастрофически легко. Не только в пищевой промышленности, но и в лабораториях художественного творчества сейчас страшно выросло количество *полуфабрикатов*. Из «заготовок», «полуфабрикатов» музыки, поэзии, живописи так же легко строить модные современные «формы искусства», как из огромных бетонных плит быстро складывать самое здание. Ведь писали же несколько лет назад, что в Чикаго даже *машина*, «запрограммированная» заготовками, сочинила симфонию из четырех частей...

Когда я шла в этот вечер на концерт одна — Анна в последнюю минуту не смогла пойти со мной,— ничего похожего на то, что пишу сейчас, и в мыслях у меня не было. Но мысли эти пришли, когда память из глубин пережитого донесла мне с затуманенной точностью все, что произошло на этом концерте во время короткой побывки моей в Москве. Затуманенной, потому что все эти годы (1910—1917), хорошо вспоминая факты, я не уверена в датах; ярче и точней встают даты детских лет, чем в наступившие годы повзросления.

За колоннами уже впритык стояла молодежь. В тесноте — от нашей близости друг к другу — еще пахло от нас уличным снегом и влагой, еще таяли в волосах снежинки и мокры были щеки,— и страшно трудно протиснуться к краю, к черте видимости эстрады. Слух мой не так уж снизился, чтоб плохо слышать музыку, но я все же оттопыривала ладонью правое ухо, а главное — должна была опереться взглядом на дирижера, а дирижера — Рахманинова — видно не было. Еще в пансионе, как уже писала, мы привыкли чувствовать, почти касаться пластики живого музыканта, когда он проходил мимо нас или сидел вблизи. Рахманинова я тоже хорошо помнила пластически. Позднее, уже в советское время, когда появилось в печати много воспоминаний о нем, почти в каждом поразному описывалась его внешность: и «некрасивый», и «костлявый», и «мрачный», и «очень худой», и «элегантный» и «скромно одетый» — люди видели его по-своему, ощущали по-разному, но почти все сходились на том, что у него были очень большие руки. Очень большие и — добавлял кое-кто — «изумительной красоты». Я тоже увидела в первый раз, задолго до знакомства, эту очень большую руку, но не на клавишах.

Был один из дней, когда нас, учащихся, снабжали жестяными копилками с печатью и пачкой бумажных цветов или флажков и посылали собирать в театрах и на концертах деньги в помощь голодающим, приютским детям, неимущим престарелым и т. д. Еще гимназисткой я была назначена на такой сбор — для туберкулезных, во всероссийский День ромашки. Был большой антракт в «артистической» (гостиной) Благородного собрания. Рахманинов сидел в глубоком кресле, как бы подобрав в него свой высокий рост. Для другого такая поза могла бы называться «развалился в кресле». Но когда сидел он — вот так, очень усталый, отдыхая, задумавшись, глядя вниз,— он не «развалился», а как бы укладывался, сжимался, убирал всего себя внутрь, как если б был резиновый. Никогда — ни вставая, ни сидя, ни шагая, а тем более за пультом или роялем — он не казался мне «костлявым» и никогда не был (в те годы, когда я знала его) некрасив. Лицо его как-то не воспринималось отдельно, все схватывалось вместе и поражало особой, только ему одному присущей, породистой красотой. Сухое, подтянутое кверху лицо — я не знала в этом лице ничего отвислого, правда и ни разу не видела его старым (расстались мы летом 1917 года). На сухом лице были родинки; уши — почти без мочек, и это придавало ему и его суховатым (без всякой мясистости) чертам особую «породистость», изящество, рождаемое породой, сухость и узость, похожую на голову арабского коня. И в линии носа — чуть, почти незаметно, с горбинкой,— и даже в ноздрях повторялась эта породистость. Тем, кто писал о его коротко подстриженных, ежиком, волосах темного, матового цвета, казалось, что они жесткие, в тон жестковатой сухости лица, но я имела случай (уже много позже нашего знакомства) погладить эти волосы, и они оказались удивительной мягкости, почти цыплячьим пухом на ощупь. Он внезапно краснел, когда от чего-нибудь смущался, но не всем лицом сразу:

вспыхнув под кожей где-то возле подбородка, розовая волна крови медленно наплывала кверху, на все лицо, продолжаясь за лбом, под волосы. Глаза его, отнюдь не блестящие, а, наоборот, матовые, без блеска, часто не раскрывались во всю их ширь и поэтому казались небольшими. Может быть, еще и потому, что веки были у него тяжелые, имевшие — именно в себе, а не в глазах — что-то тяжелое и печальное. Но глаза, вернее — взгляд этих очень ясных глаз был открыт, прям, с затаенным на дне их добрым, детским юмором, тем юмором хорошего отношенья к человеку, который «подначивает», ножку подставляет, как в покере, но никак, ничем не обижает человека, а наоборот — вызывает его на такой же добрый, озорной юмор. И было в Рахманинове что-то восточное, что-то почти цыганское — в очерке лица и всей головы. «Татарская шапка!» — крикнул на него, разозлившись, где-то в гостях, чуть подвыпив, Шаляпин. А я видела в его музыке отблеск Востока даже в совершенно западных вещах, называя это и в статье о нем («Труды и дни», 1912) и в письмах к нему «смуглой краской рахманиновской»... Раз увидав его и почувствовав, нельзя было не привязаться к нему всем сердцем...

И вот — он сидел передо мной в «артистической» Благородного собрания, такой ощутимый, запоминающийся, в своем глубоком кресле, а рядом с ним, слева, прикорнула к нему его старшая дочка в нарядном платьице, с большим белым бантом в волосах. Я подошла к ним со своей кружкой, заранее отделив рукой две ромашки. И тогда Рахманинов, все еще не глядя вперед, а спрятав под веками глаза, смотревшие вниз, взмахнул, словно вдруг крыло развернул, большой, спокойной белой рукой, опустил ее в карман, достал из него кучку серебряных монет и высыпал их в маленькую ладошку дочери. А пока она аккуратно, пальчиками, всовывала одну за другой монетки в мою копилку, взял из моих рук две ромашки, одну вернул обратно, другую пристегнул булавкой к воротнику детского платья. Все это было так медленно, словно замедленная съемка, и так же плавно, без острых углов. Не понимаю, как могла эта почти «сворачиваемость», удивительная гибкость каждого мускула в теле, плавная мягкость показаться кому-то костлявой.

Мне именно этого пластического облика, опоры на него глазами, недоставало в вечер моего первого концерта после Петербурга. Как ни вертелась я во все стороны, становясь то правым, то левым боком, но начались сумасшедшие овации, каких на моей памяти ни один дирижер и ни один пианист не получали,— и даже мгновенный силуэт, мелькавший в редкие просветы, был дочерна заштрихован передо мной лесом поднявшихся в аплодисментах ладоней. Я уже не могла разглядеть ни дирижера, ни его жестов, моему «слуху-взгляду» не было обычной опоры, когда следишь не отрываясь за дирижерской палочкой и она ведет тебя, твое внимание по звукам от инструмента к инструменту, от партии к партии, а через них — к охвату вместе с дирижером всей партитуры, к построению целого. Кто знает, сумей я тогда, как обычно, опереться в своем слушании на дирижера, могла ли бы осуществиться в будущем та наша об-

щая страничка дружбы, которую можно назвать «Письма к Re». Но я, беспомощно стиснутая толпой спереди, сзади и с боков, должна была волей-неволей отдаться одной слуховой волне без всякой опоры на дирижера. И тут я в первый раз по-настоящему услышала Чайковского — без видимого следованья за дирижером.

Четвертая симфония писалась как будто на ходу: «Чайковский начал ее еще зимой 1877 года в Москве; работал над нею в Каменке и в Вене; в Венеции в отеле «Бо-риваж» он погрузился всецело в ее инструментовку; завершил ее в том же месяце в Сан-Ремо, в пансионе «Жоли», и через три дня из Милана отослал рукопись в Москву». В четырех странах, в пяти городах и в одном имении... Я цитирую это из книги Вл. Холодковского «Дом в Клину», выпущенной «Московским рабочим» совсем недавно, в 1975 году. Книга отнюдь не «исследовательская», очень популярная, что называется, «для широкого читателя», но она дала мне как раз нужное по части информации в той именно области, какой я должна была коснуться. Итак, «на ходу писалась». А в какой год? Вот еще цитата, из той же книги: «1877 год — это не только пора изживания тяжелого внутреннего кризиса, это знаменательный год перелома, рождение нового периода в развитии искусства Чайковского: начало зрелости гения... Это год создания Четвертой симфонии и оперы «Евгений Онегин»...» [8]

И в то же время Четвертая симфония не стояла в ряду остальных симфоний Чайковского на первом месте, как признанная «лучшей»; в печати часто отдавалось предпочтенье Пятой. Кульминацией, вершиной творчества была Шестая с ее богатейшими, мелодическими темами. О Четвертой писали в то время, подчеркивая черты ее фольклорности, народной песенности. Но я, отдавшись только слуху, ничего не помня из тогдашних разборов и рассуждений музыкальных критиков, игнорируя «национальное», просто не замечая, не обращая на него внимания, почувствовала в нем тему счастья труда, нарастающий гимн работе, откровенное излияние композитора о победе своей над всеми душевными кризисами и над неверием в свои силы,— могучим шествием труда, победоносного труда, из части в часть, из темы к теме, из образа в образ, торжеством свершаемой работы над царством звуков, творческой властью над стихийным их буйством. Много раз впоследствии мне хотелось поделиться услышанным с самим Рахманиновым, спросить его, чувствовал ли он то же самое, раскладывая и вознося по частям, словно вверх, к куполу храма труда, Четвертую симфонию, когда дирижировал ею в тот вечер. Мне очень хотелось спросить. Но смелая с ним до дерзости в своих письмах, я почему-то побоялась: а вдруг он ответит «вы ничего не поняли!» и засмеет меня за «вумничанье», которое так ненавидел.

---

[8] В. В. Холодковский. Дом в Клину. М., «Московский рабочий», 1975, с. 41, 40. В дальнейшем я еще несколько раз обращаюсь к этой книге, содержащей ценную информацию, в том числе и газетную, а главное, любовное и умное отношение автора к своей теме.

А между тем это нсполнение Рахманнновым Четвертой снмфоннн Чайковского, почти забытое по возвращеннн моем в Пнтер, отодвинутое всеми последиимн пнтерскнмн событиями, сделалось как раз тем «поворотом», о котором сказала мие Лиия. Воды времени «обтекли стеиу». Раскрылась даль, и в дали этой был свой «вектор», свое направление — т р у д. И новый человек... Вот что спасает прн всех кризисах, вот что высветливает темиоту в душе, заставляет забыть любое страдаиье, сиимает любую боль — труд, работа н иовая самоотдача.

Вериувшнсь окончательио из Питера в январе, порвав с Мережковскими, я казалась самой себе душевио опустошеииой,— чувство полиой истрачеииостн, боль, «все кончено» — переполияли меия. Но — и это «ио» было огромно. Прн всей опустошеииостн — я вернулась в Москву не с пустыми руками. Мы с Лиией, обе, глубоко проаиализнровалн, с каким багажом, кроме, казалось бы, безвыходного отчаяиня,— я приехала.

Багаж мой был тот самый — невидимый,— багаж пережитого, какой, по приведеииой мною выше цитате из Лениия, забираешь с собой даже в одиночиую «келью», а не то что в «меловый круг» среды. Рассказать о ием иадо подробио.

Быт мой за две с половиной зимы в Пнтере был переполиеи огромиой, обязательной н самой жизнью распланированной работой. Вставаиье в зимней темноте еще не растаявшей ночн; вышагиваиье пешком полтора часа по Фонтаике в любую погоду безотказио иа урок, начинавшийся в половине девятого, кончавшийся к часу; писание н занятия в библиотеке; выполнеиье заданий Мережковских, иногда гоиявших меня из конца в конец Петербурга; лекцни в рабочей школе; все это, аккуратно вложеииое в ящик временн,— и под конец чудное чувство душевиого довольства собой от конспиративиых вечерних поездок «с греческой философией» на рабочне окраины. Самым главным в этом шестиадцатичасовом рабочем дие казались мне задания Мережковскнх. А все остальное только добавлялось к ннм по иеобходимостн. Но как раз это «все остальное» н было теми спасительиыми, животворными зернышкамн, что прорастали вершок за вершком в багаж моего опыта: наращиванье крепкой п р и в ы ч к и к п о с т о я н н о м у, е ж е д н е в н о м у, о г р о м н о м у т р у д у.

На столе у меня лежала пачка цветиых караидашей; иад столом кнопками прикреплен к стене большой лист бумагн. Он был разделеи проведеииой сверху винз чериой чертой на две половииы, левую и правую. Над левой половиной, под заголовком «Дии, часы», было записаио, сколько надо сделать н чего имеиио иа каждый день н час; справа, с перечислением тех же дией н часов,— пустые места для записи: в ы п о л н е н о нлн н е т. Ежевечерие перед самым сиом иаступал удивнтельный, сильно переживаемый миг, одни мнг: я красным карандашом в квадратнке пройдеииого дня и его часов ставила крестикн: выполиеио! И выводила их с тем подъемом радости с самого диа души, какой бывает от лекарств, даваемых врачамн как стнмуляторы. Только от этого натурального стимулято-

ра, мига радости, удивительно хорошо спалось! Или — когда ставилось *нет*, изредка, *синим* карандашом,— подимался с того же дна души неприятный, горький осадок, скребло что-то внутри. И хотя я старалась утихомирить этот скреб, говоря самой себе: «Доделаю завтра»,— но сон не приходил долго и был клочковатым. То была особая бухгалтерия особого «творческого плана». Наверное, люди купеческого склада подсчитывают и отмечают так накопление или трату денег. Для человека творческого склада детским наслаждением было подсчитывать накопление созданного и *чувство отдачи* (*создать* — сделать, чтоб дать) — удовлетворение собой, счастье и наказанье того, кто родился творческим тружеником. Не просто тружеником и не просто творцом, а именно творческим тружеником. А наказанье...

Чтоб понять, в чем это наказанье, надо много, много пережить и осмыслить. Помню, после Четвертой симфонии я долго и восторженно говорила Лине, какое счастье дает человеку творчество — ничего больше не надо, только неугасимо гореть самоотдачей, давать и давать, чувствуя, что ты неиссякаем, что ты переливаешься через край от душевной полноты... И до чего я благодарна самому времени, потоку его за то, что оно стало драгоценным каждой своей минутой. За то, что не оставляло крупинки для всего того, что было «посторонним»: расходом сил на болтовню, хожденье в гости, прием гостей, увлеченье людьми, ненужными сердцу, на все, что связано с богемой, с затратой энергии впустую, отнятой у часов творчества, труда, учебы, мышленья... Мышленье — тихое, медленное, в одиночестве, но вместе с природой, с прогулкой, с ритмикой дыханья и пешего хожденья — вот единственный допустимый отдых для творца! И тогда в ответ на эти слова Лина как-то странно посмотрела на меня. У нее были удивительные, далекие глаза-звезды. Когда она уходила от меня навеки, она тоже смотрела на меня этими далекими глазами-звездами... Я ждала после моего гимна времени сочувственного отклика, и вдруг она сказала, издалека, словно себе, а не мне, странным голосом: «Какие они эгоисты, эти творцы, и какие они несчастные!» Мне в ту минуту не хотелось задумываться над ее словами «какие они несчастные!», не хотелось понять их. Я была захвачена своими мыслями о выходе из несчастья — в труде и работе, и будущее казалось мне светлым: вот так — из нужды в привычку, из привычки в потребность — направленная система жизни, и она дает, если труд будет удовлетворяющим, огромное, спокойное счастье. Направленность — но не сразу, а в поисках, из формы к форме, как в метаморфозе растений. Без нее, без собственной выработки этой направленности (для чего жить? как можно жить без пользы для других? что может быть больше счастья от удовлетворенности своим трудом, своим творчеством? что нужнее для совести, как не память о местоимении «ты», о другом человеке, ближнем, дальнем, но реальном, как и ты сам, для кого ты творишь,— о миллионных реальностях этого «ты», составляющих человечество?), без работы мозга, чтоб выработать эту нравственную направленность, нет и не может быть счастливой

судьбы человека! И опять словно издалека отозвалась Лина: «Ты думаешь, одной работой мозга можно выработать нравственную направленность жизни?»

Только теперь, в глубокой старости, я понимаю, что хотела сказать Лина и как остеречь меня. Нельзя — и не надо — обходиться человеку без «лишнего», без траты впустую. Ведь и время течет со шлаком, с отбросами, потому что течет в нас самих. Нельзя быть только творцом, забыть в себе долг простого человека, отца, матери, гражданина, члена общества, даже простого Ивана Ивановича, которому не дана «искра божия» творчества и который в каждом из нас где-то на самом дне бытия существует... все надо человеку... и грешить, и ошибаться, и разбрасываться, и быть щедрым, потому что все это, сжимаясь, входит в творческий акт... И пребывая всю жизнь в самозабвенном труде — творчестве, уподобляясь теургу, несешь великое наказанье одиночеством, наказанье потерей способности быть с людьми, быть простым, одинаковым с ними, непосредственным человеком... Но в ту пору я еще мыслила отвлеченно. Есть периоды, когда человек считает себя умнее природы, умнее законов ее. Становится как бы одержимым «чистой идеей» творческого труда — независимо от общества, от общественного строя, от хозяина, на которого он трудится.

Совет: «Не разлучайся, пока ты жив,
Ни ради горя, ни для игры.
Любовь не стерпит, не отомстив.
Любовь отнимет свои дары».

Ответ: «Испуг и ложь, любовь, в твоем укоре!
В бесплодных снах стоят твои года.
Душа ушла — не для игры и горя,
Но от игры и горя — для труда».

Труд — и что он такое — стал осознаваться нами в своем новом, очень большом и глубоком смысле совсем еще недавно, в советское время. Я говорю не об экономической и политической его стороне, но об отвлеченном, нравственном, психологическом смысле труда, обо всей полноте его философского смысла. Если переводить формулу судьбы на арифметику, то в знаменателе моем после смерти отца стояла бездомность, а в числителе — очень важное обстоятельство, всплывающее над всеми прочими: необходимость труда.

У Гёте, человека всегда состоятельного, ни разу не знавшего нужды в куске хлеба, есть изумительные — по-моему, самые великие — строки об этом «куске хлеба», слившего воедино античную теорию рока с христианской теорией искупления[9].

[9] Кстати сказать, Гёте предвосхитил тут Фрейда, коснувшись корней античности (без вины виноватые, царь Эдип): Миньон, дочь кровосмешенья, от связи сестры и брата, виноватая без вины. В самом христианстве труд мыслится как наказание, как «изгнание из рая». Цитата, переведенная мной, взята из старого издания «Philip Reclâm. Goethes sämtliche Werke in fünfundvierzig Bänden. Wilhelm Meisters Lehrjahre», с. 92. Но я лишь намеком касаюсь темы, уходящей корнями очень глубоко, поскольку она не лежит в русле моего рассказа.

Сильней этого восьмистишья, суммировавшего две прожитые человечеством эпохи, почти на пороге третьей, грядущей эры, социалистической, нет в поэзии ничего, сказанного так многомысленно и так лаконично. Есть в нем и некая связь, брошенная из прошлого в будущее как мостик между ними. Я приведу для читателя все восьмистишие по-немецки:

Wer nie sein Brot mit Tränen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend sass,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.
Ihr führt ins Leben uns hinein,
Ihr lässt den Armen schuldig werden,
Dann überlasst ihr ihn der Pein:
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

Подстрочник, если делать его только слово в слово, может не оправдать для читателя высказанных мною выше мыслей. Я постараюсь дать подстрочный перевод немного расширенного типа для полного понимания этого восьмистрочного чуда, требующего едва ли не философского трактата:

«Кто никогда не ел своего хлеба смоченным слезами, кто никогда не сидел плача на своем ложе, в полные мук часы ночи, тот не знает, не испытал вас, вы, Силы Неба! Вы бросаете нас в жизнь, вы заставляете нас, бедных, согрешать, становиться виновными, а потом покидаете нас на муку, потому что каждая земная Вина — отмщается (искупляется) тут же, на земле».

Рок — античный период общества — ведет к случайной вине, к преступлению (Эдип). Искупление, жертвенность, ад христианства ведут к человеческому страданью на земле. Потому что содеянное здесь — и отмщается здесь. Искупление. И мы, без вины виноватые, виновные от рождения, мы бедные, Armen,— с каким-то космическим состраданьем выводит на бумаге перо великого поэта,— обречены стать виновными, трудом искупать вину. Это старое понимание труда, еще христианское. Но мост — от христианства к будущему — переброшен в первом четверостишии. Этот мост соединяет труд человеческий, когда в слезах ешь хлеб свой, с познанием для бедного труженика Небесных Сил, высшей благодатной помощи. И отблеск этих Сил как бы ложится на самый труд. Потому что только тот, кто испытал слезную муку этого труда, только тот, кто омочил слезами свой кусок хлеба, познаёт высшую благодать, и никто, не трудившийся до слез, не может познать ее...

Гёте тут, у мостика, остановился. Он не перешел его, он — у порога будущего, когда самый труд из тяжелого и насильственного станет свободным и творческим, из необходимости превратится в потребность. Но мы с читателем пойдем дальше. Приведу еще пример, он, правда, опять в прошлом, опять еще только на пороге будущего, овеянный потухающим отблеском христианской теории «искупления», но все же сам по себе в старой социальной системе — некоторый шаг вперед. В горе, в несчастье, в плаче — не до еды, но

свой, заработанный собственным трудом хлеб можно есть в такие минуты. У Тургенева крестьянка, потерявшая сына, со слезами ест щи, потому что они «посолены», а соль далась ей тяжким трудом и не выбрасывать же труд свой в минуту отчаянья. Труд — свой, своим трудом заработанный хлеб, потому что никто другой не заработает его для тебя,— это величайший воспитательный фактор на земле, вырабатывающий в человеке уваженье к самому себе, к своим силам.

Я как-то мало задумывалась над тем, что вся моя жизнь в Питере и после Питера, помимо ее эмоциональной стороны, была, в сущности, с самого утра заполнена этим ведущим и организующим фактором — *необходимостью труда*. Он был постоянен, присущ самому течению времени, увеличивался с годами, потому что трудиться нужно было уже не только для себя, кормить надо было уже не только себя. И медленно-медленно, как крупинки в песочных часах, накаплнвалась привычка к труду, покуда количество этих песчинок ежедневного многочасового труда не перешло в качество и чувство *необходимости* не превратилось в *потребность*.

Вот эти переходы из количества в качество — они создаются самим временем: каждый такой переход есть своеобразная «обратимость» времени, обращаемость его в самом себе, и нет ничего прекрасней изо всех действий времени, чем это могучее превращение труда человека (расхода его энергии) из *необходимости* в *потребность*.

Не сразу, даже и после Октября, при воспевании творческого труда, при звучании первых поэтико-эпических формул о труде — у Горького, у зачинателей новой советской литературы — стало это полностью понятным человеку. Шаги к такому пониманию были сделаны не только у нас. Помню выход в Чехословакии замечательной книги Зденека Плугаржа «Если покинешь меня...». Не боясь никаких упреков, я тогда же, как и сейчас, признала ее — после Ярослава Гашека — первым в то время настоящим советским, если хотите — марксистско-ленинским явлением чешской литературы. Читая эту книгу, подходишь к *новому* пониманию труда как внутренней потребности человека, подобной другим, органическим, потребностям у людей — голоду, жажде, сну, любви. Именно эта книга, поставив социалистически проблему труда, по своей направленности перекликнулась в те времена с лучшим, что было в нашей советской прозе. Напомню ее содержание.

Три молодых парня, плохо себя чувствовавших в новой, социалистической Чехословакии, задумали бежать из нее в «заграницу»: «заграница» была тут, под боком, через лес перейти. Там перебежчиков держали в лагере послевоенной американской зоны, выдавая оттуда «путевки в жизнь» — в Париж, Лондон, на атлантические острова, в колониальные войска, вообще где будет вакансия. И оттуда через подпольные каналы, как отсветы далеких солнц, доходили до этих парней обворожительные штуки — сигареты, зажигалки, носки, пуговицы с той манящей внешностью, где форма красивей

содержанья, и вообще... «вот это — да! вот этого у нас нет и не будет!».

Парни сговорились, приготовились, перебежали границу и очутились, как мечтали, в американском лагере на немецкой послевоенной земле. Дальше идут замечательные по своей правде и мудрой направленности, самые сильные страницы в романе. Лагерь как лагерь. За то, что перебежали, их кормят. Они могут приспособиться к разным предприимчивым маневрам, на которые распадается спекуляция,— обмену «ты мне — я тебе», картежным и прочим баталиям на выигрыш; могут сделать карьеру, если согласятся окончательно предать свою родину и пойти открыто на службу реакции, в военный легион, в шпионаж, в любую форму измены родному народу. Лагерь обеспечивает их даже и «женщиной», женщиной «вообще», за лишнюю шоколадку или банку консервов. И только одну вещь, как ни старайся, как ни мучайся, беглецы получить не могут — работу.

«Заграница», приветствовавшая беглецов из молодой социалистической республики, сама полна безработных. «По горло,— скажут разные начальники в разных распределительных комиссиях,— своих некуда девать!» Американцы не дадут умереть с голоду... их кормят. Спасибо скажите — кормят! А насчет работы — в первую очередь своим, не чужим же. Ждите. Вот и ждут парни, ждут — и, оказывается, с каждым днем ожиданья теряют что-то, как машины, ржавеющие от бездействия, как хлеб, плесневеющий от несъедения, как вода, гниющая от неподвижности. Теряют что-то — что? Если знают специальность, хоть самую простую, теряют свое умение, деквалифицируются. Если есть молодость, мускулы, сила в них, и молодость, и сила, и здоровье уходят впустую. Если охота была действовать, двигаться, себя приложить хотя бы к самой черной работе (уголь копать, деревья обтесывать, мешки таскать), растрачивается охота, гаснет от нехватки предложенья, как зажженный огонь — без воздуха. Не много ли за миску дрянной даровой похлебки? Человек пропадает — вот какое это теряемое «что-то». Но и больше того — человек утрачивает уваженье к самому себе, веру в свои силы.

Когда я читала книгу Плугаржа, я невольно остановилась на понятии даром. Отдача себя, дар другому — это очень хорошо, это прибавляет нечто к тебе самому. И получить дар от другого, от друга, от народа — это доводит до того высокого переживанья, в котором есть что-то благостное, что-то смиряющее твое «я» перед другим «ты», что-то создающее связь, светлое, бескорыстное: «мы». Благодарность, благо-дарю... Но даром, даровщина, даровая кормежка, дармоед! Есть что-то унизительное в понятии «даром», поскольку оно, как пощечина, идет к человеку без ничего обратного, кроме чувства собственного униженья. Как ни оскорбительно такое сравнение, но мне вдруг показалось над страницами Плугаржа, что даже собаке даровая кормежка — без ничего, без дела, без лая, без охраны дома — противоестественна. И по-другому показалось слово, такое частое в газетах,— безработица.

До сих пор помню эту перемену восприятия газетного слова. Бесконечная человеческая очередь с котелком для супа в руках — в Америке, Лондоне, Риме, Париже, Японии... Раньше казалось: слава богу, что хоть кормят! А сейчас оборачивается ужасом: нет работы, не дают работы, вымирает сущность человеческая, костенеет без выхода энергии — в руках, ногах, мускулах, в коре головного мозга, это очень страшная вещь, хуже гильотины,— безработица.

Мудрейшим образом, по наивысшему закону справедливости составлена формула человеческого бытия при коммунизме — *от каждого по способностям, каждому по потребностям*, где уравновешиваются отдача и получение не механически, не поровну, а той математикой справедливости, что выше высшего и что действует, я не побоялась бы сказать, как народ говорит: *по-божески*.

Привезя с собой из Питера привычку к непрерывному творческому труду, я имела в своем багаже и еще кое-что. От каждого *по способностям* — говорит первая половина великой формулы. Личной моей «способностью», укоренившейся в Питере как наилучшая форма трудовой самоотдачи для меня, возрастающей с годами, становилось *писательство*. Но привыкание к своему виду труда развивается вместе с развитием только вам присущих особенностей этого труда. Элемент личных творческих особенностей в процессе труда имеется не только у людей так называемых свободных профессий — было бы высокомерием думать так. Возьму простой пример: если вы проходили когда-нибудь на прядильной фабрике узкими рядами станков и смотрели на каждую из прядильщиц по мере своего прохожденья, то не могли не заметить, что все они прядут не одинаково, хотя труд их сам по себе совершенно одинаков. Переход от станка к станку, движенье руки, когда она мгновенно ссучивает разорвавшуюся пряжу, и жест, отбрасывающий эту ссученную нить вперед, вдоль круженья того же веретена, и опять шаг к другому станку — свои собственные у каждой,— особенно ссучиванье и подброс нити: у одной — взмахом чуть вверх, словно птицу выпускает в воздух; у другой — словно лодочку спускает на воду, плавно и ровно; у третьей — словно ладонью семя в землю бросает. И этот бросок, и быстрое, мгновенное ссучиванье, и взгляд, следящий вдоль за кружащимися веретенцами станков,— у всех свои, у всех разные, хотя, казалось бы, нет монотонней работы прядильщицы на старой прядильной фабрике, какой она была лет сорок назад и какую я много раз наблюдала. Этого ученице передать нельзя. Это личное творчество, выработанное временем. У писателя особенности его трудового процесса отражаются в «своем» языке с постоянным уклоном к определенной структуре синтаксиса; в расстановке слов, выборе слов, передаче движения мысли через ритмику абзаца — длинного или короткого, даже в излюбленных знаках препинания, по своему количеству и применению очень разных у разных писателей. Например, Виктор Шкловский пишет короткими, даже кратчайшими абзацами не потому, что де-

лает это искусственно, а потому, что иначе не может: мысль его движется как бы вспышками коротких замыканий в электричестве. А меня редакторы на куски режут, ужасаясь бесконечной длине абзацев, точней — отсутствию абзацев в массиве слитной прозы, но уж так получается у меня — звено за звеном, словесная передача мысли, словно катящийся клубок ниток. Если опять привлечь электричество — беспрерывность течения света. Очень неудобно для меня, если его выключают вдруг «по́чем зря». Suum cuique, каждому свое, как говорили в древние времена.

Так вот, все еще топчась в своих воспоминаниях вокруг питерского периода и осмысливая, с каким багажом я вернулась тогда в Москву, я вижу в себе то, чего ни один критик видеть не может: постепенное (вместе с ростом привычки к труду вообще и к писательскому в частности) развитие всех особенностей моего литературного почерка; и не только это, но и первооснову, над которой, как «посев» над жидкостью, вырастали эти особенности. Сложный лабораторный анализ очень сложного явления — творческого труда — делается у нас еще очень редко, хотя он нужен и крайне интересен. Я его начала с того, что мысленно обозрела все мои тогдашние писанья, объем и характер этих писаний. Больше всего и чаще всего писались мной — и по количеству их и по затрате времени на них — те систематические послания, которые мы с Анной называли регламентациями. Я писала их изо дня в день, отсылая толстой пачкой в конверте каждые семь дней (обычно по субботам) сперва только Анне, а потом и Гиппиус. Анне — с душой нараспашку, то есть главным образом о себе и своих эмоциях (в восклицательных знаках!), применяясь к тому, что интересно и важно нам с Анной знать друг о друге. Гиппиус — более требовательно к форме, более выразительно, описательно, дарственно, стараясь дать именно то, что интересно и нужно не мне, а ей. Таких регламентаций я, не преувеличивая, «настрочила» чуть ли не на два толстенных тома. Это не были обычные письма и это не были дневники, разговоры наедине с самим собой. Это были именно *послания*, нечто уже рабочее, выходящее за пределы комнаты. И они были всегда *адресуемы*, были направлены к конкретному человеку, живому «приемнику» обращенной к нему литературной прозы. Это значит, что в ранней моей прозе были налицо *два компонента*, несших на себе эмоциональную нагрузку,— я и *ты*. Творческий акт шел к «ты» и через приспособление, приближение, постижение «ты» обратным потоком вливался в «я».

Опять обращаясь к античной мудрости, напомню читателю древнейший совет философа, дошедший до нас через тысячелетия: *познай самого себя*. В сущности, и цель этих моих воспоминаний совсем античная: рассматривая в дальние стекла бинокля почти уже конченную, прошедшую жизнь одного человека, знакомую больше всех других именно этому прожившему ее человеку, то есть *мне самой*, я хочу «познать самое себя», но немножко не так, как звучит древний совет. Познавая себя как одну из миллионов жизней, частицу человечества, я через свое «я» хочу лучше

познать, сблизиться, слиться с «ты», с другими частицами огромной, неизмеримой, невидимой для нас мозаики всего человеческого существованья. Ведь при всей их разнице «я» и «ты» очень близки, очень похожи, рождаются, плодоносят, умирают, как колосья в поле,— и нет больше счастья и глубже науки, чем через свое «я» познать чужое «ты». Так вот, привыкая писать всегда для «живого и конкретного адресуемого», а не для массы абстрактных, невидимых «читателей», и притом писать не «равнодушно», не безликому множеству и не себе в одиночку, а всегда любя — и бескорыстно любя,— любя «с пристрастием», дарственно, с самоотдачей, я и не заметила, как эта привычка срослась с моей прозой и ее особенностями, приняла исповедально-дидактический характер, душевно и мысленно открытый наружу и этим ключом открывающий двери не только в душу и мысль адресуемого (всегда конкретного «ты», для которого пишу), но и для многих читателей, тех, кто чем-то и где-то схож со мной,— а ведь в главном мы, люди, все схожи!

Во всех моих позднейших вещах, даже таких, как «Четыре урока у Ленина», критики отмечали присутствие лирического «я» как особенность моей прозы. Но в ней главное — это присутствие лирического «ты», без которого (тут, около, вблизи, рукой подать...) не могло бы присутствовать и «я». Отсюда некоторая разговорность этой прозы. Когда пишу, губы шевелятся — не читаю себя, а выговариваю себя. Так многие музыканты, садясь за рояль перед переполненным людьми концертным залом, шевелят губами, как бы выпевая свою музыку, создаваемую на клавишах пальцами...

5

Вот так — бухгалтерией любви,— подсчитывая итоги моего питерского житья и разбирая привезенный мною «багаж», мы с Линой как бы вышли за пределы московского «мелового круга». Обтекли его — обтекли опытом рабочего труда, насыщенного рабочим, общественным, жизненным интересом. Что касается Четвертой симфонии, то тут Лина разошлась со мной: «Все-таки фольклор, не переваренный, почти цитатный в конце,— это в ней есть. И вообще такое восприятие субъективно, у каждого оно может быть свое». Позднее, когда я поделилась им с философом-музыковедом Эмилием Карловичем Метнером, он тоже назвал его «выдуманным, ни с чем не сообразным». И каюсь, я бы в конце концов не поделилась им с читателем, боясь, что и ему, читателю, это может показаться неправдоподобным, если б много лет спустя я не пережила это воздействие вторично, пережила даже сильней, чем прежде, опять услышав в Четвертой симфонии кусок душевной исповеди Чайковского — рассказ о спасительном действии труда после бездействия, отчаянных сомнений в себе, о возвращении к творчеству, о счастье того таинственного творческого восторга, какой в просторечии зовут вдохновением.

Это случилось в Лондоне в пятидесятых годах. И при особых обстоятельствах, странным образом опять связанных с Рахманиновым, когда самого Рахманинова уже не было в живых. Это необычное совпадение я зову в дневнике почему-то английским словом «coincidence», может быть, потому, что носит оно не наш, русский (и не дано было ему закончиться по-русски!), а чисто английский характер. В тот мой приезд в Англию я жила в маленькой старомодной гостинице в Кенсингтоне, называвшейся чем-то вроде «Придорожных столбов» («Milestones»), под вывеской, где был изображен кеб времен Пиквика, везомый мчащейся четверкой, с кебменом на высоком облучке и в шляпе с высоченной тульей. Наверное, за старинный стиль она дорога была и неудобна: в малюсенькой комнате, без телефона. Но для меня — с огромным удобством. По Кенсингтону я могла, не переходя улицу с ее опасным двойным движеньем, идти спокойно, прямехонько, тратя драгоценное время не на оглядку туда-сюда, а на мышленне, в сторону Гайд-парка и Пикадилли, но не дойдя до них, тут же направо свернуть в «Альберт-холл», где происходили в то время, и сейчас происходят, знаменитые симфонические «Променад-концерты». Каждую неделю, заранее запасшись билетами, я добиралась туда без опаски попасть под автомобиль.

Огромное наслажденье от музыки не портилось даже тем, что программа, очень разнообразная, включала западные «новинки», невозможные для человеческого уха, воспитанного на классике. Зато когда в программе стояла классика, можно было почти физически ощутить, как оживлялся превосходный оркестр, «успокаивались» инструменты, не терзаемые звуковым хаосом, насилием над их возможностями, и как улыбался очередной дирижер той доброй улыбкой, с какой нагибаются обычно к детям. Все напоминало мне Москву: толчея у кассы, молодежь, с утра становившаяся за билетами в терпеливую очередь, старики, приехавшие из предместий огромного Лондона, иногда из самого Оксфорда, и в зале «стоячие» места, как в Благородном собрании моей студенческой юности. Только не «за колоннами» (колонн вообще не было), а в середине полукруглого зала, возле самой эстрады; что до сидячих мест, то они шли амфитеатром лож, опоясывавших, поднимаясь над площадкой центра, весь зал. Я покупала места в ложах, только прося, чтоб это было поближе к самой эстраде. Музыка — больше, чем театр, больше, чем музей,— как-то роднит людей, верней — делает их похожими друг на друга в любой, как мне кажется, европейской стране. И на «Променад-концертах» мне всегда уютно было среди лондонцев, как среди москвичей. Началась стоявшая в программе Четвертая. В этот раз я приковалась глазами к дирижеру, силуэт которого был мне отчетливо виден. Дирижировал Сарджент, очень хороший и популярный, но отнюдь не звезда первой величины: обычный первоклассный дирижер. И вдруг опять мое спокойное, заранее как бы приготовленное вниманне было потрясено, захвачено, смыто, как в горный речной поток, музыкой — музыкой прежнего ощущенья рабочего счастья Чайковского. Словно знакомым

каким-то ароматом повеяло в зале из воздушных вентиляторов — запахом сосны, леса, скошенной травы, хорошего настроенья и — опять — ликующего торжества... А в проспектах стояло «трагические голоса», «народная русская песенность» — а я не слышала никакой трагической ноты, никакой русской народной песни, просто не слышала; вместо них — опять переживаемое торжество, опять нечто, связанное с победой труда, с гимном труду, с торжеством человеческого счастья в труде: опять работаю, опять верю в свои силы! вот вам, люди,— берите еще и еще; и еще! Сарджент в этот раз был великолепен, он превзошел себя. Это, видимо, почувствовали все в зале — такая поднялась необычная для англичан овация. Растерявшись от волненья и желанья высказаться, я начала говорить своим плохим английским языком ближайшей ко мне даме в лисьем боа: «Wonderful, not to be expected — в жизни бы не поверила — from Сарджент!» [10]. И дама в лисьем боа ответила такой же банальностью, но по-немецки: Colossal! [11] Она была немка, и, глядя на нее, я не сразу заметила в зале...

...Не сразу заметила странную вещь: наяву или во сне? Что это значило? Вставая с мест и расходясь, слушатели из лож устремили лорнеты в мою сторону, н а м е н я с а м о е! Кое-какие бинокли тоже, как жерлами маленьких пушек, устремились на меня. Я почувствовала ужас и конфуз; неужели закричала от волненья? Или что-нибудь не так в одежде? Или у нас в Советском Союзе случилось что-нибудь — наводненье, изверженье вулкана,— а я не знаю, а меня, наверно, сразу признали за советскую... Просто трудно описать, что мне в ту минуту приходило в голову и в каком состоянии я помчалась домой, по своему темному, ночному Кенсингтону. Внизу, в холле гостиницы, был телефон. У меня был один, нужный до зарезу номер. Лондонский номер. Я позвонила и попросила обязательно прийти ко мне завтра — по телефону сказать нельзя, но мне очень нужно... И не раздеваясь до трех ночи просидела на кровати, ломая голову: что произошло?!

Когда я в первый раз приезжала в Лондон, тогдашнее, совсем еще новое и очень недолго просуществовавшее в те годы Общество англо-советской дружбы передало мне приглашение на обед. Приглашала семья по фамилии Эбрэхэмьян — совсем неразборчиво в произношении,— давным-давно англизированная армянская семья. Приняв приглашенье, я очутилась среди английских армян — мать, еще не позабывшая родных традиций, три сына: один — крупный бакалейщик; другой — постоянный сотрудник музыкального отдела воскресной газеты «Sunday Times» Феликс Эбрэхэмьян, известный английский журналист с гвоздикой в петлице; и третий, с которым я сразу успела подружиться, Фрэнк,— коммунист и физик по профессии, работавший секретарем у профессора Бернала. Никто из них не говорил по-русски, я не говорила по-армянски, но мы отлично понимали друг друга. С Фрэнком я стала переписы-

[10] Чудесно, никак нельзя было ожидать... от Сарджента!
[11] Колоссально.

ваться, он побывал у меня в Москве, и это Фрэнку я позвонила по телефону, придя с концерта. Утром, выслушав мой рассказ, он, в свою очередь, спустился к телефону и вызвал Феликса, а Феликс пришел в гостиницу улыбающийся, элегантный, со всегдашней гвоздичкой в петлице и сказал только одну фразу: «Просто вас кто-то узнал из ваших, сказал соседу-англичанину, сосед — другому соседу, вот и все».— «Но меня вовсе не знают англичане и смотреть им не на что!» — «Да, вы популярны не сами по себе, а вот через это». И Феликс развернул пакет, извлек из него объемистую книгу и протянул ее, все так же улыбаясь, мне. Я прочитала на обложке: «Rachmaninoff, a biography by Victor Seroff». А дальше — «Cassel and Company LTD, London. First published 1951». И перечисление, где эта биография Рахманинова, написанная Виктором Серовым и опубликованная впервые в 1951 году, вышла, кроме Лондона: Мельбурн, Сидней, Веллингтон, Торонто, Кейптаун, Солсбери, Южная Родезия, Нью-Йорк, Бомбей, Копенгаген, Дюссельдорф, Сан-Паулу, Аккра...

В этой книге, впервые изданной в 1951 году,— а значит, уже переиздававшейся, напечатанной во всех пяти частях света фирмой «Кассель», а значит, разнесшей свое содержание о прославленном музыканте, интересовавшем чуть ли не весь мир, едва ли не по всей планете,— имелась целая глава, одиннадцатая, под кратким названием «Мариэтта Шагинян» (стр. 115—138), снабженная моим портретом работы Татьяны Гиппиус, писанным ею в Питере в самом начале 1911 года. Портрет этот, «академического» типа, бледный по краскам, был, кстати сказать, тогда же раскритикован Д. В. Философовым («Один глаз на нас, другой в Арзамас»). Какая же версия наших отношений с Рахманиновым, выдуманная Серовым, пошла гулять по всей планете? Я оказалась «единственной женщиной в жизни Рахманинова, связь с которой документирована»; описывается эта «связь» как «кокетливый флирт»; письма Рахманинова ко мне переводятся не совсем точно (например, если Рахманинов спрашивает: «Где Вы, милая Re, и скоро ли я Вас увижу?» — Серов переводит: «О, где же Вы, милая Re, и когда я Вас увижу?» По-английски это «о» звучит особенно романтически[12]. По характеру я оказываюсь чуть ли не демоном. Вот некоторые выписки: вернувшись из первой поездки в Америку (в начале десятых годов), Рахманинов спустя два года пережил (или испытал на себе) «новое влияние, ставшее известным публике только после смерти композитора». Это «новое влияние вошло в его жизнь через романтический, если не необычный канал. Я говорю о его связи с Мариэттой Шагинян, русской писательницей. За исключением круга своих музыкальных друзей Рахманинов следовал только ее советам в выборе материала для своих композиций, и она была единственной женщиной, кроме его семьи, отношения с которой были документированы... Публикация (его писем) имела такой же потрясающий (по неожиданности) эффект, как некогда (as at one

[12] Oh, where are you, my dear Re, and when will I see you? (с. 134).

time) известие о женитьбе Рахманинова на его двоюродной сестре Наталии Сатиной. Даже его школьные товарищи и те, кто думал, что знают его интимно всю жизнь, сдвинули брови (Knit their eyebrows), стараясь вспомнить, какое отношенье могла иметь к Рахманинову Мариэтта Шагинян... Даже из скупого материала несомненно видно (is obvious), что Мариэтта Шагинян занимала ум композитора более чем обычно и что она имела определенное влияние на него. Женщина с сильной собственной волей, она с самого начала взяла вожжи в свои руки...» (стр. 115—116, 120). Цитируя мои собственные воспоминанья, Серов трактует их произвольно и по-своему, убежденно говоря читателю, что, кроме наших (моих с Рахманиновым) отношений взаимного духовного интереса, моей помощи ему в подборке материала, тут была еще «умолченная» мною любовь и что я «не имела смелости правдиво сказать ему: думаю, что я — женщина для Вас» (стр. 120). Самое же неверное и противное для меня в этой версии, гуляющей по свету,— мое якобы придумыванье политического настроенья Рахманинова как отрицательного к тогдашнему самодержавному строю, придумыванье, сделанное под влиянием советского строя и в применении к моему собственному положенью «уважаемого советского гражданина». Дважды приписал мне это Серов, а вообще, кроме целой главы, он упомянул обо мне в своей книге еще пять раз и повторил свое обвиненье на предпоследней странице (211-й).

Возмущенная тем, что прочла, я тут же хотела засесть за письмо к «эдитору» с протестом и послать его в «Таймс»[13]. Но наши в Лондоне отговорили меня. Тем сильнее чувствую я сейчас необходимость противопоставить правду выдумке Серова, правду, важную не только для меня, но и для памяти великого русского музыканта, у которого эта страница нашей дружбы до конца его жизни (а может быть, и моей) сохранилась едва ли не единственной по своему свету, чистоте, прямоте и бескорыстию человеческого взаимоотношения. Нельзя оставить неопровергнутой фальшь. Но еще более нельзя не успеть сказать то настоящее, что было,— потому что оно было прекрасно. К тому времени, как появилась книга Виктора Серова, мои воспоминания были уже написаны. Но мне ясно, что повторять их сейчас — недостаточно. Репризы в музыке — чудесная вещь, особенно в XVIII веке; но реприза (повторение) в литературе — убийственная вещь. Мелодия жизни не останавливается, она углубляется — или исчезает — с ее течением, и мне просто необходимо сейчас повторить ее углубленно.

Еще не все, однако же, сказано у меня о Четвертой симфонии Чайковского, с которой началось это углубление. Она ввела в мо-

[13] Письма к «эдитору» (издателю) в «Таймс» да и в других больших английских газетах — это, пожалуй, самая интересная часть английских газет вообще. Они печатаются в середине многостраничной «Таймс»; их, кажется, никто не трогает редакторским пером; в них самые неожиданные «отклики» читателей, идущие «из глубины души». Помню, когда Насер закрыл Суэцкий канал, какой-то шотландец написал в «Таймс» — «Насер — молодец» и давно пора было «подрезать нос англичанам», и «Таймс» это напечатала без всяких реплик.

сковско-рахманиновский период моих воспоминаний как раз то, чего нет (да и не могло быть!) у Серова,— социальную сторону нашей дружбы, ее политико-социальный мотив, мировоззренческий мотив, лежавший с самого начала в основе нашей дружбы с Рахманиновым...

Итак, исполнение Четвертой английским дирижером Сарджентом. Лондон, видимо, сохранил традицию трактовки этой симфонии самим Чайковским, приезжавшим ее исполнять в Лондонском филармоническом обществе в июне 1893 года. У того же Холодковского из его интересной и поучительной книги я извлекла очень важные для меня сейчас подробности. У Чайковского, кроме десяти тетрадей дневников в точном смысле этого слова, были записные книжки и так называемые бювары, куда время от времени вносились адреса, даты, всякие записи. Описывая дом-музей в Клину, Холодковский рассказывает, что последний из этих бюваров, девятый по счету, лежит на зеленом сукне стола и «еще хранит неясные чернильные оттиски: тени слов, написанных его (Петра Ильича) рукой». Что же это за «тени» слов? Дальше я привожу в кавычках запись Чайковского, цитируемую Холодковским, и его самого, комментирующего эту запись на странице бювара:

«В Лондон до 1 июня.
Взять с собой IV симф.»

«Мы уже знаем, все было именно так!.. И в Лондон Петр Ильич приехал в намеченное время, и симфонию не забыл захватить с собой». В июне 1893 года он сам дирижировал Четвертой симфонией на одном из концертов Лондонского филармонического общества. И вот что сказано об этом у Холодковского: «В одном из них выступил и Чайковский. Он исполнил свою Четвертую симфонию. И, по свидетельству Модеста Ильича, опирающемуся на отзывы «Таймс», «Дейли телеграф» и других лондонских газет, «ни одно из произведений нашего композитора не нравилось так и не способствовало больше росту его славы в Англии», чем эта симфония» (стр. 174).

Я не читала двухтомной биографии Чайковского, написанной его братом Модестом Ильичом. Ничего не читала о понимании Четвертой музыковедами, об истолковании ее, кроме тех страничек в концертных программах, о которых говорила выше. Да мне и не важно, как истолковывается ее содержание специалистами, в терминах обычного анализа партитур. Я не могу отказаться от собственного восприятия, от дважды пережитого ее воздействия на душу, такого близкого нашему времени, такого нужного нам сейчас, в эпоху творчества десятой пятилетки! И я твердо, внутренним чувством, знаю, что оно было тогда, в тот московский вечер, когда я затаив дыханье слушала ее за колоннами,— близко и нужно и самому Рахманинову, творцу ее исполненья, каждым взмахом своей палочки выявлявшему душевное состоянье Чайковского, и мне, слушателю, переживавшему духовный кризис, тоже нужно — жадно, как жажда в глотке воды. И пусть там что хотят говорят о тра-

гизме, о фольклоризме, исчезавших, если были они, в торжественном «да!» этой музыки. Что до «фольклора», до «во поле березоньки», то и это, мне думается, сам Чайковский понимал вовсе не так внешне-профессионально-композиционно, а душевным приобщеньем к трудовому бытию народа. Интересен отзыв его самого о том, что́ он вложил в свою Четвертую. Этот отзыв, узнанный мною много лет спустя, не противоречит моему юношескому восприятию. Он даже совпадает с ним, углубляет его.

Переписываю опять из Холодковского, с 275—276 страниц его книги.

Сперва, ссылаясь на слова о Четвертой симфонии Б. Ярустовского: «...в музыкальных образах потрясающей силы запечатлел (он) основную идею борьбы с «судьбой»,— Холодковский пишет от себя: «На кого может опереться человек в этой тяжелой жизненной битве? На народ! — отвечает Чайковский».— И приводит собственные слова Чайковского из его письма к фон Мекк: «Ступай в народ... Не говори, что все на свете грустно. Есть простые, но сильные радости... Жить все-таки можно»,— так сам композитор в письме к Н. Ф. фон Мекк трактует финал Четвертой симфонии...» И дальше у Холодковского от себя: «...в Четвертой симфонии Чайковский пытается найти исход в слиянии личности с народом...» Но такое слияние возможно только в труде. Простые и сильные радости — только творчество, труд творца. А вот почему именно так исполнил Четвертую Рахманинов и почему именно так я услышала ее в дирижерском исполнении Рахманинова, сейчас многие просто не поймут, не могут понять. Рахманинов стал у нас иконой. Он классик, а классики не подлежат критике. Но подлежат исследованию... да и теперь, может быть, еще не время исследованья «критическим ножом», когда глубокие раны его творчества еще кровоточат на памяти немногих оставшихся в живых современников. В тот год, когда Рахманинов поднял свою дирижерскую палочку над Четвертой, он находился в зените своей славы. Это была *эстрадная* слава. Концерты его, фортепианные и дирижерские, всякий раз сопровождались потрясающими овациями, многие «рахманисты» ездили за ним из города в город, чтобы присутствовать на этих концертах. Публика часто сторожила его у подъезда по их окончании чуть ли не до ночи, не давая ему выйти, а когда он благополучно выходил, в большой наемной старомодной карете, увозившей его домой, он натыкался на забившихся туда фанатичных поклонниц, которых приходилось вытаскивать оттуда администратору. Казалось бы, именно Рахманинову из трех крупнейших композиторов тех лет — Скрябину, Метнеру и ему — выпало наибольшее счастье *полного народного признания*... А он не был счастлив.

С ним творилось что-то, невидимое глазу публики. Он был ранен, оскорблен, болен отношеньем к нему некоторых профессиональных кругов и критиков. Молодежь за колоннами чувствовала это, двадцатитрехлетняя девушка в Дегтярном переулке, тосковавшая по регламентациям, по направленной отдаче своих мыслей и чувств,

по «ты», по духовному общению с «ты», чувствовала это. Мои самые старые, еще со времен гимназии Ржевской подруги Катя Вельяшева и Лида Лепинь были, как я уже упоминала, хорошими музыкантшами, и они не только чувствовали — они знали многое о любимце московских слушателей «Сереже», как называли Рахманинова между собой студенты, то, чего никто другой не знал и не подозревал в концертных залах: о его душевном состоянии, об отношении к нему профессионалов, о критиках враждебных, о критиках восхваляющих, о том, что хвала их могла показаться оскорбительной своей интонацией «защиты». Я часто бывала у них, наезжая из Питера и до переезда в Питер. И когда мы собирались, они играли мне переложение для фортепьяно Второго рахманиновского концерта. Посвящение этого концерта гипнотизеру доктору Далю было тоже датой, датой излеченья от глубокой душевной травмы, от пережитого провала Первой симфонии, от годов отчаянья и потери веры в себя, от периода трагического состоянья бесстворчества. Они мне играли Второй концерт, а я, следя глазами за страницами, переворачивала их. Мы впитывали широкую, расплывающуюся мелодию первой части и подпевали ей словами, как будто созданными для нее: «Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега...» Такое излияние красоты и правды — и такой душевный мрак музыканта — опять, сейчас, в наши дни. Мудрено ли, что в нас затаенно друг от друга рождалось *сострадание*, *сочувствие*, желание помочь, облегчить, зажечь веру...

Кто из современных слушателей знает сейчас о том, что́ и ка́к испытывал Рахманинов в дни грандиозной своей славы, огромных своих триумфов, небывалого народного признанья? Сам Рахманинов не только знал. Слава была — исполнительская. Триумфы были — эстрадные. Пианист — великий, дирижер — изумительный, с этим соглашались все. Но дальше следовало о композиторе... Если б услышали или прочитали сейчас, как оскорбительно унижалось собственное творческое начало в Рахманинове! Метнера ругали за сухость, за «чересчурную абстрактность его виртуозности» — но уважительно, признавая его место в музыке. Скрябина задевали за наивность и дилетантизм его собственных словесных текстов, уходивших в теософские дебри,— но с восторженным признанием его места в музыке. Рахманинову — отказывали в этом месте. Страшные слова «эпигон», «эклектик» — слова выпадения из развития музыки, слова болотные, стоячие, когда все течет и двигается; слова, лишавшие будущего,— бросались так легко и бездумно в огромный творческий мир рахманиновских произведений... Понять всю оскорбительную силу их можно, только испытав их на себе, в борьбе против отвратительных явлений в маске «новаторства», за подлинное, вечное искусство. Если Первая симфония была провалом одной вещи у композитора, то было это давным-давно, еще до меня, в конце прошлого века — 15 марта 1897 года, когда мне самой не исполнилось и девяти лет. Только «старики», отцы моих друзей, кто сам слышал это первое исполнение, могли рассказать о нем.

А в десятые годы нового, XX века Рахманинова, зрелого творца, зачеркивали как композитора целиком.

Чтоб дать хоть на мгновенье почувствовать современной молодежи атмосферу, окружавшую тогда творчество Рахманинова, прибегну к очень осторожным словам, не в полный голос сказанным в печати большим музыкальным деятелем наших дней Б. В. Асафьевым (Игорем Глебовым). Прошло немало лет со дня смерти Рахманинова. У нас уже начиналось понимание его огромной роли в сложную эпоху модернизма как продолжателя (продолжателя, а не подражателя!) классической линии развития русского музыкального искусства; он уже твердо занял в этом русле русской классики свое неповторимое, ему только принадлежащее место. Б. В. Асафьев пишет воспоминания о нем. И вот что он говорит о времени травли Рахманинова:

«Годы были трепетные, лихорадочные, нервные, когда и в музыке преобладали интересы к новизне щекочущих нервы звукосочетаний и к дразнящим изысканный слух раздражениям. Стремление Рахманинова к симфоническому монументализму и мощной виртуозности и прочности ритмопостроений казались повторением всего лишь унаследованных путей; скалой, выдвинутой искусством прошлого».

В этих словах звучит как бы оправдание модернизма, «щекотания нервов» и самого времени, когда «изысканный слух» требовал этого. Годы борьбы за реалистическое искусство Асафьев как бы отодвигает перед «трепетом» и «лихорадкой» преобладающих в музыке «интересов к новизне». Он отдает должное «монументализму» и «прочности ритмопостроения» Рахманинова, верней — стремлению к этим качествам у Рахманинова, но прибавляет к выражениям «эпигон», «эклектик», щедро употребляемым врагами Рахманинова-композитора, очень мягкое слово «казались»: положительные стремленья русского композитора «казались» его врагам повторением прошлого, «скалой», то есть препятствием, загораживающим путь в будущее. Все это, конечно, сказано крайне мягко. И сам Асафьев в дальнейшем отходит от этой мягкости к модернизму: Рахманинов «глубоко страдал от жестких упреков в старомодности, отсталости, «салонности», но не уступал, храня в своей красивой художественной натуре свой этос, свое нравственное превосходство: честность перед своим дарованием». «В трудную для русского искусства пору эстетических «изысков» их обольщения не могли заставить Рахманинова свернуть с его природного пути». А еще дальше в воспоминаниях Асафьева цитатно даны враждебные высказывания о композиторе, хотя авторов этих цитат он не раскрывает в списке:

«Помню первое исполнение картин-этюдов. Враги музыки Рахманинова были так зачарованы потрясающим богатствам фортепианных интонаций, открытых natчуткими *руками* композитора-пианиста, что нашли определение своему несомненному восторгу в парадоксальной фразе: «В нотах, то есть в напечатанных сочинениях, никакой *такой* музыки нет — это всего-навсего магия

пианнзма и воображенне рук, в музыке же — одна пошлость и бледность рассудка»...»

Такне слова сказать в адрес того, кто так дорог сейчас иашему советскому слушателю! «Салонность», «всего-иавсего магия пиаинзма», «в напечатанных сочиненнях... одна пошлость и бледиость рассудка»! Они вовсе не принадлежат «врагам». Оии прннадлежат большому количеству эстетствующих крнтиков, отдававшнх дань времеин, служнвшнх конъюнктуре, плывших по мутному модному течению.

Но сам Б. В. Асафьев, серьезиый н настоящий музыкант, цитнруя тех, кто травил н травмировал Рахмаинова, все же сумел защитить его двумя необыкновениымн словами. В воспомниаииях Асафьева этн два слова поражают своей произающей зоркостью, своим необыкновениым прозрением. Допустим, говорит ои, что геннальиая музыка — не в нотах, допустим, что родилась она «магией пианнзма», «воображеинем рук». Но ведь родилась же, родилась творчески. Значнт, это все же геииальиое творчество и — два слова, со знаком вопроса к самому себе: «...устное творчество?..»[14].

Вероятно, даже сам автор этнх двух простых слов не сознавал, когда напнсал их, к какой огромной тайне приблизился, тайне творческого процесса. Я внутреиией ощупью, как бы вслепую, ио с «ослепляющей» зоркостью знала н понимала, что такое «устное творчество» для Рахманниова. Когда образы возиикают стихийным наплывом, а мысль мчнтся вперед со световой скоростью, опережая возможность поймать ее н прнстегнуть к бумаге,— рождается эта особенная творческая роль голоса в ораторе, творческая работа рук иа клавишах, на смычке, иа любом «передаточном ремие» таииствеииого перелнва себя в искусстве,— нменно добавочиость творческого нсполнительства,— «устиое творчество». Вот когда исполиялась, ну, скажем, Четвертая снмфоиня Чайковского в декабрьские дин моего наезда в Москву, в ней, помимо всего, что говорится о ее содержанни специалистамн, было великое нсполинтельское «устиое творчество» дирнжера, раскрывшего ие только то, что хотел в ней сказать Чайковский, ио н то, с чем, с каким состояиием душн он создавал ее, независимо от содержаиья, от замысла, от структуры самой вещн. Дирнжер был как бы заражеи состояньем душн Чайковского,— н это передалось в «магии дирижированья», передавалось в магин пианнзма великого геиия интерпретацнн, гения «устного творчества» — Рахмаиииова. Его абсолютиая чуткость к чужому, пониманье чужого, бескорыстиая, радостная любовь к чужому н его уменье полностью передать н самого себя такнм, какнм он хотел себя вндеть, н сделали Рахманиова в его триедиистве композитора, дирнжера, пианиста едииствеииым, уникальиым явлением в русской музыке. Он страдал от непонимаиья «устиой» особеиности своего творчества, от большего в себе, чем

[14] «Воспомниаиия о Рахманинове», т. 2 (Б. В. Асафьев, С. В. Рахманинов, с. 269, 262, 266).

оно реализовывалось на нотном листе, и ему казалось, что это — от неумения, от слабости в нем как композиторе. Видишь Гималаи перед собой, неподвижность сияющего снежного хребта у Генделя; страстный поток, подобно водопаду стремительный, у Листа; грациозные поляны и рощи в сверкающих каплях росы, как в волшебном парке, у Шопена; понимаешь все это, чувствуешь, переживаешь в самом себе, сознаешь, до чего это все прекрасно, при таком ощущении любви к чужому, таком понимании чужого свое кажется маленьким, сам себе — ничтожным, постаревшим, выдохшимся,— чтоб жить, творцу надо верить в себя. Рахманинов, измученный непониманьем своей целостности, сам переставший видеть и понимать себя, свое место в сегодня русской музыки, пошатнулся, потерял устойчивость, как под ударом камня в спину... И все же это не все, не полностью все.

Асафьев пишет о соблюдении Рахманиновым своей *профессиональной честности*, об «этосе» (этике) Рахманинова, о *верности* его как композитора своему *природному дарованию*, и... только. Но в сопротивлении Рахманинова модернизму, просачивавшемуся с Запада, в его ненависти к воцаряющемуся хаосу музыкального языка, разрыву ритма и логики было вовсе не только *личное*, не только верность своей *природе* и защита «классических привычек», поскольку они были свойственны ему самому и его композиторскому вкусу. Рахманинов отнюдь не был тут эгоцентристом. Он не считал русскую музыку в ее классическом русле — уже законченной. Он считал, что наш доморощенный модернизм — потуги *идти вслед за западным* (неверным, порочным, искривленным) — продолженьем развития музыкального искусства — ведет не в будущее, а в тупик. Он не мог выразить это философски, в понятиях, потому что терпеть не мог умствовать — отвлекаться от звуков и действий, от вкусовых и духовных ощущений в абстракцию. В своих воспоминаниях я много раз пишу, как чужд становился ему Метнер в его постоянном желании поговорить с ним отвлеченно, и приятнейшим подтверждением мне было прочесть в пятидесятых годах одно из воспоминаний (мужа и жены Сваном), где приводятся слова Метнера: «Я знаю Рахманинова с юношеских лет,— сказал однажды Метнер,—...но ни с кем я так мало не говорил о музыке, как с ним. Однажды я даже сказал ему, как я хочу поговорить с ним о некоторых проблемах гармонии. Его лицо сразу стало каким-то чужим, и он сказал: «Да, да, в другой раз». Но он никогда больше к этой теме не возвращался». Сам Метнер, продолжая свой рассказ, объяснил это практической «деловитостью» Рахманинова, у которого «все рассчитано по часам», и сокрушенно добавил: «Творец должен быть в какой-то степени расточительным». Если б эта фраза дошла когда-нибудь до Рахманинова, он, наверное, ахнул бы или руками всплеснул, как выражают в литературе полную неожиданность. Рахманинов был бесконечно расточителен внутренно, даже молчанье его было всегда расточительно,— присутствие его было дающим, и потому так хорошо, так содержательно было просто быть с ним, мол-

ча быть, для тех, кто умел понимать его и «получать» его. Для Рахманинова именно трата времени на пустое теоретизированье, отвлеченное умствованье была как раз формой «деловитости», желаньем «использовать время» даже в гостях, даже на отдыхе заняться чем-то полезным... И я с таким же радостным открытием для себя прочитала следующий абзац у Сванов, где Рахманинов дает отповедь Метнеру: «Самое интересное здесь то, что Рахманинов высказался о Метнере почти в таких же выражениях: «Весь образ жизни Метнера в Монморанси очень монотонен. Художник не может черпать все из себя: должны быть внешние впечатления. Я ему однажды сказал: «Вам нужно как-нибудь ночью пойти в притон да как следует напиться. Художник не может быть моралистом»[15].

Жадничал предельно скупой на время сам Метнер, а не Рахманинов, никогда не стремившийся «выжимать», эксплуатировать время, отдававшийся течению его, как ритму... И он не только всегда нуждался во внешних впечатлениях; он наблюдал жизнь очень острым, умным, хотя и беглым как будто, но углубленным взглядом и, как потом оказывалось, необыкновенно точно видел то, чего этим взглядом коснулся. В последние годы жизни он разглядел, например, явление Шостаковича. Что бы там ни говорили с чужих слов, он не только прислушался к музыке советского гения, но и перекликнулся с ней в своем творчестве. В очень интересной высокопрофессиональной статье Вл. Протопопова «Позднее симфоническое творчество С. В. Рахманинова», где Третья симфония, созданная в 1935—1936 годах, считается автором статьи кульминацией всего рахманиновского творчества в целом, вот что говорится о фуге в финале этой симфонии: «Она заимствует свою мелодию из главной темы финала, но преподносит ее в остром, немного гротескном виде, так что... здесь достигается особая рельефность очертаний, заостренность углов. В таком виде эта тема становится родственной Шостаковичу. Но не только эта тема, а также ряд моментов в скерцо, вставленном в Adagio, напоминает музыку Шостаковича...» И дальше, через страницу: «Мы уже отмечали, что в ряде элементов стиля Третья симфония напоминает Шостаковича, но в еще большей степени ее современность выражена в самом характере некоторых образов, например в скерцо, в фугато из финала...»[16] Попытка Протопопова свести это к влиянию западной современной музыки (хотя Рахманинов до конца жизни ненавидел весь массовый западный модернизм в искусстве!) противоречит собственным выводам Вл. Протопопова. Деля русскую музыку на петербургскую школу (Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков) и московскую (Чайковский, Танеев), он видит в Третьей симфонии синтез особенностей обеих школ. Западная современная музыка тут ни при чем. Новаторство Шостаковича, бли-

[15] «Воспоминания о Рахманинове», т. 2, с. 222, 223.

[16] «С. В. Рахманинов», т. I. Сборник статей и материалов под редакцией Т. Э. Цытович. Труды Государственного центрального музея музыкальной культуры. М.— Л., Музгиз, 1947, с. 147, 149.

зость его к Мусоргскому — это новаторство русского гения, и Рахманинов несомненно почувствовал это.

Он всегда глубоко постигал чужое и бескорыстно интересовался им, если оно в чем-то задевало его глубинный вкус. И если, например, в личных отношениях вы входили в его орбиту, были приняты в нее, становились ему близки, вы знали, что он видит и понимает вас, интересуется вами по-настоящему, душевно, а не на словах,— вами и делами вашими; и нужны вы ему не меньше, чем он вам. Вот за непосредственность, стыдящуюся уходить в теоретизированье, и живой интерес к настоящему в искусстве и людях, скрытый под маской холодного, замкнутого в себе «аристократизма», любила музыкальная молодежь своего Рахманинова и понимала его.

И двадцатитрехлетняя девушка в Дегтярном переулке, сидя перед кухонным столом, заменявшим в комнате письменный, понимала это — понимала и разделяла при всей своей «кабинетной» начитанности и любви к теоретизированью. Перед ней на столе были бумага, чернильница и та самая деревянная ручка, которую сейчас, спустя больше чем полвека, я сохраняю, как дряхлую старушку на пенсии, с беззубым перышком и облупившимся деревянным черенком в особой коробке для памяти. Время было февраль 1912 года. В календаре было приближение искони русского праздника — масленицы («Масленица-мокрохвостка...» — поет хор в «Снегурочке» Чайковского). На первой странице газеты «Русское слово» это приближенье ознаменовалось огромными буквами рекламы о прибытии в магазины свежей амурской икры и наваги... А чуть ли не в том же номере «собственный корреспондент» из Саратова сообщал по телеграфу: «В Царевщине Вольского уезда крестьянин, отец семерых детей, послал этих последних побираться. Когда дети вернулись с пустыми руками, отец в отчаянии распорол себе живот ножом и тут же умер» [17]. Даже сейчас, спустя шестьдесят четыре года, содрогаешься, когда читаешь подряд одно за другим эти два сообщенья. «Годы были трепетные»,— пишет Асафьев в воспоминаньях о травле Рахманинова,— словно улыбаясь на поиск острых ощущений в искусстве, словно снисходя к этим поискам. Но «трепетные годы», когда поиски диссонансов и острых ощущений сочетались с едой икры в ресторанах, где разгульно праздновалась широкая русская масленица, а в далеких волжских просторах, видя умирающих с голоду детей, крестьяне вспарывали себе животы от отчаянья, на манер японских харакири, были не «трепетные», а с т р а ш н ы е. Огромное народное бедствие — голод. Голод с большой буквы, более сильный, чем пережитый в 1891 году, когда тихий голос Льва Толстого гремел на всю Россию, призывая помочь народу. И масленица в Москве, со свежей амурской икрой!

Даже мы, бедные студенты, не видели в Москве всей глубины этого народного бедствия. Лотки и лавки, ряды и рынки были полны съестным. И этот разрыв между частью «мелового круга» —

---

[17] «Русское слово», 3 февраля 1912 года.

и где-то там невндимо, иеощутимо гибиущнми народиымн массамн! История как бы остаиовилась для этой части общества. Так бывает, когда глядишь из вагоиа стоящего поезда в окно на быстро ндущий параллельио твоему другой поезд. Тебе кажется — это ты сам идешь, движется твой вагон. А на самом деле, когда последиий вагон соседиего поезда проходит, чувство собствеииого движеиья вдруг нсчезает, и виезапно, почти физнологически, как телесиый толчок, как «стоп», перед тобой все оказывается стоячим, как было прежде,— та же водокачка, тот же перрои, тот же начальинк стаиции в красиой шапке, где ои и раньше стоял, и ты стоишь; и хотя стоял все это время, испытываешь головокружеиие от миимого толчка. Но — даже н в этом «стоячем» кругу не могло не происходить иечто.

Из глубин космоса миллионами миль доходят до иас космические лучн, н мы знаем сейчас, что каждое излучение не безразлично для человеческого оргаиизма. Не миллиоиы миль, даже ие тысячи верст отделяли от иас дыхаиье умирающих от голода, н оио не могло не доходить, ие содрогать сердце, ие прибавлять тяжкого чувства горечн, того, что зовется врачамн депрессия, к общественному настроению даже тех, кто, казалось бы, благополучио жил в «меловом круге». Всем было тяжело, хотя не все созиавалн, отчего тяжело. И девушка в Дегтярном переулке чувствовала, что Рахмаиииову тяжело не только от травлн,— ко всему нашему личному добавлялась тяжесть народная. Вот этой связи (сознательной илн интуитивной) личиого переживаиья с общественным, личного бытия с бытием народа, всегда ощутимой лучшей частью творческой русской иителлнгеицни, не поиимали многне поздиейшне бнографы Рахмаиннова, особеино за рубежом.

Я сознаю н аналнзнрую это сейчас, на своем закате, ио бессозиательно чувствовала н переживала это н тогда, в московский пернод. Мне страстно недоставало регламеитаций, н никакие задушевиые разговоры с Линой не моглн нх замеинть. Я тосковала по передаче мыслей, по «ты». По высокому наслаждеиью давать, давать. Когда перо скользнт по бумаге и как будто само черпает и черпает нз тебя: работу выбора слов, паузы для поисков точиого движеиня мысли, для нахожденья верных черт образа, действеиной передачи чувства по адресу. Главное — по действительиому иаправленню, «по адресу», нуждающемуся в получении моей «нсповедальной дидактики», нлн «дидактнческой нсповеди», как я нуждалась в ее отдаче. Такой своеобразной формой стаиовилось у меня — на миогне, многне годы вперед — романтнческое чувство духовиой любви, этой вечной потребностн живого человека, а у меия лнчно сраставшейся с лнтературиым творчеством.

Вот почему в Лондоне, уже на пороге старостн, я так возмутнлась кингой Серова, ее одинадцатой главой. Не только потому, что написанное в ней было фальшнво, выдумаио иа потребу иездорового любопытства западных читателей, а потому, что в ней отсутствовало то, что было в действительиости, ие выдумаииое и ие фальшнвое. Не было ннкакого романа! Но зато было нечто

большее, чем роман, нечто такое, что идет из души в душу в той бескорыстной и человечной дружбе, какая исходит от «я» к «ты» и в этом предельно выражает общечеловеческое. Именно бескорыстие дружбы позволило создать тот удивительный комплекс писем, в которых отразился правдивый и поэтический, неповторимый по искренности, юмору, обаянию и по внутренней борьбе с собой образ великого русского музыканта. «Письма к Re» — это почти литературное произведение Рахманинова, и прикоснуться к ним, как это получилось у Серова,— святотатственно по своей небрежной непродуманности или намеренному искажению.

Несколько лет назад, до моей поездки в Лондон, эти письма, как и часть моих воспоминаний, были опубликованы. Но в монументальном издании писем Рахманинова в московском Музыкальном издательстве они были помещены в общем потоке всех других писем — хронологически, по времени их написания Рахманиновым; и, конечно, целостного впечатления от такого их чтения вразброд они читателю дать не могли. Я помещу их поэтому слитно в моем рассказе о московском периоде, которому посвящена эта пятая глава. Но прежде чем дать их (и о них) читателю, надо еще многое осветить. Московский период... но он охватывает целых шесть лет, годы 1912—1917, а я провела эти годы вовсе не сплошь в Москве. Да и в самой Москве — по-разному, в разных местах. То в наемной комнате с сестрой, от Дегтярного (на Малой Дмитровке) до Кабанихиного переулка; то «на пансионе» в семействе композитора Николая Карловича Метнера —его жены Анны Михайловны и его брата Эмилия Карловича, музыковеда и гётеанца, известного под псевдонимом Вольфинг,— на Плющихе, в их московской квартире и в имении Траханеево неподалеку от станции Хлебниково под Москвой. Ездила на побывку к матери в Нахичевань-на-Дону, а в последние два года перед Октябрем и после Октября, при белых (смотри мою «Перемену»), преподавала в Ростовской-на-Дону консерватории у Прессмана (эстетику и историю искусств). Проводила с сестрой два лета в Геленджике, одно лето — в Тироле, куда (в «Штейнах ам Бреннер») ездила тоже с сестрой (1913). Почти на целый год (1914—1915) вообще выбыла из Москвы, отправившись в Гейдельберг по поводу своей магистерской диссертации к знаменитому теологу профессору Трёльчу, чтоб консультироваться у него, и застряв из-за начавшейся войны с Германией в Европе (Швейцарии, Италии, Греции). И, наконец, по возвращении из-за границы опять к матери в Нахичевань-на-Дону, мое знакомство, совместная работа и брак с Яковом Самсоновичем Хачатрянцем и первая поездка моя в Армению. Это в самых общих чертах по линии моей личной судьбы. А если включить исторический фон — какое же множество событий, не говоря уж о чисто московских, произошло в эти годы: и китайская революция, и Февральская революция, и вся война с немцами 1914 года, окончившаяся величайшим поворотным событием мировой истории.

Времени моей жизни осталась такая горстка — я пишу эти строки в восемьдесят восемь с половиной лет. Всего уже не уложишь в

главы. И я решаюсь выделить лишь две параллельные линии — дружбу с Рахманиновым и магистерскую диссертацию, доведя каждую до конца, первую в пятой, а вторую в шестой главе моих воспоминаний.

Итак, возвращаюсь к прерванному рассказу, время было 12 февраля 1912 года, тихим поздним вечером. За темным окном без занавески видно было, как беззвучно билась метель в стекло. Газовые фонари мигали, словно в глаза им попадали кружившиеся снежные хлопья. Беззвучие московских метелей, помню, было сказочным. Снег в Москве не убирался дворниками, как в Петербурге. Он нарастал в огромные сугробы, и метельный ветер, не издавая ни воя, ни свиста, зарывался в них, трепал их, а потом беззвучно летел по улице, взметая с нее легкую кисею осевшего снегопада. И, главное, не было в Москве Рахманинова, он уехал в Петербург, чтоб дирижировать «Пиковой дамой» в Мариинском театре. Через месяц исполнялось пятнадцать лет с тех пор, как 15 марта 1897 года Глазунов продирижировал в Петербурге его Первой симфонией и провалил ее. Так давно — и все же, словно справляя страшный юбилей, он опять поехал в Петербург. Вспыхнувшая потребность духовной отдачи толкнула меня к моей деревянной ручке, к чернильнице, к почтовой бумаге.

Я понимала: писать музыканту вдогонку его гастрольной поездке — бесполезная вещь. Он будет по горло занят, он поехал на несколько дней, ему там не до писем, да и писать — куда? по какому адресу? И я все-таки написала. Не помню, что тогда вылилось на четырех страничках, составивших первое мое письмо Рахманинову из Москвы в Петербург, вдогонку, импровизационно и тоже, как «устное творчество», вперегонки с убегающим к нему в душу со-чувствием, пониманием, близостью — со всем тем, что добавили к моей прозе уроки петербургских регламентаций. Не помню содержанья этого письма. Помню только счастье его писанья. Оно было послано 12 февраля 1912 года.

И в чужом городе, окруженный множеством людей, с утра до вечера занятый, Рахманинов почувствовал — и принял на свою душевную антенну — пробившуюся к нему из Москвы волну «устного творчества». Он ответил сразу же, тотчас, как получил это мое первое письмо.

6

Я не захотела называться и подписала свое письмо ноткой — Re. В квартире в Дегтярном переулке все были предупреждены, что если придет письмо, адресованное Re, то это для меня. Рахманинов обратился ко мне в ответном письме как к Re и потом до последней нашей встречи в июле 1917 года всегда и писал и называл меня Re. И посвятив мне свой романс «Муза», поставил в посвящении: Re.

Ответное его письмо, написанное им 14 февраля, пришло ко мне 15-го. Через три дня после отправки моего (а не после «множества

писем его поклонницы», как фривольно сочиняет Виктор Серов). К удивленью моему, почта наша шестьдесят четыре года назад ходила куда быстрее, чем нынче. По крайней мере, из Москвы в тогдашнюю столицу. И здесь я сделаю паузу в интересах самого читателя. Прерывая хронологическое следованье рассказа, я дам тут сразу все письма ко мне Сергея Васильевича Рахманинова начиная с первого, кончая последним. Поскольку позднее мы с ним познакомились и наше общенье стало продолжаться при встречах, их было всего семнадцать. Но два из них (письмо и открытка из Ессентуков) были украдены на одной из моих ранних юбилейных выставок в Московском литературном музее. К счастью, по содержанью эти два рахманиновских письма не заключали в себе ничего важного. Содержания первого я даже не помню; в открытке, посланной мне в Кисловодск, он сообщает свой ессентукский адрес и пишет, что познакомился с Д. В. Философовым. Оставшиеся пятнадцать прошу читателей прочесть подряд не пропуская. В них, как мне кажется, присутствует нечто «устное», нечто отсутствующее в его остальной — обширнейшей — переписке не по тону и смыслу, а по тому особому, «устному» лиризму, который пробивается, словно цветочный запах, сквозь строки его обычного текста. Для меня они создают литературный автопортрет Рахманинова, держат образ его постоянно живым. И, конечно, они заслуживают внимания тех, кто пытается восстановить личность великого русского музыканта, во всей ее целостности.

В заключительных подглавках я попытаюсь к его письмам дать нужные внутренние пояснения, а факты читатель, если захочет, найдет, хотя и не полностью, в моих воспоминаниях, изданных Музгизом.

ПИСЬМА К Re

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Штамп: Санкт-Петербург.

Дегтярный пер. (М. Дмитровка), д. 7, кв. 13.
Для Re.
Москва.

Милая *Re*,

благодарю Вас за Ваше милое письмо, которое вчера получил. Охотно готов с Вами разговаривать — но я так занят, у меня так много всяких дел, разъездов, и я так устаю, что разговаривать могу только изредка. На этот раз стараюсь быть точным в ответе ввиду поставленного Вами, в конце письма, ультиматума.

Напишите мне сюда (пробуду здесь до конца будущей недели), что с Вами? Чем Вы больны и отчего от Вашего письма получается какое-то грустное впечатление?

С. Рахманинов.
14 февраля 1912.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

На конверте курсивом напечатано сверху слева:

С. Рахманинов.
Москва, Страстной бульвар, 111.
S. Rachmaninoff,
Moscou, Strastnoi boulevard, 111.

Малая Дмитровка, Дегтярный пер., 7, кв. 13.
Для Re
Здесь.

Милая моя *Re*, Вы на меня не рассердитесь, если я обращусь к Вам с просьбой? И если исполнение этой просьбы не доставит Вам большого труда, исполните ли Вы ее? Сейчас скажу, как и чем Вы мне можете помочь... Мне нужны тексты к романсам. Не можете ли Вы на что-либо подходящее указать? Мне представляется, что «Re» знает много в этой области, почти все, а может быть и все. Будет ли это современный или умерший автор — безразлично! — лишь бы вещь была оригинальная, а не переводная и размером не более 8—12, максимум 16 строф. И еще вот что: настроение скорее печальное, чем веселое. Светлые тона мне плохо даются! За исполнение моей просьбы буду Вам бесконечно благодарен! Буду ждать Вашего ответа. Итак, до следующего письма! Надеюсь, Вы теперь поправились и здоровы.

С. Рахманинов.
15 марта 1912.

P. S. Про себя Вам ничего не пишу: не умею и не люблю. Да и правду (а не неправду) Вам кто-то сказал, что я самый обыкновенный и неинтересный человек.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

С. Рахманинов.
Москва, Страстной бульвар, 111.

М. Дмитровка, Дегтярный пер., 7, кв. 13.
Для Re.
Здесь.

Милая *Re*, Ваше письмо и книги получил (в Charlottenbourge письма не получал). За все Вам очень благодарен! Все Вами переписанное прочел... Подходит только чудесная «весна» Боратынского. «Восточные мелодии» хороши, но для романса все неподходящи, как Вы и сами справедливо заметили. Все Вами отмеченное в книжках крестиками, похожими на dieze'ы (Ré dieze), мне еще не удалось просмотреть. Все Вами только названное, рекомендованное заставлю себе к лету переписать, когда и думаю только приняться за эту работу...

Перехожу к содержанию Вашего письма и отвечу Вам «деловито» на Ваши вопросы. Предварительно несколько слов на тему о Вашей несправедливости. В последнем письме Вы не всегда справедливы ко мне, милая *Re*. Приведу примеры... Дав самый беспощадный отзыв о «стишках» Галиной, Вы не без яда замечаете, что я этими стишками «охотно пользуюсь». На самом деле я воспользовался ими в двух, трех случаях из шестидесяти одного... Здесь же где-то *Re* меня предостерегает, чтоб я не искал для своих романсов «дешевого, эстрадного успеха»! Это еще хуже! Да и надо ли мне это говорить, милая *Re*?.. Еще насчет Сахновского — я не протестую против данной Вами характеристики его самого и его писаний. Но почему Вы заподозрили меня в том, что все эти писанья мной принимаются не только к сведению, но и к исполнению?! Выходит так, что стоило Сахновскому сказать где-то, что я певец ужаса и трагизма, как я меняю курс и заявляю Вам, что «светлые тона мне не даются», а Вы уверяете меня не верить Сахновскому.

На самом деле статей Сахновского не читаю (знаю, что они одобрительные), как не читаю и других (которые, знаю, больше отрицательные). Не читаю — так как все это для меня как-то малоубедительно. В глубине же души, кстати сказать, склонен скорее верить и слушать последних, чем первых, так как нет на свете критика более во мне сомневающегося, чем я сам... От этого «не делового» отступления перехожу опять к ответам. Я оттого пишу так мало (или совсем не пишу) про себя, что мало или совсем не знаю Вас, милая *Re*! Дайте мне к Вам немного приглядеться, вернее прислушаться... Вы спрашиваете меня еще про моих детей?! Говорите, что Вам доставит удовольствие, если расскажу про них. Хорошо! У меня есть две девочки, 8-ми и 4-х лет. Зовут их Ирина и Татьяна, или Боб и Тасинька! Это две непослушные, непокорные, невоспитанные, но премилые и преинтересные девочки. Я их ужасно люблю! Самое дорогое в моей жизни! и светлое! (А в «светлости» есть тишина и радость! Это Вы верно говорите, милая *Re*!) И девочки меня тоже очень любят. Как-то, не очень давно, я рассердился на младшую и сказал ей, что ее разлюблю, на что она надула губки, вышла из комнаты и сказала мне, что если я ее разлюблю, то она уйдет в лес! То же самое, пожалуй, и я могу сказать по отношению к ним. Все последнее время обе девочки и я были больны. У всех была инфлюэнца с более или менее серьезным осложнением. Все мы сейчас почти здоровы. 24 марта вечером, когда мне принесли Ваши розы, я только что вернулся в свою комнату после консилиума у постельки моей дочери. Той самой, которая «в лес» собралась...

До свиданья, милая *Re*!

С. Рахманинов.
29 марта 1912.

P. S. Сейчас пришло Ваше письмо от 29-го. Тасинька и я — мы Вам очень благодарны.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Штамп: Тамбов

М. Дмитровка, Дегтярный пер., 7, кв. 13.
Для Re.
Москва.

Милая *Re*, я не успел Вам написать в Москве и хочу это сделать здесь, в Тамбове, где приходится ждать некоторое время поезда, чтоб ехать дальше в деревню. Хочу Вам написать хотя несколько строчек: несколько слов благодарности за Ваше милое потешное письмо и за книжку со стихами, которые Вы с таким терпением и мужеством переписали. Какая-то «боборыкинская трудолюбивость», сказал бы я, если бы не боялся ядовитой отповеди с Вашей стороны. Я еду в деревню один. Моя семья приедет ко мне через неделю приблизительно. В деревне буду ждать Ваш новый адрес и тогда напишу Вам. Мой адрес: Тамбово-Камышинская жел. дор. Ст. Ржакса, Ивановка.

До следующего письма! Будьте здоровы и счастливы.

С. Рахманинов
28 апреля 1912.

P. S. Откуда Вы взяли еще, милая *Re*, что я люблю консерваторок и филармоничек?! Редко встретишь таких людей, которые так самодовольны — наружно и так убоги — внутренно. Что может быть хуже этого? Вы меня спрашиваете, что я люблю еще — кроме своих детей, музыки и цветов?! Все, что Вам угодно, милая *Re*: назовите хоть раковый суп! — только не наших музыкальных барышень...

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Штамп: Тамбов — Камышин. Ивановка.

М. Дмитровка, Дегтярный пер., 7, кв. 13.
Для Re.

Кроме своих детей, музыки и цветов, я люблю еще Вас, милая *Re*, и Ваши письма. Вас я люблю за то, что Вы умная, интересная и не крайняя (одно из необходимых условий, чтоб мне «понравиться!»), а Ваши письма за то, что в них везде и всюду я нахожу к себе веру, надежду и любовь: тот бальзам, которым лечу свои раны. Хотя и с некоторой пока робостью и неуверенностью, но Вы меня удивительно метко описываете и хорошо знаете. Откуда? Не устаю поражаться. Отныне, говоря о себе, могу смело ссылаться на Вас и делать выписки из Ваших писем: авторитетность Ваша тут вне сомнений. Говорю серьезно! Одно только нехорошо! Не уверенная вполне, что рисуемый Вами заглазно портрет как две капли сходен с оригиналом, Вы ищете во мне то, чего нет, и хотите меня видеть таким, каким я, думается, никогда не буду.

Моя «преступная душевная смиренность» (письма *Re*), к сожалению, налицо и моя «погибель в обывательщине» (там же) мерещится мне, такая же, как и Вам, в недалеком будущем. Все это правда! И правда это оттого, что я в себя не верю. Научите меня в себя верить, милая *Re*, хотя наполовину так, как Вы в меня верите. Если я когда-нибудь в себя верил, то давно, очень давно — в молодости! Тогда, кстати, и лохматый был: тип, несомненно, более предпочитаемый Вами, чем... Немирович-Данченко, что ли, которого ни Вы, ни я не любим и пристрастие к которому Вы мне ошибочно приписываете! Недаром за все эти двадцать лет моим, почти единственным, доктором был гипнотизер Даль, да две моих двоюродных сестры (на одной из которых десять лет назад женился и которых тоже очень люблю и прошу пристегнуть к списку). Все эти лица, или, лучше сказать доктора, учили меня только одному: мужаться и верить. Временами это мне и удавалось. Но болезнь сидит во мне прочно, а с годами и развивается, пожалуй, все глубже. Не мудрено, если через некоторое время решусь совсем бросить сочинять и сделаюсь либо присяжным пианистом, либо дирижером или сельским хозяином, а то, может, еще автомобилистом... Вчера мне пришло в голову, что то, что Вы хотели бы во мне видеть, имеется у Вас сполна под рукой, налицо, в другом субъекте — Метнере. Описывая его так же метко, как меня, Вы желаете мне привить все е м у присущее. Недаром в каждом письме половина места уделена ему, и недаром Вы бы меня желали видеть в его, в их обществе, в этом «святом месте, где спорят, отстаивают, исповедуют и отвергают». (Письма *Re*.) Не там ли увижу я и «теперешнюю молодежь, легко владеющую стихом и, увы, безмерно далекую от истинной поэзии»? (Письма *Re*.) Это «лохматые», наверное! Хорошо еще, что центральная фигура, объект, выбрана на этот раз удачно. Действительно, сам Метнер не тот «лохматый», каким бы Вы желали меня, в крайности, видеть. И никакого предубежденья у меня против него нет. Наоборот! Я его очень люблю, очень уважаю и, говоря чистосердечно (как, впрочем, и всегда с Вами), считаю его самым талантливым из всех современных композиторов. Один из тех редких людей — как музыкант и человек,— которые выигрывают тем более, чем ближе к ним подходишь. Удел немногих! И да благо ему будет. Но то Метнер: молодой, здоровый, бодрый, сильный, с оружием — лирой в руках. А я — душевнобольной, милая *Re*, и считаю себя безоружным, да уже и достаточно старым. Если у меня что есть хорошего, то уже вряд ли впереди... Что же касается о б щ е с т в а Метнера, то Бог с ним. Я их всех боюсь («преступная робость и трусость»! — письма *Re*) и предпочту этой «гуще подлинного искусства» (там же) Ваши письма... И зачем я Вам все это пишу, милая *Re*? «Наедине с своей душой» я недоволен содержанием этого письма. В заключение несколько слов другого порядка. Всегда внимательный к Вашим словам и просьбам, пишу это письмо «сонным, весенним вечером». Вероятно, этот сонный вечер причиной тому, что я написал такое непозволительное письмо, которое прошу Вас скорее забыть... Окна закрыты. Холодно, милая *Re*! Но зато лампа, согласно Вашей программе, стоит на столе и горит. Из-за холодов те жуки, которых Вы любите, но кото-

рых я терпеть не могу и боюсь, еще, Слава Богу, не народились. На окна у меня надеты большие деревянные ставни, запираемые железными болтами. По вечерам и ночью — мне так покойнее. У меня и тут все та же преступная, конечно, «робость и трусость». Всего боюсь: мышей, крыс, жуков, разбойников, боюсь, когда сильный ветер дует и воет в трубах, когда дождевые капли ударяют по окнам; боюсь темноты и т. д. Не люблю старые чердаки и готов даже допустить, что домовые водятся (Вы и этим всем интересуетесь!), иначе трудно понять, чего же я боюсь даже днем, когда остаюсь один в доме... «Ивановка», старинное имение, принадлежащее моей жене. Я считаю его своим, родным, так как живу здесь с 28 года. Именно здесь давно, когда я был еще совсем молод, мне хорошо работалось... Впрочем, это «старая погудка». Что же Вам еще сказать? Лучше ничего. Покойной ночи, милая *Re*! Будьте здоровы и постарайтесь вылечить также меня... Я Вам теперь не скоро, вероятно, напишу.

С. Р.
8 мая 1912.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Штамп: Ржакса.

М. Дмитровка, Дегтярный пер., д. 7, кв. 13.
Для Re.
Москва.

Милая *Re*, на днях закончил свои новые романсы. Около половины из них написаны на стихи из Вашей тетрадки. Перечисляю Вам сейчас снова на тот случай, если Вас это заинтересует. А Пушкин: «Буря», «Арион» и «Муза» (последний посвящаю Вам). Тютчев: «Ты знал его», «Сей день я помню». А. Фет: «Оброчник», «Какое счастье». Полонского: «Музыка», «Диссонанс». Хомякова: «Воскресение Лазаря». Майкова: «Не может быть» (написаны на смерть дочери). Коринфского: «В душе у каждого из нас». Бальмонта: «Ветер перелетный»... Словами Галиной не удалось, к сожалению, воспользоваться... не было под рукой.

Всеми романсами, в общем, доволен и бесконечно радуюсь, что дались они мне легко, без большого страдания. Дай Бог, чтоб и дальше так работа продолжалась...

Присланную Вами «Антологию» получил. Немногое мне там понравилось! и мало понравилось! От большинства же стихотворений я в ужасе. Часто натыкался на пометку *Re*: «это хорошо» или «это все хорошо». И долго я силился понять, что же тут *Re* отыскала хорошего?! Приходило в голову замечание М. Шагинян из моею также полученной книжки: «Очень трудно подчас объяснить другому смысл стиха». Замечание к «Антологии» вполне применимое.

До свидания, милая *Re*. Будьте здоровы.

Где Вы сейчас находитесь?

С. Рахманинов.
19 июня 1912.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

С. Рахманинов
Москва, Страстной бульвар, 111.

Мал. Дмитровка, Дегтярный пер., д. 7, кв. 13.
Для Re.
Здесь.

Милая *Re*, я в состоянии написать Вам только несколько строчек — только ответы на вопросы. Благодарю Вас за Вашу статью. В ней много интересного и меткого, и метко там именно то, на что Вы сами указываете в своем письме

ко мне. Однако в конечном результате Вы оказались не правы: подытожив содержание статьи, мой «вес» оказался преувеличенным. На самом деле я вешу легче (и с каждым днем все более худею). Перехожу к попрекам: они ведь всегда у Вас имеются. Ну чем я, например, виноват, милая *Re*, что репортеры пишут про меня в газетах разные небылицы? И неужели Вы, «почувствовавшая» меня как музыканта, не угадали во мне человека, далекого от газетной шумихи и ненавидящего этих любимых тенорами пассажей?! Попреки про Берлиоза и Листа убеждают меня в том, что Вы относитесь отрицательно к этим композиторам. Мне остается только пожалеть, что я не так о них думаю, как Вы, и что Вы о них думаете не так, как я.

Попрек, что я Вас позабыл, никуда не годится. Я Вас отлично помню и очень люблю. Это уже старая истина. Если неаккуратно отвечаю на письма, то по причине только многих, многих дел и большой корреспонденции...

Никакого туберкулеза у меня нет. Я просто устал — очень устал! и живу из последних силенок. (Вчера в концерте впервые в моей жизни на какой-то фермате позабыл, что дальше делать, и, к великому ужасу оркестра, мучительно долго думал и вспоминал, ч т о и к а к дирижировать дальше). Дай Бог скорее уехать отсюда.

Мои романсы выйдут приблизительно через месяц. «Муза» посвящена *Re*.

Написав Э. Метнеру короткую благодарность за присылку его книги, я поступил правильно. Тогда я только что книгу получил и не успел прочесть ее. Теперь же, прочитав ее, также не могу ничего прибавить. Мне книга не нравится. Из-под каждой почти строчки мерещится мне бритое лицо г. Метнера, котор<ый> как будто говорит: «Все это пустяки, что тут про музыку написано. Главное, на меня посмотрите и подивитесь, какой я умный!»

И правда! Э. Метнер — умный человек. Но об этом я предпочел бы узнать из его биографии (которая и будет, вероятно, в скором времени обнародована), а не из книги «О музыке», ничего общего с ним не имеющей.

Обещанную В а м и книгу жду с нетерпением. Не укажете ли Вы мне чего-нибудь нового русского, интересного? (Только не вроде «Антологии»!) Вы открыли мне Ваше имя. Должен сознаться, что я его уже давно знал. Узнал случайно...

До свиданья! Всего лучшего Вам желаю и от души...

С. Р.
12 ноября 1912.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

С. Рахманинов.
Москва, Страстной бульвар, 111.

М. С. Шагинян.
М. Дмитровка, д. 20, кв. 6.
Здесь.

Милая *Re*, через час мы уезжаем. Позвольте Вам сказать «до свиданья» и выразить мою радость, что я с Вами познакомился и увидел ноту *Re* воочию. Буду ждать Ваше письмо и книгу. Пока Вы ее можете прислать по следующему адресу: Berlin Russischer Musikverlag Dessavater, 17. Serg. Rach. В Берлине я пробуду около недели. Что дальше будет, т. е. где окажусь дальше, пока не знаю. Опять повторяю, что можно все письма адресовать на музык<альный> магаз<ин> Гутхейля, котор<ый> мне пересылает всегда всю почту.

Всего Вам лучшего и от всего сердца.

С. Рахманинов.
5 декабря 1912.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Штамп: Roma.

М. Шагинян.
М. Дмитровка, д. 20, кв. 6.
Москва.
Piazza di Spagna, 5.

За Вашу книжку, милая *Re*, которую Вы мне «подарили», выражаю душевную признательность. Мне там многое и с к р е н н о нравится. Подробно не останавливаюсь: во-первых, я Вас боюсь; во-вторых, слишком бегло с книжкой ознакомился, чтобы давать отчет автору. Одно мне там положительно н е понравилось: я говорю про обращение «к читателю». Предпочел бы такое сообщение слышать не о т Вас, а п р о Вас, т. е. высказанное кем-нибудь другим. Боюсь, что многие из такого обращения будут именно выискивать «предумышленность». Впрочем, простите! Вам, «с горы», виднее.

Несколько слов про себя. Я очень поправился за месяц, проведенный в Швейцарии, и все потерял за шесть недель здесь. Зато очень много работал и работаю. Тем досаднее, что стал опять очень уставать, плохо спать и слабо себя чувствовать. Кстати, это причина, почему я так непростительно долго не отвечал на Ваше письмо (хотя и сказал «непростительно», но все же на Вашу доброту и прощение надеюсь). Что у Вас за несчастия такия, милая *Re*? Почему Вам «тяжело жилось»? Продолжается ли так до сего дня? Напишите мне.

Пробудем здесь еще около месяца и к Пасхе надеемся быть в Москве. До того времени мне надо еще много, много сделать.

Привет, поклон и лучшие, от души пожелания.

С. Рахманинов.
28 марта 1913.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Штамп: Ржакса.

Заказное.
М. Шагинян.
Тироль. Австрия.

Наконец-то получил от Вас письмо, милая *Re*, и узнал, где Вы. Если б это письмо не пришло, решил Вам все равно писать сегодня и адресовать по адресу «того», с кем Вы желали бы меня видеть в дружбе и согласии. Этот самый «тот» или «оно», наверное, осведомлен о Вас. Удивительное дело! Вас я люблю и желаю Вас видеть, слышать и читать. «Того» сторонюсь с робостью. Как бы в ответ на это в Вашем письме читаю: «Свою миссию (какую миссию?) считаю оконченной (когда началась и почему окончилась?) и собираю свой багаж (очень жалко!); а вот «оно» — это для Вас. Дружите!» Покорнейше Вас благодарю! Вот уж именно «на живого человека не угодишь»! В ответ на все это принимаю с сожалением и недоумением к сведению первое и отбрыкиваюсь от второго. Перехожу к вопросам. Их всего два, что, впрочем, понятно, если принять во внимание, что багаж уже собран. Мои дети сейчас, Слава Богу, здоровы. Я же вот уже два месяца целыми днями работаю. Когда работа делается совсем не по силам, сажусь в автомобиль и лечу верст за пятьдесят отсюда, на простор, на большую дорогу. Вдыхаю в себя воздух и благословляю свободу и голубые небеса. После такой воздушной ванны чувствую себя опять бодрее и крепче.

Недавно окончил одну работу. Это поэма для оркестра, хора и голосов solo. Текст Эдгара По «Колокола». Перевод Бальмонта. До отъезда отсюда надо успеть окончить еще одну работу. А с октября концерты и разъезды, разъезды и концерты. Вот какую «миссию» желал бы видеть оконченной.

До свиданья, милая Re, и счастливого Вам пути в будущем.

С. Рахманинов.
29 июля 1913.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

(открытка)

Штамп: Ржакса.

Н. С. Дадьянц (для М. С. Шагинян).
Гранатный пер., 9, кв. 9.
Москва.

Милая *Re*, конвертов нет, а посему, простите, пишу на карточке. Час назад с почтой пришли Ваши статьи и Ваш адрес. Пользуюсь последним, чтобы обратиться к Вам с просьбой. (Сегодня же) получил предложение от Комитета по чествов<анию> 350-я Шекспира написать сцену из «Короля Лира» (в степи). Скажите мне, имеется ли н о в ы й перевод «Лира»? Если не имеется новый, то какой из старых считается лучшим? Имеется ли «Лир» в отдельном издании? Могу ли я Вас просить мне немедленно один экземпляр выслать? Хотя у меня ни конвертов, ни Шекспира, но с о в е с т ь есть, и я обязуюсь Вам, также немедленно, выслать стоимость книги марками вместе с самой сердечной благодарностью. Как Ваше здоровье? Я хозяйничаю!!

С. Р.
30 апреля 1914.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

(с посыльным)

М. С. Шагинян.

Милая *Re*, постараюсь все исполнить. Увидимся у Метнера, если он меня позовет. Свободен со вторника.

С. Р.

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

Штамп: Москва, Страстной бульвар, 111.

Мариэтте Сергеевне Шагинян.
24-я линия, 4.
Нахичевань н/Д.

Сегодня, приводя в порядок свой письменный стол, перечитывал некоторые из Ваших писем ко мне, милая *Re*! И, перечитав их, почувствовал к Вам столько нежности, признательности и еще чего-то светлого, хорошего, что мне мучительно захотелось Вас сию же минуту увидеть, услышать, сесть с Вами рядом и хорошо, сердечно поговорить... Поговорить о Вас, о себе, о чем хотите. Может, помолчать! Но главное, Вас видеть и сидеть с Вами рядом... Где же Вы, милая *Re*! И скоро ли я Вас увижу?

С. Р.
20 сентября 1916.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

(с посыльным)

М. С. Шагинян.
24-я линия, д. 4—8.
Нахичевань.

Милая *Re*, могу ли я прийти к Вам завтра (пятница) от 5—6 часов вечера?
Ответьте.

С. Рахманинов.
Четверг, 5 ноября 1916.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

(с посыльным)

Штамп: Ростовское-на-Дону Отделение
Императорского Русского Музыкального Общества.

Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Нахичевань-на-Дону, 24-я линия, 4.

Милая *Re*, только сегодня, с большим опозданием приехал в Ростов. Завтра утром выезжаю. Хочу Вас очень видеть, но к Вам попасть не могу. Может, Вы согласитесь ко мне прийти сегодня, перед концертом, в Музыкальное училище?! Мы будем одни, обещаю Вам. Так часов в $6^1/_2$ веч<ера>. Можно будет посидеть часа полтора. Я буду играть, а Вы мне будете что-нибудь рассказывать! Хорошо?

Посылаю Вам свои романсы.

Искренне Вам преданный С. Р.
26 января 1917.

7

КОММЕНТАРИЙ К ПЕРВОМУ ПИСЬМУ РАХМАНИНОВА

Загадкой для меня почти всю жизнь было: что же притянуло большого музыканта, занятого по горло, в чужом городе, на ответственной гастроли, окруженного множеством чужих людей, забот и хлопот, когда человек отмахивается от всего лишнего, не может в полную силу даже воспринять это лишнее,— что могло притянуть его к четырем страничкам письма незнакомки и сразу, чуть ли не в тот же день ответить ей? Толстой где-то обронил замечательную фразу: «Дома и стены помогают». Но Рахманинову даже стены не могли помочь сразу взяться за перо, найти конверт и бумагу для ответа: он не был дома. Вряд ли содержанье письма. Какое содержанье могло оторвать человека от громадной загруженности собственными делами за временное пребывание в чужом месте и не в своем доме — в чужих стенах? В сущности, речь шла не о содержаньях, не о «музыке», пришпиленной нотными знаками к бумаге, а об исполнении содержанья, об «устном творчестве», извлекаемом из букв и слов. Исполнение — это акт восприятия. А в восприятии всегда участвуют двое — дающий и получающий, я и ты. «Устное творчество».

Чтоб пояснить читателю, как и что я все-таки понимаю в этой особой непосредственной силе воздействия (или воздействующей силе непосредственности), приведу пример. Под своими стихотворениями я очень редко ставила даты, только — в черновике — год написанья, потому что они не были для меня связаны с лично пережитым, а скорей с возникшим «образом мысли». Но если случалось написать от сердца, под действием сильного пе-

режитого горя или счастья, неизменно я ставила полную дату: число, месяц, год. Просматривая в пятидесятых годах для собранья свои старые стихи, я наткнулась на такую полную дату: 13 апреля 1921 года. Это очень длинное стихотворение. И все же, рискуя утомить читателя, приведу его целиком:

КАСЫДА[18]

(По восточным мотивам)

Был человек. Имел жену, детей,
Дом с черепичной кровлей,
Сад, колодец,
Вола, осла и слуг, служивших верно.

Однажды он, идя домой, глядит —
И видит дым на небе,
Слуг, спешащих
Туда-сюда, и отчий дом в огне.

Он узнает, что нерадивый раб
Поджег в саду солому,
Испугался
И, бросив дом, бежал от наказанья.

Вскипев от гнева, поспешил и он
Тушить пожар с другими,
Суетиться,
Таскать добро, кричать, хрипя в дыму.

Но дом сгорел. Жена свела детей
К испуганным соседям.
Головешки
Еще дымилися на пепелище.

— Построим снова,— молвил человек,—
Верни-ка, друг, кубышку,
Что отдал я
Тебе хранить на наш на черный день!

В кубышке было золото. Сосед
Его давно растратил.

---

[18] Названье было изменено несколько раз. Про себя я всегда называла его касыдой, восточной формой, где строфы как бы резко обрываются. В последнем собрании 1970-х годов оно названо «Касыда (По восточным мотивам)». Дата под ним поставлена ошибочно 1920 год вместо 1921-го.

Молвил: — Что ты?
В бреду с беды? Какая там кубышка?

Взревев, как зверь, ударил человек
Неверного соседа.
Тот свалился
И умер. Был виновник взят в тюрьму.

Жена же с бесприютными детьми
От одного к другому
С униженьем
Скиталася, и хлеб их стал им горек.

— Будь я одна, мне было б легче! — так
Подумала однажды.
Слышал, верно,
Ее злой дух — и смерть взяла детей.

Не снесть бы ей потери, но ума
Она лишилась с горя.
И вприпрыжку
Ушла бродить, играя с кем-то в прятки.

Да со смешком, блудя глазами, рот,
Как дети, оттопырив,
Оступилась
И утонула в тот же день в пруду.

Меж тем судья, все дело разобрав,
В нем не нашел убийства.
Отпустил он,
С советом быть разумней, человека.

Тот вышел и спросил: — Где сын? — Погиб.—
Спросил: — Где дочь? — Погибла.—
О жене он
Тогда спросил, и был ответ: мертва.

Он на чужой порог присел без слез,
Очами напряженно
Высматривал,
Как будто бы читал перед собою.

Да шевелил губами про себя.
А раб, их дом поджегший,
Днем и ночью
Тем временем терзался в злой тоске.

И так несносен сердцу был укор,
Что — в жажде облегченья —
Воротился,
Бил в грудь себя и пал пред человеком.

— Прости, прости! — Тот взор в него упер,
Узнал и, торопливо
Продолжая
Немую речь свою, сказал рабу:

— Не ты,— сказал он,— в этом виноват.
Ну, ты поджег солому,
Правда, правда.
А дети? А жена моя? А злато?

Уж тут не ты. Иди себе, иди,
Коль хочешь — так прощаю.—
Обратился
К нему очами и простил ему.

Упала тяжесть с совести раба.
Вскричал он: — Друг, спасибо!
Не забуду
Всю жизнь мою, что мне сейчас даруешь!

И встрепенулся бледный человек:
— Ты говоришь: спасибо?
Ведь лишен я
Теперь всего, я гол, как перст, я нищ,

Нет у меня на маковку добра,
А ты сказал: спасибо?
Неужели
И нищие давать дары умеют?

И встал тогда, и ходит он с тех пор
К болящим и скорбящим.
И находит
Такое слово, чем кому помочь.

И не бесплодны скорбного слова,
А сам он ликом светел...
Божьим детям
Дается, утешая, утешенье.

13 апреля 1921

Когда я перечитала это стихотворенье, долго, долго после того, как оно было написано, я весьма непоэтично всхлипнула, мне судорожно захотелось заплакать. Что было в 1921 году 13 апреля? Дневники мои за годы 1920—1922 в очень плохом состоянии: бледные, выцветшие чернила, дрянная бумага, кое-какие страничкн разорваны, выпали, месяцами нет записей. Но апрельский цикл 1921 года сохранился. Я уже и не помнила, какое страшное горе пережила в ту весну. Время вообще было очень тяжелое, особенно в Петербурге, где я только что устроилась в Доме искусств, оставив семью — мать, сестру, мужа и крохотную дочку — в Нахичевани-на-Дону. И вот 10 или 12 апреля пришло письмо от матери, что мой муж из-за какой-то дошедшей до него сплетни бросил меня с дочкой и объявил, что «уходит навсегда». Это была первая и единственная наша ссора, кончившаяся прочным миром. Но в голодном Петербурге, одна, еще не обжившись в Доме искусств, без заработка, без хлебной карточки, без друзей, без отшатнувшихся от меня как от большевички нескольких писателей, окружавших Горького, я получила страшный удар в сердце. И тут удар вылился в стихотворение, каким я утешила сама себя. В нем тоже, может быть, нет «ничего такого» в нотных знаках, то есть в зафиксированных на бумаге словах, но я слышу встающее над каждым его словом «устное творчество» — ту обнаженную творческую непосредственность, что звучит и кричит над молчанием обыкновенных слов, передавая физическую боль утраты,— и встающее со дна души великое благо со-страдания, обращенного к народу, к близким и дальним, великое благо утешенья, даруемого своим «я» другому «ты».

Должно быть, в тот февральский вечер 1912 года, когда еще жила во мне горькая боль утраты (я потеряла веру в свою дорогу жизни, потеряла путь, как бороться за лучшую жизнь «малых сих»,— мы тогда мыслили по-христиански о «малых сих», а сейчас с гордостью говорим о «трудящихся» и сами стали трудящимися!), эта живая боль утраты диктовала свою атмосферу любому содержанью, ложившемуся на бумагу. Я как будто все потеряла — и для меня помочь себе, утешить себя значило помочь и утешить другого, переслать ему нежность сердца, которому больно, которое кровоточит... «Устное творчество» тогдашнего, 1912 года — воздух отдачи.

И в полученном от Рахманинова ответе я почувствовала *получение* того, что послала. В письме ему — я писала *о нем*. В ответе мне — он пишет *обо мне*. Странным образом — занятый, окруженный, запорошенный, как метельным снегом, сыплющимися делами — он заинтересовался болью чужого ему, совершенно незнакомого и незнаемого человека: чем он болеет, почему от письма его получается какое-то грустное впечатленье? И это не было формальностью, вежливостью, отпиской, потому что он просит *написать* ему «*еще сюда*», где он должен пробыть *неделю*.

Приближаясь сейчас к концу, то есть к исчезновению моей «индивидуальности», поскольку действие ее на земле, хорошее и плохое,

почти исчерпано, я думаю, что эта индивидуальность (моя и подобных мне) была воспитана христианской формой страданья, уже смешанного самим движением времени к будущему) с социальным со-страданием, новым ощущеньем частицы «со», как бы соединяющей твою боль, твое страданье с болью и страданием народа, личное с другим личным, «я» с «ты», одинокое с общечеловеческим. И, во всяком случае, с главным атрибутом такого отношенья — с полным бескорыстием отдачи. Мне кажется, это качество бескорыстия тоже сыграло свою роль в понимании Рахманиновым первого моего письма. Так началась наша переписка, и такой с ее начала и до конца была наша дружба.

КОММЕНТАРИЙ КО ВТОРОМУ ПИСЬМУ

Через месяц, 15 марта 1912 года, лейтмотив «устного творчества» стал материализоваться, отношенья из отвлеченного мира перешли в реальный. Возможно, что, вернувшись в Москву, он «узнал случайно» тогда же, кто скрывается под ноткой Re. Мы имели общего знакомого Михаила Акимовича Слонова. Он был школьным другом Рахманинова и школьным учителем для нас в гимназии Ржевской. Слонов участвовал во всей нашей музыкально-общественной жизни, и не только музыкальной,— помню его присутствие и помощь на вечере, посвященном Глебу Успенскому. Так же как Мария Павловна Чехова, и Михаил Акимович Слонов мог многое порассказать обо мне, о моих отчаянных выходках, о поставленных мною собственного сочинения спектаклях, где я бывала и автором, и актером, и режиссером, и даже музыкантом, выбирая для нашего «оркестра» (игравшей на рояле Кати Вельяшевой, заменявшей этот оркестр) подходящую музыку. Так был, например, поставлен у нас «Сен-Жермен», мое «драматическое сочиненье» о французском маге-шарлатане, которого я сделала масоном и революционером. Он шел у нас под музыку Сен-Санса. Слонов знал мой почерк, поскольку читал мои рукописи, помогая нам в театральном деле. Возможно, что через него и произошло то самое «случайно» («узнал случайно»), как написал мне в одном из последующих писем Рахманинов, признавший, что уже знает мое имя.

Во всяком случае, уже со второго письма он стал обращаться ко мне с просьбой находить для его романсов стихотворные тексты. Я принялась за дело с огромным интересом. Прочитала все тексты его романсов, сделала «опись» их авторов — и по общему значенью и по удачливости отдельного стихотворенья,— отвергла Галину и Ратгауза, составила первый рекомендательный список... В моих оценках его личного вкуса сыграла немалую роль его поэтическая, с моей точки зрения, «малограмотность». Трудно сейчас поверить, как я болезненно ощутила эту «малограмотность», когда он написал вместо стиха или строки — «строфа». Чтоб было в стихотворении не более шестнадцати строф! Господи боже, да это комп-

лекс целой поэмы, 16×4=64 строки (или стиха) для одного романса! Рахманинов явно не знал, что такое строфа, и спутал ее со строкой! Мне кажется, вот это мое зазнайство, идущее от той степени образованности, какая была необходима для общества «мелового круга», требование хотя бы абсолютной грамматической грамотности (в одном из писем он спутал падежи), любое упущение в которой могло этот «меловой круг» шокировать, прибавляло мне самоуверенности в деловой части дружбы. Я чувствовала себя «старше». Но инстинкт предупреждал меня никогда ни одному из своих корреспондентов, кто бы ни были они, не заикаться об их «просчетах» и «ляпсусах». С огромной нежностью сохраняю их не тронутыми поправкой. Но зато в следующем письме он с тончайшим юмором — такая тонкость даже не сразу доходила до меня — и в то же время с необыкновенной бережливостью дотронулся и до моего слабого места.

Я решила послать ему лучшее из новой поэзии. В огромном сборнике, прочитанном мною залпом, с самоуверенностью знатока наставила крестиков. Они означали: хорошо, очень хорошо, обратите внимание! И очень возможно, что кое на что сыпались эти крестики, как говорится, почем зря. И тут...

КОММЕНТАРИЙ К ТРЕТЬЕМУ ПИСЬМУ

...мне самой досталось от его тонкого юмора. Знаки диез и бемоль имеют как бы «положительную» и «отрицательную» стороны, направляя звук вперед и назад или придавая ему положительный и меланхоличный характер. Это если смотреть на знаки элементарно, зрительно, как на арифметику. Крестики мои он тут же сравнил с диезами и с устной — все кажется мне теперь сугубо «устным» в его письмах! — с устной, такой милой у него улыбкой, иногда прячущейся только в глазах и не спускающейся на губы, прибавил: «Ré dièse». Предо мной сразу возникла я с моей склонностью преувеличивать, рваться вперед и частенько зарываться. Как же метко он осадил меня моим крестиком! А потом, сделав свой голос (устный, встающий над письмом) жалобным, Рахманинов пожаловался (так взрослые жалуются детям) на мои несправедливости к нему. В чем только я не укоряла его! От чего только не предупреждала! Большому, серьезному композитору я советовала «не искать дешевого эстрадного успеха» для его романсов! Можно было подумать, что я тащу свои упреки, как веревочку с бумажкой, а он, взяв у меня из рук эту веревочку с бумажкой своей большой, спокойной рукой, стал дергать и играть ею со мной перед самым моим носом, как взрослый человек с котенком. И я могла бы потерять уверенность... выйти из атмосферы высокого устного творчества, если б не зазвучали слова (в их неслышном, высочайшем, устном регистре): «...в глубине же души нет критика, более во мне сомневающегося, чем я сам».

Это третье письмо от иего с уже установившнмися отношеииями какой-то виутренней «вндимости» друг друга не сообщает одной житейской «точкн соприкосновения». Младшая его дочь, толстушка Тасенька, была больиа. Пронсходил коисилиум. «24 марта вечером, когда прииесли Вашн розы, я только что вернулся в свою комиату после консилнума у постельки моей дочери...» Но он не сразу вериулся в свою комиату, а зашел в кухню за розами, которые принесла... Лина. Красной шапки (посыльного) не было иа месте. Что было делать? Лнна обвязалась простой косыикой, надела старый фартук и пальто со стершимся плюшевым воротииком нашей хозяйкн н храбро отправилась отиести розы сама «через черный ход», чтоб никто из Рахманиновых ие увидел ее. Квартиры тогда строились с парадиым ходом с улицы — «для господ» и ходом из кухии на черную лестиицу во двор — для прислуги. Лииа прииесла розы — и очутилась лицом к лицу с Сергеем Васнльевичем. Ои сам взял у иее из рук письмо и розы, сказал «спаснбо, спасибо» и, обратясь к кухарке: «Дайте и а м вазу с водой»... Лииа, не дожидаясь н ие простясь, кинулась на чериую лестиицу. Ои запомиил ее. И то, как сказал кухарке «дайте и а м», и то, что иаписал мие п р н н е с л н, а ие принесла, н не вздумал дать ей на чай, и очень пристальио, как показалось Лине, взгляиул иа нее, показывает, что он сразу понял, что это была не служаика. Поздией, у иас в гостях, ои поздоровался с иен как со зиакомой. Рахмаиинов отиосился к Лине как-то пристально, с особым ннтересом. И все, с кем в моей жизни я духовио сближалась, всегда особо вглядывались в Лииу, искали ее расположеиья...

С 24 марта по 28 апреля, помимо собствениых дел и длиииых писем — о чем только ие писались эти длиииые письма, сотиямн способов, со всех сторон, подиимавшне ему иастроеиье, виушавшие веру в свое творчество,— я еще готовила тетрадкн с текстами для рахмаиииовскнх романсов. С этими тетрадкамн он ранией весной одни, без семьи, поехал в свою Ивановку. Должио быть, в Тамбове, ожидая пересадки, ои пообедал на стаиции — н за обедом, возможио, ел раковый суп, попавшнй в коротеиькое четвертое письмо, отправлеиное со станцнн.

КОММЕНТАРИЙ К ЧЕТВЕРТОМУ И ПЯТОМУ ПИСЬМАМ

За этнм пнсьмом — явно в хорошем настроеинн — последовало самое длинное из его писем ко мие, п я т о е, от 8 мая. Мне очеиь трудио комментировать это письмо для читателя. Напнсаиное его крохотными буквамн, как жемчужннкамн, ложащимися рядком, оно на редкость прекрасно. Его можио счесть за художествеииое произведенье, за стихотвореиье в прозе, это как бы первая творческая волна, прнливом набежавшая у иего иа берег, пошевелившая прибрежиые камушкн и откииувшаяся назад. За ней пойдут уже лнчные, творческие рабочне волны, вторая, третья, до кульмннацни,

до девятого вала, предчувствуемого по ритму первой, и я, держа в руках белые странички, читая и перечитывая их, чувствовала с гордостью и счастьем, что он — в творческой полосе, будет работать, будет работать до конца, до триумфа, до облегченного вздоха. Знала, потому что и он знал, что знаю его. Так написать, не жалея своих творческих сил на простое письмо, только очень близкий не поскупится и только уже захваченный волнением творчества сможет. «Хотя и с некоторой пока робостью и неуверенностью, но Вы меня удивительно метко описываете и хорошо знаете. Откуда? Не устаю поражаться. Отныне, говоря о себе, могу смело ссылаться на Вас и делась выписки из Ваших писем: авторитетность Ваша тут вне сомнений...»

КОММЕНТАРИЙ К ШЕСТОМУ И СЕДЬМОМУ ПИСЬМАМ

Почти полтора месяца напряженного труда в Ивановке, лето, словно перенесшее Рахманинова в его раннюю молодость, когда тут — среди деревенского русского простора, в саду с его игрой светотени и шевелящейся тенью листвы от солнца на земле и деревянной скамье перед круглым столиком в благовонном летнем ветру и тепле,— «хорошо работалось»... Он был снова в такой же юношеской рабочей радости. «Слава Богу!» и «дались они мне легко, без особого страданья»... В шестом письме — если в пятом был вдох — получился довольный выдох, как бывает в удовлетворении от созданного. Он перечисляет, сколько взято было из моей тетрадки («около половины»), и посвящает мне пушкинскую «Музу». Я никогда не была настолько самонадеянна, чтоб принять это посвящение в прямом смысле слова, как если б сама была этой его музой. Тем более что через несколько месяцев и Николай Карлович Метнер, заразившись от рахманиновской (по его мнению, неудачной), сам написал свою «Музу» и тоже посвятил ее мне. Все дело тут в том, как я прочитала Пушкина сперва Рахманинову, потом Метнеру,— а прочитала с голоса и читки Влади Ходасевича, начитавшего «этим гофманским сестрам», мне и Лине, «Музу» и потрясшего нас своей читкой. Передавая ее с голоса Ходасевича на бумагу письма, я не только развила прочитанное, но и положила его с голоса на музыку, нарисовала (как всегда делала в своих письмах к Рахманинову) зигзагами, поднятием и понижением линии ритма, сгущением и побледнением черни в рисунке мелодии — то музыкальное выражение «Музы», о каком говорил нам Ходасевич. Начало интимно: сразу рождается мелодия как воспоминанье — в первом стихе; расширение «дара» — как обратный ход мелодии (вопрос — ответ) второго стиха; еще едва, словно чирканье утром птенца в гнезде, зарожденье игры на цевнице, перебиранье струн; и, наконец, все возрастающая, все крепнущая, все более громкая игра этих струн-стволов семиствольной цевницы, с каждым стволом вводящая новый музыкальный об-

раз — важные гимны богов и фригийские пастушьи песни; пока сама она не берет в руки цевницу, и тут полноводный финал-дифирамб самой Музе. Откровенно говоря — метнеровская «Муза» показалась мне ближе к такому прочтению, нежели — в то время — рахманиновская.

Со дня отправки шестого письма (19 июня 1912 года) проходит большой срок — четыре месяца, три недели и два дня. Рахманинов берется за перо только 12 ноября все того же 1912 года. Но чтоб читателю быть в курсе этого длинного срока и лучше понять седьмое письмо, надо «расшифровать» мои собственные дела за это истекшее время, а у меня тогда среди напряженнейшей работы произошла новая встреча. Все началось с потребности закрепить творческий подъем Рахманинова, ответить его критикам, показать важнейшее место, занятое Рахманиновым в истории развития русской музыкальной культуры. И тут забрезжила для меня и собственная дорога вдаль, обошедшая стену кризиса, каким закончился мой петербургский период. Время обтекло стену, выросшую из кризиса, и потекло дальше, как предсказывалось в первой моей беседе с Линой. Я вдруг увидела в этой открывшейся дали социальный смысл музыки.

Нас оглушал и захлестывал музыкальный модернизм. Снобы в «меловом круге» московского общества видели в нем будущее музыки. А я видела — разрушенье музыки. Критерий нужности, необходимости музыки для человека, ставшей его жизненной потребностью на все возрасты, был в воздействии музыки на чувство, сознание, настроение, направление к действию, состоянье «нервов» слушателя. Не голый утилитаризм, а та Польза — Польза с большой буквы, — которую Гёте считал путем к Красоте и Истине.

Если музыка воздействует на благо для человека (все равно в какой форме — восхищает, дает наслажденье, веселит, бодрит, заставляет думать, грустить, понимать, постигать, помогает, успокаивает, зовет к действию, поднимает бурю чувств и мыслей или влечет к забвению и покою) — это настоящая природа музыки. Организующая. Она социально необходима человеку, она элемент духовного здоровья человеческой культуры. Она соединяет, сближает, со-общает людей. Для этого организующего действия главнейший ее элемент — ритм, главнейший способ организующего воздействия — мелодия, главнейшая материя — гармония. И поэтому она, как природа, несет в себе свои законы. Их, как в законах природы, можно постигать все глубже и дальше (и в этом развитие музыкальных форм), но беззаконие, всякое модное «анти», ведущее к противопоставлению произвола организованному началу, к нарушению языковой связи музыки, действует на слушателя разрушающе, дезорганизующе, антисоциально. И это «левое» в музыке не только не прогрессивно для народа — оно регрессирует все завоеванное народом. В борьбе за справедливую, лучшую жизнь для «малых сих» занимает свое положительное место и борьба против разрушительных действий так называемого музы-

кального модернизма... Вот какие мысли стали питать меня, скажу больше — обуревать меня, словно внезапно нащупанная почва под ногами у пловца, который думал, что он тонет, заплыв в омут или водоворот. Иными словами: я давно уже задумала написать «идеологическую» статью о музыке Рахманинова.

У нас с Линой был знакомый издатель Александр Мелентьевич Кожебаткин, работавший в «Мусагете», а потом отпочковавший от «Мусагета» свое собственное маленькое издательство «Альциона», где я печатала книгу стихов Гиппиус, а в 1913 году свою собственную «Orientalia». С этим Кожебаткиным я и поделилась своими мыслями о музыке. Он воскликнул: «Идея! Точь-в-точь мысли Эмилия Карловича! Напишите тезисы такой статьи, идите прямо к нему в редакцию «Трудов и дней», я вас сам провожу, он непременно это напечатает. Только аккуратно пишите, он злющий немец. Беспорядочных рукописей терпеть не может».

Я написала тезисы самым лучшим своим почерком, свернула их в трубку и перевязала шелковым шнурочком. В те годы на Пречистенском (сейчас Гоголевском) бульваре справа, если идти от Арбатской площади, стоял, и теперь стоит, барский особнячок в глубине двора, снятый издательством «Мусагет». Об этом особнячке ходили в «Москве-маленькой» россказни, как о пещере Али-Бабы. В нем были всякие редкие по тому времени удобства, в частности ванна. А ванна в московских многоквартирных домах была еще мало кому доступной роскошью, почти все мы ходили в баню. Рассказывали, как забегали в издательство «Мусагет» и Белый, и Эллис, и даже философ Федор Степун, чтобы насладиться погружением в теплую воду ванны. Душистое мыло и мохнатая простыня сопутствовали гостеприимству «Мусагета». При издательстве, основанном Эмилием Карловичем Метнером, издавался его журнал «Труды и дни», где Вячеслав Иванов печатал свою заумь, Андрей Белый — философские размышленья, Эллис — письма о том о сем, высокого заоблачного тона,— словом, кто что хотел, с одним обязательством: отвергать модерн в области главным образом музыки. Когда я пришла в первый раз в эту пещеру Али-Бабы, мне было страшновато. Метнер был занят. Наконец ушел посетитель, Кожебаткин приоткрыл дверь в кабинет, я ступила через порог и зажмурилась: в окно, словно бушующий по соседству пожар, лился московский закат, знаменитый закат, воспевавшийся, как нездешние (апокалипсические) «зори», Белым. В пылающей оранжевым пламенем комнате поднялся из-за стола мне навстречу человек необычной, нерусской внешности, с лицом, похожим на портреты Лютера, Бисмарка, германских ученых: очень прямые брови над зелеными глазами, прямой нос, узкие губы аскета с порезом от бритвы над ними, высокий лоб, уходящий в лысинку, справа и слева каштановые кудри над ушами. Голос, точней выговор, тоже не совсем русский. Тезисы мои были благосклонно приняты. Но мы яростно поспорили о музыке Рахманинова. Эмилий Метнер одобрил все, что я писала против модернизма. Но

значение Рахманинова как композитора он нашел преувеличенным — и тут, как предчувствие будущих бурь и какого-то надвигающегося на меня темного облака, я вдруг испытала резкую боль в сердце. Начиная с этого дня в мой быт, практический и духовный, вошло семейство Метнеров — и вошел этот человек, оказавший огромное влияние на меня при всей разности наших позиций и наших убеждений. Я переношу все, что относится к метнеровской линии, в шестую главу своих воспоминаний, если успею написать ее. Здесь же отмечу только, что практический и духовный быт семейства Метнеров, организовавший меня до известной степени на целое пятилетие, отразился, словно камешком канул, в моих письмах к Рахманинову и поднял муть со дна в его ответах. Читатель сам увидит острую нелюбовь Рахманинова к Эмилию Метнеру, его огромное уважение к Николаю Метнеру, мои попытки свести его с ними, «сдружить» — и «отбрыкивание» Сергея Васильевича. Когда оба семейства очутились в эмиграции, связь у них наладилась, и об этом рассказано и в их переписке, и в разных воспоминаньях о заграничном периоде жизни Рахманинова.

Моя статья была напечатана в двухмесячнике «Трудов и дней» (№ 4—5). Виктор Серов ее снисходительно поругивает и приписывает свое отрицательное к ней отношенье и Рахманинову, пропуская письмо, где говорится совсем другое: «Благодарю Вас за Вашу статью. В ней много интересного и меткого; и метко там именно то, на что Вы сами указываете в своем письме ко мне. Однако в конечном результате Вы оказались не правы: подытожив содержание статьи, мой «вес» оказался преувеличенным. На самом деле я вешу легче (и с каждым днем все более худею)». Так отнесся к статье Рахманинов.

Самой мне трудно читать сейчас первую половину статьи, где я умничаю, зарываясь в отвлеченную терминологию, силясь заумно доказать простую вещь — что национальная русская музыка не высохла в своем русле, что Рахманинов достойно ее продолжает и что народу нужна и будет нужна его музыка. Говорить просто в «меловом круге» принято не было. Но вот небольшие отрывки из этой статьи, написанной двадцатичетырехлетней девушкой, только что окончившей историко-философский факультет.

Говоря о важности сохранения ритма в искусстве, я привожу пример, вспомнившийся мне тогда из-за Лининых слов о том, как время обтекает неподвижную стену безнадежности, возникшей при душевном кризисе,— Лининых слов о необходимости поворота на дороге жизни, чтоб смочь продолжать ее, смочь опять увидеть впереди открывшуюся дорогу. Хотя оба примера, Линин и мой, в статье не имеют как будто ничего схожего, но мне ясна их психологическая связь:

«Как-то видела уличную сценку, надолго врезавшуюся мне в память. Лошадь, тащившая воз, вдруг остановилась, выбившись из сил; стоит посреди улицы, а извозчик и покрикивает и постеги-

вает, и совершенно зря. Должно быть, прерван был ритм движенья или усилие дошло до предела, но только заставить лошадь сдвинуть воз дальше по прямой с того самого места, на котором она остановилась, не было никакой возможности. Я ждала, что будет дальше. И вот возчик вдруг заворотил лошадь вбок, дернув ее за уздечку,— и она покорно описала кривую линию, обвезла воз кругом себя и, свершив, значит, целый ряд лишних, на первый взгляд непроизводительных движений, потащила воз дальше по нужному направлению. Тут тот же закон движенья, что и в прыжке «с разбегу». Лошадь и возчик выполнили его инстинктивно, мало сознавая, что они делают. Разбег, движенье вбок, круговая линия — все это ухищренья ритма, которому нужно сохранить себя для продолженья пути... Рахманинов, гениально ритмичный по природе, буквально спасается ритмом, связывает и сочленяет им все раздробленное...» (стр. 109).

«Этим и только этим объясняются изредка попадающиеся у Рахманинова пустые страницы, как бы «отсутствующие». Это отнюдь не случайная небрежность артиста, забывшего на виду свой черновик, а вполне сознательная уступка ритму,— ряд круговращательных, как будто лишних движений, для того чтоб «свезти с места» мелодию... И это придает его музыке особенную верность и надежность, драгоценную во все времена, а сейчас исключительно нужную и целебную. Слушая любую из его вещей, можно заранее быть уверенным в том, что она не выдаст тебя, не опрокинет в хаос... напротив, стянет своей текучей упругостью» (стр. 110).

И я кончаю эту длинную свою статью (больше печатного листа!) такими словами:

«Те, кто видит путь к высшей свободе лишь через добровольное самоограничение, через полное очеловечение,— не могут не пойти навстречу целительной музыке Рахманинова, тем более мудрой, что ведь она выпустила свои ростки из нашей почвы, из трагического бессилия современности, из ассимиляции, из распада; какая свобода духа в самом акте ее, в сознательном ограничении ею своих масштабов! Мы переживаем время, когда приходится не только не сожалеть о «человеческом, слишком человеческом», но всеми устремлениями души оберегать, призывать и приветствовать «уже человеческое», так трудно бывает выкарабкаться из торжествующего нынче хаоса... Мужественное искусство Рахманинова с простотою и серьезностью протягивает нам руку помощи. И тот, кто ее раз принял, ответит ей чем-то большим, чем признание и хвала. Он сбережет для нее интимную благодарность, чувство пережитой близости и ту деятельную любовь, которая воздается лишь живому,— любовь столь же помнящую, сколь и возлагающую надежды».

Не забудьте, читатель, это было напечатано в июле — октябре 1912 года. А называется статья «С. В. Рахманинов. Музыкально-психологический этюд». Без претензий на профессиональные анализы нот!

КОММЕНТАРИЙ К ВОСЬМОМУ ПИСЬМУ РАХМАНИНОВА

Перед этим письмом, в первых числах декабря, я случайно попала на концерт вместе со встретившимися мне на улице ученицами гимназии Ржевской и возглавлявшей их фрейлейн Метцлер. Под руку с ней прошла и я в знакомую большую гостиную перед эстрадой (или за эстрадой, не знаю, как топографически точнее сказать) и, покуда «маленькие», так называли мы пансионерок, учившихся в младших классах, рассаживались, стала искать себе место поближе к эстраде, чтоб было слышнее. «Маленькие» были маленькими, когда я кончала, а сейчас, хотя я всех их узнала, это были уже взрослые девицы с длинными косами, и они отлично обошлись сами, без помощи фрейлейн, которой хотелось поговорить со мной. В тот вечер почему-то я чувствовала себя измученной, а при виде выросших «маленьких» — страшно постаревшей. И Метцлер усилила это чувство постарения, сострадательно сказав по-немецки, что я выгляжу «stark angegriffen — крепко «прихваченной», изнуренной, болезненной»... Ощущая себя именно такой, я начала, съежившись, куда-то пробираться, как вдруг встретилась с глазами, смотревшими прямо в мои глаза,— с темными глазами Рахманинова. С графической четкостью стоит передо мной наше знакомство. Он протянул большую белую руку и взял меня за складку платья, слегка потянул к себе и, повернув голову назад, громко сказал: «Иди, Наташа, сюда, знакомься с нотой Re!» Мне хотелось вырваться, убежать, выругаться или заплакать, но я покорно пожала протянутые руки двум дамам, покорно посмотрела на Сергея Васильевича и спросила: «Как вы узнали меня?» Уже открыв через какого-то общего знакомого имя мое и фамилию, он не мог еще знать, какая я и как выгляжу. «Как вы узнали меня?» И Рахманинов ответил: «Вы знакомо поглядели на меня». Узнал по взгляду...

Дальше скудеет переписка. Письма перешли в личные встречи — и в этих встречах было не так, как с Андреем Белым, а естественное и простое переключение «устного творчества» моих огромных посланий в действительное творчество вслух наших больших бесед, большой совместной работы, большой духовно-душевной близости. Внешне об этом периоде личного общенья подробно рассказано в моих воспоминаньях пятидесятых годов, несколько раз издававшихся в двухтомнике Музгиза [19] и перепечатанных в девятом томе моего собственного собрания семидесятых годов. Внутренно нет у меня сил передать то светлое, может быть, самое светлое в моей жизни, что было в нашем общенье. Перо выпадает у меня сейчас из рук. Почему-то в последние дни, когда я дописываю — и не могу дописать — эту главу, поет у меня в ушах пушкинская строка: «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи...»

---

[19] «Воспоминания о Рахманинове», т. 2, с. 128—203.

Слышу умолкиувший, слышу молчание,— ие тоска ли это по предельиой иепосредствениости искусства, по предельиому обиажению духа? Антчиость знала это, и ее «умолкнувший звук» слышен человечеству уже две тысячн, больше чем две тысячи лет. Наше искусство ие зиает, не может добиться, такой иепосредственностн. Прнходнт мниута, когда все мы не можем, не в снлах продолжать двнженне, как иачалн, по прямой. И быть может, тогда — Возчнк иашей судьбы резко дергает вожжн, поворачнвая лошадь к повороту... Не такой ли Возчнк стонт у последией ступеии жизнн каждого нз нас?

Переделкино, сентябрь 1976 г.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
„Старая Хейдельберг..."[1]

> Auf die Berge will ich steigen,
> wo die frommen Hütten stehen,
> wo die Brust sich frei erschließet
> und die freien Lüfte wehen.
>
> *Heinrich Heine*[2]

> Прибежали в избу дети,
> Второпях зовут отца:
> «Тятя! тятя! наши сети
> Притащили мертвеца».
>
> *А. Пушкин*[3]

1

Лишь изредка, кроме метеорологических сводок, мелькнет в печати что-нибудь дельное о значении для человека так называемой погоды. О планетарных связях, о космических самочувствиях, о влиянии солнечных пятен на земные события — пожалуйста, сколько угодно. Вспомнили Чижевского, Федорова, приобщают к списку широкий диапазон мышления гениального Владимира Ивановича Вернадского, обо всех этих мыслителях, об их заглядывании в будущее пишут интересные обозрения, исследования, статьи. Но мне что-то не попадались (может быть, проглядела) печатные размышления и наблюдения о повседневном опыте простых людей над взаимосвязью человека (и общества) с той частью природы, которая именуется погодой. А между тем в житейской практике слышишь на каждом шагу: «Еле хожу, едва ноги таскаю» — и в ответ: «У всех так, это от погоды, на сосуды действует».

Погода — состояние природы и связь состояния природы с самочувствием человека, с его способностью работать,— ощущалась ли она так остро в прежние времена, как ныне, когда я начинаю

---

[1] «Alt-Heidelberg, du feine, du Stadt, am Ehren reich...» («Старая Хейдельберг, ты утонченная, ты город, богатый славой» — поется в песенке Шеффеля и встречается на каждом шагу в Гейдельберге).

[2] Heinrich Heine. Die Harzreise. Leipzig. Universal Bibliothek. 1967. S. 5.

В горы я хочу подняться,
там, где хижины ютятся,
там, где грудь открыться смеет,
где свободный ветер веет!

[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. 3, с. 117.

писать шестую свою главу? Окна мои затемнены густыми стволами сосен и расхламленными лохмотьями елей. Все гниет на земле, подгнивают корни у растений, гниют павшие ржавые листья на заржавелой траве; когда чуть подмерзнет, она скрипит под ногами, как жесть. Неизвестно куда делись белка, птицы, ежик, все то живое, что несколько лет назад вылезало из норок, из гнезд, давало знать, как сейчас, о себе. Синичке я вешала куски сала на веревке, она, качаясь, клевала их «на ходу» — и нет синички уже второй год.

Конечно, и я виновата, нет за землей ухода, запустила сад на даче не от небрежности — от старости и бессилия. Но и за вычетом моей вины земля не похожа сейчас на прежнюю, и осень не похожа на прежнюю; в октябре сунулась было зима, наснежила не по сезону и, замученная «спадами», ночным морозом, дневным теплом, ушла от нас, оставив слякоть, гниенье-теплынь, ржавчину на растениях.

Но шестьдесят четыре — шестьдесят пять лет назад никому и в голову не пришло бы мерить свою работоспособность, свое самочувствие по каким-то ржавчинам на траве. Не было этих ржавчин. И зима наступала в положенное время, и елки в садах не хламились как лешие, а были гладкие, пахли рождеством, принимали, словно птиц на плечи, белые, чистые, звездные скопища снега. Для меня утро в Москве начиналось со свежего воздуха из городской форточки, заносившего в комнату снежинки. Было темно утренней темнотой здоровой зимы, пронизанной серостью близкого света. Когда фонарь на улице, под самым окном гаснул, сразу менялось чувство ночной темноты на близкое посветленье. И на улице было всегда хорошо и незаметно погоды, как для здорового человека незаметно здоровье.

Без особой охоты, но с состояньем порядка в душе и последовательности в житейских поступках я шла по спокойной улице к своему профессору, уже не курсистка, а кандидатка философских наук, сдавшая последний экзамен на Курсах по скучнейшему в те учебные времена предмету — биологии. Не очень-то хорошо сдала, верней сказать — плохо, потому что все скучали и на ее лекциях, и листая ее учебник,— единственное «у д о в л е т в о р и т е л ь н о» в дипломе, где все остальное было с высшей отметкой «в е с ь м а». Столько лично пережитого за плечами, пепел огромной любви, десятки исписанных тетрадок, целых четыре напечатанных книги. Но в эту минуту я была просто окончившая Высшую школу девушка с дипломом, шедшая к своему бывшему профессору на уже ставшие для нее бывшими Курсы.

Николай Дмитриевич Виноградов, мой профессор, сидел в кабинете нашей кафедры, где мы, «философички», устраивали иногда разные дискуссии, заменявшие семинары. Он тоже только что пришел, и на усах его еще блестела влага от снега. Перед ним лежал толстый немецкий справочник. Я знала, что речь пойдет о моей подготовке к магистерскому сочинению, диссертации на первое научное звание — магистра. Мне очень хотелось писать о Гегеле. Уже

тогда у меня была своя гегелевская тема, заковыристо сформулированная: «Теория становления как содержащего в себе целое — у Гегеля». Профессор много раз слышал о ней от меня и, как всегда, уж наверное учтет это. Но профессор отметил что-то в справочнике и повернул ко мне свое очень мягкое и очень настойчивое лицо:

— Советую вам, если не возражаете, разработать уникальную, очень мало исследованную, точней — совсем не исследованную тему в истории философии. Работы будет много. Не только по философии. Вы жаловались, что биологию скучно слушать. А тут придется почитать по естествознанию. Очень интересный философ.

Речь явно шла не о Гегеле. Я сразу настроилась возражать. А Николай Дмитриевич продолжал как ни в чем не бывало:

— Немецкий философ — после крупнейших системотворцев. Тоже создал свою систему. Не по Фихте, не по Шеллингу, не по Гегелю, не по Канту... Его главный труд называется «Фантазия как основной принцип мирового процесса».— И сразу добавил по-немецки: — Die Phantasie als Grundprinzip des Weltprozesses.

Мне показалось, что он смеется, что это пародия на идеалистов первой половины XIX века, шутка, больше того — насмешка надо мной, над моей склонностью к Гегелю. Что тут возражать? Тут — разразиться! Нашли время подшучивать! Но он не шутил.

— Я всерьез. Это совершенно всерьез.

И действительно — он говорил серьезно. Мне предлагалась тема для магистерского — о совершенно неведомом, не упоминавшемся в известных нам историях философии каком-то чуть ли не сумасшедшем Якобе Фрошаммере (Jakob Frohcshammer), создавшем свою систему, где принципом мирового процесса названа ф а н т а з и я. Каждый здравомыслящий человек понимает, что фантазия п р о и з в о л ь н а. Разрушается л о г и к а бытия, исчезают з а к о н ы природы. Мировой процесс течет произвольно! Можно еще допустить, что у человека в сознании царствует произвол. Он не мыслит, а все тысячи лет фантазирует. Но природа? Каким органом она фантазирует? Дважды два = четыре — это фантазия? Химическая формула воды — фантазия? То, что на наших глазах совершается с абсолютной точностью внутренней логики всегда одинаково, то, что не выходит за пределы этой одинаковости,— законы астрономии, физики, геологии, математики, химии — продукты фантазии? Тогда почему в материи нет произвола, в цифрах нет произвола, любой опыт приводит к правилу, закону, закрепляется постоянством результата или отсутствия результата? Почему, например, вы сидите передо мной двуногий, как и я двуногая, а не смесью рыбы и черепахи, сфантазированной вашими мамой-папой и мировым процессом? Почему, почему — и так далее. У меня голоса не хватило разразиться диким протестом перед невероятностью темы, предложенной для научного сочинения. Я охрипла.

— Законы изменяются, время течет. Ничто не остается одинаковым навеки, потому что мы не можем проверить вещи вечно-

стью, которой не видели и увидеть по самой логике бытия не можем. Я сам знаю о Фрошаммере только из двух брошюр его учеников. Он не сумасшедший, а вполне здоровый психически немец. Сочинения его я не читал. Но на вашем месте прежде всего исследовал бы, что именно понимает он под словом фантазия.

Наш первый разговор ничем не кончился. Я шла от него домой в самом «фантастическом» состоянии. Все вокруг меня было такое знакомое, обычное, принятое людьми запросто как факты, постоянные факты, такие, что их никак не сделаешь материалом для философского исследования. Ну, скажем, бежит собака навстречу... зазвенел трамвай таким постоянным уличным звоночком, что его даже обходишь слухом,— все это знакомые, практические вещи. А тысячу лет назад, увидя, как электричеством движется трамвай, эдакий средневековый ученый-схоласт — он... Память ворвалась в мои мысли наглым выводом: он сказал бы «фантастично!». Достижения цивилизации меняются и показались бы людям далеких эпох плодом фантазии. Почему фантазии? Почему не науки, если мыслить логически?

Я шагала вразброд и соскальзывала с тротуара на мостовую, вдруг углубившись в нелепые размышления. Сравнивала с «Абсолютом» Гегеля, с «Я» Фихте, привыкала к странной и нелепой теме, как к чужеродному запаху. Перешла мыслью на понятие случайности, на математическое осмысление того, что кажется нам произвольным, на теорию вероятностей, на статистику больших чисел. И — шла домой обескураженная.

Лины в Москве не было, она сдала экзамены раньше меня и с дипломом кандидатки своих исторических наук уехала к матери. Не с кем было мне поделиться мыслями о Фрошаммере. И вдруг я почувствовала, что мне интересно и даже хочется — на первых порах — выяснить, что понимал Фрошаммер под словом «фантазия», да и что такое фантазия вообще, как нужно ее понимать. В данных мне Николаем Дмитриевичем и просмотренных при нем двух брошюрках, очень скучно, сухим немецким языком написанных, почти не было человеческого материала. Я привыкла видеть моих философов древности, о которых читала питерским рабочим лекции. Видела Аристиппа, видела Пифагора — даже как он странствовал по Востоку, погружался в мистику цифр,— почему-то видела и Диогена в бочке, лысого, с потным лбом, Демокрита с темной бородой... видела моего любимца Гегеля и его огромные голубые славянские глаза с поволокой. Но Фрошаммер? О нем в брошюрах, медленно мной перелистанных,— почти ничего; преподавал в Мюнхенском университете, был католиком, нелады с Ватиканом, наложение запрета на отдельные его книги, болезнь глаз, слепнущих под конец жизни,— все это с пятого на десятое, ни последовательного анализа системы, ни хронологии в развитии личности и никакой возможности вообразить его себе...

Вообразить! Не значит ли это пустить в ход свою фантазию? Образы древних философов рождались во мне памятью о прочитанном, иногда вместе с памятью о самом тексте прочитанной стра-

ницы, о самих печатных буквах на ней, потому что ведь древние «бюсты», хотя они тоже могли участвовать, были условны, недостоверны, подчинены традициям древнего искусства и часто даже противоречили воображению. Я вдруг вспомнила портрет Спинозы, где-то мною виденный, чуть ли не в латинской «Этике»,— он совсем не был похож на мое представление о Спинозе, он напомнил мне скорее Вольтера своей сатирической улыбкой и веселым юмором глаз. Но вообразить... начать фантазировать... Если я не могу, как слепая, увидеть внутренне Фрошаммера, потому что нет ничего хоть мало-мальски видимого о нем в данных мне брошюрах, в рассказе Николая Дмитриевича, то, значит, надо, чтобы какое-то видимое зернышко было, надо, чтоб я могла, верней фантазия могла за что-то видимое, вещественное уцепиться, чтоб начать работу воображенья. А если так, значит, она не может быть произвольной, не может быть самопрнчиной, «causa sui», как говорит Спиноза о происхождении Вселенной. Какой же тогда «основной» принцип, если он сам требует основы? Вздор его система. Вздор «Фантазия как основной принцип мирового процесса»!

Хорошо помню, что́ я тогда сделала. Прочитав для полной уверенности обе брошюры, данные мне моим профессором, я на следующий день вернулась к нему в самом воинственном настроении. Что угодно — только не Фрошаммер. Согласна хоть на самого противного — Кузена какого-нибудь (французскую философию, кроме Паскаля, я тогда не уважала, а Руссо, Дидро и школу энциклопедистов, как и наших революционных демократов Чернышевского, Добролюбова, считала скорей критиками-мыслителями, а не философами-профессионалами). Не хочу быть предметом насмешек! Последнее «не хочу» родилось у меня в душе после десятиминутного ожидания прихода Николая Дмитриевича. В аудитории со мной сидели кое-кто из моих подруг по факультету. Узнав, какую тему для магистерской диссертации предложила мне кафедра, они дружно расхохотались.

Пришел профессор — и я тут же, при них, бросилась в атаку. Все время, пока шли мы с ним в его кабинет из аудитории, где через десять минут начиналась его лекция, я спешно выбрасывала один за другим свои аргументы против Фрошаммера, чтоб поставить заключительную точку: нет и нет, не могу, не хочу!

— Жаль,— только и успел сказать Николай Дмитриевич,— а я уже заготовил письмо профессору Трёльчу в Гейдельбергский университет. Но отложим пока, такие вопросы на ходу не решаются. До завтра...

И я опять шла домой злая, но не только злая. Вспоминаю сейчас, когда пишу все это, обиженную собачку Фликса в доме у Метнеров. Она отвернулась от обидчика, не взявшего ее гулять, но он поднес ей в знак примиренья кость. И хотя мутный взгляд ее обиженных глаз был все еще обращен прочь от хозяина, в поле зрения одного из них попало отражение кости, и она увидела кость и уже глядела на нее. В то утро я наблюдала эту сценку. Я тогда жила у Метнеров — и почему-то мне запомнилась она. Хитрость не хит-

рость, но раздвоенность собачьего самочувствия — вот что мне запомнилось в тот миг и, как ни странно, хранилось в памяти все прошедшие с тех пор шестьдесят четыре года. Я шла домой, наверное, в таком же раздвоенном «собачьем самочувствии» — не смотрела на «кость», но видела ее боковым зрением, где-то на левом краю моего поля зрения. Костью был Гейдельберг.

Кто в двадцать пять — двадцать шесть лет не встрепенется от мысли о близком путешествии.! Поехать в чужую страну! Не на летний месяц, а на годы. Увидеть чужой город, чужие библиотеки, напрактиковаться на чужом языке, побродить с рюкзаком за плечами по выхоженным, выхоленным дорогам Европы, а я любила бродить одна, часами, бесстрашно, хотя не всякая у нас в пригородах, в Подмосковье, дорога обхожена и безопасна, я больше всего на свете, больше чтения книг любила «читать» природу по обе стороны дороги, переворачивать ее страницы на поворотах — и как думалось при этом! Какие удивительные мысли приходили при этом в голову...

Трёльч был очень известным ученым. Его предмет был теология — наука, не преподававшаяся у нас в университетах. Ее (богословие) слушали семинаристы, изучали в духовных академиях. Какую помощь мог он мне оказать в изучении Якоба Фрошаммера? А в Гейдельбергском университете, я знала, были очень интересные факультеты, были профессора с мировыми именами и — главное — было много наших русских студентов. У нашего с Линой друга, меньшевика Амирова, был даже какой-то товарищ, приехавший недавно в Москву на побывку из Гейдельберга, где он что-то такое изучал, что́ — я не знала. Придя домой, я написала Амирову письмо с просьбой привести этого товарища завтра к нам на Курсы для «очень серьезного разговора». Я собиралась в третий раз отказаться от Фрошаммера, но уже с помощью этого студента, потому что в глубине души зародился у меня червячок сомнения. Можно ли как-нибудь, отказавшись именно от этой темы, сохранить Гейдельберг при наличии другой, более разумной, более современной, более научной? Письмо я отослала с посыльным.

Амиров в этот год к нам не заглядывал отчасти потому, что уехала Лина, отчасти из-за моей растущей «аполитичности». В этом он был прав. Проглядывая свои дневники тех лет, чувствую неприятную отчужденность от себя самой в этих длинных записях какого-то резонерского характера. Эти записи мог вести коллекционер, если б он коллекционировал не вещи, а культурные выводы от прочитанного в книгах, увиденного на выставках, на сцене, услышанного в беседах. Все, переживавшееся тогда, бралось мною, как у писца, у счетчика, на мозговой станок для формулирования. Узнать, отжать, сформулировать, вывести «мораль» (как в баснях) и записать эту «мораль» сделалось у меня еще до дневников, в начале 1914-го, постоянной потребностью «освоения». Именно так, глубиной освоения, называлась у меня постоянная процедура тогдашней ежедневной жизни. Постепенно она стала казаться мне самым важным человеческим делом. Формулировать, доводить опыт

восприятия искусства, книги, серьезной беседы (несерьезных не вести!) до формулировки смысла, полезного назначенья этих восприятий. Нанизывать каждое впечатление, как высушенный цветок в гербарий или мертвую бабочку на бумагу,— как богатство познанного, особое, ни с чем не сравнимое богатство — опыт. Есть старая мудрость: никогда и ни для чего не делать человека средством. А у меня незаметно становилась вся жизнь, во всех ее восприятиях, как бы средством для умных выводов, вкусовых и нравственных формулировок. Жизнь, не для того, чтоб жить, а чтоб делать на каждом ее шагу «точные выводы-формулы»... И обстоятельства тогдашней обстановки, начиная с четырнадцатого года, как-то способствовали этому.

Дело в том, что от студенческой неоседлости и очень скромного, почти скудного быта я перешла к некоторой зажиточности. Стала больше зарабатывать, получать месячные гонорары из трех газет («Баку», «Кавказское слово», «Приазовский край») как постоянный их сотрудник, случайные гонорары от разных изданий, где меня печатали,— журнала «Северные записки», альманахов, «Биржевки», «Речи», позднее «Русской воли». У меня уже вышли две книги стихов, две брошюрки, печатался второй том рассказов в петербургском издательстве Семенова, и я сменила студенческую наемную комнату на «пансион» у ставших мне дорогими друзьями Метнеров — композитора Николая Карловича, его старшего брата философа Эмилия Карловича и Анны Михайловны, жены композитора. Мне дорог был мой трудовой режим, нажитый годами в Петербурге. И я как бы продолжала его, только в высококультурных, более требовательных условиях и без участия в какой бы то ни было общественной работе.

2

У меня была отдельная комната, регулярное питание, прогулка в определенные часы и нечто совсем новое, чего не было в Питере с Мережковскими,— бытие в творческом коллективе. У Мережковских при самой тесной связи «общего дела» я чувствовала себя на отшибе, чем-то вроде приходящей, как приходят в гости или на службу из дому. Семья Метнеров — тоже трое, своеобразный триумвират,— общим делом со мной никак не была связана, но мы не только жили под одной крышей, мы ели вместе, за общим столом, общались на общую тему, делили общий дневной, очень выдержанный, режим. Называли друг друга по имени и дошли к этому постепенно, вместе с растущей духовной близостью: Коля, Миля, Анюта, Мариэтта. И опять я была «связная», четвертая, но уже не как звено с внешним миром. Внешние миры у них и у меня были разные.

Центром метнеровского триумвирата был Николай Карлович Метнер, гениальный композитор. Когда я впоследствии увлеченно читала о жизни Брамса и Шуберта, мне все время приходило в голову какое-то «комнатное», замкнутое в четырех стенах представ-

ление о кружке «приверженцев», «единомышленников», «сочувствующих», не знаю, как вернее сказать,— сектантски группирующихся вокруг музыкального творца, музыку которого они считают гениальной, разделяемой сообща как нечто вроде общего мировоззрения, общей, дорогой для всех великой ценностью. Такие верные соратники составляли кружки друзей и последователей вокруг Брамса и вокруг Шуберта, на могиле которого стоит надпись, лучше сотен книг характеризующая его музыкальный гений: «Тут похоронено сокровище». Сокровище немецкого народа, но и всего человечества. Мы тоже с немногими верными последователями Метнера в лице его учеников и поклонников, серьезно захваченных его музыкой, составляли вот такой кружок «метнеровцев» вокруг Николая Метнера.

Быт наш — я уже сказала — начинался с открытой утром форточки, с открытых форточек во всей квартире и особого, сейчас исчезнувшего дымка — лесного аромата сухих березовых дров из открытых створок больших голландских печей. Еще до завтрака зажигались они и трещали, стрекотали в печи по-своему, разгораясь и полыхая оранжевыми вспышками. Радиаторы центрального отопления прогнали эту голландскую поэзию веселой трескотни в печи, отодвинулся из памяти ее технический инвентарь — заслонка, кочерга, растопка, зола — и милое слово «золушка», оставшееся в сказке. А мы выходили из спален в свежую, проветренную столовую, с двух сторон омытую холодным зимним воздухом — из печки, втягивавшей отработанный воздух из комнаты, мешая его в своей зубастой грызне березовых дров с притоками кислорода, и из открытой до завтрака фортки. Входя, Коля потирал ладони, согревая руки. Мы умывались холодной водой, и мыло — любимое Колино английское круглое мыло «пирс» — чуть пахло чем-то похожим на засеянные, замороженные осенние листья. Это все я помню, потому что это было началом нашего дневного режима.

Завтрак протекал неспешно, и с него начиналось общенье. Первая нота музыкального вступления была Колина. Николай Карлович, казавшийся мне идеалом человека, был своеобразнейшей фигурой в музыкальном мире. Большая немецкая — точней германская — голова, напоминавшая сразу же и портреты Лютера, Гумбольдта, Бисмарка (совсем не схожих между собою), и старинные книжные гравюры с лицами в длинных кудрявых париках, придававших им особую строгую важность. Никаких длинных кудрей у него не было, не было и трубки во рту, а все-таки лицо его, очень открытое, крупное, с небольшим целомудренным ртом, ясными глазами и чем-то вообще неуловимым, сразу напоминало германца большого культурного ранга. В нем не было (и никогда не вязалось с его обликом) торопливости. Он не спешил вставать, садиться, не ходил беглым шагом на прогулках, а в то же время укладывал в течение дня очень много разнообразных занятий. Главным было творчество. Уходя после завтрака к себе, он несколько часов напряженно компонировал и в эти часы был недоступен ни для

кого. Он регулярно гулял, с братом и с фокстерьером Фликсом. У него были свои хобби — астрономия и ботаника. Выписывал ежегодный астрономический календарь на немецком языке, и приятнейшим для него подарком было получить этот календарь до того, как он сам его выпишет. В его комнате за рабочим столом стояло в кадках и горшках на красивых полках множество растений. Он сам ходил за ними, срезывал побеги, которые «отсаживались», то есть давали от себя ростки, если их сажали в отдельный цветочный горшок. У окна, за этим «зеленым поясом», смотрел в небо небольшой телескоп, и в ясные ночи он уходил к нему, чтоб смотреть на звезды.

Во всем этом не было ни на атом искусственности, или преднамеренности, или, скажем, подражания Гёте, культ которого установил в доме старший брат, философ-гётеанец Эмилий Метнер. Просто-напросто Николай Карлович любил все это и любовно занимался этим. Первое мое впечатление от него самого, от его большой головы и старомодной положительности не имело никакого отношения к музыке и вообще к его работе. Это было чисто зрительное и пластически-пространственное впечатленье «компактности». Слово «компактность» нерусское, а если переводить, то не похоже будет на то, что мы по привычке вкладываем в него,— «мир с самим собой». Вероятно, в смысле внутренней улаженности, мира с самим собой. А у меня, как, вероятно, и у других, ощущение компактности было чувством прочной собранности — хорошей плотности всех собранных частей у этого творческого человека. День после общей трапезы имел одну важную для меня сторону. Иногда, очень редко, Коля показывал нам новые вещи. Если это были романсы, то у рояля возникала маленькая фигурка Анюты и милым, приятным голосом, глядя в ноты, неполным голосом,— это я неверно написала,— вполголоса, как бы про себя намечала для нас тонкую струйку мелодии, еще без слов, встающей над полноводным Колиным аккомпанементом, как воздушное облачко. Это было для всех нас огромным наслажденьем. Но случалось оно не часто.

А главное, чем я особенно дорожила, были неизменные совместные чтения. Слух у меня к тому времени уже понизился так, что уследить за чужим чтением становилось трудно, и читать предлагали почти всегда мне. Читались у нас французские и немецкие книги, работы по философии, романы, стихи — я вдвойне наслаждалась от этих чтений: и самим содержанием их, и, главное, практикой французского и немецкого языков. С детства усвоенные с помощью гувернанток, они, как скрипка, требовали практики, ежедневного упражнения, чтоб не забывался не просто язык,— не забывалась его интонация, его внутренний жест, его произношение вслух. Когда приходили адепты — люди, адаптированные в круг жизни Метнеров,— возникали интересные беседы. И совсем на ночь — наедине с собой,— чтоб не забыть, я заносила все это в дневник, стараясь, как уже сказала, прийти или привести к выводу, к формуле все услышанное и пережитое.

Событиями этой жизни были совместные поездки на Колины очень редкие концерты. Коля играл свои собственные вещи. Игру его я уже давно, в старых своих воспоминаньях о Рахманинове, описала, но приведу с небольшими изменениями и сейчас. Медленно усаживался он за рояль, подтягивая нужную высоту у сиденья (тогда, помню, перед роялем ставились круглые табуреты). Поднимал свою большую голову, как бы задумываясь. Откинутое лицо с выпуклым лбом, прорезанным горизонтальной морщиной; крепко стиснутые губы, вот он начинает чуть пошевеливать ими, словно шепча что-то себе самому; вынимает чистый выглаженный носовой платок, сунутый ему Анютой в карман в последнюю минуту, и старательно вытирает им пальцы, еще и еще раз. Цепкие, железной хваткой забирающие клавиши, словно горстью охватывающие их, вдруг сразу, с наклоном всего туловища вперед вторгаются его пальцы в первые аккорды. Звук подан так ясно, так голо, словно не в заполненном зале, а в мертвой синеве открытого неба, в безмолвии огромных пространств. И вы слышите, как, беря эти чистые кристаллы звуков, выпархивающие у него из-под пальцев, сам творец их с о п и т; сопение, словно от несомой тяжести, переходит в подтягиванье, подпеванье себе,— забыв все на свете, Метнер начинает грандиозное строительство звуков, работу воздвижения музыкального здания, лепку этажей, кладку камней одной части за другой с постепенным нагнетанием мощи, с нерасторжимой логикой, с уходом в высоту, в высочайшие шпили виртуозной разработки, а вы сидите околдованный, строя целое вместе с пианистом в своем бегущем, текущем вслед за ним слухе.

У Метнера было собственное туше: он отрицал мягкое, ласковое, смазывающее прикосновенье пальцев к клавишам, у него был свой взгляд на искусство фортепьянной игры, своя школа пианизма и стиль, многим казавшийся жестким. Но это жесткое и честное, лишенное сентиментальности касание пальцами клавиш, этот суровый аскетический удар умели выманивать удивительную глубину звуков, шедшую, казалось, из сокровенной глубины ожившего инструмента. Странным образом именно от жесткого туше выигрывали внезапно нежные, лирические фразы его удивительных напевных мелодий... Метнер не имел сумасшедших успехов в концертах. Но от каждого концерта росло число его адептов, росло почетное достоинство его музыки, заставлявшей даже самых заядлых врагов Метнера уважать ее и преклоняться перед личностью ее создателя...

Уезжая вместе после концерта, мы почти всю дорогу молчали. Мое впечатленье «компактности» музыки Метнера, как и его самого, было настолько сильно, что суждение о ней замирало, как волна, набежавшая на гранит. И только утром после завтрака начиналась иногда беседа о прошедшем концерте, о глубине впечатленья, о мнении, услышанном в «кулуарах», все это очень робко, с ощущением своей малости по сравнению с «высотой Гималаев». Но утренние разговоры, становившиеся ключом всего дня, не всегда были несмелыми с моей стороны. Привыкая выводить и форму-

лировать, я иной раз не соглашалась, и тогда в моих дневниковых записях проступало мое собственное возражающее «я». Чтоб читатель яснее увидел характер этих бесед и «аполитичность», изолированность их от всего, что происходило в стране, попробую списать хотя бы одну-две из них со страниц дневника. Написанные старой орфографией, они читаются сейчас без скуки, со снисхождением, относимым к «старине», к «давности». Но честно признаюсь, когда мне пришлось переписывать их новой орфографией, мне стало вдруг скучно. Боюсь, что и читателю будет скучно читать их...

Систематически, почти изо дня в день записи я начала вести только с 1915 года. Постоянное житье у Метнеров на их московских квартирах и в имении Траханеево (на станции Хлебниково), которое они тогда снимали, не было по-настоящему постоянным. Оно прерывалось и очень долгими отлучками к матери в Нахичевань-на-Дону, и полугодом заграничной жизни, и отъездами на лето, но все эти годы, 1914—1916, когда я у них жила,— течение этой жизни было стандартно: те же утренние беседы, то же послеобеденное чтение вслух, те же прогулки, тот же круг адептов, совместные посещения стариков (родителей Метнеров), приемы гостей — Гедике, Ян-Рубан, Ильиных, Рахманиновых, то же частое присутствие как ближайшего и любимого члена семьи племянницы их Верочки, ныне Веры Карловны Тарасовой, дочери старшего, самого старшего, погибшего на войне брата композитора Карла Карловича, или Кали, как его звали в семье. И наконец, все эти три года, прошедших в метнеровском ключе немецкого культурного быта, даже когда я отлучалась из Москвы, описаны у меня в дневниках тоже почти стандартно — формулировками и выводами («моралью») бесед и впечатлений, о чем я уже писала выше. Можно поэтому взять для примера об этой полосе моей жизни кусочки из дневников 1915, 1916 и первого месяца 1917 года, не придерживаясь чересчур точной хронологии и даже относя их частично к четырнадцатому году, а только помня, что все это происходило на фоне первой мировой империалистической войны, голода в стране, выросшего числа забастовок, первых подземных толчков близкой Февральской революции. А все это время утро начиналось с обычной беседы, обычного чтения, формулировок прочитанного, увиденного и услышанного или написанного мною самою вечерами в дневник. Вот например:

«Сегодня утро началось замечательным разговором с Колей. Сперва о «Леонардо да Винчи» Волынского [4]. Коля сказал, что в волынском Леонардо слишком мало человечного. С Леонардо перешли на Микеланджело, которого Коля не любит и мало знает. Я взволновалась и стала спорить. Коля находит, что то, что проявляется в твореньях Микеланджело, при всей идеальной форме их производит на него впечатленье хаотичного, стихийного и злого. Я сослалась на Ночь, на Pietà и на потолок Сикстинской капел-

[4] Речь идет о книге Акима Львовича Волынского.

лы, особенно на лики Сибилл (пророчиц) и пророков. С Микеланджело перешли на универсальных людей, или, точнее, гениев с универсальными потенциями. Коля сказал, что хотя они его потрясают, но по существу ему более чужды, чем чистые художники. В пример привел Пушкина и Гёте. Сказал, что Гёте был *более* легкомыслен к поэзии, чем Пушкин, для которого поэзия была единственным и священнейшим делом. Спорили тут ожесточенно, и в виде дополнения Коля привел аналогию с Бетховеном — Вагнером. Сказал: «Ничто на свете, кажется, не производило на меня такого потрясающего впечатления, как Парсифаль, но все-таки скажу, что какая-нибудь соната Бетховена мне ближе. В Бетховене нет измены музыке, но эта измена есть потенциально в Вагнере». Далее: «Последние opus'ы Бетховена, которые все считают гениальным завоеваньем, я лично считаю соскальзываньем с верного пути. Отвергаю их и как путь искусства, ибо они привели к таким уродливым явленьям, как Штраус, Регер, Брукнер, отрицательные моменты у Брамса». Тогда я сделала переход к предыдущей теме и ответила, что *искусство* есть, конечно, ограничение (*святое*, добавили мы оба), но что потенция к расширению, к синтетизму, к универсализму столь же свята и необходима в *личности* человеческой, если даже попытки к ее реализации (в искусстве или в действии — безразлично, ведь и церковь и политейя Платона — такие попытки!),— если даже эти попытки обречены на вечную неудачу. Так что, исходя из святости такой потенции в человеке, нельзя осуждать потребность к ее осуществлению у людей, владеющих каким-либо мастерством. Далее, переходя к Гёте, указала, что лирика Гёте абсолютно чиста и что «универсализм» заложен был в *личности* Гёте и реализовался в его *деятельности*, а первичное музыкальное ядро свое он держал всегда в чистоте и в святом ограничении. Взяли пример:

Warum ziehst du mich unwiderstehlich,
Ach, in jene Pracht...[5]

Коля, указав пальцем на это «ах», сказал: «Вот пример легкомыслия Гёте, ибо Пушкин наверное бы дни и ночи мучился, ставить ему это «ах» или нет». В дальнейшем оказалось, что это «ах» Коля воспринимает как произвольную вставку для размера, разделяющую стих. Так как у меня абсолютно иное чтение и я именно это «ах» люблю как забившееся сердце всего стиха, то опять заспорили. В виде контрпримера указала ему на строку Пушкина из «Пира во время чумы»: «И бездны мрачной на краю...» С одной стороны, это внешний lapsus, ибо тут перестановка сделана во внимание к рифме и к тому, чтобы «краю» очутилось на краю стиха; далее, насколько такая перестановка искусственна, доказала ее единственность (единичность) и бесплодность: она не вошла ни в

[5] Goethe's sämmtliche Werke. Лейпциг. Издание Ф. Реклам-младшего. Том I, с. 33. Из цикла песен.

Зачем тянешь ты меня неудержимо,
Ах, в то великолепие (роскошь)...

разговорную, ни в литературную речь. И все-таки этот lapsus оказался *самым* сильным и центральным местом всей поэмы, ибо выдвинул сразу вопреки обычному синтаксису и потому с необычной остротой на первое место не самое *бездну*, а ее *на краю*. Точно такая же сила в постановке этого «ach». «Ach» в начале фразы всегда бессодержательно, и пафос его набирается лишь от последующих слов. Здесь же вначале дан образ непобедимого притягивающего очарования: «Warum ziehst du mich unwiderstehlich» — и далее образ «нездешнего великолепия» — jene Pracht, а между этими двумя образами естественное, человечное, живое, исторгнутое из глубины сердца «ach». Этому вздоху дано и верное место и решающее во всем стихе, ибо до встречи с ней «бедный юноша был счастлив (gesellig) в своей каморке; он и вздыхает, и мучается, и навстречу идет очарованию... И Коля признался, что тут он, может быть, ошибается».

В этой записи я как будто возражаю и отстаиваю себя, но гипноз авторитета Метнера до того велик, что дальше идет сдача позиций: «Разговор с Колей дал мне огромную *личную* углубленность по вопросу о самоограничении в искусстве. *Вообще* он, конечно, подвижнически прав, но не прав по отношению к Гёте».

Но есть и более самостоятельные суждения, развивающие тезис, данный Николаем Карловичем, а потом в одиночку с самой собой и с вечерним дневником (из той же тетрадки 1916 года):

«После обеда несколько замечательных слов с Колей. Он дал мне прочитать заметку Пушкина о Сильвио Пеллико, где Пушкин, между прочим, говорит о том, что все слова уже даны, но что дело разума, новое дело наше — в *соображении* понятий... Гениальность этого «Ausdrück'a» [6] (зараз дать образ понятию и со-образить его с другим, то есть координировать его с другим). Коля сказал по этому поводу: «Как мне отрадно встретить у Пушкина то, над чем я сам думаю всю мою жизнь. Я совершенно не могу понять людей, наслаждающихся отдельными элементами, отдельным словом,— все дело, по-моему, в связи, в контексте. Ну что такое слово «соображение»? А ведь Пушкин сказал его в такой связи, что оно ослепляет». По поводу наслаждения отдельными элементами Коля привел в пример философа И. Ильина, который способен восхищаться одним каким-нибудь трезвучием. Думала над этой темой; по-моему, наслаждение *чистыми* элементами совершенно *физиологично* и одинаково доступно зверю и растению, ибо оно не требует *памяти*. Но лишь только наслаждение становится антропоморфическим, оно требует связи и необходимо предполагает сознание и память. Поэтому мы от чистых элементов можем получать, в сущности, только удовольствие, а не наслажденье, и ежели мы ими восхищаемся, как Ильин трезвучием, то мы, стало быть, связываем их с *внутренним* контекстом (как думает Коля) или же осознаем наше собственное «удовольствие» и наслаждаемся уже процессом его осознания».

---

[6] Выраженье (в смысле — выражено в слове).

Дата этой записи в моем дневнике — 14 января, 1916, четверг, спустя месяц после первой записи, сделанной тоже в четверг, но 10 декабря 1915 года. Только один период не абстрактен в них, но про него в следующей главе. В первую половину войны 1914 года жизнь и смятение захватили меня, но как раз тогда я еще не вела дневников... Я привожу здесь более поздние выписки не только для того, чтоб показать сухую логику и мир абстракций периода моей житейской «аполитичности». Пусть представит себе читатель профессиональное развитие, шедшее наравне с этим углублением в формулировки. Писать надо было ежемесячно пятнадцать статей, по пять в каждую из трех газет, где я сотрудничала. Кроме них, предлагались разные выступления в альманахах, переводы, позже (1916) лекции, редактирование, и на все такие предложения безотказно давались мною работы, иногда удачные, а иной раз возвращаемые обратно. Но жизнь у Метнеров и общение с ними было тоже работой. Если «регламентации» (письма к Лине) были профессиональной прелюдией к качеству литературной деятельности, то стремление к додумыванию любого впечатленья воспитывало мое мышление. Для меня самой в этом движущемся вместе с потоком внутренней моей жизни конвейере чуть ли не ежедневного создания формулировок прибавило к особенностям вырабатывавшегося у меня с годами литературного языка нечто очень положительное. Когда, уже после революции, я стала писать советские очерки и рецензии, я почувствовала, как стремление к чисто логической додуманности (формулировке) вошло у меня и в практику наблюденья, то есть перекочевало в саму жизнь. Материал послеоктябрьской жизни был для нас абсолютно новый, еще незнакомый, не обжитой. Писать о нем без знания его было невозможно. Знание требовало наблюдения, а наблюдение просто не удавалось без собственного участия в наблюдаемом, то есть в самом процессе созидания советских форм жизни, новых, советских «производственных отношений». Мне кажется, вся предыдущая борьба за абстрактную точность, воспитанная постоянной практикой, помогла мне в умении наблюсти и понять корни советского бытия, те глубинные его корни, которые росли из марксизма, из Ленина. И школа почти математических работ по додуманности, по созданию выводов, «формулировок» сыграла несомненную роль в развитии моего очеркового стиля.

Когда я сейчас, отвлекшись от своего рассказа, сидела и переписывала длинные абзацы из старых дневников со всеми их ятями, твердыми знаками, «і» и прочим — мелкие, бисерным почерком аккуратно исписанные, побледневшие от времени страницы, — мне подумалось: как странно, что в прошлом, какое бы ни было оно, ничто не проходит даром, твердеет в чем-то, как твердеет коралл, мягкий и гнущийся, когда он растет. Все остается, все врастает в человека, ничто не проходит, все переходит... И вдруг поймала за хвост эту самую мысль в старой моей голове как отголосок былой страсти к формулировкам...

3

А в те годы — не забудем это держать в памяти — шла первая мировая война, лилась кровь, участились забастовки, усилились аресты, разыгрывались дурные общественные события вроде газетных страстей в предвоенные годы вокруг выдуманного дела Бейлиса, росло грязное веяние Распутина и всех иже с ним пока еще в форме слухов, а сопровождалось это голодом, сыпным тифом, холерой, неудачами на фронте, крепнущим раздраженьем народа на возрастающие трудности жизни, презреньем к неумелой, неумной власти, несоответствием настроений общества с криками правых газет о патриотизме. Чувствовались первые колебания почвы перед взрывом Февральской революции. А передовая интеллигенция в Думе...

Но тут я опять хочу отклониться для исторической полноты моего рассказа. Выше сорвалось у меня с пера — не совсем кстати — словечко несоответствие. Это непростое слово, и не сразу открывает оно всю глубину своего смысла.

Как всегда, начиная очередную книгу (или часть) своих воспоминаний, я окружила себя томами пятого издания Ленина, относящимися к тем годам, о которых должна повести речь. Что происходило в них? Что было открыто в них взгляду Ленина, чего мы не знали и не видели, о чем и намеков, может быть, нет в моих дневниках, уже не младенческих, не юношеских, а стародевичьих, когда шли мне самой далеко не молодые годы — двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой и начинался двадцать девятый, а сознавала я себя и была в то время типичной «старой девой»?

Раскрыла том двадцать второй для широты охвата русской жизни с 1913 года. Что было тогда в главном фокусе событий? Борьба вокруг IV Думы и в ней самой. Росло как будто полевение кадетской партии (к.-д.— конституционалистов-демократов) и ее авторитет среди интеллигенции. Известные имена, солидность, внушающая доверие, профессора, крупные юристы, культура, знание, приверженность прогрессу и цивилизации — все это импонировало обывателям и части интеллигенции. Кадетов как-то почтительно отличали от мирно-обновленцев, октябристов, стоячего думского центра. И Ленин всю гневную остроту своего полемического пера направил против опасного врага революции — кадетов, замаскированных «полевением». Депутаты Думы, руководившие кадетской партией, провели очередное депутатское совещание по анализу политического момента и закончили его коротким выводом и четырьмя «решениями» для действия. Ленин беспощадно остро обрушился на эти «решения», сперва приведя их собственный вывод-резюме. Вывод из совещания, по определению самих кадетов, указал на «возрастающее несоответствие между потребностями страны в основном законодательстве и невозможностью удовлетворить их при настоящем устройстве законодательных учреждений и

при современном отношении власти к народному представительству» (выделено мной.— *М. Ш.*).

Приведя этот вывод, Ленин посмеялся над запутанностью его синтаксиса, сравнив его с клубком ниток, с которым «давно играл котенок» (потребности в законодательстве, которых не может удовлетворить настоящее устройство законодательных учреждений,— что это? потребности в чем? в законах? или потребности в том, чего данные законы удовлетворить не могут,— в труде, хлебе, свободе и т. д.?). Посмеявшись над облепихой слов, делающей смысл этих слов туманным, Ленин прибавил к этому туманному «несоответствию» кадетов еще одно, ясное и понятное: несоответствие «между потребностями страны и *беспомощностью* либерализма»[7] их удовлетворить. И дальше в блестящем разборе четырех кадетских решений он вскрыл эту «*беспомощность* либерализма».

Но Ленину, видимо, понравились два слова из кадетского резюме: «*возрастающее несоответствие*». Взятые вместе и поставленные рядом, эти два слова необычайно выразительны и динамичны. Одно из них, «несоответствие», само по себе очень сильно. Оно трагично при всех случаях его применения. Вещи, друг другу не соответствующие, разрушают стиль в искусстве, ансамбль в архитектуре, гармонию в музыке, согласие в семье. Разрушительный смысл этого слова сперва — в реальном мире — может быть так глубоко запрятан, что его почти не заметишь сразу и можешь вначале принять за не имеющее значенья количество (quantité négligeable), ничтожную разницу, которую можно игнорировать. Но несоответствие имеет внутреннее свойство увеличиваться с годами, с течением времени, потому что каждая сторона растет в свою сторону, а с этим ростом в разные стороны возрастает и разница между ними и несоответствие их друг другу. И «возрастающее несоответствие», так неосторожно упомянутое кадетами,— необратимый процесс; в политике, как и в неудачном браке, он ведет к обнаженною полярностей, к их вскрытию, к беспомощности их преодоления методом сладкословия и примиренческих компромиссов. В данном случае — к беспомощности либерализма. И Ленин этими двумя словами — **возрастающее несоответствие** — назвал свою большую статью, направленную против «показного полевения» кадетской думской фракции.

Когда я сейчас, под углом зрения этой статьи, смотрю в свое далекое прошлое, я вижу и возрастающее несоответствие между отвлеченными идеалами русской интеллигенции и классовой направленностью ее поведения; несоответствие между тем, чему она десятилетиями учила молодежь, критикуя и ненавидя страшную действительность царизма, и ее выступлением как общественной силы, в ее поступках и чувствах тех лет. Спустя три-четыре года

[7] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 22, с. 370. Здесь и дальше — статья «Возрастающее несоответствие», напечатанная весной 1913 года в № 3 и 4 журнала «Просвещение». Слово «беспомощностью» выделено Лениным.

это растущее несоответствие, в сетях которого оказались и некоторые русские писатели, благородные и прекраснодушные, не понявшие и не принявшие перевернутой в будущее страницы истории, и это несоответствие выросло в саботаж и побеги.

Амиров, наш с Линой приятель, был, конечно, прав, назвав мой метнеровский период жизни аполитичным. Я и сама сейчас называю его таким. Но, как показало время, скрытый от меня путь мой в будущее сделался гораздо политичнее, чем путь жизни меньшевика Амирова. Потому что даже в тихой заводи поисков формулы каждого своего впечатленья, в скрупулезных доискиваниях до точности своего, в то время идеалистического мышленья, в схватке с еще не понятой во всей ее глубине темой моей магистерской диссертации я была неведомо для себя самой отчаянной максималисткой, а когда пришло для меня время коснуться политики, оказалась ярым врагом психологии меньшевизма. И еще не будучи социал-демократкой, *стала большевичкой*.

4

Итак, в борьбе своей с Николаем Дмитриевичем за новую тему для диссертации мне понадобилась подмога в лице студента, приехавшего из Гейдельберга. Амиров на мою просьбу отозвался сразу и привел его в назначенный час на лестничную площадку наших Курсов. И вот мы сидим на подоконнике втроем, я в середине между ними двумя, и я разглядываю сбоку гейдельбергского студента. От него у меня остался в памяти его острый профиль с крепким, безбородым подбородком, и клочок бумаги с адресом. Fahrgasse, 13. Frau Barth.

— Почему вы сразу отказываетесь? — спросил мой сосед.— Ведь необязательно вам разделить взгляды этого философа. Гораздо легче для магистерской работы взять их под обстрел, рассмотреть критически. Тем более, вы говорите, он или его работы попали в список порочных с точки зрения Ватикана — это сразу поможет в дружеском содействии профессора Трёльча, теолога. Да и весь наш университет, имейте в виду, переполнен богословами. Сам я медик. А город Гейдельберг занятный, могу дать вам адрес семейства, где я лично жил вначале. Дешево, но не кормят, дают только утренний завтрак.— И он написал мне на бумажке адрес фрау Барт на Фаргассе, добавив, что там сдается несколько комнат, сами хозяева ютятся в кухне, а в комнатах сплошь студенты из России.— Если вам нужна дешевка, дешевле не найдете. Вообще-то в Гейдельберге дорого, дороже, чем в Лейпциге или Фрейбурге.

Таким был весь разговор минут на десять. Он ушел, а я поднялась наверх к моему профессору для окончательного решенья. И пока поднималась, меня захватила идея выступить с критикой, разнести Фрошаммера как последнего системотворца, в его лице раскритиковать вообще создание систем как уже отжившее свое время. Что системы отжили и философы начали углубляться в от-

дельные вопросы гносеологии, в абстрактные разделы Кантовых «Критик», было в самом воздухе тех лет. Такие неокантианцы, как Хуссерль, Риккерт, Коген, приезжали в Москву, выступали с лекциями. Совсем недавние мои друзья, «собеседники в письмах», как Андрей Белый, утопали в туманной антропософии Рудольфа Штейнера, студенты увлекались молодым Чижевским и культом солнца, и огромная власть надо мной такого кантианца, как Эмилий Метнер, укрепляемая ежедневными письмами из комнаты в комнату, разговорами за столом Метнеров, скрепляемая противоречиями всех наших с ним взглядов, как скрепляются металлические зубцы связью своих вогнутостей с выпуклостями (об этом подробней потом),— вся эта духовная атмосфера, окружавшая меня, казалось бы, расщепляла круглые, замкнутые в себе идеалистические системы классических философов, которых мы изучали на Курсах. Николай Дмитриевич Виноградов был юмист, так он сам говорил о себе. Кроткий, как Юм, по характеру, критицист и скептик, как Юм, в философии — он должен поддержать мою мысль — дать на Фрошаммере сражение всякому системотворчеству! Но я ошиблась.

Выслушав мою тираду, охваченную жаром ее мгновенного возникновенья тут же на лестнице, на пути к его кабинету, он поморщился. Он напомнил мне, как на первом курсе я увлекалась аббатом Галиани и вывесила у себя над столом цитату из его книги «Беседы о торговле зерном».

— Вы делаете ту самую ошибку, против которой остерегал вас Галиани, помните? «Люди делают всегда одну и ту же ошибку — преждевременное обобщение». Книг Фрошаммера еще не читали, философию его знаете только по заглавию и сразу — система! А может быть, она совсем не система, может быть, это богословский трактат с еретическим уклоном или подражание Локку во взгляде на роль чувств, воображения, эмпирического восприятия и так далее. Хотите вступить на путь ученого — и сразу прыгаете к выводу, ничего еще не исследовав. Я, конечно, могу предложить вам другую работу — развить, например, дипломную работу критики Баадером гносеологии Канта, сейчас Баадером начали увлекаться. Но вы сами впоследствии пожалеете о потраченном зря времени. Путь ученого — не минутные увлеченья, под влиянием которых стихи пишут. Для ученого тема его работы — это его жизнь. Не сел за стол по часам, а потом закурил, гулять вышел, в кино — совсем другим человеком, с другими интересами на уме. А встал с работы — и ушел в работу. Она с ним на прогулке, за едой, во сне. Содержание жизни.

Он говорил, как всегда, спокойным, мягким голосом, но совсем неожиданно для меня с такой лирической окраской пути ученого. И вдруг опять спросил меня:

— А почему у вас с курсом по биологии не получилось? Не интересует естествознание?

Я вспомнила, как увлекал нас в гимназии Слудский уроками естествознания. Подумала — почему? И сразу вспомнила, как захватывал нас Слудский проблематикой биологии, как держал в

курсе новых научных достижений, передавал нам почти драматически, с мимикой, с интонацией о больших диспутах, и всегда можно было видеть, на чьей он сам стороне, и, главное, мы сами сразу в этих спорах ученых становились на сторону Слудского, рядом с ним. Может быть, он не всегда был прав. Но он понимал свой предмет в его развитии, видел возникавшие проблемы, всегда сам с головой уходил в них — он любил свою науку. Тот, кто читал нам на Курсах усталым голосом лекции по биологии, обходил научные споры. Он не касался проблем. По учебнику нудные млекопитающие, позвоночные, расчленение на органы, описание классов, видов, усталое изложение дарвинизма, а какой восторг таился для читателя в дарвинском «Путешествии на корабле «Бигль»! В сущности, я посвоему всегда любила предмет, так широко названный в средних школах естествознанием. Сухо, беспроблемно читал нам лектор на Курсах, ответила я Николаю Дмитриевичу, никакой нити он не протянул к философии, никакой связи...

— А для русской философии естествознание было фундаментом,— задумчиво продолжал Николай Дмитриевич.— Герцен, Огарев были в университете естественниками, наши крупные врачи, биологи всегда отличались своим философским уклоном, возьмите Сеченова, Мечникова. Любопытно, что нынешняя теософия, антропософия, все эти Блаватские, Штейнеры, все они кокетничают с природой, со всякими химическими опытами, с микроскопами. Советую вам перед отъездом в Гейдельберг серьезно заняться естествознанием.

Вопрос решился сам собой, без всякой борьбы и спора. Я не знаю Фрошаммера, но уже люблю его. Люблю за то, что он сразу требует работы, за то, что, как в романе, мы с ним не сразу и не равнодушно, а в сопротивлении, в расхождениях решили взять друг друга за руку. Все эти страницы, боюсь, малоинтересны для читателя. Но я хочу подробно рассказать, как мое поколение приступало к диссертации. Десятки лет спустя, сидя в большой столичной библиотеке, я наблюдала такую картину: сидит юноша, смотрит в переплетенную не то рукопись, не то гектографированную брошюру, смотрит и что-то оттуда переписывает в свою тетрадку. Потом взял полистал такую же рукопись — и снова переписка. Оказывается, рукописи уже защищенных кандидатских диссертаций выдаются в библиотеке и будущий диссертант на ту же тему широко списывает чужие мысли — в свои, как ленивые школьники смахивают сочинение у соседа, умеючи изменяя его. Значит, этот юноша не хочет мыслить самостоятельно, не очень заинтересован в своей теме и она далеко не жизнь для него.

Таким же способом большое количество студентов сейчас пробивается к степени кандидата! И на кандидате останавливается, не собираясь идти в науке дальше. Кандидатским дипломом обеспечивают себе повышенную зарплату, повышенную пенсию. Как непохоже это на наш путь в науку! Мы не «пробивались» — нас оставляли, если в высшей школе мы обнаруживали научные данные, обещавшие дать пользу науке, продвижение в ней. И я совершенно не

припомню, была ли у нас материальная выгода, кроме стипендии, но мне, например, никакой стипендии не полагалось, я была курсисткой. И, помнится, единственной, кому мой профессор предложил остаться.

Здесь я должна немного перестроить хронологию своих воспоминаний. Полгода жизни за рубежом, с половины 1914-го и до начала 1915-го, лежат как бы твердым материком или скалистым островом в океане последующих лет, 1915—1917-го. Именно в эти годы я начала всерьез заниматься своей диссертацией, читать, делать эксперименты, думать, а попутно в это же время шла, пока не оборвалась, линия дружбы с Рахманиновым, выделенная в прошлой главе; шла и агонизировала, пока не оборвалась, трудная дружба-самоотдача с демонически вошедшим в мою жизнь, враждебным всем моим взглядам и верованьям Эмилием Карловичем Метнером; нарастала и укреплялась простая человеческая дружба-любовь с будущим моим мужем Яковом Самсоновичем Хачатрянцем (закончившаяся свадьбой 25 мая 1917 года в Нахичевани-на-Дону). А физически — я непрерывно ездила из Москвы в Нахичевань и обратно, живя то у мамы, то у Метнеров, перетягиваясь все больше и больше на юг России, к матери. Ростовское музыкальное училище Авьерино, постепенно превращавшееся в Донскую консерваторию, пригласило меня лектором. И я начала преподавать в нем (по возвращении из-за границы) введение в эстетику и историю искусств.

Вместе с Линой проводили мы лето в маленьком тирольском городке Штейнахе-ам-Бреннер, в Теберде, на даче и в имении двух теток в Геленджике и Енакиеве... В эти «смутные годы» главным и очень тревожным состоянием моим было ожидание, странное ожидание (греки назвали бы его своим словом, бывшим у нас, философов, в ходу,— «эсхатологией», ожиданием-предчувствием) чего-то такого, что наступало за совершавшимися вещами, за исторической действительностью. В эти именно годы (1915—1916) я написала первый большой роман «Своя судьба». Писала его в Теберде, но мысль о нем зародилась в Штейнахе. Лина рассказывала мне на ночь в дождливые тирольские вечера по кусочкам «страшный» рассказ о «мистере Блэйке», выдумывавшийся ею от вечера к вечеру, и зернышко этого Лининого мистера Блэйка проросло у меня в моем романе...

А в реальной действительности шла война. Реальная война. И тоже странная. Воспринималась она теми, кто был задет ею не непосредственно, как нечто отдаленное, оставлявшее их в полной личной безопасности, с каким-то чувством «отстранения», подобным чаепитию с блюдечка, когда на кипящий чай и дуть не приходится: он сразу остывает. Там где-то, на далекой окраине, клокотал кипяток войны, а тут, у себя дома, был безопасный, «охлажденный» тыл. Самый характер тогдашних «средств уничтожения» был безопасен для внутренней жизни страны: не было могучих дальнобойных орудий, не падали бомбы с неба, не переваливались по земле чудовища танки. Не родилась надобность маскировать

дома, затемнять свет в окнах, дежурить на крышах, строить под землей бомбоубежища... «Солдатикам», ходившим в гнилых сапогах и мундирах, нуждавшимся в патронах и ружьях, гибнувшим в Мазурских болотах, отданным на воровство и грабеж интендантов, на ошибки, а кое-где и невежество командования, шли из тыла посылки. Теплые носки, перчатки теплые, сердечные письма, курево (каждый курящий откладывал одну из десяти папирос — для фронта)... А жизнь в безопасном тылу продолжалась как прежде — залитые огнем театры, топот копыт по тогдашним булыжным мостовым, поток пешеходов на тротуарах, огни фонарей, огни в окнах. И только в провинциях — поближе к фронту — беженцы, беженцы, причинявшие лишние хлопоты и беспокойство городским управлениям и домовладельцам... Из всего этого многообразия годов — 1915, 1916, 1917,— о которых более подробно будет рассказано в следующей главе, я пока коснусь всего одной линии, казалось бы наименее важной,— диссертации и работы над ней после возвращения из Гейдельберга в Россию. А потом вернусь в Гейдельберг, во вторую половину года 1914-го...

Покинув кабинет моего профессора, я сразу почувствовала огромное облегчение, как от снятой с плеч тяжести: решено! Еду в Гейдельберг, принимаю Фрошаммера! Еду в неведомый путь мышленья, в незнакомый город, в работу над темой, с которой, как в старину люди говорили о заключаемом с завязанными глазами браке, стерпится — слюбится. Но сперва надо было решить целую кучу мелких задач: оформиться, собрать деньги, починить платье и башмаки, выписать из Германии книгу Фрошаммера — все это было легко, не требовало времени. Но самое главное, и это как раз было трудно, надо было заняться естествознанием. Я понимала, почему Николай Дмитриевич, начав со слова «биология», закончил словом «естествознание»,— он как бы подчеркнул более широкий объем второго слова: оно охватывало не один органический, но и мертвый мир неорганического, науки геологию, химию, минералогию. Ведь у Фрошаммера способностью «фантазии» как главным принципом деятельности всей Вселенной должен обладать не только субъект, но и объект. Ну а чтоб понять, как может природа (объект) фантазировать, надо серьезно приняться за изучение этого объекта, и уж если на то пошло, начну с камня, самого мертвого материала природы. И с разбора, что понимает Фрошаммер под фантазией. Чем фантазирует человек? Ведь не разумом? Если разумом, то как? И чем может фантазировать камень? И что такое это «что»? Присуще ли оно только антропосу? Только сознающему себя субъекту? Или это просто новый теологический выверт у Фрошаммера, чтоб протащить в философию теурга, творца? Ведь слово «творец» чаще лепится к богу, чем «отец» и «господь»...

В Москве в те годы, кроме Государственного, был еще Университет имени Шанявского, отчасти соответствующий нашим советским народным университетам. Но он был платный, записываться можно было на любой курс любых лекций. Прав он по окончании не давал, но мог дать хорошее общее образование тем, кто пра-

вильно выбирал себе целый комплекс предметов, аккуратно ходил на лекции и записывал, консультировал, запоминал услышанное. Я прошла в канцелярию Университета Шанявского. Все возрасты — от стариков до мальчишек. Впрочем, больше зрелых людей и не как у нас на женских, а обоего пола. И воздух особенный: чем-то жадным, любознательным веяло от людей. В программах два предмета захватили меня: минералогия и кристаллография. Я записалась на оба курса, оба курса читал один и тот же ученый, Георгий (Юрий) Викторович Вульф. И тут оказалось, что в метиеровских кругах хорошо знают Вульфа. Мне посоветовали сходить к нему на дом, поговорить, объяснить, почему, закончив философский факультет, я потянулась вдруг в область камня. Дали адрес — Вульф проживал в не совсем обыкновенном доме князя Щербатова (если не ошибаюсь). Дом этот находился — и сейчас стоит — на Новинском бульваре, сочетая в своих двух боковых фасадах и центре нечто вроде старого помещичьего особняка по архитектуре с очень удобным многоквартирным, рентабельным для хозяина «вложением капитала». Среди съемщиков в одной из квартир этого дома было и семейство Вульфа.

Я не зря пишу так подробно о простом московском здании на обыкновенном московском бульваре. Фантазия не фантазия, но если проживешь, как я, очень долгую жизнь, чувствуешь себя в руках множества совпадений, мешающих фактам и событиям чересчур расходиться друг от друга в пустоту и гаснуть в одиночку без продолжения. У меня самые разные факты оказываются сцепленными, словно жизнь мою пишет драматург, ограниченный законами сцены: определенным количеством действующих лиц (чтобы не исчезали, как в песне «искры гаснут на лету»), определенным числом сюжетных витков (чтоб не разбежались в черноту космоса без окончанья) и определенным количеством декораций, чтоб не превратить меня в вечного странника. Сидя в самом начале семнадцатого года в кабинете у Юрия Викторовича, я не думала, что через полтора года буду «под белыми» на курорте в Анапе сидеть на террасе у соседа по даче, вице-президента Петербургской Академии художеств, знаменитого архитектора, который строил этот самый дом, и будет он мне про него рассказывать:

— Князь сделал почти невыполнимое предложенье. Он хотел, чтоб я построил для него в Москве нечто вроде его дворянского поместья, английский Manor, но чтоб этот Manor давал ему доход, большой доход,— сразу окупить затраты и складывать дальнейшее в банк. Я хотел было отказаться, но меня увлекла сложность задачи. Кроме того, вы понимаете, времена были уже не те, как писалось в журналах. Деревня разоряется, доходов князю с нее нет, семья его тянется «в Москву, в Москву», как чеховские три сестры, а на сердце, в мыслях — родовое имение, въезд для карет, фасады, лестницы, лепка, русская ширь... даже ball room, зал для балов. Я засел. Сперва рисовал перед собой в воображении. Потом на бумаге. Получилось. Будете в Москве — обязательно сходите посмотрите, если не разрушили большевики...

А я раньше уже была и посмотрела. И я уже была «большевичкой», не будучи социал-демократкой. Знаменитый архитектор не прижился у белых, он уехал с семьей в Иран (мы тогда говорили — в Персию) и оттуда прислал мне отчаянное письмо на многих страницах. Он писал, что погибает в Персии, где никто ничего не строит. Строили древние — не наглядеться, а сейчас уличная пыль, нищета, грязь, нет заказов. Камня, камня, строительного материала,— тоскуют по нему руки, мертвеет без него мозг: архитектор, поймите вы, должен строить, не может не строить, рожден, чтобы строить... Когда это отчаянное письмо дошло до меня, у нас бурно начинала строиться молодая советская республика Армения, пять лет протекло после нашей беседы в Анапе... И я понесла письмо знаменитого архитектора другу моего мужа, председателю Совнаркома Армении Саркису Лукашину, а тот выписал тоскующего зодчего в Армению, к туфу, к базальту, к мраморам. И тот, кто стал позднее народным архитектором Армении, Александр Иванович Таманян, фактически сделался главным строителем, планировщиком родной ему армянской земли, забыв, кстати сказать, до самой своей смерти построить себе самому и своей семье сносное комфортабельное жилище...

Но я возвращаюсь назад, в кабинет Вульфа. Мы договариваемся о посещении его лекций, он рекомендовал мне свою книжку о симметрии, подарил книжку братьев Браггов о кристаллах, переведенную с английского. Совершенно неожиданно для меня в мою сухую «гуманитарную» атмосферу входит новый, очень плохо знаемый элемент природы.

Дневники переполнены коротенькими записями о лекциях Вульфа, о пленительных шлифах разных минералов, показанных нам, слушательницам, в микроскоп. Линии и краски этих разрезов камня, темные при свете дня, когда берешь в руки их немые пластинки, внезапно вспыхивают под стеклом микроскопа райской небесной жизнью. Во время Отечественной войны, помню, я собирала на Урале орскую яшму и отдавала полировать (за свой хлебный паек). Меня поразило тогда удивительное сходство красок и линий яшмы с красками и линиями неба над Орском. Так же было и в горах Лори, когда писалась моя «Гидроцентраль»: я нашла фиолетово-голубой агат, обрамленный узорами белого кварца, словно застывшего в нем кусочка кружев. Подняв голову, можно было увидеть фиолетово-голубое небо над горным Лори, словно прошитое белоснежными перышками кружевных облаков. Конечно, это совпадение — небо, отраженное в блестящей поверхности камня как в глянце воды, но я постоянно ищу теперь это странное сродство между небом и камнем в любой местности, где есть они.

Смотреть на лекциях Вульфа шлифы под микроскопом стало одним из больших моих наслаждений, равным посещению хорошего концерта. Но до шлифов мы прошли на лекциях курс оптики, устройство микроскопа, решали разные задачки. В дневниках есть такая запись от воскресенья 7 февраля 1916 года: «Утром в университете нынче было страшно интересно; решали две задачи, одна из

них досталась мне (определить показатель преломления у лучей обыкновенного и необыкновенного). Начинаю больше смекать в предмете». На следующий день, 8 февраля: «Вечером в университете лекция замечательно интересна. Вульф дал мне свой курс кристаллографии». А еще через неделю (понедельник, 15 февраля) запись показывает, что мы с Вульфом вышли из рамок официального общения учителя и ученицы, а стали чем-то вроде «хороших знакомых из одного круга общества»: «На лекции Вульфа, где показывались шлифы горных пород на экране. Зрелище упоительное, напоминает снящиеся пейзажи. Потом с Вульфом поехала на концерт Кусевицкого. Коля играл необыкновенно, хотя, кажется, слабее, чем вчера; с концерта все вместе вернулись в карете».

Переход от минералогии к кристаллографии совпал у меня с более длительным отъездом из Москвы в Нахичевань-на-Дону. И тут Вульф, не желая отрывать меня надолго от занятий, предложил необычайное дело в виде урока или «семинара»: самой, самостоятельно вырастить настоящий кристалл! Не только вырастить, но терпеливо наблюдать за его ростом, за отклонениями, какие будут, и если будут, описывать их ему в письмах и, если удастся, сопровождать их собственными рисунками. А сам твердо обещал отвечать на письма, давать советы, следить и помогать. Лечить мое детище, если надо. Он объяснил, что делать и как делать, и дал рецепты, чтобы купила в аптеке все необходимое для дела. Собственный кристалл! Его история тоже сохранилась у меня в дневниках.

Много раз уже в советские годы, даже в пожилом возрасте, я вдруг бросалась снова повторить рождение и воспитание кристаллика. С трудом покупала все по порядку, что записано у меня в дневнике. Вспоминала точную процедуру. И у меня ровно ничего не выходило. А тогда — вышло!

Вот история кристаллика. В аптеке мне понадобилась по рецептам Вульфа четверть фунта квасцов. Дистиллированная вода. Фильтровальная бумага. Воронка. Посудинка для выращивания кристаллов. Видимо, аптечным работникам все это было знакомо. Мне спокойно, по очереди доставали нужную деталь и, заворачивая ее в папиросную бумагу, одну за другой клали их на прилавок. Но я уже не помню, какое именно волшебство нужно было для зарождения того первого крохотного кристальчика, который как бы сыграл роль рассады растительного мира. У меня только записано, что сперва я создала раствор (не помню, в какой пропорции квасцов с водой): «Проделала все что требуется по письму Вульфа, но за две вещи боюсь: 1) раствор охладился и фильтровать пришлось чуть теплый, 2) не уверена, правильно ли соотношенье количества квасцов и воды». Это было в четверг, 17 ноября 1916 года. А на следующий день, в пятницу, 18-го: «Нынче вместо нескольких кристалликов на дне моего раствора оказалось их множество, и все — неправильной формы. Я все же решила продолжать опыт дальше и сейчас поставила в шкаф профильтрованный раствор с одним зародышем-кристалликом».

Вероятно, тут не сходился первый результат с указаниями Вульфа. Наверное, будь раствор правильной (нужной) насыщенности, зародышей-кристалликов было бы меньше и присущей им формы. Вместо выброски всего как первого блина комом я посеяла в тот же, но сызнова профильтрованный раствор один из полученных кристалликов неправильной формы. Что я думала тогда? В чем отступила от «пути ученого»? Мысленно сразу согрешила на этом пути, почувствовав свою лабораторную работу с неорганическим веществом сразу же как с чем-то живым, органическим. Для меня тут же родилась аналогия кристаллика с возникшим из посеянного семени в накормленную воду живым зародышем — р а с с а д о й растительного мира. В том живом мире сажают в ящики семена, всходит рассада — бледные стебельки-зародыши,— и каждый из них отдельно высаживают в большую мать землю. Мысли мои свернули с «пути ученого». И душевное состояние, должно быть, свернуло с него. Просыпанье поутру стало нервным и взволнованным; с постели босиком — к шкафу. А в шкафу...

«Суббота, 19 ноября, 1916. Мой кристаллик изменяется! В том месте, где у него были ранки и неправильности, появилось несколько маленьких граней». Представляю себе, как восторженно, в возрасте уже старой девы записала я эти строки в дневниках. Ощущение жизненности, органичности бытия моего крохотного каменного существа углубилось. Его деформации стали для меня «ранками», чем-то болезненным, патологическим. Написала ли я так Вульфу? Не помню и страшно жалею, что не сохранила его драгоценных ответных писем. Уже это не был лабораторный опыт, заданный «семинар». Это превращалось в нечто вроде «личной жизни». На следующий день:

«Воскресенье, 20 ноября... Кристаллик мой растет. Раньше он был таким (см. рис. 1). Теперь он уже выработал себе внизу пирамидку точь-в-точь такую, какая у него наверху, и стал таким (см. рис. 2). С небольшими скоплениями точек внутри и разрыхлением в серединном поясе. Он сам залечивает себе все дырочки. Ростом его заинтересовалась даже мама».

За три дня — только три дня человеческой жизни — зародилось какое-то неорганическое бытие и стало прямо на глазах видимо, ощущаемо изменяться. Как оно зародилось? Не по-человечески, то есть по-живому,— без акта оплодотворения. А почем я знаю? Был какой-то акт. Была чистая вода, дистиллированная, и был элемент или нечто химическое — квасцы. От их соединения, созданья раствора по очень точной пропорции, появился зародыш. А чтоб расти, он должен был питаться своей средой,— акт связи зародыша как семени с нужной ему средой. Ну чем не аналогия с органическим миром? Ведь есть же в ботанике бесполые зарождения...

Так я тогда раздумывала. И дальше у меня в дневниках все больше места уделялось чтению Фрошаммера — уже получила его книгу из Германии — по утрам, тотчас после визита (босиком) к заветному шкафу, где хранился стакан с растущим кристалликом.

А он рос! В пятницу, 25 ноября 1916 года я записываю: «В 4 часа мы с мамой пошлн в баню и попали в сущий ад по многолюдству; но так как ад этот был наполнен простыми людьми (большею частью прислугой), то и было в нем хорошо. Я все больше и больше люблю пребывать в коллективах простонародных, мне любо и трогательно видеть бедную одежонку, тесемочки вместо резинок, заштопанные ситцевые блузы, платочки, корявые руки, которые старательно приглаживают волосы, тоже какие-то обкусанные, мышиного цвета; замечательно, что волосы очень индивидульны, и я, например, всегда отличу волосы дамы и волосы горничной, даже прнтом независимо от прически. Простому люду тяжело живется, и он относится к жизни серьезно, рассудительно и общительно. Это прнчина (главная), по которой я люблю простых людей и люблю быть с ними. Я их вовсе не жалею н, наоборот, всегда радуюсь им и упрощаюсь. Дома почитала Эйхенвальда «Акустика и оптика».

Нынче кристаллик мой вырос, и особенно вырос у него нос; мама и Лина принимают в нем не меньшее участие, нежели я сама. точно это живое существо. Вот он уже какой (см. рис. 3)».

Запись о кристаллике идет после многих рассуждений. Я привожу их, потому что они важны для тогдашнего моего состояния. Читая их сейчас, чувствую раздраженье н какой-то душевный стыд за себя, за свою сентиментальную христианственность, за то, что сквозь образ «корявых рук» еще не пробилась велнкая ндея труда, отодвинутая наслажденьем от мышленья, светнвшая мне совсем недавно во всей ее яркости (пятая часть воспоминаний, Рахманинов, довоенные годы...). Даже злость вспыхнула у меня на внушительную букву «ять», с которой писалась тогда «бедность»,— хорошо, что бедность стала лишь слабой тенью, лишь отсветом ее бывшего значенья в нашей новой, советской орфографии, когда мы пишем ее через букву «е». Но кристаллик вытянул книзу свой нос, «опустил нос на квинту», как сказала кузина-скрипачка.

Дальше — больше. В среду, 30 ноября 1916 года: «Кристаллик приобрел по нглам новые грани и очень вырос».

— Кристаллик начал фантазировать! — с триумфом объявнла я Лине, на что она спокойно ответила (у нее был свой, установившийся взгляд на Фрошаммера):

— Вздор! Опять какое-нибудь нарушение необходимого соответствня квасцов н воды в растворе. Вода ведь испаряется. Раствор густеет. Вот тебе н начало деформацнн.

Но я упорно не хотела трогать раствор. Я решила сама сфантазировать н нарушить предпнсанные мне Вульфом указания. Что будет, если? И взяв крохотный старый зародыш кристаллика из сохранившнхся у меня в прежнем растворе, положила его (зажмурив глаза, чтоб не видеть собственного своеволия и чтоб вина пала с плеч субъекта на плечи самого объекта) в раствор, рядом с моим заболевшим детищем. И вот что сделалось с заболевшим через несколько дней, в воскресенье, 4 декабря: «Нынче мой кристаллнк вдруг обтянулся глубоким желобом. Может быть, это оттого, что

я подложила в раствор маленького, не дав большому окончательно вырасти? Вот он теперь какой:

30 ноября 1916 (см. рис. 4); положила в раствор тогда же (см. рис. 1); и вот что сделалось в воскресенье, 4 декабря (см. рис. 5)».

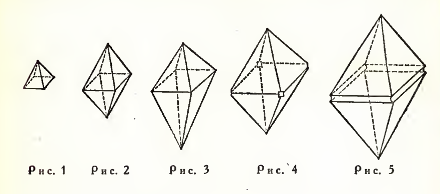


Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

Что было дальше? Мне пришлось опять профильтровать раствор и сделать новый, более точный. В профильтрованный положила большой мой кристалл, и он тотчас начал залечивать свой желобок, наращивать в нем вещество, пока не пополнел и не сделался вполне нормальным на вид. В новом растворе стала растить маленького, и раствор, видимо, оказался точным — маленький начал расти тоже нормально. На этом, судя по дневнику, прекратилась моя лабораторная работа по Фрошаммеру. События к концу 1916 и началу 1917 года настолько усложнились, что и Фрошаммер и моя магистерская опять отодвинулись от меня, забылись мной на долгие, долгие годы, больше чем на полвека. Но конец, не записанный в дневник, я помню и приведу его для читателя. В те дни, когда еще рос мой кристалл, сам себя исцеляя в профильтрованном растворе, я в дневнике как бы бросила случайную или попутную фразу, в которой сейчас увидела огромнейший смысл: «Мысль отдыхает, когда ей дана работа». Мысль в ее ритмическом, плавном развитии была воистину о т д ы х о м для меня всю последующую жизнь. Страсть к формулировкам, к окончанию определения перешла в страсть мышления (ритм бесконечного пути познания), или по Гегелю, мое состояние Schluss'а сменилось глаголом «werden»: окончательное определенье, приход к концу смысла — счастливым нескончаемым состояньем становления. И совершился этот переход, мне кажется, в долгом разговоре с Линой у шкафа, где в темном углу стоял раствор с растущим кристаллом.

Выписанный мной из тогдашней Германии большой том главной работы Фрошаммера выглядел очень невзрачно, словно изданный самим автором «по бедности» или сочувствующим издателем: бумага серая, ломкая, вроде оберточной, обложка из такой же бумаги, только выкрашенной в тусклый светло-зеленый цвет, сбро-

шюрованная книга на гнилую нитку — листы рассыпаются при чтении. На обложке стоит:

Jakob Frohschammer
Die Phantasie als Grundprincip
des Weltprocesses
München
Theodor Ackermann
1877

А к имени автора, Якоба Фрошаммера, прибавлено: Professor der Philosophie in München.

Итак, он читал лекции по философии в Мюнхенском университете.

— И не только это. Обложка дает еще одну информацию, по-моему архиважную,— сказала Лина, держа эту книгу в руках.— Не выбери я историю, а стань философичкой, я выбрала бы эту тему для магистерской диссертации именно за эту обложку!

— Не выдумывай,— неуверенно ответила я,— не говори чепухи. Что за шутки в серьезном вопросе!

Но Лина не умела шутить в серьезных вопросах, и я это знала. Мне было любопытно, какую такую информацию выудила она из этой ничтожной и, мне казалось, на медяки изданной обложки. А Лина продолжала водить меня за нос:

— Будь я Шерлоком Холмсом, наизусть знающим всю историю философии, я бы прежде всего...— Она помолчала.

Никакой «истории философии» Лина знать не знала. Чтоб быть в кругу моих интересов, всегда быть со мной, она прочитала в Энциклопедическом словаре по буквам фамилий несколько статей о самых крупных философах разных времен и утверждала, что Брокгауз и Ефрон лучше всякого университета и всех профессоров в мире, кроме, конечно, Дмитрия Моисеевича Петрушевского и средневекового землепользования. Помолчав, она сказала:

— Что ты тут видишь в названии?

— Брехню последнего системотворца,— со злостью ответила я, вспомнив ее последнее чтение Брокгауза на букву «Ш» (Шопенгауэр).

Но Лина с упорством, за которое все мои друзья звали ее Кременьлиной, не обижаясь и не обращая на меня внимания, внезапно сказала нечто удивительное. Она сказала:

— Тут ни о какой системе речи нет. Системотворцы, позволь тебе сказать, выбирали для своих заглавий имена существительные, кругло, закругляясь в работе, например Шопенгауэр. («Ага,— ввернула я,— Шопенгауэр!») Мир как воля и так далее, Кант — критика и так далее, Фихте — «Наукоучение», Гегель — «Наука логики», а уж древние ставили в свои системы бог знает что. Силы природы как основы систем. Ну теперь взгляни, пожалуйста, на это название — похоже оно на другие философии, что именно ставит оно... нет, не так... во что именно ставит оно «фантазию» свою, в какую систему, в какое имя существительное?

Я тотчас при всей своей снисходительности к Лининому Брокгаузу почувствовала в ее простой речи глубокий смысл. Отсутствне онтологического начала в заглавии Фрошаммера! Разрыв связи с метафизическим целым, странное, непривычное у классиков идеалистической философии слово, пахнущее чем-то житейским, натуральным, дарвинистским, материалистическим, естественнонаучным и даже, черт его возьми, историческим, слово «мировой процесс» — не мир как готовое, не онтологический мир, а п р о ц е с с его! Да, это было ново у Фрошаммера. Это несколько ослабляло даже смехотворное участие фантазии в мировом процессе. Это заставляло думать о фантазии как о свойстве, как о качестве...

— Лина, ты абсолютная дуся.

Так закончился наш разговор. Он происходил за год до окончания войны, меньше чем за год. И он имел очень большие последствия, поскольку заставил меня по-новому взглянуть на свою магистерскую и отозваться на нее спустя шестьдесят два года, когда я вдруг захотела совсем по-иному, учтя прожитую долгую жизнь и опыт постоянного самонаблюдения, взглянуть и прочитать наконец всего бедного, старого, неизвестного Якоба Фрошаммера.

5

Но сейчас мы с читателем вернемся несколько назад, в июнь 1914 года, когда еще и во сне не видать войны, все кажется мне спокойным и вековечным, кроме себя самой, собирающей деньги, покупающей заграничный паспорт, суетящейся, выуживающей откуда можно сведения о Гейдельберге, еще пишущей этот город с буквы «Г» и воспринимающей его по-московски, по-русски — городом мужского рода. Читатель заметил, может быть, значение у городов, у слагающегося их образа в вашем понимании, какого пола их названье, мужского или женского, словно «пол» их названия становится «полом» самого города, характером его, качеством, особенностями. Можно ли забывать Москву в ее ж е н с к о м роде — Москву-матушку? Можно ли представить себе строгий и стройный Петербург городом материнского, женственного облика, его проблематику, судьбу, влияние, вхождение в историю ж е н с к и м началом, хотя он сразу же передается вам в мужском облике?

Гейдельберг, когда я собиралась в него, казался мне со своим университетом и твердым знаком на конце, как мы тогда писали в окончаниях мужского рода, серьезным местом жительства будущей эпохи моей жизни, по сравнению, скажем, с веселою Веной, которую я уже тогда знала, или даже с Парижем, очень терпимым и толерантным, с кем можно ужиться самым разным характерам с разными целями, но отпечаток на общем его содержании будет всетаки мужской. И вот распрощавшись с прошлым, послав Лине (Линухе) отчаянную прощальную телеграмму с обещаньем писать

ежедневно «регламентации», засунув в чемодан все свои блокноты и конспекты, а на шею повесив мешочек с двумя нашими царскими сотнями, которые придется мне потом разменивать в последней немецкой таможне на швейцарские марки, я купила поздно вечером на берлинском вокзале во время коротенькой пересадки первый немецкий путеводитель по Гейдельбергу. И — боже мой! — я узнала, что Гейдельберг — это она. Она! В немецкой песне про нее поется:

Alt-Heidelberg, du feine!

Не только она, но вдобавок старая. И не только старая, а еще и тонкая (изящная, утонченная).

Все представления мои об этом городе были перевернуты за несколько часов до первого знакомства с ней, со старухой Хейдельберг, в теплую июльскую ночь. Отныне большая немецкая буква «Х» должна была заменить милое и привычное русское «Г». Не знаю почему — пусть думают об этом нынешние парапсихологи — приход старой Хейдельберг на место знакомого Гейдельберга страшно повлиял на меня. Но тут примешалось и нечто другое. Перед моим отъездом семейство Метнеров уехало за границу. Эмилий Метнер в Дрезден, Анюта с Колей на курорт в Бельгию. Знакомая им семья сдала мне комнату по соседству в большой благоустроенной квартире, где, кроме меня, жила какая-то странная женщина средних лет, необыкновенно ко мне внимательная. Она была некрасива. Особенно портила ее кожа лица, угреватая, серая, пахнувшая противным угристым запахом. Мне ее было жаль — в том приподнятом, восторженном состоянии, в каком я тогда находилась, мне всех людей было жалко и как-то стыдно, что вот я такая счастливая по сравнению с ними... А эта угристая, такая жалкая не переставала быть ко мне внимательной, расспрашивать о Метнерах, особенно об Эмилии, настойчиво отговаривать меня ехать в Германию. Один раз в ванной я потеряла свой мешочек с деньгами. Она принесла его мне, и я заметила, что он был надпорот и снова зашит, в нем ничего не пропало, и не хотелось об этом думать. Я остро жалела ее — бедняге, наверное, никогда за границу не выехать. И потом, выехав, сразу забыла и ее, и эту временную квартиру, и как она в ней очутилась.

Загораясь чем-нибудь интересным, ощущая себя на положении стрелы, уже полной трепета и напряженья на тетиве моей судьбы, я вообще ничего никогда не замечаю вокруг себя. В такие минуты во мне просто нет, словно их на свете нет, ни подозрительности, ни страха, ни «предчувствий», а есть только мгновенье пуска стрелы с тетивы... И вдруг в эту темную и безлунную ночь в переполненном немецком купе, пропитанном запахом чужого, не московского табака и чужой, не московской одежды, я вспомнила свою кратковременную московскую соседку. Перед глазами встало ее круглое, серое, угристое лицо, ее странный недвижный взгляд — и меня охватил ужас. Выйдя в коридор, я высунулась из раскрыто-

го окна. Поезд летел, задыхаясь угольным дымом, летела навстречу копоть, была темная ночь, но не совсем черная,— какая-то полосатая, бушующая ветром, ревущая, страшная, горячая, сухая... Так поезда теперь не ходят, мы не чувствуем их грязного дыханья, они движутся слаженно, комфортно, а тогда за границей, где полагалось быть чище и культурней, чем у нас, он летел, сотрясаясь и шарахаясь, словно лязгая ребрами, в гибель. Старая Хейдельберг бежала рядом по полосатому небу, это ее растрепанные космы били меня с ветром, навстречу несся крик колеса по шпалам: не надо — надо, не надо — надо, это не может быть, это не может быть...

Потом крик стал слабеть, вдали показалось сцепление огней, кто-то позади меня сказал по-немецки: «Хейдельберг, две минуты остановки». Значит, в ветре и копоти, в полосатой черноте ночи я проехала дивную местность, легендарные красоты Бадена и ничего этого не видела, засыпанная угольной пылью и охваченная угристым запахом копоти. Две минуты — ужас сменился у меня практическим страхом не успеть слезть. Я метнулась в купе за вещами, и еще шел поезд, едва сбавив свою скорость, колеса запели на стыках, переходя с колен на колею, спокойное «мы приближаемся, мы при-бли-жа-ем-ся», как я, высунувшись из окна, уже кричала далекому перрону: «Трегер, трегер!» (носильщик).

Несколько лет спустя какой-то журналист показал мне старый номер русской газеты с фельетоном, где упоминалось мое имя. В фельетоне драматически описана русская наивная поэтесса, ехавшая в купе, наполненном немецкими шпионами, прямо накануне войны, ничего не видя и не понимая, со своими «Гётами и Шиллерами» прямо в пушечное жерло вооруженной Германии, взывая в темную пустоту: «Носильщик, носильщик!» Все было фривольно и наврано, хотя я сама показалась себе похожей как две капли.

Конечно, все кончилось прозаически. На вокзале носильщик уважительно взял мои вещи, спросив при этом: «Studentin?» (студентка). Из темноты вынырнул очередной извозчик с фонариком возле своего сиденья. И я тронулась в путь, вдыхая воздух, дивный, чистый воздух сладковатой близкой реки. В ее волнах качались звезды, отраженные с неба, уже не полосатого. В городе все, казалось, спало. Первое освещенное заведение, похожее на подмосковную трехэтажную дачу, с треугольником чердачка наверху гостеприимно приняло меня и два моих чемодана. «Пансион для студентов»,— сказал извозчик, аккуратно вернув мне сдачу. И комната моя в эту первую ночь у старухи Хейдельберг оказалась наверху, как раз в треугольничке чердака. Я сразу легла и крепко заснула, а утром все вокруг было удивительно приятно. Окно прямо на пологую крышу, где рядышком стояли в горшках цветы. Возле них старый кувшинчик с водой и табличка: «Поливайте каждое утро». Кровать в пуховиках и одеяло — пуховик. Девочка лет четырнадцати, постучав, принесла мне теплую воду для мытья, а потом и завтрак. Все мне нравилось: июльское солнышко в окне, хотя в

путеводителе было сказано, что июль в Гейдельберге самый дождливый месяц, пахнувшие душистым мылом руки девочки, завтрак на подносе — два яичка, одно в деревянной рюмке стоймя, другое рядом, булочка, кружок масла, а на нем кружок льда и большое блюдце яблочного джема. Кофе пах морковью и цикорием, но расписной кувшин, в котором он исходил паром, блестел на солнце радугой. Я ела с удовольствием, ела и думала — настоящий натюрморт, фламандская картинка. (Nature morte — мертвая природа...)

Вместо дневника (еще в тот год не начатого) у меня перед глазами лежит моя книжка «Путешествие в Веймар». Написана она была по возвращении домой очень старательно, сразу же, по заграничным блокнотам, а пролежала всю войну неизданной и появилась в печати только после Октября. Все фактическое там и соответствует истине: июльский семестр студентов, пейзаж города, живописная река Неккар, замок на горе, отсутствие профессора Трёльча и мое решенье использовать «каникулы» — пойти пешком в гётеанское, вообще в германское, паломничество в Веймар — через город Лютера Вормс, через город рождения Гёте Франкфурт-на-Майне и, наконец, город расцвета классической германской культуры — Веймар. И все правильно описано, все сохранено в блокнотах — памятники, музеи, дома знаменитостей, собственные рассуждения по их поводу. Даже рюкзак, натиравший мне плечи, описан правильно, со всеми кармашками. И даже грушевые деревья с подпертыми палкой ветками от тяжести плодов по обе стороны Бергштрассе, знаменитой дорожной артерии Бадена, по которой я шла и по которой через несколько дней, грохоча, поползли пушки... Отдаю себе должное: обращала вниманье и на политику, списала с газеты первую, правильную и честную, прокламацию немецких социалистов против войны и позднейшее позорное шовинистическое отступление их.

Все так. Однако старый мой друг более позднего времени архитектор Андрей Андреевич Оль (которого семья моя спасла от белых у себя при отступлении деникинской армии из Ростова), прочитав эту книгу в рукописи, откровенно сказал:

— Не нравится. Вы, как школьница, хотите говорить умные вещи. И вы говорите их. Но знаете — они пахнут чем-то залежалым. Не в вашем духе, не в вашем стиле, не вашим языком.

Я на него обиделась. А сейчас, перечитывая, чувствую, как он прав. «Путешествие в Веймар» — точная книга, все в ней честно-аккуратно, стоит как стояло. И связано умными рассужденьями. Все так. Но... фламандская «мертвая натура». Правду, настоящую правду, не «умную», не от учености, а самую простую правду ощущенья, какую чувствуют, должно быть, звери, когда кучей поднимаются бежать от наступления еще невидимого, еще далекого наводненья, урагана или пожара, правду собственных нервных центров в теле я почему-то в этой умной книжке не передала.

Много лет спустя, во время второй мировой войны, Отечественной, мы познакомились и сдружились в эвакуации с замечательной женщиной, Ольгой Дмитриевной Форш. Она была не только яркой писательницей, красноречивой рассказчицей, тонким рисовальщиком, но и мистиком, с бурным темпераментом мистика, на мистицизм свой сама смотрела критически, сквозь очки недоверия, порицания, иногда устрашенности. Однажды вечером мы разговорились, и я ей передала свое странное «бесчувствие» во время путешествия в Веймар. Помню свои слова и ее ответы.

Мои слова:

— Знаете из Евангелия — Христос идет по воде. Это считают чудом, потому что этого не бывает в жизни, потому что человек не может идти по воде, он проваливается в воду. Но такое с людьми бывает, правда, по-другому, когда почва под ногами трясется, на каждом шагу опасность, смерть за плечами, страшные вещи — болезнь, удар, сумасшествие, молния, операция, словом, опасность рядом, и вы фактически в ней, но вы вдруг как будто в баллоне, в аквариуме, вы проходите сквозь нее, мимо нее, как будто перекочевав в четвертое измерение, словом — вы в безопасности. Полной безопасности. Это — как Христос прошел по воде.

Ее слова (но прежде об одной страничке ее биографии, малоизвестной: в Париже она брала уроки у знаменитого в то время оккультиста Папю́са. Она много мне рассказывала о нем, часто вырывалось у нее: «Что со мной этот про́клятый Папюс сделал!» Вырывалось иронически, полусерьезно, хотя лицо ее при этом темнело). Так вот ее слова:

— Вы очень точно сказали «в баллоне». Папюс нас учил, что человек должен уметь защищаться. Но все эти японские джиуджитсу и наши русские кулаки он презирал и над ними насмехался. Он обучал нас полному уходу сознания на высшую ступень, в недосягаемую изоляцию. Туда, где вы будете как бы проплывать мимо действительности, или, верней, действительность, как панорама в балете «Спящая красавица», будет проплывать мимо вас. Ничто и никто не сможет до вас физически дотронуться.

Мои слова:

— Каким образом он учил этому?

Ее слова (она понизила голос почти до шепота, я приблизила ухо к ее губам):

— Вы ложитесь на кушетку, вытянув ноги, над вами горит электрическая лампочка, но надо простую, без абажура. В комнате, кроме вас, тигр-людоед. Папюс вам говорит: «Повторяйте за мной, повторяйте все время, говорите из горла, сильно, но не повышая голоса, неотступно глядя на лампу: я выхожу из себя, я выхожу из себя, я вышла из себя, я вышла из себя, я иду в лампу, я иду в лампу, я лампа, я лампа». Так он приказывал проделывать часами, много раз в сутки, просыпаясь ночью, утром, в полдень, в сумерки. Потом вы всё быстрей уходили из себя, входили в лампу. Тигр перестал чувствовать человеческий запах, он вставал, мимо вас шел к

двери, выбирался из комнаты. Этот тигр, конечно, выдуманная точка, вроде выдуманной цели в тире. При любом тигре, любой опасности вы становились в н е, понимаете, в н е, вам уже ничто не угрожало.

Мои слова:

— Висела под потолком в лампе?

Ее слова:

— Да — в баллоне, на воде, в лампе. Были разные другие упражнения. Я говорю по опыту. Это очень вредно для здоровья. Многие нервно заболевали у Папюса. Я ушла от него.

Мои слова:

— Может, это вроде гипноза?

Ее слова:

— Нет, это другое. Гипноз — через сон. Это через с о з н а н и е, очень сильное обострение сознания...

Мне становилось страшно, когда я ее слушала. И всякий раз все кончалось ее смехом над собой и надо мной, превращением в шутку. Мы в то время были очень дружны, очень откровенны друг с другом. Жизнь в Свердловске, где родилась моя внучка Леночка, особенно в первый год войны, была так заполнена — по Гесиоду — «трудами и днями», что не до мистики было. Я работала пропагандистом и агитатором в «Правде», в Совинформбюро, писала во фронтовых газетах, чуть ли не ежедневно выступала в цехах, на полевых станах, у шахтеров — дышала чудным, чистым воздухом рабочего труда, общенья с рабочими,— и Ольга Дмитриевна говорила мне иногда, принося нам на блюдечке, повязанном носовым платком, что-нибудь вкусное, изготовленное ее собственными руками:

— Можете не бояться, вас ничто не возьмет, вы ушли дальше Папюса, вы в баллоне здорового мышления, широкого здорового мышления, мирового «здравого смысла».

А на мой день рождения подарила мне свой стихотворный экспромт, который я бережно храню в своем архиве:

МАРИЭТТЕ

В день рожденья, Мариэтта,
Вам за то я бью поклон,
Что дерзнули, как комета,
Озарить литнебосклон.
Своенравьем и талантом
Каждый Ваш отмечен шаг,
И в желанье быть Атлантом
Вы упрямы, как ишак.

Ольга Форш

Вот так далеко увели меня воспоминания — из Гейдельберга 1914-го в Свердловск 1942 года! Это было нужно, чтоб хотя при-

близительно объяснить читателю, а попутно и себе самой, странное, как в баллоне, ощущенье безопасности, с каким я прошла свои шесть месяцев по вулканической почве Европы, не испытывая ни на мгновенье страха и ни на йоту подозрения, что реальная опасность для меня существует. За несколько дней до объявления войны спокойно и медленно, совсем не торопясь, хотя жизнь ветром кричала мне в уши: скорей, скорей!! — шла я себе и писала свои «натюрморты» с культурных объектов, а жизнь кричала разными голосами: хозяев подозрительных трактиров, в которых приходилось ночевать: «Студентка, война будет!»; девушек франкфуртского «хоспица» (более комфортной ночевки): «У нас русские жили — вчера срочно выехали, опасаясь войны»; голосами прохожих: «Тут разных шпионов не перечесть — русских, французов»; голосами газет: «Бдительность, бдительность!» За день до объявления войны я еще была в Веймаре, и хозяйка тамошнего «хоспица» для одинноких девушек-христианок с выражением ужаса на лице «посоветовала» мне убраться немедленно. И «убираясь» до отхода поезда в Гейдельберг, я успела еще побывать в «Гёте-Шиллеровском архиве»...

Как спокойно, с высоты своего психологического «вне» описаны у меня ночь на вокзале в Вюрцбурге, где пришлось ночевать на полу в зале третьего класса, битком набитом немецкими солдатами, и на даровщину вместе с ними пить и есть из рук белокурых хорошеньких девушек, разносивших «всем, всем, всем» глиняные чашки со сладким кофе и корзины с большими кусками хлеба. Меня принимали за итальянку, а в те дни все газеты обходило уверенное и восторженное восклицанье: «Italien thut ihr Pflicht» — Италия выполнит свой долг... Италия молчала... а потом присоединилась к нашим союзникам. Я наблюдала в эти немецкие ночи из окон вагонов при бесчисленных пересадках, как шпалерами стояли юноши и девушки справа и слева от железной колеи, по которой медленно, по-змеиному, с какой-то торжественностью проползал наш поезд, испуская зазывные свистки. Вагоны его были набиты мобилизованными. В тот день, когда после очередной пересадки поезд подъехал наконец к гейдельбергскому перрону, Германия объявила войну России.

Я жила уже не на дорогом чердаке с окном на крышу. По совету московского медика я перебралась к фрау Барт на Фаргассе, в дешевом центре города, недалеко от университета, в узкую, почти голую (кроме фотографий) комнату, где до меня жил русский студент, срочно выехавший домой. Все русские жильцы фрау Барт срочно выехали. Какой-то гнилой запах стоял в коридоре. Из открытых дверей видны были стены опустелых комнат с надорванными кое-где обоями.

— Мейн гот, мейн гот,— бестолково повторяла моя хозяйка.

С четой Барт я успела подружиться и даже водила их как-то в ресторан, чтоб угостить. Она была высокая, седая, сгорбленная, с усами над губой и добрыми, мокрыми глазами. Он, ее муж, был

маленький, веселый, в очках, которые часто снимал и вытирал, потому что от его постоянных шуток глаза его тоже мокрели. На первое я заказала в ресторане суп и хлеб (не всегда подававшийся без заказа). Суп они съели. Медленно, почти с благоговеием, иагибая тарелки, до последних капель. Но второе — свиные котлеты с картофелем,— озираясь по сторонам и посылая мне виноватые улыбки, быстро упихнули в принесенные ими бумажные мешочки — на ужин, а может, на завтрашний обед. Я только тогда заметила, как бедны их лучшие платья, как огрубели от работы их руки и как — до жалости — они боятся самой жизни, ее завтрашнего дня, будущего...

Старики Барт встретили меня перепуганные. Заходили к ним из «полице́й», осведомлялись о русских, «о вас».

— Я сказал,— Барт сиял и протер мокрые очки,— что моя жилица очень верующая, говорила со мной много раз о боге и Христе. Знает Библию. Завтра они сами придут говорить с вами.

И на следующий день немецкая полиция отправила меня с сопроводительным документом в Баден-Баден. Прекрасный курорт, славный климатом, музыкой, природой, лечебными заведениями, был превращен в огромный лагерь для интернированных. Как сравнить обе атмосферы этих двух войн, начатых немцами? Выше я написала, как гибли наши солдатики, обворованные нашими интендантами, и о том, как немецкая молодежь стояла шпалерами... Но и пребывая в своем затуманенном «вне», я тогда четко видела, что экзальтированно, скорей искусственно вела себя женская половина немецкой молодежи — девушки. А солдаты, спавшие на полу в Вюрцбурге, казались мне озабоченными. Они были тихи. Один из них, уступивший мне лавку, как-то очень застенчиво, перед тем как лечь на полу, неожиданно спросил у меня: «Как вы думаете, бог за войну?» Я, помню, глупо ответила: «Не знаю»...

Нас расселили в Баден-Бадене по пансионам с трехразовым питанием — русских застряло тогда в Германии, по слухам, около сорока тысяч,— и мы попросту жили себе, жили, ежедневно прописываясь в участках, три раза садясь за стол, гуляя в парке и слушая музыку. Еще до своего паломничества в Веймар я знала, что младшая наша тетя, тетя Саня, с двумя своими детьми и племянницей, прихватив с собой как учительницу для детей мою Лину, находится в Швейцарии. И рвалась из Бадена в Швейцарию. Но во время войны выехать русскому из Германии в Швейцарию было почти невозможно, хотя письма ходили. Из Бадена отчаянные письма мои — к Лине! к Лине! — опускались в почтовый ящик ежедневно. А Лина в это время... Чтоб получить пропуск из Германии в Швейцарию, надо было быть швейцарцем или родственники, знакомые, поручители, жившие в Швейцарии, должны были внести в швейцарский банк в виде залога пять тысяч марок. На тот случай, чтоб прибывающий не оказался бедняком и не лег обузой на швейцарское правительство. Пяти тысяч марок на руках у тети Сани в те дни не было, а и были бы — она боялась внести их в банк «как

залог», чтоб не остаться самой с четырьмя спутниками в положении «паупера».

И тогда Анна...

6

... и тогда Анна — спасла мое будущее. Без нее неизвестно, как и куда повернулось бы это будущее и осталась ли бы я вообще в живых, если б пришлось мне три года войны провести в баден-баденском лагере.

Тетя с семьей жила тогда в живописнейшем местечке Фитцнау на Фирвальдштетском озере Люцернского кантона. Чтоб переехать из Германии в Швейцарию, требовалось, как я уже сказала, внести в швейцарский банк пять тысяч марок. Их у тети в наличии не было. Но, кроме этого, нужно было получить в руки официальную бумагу на право въезда, что не всегда удавалось и тем, кто внес деньги. А уж без взноса о разрешении и мечтать было нечего. Швейцария, закованная в свои Альпы, высилась перед беглецами из военной Германии, как крепость за семью замками. Такова была ситуация.

В первый раз из Гейдельберга вместо «назначения» в Баден-Баден я попробовала было самостоятельно махнуть через границу, благо она очень близка была. Ехала безбоязненно, в состоянии «вне». Но на границе что-то вроде страха холодом прошло по моему позвоночнику. До границы ко мне в вагоне подсел подтянутый, в новом, с иголочки мундире молодой немецкий офицер и стал вежливо расспрашивать, какой я национальности. Узнав, что армянка, он необыкновенно осведомленно заговорил о древности армянской культуры, об ее историках, о немце Гакстгаузене, который записывал армянские сказки и легенды, и вдруг спросил:

— А какой главный город в Армении?

Я тогда ничего не знала ни о Гакстгаузене, ни о губернском городишке Российской империи Эривани и смутилась; тщетно поискав в памяти, я нерешительно произнесла:

— Тифлис.

Офицер тотчас встал и, вежливо кивнув мне, вышел. А на границе в наш вагон вошел конвойный и повел меня, захватив мои чемоданы, в пограничный пост.

Этот пост располагался на горке, на вольном воздухе. Стояли стол и скамьи. Сидел толстый человек в расстегнутом на животе военном кителе. Уже без всякой вежливости, вперив в меня тусклые заплывшие глазки, он попросил («битте», пожалуйста!) дать ему ключи от чемоданов, очень ловко открыл их, очень ловко порылся, раздвигая «дамские принадлежности» — старое мое белье, приготовленные на зиму теплые юбки и вязаную кофточку,— пересмотрел тетради и книги, даты на них и с триумфом вытянул из-под всего этого мою слуховую трубку. Тогда еще не было слуховых аппаратов, дающих тугоухим возможность слышать и людей и му-

зыку, но для делового общенья у нас были в помощь так называемые генеральские трубки с воронкой на одном конце и с вкладышем в ухо на другом. Сама трубка делалась из какой-то твердой волосяной материи, и когда вы разговаривали с кем-нибудь, звук доносился до вас не хуже, чем по телефону.

Военный повертел мою трубку, спросил: «Для чего?» — и, получив мой ответ: «Чтоб лучше слышать собеседника», откашлялся и в трубку громко, с хрипотцой произнес:

— Так вы говорите, что вы глухая (taub)?

И в этом самом месте немецко-русского допроса меньше чем в секунду, кажется даже — без единого движенья времени, в сознанье моем совершилось множество вещей: я увидела, что немец строит мне ловушку, что он при этом наивен и недалек. Я увидела, что выскочила из своего «вне», что вокруг война, острое положенье, я у врагов на допросе; шпиономания, растрепанная девица, говорящая, что она армянка, и не знающая, какой главный город в Армении; помощи — ниоткуда, небо наверху пятнистое, небо старухи Хейдельберг, летящей с дымом и вихрем; обстановка пограничной таможни; забитые в тупик колеи рельсов, стоящие вагоны; чувство своего обнаженного со всех сторон бытия и собранное в комок внутреннее начеку — надо быть начеку, умней немца... Это все множество зрительных, душевных, умственных состояний, уместившееся в миллионной доле времени, нет — в отсутствие времени, вспыхнуло без всякой паузы после вопроса о моем ответе. Я возмущенно каким-то обиженно-женским глуповатым голосом вскрикнула:

— Вовсе нет — gar nicht, gar nicht! — совсем не глухая, только иногда, если тихо говорят...

Немец самодовольно улыбнулся. Он ждал, что я буду уверять его в своей глухоте, даже рецепты врачей из сумочки доставать, вот тогда — подозрительно, шпионка, их сейчас на каждом шагу... А это просто бабенка, вейбхен... И вместо ареста он благодушно подозвал конвойного и меня «согласно направлению» отправил в Баден-Баден.

Что думалось мне, когда я ехала назад, в Германию, от пограничной станции со Швейцарией? Странно, что весь эпизод и свои думы сейчас, спустя шестьдесят три года, я так ясно, словно вчера это было, помню. Конечно, я сказала немцу чистую правду — не глухая, лишь немного тугоуха. Но эту чистую правду я сказала немцу лживым образом, фальшиво, чтоб его обмануть. Что обмануть? Его самонадеянную ловушку. Ход конем. Есть по-русски особое слово как антипод правды — слово «кривда». Я сказала немцу свою правду кривдой... Откуда взялось это во мне? Почему люди не хотят видеть друг друга такими, как они есть, не хотят видеть простую правду, и тогда волей-неволей подаешь им кривую правду, театрально разыгрываешь ее, как это произошло на границе? Мне было стыдно. И мне стало страшно. Действительность превратилась в острие меча, по которому идешь, балансируя, спасая

свою шкуру. И отсюда отчаянные письма к Лине из баден-баденского лагеря. А Лина...

16 августа 1914 года она встала раным-рано, когда все вокруг еще спало. Вышла на прохладную спящую улицу. Небо, рассказала она позднее, было темное, как озеро, и отражалось в озере звездами. Прохожих не видать. Поезд в Люцерн почти пуст. Административный центр кантона был в Люцерне, и к нему, помимо обычных кантональных учреждений, с началом войны пристегнули еще одно название, ставшее главным: Militär und Polizei — военная власть и полиция; а во главе этого гибрида стоял Militär und Polizei Direktor — начальник, объединявший в себе военную и полицейскую власть. Лина приехала в еще спящий Люцерн. Но перед зданием, найденным ею по бесконечным вопросам и скитаниям в полутьме предутренних улиц, уже стояла большая очередь. Люди в очереди отнеслись к ней с участием. Сперва пустив в серединку, где стояли — старики — по полицейским делам, а потом, узнав, что дело у нее «военное»,— совсем вперед. И научили подойти, когда приедет Militär Direktor, прямо к нему без боязни и, что бы он ни сказал, идти прямо за ним в его кабинет, а они один за другим пойдут за ней вслед.

Ждать пришлось долго. Рассвело. Засверкала у извилистых берегов вода красивейшего озера, носящего имя Четырех Кантонов. Получили свое цветное оперенье цветы на клумбах. Сошел с подъехавшей коляски пожилой человек в военном мундире. До сих пор Лина рассказывала подробно и с удовольствием со всеми мелочами и оттенками. А дальше она вдруг становилась малословна, и единственное объяснение, данное мне в первый день встречи, было: «Ну дождалась, поговорила как человек с человеком».

У нас в нашем новом мире не в ходу туманное идеалистическое словечко «энтелехия». В толковом словаре Ушакова на букву «э» оно не значится как не вошедшее в русский язык. Но в те далекие времена, да еще у людей, причастных к философии, оно бытовало и под ним подразумевалась некая сила, точней — синтез сил умственной, душевной, духовной плюс данная индивидуальность и плюс еще что-то, что может влиять на расстоянии, импонировать, быть реальностью, с которой надо и можно считаться. Я употребляла это туманное словечко как обозначение личности. У Лины была простая человеческая личность. Ни при каких обстоятельствах она не теряла ее и не прятала, не маскировала. Вот эта честность прямоты, ничего кажущегося, все как есть было всегда присуще ей, и оно всегда влияло на тех, кто к ней подходил.

Нынешние парапсихологи, все те, кто занят открытием вещей, давным-давно знакомых по опыту огромному большинству простого и честного человечества, заинтересовались бы силой влияния (или воздействия, вызывающего ответную волну человеческой перестройки) Лининой энтелехии на энтелехию встречного человека. Ну что могла она рассказать? Она сразу вошла в кабинет этого

«директора», пожилого, загруженного массой дел, усталого и невыспавшегося человека, со своим сообщением, что сестра ее сидит у немцев в баден-баденском лагере, а мы, ее родные, сидим тут, в Фитцнау, и ее не пускают без бумажки — Ausweis'а — с разрешением на въезд к ним.

— Деньги за нее внесли?

— Деньги у тети есть, она богатая, но не внесла и не внесет.

— Почему?

— Потому что нас пятеро, с сестрой будет шестеро, деньги нужны на руках. Через месяц уедем в Италию — нет никакой надобности вносить в банк.

— Но где гарантия, что не останетесь на иждивении у нашей республики?

— Да зачем же? Гарантия в самом факте, что все мы домой хотим. Тетя хочет посмотреть Италию, Грецию, детям показать, а потом мы домой вернемся.

— Кто вы такие по национальности?

— Русские.

Сестра сказала «русские», потому что всегда думала обо мне и себе как о русских, и вопрос о национальности просто не дошел до ее сознания.

— Кто ваши родители по происхождению, папа и мама (Papá und Mamá)?

Лина только тогда сообразила, о чем идет речь.

— Армяне.— И через полчаса вышла из кабинета «директора» с аусвейзом в руке.

Вот что я постепенно извлекла из нее.

— Мы с ним говорили попросту, как человек с человеком,— добавила она.

Ее чистая человеческая натура тотчас вызвала чистый человеческий отклик у военного. Они оба оказались в той атмосфере, где нет задних мыслей, скрытно выдвигаемых наперед, не доверяющих действительности, сразу вступающих с ней в дипломатические, тактические, стратегические отношения. Он наслушался, должно быть, множества таких просителей, намучился своими, тоже дипломатическими, тактическими, стратегическими, откликами на их просьбы. Ему было, должно быть, деловое (сразу к делу), прямое, короткое обращение просто облегчением, а переход к ясности и простоте — душевным отдыхом. Он от руки набросал документ, спасший мне мое будущее: «Девица (фрейлейн) из России, Марианна Шагинянц (по паспортам у нас с Линой еще цеплялось за конец фамилии это старинное армянское «ц»), находящаяся сейчас в Баден-Бадене, имеет разрешение приехать к своим родственникам в люцернскую общину Фитцнау...» И снабдил его внушительной печатью.

Письмо Лины с этой бумагой пришло к баден-баденским властям 20 августа. Их разрешение на отъезд (Genehmigung zur Ab-

reise) попало мне в руки 21 августа; и уже через другую границу, Зинген, а потом пароходиком по чудному, спокойному озеру я очутилась среди своих. Все те из соотечественников, с которыми я находилась в баден-баденском пансионе, и те, кого встретила в парке, возвращаясь из «бецирка» с разрешением в сумочке, восклицали о небывалом чуде:

— Немыслимо, фантастично — без уплаты пяти тысяч в банк! Не похоже на скупую Швейцарию! А мы с женой долбим, долбим, изворачиваемся и так и этак, у нас влиятельные знакомства в Женеве — и до сих пор ничего! Ни звука на множество заявлений!

Жившая у нас в пасионе сухопарая «дама из общества», вдова русского помещика (впоследствии, перекипев в творческом котле, она мелькнула в моем раннем советском романе «Приключения дамы из общества»), десятки раз перечитывая и разглядывая бумажку с разрешением на выезд и коротенькое, торопливое Линино письмо, упрямо твердила мне:

— Поверьте, ваша сестра — наверное, она очень хорошенькая, красивей вас,— расплакалась перед ним, знаете — слезы по щекам, умоляющий взгляд. А может быть, попросту тетка внесла пять тысяч, а от вас скрыли, чтоб не расстраивать, ведь вам их потом отрабатывать придется...

Но я знала Лину и знала могучее нравственное воздействие ее энтелехии, сразу резко менявшее атмосферу начавшегося с ней общенья. Мне тяжело было вспоминать свою собственную беседу с немцем в таможне, где я сразу же подчинилась его настрою, откликнулась в его ключе — грубоватой и глуповатой дипломатии. И позднее много думала о нашем людском, широко распространенном, почти всеобщем неумении говорить как человек с человеком, неумении, проникающем иногда и в книги, какие пишутся... Я думала о том, как скрасило бы, как выправило такое умение нашу человеческую жизнь и, может быть, уничтожило бы даже войну... Про себя я называла и называю это уменье атмосферой шекспировской Корделии.

Пять первых месяцев войны, проведенных нами за границей, были хорошей школой для нас. Во-первых, заграница показала нам реальный облик многих «патриотов». Тетя наша была женщиной со средствами, впервые выехавшей за границу. Она останавливалась в хороших гостиницах, мы общались со многими российскими «именитыми» людьми — купцами, банкирами, вдовами генералов, высшим разрядом интеллигенции. Общий «табльдот», где медленно поедались за ленчами, диннерами и суперами по нескольку блюд и запивались местными винами, разговор шел иногда о своевременном переводе своего состояния таким-то в заграничный банк из России, об интуициях и предчувствиях, позволивших захватить с собой все свои брильянты, о таком-то и такой-то, не успевших этого сделать, о крахах и прибылях, грабеже интендантов, немецкой крови в царской семье, немцах-генералах в русской армии — и все

это с неизменным высокопатриотичным лозунгом «войны до победного конца». Оттенки всего этого, носившие фасад патриотизма, были самые разные, даже активно противоцарские, с критикой «своих людей у правительства», но на всю нашу семью это производило тогда тягчайшее впечатление, которым делились мы шепотом в запертых спальнях. И фасадный патриотизм сопровождался при этом уже не фасадным, а самым нутряным, хотя и тесно с фасадом связанным шовинизмом.

В Цюрихе, куда мы на месяц переехали из Фитцнау, я наняла крохотную, чистую и беленькую, как больничная палата, комнату в семье женщины-врача, только что родившей. Мужа ее я не видела. Врач жила со своей молоденькой сестрой, учившейся на поварских курсах. Квартирка была в хорошей горной части Цюриха, с фруктовым садом и цветочными клумбами. Обе женщины уходили из дому утром, возвращались к двум часам, а ребенок, розовый, пухлый, почти всегда спавший без просыпу, находился в саду в люльке-лодочке, на жестком матрасике, жесткой подушке, покрытый вязаным одеяльцем. Ему, кроме материнского молока, давали фруктовые соки, что наполняло меня ужасом — в Москве такая кормежка грудных считалась чуть ли не убийством. Охранял эту люльку большой престарелый сенбернар. Он сидел рядом со спящим младенцем, почти не вставая. Иногда чихал, отворачивая добрую бело-желтую морду в сторону, и потирал лапой правый слезящийся глаз. Я много раз хотела погладить его, но он начинал рычать.

Цюрихский период был тяжелым в личной моей жизни — это был прощальный месяц гётеанской дружбы моей с Эмилием Карловичем Метнером. Когда мы с тетей двинулись дальше, он, озлобленный, почувствовавший себя немцем, перешел в швейцарское подданство и умер вдали от России уже после Октябрьской революции. А нам предстояло удивительное путешествие. Но при всей остроте моей памяти на любые мелочи своего прошлого я почему-то не сохранила ни красок, ни контуров последовательно разворачивавшихся передо мною картин. Может быть, охоты не было бегать и смотреть все это. Сперва перевал из Швейцарии в Италию. Всю грандиозность его я пережила только недавно, лет шесть назад, когда поистине дух у меня захватило от гигантских масштабов горного хребта вокруг, змеиной колеи над безднами ущелий, по которой полз, извиваясь, поезд, и восторг, похожий на ужас, невольно вырывался восклицаниями от двойной невероятности — величия, чудовищной масштабности природы и гениальности человеческой инженерии, вступившей в борьбу с ней...

А вот что было тогда, шестьдесят три года назад, где мы ехали и как ехали — уже не помню. И от встречи с Италией, первой встречи, тоже ничего не помню. Ночь приезда в Венецию, вокзал, упирающийся в черные воды канала, от огня фонариков на гондолах (тогда еще были только гондолы, а не трамвайчики-электроходики!) черная вода змеилась почему-то зеленым, колыханье гондолы, причал к гостинице. И музеи Флоренции, Сиены, Рима, аква-

риум Неаполя и почти на конце итальянского башмачка — грязный порт Бриндизи, маленький греческий пароход, куда темной ночью мы взбирались по веревочной лестнице, изумрудный Коринфский канал, Пирей, розовый, изъеденный микроорганизмами мрамор Парфенона, Балканы, Волочиск, родная русская земля, мать, открывшая еще темным январским утром дверь на наш с сестрой стук, заспанная, прямо из постели, в ее городе под Ростовом, Нахичевани-на-Дону, все это было, было, как поется в песне — было и нет его, истаяло в памяти...

А вот о Цюрихе, «месте вечной боли моей от разлуки», как я тогда думала, пронеся свою боль через все итальяно-греческое путешествие,— о Цюрихе надо сказать еще много, потому что именно Цюрих стал местом зарождения во мне будущего нового человека.

Большое, четырехмесячное, плавное, как замедленная съемка, путешествие по лучшим историческим странам мира — открывшаяся глазу панорама истории человечества больше чем трехтысячелетней давности в ее камнях, изваяниях, раскопанных из могил сокровищах — почти ничего не оставило мне для излюбленных философских формулировок и для исписанных «общих» тетрадок, а месяц в Цюрихе дал огромную пищу для размышлений и весь лежит в памяти, как гейневские строки из бессмертного стихотворения:

Она давно покинула город,
А дом стоит там же, где прежде стоял...

Именно там, в Цюрихе, где зародились и вспыхнули во мне в давние времена новые мысли, которым предстояло развиваться в недалекие от них годы, уже на пороге своего девяностолетия, в 1977 году, я додумала наконец свою диссертацию и открыла для себя Якоба Фрошаммера (но об этом под самый конец книги).

Когда уходили мои цюрихские хозяева на работу, я засаживалась с утра за приведение в порядок гейдельбергских и баден-баденских блокнотиков. Не то чтоб имели они какое-нибудь отношение к Фрошаммеру. Наоборот, я забыла о нем. Объявление войны положило на время конец моей научной работе. Как бы ни кончилась война, кому понадобится после нее диссертация о неизвестном Фрошаммере? Да и был ли он способен тогда, в грозовую минуту для человечества, захватившую весь мир, диктующую свои законы, свои действия миллионам втянутых в войну людей, заинтересовать меня самое? Оставалась профессия писателя, задача обработать хотя бы свои впечатления о культурных центрах Германии в самый канун войны, когда я пешком прошла по знаменитой Бергштрассе. И я, кроме всего прочего, чувствовала какое-то беспокойство за маленького грудного младенца, спавшего в саду в люльке, на попечении старого, с больным глазом сенбернара. Нет-нет да и оторвусь от блокнотов и посмотрю в окошко. А в два часа дня, когда приходили со службы хозяева и оживала квартира за стеной, ко мне заглядывала моя сестра.

Она уже знала Цюрих, как Москву. Наскоро пообедав с тетей — их ленч в гостинице происходил в час дня,— она вела меня обедать, всякий раз в новое место. Мы спускались с ней из горных, аристократических кварталов Цюриха вниз, к реке, делившей город на две части, в узкие шумные переулочки, к многочисленным безалкогольным «едалкам», как Лина любила говорить, под вывесками «Alkogolfrei». В эту пору осени, еще не сбросившей лета, городские переулочки Цюриха были крепко пропитаны особым, постоянным запахом вареной красной капусты. Мы едим красную капусту сырой, в салатах, ошпарив кипятком, сдабривая уксусом, чтоб покраснела как рак, и прибавляем сахарного песку для вкуса. Но в Цюрихе (как и в Германии, кажется, и до сих пор!) она варилась и как вареный гарнир подавалась обыкновенно в неприхотливых столовых с отварною говядиной или свининой. Крепкий запах вареной красной капусты связан у меня до сих пор со старым дешевым Цюрихом былых времен. Даже сегодняшний исковерканный западными фильмами, охваченный, как эпидемией, западной эротикой, наркоманией, бессмысленной тратой сил у молодежи на «все позволено», этот страшный и совсем не похожий на прежний мирный и чистый, «учебный» Цюрих еще попахивает иногда осенью таким знакомым запахом... Лина вглядывалась в витрины, чтоб «подешевле и повкуснее», но тут же в витринах можно было прочитать разные плакаты, печатные и от руки, отвлекавшие внимание от еды. Плакаты русских политических эмигрантов.

— Хочешь, пойдем? — спросила Лина.

Дойдя сегодня (когда пишу) до этого очень важного места, я силюсь вспомнить эту витрину. На ней было сказано: доклад о войне члена думской фракции большевиков... прения... Нас охватило желанье услышать, что говорят о войне н а ш и крайние левые... И лекция нашего докладчика о войне излагала совершенно новую, совершенно неожиданную, потрясшую нас, перевернувшую все наши старые представленья точку зрения. Он говорил о н е о б х о д и м о с т и п о р а ж е н и я д л я Р о с с и и в э т о й в о й н е, сослался на Ленина и назвал только эту, только такую точку зрения и с т и н н ы м п а т р и о т и з м о м. Неужели память моя тут дала осечку? Неужели не сам докладчик, а кто-нибудь из выступавших развил точку зрения пораженцев?

Я уже видела по немецким газетам во время паломничества в Веймар и по-своему остро пережила ренегатство немецких социал-демократов. Они сперва выступили в газете с великолепной прокламацией против войны, а через короткое время сдали все свои социалистические позиции перед прусским милитаризмом и вотировали кредиты на войну. Это всем честным людям показалось тогда подлостью.

Но как бы то ни было, на лекции в цюрихской «едалке» — именно на этой лекции — произошло мое первое знакомство с большевиками, с ослепительным, неожиданным светом их принципиальности, с четкой и ясной доказательностью их правды. Настоящей и

убедительной правды. Мы прошмыгнули с Линой на эту лекцию, боясь, что не пропустят, сидели в уголку, только обмениваясь сияющими взглядами. Но нам хотелось самим заговорить, задать вопросы, нас обжигали собственные мысли, вихрем рождавшиеся в мозгу от того, что мы слышали. Ясный анализ действительности, реального положения вещей уже сам, на собственном «корню» рос и развивался в нашем сознании.

Что такое патриотизм, кричавший с каждой газетной страницы, из каждого встречного рта? Патриотизм — patria — страна отцов, отечество... А что встает для нас с Линой, для каждого человека, любящего родину, за этим словом «отечество»? Родная русская природа? Но разве есть она без приложения к ней сил человеческих? В самом густом лесу протоптана тропинка; в ясном небе — дымки из сел, контуры городов, куполы храмов; на речных половодьях, в морских портах — корабли, корабли, баржи, лодки... Весь материальный мир, созданный трудом и гением народа, вся его материальная культура, все духовные ценности, его прошлое, лучшее в нем, его будущее, лучшее для него будущее, ради которого все мы живем и трудимся, дети свои и чужие, отцы, какими они отложились в нас, мать, начало любви к стране, к родному народу, к родному, выкованному веками языку нашей связи и нашей общности,— разве может быть патриотизм без любви к своему народу, источнику всего, что есть родина?

И вопрос — что же будет с народом, если мы сейчас, в этой войне, победим? Что принесет родине победа в этой войне?

Она принесет укрепление царского самодержавия, укрепление режима, какой стал ненавистным огромному большинству народа, несет в себе угнетение, беззаконие, массовый голод от неурожаев, чудовищную эксплуатацию рабочих, воровство неслыханных масштабов, продажный суд, бюрократию, насилие над духом и совестью... все, что уже расшаталось, что осмеяно общественной критикой, заклеймено лучшими, передовыми людьми. Укрепление царизма еще на годы и годы ценою народной крови, сотен тысяч тружеников, оставляющих трупы свои на дорогах бессмысленной войны...

А поражение — что принесет оно? Расшатает гнилую систему самодержавия, может стать благом для народа, благом для его будущего — восстанием, революцией, очистительной бурей для создания нового, справедливого строя!

Не знаю, говорилось ли это именно такими словами, но смысл был не только ясен — он входил в сознание как великая и бесспорная истина. Это был первый урок ленинской диалектики. Позднее, вспоминая его, я поняла этот урок еще дальше и глубже, как первую главу учения Ленина о наличии двух культур. И он стал мне компасом на долгую трудовую жизнь — различать подлинный патриотизм от фасадной, фальшивой патриотичности; ленин-

ское учение о наличии в прошлом двух культур — от сползания (или опасности сползания) в теорию «единого потока русской культуры». Для нас, людей творческого труда, это стало проверкой собственной творческой совести...

Но я опять перепрыгнула бог весть на сколько лет вперед, в будущее. А тогда, в тот цюрихский вечер, выходя на тихую спящую улицу вместе с шумной, спорящей толпой молодежи, я только и сказала Лии ее же собственными словами:

— Ну вот и поговорили как человек с человеком.

Переделкино — Москва,
ноябрь — 31 декабря 1977 г.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Псалмы Давида

Ибо не всегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет... да знают народы, что человеки они.

Псалом 9

Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь.

Псалом 115

Человек подобен дуновению: дни его — как уклоняющаяся тень.

Псалом 143

...заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писаный.

Псалом 149 [1]

И чтению вслух, и декламации Шевченко обучился... у дьячка, посылавшего мальчика вместо себя читать псалтырь над покойниками... Позднее он несколько раз писал подражания псалмам, придавая тексту их глубокое революционное значение. «Я неравнодушен к библейской поэзии»,— признается Шевченко в своем «Дневнике» 16 декабря 1857 года [2].

1

Возвращались мы с Линой восвояси после шести месяцев за границей, и сами не совсем прежние, и путем не совсем обычным. Обычный путь для состоятельной и большей частью столичной публики (с границей Варшава — Вержболово, которым я ехала в мою «старую Хейдельберг», а тетя с Линой в Швейцарию) был не для нас. Шла война. Из Афин мы выехали в грязном мягком вагоне через все балканские страны, Болгарию, Румынию, Сербию, на пограничный Подволочиск. Не совсем прежность моя сказалась прежде всего на перемене фокуса внимания. Если Сен-Готард, Венеция, Флоренция, Рим, Афины как-то не захватили, не увлекли меня от странного, отрешенного от внешних впечатлений состояния души, то Балканы захватили тотчас, при-

[1] Библия. Петроград — Москва. Издание Русского миссионерского общества, 1923.
[2] М. Шагинян. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8. М., «Художественная литература», 1975, с. 276.

ковали к окну. Очень сильно, очень ярко ворвалась к нам через вагонное это окно война 1914 года.

Начать с того, что через Болгарию мы проехали взаперти. Болгария была тогда на стороне воюющей с нами Германии. Вагон наш, где были сплошь русские, не летел вместе с другими вагонами на вольную волю, к родной земле. Он пропускался. Проверялся. Был заперт, и на остановках мы не могли выйти. София... Ступить на перрон было нельзя. И как-то внутренне мы ощутили нежелательность нашего пребывания у окон. Румыния проходила перед нашими окнами нищетой своих деревень, обнаженных зимней оттепелью, в чернеющем грязном снегу. Бухарест налетел элегантностью своего выхоленного перрона, французской речью, нарядной публикой. И Сербия — бедная, израненная Сербия — вошла к нам, сама вошла добрыми улыбками, дарами зимней земли, братской любовной речью, и мы на коротких стоянках обнимались, обменивались сувенирами, радостью с сербами от растущего приближенья к дому...

Все это было ново и гораздо интересней Венеции и Флоренции. Балканы были под боком, а главное — совершенно новы для восприятия. Выйдя из своего «вне», я как бы впервые включила в поле зрения всю окружающую нас новую видимость. Сознание стало наблюдающим, подмечающим, всматривающимся и стало двигать к выводу то, что находилось вовне моего замкнутого внутреннего мира. Болгары, самые близкие,— Тургенев, «Накануне» — почему в стане врагов? Румыния: нищета деревень, пришибленность жителей и почти опереточный, яркий блеск городов, офранцуженность Бухареста — почему такая огромная, глубокая, как пропасть, разница, словно в каньоне, между кормильцем, добывающим хлеб, и боярами, сидящими у него на горбу? И Сербия, милая, ласковая Сербия,— почему она застряла, как кость в горле, причиной ненасытной грызни разных правительств? Все это было на виду, четко проходило в вагонном стекле, было интересно, захватывало не историчностью памятников, а вот сейчас, сегодняшним днем истории... И мы с Линой прилипали к вагонному стеклу.

Я уже написала в предыдущей части, как раным-рано, морозным январским утром 1915 года мы едва дозвонились до нахичеванского-на-Дону флигелька, где жила в эту пору наша мать, и как она прямо с постели, заспанная, не знавшая о дне нашего приезда, открыла нам дверь. В той же части моего рассказа о себе я уже описала нахичеванскую жизнь в этот и в последующие годы. И сейчас, возвращаясь в русло уже описанного, должна как будто начать повторяться... Но я сберегла от читателя разницу, с какой мы вернулись, я и Лина, к восприятию войны после того, как пережили начало ее не у себя дома, а за границей.

О войне 1914 года много писали и сейчас пишут. Но есть нечто, о чем мне читать не приходилось, нечто похожее на портрет войны, образ войны, каким он отложился у обывателя, у постороннего войне человека, у кабинетного читателя о войнах, в которых он не принимал и не мог принимать участия. Сколько их было на памяти

человечества! Беспрерывные греческие войны, Карфаген, персидские, междоусобные войны феодалов, война за испанское наследство, Семилетняя, Тридцатилетняя, наполеоновские... Сияли в памяти учащихся образы героических эпизодов: Леонид спартанский, насмерть защищавший свое ущелье, кошмарная Варфоломеевская ночь, войны восстания, войны агрессии, войны защиты, войны грабежа...

Наш великий 1812 год, наша народная Отечественная 1941 года с ее бессмертными эпизодами героики, когда грудью ложились на вражеские пулеметы, сжигали себя в небе, сжигая самолет врага...

И вот у каждой из этих войн был свой лик, каким видели их романтики, обыватели и просто читающие историю. Лик... ну как его лучше назвать? Пластический, психологический, идеологический — каким он виделся и чувствовался простым народом и отдельными людьми.

На моем долгом веку я пережила три большие войны — русско-японскую, первую мировую 1914 года, вторую мировую (Отечественную) 1941 года. О каждой из них у меня сложилось в душе своеобразное психологическое ощущенье, что-то вроде комочка чувств, не связанных ни с какими учеными военными книгами или писательскими эпопеями, а из собственного внутреннего переживания. В японскую я была еще школьницей и рассказала о ней в одной из глав моих воспоминаний. Немеркнущий в памяти эпизод — из блестящего красно-золотого зала Большого театра, на спектакле оперы «Искатели жемчуга», куда нас с Анной, повинуясь просьбе нашей матери, тогдашний известный певец Амирджаи привез на извозчике, посадил на одном стуле в директорской ложе и угостил театральным шоколадом в коробочке. Мы чинно сидели, хотя нам было неудобно. И в середине спектакля это замешательство в зале, неожиданный спуск занавеса. Погибли наши корабли... Погиб адмирал Макаров. Изменившееся лицо Амирджана, мелочь, которую он дрожащими пальцами сует нам в ладонь; дрогнувший голос: «Вы езжайте, деточки, на извозчике сами домой, я должен сейчас...» Что он был должен? Недосказал, или исчезло из памяти? Публика внизу, в потемневшем зале, торопилась к выходам. У директорской ложи теснота в раздевалке. И врезалось в память навсегда связанное с этой войной — старое, морщинистое лицо подавальщика, державшего в нетвердых руках наши шубки. Такой важный в своем начищенном мундире императорского Большого театра, он смотрел невидящими, растерянными голубыми глазами, невидящими, потому что в них стояли выпуклые мутные слезы. Это были слезы *народа*. Погибло русское добро, созданное рабочим трудом. Погиб любимый и уважаемый адмирал. Но когда мы спустились к выходу и нас понесло в потоке шикарной театральной публики бенуара, слез мы больше ни на одном лице не заметили. И образовался у меня в памяти особый комочек лика, портрета русско-японской войны: *обида*. Война показалась обидной — в глазах народа.

Все, что вспыхнуло после нее, в этот комочек не входило, имело

свой лик в памяти, негаснущий лик в огне революции,— оно, это развитие хода событий, объясняло беглое выраженье страха, опасения, поспешности, с какой бенуары в соболях и бобрах спускались, застегиваясь на ходу, натягивая перчатки, не оглядываясь, не бросая взгляда сухих глаз друг на друга, стремились к парадным выходам. Не боль от погибели уважаемого народом человека, не кровная обида за пропажу рабочего труда — страх был у этих людей за свое добро, страх перед тем, что может последовать за поражением от неумелой царской политики, продажного и мародерского болота вокруг проливаемой на фронте мужицкой крови...

Вторая война оттиснулась во мне обликом, полученным за границей, в обстановке мобилизации и начала военных действий нашего врага. Ночевка в Вюрцбурге среди серо-зеленых шинелей, запаха мыла от стриженых солдатских голов, от типичного солдатского сукна с примесью въедливого запаха ремня, и это странное ощущение физического, да и психического «вне» — вне этой действительности, вне вражды и ненависти, вне страха — в облаке какой-то странной и личной безопасности, словно все это со мной не на самом деле совершается, а только представляется, воображается во сне... Честно признаюсь — мне тошно сейчас перечитывать свое тогдашнее «Путешествие в Веймар», тошно не потому, что я там умничаю, а потому, что как бы возвышаюсь над действительностью: разгуливаю в грозные и опасные дни немецкой шпиономании в чужой и вражеской стране по архивам и музеям и с какой-то нечеловеческой беспечной поглощенностью в Гёте записываю в блокнот свои «формулировки» по каждому музейному поводу. А ведь выводы, касающиеся войны,— как они далеки у меня от настоящей исторической правды! Передо мной лежал весь материал, неведомый у нас на родине, материал предательства немецкой социал-демократии, поддавшейся шовинизму. Ее первая декларация (со всеми элементами декламации) — привожу ее здесь из моей книги, но в русском переводе, списанную мной дословно, слово за словом, с расклеенного на стене во Франкфурте-на-Майне экстренного выпуска газеты «Фольксштимме» («Голос народа») от 27 июля (нового стиля) 1914 года. Вот она:

«Во имя народного мира!

Еще дымятся на Балканах нивы от крови тысяч убиенных, еще тлеют развалины опустошенных городов, опустелых деревень, еще бродят, голодая, безработные мужчины, овдовевшие женщины, осиротелые дети, а уже снова спешит фурия войны, спущенная с цепи австрийским империализмом, внести во всю Европу смерть и пагубу.

Настал серьезный час, серьезнее, чем когда-либо за последние десятилетия. Опасность надвигается. Угрожает всемирная война! Правящие классы, которые вас эксплуатируют, унижают, презирают во дни мира, хотят ныне употребить вас на пушечное мясо!

Везде должны мы крикнуть насильникам в лицо: мы не хотим войны! Прочь с войною! Да здравствует интернациональное братство народов!

Представительство партии
(Der Parteivorstand)».

Я списывала букву за буквой эту прокламацию, не задумываясь над тем, почему только австрийский империализм. А где германский? Я с укором (а не с гневом, не с отвращением) узнала, что после этой прокламации тот же «партейфорстанд», руководство одной из самых сильных социал-демократий в Европе, проголосовал за военные кредиты... На все это — мимоходом, со стороны, чуть ли не в самый день объявления войны спокойно спускаясь в склепы Гёте и Шиллера! И только доклад пораженцев в Цюрихе подвел меня к социалистической проблематике войны и втянул в личное ощущение войны. Каким же обликом, портретом оттиснулась она у меня в памяти?

Выше я написала, что создается этот облик без вмешательства научных книг и художественных образов. Написала не подумавши. Нет, конечно,— для комплекса внутренних чувств и представлений нужны, разумеется, впечатления и от чужих мыслей и от произведений искусства. Больше того — именно впечатления от искусства раскрывают всю свою силу, когда рождается в нас субъективное ощущение войны. Это ощущение как бы проходит через образы, наслоившиеся многими годами их бытия, на полотнах художников, страницах книг, даже в музыкальных концепциях. Закрыв глаза, я пытаюсь воскресить в себе старое чувство войны 1914 года. И вижу в обрывках сцены тех дней: проводы рекрутов из деревни на телегах, в тесноте, отчаянные лица парней, хмельное их выражение, красные, как в жару, с растянутыми в руках гармошками, и бабы за ними со вспухшими от слез глазами, отчаяниость, безнадежность и хмель, хмель как в толпе крестного хода по случаю престольного праздника,— откуда все это в расцветке: красные рубахи, зелень вдоль размытой грязной деревенской дороги? Или поезда, набитые до отказа, люди, высунувшиеся из окон по пояс, парень, висящий на ступеньках вагона, девушки в косах, в платочках, и плач, и взмахи руками вслед поползшему, как большой серый удав, поезду. На фронт. Откуда все это заползло в память? С картин так называемых передвижников.

Реалистическое искусство. Оно зажигало в сознании чувства протеста, гнева, народного отчаяния и отчаянности, взбодренной хмелем. Удивительно, как в год все еще царствующего у нас «изысканного» вкуса, победного «левого искусства», еще не изжитого декадентства, эстрадной декламации Игоря Северянина почти ничто не влилось из всего этого зримо и пластически в портрет войны. Нам с Линой она казалась бессмысленной, как бы окутанной страшным газетным словом «кровопролитие». А урок, полученный нами в Цюрихе, помогал осмыслять ее этапы по ступеням — вниз, вниз, от чудовищной по своей безвыходности, бессмысленности, ту-

пиковости солдатской гибели в Мазурских болотах до начавшегося стихийного притока беженцев из западных губерний в тыловые города. Цюрихский урок помогал осмысливать, ассоциировать поражение русско-японской войны с 1905 годом — первым ударом грома перед грозой 1917-го... И дотягивать ассоциацию до 1916-го...

Бо́льшую часть годов 1914, 1915, 1916, 1917 — за вычетом поездки на полгода в «старую Хейдельберг» да коротких набегов в Москву к Метнерам — мы с Линой провели в Нахичевани-на-Дону у матери, провели оседло, на постоянной работе: моей — лектором в музыкальном училище Авьерино и писанием в донских газетах да и московских, пока Октябрь не отрезал нас от центральной России; Лининой — на работе преподавательской. В прошлой главе, опередив свой рассказ на полгода, я уже бегло коснулась и своей жизни у Метнеров, и начала работы над диссертацией, избрав дорогу к философской системе Фрошаммера через знакомство с естествознанием, кристаллографией. Все это происходило уже по возвращении нашем с сестрой из шестимесячного пребывания за границей. Но, сказав об этом наперед, в предыдущей части моих воспоминаний, я умолчала о главном, о том «другом», «новом», зароненном в нас Цюрихом и видениями войны 1914 года, начавшейся для нас на чужбине и потому увиденной в несколько ином ракурсе, чем на родине.

Живя свою жизнь вторично, описывая и осмысляя ее, вижу сейчас то, чего не видела и не понимала тогда, например, роль реалистического искусства для нашей памяти. Простые истины лежат сейчас передо мною о простых вещах. Фотография, как правило, исторически не запоминается. Но искусство, настоящее искусство, всегда запоминается, потому что передает действительность вместе со своим временем, имеет протяжение во времени, окаймлено волнами всей движущейся реальной действительности, именуемой жизнью. И не зря, не случайно декадентство (в точном переводе падающее, разрушающееся искусство) выпадает, как и противоположность его — фотография, из памяти. Внешний миг и внутренний миг — разные вещи, но совпадающие в своей вневременности, как бусины без связующей нити. В своей нахичеванской изоляции от московской среды и ее утонченной интеллигенции, ставшей к тому же почти сплошь реакционно-шовинистической, я начинала чувствовать несерьезность, непригодность для работы сознанья, для помощи в этой работе именно тех божков, которыми раньше увлекалась и за которыми шла. Дорога, по которой шла за ними, как-то незаметно стала сходить на нет, не ощупываться под ногами. И тут произошло, казалось бы, незначительное, не важное, в тот день совсем постороннее, а сейчас вспыхнувшее в сознании событие.

Перелистывая сумрачные и аккуратные страницы моих дневников тех лет, в которых, с тогдашней моей точки зрения, шли со дня на день «формулировки» самого важного, что представлялось мне важным,— все еще с оттенком книжного умничанья,— вдруг я наткнулась на неожиданные несколько строк. Они выпадали из обыч-

ного тона и уровня записей. Странно мне показалось уже и то, что я почему-то записала их, хотя, казалось бы, они относились к неинтересным для меня и совершенно посторонним вещам. В субботу, 28 января 1917 года, значит, еще до наступленья Февральской революции, мелким и ясным своим почерком с ятями и твердыми знаками (наше поколение с ними писало грамотнее, чем нынешняя молодежь без оных!) я четко записала: «Разговаривала с Надеждой Тобиевной, она сообщила, что Блок захотел ставить «Розу и Крест» реалистически и потому отказался от музыки Гнесина».

Первое мое чувство тогда — ярко вспомнила — было огорченье за Гнесина. Михаил Фабианович Гнесин был одним из близких моих друзей на Дону. Ранние его опусы и наброски к «Царю Эдипу», им самим игранные нам с Линой на рояле, производили на нас впечатление тонкой, «интеллектуальной» музыки, похожей на стихи Вячеслава Иванова. И какая, должно быть, обида нанесена была отказом Блока от его музыки, с таким трудом пробивавшей себе дорогу! А потом, после естественной реакции на сообщение жены Гнесина Надежды Тобиевны, мысли мои (путая тогдашние с сегодняшними, потому что сегодняшние не могли не быть хотя бы неосознанно, потенциально в тогдашних) перешли на самый факт. «Роза и Крест»...

Сдайся мечте невозможной,
Сбудется, что суждено.
Сердцу закон непреложный —
Радость-Страданье одно!

Какой старомодный, романсовый, распевный ритм, дактиль, классический размер для мелодии. И какие мудрые слова, непохожие на романс; и вдруг отчаянный, на годы и годы врезавшийся в память ритм, вихрем несущий слова, как будто он, ритм (и ведь тоже простой и классический), из древнегреческого хора:

Ревет ураган,
Поет океан,
Кружится снег,
Мчится мгновенный век,
Снится блаженный брег!

А слова опять не романсовые, не старомодные, на крыльях классических ритмов, какими танец сменяет пение (как я изучила этот древний народный переход, когда в своей докторской диссертации, уже после Октября, работала над диалектикой стиха у Тараса Шевченко!). Танец сменяет пение, греческий дифирамб — и слова; что в этих словах, тесно сплетенных с ритмом? Верь в невозможное — оно сбудется. Пляска великих сил природы, предчувствие, приближение... чего? Причала к блаженному берегу сквозь все бури тысячелетий жизни на земле? Берег — символ чего? Конца или начала? Или конец (брошен якорь) — это только всегда начало (первый шаг высадки на землю) и диалектика всего предва-

рительного смысла жизни, внутреннего синтеза жизни — Радость-Страданье одно?

А что еще в «Розе и Кресте»? Какое-то мистическое царство туманов, герои драмы, два седых старца (герои — старики!) Гаэтан, Бертран... Сюжет прост, как в легенде или сказке... И в тот далекий день встречи с женой Гнесина, и сейчас, когда пишу, меня, как неразгаданная тайна, мучает вопрос: а сама «Роза и Крест», написанная романтически, разбросанно, в некоторых местах невероятно сжато, словно втиснутое необходимое информационное вложение (вставка, где рыцари скороговоркой разглашают о победе именно Бертрана в войне), и рядом — так коротко, но максимально выразительно показанное внезапное банальное (после мечты о невозможном) увлеченье Изоры молоденьким легкомысленным пажем (мечта как будто сбывается пошлостью) — что это все? Романтизм, мистицизм, иррационализм, фольклор, средневековая религиозная эсхатология, церковная мечта о царстве небесном? Или вульгарный материализм первых наивных материалистов-физиологов? Все в этой драме как бы взывает к звучанью необычному, к «декадентству в музыке». А Блок отказался от музыки Гнесина, потому что хочет поставить «Розу и Крест» реалистически. Это странным образом напомнило мне состояние многих моих друзей после Февральской революции, когда эта революция у нас на Дону на глазах мыслящего, политически развитого ростовского пролетариата стала сползать в кашу, в непрерывное словоизверженне Временного правительства, в хаос расстроившегося людского быта, разложившегося транспорта, в галиматью учреждений, к висящим на крышах поездов, на ступеньках трамваев отчаянным людям, добивающимся нужного им передвиженья куда-то. С ходом Февральской революции росла и усиливалась эта безалаберная суматоха — и друзья мои, силившиеся сохранить свой устойчивый быт, кричали, качаясь в общественной неразберихе как на веревочной лестнице: «Довольно, довольно, хочу реалистической постановки — реализма!»... Но ведь отказ Блока от музыки Гнесина произошел до Февральской революции!

2

Что я знала тогда о Блоке? Сейчас — после издания его писем, дневников и записных книжек и большого количества выпущенных книг, исследований, пьес, полуромanов о нем под самым разным углом зрения на богатство его интимного материала, открывшегося перед множеством глаз[3], — очень легко сформулировать личное к нему отношение, соглашаться с одним взглядом, оспаривать другой. Но перед людьми его времени, перед глазами людей конца десятых и самого начала двадцатых годов нашего века, Блок стоял «замкну-

---

[3] Наиболее близким из всего этого множества мне кажется исследование Б. И. Соловьева «Поэт и его подвиг».

тый на все пуговицы», молчаливый, одиноко проходящий среди концертного, театрального, литературного множества современников. Мало кто мог похвастаться общением с ним. И с Блоком я никогда не была знакома лично. Ни разу с ним не разговаривала. Не слышала звука его голоса. Что осталось у меня в памяти от его живого физического образа при случайных встречах с ним?

Живя чуть ли не три зимы в теснейшем деловом (если строительство «нового религиозного сознания» можно назвать деловым) союзе с Мережковскими в старом Питере, соприкасаясь внешне с декадентской писательской средой их триумвирата, я всячески уклонялась от встречи с этой средой и решительно избегала знакомства со всякими из этой среды знаменитостями. Занятая по горло, я считала все такие встречи ненужной для себя тратой драгоценного времени. Кое-кто и кое-что, как меховая шапка Леонида Андреева в прихожей, застревало, правда, у меня в памяти обрывком, потому что связано было с образом Гиппиус, как-то уважительно, к великому моему удивлению, державшей эту шапку. Застревали люди, на встречу с которыми у Мережковских я попадала случайно, словно рыба в сети. Так случилось, например, с выхоленной, крупной по росту, одетой в ту простоту, которая хуже воровства, утонченную, не новую, обношенную как-то по-барски, четой Струве — Петром Бернгардовичем и его женой. Они сидели за чайным столом, чай разливала сама Зинаида Николаевна, а я вошла сразу с большим своим горем, чтоб поделиться им, и, войдя, окаменела.

Горе мое на иной взгляд смешное. В моем голодном питерском быту прижилась собачка Утка, подаренная мне год назад со многими советами и внушеньями самой Гиппиус еще крохотным щеночком, и Утка только что умерла на моих руках, глядя на меня потухающими собачьими глазами верного друга. Утка вела свой род от двух породистых такс, потомков другой пары, любимых такс Владимира Соловьева, чтимого в кругу Мережковских.

Как это ни странно, «исторический» Петр Бернгардович Струве, чей либеральный заграничный журнал «Освобождение» русская интеллигенция получала из подполья и почитывала тайком,— этот Струве, осмеянный большевиками, опустившийся до кадетов, ставший к тому времени редактором кадетской «Русской мысли», запомнился мне с теплым чувством. Он единственный утешил меня в ту минуту. Подавая мне большую чашку чая севрского фарфора, налитую руками в тяжелых кольцах, маленькими руками моей тогдашней наставницы, он мягко произнес, мягко и таким же холеным густым голосом, как его мягкая, белая, ухоженная рука: «Потеря собаки — очень большое горе. Долго не заживет оно. У нас с женой в Швейцарии...» И дальше последовал трогательный рассказ о гибели собственной собачки Струве в Швейцарии и как смотрела эта собачка перед последним вздохом, «всю верную собачью душу свою вкладывая в глаза». Так тепло говорил Струве о верной собачьей душе и так при этом грустно улыбалась нам полная и благодушная его жена, что на душе у меня сразу стало легче... Но еще такой

случайной встречи у меня, помнится, ни тогда, до революции, у Мережковских, ни после революции, в самом начале двадцатых годов, в Доме искусств в Петрограде (1920—1921), больше не было.

Через короткий «роман в письмах» с Андреем Белым и посещения московского Литературного кружка на Петровке я знала, как мне казалось, основное и в символизме, и в эстетической «левизне», и в литературной позиции, занятой ведущей четверкой «Б», напоминающей мне сейчас группу тогдашних «витаминов Б» русской поэзии — Брюсова, Бальмонта, Белого, Блока. И неинтересны, скорей не нужны они были в тогдашней моей одержимости идеей религиозной революции. Но вот Блок. Не сразу мне стало видно, что он — почти без образа, но в «столкновении» очень образном и крайне жизненно важном — прошел через все мои переломные годы.

Много раз думалось мне о том, какую зрелость для полного, яркого, решающего принятия и понимания Октябрьской революции (лучшего, что было в долгой моей жизни) дало нам с сестрой пребывание в 1917—1920 годы не в Москве, не в Питере, а на Дону, в глубине русской Вандеи, при разнузданном разгуле самой зверской и тупой реакции, при возвращении немецких солдат с открытой целью грабежа хлеба на Кубани, сахара на Украине и помощи им в этом от белых. Как ученые в микроскоп наблюдают мельчайшие тела, невидимые простым глазом, а в телескоп громады вселенной, тоже неохватные для простого глаза, я нормальным полем зрения нормального простого глаза в доступных ему масштабах мельчайшего и крупнообъемного смогла полно и округло увидеть, понять, пережить весь исторический перелом как бы на его хребте или в показательном круге. И первые всеобщие восторги от Февральской революции, и постепенное разочарование в ней, отход от нее рабочих масс, недовольство ею революционной части интеллигенции, и рост хаоса, отсутствие организующего, ведущего, передового начала в ней. И ясное очертание для многих из нас, для здоровой части революционной интеллигенции, для рабочего класса Ростова, для беднейшего крестьянства на Дону, для неимущего слоя казачества,— очертание на далеком северном горизонте России, как видение утренних альпийских вершин снеговых, великого горного хребта б о л ь ш е в и з м а. Оно казалось нам победой над хаосом, спасением от гибели.

В Москве и Питере не было бы у меня такой нормальной объемности зрения, в поле которого попадало ц е л о е. Там, в Москве и Питере, среда пошатнувшихся интеллигентов, большая масса моих литературных коллег во главе с тем, кого мы считали опорой в пути! — с Горьким (Горьким! — но, правда, скоро вернулся к нам Горький), как-то поколебалась, ужаснулась грозной суровости настоящей, не словесной и митинговой, а практической, деловой, организующей, собирающей, направляющей людей и неизбежно отсекающей, жестокой, когда надо, подлинной Революции. Великой, поворачивающей страницу истории человечества.

Мы, далекие провинциалы, каждый день читавшие в наших (скрытно протестующих) газетах о числе высеченных, «телесно наказанных», вздернутых, расстрелянных, пойманных с поличным или подозреваемых красных; кто среди нас своими ушами слышал крики избиваемых в заводских районах, видел группы рабочих со связанными за спиной руками, гонимых прикладами в Балабановскую рощу — между Ростовом и Нахичеванью — для убиения их. Сорвалось у меня слово «убиение» вместо «расстрела»... Не я первая. Многие простые люди из тех, кого зовут верующими, первые на Дону, жившие на смежных окраинах двух городов, по обе стороны от Балабановской рощи, крестясь, произносили это слово «убиение». Как вослед святым мученикам...

Этого не пережили многие мои столичные коллеги по перу, те из них, кто отсиживался перед Октябрем, саботировал после него. И я никогда не написала бы свою «Перемену», если б захватила меня хаотическая разноголосица, хаос противоречивости, столкновение буржуазной морали с ее новым, обиженным явлением в старом, привычном быту... Непонимание, горечь утраты, страх... и приспособление, чтоб прожить... «Перемена», новелла «Тринадцать-тринадцать» в «Кнжке», рассказ «Агитвагон», маленький роман «Приключения дамы из общества», первые очерки из первого прохождения по новой земле Октября, в новом общественном строе, в огромном душевном подъеме зари человечества, счастье созидать этот строй шаг за шагом, созидать творчески, с широтой свободы, в огне личной инициативы, в полной отдаче себя. Реализации себя — как свободного человека.

И случилось в те годы под белыми событие, одно из многих таких же. Люди собирались тайком, в подполье, беспартийные люди, чтоб отвести душу, побыть вместе, в единомыслии, в единочувствии. Был такой привал для нас с Линой в комнате железнодорожника-большевика, в окраинном грязном рабочем квартале Темернике. Мы тоже пробирались туда изредка. Однажды... Но пусть об этом расскажет моя документальная «Перемена», носившая в первых изданиях подзаголовок «быль». Быль, а не повесть:

«Долго за ночь, когда уж беседа умолкла, сидело собранье. Разбирали заветные книжки, привезенные из Советской России... Когда же впервые, контрабандой пробравшись через кордоны, зазвучали в маленькой комнате слова «Двенадцати» Блока, встало собранье, потрясенное острым волненьем. Лучший поэт, чистейший, любимейший, дитя незакатных зорь романтической русской стихии, он, как верная стрелка барометра, падает, падает к «буре» орлиным певцом ее! Он, тончайший, все понимающий,— с нами! И любовь, как горячая искра, закипала слезами в глазах, ширила сердце.

— Блок-то! Блок-то!

— И они там, на севере, учителя, доктора, адвокаты, писатели, не научились от этого, не доверились совести лучшего!

Позднее парниковые юноши, вскормленные Пролеткультом, отвергали «Двенадцать». Но те, кто пронес одиноко на юге России средь опустошительной клеветы и полного мрака свое упрямое

сердце, знают, как помогли им «Двенадцать». Искрой, зажегшейся от одного до другого, радугой, поясом вставшей от неба до неба, были «Двенадцать», сказавшие сердцу:

— Не бойся ты, право! Любовь перешла к тем, кого именуют насильниками. В этом порукой тебе неподкупный русский поэт...»

Напечатаны были эти строки в шестом номере журнала «Красная новь» в 1922 году и закончены были печатаньем в том же журнале в 1923-м. Точная дата очень важна, как важен и первый подзаголовок «Перемены»: быль. Да, это была пережитая, настоящая быль, это было! И много событий связано с этой былью, описанной в 1921 году и сданной в печать в 1922-м. Ее прочитал Ленин. Я лежала больная в санатории ЦЕКУБУ [4] в тогдашнем Детском Селе, а раньше Царском Селе, а сейчас Пушкине,— лежала больная, а в соседней со мной палате находилась Александра Михайловна Калмыкова, близкий друг Ленина и Крупской, снабжавшая партию деньгами для печатанья «Искры» и носившая партийную кличку Тетка. Тяжело больная, грузная, с отекшим лицом, она не вставала с постели. Мы переписывались из палаты в палату, а иногда я заходила к ней. И я зашла к ней, когда получила из Москвы серый дешевый конверт с простой маркой. Не заказной, в эпоху, когда еще не установилась работа почты, когда письма так легко пропадали... Но этот, не защищенный двойной маркой заказа, доверчиво опущенный в ящик, дошел до меня.

— Дошел, а мог не дойти! — с огромным волненьем воскликнула я, входя к Александре Михайловне.

Она не торопясь надела очки. Прежде чем читать, взглянула на дату.

— Дошел, есть чему дивиться. Не только дошел, а послано девятнадцатого, получили двадцать первого — молодец почта. Как раз в день вашего рожденья.

Редактор «Красной нови», где печаталась моя «Перемена», писал:

«Тов. Шагинян! Был бы очень рад, если бы Вы смогли дать продолжение «Перемены» к 15 апреля, как Вы пишете мне в открытке. Очень плохо и худо, что Вы продолжаете болеть. Очевидно, нужно основательно Вам отдохнуть. Как Вы живете в материальном отношении? Дела «Красной нови» и «Круга» идут прекрасно. Номер с продолжением «Перемены» выходит на днях. Вышлю. «Круг» работает тоже очень интенсивно. Выпускаем книг много и недурно. Расходятся они очень хорошо. Ваша «Перемена» пользуется большим успехом. Да, забыл: очень Ваши вещи нравятся тов. Ленину. Он как-то об этом говорил Сталину, а Сталин мне. К сожалению, тов. Ленин тоже болен, и серьезно. Ну, пока всего хорошего. Выздоравливайте. Привет.

А. Воронский.

19—17III—23».

---

[4] ЦЕКУБУ — Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

Воздух тех лет! «Тов. Ленин». «Тов.», как мы все... Это может удивить, но на все это как на самое простое, обычное, всегдашнее в те годы смотрели люди.

— Странный вы человек, ну что тут особенного? — сказала Калмыкова, удивляясь моему волнению.— Ульяновы — простые, хорошие, культурные люди, Ленин следит за литературой. Я же писала вам, какое впечатление производит ваша «Перемена» в кругах партии.

Воздух тех лет! Только сейчас понимаешь целебный кислород этого воздуха, близость, соприкасаемость людей через это сокращенное «тов.», как будто сразу сдвинувшее пространство между ним и нами. А как величать его, близкого, родного, доступного?.. Не найдешь никакого слова для звания Ленина, для отличия Ленина, так все целиком вмещалось для сердца и разума в одном только имени Ленин. И может быть, в одном только сокращенном, общем для всех «тов.». И всё. И так много, словно охватил руками вселенную.

Воздух тех лет! Кто дышал им — а их так мало осталось, все меньше и меньше, годы уносят их, а с ними уходит и память, которую нельзя наследовать, нельзя передать в наследство непередаваемую общественную атмосферу для дыханья. Мы научились сохранять энергию Солнца, сохранять энергию падающей воды, но энергию той простоты, чистоты воздуха, которым дышали старые большевики,— как, в каких сложных аппаратах сохранить ее для потомков?

Когда я вспоминаю дорогое мне прошлое, счастье первых лет Октябрьской революции и эту невозможность передачи их дыханья, я почему-то вспоминаю и говорю себе лермонтовское:

По небу полуночи ангел летел
  И тихую песню он пел...
И звук его песни в душе молодой
  Остался — без слов, но живой.

Казалось бы, что тут схожего? Гроза, гром, буря, кровь, революция! — и вдруг ангел, тихая песня... А сходство есть огромное, внутреннее: мы лицом к лицу увидели Свободу, Справедливость, Единство людское; в один миг почувствовалось это в сознании — просветление, возвышение, свет победы, расширение плеч, отблеск высокого, бесспорного добра на лицах, пережитый миг достигнутости. Лучшие люди всех времен желали, мудрые всех народов предсказывали дивные народные утопии начиная с Гесиода; встреченные на пути в дальних его походах Александром Македонским, отразившиеся в сказаниях «Александрии», сверкнувшие у Томаса Мора, засиявшие у Кампанеллы, ставшие чертежами у Фурье, Кине,— превращаясь из желанья, предвиденья, легенды, эпоса в науку, в достигнутый до вершинной точки человеческий замысел с древнейших времен — коммунизм, новый, невиданный, небывалый мир братства, равенства, справедливости. Минута достигнутости, высшая точка переживанья, она в величавой душев-

ной самоосознанности. И пусть минута, но то, что было,— оно есть. Его закрепляет память. Оно становится *критерием*, мерилом, единицей меры для тех, кому посчастливилось пережить это. Вот почему старики революции строги. И суд их, прилагаемый к текущей жизни, к ее безостановочному движенью, строг. Он не придирчив, он только не забывает того, что было. Воздуха тех лет! А раз был он, дышалось им, это *реальность, пример, требование совести, жажда* глотка, звука, который

...остался — без слов, но живой.

...Вернувшись в свою палату от Калмыковой с письмом Воронского в руках, я неожиданно подумала с вдруг пробившимся сквозь мое огромное чувство счастья светлым лучиком простого человеческого, почти детского удовольствия: как хорошо, что Ленин прочел об агитации «Двенадцати» Блока — там, в деникинщине, действенной, действующей агитации! А тут сейчас нападают за них на Блока ничего этого не пережившие — и «правые» и «левые»... Я спрятала письмо в свой дневник.

3

Но там еще до изгнанья деникинщины событие с подпольным чтением «Двенадцати» имело продолженне. Мои биографы о нем не знают, но в донских архивах можно это продолжение разыскать. Я написала рецензию на «Двенадцать», как только мы с Линой вернулись с темерницкого собранья. Не верилось, что будет эта рецензия напечатана, но «Приазовский край» напечатал ее. Деникинский осведомительный орган Осваг хозяйничал в бывшем Екатеринодаре, на сытном кубанском хлебе, и руки у него были ленивы. А между тем в этот же день, когда я победоносно прочла свою рецензию, укромно отпечатанную между пышных эклог Добровольческой армии, к нашим воротам подъехал извозчик.

Странное, клочковатое время ползло тогда на Дону. Пространство, как и оно, лежало разорванное. Почте, тратившей дни и недели для пересечений пространства, никто уже не доверял. Особо важные письма и пересылку денег доверяли возникшим словно из средневековья нарочным. Людям в доспехах дорожных. Кто собирался из Ростова-Нахичевани рискнуть ринуться в разорванное на белые и красные кусочки пространство, например из белого Ростова в такую же белую Одессу, но белую с несколько другим оттенком, тот, снабдив себя разноцветными документами (на всякий случай), искал газетными объявлениями средства на свою авантюру. Прочитав с месяц назад объявленье: «Еду в Одессу. Возвращусь. Кто хочет передать почту, прошу занести по адресу...» — я решилась.

Особый оттенок «белизны» города Одессы был в характере публики, спасавшейся от большевиков. То была высшей категории интеллигенция — профессора, редакторы, писатели. В Одессе нашла приют и редакция «Вестника Европы», где в последнем перед

Октябрьской революцией номере началось печатание моего романа «Своя судьба». Находился там и Овсянико-Куликовский, уважаемый профессор-филолог. И я помчалась с письмом к нему (просьбой о гонораре!) и со мздой по тогдашней устной таксе — к «человеку из средневековья», ростовскому зубному врачу. Тянет меня и об этом зубном враче написать, хотя это затягивает рассказ: мы с моим мужем (к тому времени, 1918 году, мы уже поженились, я и Яков Самсонович Хачатрянц) застали молодого человека со взъерошенной шевелюрой возле люльки только что родившейся у него дочки. Я, уже молодая мать (17 мая 1918 года родилась у меня дочка Мирэль), сразу была заинтересована и втянута в семейную жизнь «средневекового нарочного». Я не знала тогда, что девочка в люльке, Лиля, встретится со мной спустя много лет, в годы Великой Отечественной войны, на Урале и станет верным другом нашей семьи. Как и ее рисковый отец, она сделалась большим путешественником, воспитателем ребят в горной Сванетии, инициатором дружбы и встреч московских и сванетских школьников, их переписки... Отец ее через месяц привез мне ответное письмо от профессора Овсянико-Куликовского. Поскольку денег у редакции уже не было, я осталась без гонорара. Но письмо, имеющее некоторый интерес для историков и филологов в «фольклоре» того разорванного времени, я здесь приведу для читателя. Налево печатно:

Редакция журнала
«Вестник Европы».
Петроград, Моховая, 37.
Тел. 107-78.

И направо уже рукописно:

Одесса,
13 станция Большой Фонтан,
дача бывш. Галиной.

Глубокоуважаемая Мариэтта Сергеевна!

Только что принесли мне Ваше письмо. К великому моему огорчению, я лишен возможности что-то предпринять в Ваших интересах. По-видимому, Вы думаете, что «Вестник Европы» издается в Харькове и более или менее процветает. Увы! Он по-прежнему в Петрограде и едва дышит. Я отрезан от него и лишь случайно, от времени до времени, узнаю, что, например, денег в кассе пусто или что умудрились раздобыть где-то деньги и выпустили книгу Январь — Апрель, где напечатано и начало Вашего романа. Эту книгу я получил в Киеве от сотрудника «Вест<ника> Европы» М. А. Славинского, которому удалось выбраться из Петрограда и который сообщил, что вопреки газетным сведениям редакция и не думает (да и лишена возможности) переселиться на юг. Сидят у моря и ждут погоды. Сношений за пределами большевщины никаких. Ни письма, ни деньги послать нельзя даже с оказией (отбирают). Я уверен, что, как только возобновятся сношения (когда это будет?), гонорар будет Вам выслан (надеюсь, тогда деньги притекут). Буду настаивать и на повышении его. А пока приходится ждать, уповая на будущее.

Вот что я могу предложить Вам: здесь, в Одессе, оживляется литературная деятельность, издаются еженедельники, предположено издание ежемесячного журнала. Я мог бы явиться посредником между Вами и этими изданиями. Постараюсь сделать что можно и тем или другими путями известить Вас о поло-

жении дела. Вероятно, почтовые сношения с Доном вскоре улучшатся, и тогда Вы будете иметь возможность присылать сюда Ваши вещи.

Вот все, что могу доложить Вам.

Искренне преданный Вам
Д. Овсянико-Куликовский.

Это письмо рисует нашу тогдашнюю жизнь с профессорской точки зрения, и от него через сухой, но растерянный профессорский лексикон (надеюсь, может быть, пока, уповая...) просачивается сквознячок тогдашней неугомонной литературной деятельности Одессы. Там зарождался Остап Бендер, подрастал «Золотой теленок», запевали стихи Веры Инбер, Багрицкого, туго обдумывалась будущая классическая «Зависть», красочно вспыхивали строки Бабеля... Но об этом я узнала в подробностях только десятилетия спустя.

С первым моим романом «Своя судьба» вообще творилось нечто несусветное. Рукопись мою, написанную мелким бисерным почерком, мне сперва вернули из Питера, прося переписать большими буквами. Я засадила десять бородатых учеников моего жениха из нахичеванской семинарии за переписку. И листы, исписанные вкривь и вкось разными почерками, с ошибками, которые пришлось править, пошли обратно в редакцию. Пишущие машинки в обиход еще не вошли, все делалось вручную, типографии не капризничали, как сейчас, набирали прямо из-под авторских пальцев... и, кстати сказать, в этих давнишних публикациях опечаток почти не было, по крайней мере, в моих я не находила. «Свою судьбу», дореволюционную, но совсем по-октябрьски направленную против Фрейда, напечатали уже при советской власти в Питере, и тут тоже было интересно. Ее разнес Троцкий. Ее вознес в очень высокой, смутившей меня похвале Анатолий Федорович Кони, чьи произведения и письма недавно были опубликованы. И советский судья, партийный работник тех лет тов. Невский одобрил. «Вот наконец книга, где все на месте — подлежащее, сказуемое...» — пошутил в письме.

Мне понадобился этот длинный отход от ниточки рассказа, чтоб понятней было читателю редкостное и неожиданное появление извозчика у наших нахичеванских ворот. Свои, нахичеванцы, пешком приходили. Так кто же подъехал на четырех колесах? Мы кинулись встречать. Дедушка, собиравшийся есть борщ и уже поднесший ложку к своим седым, со старческой желтизной усам и совсем старым, цвета перламутра губам, остановился, подняв кверху густые брови. Мать сняла фартук, выходя из кухни, где шипела на сковороде самса́-хатлама.

Из коляски, носившей казенный, учрежденческий вид, с достоинством вышел очень маленький ростом господин с белым цветком в петлице. Одна рука короче другой, с детства парализованная, и улыбка на постаревшем, но по-прежнему снисходительно-поучающем приветственном лице, со школьных времен знакомые,— Сергей Яблоновский! Мы ввели его в столовую. Для дедушки это был именитый, почетный политический гость. Дедушка почитал «Русское слово», как английские консерваторы свою «Таймс». Раз-

говор за обедом зашел о политике, о том, что делается в Москве, что делается на Дону, скоро ли воцарится единовластие в России. Беседу вел дедушка, либеральный купец первой гильдии, уже разорившийся до последнего гроша, но полный своими гильдейскими интересами. Яблоновский сказал, что дедушка похож на Бисмарка. Старик, хоть и отнекивался, даже порозовел от удовольствия. И тут, вытерев губы салфеткой, Яблоновский повернулся ко мне:

— Хвалить...— он вскинул осененную черно-белыми прядями голову,— хвалить совершенно дикую поэму Блока, о котором Москва и Петроград говорят с сожаленьем как о потерявшем рассудок, о поэме его — как о позоре, с брезгливостью, с гневом, руки ему не подают за нее...

— Один Пяст!

— Все! Мысленно! Брезгают! Конченый человек. Ему нет места в нашем обществе!

— Ему место в народе!

— Хвалить, как я говорю, в вандейской печати эту мерзость под разными словесными прикрытиями... Меня спрашивали о вас... Памятью прошлого...

— Чушь!

Я не могла не взорваться. И дедушка, чтоб спасти мир на земле, внезапно постарел, сморщился, щеки у него обвисли, он встал. Извинившись нездоровьем и потеряв свою бисмарковскую выправку, покачиваясь пошел из столовой к себе в спальню. Пока он шел, были видны шлепанцы на ногах и слышно шарканье по полу — он не успел переобуться, встретив именитого гостя за столом.

Яблоновский долго, с пафосом уговаривал меня, ссылался на бога, на эрудицию кадетов, на «Вехи», «которые, как слышно, ведь и вам тут понравились», на святую, хрустальную чистоту такого монблана литературы (моего белого, если перевести!), как великий писатель Короленко! И когда ничто не помогло, а Анна спокойно, а я с яростью кричали в ответ: «Мы за большевиков!» — Яблоновский допил кофе, ссыпал с ладони в рот остатки печенья и подвел итог:

— Если так, не прячьтесь! Снимите маску и откройте свою позицию!

На следующий день в «Приазовском крае» появился фельетон Сергея Яблоновского. Старый друг школьного моего детства, ежедневный фельетонист «Русского слова» требовал от меня, уж если я пала до похвалы кощунственных «Двенадцати», снять маску перед лицом единой и неделимой (так величали на Дону деникинскую Россию) и открыто признаться, какова моя позиция. Редактор, напечатавший этот «вызов», долго пожимал плечами. Он ничего не мог, «имя в газетном мире», «как хотите — прогремел номер, нельзя было не напечатать. А вы отвечайте, ответьте — мы тоже напечатаем! На пятьсот рублей штрафа пойду, на отсидку в три дня. Прогремим!». Я ответила статьей «Соус из зайца без зайца». Там я писала о том, что русская интеллигенция, передовая, всегда нас учила ждать революцию, любить революцию, а когда она пришла,

требует соус из зайца без зайца, хочет, чтоб не было крови, не было рассеченья, отброса старого от нового, вообще не было ничего нового, не было революции... Революцию без революции!

Редактор, идя в отсидку и заплатив из своего кошеля пятьсот рублей, благодушно хвастался, как мне тогда передавали: «Ну и что? Хорошенько отстегала моя газета интеллигенцию!» А Яблоновского уже не было — он перебрался в Париж. Так оборвалась ниточка моей связи с Блоком в белой стране деникинщине. Но печатный след ее хранится в донских архивах, в памяти тех, кто еще жив. Там, в центре России, на севере, уже действовала советская власть, а у нас был самый разгул вандейского скудоумия, цеплянье у одних за старое — за царя, у других — за веру в жизненность Февраля, за Учредилку. Шло бесконечное, не имеющее никакого продолженья в деле, в деятельности кадетско-казацкое словоблудие... Только сейчас, когда пишу, лежат передо мной раскрытыми чувства и мысли Блока. В первый же год советской власти на севере, в январе 1918-го, Блок напечатал: «Может ли интеллигенция работать с большевиками? — Может и обязана»[5]. Блок ясновидяще представлял себе Россию, он чувствовал ее не в историческом прошлом, а в жгучей современности — в народе, во вставшей на дыбы огромной народной мощи, в ее требовании справедливости. Блок ясновидяще, беспощадно, как бичом, а не буквами описал оголенную им интеллигенцию, ответившую на призыв к работе саботажем: «Надменное политиканство — великий грех. Чем дольше будет гордиться и ехидствовать интеллигенция, тем страшнее и кровавее может стать кругом. Ужасна и опасна эта эластичная, сухая, невкусная, «адогматическая догматика», приправленная снисходительной душевностью»[6].

Какие эпитеты нашла здесь проза поэта! Точные, бьющие в самое сердце, новые, небывалые: «эластичная», «сухая», «невкусная», «адогматическая догматика»! Внешне как будто исключающая всякую догматику (а-догматичная!), а сама! — догматика русских общественных привычек, догматика б е з д е й с т в е н н о с т и и л и б е р а л ь н ы х н а с т р о е н и й, догматика ч и с т о п л ю й с т в а. И эта прибавка «с н и с х о д и т е л ь н о й д у ш е в н о с т и», так дешево стоящей! Он бросил в лицо отвергшим Октябрь, не понявшим, не услышавшим музыки революции,— а музыку он считал духовностью, откровением духа — уничтожающее слово «бестия», взятое им курсивом: «Музыка ведь не игрушка: а та *бестия*, которая полагала, что музыка — игрушка,— и веди себя теперь как бестия: дрожи, пресмыкайся, береги свое добро!»[7]

И это было тогда же, в начале саботажа (1918), напечатано... А в затаенном про себя, в записных книжках, в дневниках, ставших сейчас доступными, какие откровения человека, понявшего, что живет он в «эпоху, имеющую не много равных себе по вели-

[5] А л е к с а н д р Б л о к. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6, с. 8.
[6] Там же, с. 19.
[7] Там же, с. 11.

чию». Но, возражают те, кто хочет понять, «ведь Блок! Символист, декадент, модернист, во всяком случае. Блок... Прекрасная Дама... «Роза и Крест»...»

Да, все это верно как будто. Но ведь даже в глубь нашей тупой, огороженной Февралем, а после него штыками гниющей казацко-деникинской провинции Вандеи дошло: Блок захотел ставить «Розу и Крест» реалистически. А сейчас что открывают нам дневники и записные книжки? Еще до войны 1914 года, в начале его, он записывает о своем отвращении к модернизму, к «трюкачеству в театре», ко всей «левизне» в искусстве тех лет, к которой по репутации принадлежит и которую презрительно именует Мейерхольдией:

«Опять мне больно все, что касается Мейерхольдии, мне неудержимо нравится «здоровый реализм», Станиславский и Музыкальная драма. Все, что получаю от театра, я получаю оттуда, а в Мейерхольдии — тужусь и вяну. Почему они-то меня любят? За прошлое и за настоящее, боюсь, что не за будущее, не за то, чего хочу»[8]. Именем Мейерхольда пестрит дневник Блока тех дней, но в каком напряжении, в борьбе! Записки обиженней и тверже. Блок считал себя «слабым характером», говорит об этом не раз (с сокрушением). Но какая твердость в определении того, что он хочет, в пунктирном абрисе «будущего своего»: не тот, каким они (окружение, среда, модернисты, Мейерхольдия) его любят, а кого не знают, не понимают, борца за себя будущего, такого себя, каким он сам себя хочет. В дневнике, соблазнявшем многих, многих писателей и даже филологов влюбленностями Блока, его «романами», идет большая личная линия. Но наличие записок, совпадающих по времени с самыми яркими увлечениями Блока, больше другого. В записных книжках — борьба, напряжение, точная мысль, точная волевая тяга к будущему. Он пытается разобраться в себе с лабораторной точностью. За день до этой изумляющей записи строки о первых событиях любви к Дельмас, о самых нежных и сильных минутах его увлеченья, 5 марта 1914-го; а вот тут же в записной книжке от 6 марта 1914-го — анализ. Чего? Своего чувства, своего увлеченья? Ни капли, ни намека на это личное, казалось бы, такое большое, такое огромное место занявшее в жизни Блока. Словно нет и не было Дельмас, как и всех женщин, в узком мире его. Он пишет (курсив всюду его):

«Попробовать хоть что-нибудь записать:

«Во всяком произведении искусства (даже в маленьком стихотворении) — больше *не искусства*, чем искусства.

Искусство — радий (очень малые количества). Оно способно радиоактировать все — самое тяжелое, самое грубое, самое натуральное: мысли, тенденции, «переживания», чувства, быт. Радиоактированию поддается именно *живое*, следовательно — грубое, мертвого просветить нельзя.

---

[8] Александр Блок. Записные книжки. М., «Художественная литература», 1965, с. 209. Запись от 21 февраля 1914 года.

Яд модернизма.

Что меня оставляет равнодушным, а чаще ужасает в Мейерхольде: Варламов, обходящий сцену с фонарем в «Дон-Жуане»; рабы в «Электре», выбегающие зигзагами (и всё в «Электре»). Монахи, нарисованные на ширме («Поклонение кресту» — Бонди). Крыша — в «Пробуждении весны» Ведекинда (всё «Пробуждение весны»). Вся «Гедда Габлер». Многие движения в «Комедии любви» Ибсена.

Современный натурализм безвреден, потому что он — *вне искусства* (что на театре да на Передвижной — временный пустяк). Модернизм ядовит, потому что он *с искусством*.

Балаган, перенесенный на Мариинскую сцену, есть *одичание*, варварство (не творчество).

Люблю в «Онегине», чтоб сжалось сердце от крепостного права. Люблю деревянный квадратный чан для собирания дождевой воды на крыше над аптечкой возле Plaza de Toros в Севилье (Музыкальная драма — «Кармен»). Меня не развлекают, а мне помогают мелочи (кресла, уюты, вещи) в чеховских пьесах (и в «Кармен», например, тоже).

Очень люблю *психологию* — в театре. И вообще чтобы было питательно».

Блок пишет дальше в тот же день: «После того как я это записал, пришел ко мне Мейерхольд...»[9] Он записал это, как бы вооружаясь для беседы с ним. Вот в какой панцирь самого себя — мягкого, слабохарактерного, но огромной силы. Силы правды, точного исторического пониманья вещей, непосредственности человека природы, человека натурального, здорового, умного вкуса. И ему надо было отстаивать этот вкус, проносить его целым и невредимым и в своем отношении к Горькому, расходящемся с отношеньем его среды; и в своем нежелании (письмо к Петру Струве, приглашавшему его вступить в организуемую им Лигу русской культуры) быть там, где среди учредителей нет имени Горького и есть имя Родзянко. Письмо это очень важно для правильного понимания Блока, понимания самого главного в его духовно-душевной жизни тех лет, а не романов, которые проходили, оставляя холод и равнодушие... Так редко попадалась мне в том, что я сейчас читала о Блоке, попытка серьезного исследования главной линии биографии Блока-борца, Блока на переломе двух эпох, Блока, шагнувшего из прошлого и настоящего в будущее, что хочется как на гранитную плиту опереться на такие документы. Июльское восстание... Поражение большевиков... Подняли голову члены Временного правительства... Блок пишет Струве, тоже поднявшему голову, в *такие* дни: «Тщательно взвесив для себя ваше предложение... я пришел к заключению, что только одно обстоятельство могло бы служить для меня препятствием: это обстоятельство выражается и конкретно, и символически в отсутствии среди учредителей имени

[9] Александр Блок. Записные книжки, с. 213—214.

Горького, или, говоря еще больнее и острее: *есть* М. В. Родзянко и *нет* Горького...»[10]

После июльских дней! И так глубоко отчетливо в политическом отношении!

4

А у меня 1917 год шел по клочкам — поездка в Питер на несколько дней, обрученье, лето в Геленджике, свадьба с Яковом Самсоновичем Хачатрянцем 25 июня в Нахичевани-на-Дону, отъезд в Кисловодск и первая поездка в Армению... Все это смешано было с деловыми целями — хлопотами в Питере об отсрочке для двоюродного брата Павлика, посещеньем Леонида Андреева в связи с газетной работой в «Русской воле», писанием всяких очередных статей, очерков в «Армянский вестник» о мифологии армянских сказок, с подготовкой двух лекций: «Армянские сказки» и «Микаэл Налбандян». Оба мы с женихом были бедняками. У обоих близкие, семьи — у него мать, брат, две сестры, у меня мать и сестра. И бедность была счастьем. Бедность была непрерывным призывом к труду. Бедность оставляла душу чистой от пустого времяпрепровожденья, время становилось самым великим богатством, оберегаемым, как драгоценность, бедность приучала к постоянству, долгу труда, творчеству, ежедневной потребности творчества. В насыщенности этих месяцев и личными волнениями, и постоянным трудом, и целевыми поездками в Питер, Москву, Екатеринодар, и предсвадебным уединением в Геленджике опять же для работы и работы я как-то мало воспринимала внешние события.

Пробился какой-то привкус «как все». Оказывается, для жизни не как все, жизни, творимой индивидуально, надо тратить гораздо больше времени и энергии, чем для экономной и машинальной, подобной обеду в столовке, спешной и незаметной жизни как все... Может быть, эта незаметность укороченного хода времени как бы массовым каким-то, общим порядком и составляет то, что мы называем обывательщиной. Упорный «большевизм» — большевизм вне политики и понимания политики — жил где-то совсем внутри меня, забившись в самые глубинные щели моего затормошенного, перегруженного «я», но в дневнике того огромного, великого для всего человечества года я нахожу себя чуть ли не обывательницей. Февральская революция, встреченная, как большинство ее встретило, празднично, наивно, с полной верой, с писанием слабых гражданских стихов, где ни атома не осталось от утонченности моих «Orientalia», в первые недели адресованных... Керенскому, иконе для женской половины обывательщины. «Ты, первенец свободы русской, народом выбранный в вожди,— иди вперед дорогой узкой и отстающего не жди» — это Керенскому!! Но вот побывка в Питере. Разговоры со встреченной прачкой, с носильщиком, извозчиком: есть нечего, или еще грубее — «жрать нечего», «госпо-

[10] Александр Блок. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, с. 509.

да жили как живут». Афиши на круглых питерских тумбах: Игоря Северянина первый республиканский поэзовечер, Министерство народного просвещения, раздел (почему-то вместо «отдел») общих дел. Чиновник Временного правительства, некий Бейэр, господин Бейэр для секретарши, даже не гражданин; его неприветливость, категорический отказ — ну еще бы! Отчаянно визжит пропаганда войны, продолженья войны, войны «до победного конца», а тут интеллигенция отсрочки просит. Народ гонят в измученную армию, на заколебавшийся фронт. Братанье. И все это неосознанно, массово, по-обывательски: «Нельзя подвести союзников, измена союзникам — хотеть сепаратного мира». А глаза наблюдают, уши слушают, острое ощущенье потерянного ритма жизни, потерянного порядка в быту. Вот описанье отъезда из Питера в Москву: «...в спешке уложилась, и к восьми мы с дядей были на вокзале. Что за ужас там царил! По нескольку сот человек забиваются в вагоны. Дышать нельзя, двинуться нельзя. Мне изодрали пальто, вышибли стеклышко из лорнетки...»

Испробовано на себе: отходы, приходы поездов с опозданьями на сутки, висящие на буферах, кому не удалось влезть в вагон, крыши, переполненные забравшимися туда людьми, пересадки, где раньше их не было... Солдаты, солдаты, которых гонят на фронт, которые бегут с фронта,— и 7 мая опять гражданский стишок, слабый, но непохожий на «шампанскую революцию» Северянина. Все-таки есть в нем что-то свое, жажда Раскрепощенного труда, пробившаяся сквозь синтез впечатлений:

ПЕТЕРБУРГУ

Как в первые дни творенья
У людей, искушавших власть,
Шипит змея говоренья,
Раскрыв двуединую пасть.

На площади, на перекрестках,
В толпе и с глазу на глаз
Слов лишних, тупых и хлестких,
Ползет ядовитый газ.

Пусть были мы раньше немы,
Пусть скован был наш язык,
Но, товарищи, разве все мы
На руках не носили вериг?

Почему языку — свобода,
Почему несвобода — руке?
Кто же строит стены и своды
На словесном, пустом песке?

На песок только ветер дунул —
И песок залепил глаза.

Все засыплют песком буруны,
Что очистила нам гроза.

Нет! Да будут свободны руки
У сынов свободной страны.
Шум машин и молота стуки
Вместо песни нам петь должны.

И свобода, влекомая в пропасть,
Да не скажет нам в страшный час:
— Что твердите мне: «Господи! Господи!»
Отойдите, не знаю вас!

Этот синтез впечатлений не совсем верен. Митинги, споры, схватки разных убеждений, полемика (не болтовня, не «шипит змея говоренья, раскрыв двуедину пасть») в диалектике партийных боев, ожесточенных споров, призыв к войне «до победного конца» у одних и к братанью в окопах, к миру, к прекращенью войны у других — выковывалось рожденье новой, необыкновенной России. Под покровом разложенности, разболтанности, распада, растущего беспорядка накалялась лава народного вулкана, росла и крепла железная воля разума, сила того, кто создаст новый порядок, возьмет на себя будущее, скажет: «Есть такая партия!» Не могу отказать себе в ленинском изумительно верном и ярком при своей краткости описании Февральской революции:

«Возьмите то, что́ произошло в России за полгода после 27 февраля 1917 г.: чиновничьи места, которые раньше давались предпочтительно черносотенцам, стали предметом добычи кадетов, меньшевиков и эсеров. Ни о каких серьезных реформах, в сущности, не думали, стараясь оттягивать их «до Учредительного собрания» — а Учредительное собрание оттягивать помаленьку до конца войны! С дележом же добычи, с занятием местечек министров, товарищей министра, генерал-губернаторов и прочее и прочее не медлили и никакого Учредительного собрания не ждали! Игра в комбинации насчет состава правительства была, в сущности, лишь выражением этого раздела и передела «добычи», идущего и вверху и внизу, во всей стране, во всем центральном и местном управлении. Итог, объективный итог за полгода 27 февраля — 27 августа 1917 г. несомненен: реформы отложены, раздел чиновничьих местечек состоялся, и «ошибки» раздела исправлены несколькими переделами.

Но чем больше происходит «переделов» чиновничьего аппарата между различными буржуазными и мелкобуржуазными партиями (между кадетами, эсерами и меньшевиками, если взять русский пример), тем яснее становится угнетенным классам, и пролетариату во главе их, их непримиримая враждебность ко *всему* буржуазному обществу. Отсюда необходимость для всех буржуазных партий, даже для самых демократических и «революционно-демократических» в том числе, усиливать репрессии против революционного

пролетариата, укреплять аппарат репрессий, т. е. ту же государственную машину. Такой ход событий вынуждает революцию *«концентрировать все силы разрушения»* против государственной власти, вынуждает поставить задачей не улучшение государственной машины, а *разрушение, уничтожение* ее» [11].

Пониманье всего этого еще отсутствовало в моем гражданском стишке. И все же было в нем нечто совсем другого порядка, чем «шампанская революция» Игоря Северянина. В нем была очень острая в те дни тоска по труду. Но я как будто трудилась ежедневно, ежечасно. Почему же тоска? Откуда это ощущение вериг на руках? Мне сейчас ясно, что тут был очень важный биографический факт: труд мой тогдашний оставался все тем же старым трудом. Так почему же он продолжается, не изменившись, после революции? Почему этот труд ассоциируется с бездельем — и страстно хочется нового труда, особенного, созидательного, не похожего ни на что старое? А если он все такой же и такая же продолжаемость прежних романов, повестей, очерков, статей, рецензий, то для чего была революция? Что она изменила в жизненном обиходе? В профессиональном труде? И отсюда страстным, новым, еще несвоевременным порывом — «шум машин и молота стуки вместо песни нам петь должны». Для утоления этой тоски по такому труду, когда «черный» труд становится песней, нужна была другая революция, а я не понимала, не чувствовала ее подземного кипения, нужно было другое бытие, его выковыванье в борьбе, в том числе и в словесной борьбе. В слове, правильно направленном, в правдивой речи, в нужном — целевом — лозунге нуждался народный слух, он ловил его, впитывал его, и слово действенно боролось, служило в борьбе... Слово сделалось созиданьем, когда пришла вторая революция.

Очень важно понять, что Октябрь принес утоление тоски по труду. Он утолил тоску по труду, потому что дал новое качество труду, изменил существо труда, сделал его новым. Уверена, что не мне одной это ясно, не одна я пережила и поняла это. Для таких, как я, для части интеллигенции, для рабочих новое качество труда — это созидание для справедливого строя жизни, первое в мире раскрепощенье труда, свобода инициативы в нем, свобода творчества... И на юге, в белой Вандее, когда пришли туда красные, это новое качество труда вспыхнуло, может быть, ярче и сильнее, проявилось убедительней, захватило сразу, нежели на севере, хотя, казалось бы, пришло с опозданием чуть ли не на два года и еще не было обжито, как там, где уже строился социализм.

Среди моих послеоктябрьских писаний, очень нравившихся Ленину, был очерк «Как я была инструктором ткацкого дела», написанный о свежепережитом сразу по возвращении в Москву и Питер в 1921 году или в конце 1920-го, а напечатанный в сменовеховской «Новой России» № 2 в самом начале 1922 года. Он был снабжен подзаголовком «правдивый рассказ», и это было точное определе-

---

[11] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, с. 30—31.

ние того, что родилось как новый жанр,— с о в е т с к о г о о ч е р к а. Лучше этого простого, честного и открытого, смелого с сегодняшней точки зрения рассказа о пережитом я и сейчас написать затрудняюсь, так свежо, так пропитанно воздухом тех дней дышит он каждой своей строкой, и я его, не боясь обвинения в «плагиате» у себя самой, щедро здесь списываю. Сперва говорится в нем, как ринулась интеллигенция поработать, послужить новому строю вначале обычной своей профессиональной формой труда, потом проектами, докладами, чем можно, потом... саботаж! Но сколько знаю и помню, в нашей маленькой группе творческой интеллигенции никакого подобия саботажа не ощущалось. Наоборот — профессиональные наши навыки еще не освоили новое содержанье, еще усложняли своей «старомодностью» его примененье. На юге у нас, где еще оставались военные постои, гражданская война приучила жителей к особой форме пропитанья: размещались по домам красноармейцы, они приносили хозяйкам мясо, военный паек, хозяйки готовили солдатам и сами с ними питались, кормили семью. Жить становилось так интересно, так по-новому, что «шкурный вопрос», так называемая материальная сторона куда-то отодвинулась, не играла роли в поисках работы. Поиск был — как, чем, где послужить строительству нового мира. Сперва мои писанья для тогдашней печати не подходили, не попадали в русло нужной направленности. Редактор одной газеты, бывший председатель комитета учащихся, ученик четвертого класса коммерческого училища, вернул мне длиннейшее художественное мое писанье на экономическую тему, сказав, что я пишу буржуазно, не жалея бумаги и чернил, вообще неподходяще. И был прав.

И вот когда я уже совсем отчаялась хоть чем-нибудь послужить революции, мне пришла повестка из губнаробраза. Меня призвали и назначили инструктором текстильного дела при только что образованном Донпрофобре (Донском отделе профессионального образования). Нынче сказали бы, в отдел ПТУ, профессионально-технических училищ,— вот с каких пор я связана с фабричной молодежью, с тремя магическими буквами, идущими еще от Ленина, от Крупской, профессионально-техническое училище, область профессиональных союзов, политехники, завтрашнего дня социализма и его приготовительного класса в тот год.

Инструктор текстильного дела — это не от слова «текст» и к литературе никакого отношения не имеет. Летом в Анапе, чтоб не бездельничать, я поступила в «дамский кружок», где под эгидой преподавателя из Строгановского училища курортные дамы учились прясть и ткать, и вышла из этой самодеятельной школы хорошей пряхой. Пряла и на веретенах и на «рукотворной» крестьянской ножной прялке, умела и ткать на ручном ткацком станке. В какой-то из бесчисленных анкет, которые я заполняла, упомянула об этом, и вот понадобилась! Наверное, западный безработный не был так счастлив получить свою специальную работу на заводе, как я, наконец-то получив неспециальную! Внезапно во всех смыслах слова.

Помню, как я пришла первый раз в Донпрофобр. Служащие еще не знали друг друга по имени-отчеству, не все помнили заведующего в лицо, никого не помнил заведующий, и никто не знал в точности расположения комнат. Инструкторы назначались с лихорадочной поспешностью. Им предоставлялись широчайшие возможности выдумывать самим себе какие угодно инструкции и выполнять их с мандатами в руках, но без денег. То было время безденежья и полновластия мандатов.

Заведующий деловито предложил мне подумать, что можно сделать в роли инструктора. Я обещала подумать и первый свой визит сделала к Брокгаузу и Ефрону.

Для специалиста Брокгауз и Ефрон не нужен. Зато дилетанту (а все инструкторы были в ту пору вдохновенными дилетантами) Брокгауз открывал широчайшее поле зрения. Надо было только уметь выбирать. В один день я узнала историю ткачества, историю овцеводства, историю Донобласти, обработку льна, обработку конопли, науку о шерстоведении и уже не помню что еще. Пять лет жизни стоило мне, чтоб кончить историко-философский факультет. Но я никогда не знала историю философии с тою исчерпывающей ясностью, с какой обрисовалась передо мною возможность текстильного дела на Дону в итоге однодневного чтения. Уже я знала, какое у нас сырье и куда мы его продавали; знала, что ткачество неведомо донским городам даже в кустарном виде, что станичники не прядут, не обрабатывают коноплю. От Брокгауза я отправилась к городскому агроному и прибавила к своим познаниям статистику: сколько уничтожено овец войною, где, сколько и какой породы осталось. И пусть читатель не смеется: когда спустя месяц мне пришлось столкнуться со специалистами по каждой отрасли, открывшейся мне по Брокгаузу, я оказалась вооруженной столь синтетичным и незатемненным знанием всего самого главного, что могла говорить и спорить с каждым из них настолько, чтобы от них учиться. Вот незаменимая польза такого общего представления о предмете. Специалист же частенько не видит за лесом деревьев.

План, вставший передо мною к закату первого дня, был увлекательно прост. Надо только открыть в Ростове основную прядильно-ткацкую школу для срочной подготовки учителей. А по станицам разбросать отделения, где обучались бы элементарному прядению и ткачеству. Я уже узнала, что ткацкое кустарничество предшествует фабричному производству и далеко не убивается этим последним; так, в бывших Эстонской и Лодзинской губерниях поблизости от производственных центров продолжали работать и кустари, не убиваемые фабрикой. Оттого-то мне мерещилось начало кустарничества в Донобласти наряду с широчайшими планами конопляного и льняного промысла как зарождение будущего производственного центра. На следующее утро я проснулась в той напряженной устремленности к цели, какая, должно быть, бывает у стрелы, спущенной с тетивы. Уже не от меня зависело не быть инструктором текстильного дела. С того утра целый год и два ме-

сяца я жила только одною мыслью и в реализации ее не знала ни отдыха, ни усталости.

Надо защитить свой план, а с тобой спорят принципиально (мы были в полосе борьбы с кустарями).

Надо оборудовать школу, а где взять станки, помещение, прялки, сырье?

Надо открывать филиалы, а с кем?

Начало всему положил мандат. Этот мандат я сохраняю как реликвию: никогда ни одна бумага в моей жизни не была более потенциальна.

Мандатом мне давалась широкая власть делать все, что можно сделать доброй волей и голыми руками. Надо сказать, что до сих пор я была человеком антиобщественным. Глуховатость мешала мне общаться с людьми, близорукость делала неуверенной; я тыкалась носом наудачу и во всех л и ч н ы х предприятих терпела поражение. Теперь мне суждено было радоваться глухоте и близорукости как двойному кольцу вокруг моей мании, оградившему меня от добросовестного благоразумия чужих советов, скепсиса, недоверия, излишнего знания людей и обстоятельств, от всего, что могло бы обессилить и охладить. Наступило «безумие».

Метод реквизиции был всесилен в провинции тотчас после переворота. Не всегда он применялся правильно. Отобрать и переставить с места на место — дело пустое; однако оно давало иллюзию строительства.

Я очень скоро поняла, что реквизировать значит разрушать; составила даже табличку, что можно и чего нельзя; можно реквизировать пустое помещение, можно реквизировать сырье, если тотчас же пустишь его в обработку, но никогда нельзя реквизировать машину, орудие производства, там, где она уже действует,— так гласила моя начальная этика. Между тем машина-то и была мне наиболее нужна. В Ростове несколько ткацких станков имелось в ремесленном училище да у немногих кустарей, возникших только с начала войны. Реквизировать их значило разрушить готовое дело. И вот я отыскала инженера, изготовившего им эти станки, и волшебный мандат мой, как Аладдинова лампа из «Тысячи и одной ночи», снабдил инженера заказом. За все время моей деятельности, открыв основную и ряд сельских школ, я ни разу не реквизировала ни одного инструмента, ни одной прялки, хотя инвентарь, созданный мною для тогдашней школы, был весьма внушителен.

С совнархозом мне пришлось вести дамскую политику. В совнархозе сидели спецы, люди воспитанные; они еще целовали женщинам руку и почитывали стихи. Около них я смутно вспомнила, что когда-то была поэтом, и пользовалась этим. Зачем автору «Orientalia» сырье? Мандат можно обойти, можно закаиителить ордера до полной неразберихи, но не стоит обижать даму и поэтессу — и сырье со вздохом было отпущено.

Я воевала с Чусоснабармом, райкомводом, реввоенсоветом, штабами всех дивизий, проходивших через Ростов, с телефонно-телеграфной командой, с ревтрибуналом, с курсантами, со всеми, кому

не лень было въехать в мое помещение, занятое и отремонтированное под школу. Товарищи-организаторы знают, что это значит! Сколько раз приходилось бросать налаженное место, сколько прошений исписывалось, куда только не ездилось; сотни расписок от приятых Рабкрином жалоб угрожающе, но бесполезно скапливались на дне портфеля. Доисполком, и окрисполком, и горисполком истаптывались сотни и тысячи раз, и когда возникал, как в карточной игре в «пьяницу», бесконечный спор между двумя учреждениями, он решался в присутствии какого-нибудь члена президиума (члены коллегии еще не вошли у нас в моду). Каких трудов стоило добиться решения — и часто торжественная выписка из протокола, потрясаемая в воздухе перед лицом какого-нибудь заведующего хозяйственной частью штаба Н-ской дивизии, пренебрежительным фырканьем выдувалась у вас из рук и шла на цигарку, а штаб жил себе и жил у вас в школе, разводя насекомых и сквозняки.

Но и это было еще только началом.

За городом стояли станицы.

В донской станице остались одни бабы (всех казаков угнали сперва Деникин, потом Врангель), старики заседали в сельсоветах, а ребята шли за секретарей. Раз в неделю партийный комитет посылал туда ораторов на митинг. Я было пустилась в путь одна с могущественным мандатом. Но меня чуть не избили на глазах у сельсовета. Агитаторше, посланной от парткома, спастись не удалось — каза́чки ее избили. С тех пор я ездила по станицам всегда в компании и наслушалась деревенских митингов, в конце которых ораторы выпускали меня как наглядное доказательство заботы города о деревне. Я садилась на возвышении в огромном зале бывшего волостного управления с весами посредине (шла разверстка, и здесь производили ссыпку). Мне приносили с телеги прялку, чесалку, узелок с мытою шерстью. Я показывала, как надо чесать шерсть, делала кудель, садилась прясть и час-другой пряла под сердитыми, наблюдающими глазами казачек. Потом они подходили, трогали прялку, шерсть, нитку и меня заодно. Я невинно привирала, что платье мое (льняное) выткано мною самой. И тут же говорила о том, как можно и на Дону вырастить лен, годный для пряжи. Эти «сеансы» всегда были самыми интересными частями митинга. Иной раз они курьезно кончались; слушают-слушают казачки, одна скажет: «А ведь у нас тамбовцы есть, беженцы, ширинку ткать умеют, и красить умеют, и прядут-то чище тебя».— «Зови тамбовцев!» И являются благообразные расейские, в лаптях, с тонкой усмешечкой. Оглядит прялку, покритикует. Беженцев я тотчас же мобилизовывала, делала преподавателями, вносила в ведомости губнаробраза и на месте, запротоколировав это собственноручно в заседании исполкома, открывала филиальное отделение.

Однажды в армянском селе с помощью таких беженцев мы инсценировали сбор, мочку, трепку и ческу дикой конопли; это было так показательно, что вся деревня ходила за нами, и к следующей осени бабы уже делали мешки и веревки.

Возвращаться приходилось чаще всего ночами, при холодной степной луне. Телега прыгает на рытвинах, рядом усталые митинговые ораторы, бледные городские люди. Смотрят на степь, на бегущие волны ковыля, под луной оживающие, как море, и пускаются иной раз в беседу со стариком возницей. Он хитрый — молчит, в бороду смотрит, вожжой пошевеливает: н-но! Старые крестьяне и казаки — консерваторы и оппозиционеры, но не в пример молодым они умеют и любят слушать и отлично разбирают поверхностные речи от глубоких. Проезжаем бахчой, лошаденка останавливается, казак слезет, сорвет арбуз, угощает заезжих горожан. Мы режем перочинными ножами, но холодно есть холодноватую сладость арбуза в степные ночи: словно купаться вздумал.

Я перевидала и переслушала в эти поездки множество людей и бесед. Это долго еще стояло во мне каким-то душистым прохладным комом, близкое, как вчера, и ждало своей очереди. Мне жалко осознавать его, хочется длить вкус этого близкого и глубокого воспоминания, чтоб никогда не забылись ни его нежность, ни острота.

А Первая советская прядильно-ткацкая школа возникла как реальнейшее дело, с шестью станками и чулочными машинами, с пятьюдесятью прялками. Спецы — лекторы, молодой и толковый строгановец — заведующий. Учениц и учеников столько, что одних кандидатов составились две очереди. В первые же три месяца мы дали наробразу сукно...

Теперь и она ушла в воспоминанье. Я сделала свое дело, соскучилась по перу, вернулась на север. Но все написанные мной книги и те, что, может быть, еще напишу, кажутся мне ничтожными по сравнению с годом и двумя месяцами, когда я была инструктором текстильного дела на Дону.

Так я писала в своем первом советском очерке о пережитом.

5

С опозданием пришел Октябрь на Дон. С опозданием еще большим вернулась я на север. Захваченная новой, советской действительностью, я проработала больше года инструктором Донпрофобра. Сестра моя в это же время организовала районную художественную школу в доме Зеелера (дома́ еще не перешли на нумерацию и хранили имена домовладельцев). Она стянула туда преподавателями всех бывших на Дону художников — Мартироса Сарьяна, Евгения Лансере, местных живописцев Федорова, Аганджаняна, архитектора Марка Григорьяна и других. Позднее ее школа превратилась в Государственные мастерские, а ученики ее с путевками в Академию художеств стали известными мастерами, разбрелись по Советской стране, и те, кто остался в живых до 1961 года, поставили свои подписи под очень теплым некрологом о смерти моей Анны в Москве... Вот этот некролог:

„ЧЕЛОВЕК НЕУТОМИМОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Исполнился год со дня смерти Магдалины Сергеевны Шагинян — художника большого таланта, человека большой души и мужества.

Магдалина Сергеевна Шагинян родилась в Москве в 1890 г. в семье врача. Лишившись отца, она рано начала трудовую жизнь, училась, давала уроки. В 1911 г. Магдалина Шагинян окончила Высшие женские курсы. Будучи разносторонне одаренной, Шагинян с юных лет занималась музыкой, лепкой, рисунком.

После Октябрьской революции дарование Магдалины Сергеевны нашло свое место в жизни.

В первые дни прихода Красной Армии на Дон Магдалина Сергеевна становится сотрудником секции ИЗО отдела народного образования и организовывает художественную школу для всего района Дона, руководит ею и одновременно преподает историю и теорию искусства и перспективу. Для работы в школе Шагинян были привлечены высококвалифицированные художники, среди них Мартирос Сарьян, архитектор Лайсере и др.

Авторитет М. Шагинян, ее организаторские способности, несомненно, были одной из причин успешной работы художественной школы в Нахичевани, которая сыграла большую роль в создании кадров советских художников.

В 1926 г. Магдалина Шагинян окончила Ленинградскую Академию художеств по классу профессора А. Матвеева и в 30-х годах переехала в Москву.

Обладая многосторонним дарованием, большим чувством пластики и композиции, Магдалина Сергеевна работала в области скульптуры и рисунка, всегда предъявляя к своему труду высокие требования. Ее искусство — теплое, человечное, в нем внутренняя правда и всегда самостоятельная мысль. Бюст «Карачаевка Байдемат» и «Барельеф» (мужская голова) экспонировались на выставке в Ростове-на-Дону, двухметровая скульптурная композиция «Смена» — на выставке конкурсных работ в Ленинграде.

В своих работах Магдалина Шагинян часто обращалась к теме труда, например в скульптуре «Сеятель» и др.

Из рисунков Магдалины Шагинян хочется вспомнить ряд портретов, в том числе ее сестры — писателя Мариэтты Шагинян, серию, посвященную Еревану, серию рисунков «Дети» и другие, многие из которых были на выставках.

Заслуживают внимания куклы Магдалины Шагинян, выполненные для московских театров, оформленные ею книги.

Человек очень разносторонний, Магдалина Сергеевна много работала и в области музыкальной композиции.

Думая о Магдалине Шагинян, хочется сказать о ее большом мужестве. Преодолевая тяжелую болезнь, художник продолжал творческую работу, не оставляя ее до последнего дня своей жизни. Увлеченность, жажда творчества всегда помогали ей пройти все

трудности на пути к искусству, которое она всегда глубоко и искренне любила.

Магдалина Шагинян была художником большого таланта, неутомимой творческой энергии, очень скромным, кристальной чистоты человеком, незабываемым сердечным товарищем.

А. БАССЕХЕС, А. ВАСНЕЦОВА, Б. КАПЛЯНСКИЙ,
Г. КОРОБКО, А. МЕС, А. ТАВАСИЕВ, ШУРЫГА,
А. ЗАНДБЕРГ, С. КАПЛУН, А. МАЛАХИН, С. РАБИНОВИЧ,
Г. ШУЛЬЦ, Я. ЭГЛОН". [12]

Соскучившись по профессиональной работе, с планами разных очерков и статей, с огромным материалом всего пережитого на юге и, наконец, с уже выработанным опытом инициативной советской деятельности, я взяла командировку в Москву и Питер и 9 ноября 1920 года выехала на север.

Мне казалось — я найду своих коллег по перу и ту часть интеллигенции, в среде которой раньше жила, куда более опытными в советской практической работе, куда более подготовленными к ней, нежели я сама: ведь у них для этого было время — два с лишним, нет, даже целых три года! Мне казалось — я сразу найду работу, буду печататься, и пользу приносить, и счастье испытывать оттого, что приношу пользу... Я везла с собой тетрадь с девятью пьесами, написанными проблемно, хотя проблемы эти (например, всегдашняя неправота и всегдашнее поражение меньшевизма в пьесе «Клуб непогрешимых» или неузнание интеллигенцией революции, когда настоящая революция пришла, в «Доме у дороги» и в «Чуде на колокольне» и т. д.) были завуалированы своими сюжетами до неузнаваемости — угадывались только сочувствующим сердцем. На обложке тетради гордо стояло: «Театр М. Шагинян». А в голове у меня скопилось столько материала, уже освоенного мыслью, роилось столько тем, сюжетов, проектов — о производственных школах вроде нынешних ПТУ, об использовании киноэкрана, чтоб на каждом заводе он был поставлен и показывал каждое хорошее достиженье, каждую чистую работу, новую полезную выдумку и старые полезные навыки с завода на завод, чтоб каждый видел, учился, наглядно усваивал... Конца не было этим проектам.

И вот поздним ноябрьским вечером туго набитый поезд, задыхаясь и грязно дымя, подполз к московскому перрону. Этот приезд очень подробно и совершенно правдиво описан у меня в новелле «Тринадцать-тринадцать» романа «Кик». Темная, мрачная, мокрая Москва в пятнах скупого света уличных фонарей, оранжево-тусклых, испещренных грязными брызгами дождя. Хлюпанье мокрых подошв в скользких лужах. Тени мешочников, выступающих из темноты с хриплым шепотом: «Краюха хлеба за теплую рубаху» — или: «Кусок хлебушка за спичечный коробочек». Предложенья со всех сторон из пропитанной влагой мглы: «Донесу багаж куда надо за провиант какой есть»... И уже схвачен чужими руками багаж.

[12] «Московский художник» (орган Правления и партийной организации МОСХ), 1962, № 9 (август).

А наверху круглое лицо вокзальных часов с умершей стрелкой на одной и той же цифре. И хождение, хождение до ночи в поисках ночлега... И главное — эти испуганные, потрясенные лица знакомых и незнакомых в отверстии, за дверной цепочкой, с ужасом в голосе: «С юга — нет, нет, нет, не могу, не можем...» И страшная ночевка в том самом здании на Поварской, барском особняке, где сейчас работает Союз советских писателей, а тогда был кафе-клуб писателей и хозяйничал в нем рыжий пышноволосый поэт Рукавишников,— все, как описано у меня в новелле спустя много лет...

В Москве были голод, холод, неустроенность. Художник Мартирос Сарьян, приехавший раньше меня, ночевал на трех стульях в нетопленой квартире Александра Федоровича Мясникова, с которым мой муж кончал Петербургский университет. Москвичи, ослабевшие от голода, останавливались в подворотнях от недержания мочи. Не было слышно стука копыт и колес на улицах. Не убирали снег и грязь. С крыш капали, замерзая ночью сталактитами, струи жидкого снега. В магазинах сквозь затянутые пылью и пятнами грязи витрины красовались бумажные цветы и в стаканчиках нечто вроде киселя или компота бог весть из чего, с приправой аптечного сахарина — единственный съестной продукт, каким торговали в городе. А на черном рынке — там не было торговли, там царствовал обмен. Одежду, старую обувь, обручальные кольца — на сырую картошку, крупу, кусок сизого, в радужных отблесках мяса неведомой твари. На юге у нас было и теплее и сытнее, а главное — юг был захвачен новым бытом, новым качеством труда, новой своей деятельностью, размахом личной инициативы. Север — городская столичная интеллигенция — жил в недоедании, ожидании, постоянном страхе и озлобленности... Так было в той части знакомой мне интеллигенции, среди которой я вращалась раньше. И все это потрясало, отталкивало меня. С купленной где-то морковкой, отмытой дождем, я шагала по улицам, грызя ее. Когда наконец в Петровском парке на дачной тогда улице Верхней Масловке в старинном деревянном домике отыскала свою школьную подругу Катю Вельяшеву и устроилась у нее, первым долгом вынула из багажа чернильницу и ручку. Бумагу дала Катя, правда нотную. Она работала музыкальной руководительницей районного детского сада. И то, что существует советский детский сад, существует советская учительница, получает по ведомости жалованье, проводит родительские собрания, употребляет новые, народившиеся, как месяц молодой в небе, советские термины вроде учгиз, домком и даже совбур, и этот живой, милый советский работяга — моя собственная Катя,— словно вид из окна мне открыло: вид на совсем другую Москву, настоящую, деятельную... С подъемом, с вдохновеньем я настрочила две статьи, казавшиеся мне наиболее нужными,— «Кинематограф и производственная пропаганда» и «К открытию Курсов по обработке конопли и льна». Две в один присест.

Мясников, к которому понесла их, снабдил меня рекомендациями в «Правду» и «Экономическую жизнь». Но «легкость необыкновенная», опять воцарившаяся в моем настроенье, оказалась об-

манчивой. «Правда», проглядев обе статьи, ответила, что они «слишком специальны», а редактор «Экономической жизни» Крумин нашел, что они «недостаточно специальны», и посоветовал отнести их в «Правду».

Вот тогда я остро ощутила — в сердце, в пальцах, в мозгу — страстную, жадную жажду работы! Весь пройденный путь на Дону, все навыки новой свободы — свободы инициативы в труде, гордости быть работающей, азарта побеждать препятствия, строить, создавать, чувство своей реальной пригодности на земле — душили меня, подступали к горлу: какой хотите, куда хотите, но дайте работы, действия — смысла, смысла, смысла жить на земле!

Встретив знакомого старого поэта, тащившего кулек с яблоками (он виновато спросил: «Хотите?»), я засыпала его вопросами: где он сейчас работает? где можно найти работу? Поэт, оглянувшись, сказал:

— Могу посоветовать Пролеткульт, но это, конечно, синекура. Получите хлебную карточку, талоны в столовку...

— Но делать, делать что?

— Делать вот именно нечего. Вы же понимаете... продержаться пока. До лучших времен.

Синекура! Опытному советскому работнику, уже создавшему настоящую, нужную, реальную школу, где на станках делают реальные, нужные вещи! Страшная истина открылась мне: они — старые знакомые, люди, мечтавшие о революции,— саботируют! А работа — она происходит там, за этой уличной мокротой, за тусклыми окнами квартир, немытыми окнами. На третий год настоящей, победной революции окон не моют, улиц не чистят, не идут в ремонтные мастерские, в пошивку одежды, в починку, в чистку — для этого и знаний особых не надо, а как это сейчас нужно для самого поэта! Я взглянула на его странную кофту, заменившую осеннее пальто. Кофта была женская, из хорошего сукна. Но сукно — что это? В уме ли я? По сукну чуть приметно для глаз что-то ползало. Мельчайшие букашки какие-то, не вши, не клопы, а что-то живое, неведомое, микроскопическое, почти невидимое, оно двигалось, ползало. Заметив мой ужас, поэт быстро двинулся от меня, повторяя:

— Пролеткульт, Пролеткульт...

Это было так страшно, что я и сейчас содрогаюсь, когда пишу.

Тот же Александр Федорович Мясников, услышав мой сбивчивый рассказ, задумчиво ответил:

— Трудное для интеллигенции время. Что она может делать? Она к самообслуживанию не привыкла и, в сущности, ничего не умеет. Жалко ее. Хуже, когда врачи, учителя не идут в больницы и в школы. Там это саботаж. А писатели... вы их очень-то не вините. Труднейшая перестройка, вот разве к Горькому...

И он, притянув чистый лист бумаги, начал быстро что-то писать. Он, к моему великому удовольствию, не сказал «Петроград», а сказал «Петербург»:

— В Петербург к Горькому вам советую. Там вокруг него на-

бирается хорошая молодежь, думающая. Как-нибудь устроитесь, работу найдете, он большое издательское дело затеял. Вот я написал ему...— И Мясников протянул мне сложенную вчетверо записку.— Надо взять пропуск в Питер. Купите билет в городской кассе, предъявите пропуск — и езжайте, чем скорее, тем лучше для вас.

В Петербург не пускали без пропуска! Я выполнила все с удивительным для себя послушанием — получила без лишних разговоров пропуск, постояла в огромной очереди у городской кассы, купила самый дешевый билет на почтовый поезд, махнула (на своих на двоих) в Петровский парк и с багажом на спине тем же терпеливым пешеходным способом за два часа до отхода поезда пришла на вокзал. В дневнике у меня стоит: «16 ноября, воскресенье. Ужасная ночь, ни минуты сна. Ночью нас отцепили, мы стояли пять часов... В Питер, однако, попали сегодня в двенадцать часов ночи, и я пошла прямо на Загородный, где и переночевала». Так начался у меня новый этап жизненного пути.

Но прежде чем покинуть Москву, я хочу заплатить свой долг одному женскому образу, оставшемуся у меня в памяти. Без имени и фамилии, без всякого представленья, кто она,— видела только раз, а знаю и помню, как если бы тысячу раз. Последние дни в Москве я голодала зверски. И вот встречаю кого-то, к кому привезла с юга бесполезную рекомендацию и кто не пустил меня переночевать с дороги. Она сама остановила меня и торопливо спросила, свободна ли я вечером. Ей распилить три-четыре бревна для печки. А за это она чаем с хлебом напоит. Я пришла к ней на час раньше. В квартире ее не было, дверь в ее комнату заперта. И тогда ее соседка, пожилая, высокая, уже седая женщина с очень знакомым русским лицом,— такая типично русская умная женская серьезность и спокойствие, прямые мягкие черты, добрые губы, серые глаза — позвала меня в общую столовую обождать. В столовой на столе стояло два прибора, была зажжена лампа-«молния», от лампы шло тепло. А шубу я по совету этой женщины не сняла — квартиру с лета не топили. Ноябрь в Москве с каждым днем крепчал, я продрогла на улице и наслаждалась, сидя под лампой. Женщина внимательно посмотрела на меня. Она не спросила, кто я, и не сказала, кто она, а только о дочерях, что они взяли у исполкома службу, приходят поздно. И потом, ни слова не прибавив, взяла один прибор, прошла в кухню и оттуда вернулась с тарелкой горячего борща. Сказала: «Покушайте-ка, чтоб согреться, а то ведь простыли на улице». Больше она ничего не сказала. Борщ был из бурака, моркови, капусты, густой, вегетарианский, но такой необыкновенно вкусный! Я его съела до последней капли, а тут вдруг она ставит передо мной другую тарелку — рагу из тех же овощей, подправленное салом, и это рагу тоже показалось мне божественно вкусным. Но тут пришли дочери. Их было две. Высокие, как мать, с теми же славянскими лицами, но как покривились эти лица! Как косо взглянули они на мать, как поджали губы! Я поперхнулась, но доела под их косыми взглядами все, что оставалось на тарелке.

Встала, поблагодарила мать этих двух, как-то укоризненно и сконфуженно глядевшую на своих дочерей. Такой я ее запомнила навсегда. Мать, с добротой и охотой накормившую чужого голодного человека. Стыдящуюся дочерей, показавших себя черствыми, осуждающими родную мать за отданный чужому кусок хлеба. Черствые и скупые — в молодые годы. Но... время, когда нет в семьях лишнего куска, лишней картошки, когда, может быть, паек «от Советов» за службу — мешок овощей — на плечах они притащили домой!.. И эта русская женщина, точь-в-точь такая, о каких писали в своих нехитрых романах народники, чьи образы встают со страниц классиков, поэзии Некрасова, пьес Островского, терпеливые, работящие, сострадательные, щедрые сердцем... Много раз я поминала тебя добром, чужая мать! Тебя наверняка уже нет на свете, но дочери были моложе меня и если жива из них хоть одна, пусть попадутся ей эти строки и слеза набежит на ее уже очень старые глаза, слеза памяти о своей кровной...

С этим прощальным московским вспоминаньем я выехала из Москвы.

Петербург... Уже крепкая, сильная зима, прочно сковавшая город. Первая ночевка на Загородном, у тогдашнего коменданта города армянина Гайка Адонца, вдобавок редактора питерского еженедельника «Жизнь искусства» и работника вечерних «Известий рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Ночевка была в шубе, шапке и под толстым ковром, покрывавшим кабинет брата Гайка Адонца, армянского ученого (буржуазного историка, бежавшего от революции за рубеж). Сам Гайк, почти легендарный персонаж, назубок знавший функции коменданта, вахтера, редактора, цензора, хранивший в кожаном переплетике свой партийный билет на груди, работал истово, темпераментно, по-военному. Утром и часу не прошло, как в руках у меня очутилась ручка, легла передо мной бумага, поставлена чернильница.

— Пиши,— приказал он.— В «Известиях» пройдет. Пиши про интеллигенцию, что мне рассказываешь. Про театр Мейерхольда, который в Москве видела. Все пиши. Напечатаем!

И я, еще не отведя души, не дав отойти сердцу от московских впечатлений, написала свою первую статью в Петербурге «Кое-что об интеллигенции» и вторую за ней — «О театре Мейерхольда». Не послушалась Мясникова («Жалко ее»), все еще обуянная гордыней своей работы инструктором ткацкого дела. О лежачем сказано: лежачего не бьют. Я написала в конце статьи: «Лежачего надо бить, чтоб он встал». Этим я излила свое возмущенье саботажем, успокоила душу, сказала то, что думала, наотмашь, в лицо; никогда не жалела о том, что сказала; но, может быть, это принесло меньше нужной пользы, нежели доброжелательная и умная пропаганда. Я не была еще коммунисткой, я верила в бога, носила крестик на шее, меня помнили как символистку, автора «Orientalia», «девочку на побегушках» у Мережковских. И мне ни на грош не поверили — не поверили в мой фанатический религиозный большевизм и сразу наклеили ярлык на меня как «продавшуюся больше-

викам». А я, не признаваемая за свою в партийных кругах, отвергнутая писательскими, не понятая Горьким (о первой встрече с ним я рассказывала в печати много раз), осталась совершенно одна. То был очень тяжелый период в моей жизни. Одиночество сопровождалось голодом. Комнату в Доме искусств по письму Мясникова мне дали... Но хлебной карточки я еще не получила, кормилась похлебкой без хлеба в Доме искусств, непрерывно работала, давая почти каждую неделю по статье Гайку Адонцу, и в конце концов слегла. Той зимой мороз в Петербурге доходил до тридцати градусов. Я подхватил инфлюэнцу. Спас меня Аким Львович Волынский, принеся из своего пайка масло, сахар — невиданные, неслыханные для меня вещи. Длилось это, к счастью, недолго. Упорно отстаивая свой большевизм, я постепенно завоевала некоторую долю уважения. Статьи мои в «Жизни искусства» касались тогдашних литературных произведений, ставили серьезные проблемы нашего писательского ремесла. В литературном приложении к питерской «Правде» я печатала очерки. Началась дружба с «Серапионовыми братьями», жившими в том же Доме искусств, с чудесным человеком филологом Давидом Выгодским, с Ольгой Форш, с Зощенко, с Мишей Слонимским и Елизаветой Полонской — прекрасным поэтом, почему-то забытым в наши дни. И все же временами прорывался мой «фанатичный большевизм» в стычках, подчас очень курьезных. Приведу один из таких курьезов, он остался у меня в архиве: большой лист измятой бумаги.

Питерский исполком обратился в те дни к жителям Петрограда: «Товарищи, очищайте от снега ваши дома, не давайте городу опускаться, грязниться, разрушаться...» Две женщины-большевички, соседка моя Юдифь Наумовна Гинзбург и я, написали на упомянутом большом листе очень патетическое воззвание к писателям, населявшим наш дворцовый особняк на углу Мойки и Невского. В этом воззвании говорилось, что красоту Петрограда мы воспеваем в стихах и прозе, а вот лопату взять и дружно пообчистить груды снега, завалившие и со двора и с улицы наши стены, не желаем. «Давайте возьмемся...» — и т. д. и т. д. Лист этот вывесили на видном месте. А на следующий день он был резко перечеркнут жирным карандашом и под ним стояло (и сейчас стоит):

«ДОЛОЙ РОБИНЗОНСТВО!

Виктор Шкловский».

Мы вышли с лопатами только вдвоем, Юдифь и я, и хотя не без физической пользы для себя, здорово, на морозном солнышке поработали, но снегу очистили с ноготок, он был твердо приморожен к земле. Вечером наше население собиралось обычно в теплой кухне купцов Елисеевых (барский особняк Дома искусств принадлежал раньше Елисееву), и нас с Юдифью порядком потрепали. Шкловский привел пример, как ослабевали от такой работы маститые наши ученые с мировыми именами и в результате попадали в больницу.

— Мы и другие творческие работники принесли бы в тысячу раз больше пользы,— ораторствовал Шкловский,— если б заиялись своим профессиональным трудом, а ие царапали лопатой снег на земле...

Я неспроста привела этот случай. Он имеет особое качество для меня: он п р о б л е м е н. Прост на вид, но упирается в огромного значения теоретическую проблему, двойствен по существу, диалектичен по действию. Он и сейчас (особенно сейчас!) стоит перед нами во весь свой диалектический рост. В самом деле, нужен ли нам исходный пункт перестройки старых производственных отношений — сглаживание разницы между физическим и умственным трудом как переход к бесклассовости? Возражает ли кто, принявший социализм, против этого пункта? Нет возражений. Возражение, если оно будет, возразит и против социализма. А раз принято, надо ли это проводить в жизнь? А если надо проводить, то начнем проводить. И запнулись. Ведь Шкловский тоже прав. На весах кпд, то есть коэффициента полезного действия, его пример перетянет. Представим себе Ньютона, посланного снег копать. Но... вдруг сам Ньютон захочет снег копать? Тимирязев обязательно захочет в меру своих сил. И Владимир Иванович Вернадский не отказался бы... А их надо беречь. И от их копанья коэффициент полезного действия получится куда слабее и меньше, чем от каждого их лекторского слова, устного и письменного.

Нет! Не получится слабее, вмешивается в спор большевик. Польза не копеечная вещь. У нее особое, свое измерение. Колокол получится на все пространство русской земли, колоколом отзовется за рубежами, если великие ученые возьмутся за лопату добровольно, охотно, сами, чтоб помочь родине сейчас, в данную минуту именно тем, в чем она нуждается... Но силы, силы, слабые телесные силы отдать, сократив их здоровье? Спор может вылиться в дискуссию от зари вечерней до зари утренней. Вот какой это проблемный факт.

И ведь если провести черту спора дальше, по другим станциям, то можно эдак дойти до другого (аналогичного) примера. Чтобы великому гению, осужденному на смерть за его открытие (а таких много было в истории науки), малость, ну совсем малость, чуточку, совсем чуточку поразмыслить перед весами, измеряющими этот самый кпд,— какая, в сущности, польза от его смерти на эшафоте как еретика? А не лучше ли переждать, подтянуться, рот подзакрыть или даже открыть, чтоб сказать (все ведь поймут, как это разумно!): «Отказываюсь! Не вращается Земля! Стоит на китах!» И живой он еще тьму открытий подарит человечеству, а мертвый — какая кому от этого польза? Вот колебнется он маятником туда-сюда или станет как столб на своем — что умнее, что полезнее? Простым глазом, без очков видно: живой полезней мертвого. А внутренний голос совести (заметили ли вы, читатель, что внутренний голос совести — всегда большевик) скажет свое слово-максимум, слово высшего, предельного суда-правды: живой, но отрекшийся от своего убежденья, не будет иметь доверия и уважения

человечества, всуе останутся его дела, и, надломленный, он не сможет подняться до новых открытий. Отдавший свою жизнь за свое убежденье будет вести науку к новым открытиям! «Не морочьте мне голову,— скажет обыватель,— во всем надо меру знать. У кого на руках семейство, тому приходится иной раз изворачиваться. Тут не до лошадиного кпд!»

И спор погрязнет в тине, увязнет в «проблематиках». И все же каждый из нас уверен, что решает вопрос характер человека. И в суде над ним судят не столько его убежденья, сколько его характер, и высокие характеры, как горные хребты человеческого рода, нужны нам, чтоб расти по ним дальше... Но практически в деле решения нашего первого спорного вопроса мы ушли от него, кстати сказать, ушли от государственного подхода к нему. Практически как же нам решать — убирать или не убирать? Тогда было трудно ответить и совершенно нельзя было (совесть не позволяла!) решить: кто как хочет.

Сейчас я сразу спросила бы себя, что сделал бы Ленин. И ответила из своего опыта ежедневного чтения Ленина — он ответил бы: «Истина конкретна». Да, в сотнях, тысячах случаев его советы, приказы, замечания, указания, решения в записках, телеграммах, телефонных распоряжениях по бесконечно разнообразному ряду случаев в последние три года его жизни делались в свете этой диалектической истины: *конкретной*. В одном случае правильно идти убирать здоровым, молодым, охотно желающим взять лопату, легко заменяемым на профессиональной работе; в другом случае не пускать убирать детей, стариков, больных, женщин в положении или кормящих; в третьем случае мобилизовать тунеядцев, лентяев, снобов... Но для такого разбора нужна хорошая предварительная организация, а для такой организации нужна хотя бы начальная форма новой общественной культуры, советской... И опять во весь рост встанет иной большевик и крикнет: никакой общественной культуры или опроса не было, когда Ленин провел Брестский мир, сделал переход к новой экономической политике!.. Недовольство было, сопротивление друзей было. А он победил — и спас социализм в России. И никогда коммунисты не путались в разных разностях родительного падежа — кого, чего! Граждан, вот кого посылать!

Словом, все опять сползало из ясности в спорность, и спорить можно было без конца.

Я привожу этот маленький пример не только из-за его проблемности. Если остаться на почве проблем, исходящих дорожками мыслей в разные стороны, то в области общественного поведения и еще более — государственного руководства он может привести к *важнейшему* нерву любой государственной, в том числе социалистической, а также и религиозной системы. Потому что *ни одно решение на самом себе не останавливается*, оно движется в материальном потоке времени и постепенно видоизменяется. Видоизменяется именно потому, что время движется, а решение «пребывает», то есть стоит. Фактор времени превращает жидкий

сплав в цемент, жизненное решение — в мертвую форму. Тишайшим ходом принцип становится формализмом, а гибкий разбор и выбор (конкретная условность) — в арену всяких порочных махинаций, обманов, приспособлений, ухищрений, подхалимажа, подкупа, разделений на тех, кто умеет и кто не умеет вырвать для себя исключенье из правила. Нет страшнее этой двуязычной змеи в вопросах правления и руководства — змеи окаменелого принципа, превратившегося в формальность, и растаявшей конкретности, выродившейся в релятивизм.

Но говорить об этом надо особо и не касаясь тех ранних времен, о которых я веду свой рассказ. Опять же, вернувшись к его началу, повторяю: привела свой пример потому, что он характерен для нашей жизни в питерском Доме искусств, когда формировалось мое социалистическое поведение. Жизнь эта была насыщена огромным творческим содержаньем, она протекала в общении между населявшими Дом искусств людьми искусства. Быт был тут же, в недрах высокого общения, личный быт — среди концертов, лекций, театральных экспериментов, встреч, представлений, чтений, вечеринх интимных собеседований в большой и теплой елисеевской кухне. Нам пела прелестная Ксения Доршак свои прелестные французские песенки:

Paris est à roi
Mon cœur est à moi...[13]

Как она пела! Нам играл Евреинов свои «музыкальные гримасы»; к нам приходил читать лекцию старенький, белый, опираясь на палочку, сенатор и друг Льва Толстого Анатолий Федорович Кони. Он остался после Октябрьской революции преподавать молодым балтийским матросам. В письмах его, напечатанных не так давно в полном собрании его великолепной старомодной прозы, я не нашла замечательного письма ко мне, написанного им в последний год его жизни. Письмо это бросает еще один светлый луч в его чудесную биографию. Оно сохранилось в моем архиве. Привожу его полностью.

11.21.

Душевно уважаемая и глубоко чтимая
Мариэтта Сергеевна!

Нужно ли говорить Вам, как тронуло, как обрадовало, как ободрило меня Ваше чудесное письмо от 10 февраля. Оно составило лучший цветок в том венке, который мне поднесла, не по заслугам, наша интеллигенция. Лучший потому, что пришло от художницы, умеющей проникать в душу людей на не изведанную большинством глубину, и от самой яркой, по таланту, современной писательницы.

От всего сердца благодарю Вас за него — и если не прихожу лично «бить Вам челом» за него, то лишь потому, что впал в крайнее переутомление, которое отражается даже на моем почерке, за который прошу у Вас извинения. Мне отрадно, что Вы цените то, что я остался в России, несмотря на возможность в качестве Академика устроить себе удобный отъезд. Наши эмигранты напа-

[13] Париж принадлежит королю,
Мое сердце принадлежит мне.

дают за это на меня, забывая, что родина — мать и что мать, когда она на одре болезни и страданий,— порядочный сын не покидает.

А бедная наша молодежь, полная жажды знаний, разве можно было ее покинуть на распутье нравственном и политическом. И Ваше письмо, в этом отношении, звучит мне особенно радостно!

Целую Вашу талантливую, трудовую руку.
С неизменным уважением,
искренне Вам преданный

А. КОНИ.

У нас ставил свои театральные шутки Сергей Радлов, в труппе которого играла моя соседка Юдифь Гинзбург, бывшая секретарша Луначарского. Одну «пьесу» я помню до сих пор: через всю сцену из правых кулис в левые быстро шагал преступник, уходя от детектива, а за ним, торопясь, вышагивал из тех же правых кулис, проходя всю сцену и не в силах догнать его, детектив. Смешное было в непрерывном «травести»: преступник каждый раз менял свой облик (то лысый, то рыжий, то в женском, то в мужском наряде), и сыщик за ним каждый раз тоже менял себя (то в очках, то с бородой, то с палкой, седовласый, то в мальчишеских штанах) — за кулисами они мгновенно переодевались... Хохот стоял в зале. У нас молодые поэты, излив свои стихи, тут же начинали игру в жмурки... «Серапионовы братья» показывали живое (немое по-тогдашнему) кино, утрируя киношные условные приемы. Быт, как я выше написала, переплетался с искусством.

К тому времени Горький помог мне (письмом в Ростовский исполком) выписать в Питер мою семью: Лину, маму и маленькую дочку Мирэль. Дочка спала со мной в моей огромной елисеевской спальне. И как-то вечером, оставив ее крепко уснувшей, я ринулась на концерт (Гендель, Лекё, Франк, с участием Анны Мейчик в нашем концертном зале), а крохотная Мирэль (трех лет), не найдя меня, побежала в одной рубашонке по темным елисеевским анфиладам. Тут ее поймал художник Добужинский и понес на руках, укоризненно качая головой, когда догнал меня...

Иногда мы ходили на концерты и лекции из Дома искусств в Дом литераторов. Там сидели люди, скоро покинувшие нашу родину навсегда. И однажды... Но перепишу из дневника:

«14 февраля, понедельник (1921 г.)... вечером в Доме литераторов на пушкинском вечере, где выступили с речами Блок и Ходасевич. Блок повторил ту свою речь, с которой он выступил на торжественном заседании. Речь Ходасевича кончилась неожиданным для него триумфом: все ему неистово хлопали. Я ее прочитала: она лирическая и вызывает лирическое потрясение. Она вся построена на личной нежности к Пушкину и исторической субъективизации общественных настроений с точки зрения «нас» (группы немногих, лично и интимно воспринимающих Пушкина); говорю «нас», но это «мы» у Ходасевича почти что «я», эготическое общение с Пушкиным. Именно потому, что речь покоилась на несомнен-

ном внутреннем опыте, а может, и потому, что была антиобщественна, она зажгла консервативную питерскую аудиторию».

Имя Блока встречается за этот период (тут, у меня в дневнике), кажется, в первый раз. В тот год, последний год его жизни, я не могла слышать по глухоте своей тогдашнего его выступленья и, не будучи с ним знакома, стеснялась подойти к нему и попросить у него рукопись, чтоб познакомиться с ней глазами. Мы вообще с ним почти не встречались. Несколько раз издалека видела силуэт его очень прямой, стройной фигуры без всякого намека на сутулость, а, наоборот, как будто со слегка отброшенной назад — и кверху — головой, придававшей силуэту вид надменности. В воспоминаньях о нем я у кого-то встретила упоминание о необыкновенной улыбке Блока, очень редкой, которой он неожиданно одаривал собеседника. Эту улыбку, неизвестно к кому обращенную, беглую, изнутри вдруг просиявшую чем-то неземным на неподвижном лице, мне посчастливилось как-то подсмотреть, когда он проходил сквозь толпу. Он был и буквально и фигурально всегда на большом расстоянии, вдалеке, мимо идущий, и в житейском смысле я была к нему совершенно равнодушна. Своих забот было у меня по горло: уже не одна, а с приехавшей в Питер семьей, я гналась за работой, за миллионами, которые отвешивала нам кассирша, именуемыми в народе «лимонами», миллионами, за которые на рынке и лимона, а подчас и картошки купить было нельзя; ночами сидела и при тусклом свете писала, переводила, редактировала для горьковской «Всемирной литературы». Лина, мой верный друг и помощник, поступила по командировке из своей школы в Академию художеств, где она через три года кончила скульптурное отделение у профессора Матвеева с дипломом свободного художника, училась зверски, пропадала с утра до темного вечера и мало чем, разве академическим сухарем, могла помочь в тот год нашей семье. Свой хлеб (хлебную карточку) она оставляла нам. И вдруг спустя шесть дней после приведенной мною выписки стоит в дневнике опять имя Блока:

«20, 21, 22 февраля, воскресенье, понедельник, вторник. Писала вступление к 6 повестям Бальзака, была во «Всемирной литературе», получила всего Вагнера, т. е. все «Кольцо» для редактирования,— с милой и бесконечно меня растрогавшей резолюцией Блока».

Так мало значенья придавала я тогда тому, что происходило до этой резолюции, что не занесла в дневник самого события, ее вызвавшего. Для «Всемирной литературы» через академика С. Ф. Ольденбурга, одного из руководителей этого сложного издательского комплекса, я уже сделала много работы — отредактировала перевод «Шагреневой кожи» Бальзака и дала к ней предисловие (это удалось и было напечатано), написала целую брошюру об английском друге и современнике Диккенса Уилки Коллинзе (из этой большой работы уцелело только три странички послесловия, когда много лет спустя я перевела «Лунный камень» Коллинза, роман, до сих пор переиздающийся). И наконец, погрязнув в ма-

териале, я «провалилась» с предисловием к большому роману Бальзака «Утраченные иллюзии» — работу мою забраковали. Неуспех мой с ней был на всю жизнь для меня поучителен. Дело в том, что я погрузилась во все французские газеты того времени, когда Бальзак писал этот роман. И, к восторгу своему (восторгу исследователя), открыла, что Бальзак, в сущности, писал эту парижскую эпопею как репортаж: все, все, ну буквально все — имена куртизанок, происшествия, названья ресторанов и увеселительных мест, имена снобов и ловеласов из аристократических семейств, титулованных лиц с их экипажами и гризеток в их нарядах — было в газетах. Я стала, как бабочек, натыкать эти «совпадения», а в сущности, факты жизни, на страницы своего предисловия. Ловила писателя в дословном «плагиате» у жизни. Открытие! Никто до меня! И — мне мое предисловие вернули. Не помню, что сказали при этом, но миллионов не отвесили — и огромный, долгий труд пропал даром.

А сама я поняла — мне помогла память. Я вспомнила, как растила свой кристаллик и как он заболел — народил на дне стакана множество рассыпавшихся мельчайших кристаллишек, а у самого на животе вокруг всего тела появилась выбоина, голый вокруг поясок. Отчего заболел? От *перенасыщенного* раствора, как выяснил потом мой учитель Ю. Вульф. И я перенасытила свой познающий, полученный знанием раствор множеством фактов, факты рассыпались пригоршнями по предисловию, задушили его, потому что в самом предисловии появилась выбоина, голое место: я не сумела, обуреваемая изобилием фактов, увидеть, понять и обобщить, что сделал огромный художник, сам Бальзак, с этими фактами, преобразовав их в художественное полотно романа. И пришла к важному выводу для себя: мало материала — плохо для писанья, но огромное количество материала, излишек его — тоже плохо. Это мешает писателю увидеть за деревьями лес.

Так вот, в первой половине 1921 года, когда я так остро нуждалась в хлебе для семьи, а труд мой прахом пошел, «Всемирная литература» предложила мне отредактировать новый перевод вагнеровского «Кольца нибелунга», создаваемый переводчицей Свириденко. Я должна была исправлять этот перевод, а над моими исправлениями редактором стал Блок. Эту совместную работу мы делали, не встречаясь друг с другом и не знакомясь лично: исправленные мной листы я отсылала в издательство, а оттуда их посылали Блоку. Для начала (пробного месяца) мне дали часть тетралогии Вагнера. Блок внимательно следил за этой работой, правил изредка красным карандашом мои поправки, и они опять отсылались мне. Я сохранила небольшую пачку, писанную бисерным моим почерком, с красными пометками Блока его очень изящным и тоже мелким почерком,— весь текст старой еще орфографией, с ятями и твердыми знаками. Но второй пакетик моих правок пришел с уведомлением от издательства, что работа моя стала хуже и небрежней. К уведомленью приложено о том же первое ко мне письмо Блока. Я пришла в отчаянье. В озлобленье. Но я знала,

что работа моя стала хуже. И все-таки во что бы то нн стало решнла оправдаться, защитить себя, поспорнть. В издательство полетело мое письмо, где букетом былн собраны все трудности работы, все недостатки перевода Свириденко, отход ее от ритмов Вагнера и прочие пробелы. В письме была ссылка и иа необходнмость сверять ее перевод с нотной партитурой «Кольца», и... на боль в глазах, иа недостаток освещения для работы. Я даже «техническне замечання», а верней указанья, даваемые миой моей «высшей редакции», приложила к письму, н только эта часть сохраннлась у меня в черновике. Вот она:

«(К стр. 29—96 перевода Свнрнденко)

Технические замечаиия.

1. Редакция должиа непремеино оговорить во введении нлн предисловнн (нлн за титульным листом), какое издаиие легло в осиову перевода, от какого года и (если это изданне расходится с предыдущими) почему имеино оио предпочтено.

2. Печатать стихи сплошиыми и одинаковымн колонками вообще не годнтся, а для вагиеровских стихов это почтн преступленне, т. к. чередование длнниых и короткнх строк у Вагнера связано н с ритмом, и с метрической переменой, н с музыкальнымн группамн ритма (и мелодии). В чтенин ровные колонны очеиь затрудияют непосредственное схватыванне ритма, что для рядового читателя было бы просто необходнмо (иначе он все воспримет как скверную рубленую прозу). Думаю, что еще не поздно расставить строки по оригиналу.

М. Ш.

В переводе Свнриденко:

Введено лишиих стихов — 43

Пропущено стнхов — 11

Соедннены в однн стих, тогда как в орнгннале онн разделены на двустрочные,— 11

Пропущено ремарок — 1, иа странице 31

Сочиненo ремарок — 3, на страиицах 68, 82, 83

Пропущено целое выступленне Л о г е — на странице 94

М. Ш.».

Письмо было адресовано издательству (верней, его тогдашией редакцин). Оно было резкое до нахальства, отчаяниая защнта котенка протнв большого зверя. И оно, коиечно, было передано Блоку. А Блок сквозь всю мою аргументацию услышал в нем ноткн отчаянья голодного, измучеиного человека, цепляющегося за работу, которая, должио быть, инкогда н ни для кого реальио не пригоднтся. Он почувствовал запах хлеба — для голодного, ведь и сам голодал весь этот год. Меня вызвали во «Всемнрную литературу», далн иа работу все «Кольцо» целнком и ту самую резолюцию Блока, которая растрогала меня до слез... Так и работалн мы оба некоторое время, не встречаясь н не знакомясь друг с дру-

гом до самой его смерти. Но доброта и внимание его дошли до меня.

По совету Самуила Мироновича Алянского, часто бывавшего у нас в Доме искусств, я решилась послать Блоку свои пьесы, те самые, с замаскированной проблематикой Октября, пронизанные духом моего религиозного большевизма, которые писались для себя лично, без надежды на печатанье их во дни деникинщины... Ответил он на них 22 мая 1921 года, за два с половиной месяца до своей смерти. Письмо его было несколько раз напечатано. Остальная «документация» наших с ним рабочих отношений печатается здесь впервые.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО БЛОКА

Многоуважаемая Мариэтта Сергеевна.

Конечно, перевод все-таки остается компромиссным. Вы улучшаете его в отдельных местах, но, как мне показалось, уже менее заботливо, чем сначала. Многие строки с нарушением размера остаются неисправленными. Встречаются опечатки, разные транскрипции (Вельсе и Вельше). Я смотрел только стихи; все, что касается ремарок, Вы передайте Е. М. Брауо. Места, которые мне показались особо сомнительными, я подчеркивал, редко предлагал свое, да и то не свое, а из старого перевода. Думаю, что и Вам надо было бы пользоваться обоими старыми переводами, особенно старика Тюменева, по которому «Кольцо» пели лет 10. Я лично очень люблю его текст, местами далекий и неловкий, слишком упрощенный, но крепкий, лишенный этой ужасной неряшливости, характерной для Свиридовой. Думаю, что и у Коломийцова можно много найти. Я бы на Вашем месте брал без стеснения у Тюменева то, что у Вас не выходит. У всех трех переводчиков не может не быть общего, потому что главным исполнителем в Пбге всегда был один и тот же И. В. Ершов, они работали с ним вместе.

Тюменевский текст издан в 4-х книжечках либретто Юргенсоном, Коломийцов — не знаю, издан ли.

Ал. Блок.

18.IV.1921.

ВТОРОЕ ПИСЬМО БЛОКА

Многоуважаемая Мариэтта Сергеевна,

прилагаемые листы я просмотрел бегло, не смотря в текст, только Ваши поправки. После Вашего письма я понял, что действительно больше сделать ничего нельзя. Отдельные места, напр. ковка меча, мне нравятся просто так, сами по себе. Там как раз очень многое исправлено Вами. Доделывайте работу как делаете, это, во всяком случае, значительно улучшает перевод.

Ал. Блок.

Третий документ Блока, адресованный во «Всемирную литературу» (характеристика моей переводческой работы А. А. Блоком, переданная мне издательством вместе с письмом, названная в моем дневнике «резолюцией»):

«Работа М. С. Шагинян исполнена и талантливо, и внимательно. В редких случаях, когда у меня возникало сомнение, я делал заметки или предлагал варианты. Перевод, несомненно, очень выиграет от таких поправок; поручение их переводчице может помешать делу (не потому, что перевод плох, а потому, что от своего труднее отказаться). Поэтому, по-моему, было бы целесообразнее всего

заказать эту большую и плодотворную работу М. С. Шагинян и просить ее:

1) Руководиться текстом Шотта, который и оговорить в предисловии.
2) Выправить размер, где это можно и особенно необходимо.
3) Восстановить пропущенные стихи и выкинуть лишние.
4) Исправить корректуру в смысле расположения стихов. И при всем этом иметь в виду, что переверстать книгу уже нельзя. Если пропуски очень велики, я бы внес их в список ошибок после текста.

Ал. Блок.

ТРЕТЬЕ И ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО БЛОКА КО МНЕ

22.V 1921.

Многоуважаемая Мариэтта Сергеевна.

Ваш «Театр» произвел на меня сильное впечатление. Сначала, когда я стал читать, казалось книжным, производным, но скоро я почувствовал щекотание в горле. Правда, я сейчас очень слаб физически, но зато и туп душевно тоже достаточно, так что расшевеливаюсь с трудом. Всего больше мне понравилось (я все читал только раз) Чудо на колокольне, потом Истинно-Суженый, т. е. русские. Во второй — много штампованного, правда — это «в манере», но мера не совсем соблюдена. Не знаю, меньше ли мне нравится Разлука по любви; меня смущает подзаголовок «Соната» и растянутость. Дом у дороги тоже близок. Совсем не нравится мне Самопознание (не понимаю и как-то не интересно понять, м. б., ошибаюсь).

Говоря о недостатках, которые есть в большем или меньшем числе во всех драмах, я бы повторил все-таки, что книжность и производность есть; язык не особенно органический (общий порок «символистов», от которого ни один из нас не был свободен); главный же недостаток, всего труднее определимый, тоже общий нам всем: некоторая торопливость, короткое дыхание, неравномерное внимание ко всем частям, иногда — предпочтение более легких путей — более трудным, недостаточная пристальность взгляда. Элементарный пример: все «отрицательные типы» Чуда на колокольне Вы хватаете сверху, одним талантом, не влюбившись в них, так сказ., «сатирически». В этом больше блеску, но это более преходяще, чем короткий разговор игумена и монахов, за которым, мне кажется, стоит более твердое знание предмета.

О подробностях языка и пр. будет говорить всякий читатель, и всякий — о своих, и я тоже — о своих; но — не стоит, общее побеждает.

«Неизвестный» — немного ex machina (?).

Я Вам все это излагаю откровенно, не думаю, чтобы Вам было это неприятно, хотя мало Вас знаю. Прежде всего, у меня нет тени желания говорить неприятное, напротив, я хочу сказать приятное. Знаю я Вас мало по своему всегдашнему нелюбопытству; Вы никогда не хотели никому бросаться в глаза, и вот я, например, не знаю даже Orientalia.

С «Алконостом» я говорил и еще поговорю. Мне бы хотелось Чудо на колокольне в «Записки Мечтателей». Поговорите с ним, он передаст Вам рукопись и всегда бывает в лавке Дома Иск<усств>.

Ал. Блок [14].

6

Так оно было в жизни. Уже два с половиной месяца продолжалось в моей душе действие этого письма. Дни шли, как обычно, в работе, в вечерних чтениях — «Серапионовы братья» ввели хоро-

---

[14] На это письмо А. Блока я ответила длинным посланием, которое считала пропавшим. Но совсем недавно, весной 1979 года, когда я лежала в больнице, ко мне пришел известный литературовед И. С. Зильберштейн и сказал, что это письмо он нашел в архиве Менделеевых. Этот документ будет опубликован в четвертом томе «Литературного наследства» А. Блока, готовящемся к печати.

ший обычай в одинокую практику писателя. Каждую новую вещь кого-нибудь из них раз в неделю прочитывал ее автор всем другим «братьям», но присутствовали при чтении и некоторые «родственники», не входившие в их семью,— Виктор Шкловский, Давид Выгодский и я, которую звали иногда в шутку «сестрой квакершей». В таких совместных чтениях — не эстрадных, не в многолюдной «секции», вообще не на людях, а в тесном кругу своих товарищей, связанных одинаковым отношеньем к литературной работе,— воспитывалось особое отношение к критике; интерес, любознательность, «толстокожесть» по отношению к критическому разносу, безболезненное восприятие отрицательных суждений. Больше того — критика начинала воспитывать положительное практическое чувство к ней не как ущемленье авторской «собственности», а, наоборот, как вклад в нее. Охотно принималась правильная поправка; неправильная заставляла зорче посмотреть на свой текст... Много, много раз и в те далекие дни, и сейчас, в глубокой старости, задумывалась я, перечитывая письмо Блока, даже и не перечитывая, а повторяя себе его строки, так как наизусть знаю это письмо. Какая огромная *додача* в нем к процессу моего творчества! Острая и точная прямота без всяких скольжений к чему-то умасливающему. Это во-первых. Она, как хирургическая операция, нужна, чтоб смочь перенести, сразу перенести критику. Масляннстые поблажки (умасливание, практикуемое некоторыми сегодняшними критиками) делают критику еще больней и трудней переносимой. Прямота — в глаза, без соуса, без «гарнира» — сразу касается мозга, мысли, а не тщеславия, не самолюбия. Короткое дыханье, некоторая книжность, условность, неорганичность языка — да ведь это верно, и особенно верно для тех, кто пишет не «масляными красками», живописно, из школы Горького, пишет о народе, выходя из народа сам. И особенно это бессмертное указание, что создавать художественные образы отрицательных персонажей, не *влюбившись в них сатирически*, нельзя. Сатирически влюбиться! Это целый раздел эстетики, особая глава психологии творчества. Гоголь не создал бы своих чичиковых, хлестаковых, коробочек, собакевичей, если б не был в них *сатирически влюблен*. Сатирическая влюбленность автора в создаваемый отрицательный тип вызывает счастливое восхищение читателя жизненной силой и точностью портрета. Не в этом ли действие гениального искусства, как победа света над тьмой, добра над злом?

Жизнь наша в Доме искусств была так содержательна, так насыщенна, что можно было бы писать о ней многотомные романы. Один роман («Сумасшедший корабль») успела написать Ольга Форш. Быть может, и я вернусь еще к эпизодам этой жизни... Но в 1921 голодном и холодном году лето начинало склоняться к осени. В дневнике у меня на 7 августа записаны только два слова: *умер Блок*.

И тут перо мое изменяет мне. И я должна сделать то, чего еще никогда не делала и о чем знают лишь очень немногие, если только они остались в живых. Беру маленький ключ, шкатулку, открываю

шкатулку этим ключом и достаю из нее старую тетрадь в глянцевом черном переплете. Школьники моего времени называли такие тетради «общими». В ней уже бледными, выцветшими чернилами пятидесятисемилетней давности, старой орфографией — мы еще писали ею в те дни,— на восьми с половиной страницах рассказано о моей первой и единственной встрече с Блоком... после его смерти. Пересказывать это сейчас я не могу. В тетради могут быть неточности (от незнания), путаница в датах, но то, что в ней передано, записано правдиво, для себя, без тени притязательности на художественность, под влиянием пережитого:

«Смерть Блока
1921 год

В апреле — мае Чуковский устроил лекцию о Блоке с выступлением в конце нее самого Блока. Содержание лекции мне неизвестно, т. к. я ее не слышала лично. Говорили мне, будто в ней Чуковский пытался «разъяснить» *Двенадцать* в новом духе, чтобы снять с Блока тяготевшее на нем «клеймо большевика». Выступление Блока в конце лекции со своими стихами как бы санкционировало всю эту попытку [15]. Лекция прошла в Петербурге при огромном стечении народа, и Чуковский повез ее в Москву; он уехал туда вместе с Блоком.

Спустя некоторое время они вернулись. Разнесся слух, что Чуковский привез Блока совершенно больным: у него настолько разболелась нога, что ходить он уже не мог, и с вокзала его доставили на дом, где доктор прямо уложил его в постель. На мой вопрос Чуковский сказал, что у Блока было кровоизлияние в ногу.

С тех пор связь Блока с внешним миром постепенно прекращается. С первых же дней его болезни Любовь Дмитриевна (жена Блока) не пускает к нему решительно никого, кроме издателя «Алконоста» Самуила Мироновича Алянского. Личная связь с Блоком за это время у меня была такова: мы вместе редактировали во «Всемирной литературе» перевод Свириденко «Кольцо нибелунга». Проредактированный мною перевод поступал на просмотр Блоку и оттуда, снабженный его замечаниями, опять ко мне. В первые дни его болезни ему доставили третью часть перевода; к ней я приложила на просмотр 5 своих пьес («Дом у дороги», «Чудо на колокольне», «Самопознание», «Истинно-Суженый», «Разлука по любви») для напечатания их в «Алконосте». Спустя некоторое время, в конце мая, Алянский принес мне пакет от Блока, где находилась 3-я часть переводов, просмотренная им уже в постели; записка без обозначения числа о нашей дальнейшей совместной работе и длинное запечатанное письмо о моих пьесах от 22 мая, которое у меня хранится под стеклом. На письмо я ответила, лично снесла его Л. Д—вне, но не получила уже на него ответа ни письменного, ни

[15] Подобные слухи распространялись в то время реакционными кругами, я записала их с внутренней болью и возмущением, что нашло свое отражение в моем последнем письме к Блоку,— о нем говорилось выше.

устного, и Алянский сообщил мне, что письмо, по всей вероятности, и вовсе не было передано Блоку.

Никакие попытки остальных друзей и знакомых увидеть Блока или написать ему не увенчались успехом. Родная мать была к нему допущена только раз перед самой его смертью. Алянский посещал его почти каждый день, и это был единственный человек, от которого можно было узнать о здоровье Блока. Он почти ежедневно обедал у нас в Доме искусств. Июнь прошел без особых тревог о Блоке. С июля я начала беспричинно беспокоиться о нем и страдать от того равнодушия, с каким все относились к его болезни. Ответы Алянского на вопросы, как Блок, становились все неопределенней и серьезней: «Худо», «Неизвестно, чем кончится», «Доктора не разберут, сердечная это болезнь или нервное расстройство». Д-р Троицкий настаивал на сердечной болезни. Блоку нужен был дигален (он жил только при его поддержке); дигален было очень трудно достать. Когда Алянский передал мне об этом, я принялась за усиленные розыски. При помощи А. Ю. Морозовой мне удалось достать две бутылочки дигалена для впрыскивания и одну для принятия внутрь. Все это было вручено мною Алянскому. К концу июля — началу августа сообщения Алянского приняли характер решительный: «Доктора говорят — молитесь», «Если это нервное расстройство — бог даст, может быть, еще выкарабкается», «Он в полной апатии, приходит в сознание лишь на 3—4 часа в сутки, ничем не интересуется, никого не хочет видеть», «Страшно кашляет». 2 августа, во вторник, я поехала к Адонцу с просьбой снабдить меня всякими бумагами, для того чтобы выхлопотать Блоку дигален, вина и всякого рода легких продуктов. Он дал мне бумаги в Наркомздрав к Первухину и Петропавловскому и в Смольный к Гордону. 3 августа весь день прошел в хлопотах. 4 августа, в четверг, мы вместе с Алянским были у Петропавловского, раздобыли ордера; с этими ордерами Алянский должен был отправиться для подписания их к некоему Барану (это фамилия!). Баран кое-что уменьшил. Вместо бутылки вина пометил, например, 200 граммов. Я купила Блоку от себя лучшего заграничного шоколаду, видя, что вся эта история протянется несколько дней. Но Алянский не снес его вовремя, а когда понес, было уже поздно. Того же 4 августа по телефону Любовь Дмитриевна сообщила, что Блока нужно перевезти на Елагин остров, где ему обещают комнату и уход. Мы с Алянским отправились выхлопатывать автомобиль. Но тотчас же вслед за этим наступило ухудшение в состоянии Блока, и переезд был приостановлен. 5 августа вести плохие, 6 августа вести плохие. 7-го с утра тяжелое состояние духа и отчаянная тревога за Блока. В 11 часов Анастасия Юрьевна Морозова в кухне со слезами сообщила мне, что Блок умер (в $10\frac{1}{2}$ часов утра).

Умер Блок — не вмещалось в сознание. Пришел Нотгафт и подтвердил. Весь Дом искусств собрался, растерявшись, в столовую. Я бросилась из дому, купила огромный букет роз белых и красных и крупных белых цветов (не знаю названия) и побежала на Офицерскую, 57. Поднялась во второй этаж. На стук тихо открыла

прислуга. Любовь Дмитриевна с заплаканным лицом, в спущенной блузе вышла мне навстречу, взяла цветы и принялась ставить их в большую вазу. У телефона был Алянский, тоже заплаканный. Я прошла к покойному в небольшую комнату, тотчас же следовавшую за передней.

В комнате Блока не стояло никакой мебели, кроме 4-х книжных шкафов у стены; два окна не занавешены; обои желтоватого цвета. Кровать, простая, железная, стояла возле дверей; на ней под старым красным байковым одеялом лежал Блок, сложив руки. Возле него плакали две старушки (мать и другая — не знаю кто). Блок изменился до неузнаваемости. Кудрявая голова была выбрита, вокруг рта выросли рыжеватые усы и полукруглая бородка. Нос и черты лица вытянулись, заострились, приняли г р о з н о е и остро страдающее выражение; линия носа изогнулась и сделала его профиль до странности похожим на профиль Алянского. Руки дивной красоты, как желтая слоновая кость, сложены с изогнувшейся, как у пианиста, кистью, ногти срезаны и чисты. Он был уже умыт, обвязан платком, одет в черный сюртук. Побыла у него полчаса. Потом пришла Люб. Дм., его стали перекладывать с кровати на стол, и я ушла. В 7 ч. вечера была назначена панихида. За эти часы я отыскала фотографа с аппаратом и дала знать Олю, чтоб он после панихиды зарисовал голову Блока. На панихиде народу немного, наш Дом искусств и кое-кто из Дома литераторов. Никаких цветов, кроме утреннего моего букета. Люб. Дмитр. уже в черном платье. Оль зарисовал голову Блока и подарил мне. В 11 ч. вечера я послала через Алянского просьбу к Люб. Дм.: можно ли мне ночью почитать над Блоком Евангелие. Алянский вернулся и сказал: «Она не хочет. Она говорит, что знает его настроение в последние дни, и думает, что ему это было бы неприятно». Я ушла. 8 августа с утра надо было хлопотать о гипсе для маски и о формовщике. Я попросила Шкловского помочь мне. Это славный парень и надежный друг. С ним в Наркомздраве, где нам отказали в гипсе; тогда я назвала всех хамами, а Шкловский ударил по столу и крикнул: «Сволочь!» После этого он оставил меня дожидаться Петропавловского, а сам уехал искать формовщика. Я сидела 2 часа, добилась гипса (15 фунтов) и, т. к. шел дождь, повезла его на извозчике к Люб. Дм. Погода все эти дни была переменная, то солнце, то дождь, радуга, солнце, ливень. Когда я постучала, вся перепачканная в гипсе, Л. Д. сама мне открыла дверь. Она была на этот раз очень сердечная и взволнованная. Она подозвала меня к себе и шепотом сказала: «Я вчера не думала о себе, я думала только о нем; мне показалось, что ему было бы неприятно, чтобы о нем молились. Он так страдал последние дни,— она заплакала,— так страдал, что если и были у него какие грехи, он их все искупил». Я ответила, что читать над ним хотела вовсе не для замаливания его грехов, а для того, чтобы живущие сообщились с его духом, еще не совсем отошедшим, через слово божье [16]. Тогда она

[16] Не забудьте, читатель, что я в те годы была еще верующая.

сказала: «Сегодня ночью, хорошо?» Я поблагодарила, мы обнялись, и я ушла. Вторая панихида была назначена в 6 ч. вечера. В 4 формовщик снял маску с лица и руки. На второй панихиде я не была, мне сказали, что народу было уже очень много и много цветов. В 11 часов вечера по улицам, уже потемневшим,— над ними стояло зеленоватое небо, стыли две-три звезды, и было холодно — я тихонько отправилась к Блоку. Отворила дверь Люб. Дм. в черном платье. Позвала в кухню и шепотом сказала: «Что вы хотите читать?» Я ответила: Евангелие. Она сказала: «Надо псалтырь. Уж раз мы хотим соблюсти закон, надо соблюдать как следует». Я разделась, вошла к Блоку. Он был покрыт парчовым покрывалом, окружен цветами и высокими свечами, у изголовья его горела лампадка. Люб. Дмитр. вынесла мне круглый столик и поставила его у ног покойного. Постелила на нем чистую тонкую белую салфетку, дала мне большую Библию в коричневом переплете, сказала: «Я зажгу вам нашу венчальную свечу, а когда догорит, вы возьмете другую». Она принесла мне высокую толстую свечу из белого чистого воска в хрустальной подставке, зажгла и поставила передо мной, а потом перекрестила меня и ушла. Я начала шепотом читать псалтырь. Дверь открылась, тихо вошла Люб. Дм. в ночном капоте, стала около меня на коленях, помолилась и ушла совсем тихо, оставив дверь в свою спальню открытой.

Я стала шепотом читать псалтырь, сначала плача, потом понемногу почувствовав торжественную, почти непереносимую благодатную силу и радость, и слезы высохли впервые за все эти дни безысходного, выедающего глаза плача».

Тетрадь не закончена. Дальше начинаются только несколько слов под заголовком «Чтение над Блоком». Я дорасскажу об этом сейчас. Псалтырь — 150 псалмов Давида; каждый псалом — это песня. Перед тем как запеть, Давид дает указание, например: «Начальнику хора. На восьмиструнном» (псалом 6). Громкая песнь в сопровождении голосов хора, струнных и других инструментов. Громкая не только по звуку, но и по содержанию — открытый, яростный, гневный, восторженный, но нигде не пресмыкающийся, не подобострастный голос певца, смело, от всех своих сил душевных говорящий с богом. Он полон ненависти к врагам, полон состраданья к народу — читать песню шепотом трудно. И сперва, в первом своем напряжении шепота, я не усваивала содержанья. Рядом за открытой дверью спали две женщины, измученные последними неделями. Я чувствовала тяжесть их сна, шептала первые псалмы, ощущала отстраняющий холодок, почти веянье безвоздушного ветра от покойника, лицо которого едва видела. Это всегда бывает на второй, третий день после смерти от умершего — должно быть, движенье атомов от распада материи... Отстранение живых. Но постепенно огромная страсть псалмов, вызов богу, отдельные противоречивые чувства, переполнявшие душу певца, грозные и мягкие, жестокость и состраданье, повторное состраданье к бедняку: «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, го-

ворит Господь...» (псалом 11; «Начальнику хора. На восьмиструнном»). На восьмиструнном! Слова псалтыри начинали входить в мое сознанье. Я уже читала не только отходящему существу Блока, читала и для себя. А в комнате начинало светлеть, свет от венчальной свечи становился красноватым, этой свечи хватило до самого конца... Я читала — не уставая, вникая, понимая — несколько часов без передышки, с одиннадцати с половиной вечера до восьми часов утра. Надо было кончать, пока не проснулись спавшие. Потушила свечу. Между страницами псалмов нашла чей-то короткий волосок — может быть, Блока; венчик крохотного фиолетового цветка лежал на столе, сдунутый отстраняющим безвоздушным веяньем покойника. Я взяла на бумажку крохотную теплую мякоть воска от венчальной свечи, волосок и этот венчик[17] и тихо, тихо двинулась к выходу. Дверь была на старинном английском замке он должен был громко щелкнуть, когда я затворю дверь за собой. Как быть, чтоб уйти бесшумно? Вынула из прически железную шпильку, придержала ею язычок замка, пока очень медленно, беззвучно придвигала его на запор. Удалось — и вот я на ранней августовской улице, почти не уставшая, с успокоенным сердцем, с застрявшей в памяти строкой предпоследнего, 149 псалма: «Пойте Господу песнь новую»...

Но откуда был в предсмертные дни Блока этот безвыходный, выедающий глаза плач мой? Ведь личного отношенья, даже самого простого знакомства, даже обмена простыми словами «здравствуйте — прощайте», у меня с ним не было, кроме короткой совместной работы на расстоянии друг от друга. Откуда же все эти дни безысходного, выедающего глаза плача еще до кончины Блока?

В эти дни, по гениальному русскому выражению, отходил человек. Отходил от нас не только великий поэт... Еще многие годы не увидели света его дневники и записки. Мы не знали, что сам он главным своим недостатком считал *слабость характера*. Но только борцы с окружающим, борцы за свою позицию, борцы, противодействующие среде, осуждающие ее и отстаивающие себя, меряют свой характер мерою слабости и силы. И умирал, уходил из жизни на наших глазах не только человек и поэт, но *борец*.

Тот, кто среди хаотиков, нытиков, потерявших смысл и цель жизни, выпавших из русла развивающейся русской истории, ушедших из русла классической русской литературы, всегда думавшей о народе-труженике, глядевшей за горизонт сегодняшнего дня в день будущий; тот, кто посмел мужественно, стойко подать свой голос — прочь от «праздно болтающих» — стану борцов «за великое дело любви»; тот, кто *потомственно, преемственно*

---

[17] Академик архитектуры Андрей Андреевич Оль за день до этого срисовал для меня лежащего в гробу Блока; рисунок этот в рамке из кипариса хранится у меня с вклеенным под стеклом волоском и цветком, щепоткой воска от венчальной его свечи.

выявил себя наследником великого пути Радищева, Пушкина, Гоголя, Толстого, Щедрина, Чернышевского... Присутствие Блока в тогдашней среде было *ощутимо*. Уход его был *потерей*. Когда земля под ногами становится зыбкой, как палуба корабля, захваченного ураганом, и вы качаетесь, скользите, ищете руку, за которую можно ухватиться, чтоб сохранить свою стойкость, это была в мыслях моих рука Блока. Жемчужинами рассыпаны в его стихах и прозе следы бореиья за правду будущего, за ясность пушкинской мысли, за связь с революцией как с выходом в будущее. Своими тогдашними средствами, своим ищущим духом...

Мчится мгновенный век,
Снится блаженный брег...

Переделкино,
16 марта 1978 г.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ, ЗАВЕРШАЮЩАЯ
Диссертация

Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Веществу природы он сам противостоит как сила природы... Воздействуя... на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти.

...Куплей рабочей силы капиталист присоединил самый *труд как живой фермент* к мертвым, принадлежащим ему же элементам образования продукта.

Карл Маркс [1]

...Ответил старик: «О, прости мой ответ!
Не думаю, есть ли вода или нет,
Водою мне,— видишь,— мой пот на спине,
Концы моих пальцев — лопатою мне,
Великим мне счастьем бывает зерно,
Когда получаю семьсот на одно.
Не сей никогда с сатаной на устах —
И ты с одного будешь при семистах!..»

Низами Гянджеви [2]

1

Вернувшись в свою среду и к своей профессии писателя, я в первые годы (начало двадцатых), проведенные в Петрограде, и не помышляла о своей магистерской диссертации. Якоб Фрошаммер, как «пережиток», ушел куда-то далеко, в камеру хранения памяти. Но с этой «камерой хранения» пережитого, хотя она как будто прочно ушла куда-то, как старый сундук на чердак, происходит особая вещь: она не исчезает из судьбы человеческой. Забвение — не исчезновение, пережитое — не пустая страница. Где-то, в чем-то, в клетках вашего организма, в таинственных накоплениях вашего мозга, она оседает, как бы впитываясь в вашу судьбу, в течение вашей жизни. Ничто не проходит даром. Все записывается на ваш счет. И рано или поздно предъявляется вам для оплаты.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 188—189, 196. (Курсив мой.)

[2] Низами Гянджеви. Сокровищница Тайн. Рассказ о Соломоне и поселянине... (Перевод мой.)

Смутно и назойливо беспокоила меня недоконченность начатой работы, так и не состоявшееся знакомство с этим неведомым Якобом Фрошаммером, воскрешение которого было мне завещано, быть может, уже ушедшим из жизни, думавшим обо мне как о студенте-философе, облюбовавшим для меня какую-то чужеродную, мало, или даже вовсе никому не известную, тему профессором моим Николаем Дмитриевичем Виноградовым. И вот сейчас, придя к окончанию моих записок, я спустя шестьдесят шесть с лишним лет неожиданно почувствовала себя в долгу перед прошлым. Мне, как это ни странно, отпраздновав свои девяносто лет, захотелось защитить свою заброшенную диссертацию, заплатить старый долг судьбе, не уходить из жизни с неоплаченным счетом. Но сперва два слова к моим читателям — внукам, и правнукам, и, может быть, праправнукам поколения, родившегося девяносто лет назад,— почему я заканчиваю записи на самом начале двадцатых годов, а не веду их дальше.

Прежде всего потому, что вся моя последующая деятельность, особо активная в первую половину советского столетия, лежит открытой перед читателем в книгах, статьях, заметках, выступлениях устных и письменных, зафиксированная и печатью, и радио, и кино. Это полустолетие было для меня непрерывным творческим трудом, участием в великих работах первых пятилеток, «вмешательством в жизнь», борьбой за то, что я считала и считаю правильным и справедливым, и многолетней подготовкой к созданию лучшего из написанного мною — Ленинианы. Советский народ строил в эту эпоху материальную базу для коммунизма, грудью отстоял в Отечественной войне первое в мире социалистическое государство, не дал ему распасться. Время, активно прожитое мною, я храню в памяти как великое время, и никакие трагические его страницы, ошибки или жестокости тех лет не перевешивают передо мной его исторического величия.

Я пишу о себе, о своем самочувствии. Так встает передо мной прожитое прошлое. Оно никогда не мешало мне мыслить, писать и говорить то, что я думаю, в чем убеждена. И могу сказать в лицо моим детям и читателям: я не знала за эти творческие, рабочие мои годы ни лжи, ни фальши, ни соскальзывания с простой и прямой дороги чести. Не могу не сказать этой правды в конце жизненного пути, потому что в этой правде о себе я берегу как дорогую для меня драгоценность историческую правду эпохи.

Продолжать воспоминания за годы великих работ еще потому невозможно, что подробный рассказ потребовал бы десятков томов, на что нет у меня сейчас ни сил, ни времени. Но я могу в заключение сказать еще очень многое; поделиться теми уроками жизненного опыта, какие накапливает каждый старый человек в конце своей жизни. У меня они лежали в развитии моих мыслей.

Для начала признаюсь в главном своем пороке. Как ни покажется это невероятным читателю, наслышанному о моей трудоспособности, этот порок пишется четырьмя буквами: л е н ь. Всю жизнь физически я была очень ленива, может быть, потому, что никогда

не чувствовала себя субъектом, не интересовалась своей персоной, а любила сознавать себя объектом, безымянной частью природы. Дышать, спать, ходить в свободные часы подолгу, до двадцати — двадцати пяти километров в день, наслаждаясь самим движением ходьбы, давая плыть образам в своих мыслях, как плывут пейзажи справа и слева... Я исходила так большие пространства в Европе, теряя чувство сезона, погоды, места, времени, как паломник в античные века; в средневековом лесу у Робин Гуда; в эпических дебрях нашего Ильи Муромца; в былинной дали финской «Калевалы». И не имея голоса, пользуясь глубоким простором одиночества, пела всегда, повторяя одни и те же знакомые такты мелодии fis-moll'ной сонаты Николая Метнера, первой части Шестой симфонии Чайковского, солдатского маршика из «Детского альбома» Грига, еще чего-то, давно забытого... Это было как полуденное бездействие природы, и я большею частью отдыхала в жизни именно этим наслажденьем бродяжничества. Еще скажу о себе очень честно: я никогда не знала страха. Может быть, именно потому, что редко ощущала себя якой, то есть своим «я», той индивидуальной оболочкой, в которой осмысляла жизнь с 21 марта 1888 года.

Вообще дожить до девяноста лет имеет то историческое преимущество, что человек может лично наблюсти творимую о нем легенду. Если приплетаются разные небылицы к вашей жизни, когда вы еще, как говорится, «в цвету», вам это кажется пустяком, как туман весной,— рассеется, забудется, факты ведь налицо, как и явность вздора. Но вот когда отцветаешь, когда осенний ветер уносит с вас последние листья, вымысел начинает приобретать архивный характер и все вранье, доброжелательное и злопыхательное, становится «историческим материалом». Всю жизнь, воскрешая к жизни больших покойников — Иосефа Мысливечка, Гёте, Эккермана, Шевченко и прочих,— я продиралась, как через крапиву, через наросшую на них выдумку современников, отшелушивала их от раковин вранья, непонимания, незнанья; чистила, как английские мажордомы в знатных наследственных поместьях чистят от черноты фамильное столовое серебро.

Не знаю, насколько мне это удавалось. Но уж свое-то плебейское серебришко, перешагнув за девяносто, надо почистить. Сатирики и юмористы в дружеских шаржах почему-то изображали меня с крылышками, летящей по воздуху с пишущей машинкой на коленях. Это чернь двойная: никогда я не летала, читатель, даже на тушинском поле не рискнула оторваться от земли, как ни смешно и даже постыдно признаться в этом на пороге XXI века. И даже если погибнет наша маленькая планета и надо будет в будущем перевоплощении переселяться на другую, надеюсь, хватит у меня в будущем здравого смысла, как капитанам тонущих кораблей, погибнуть с нашей милой, бедной, истощенной, изуродованной безумием человеческим планетой Землей, чем лететь обживать космические миры. Даже у гениального В. И. Вернадского, когда он писал в конце жизни о расширенном, уже не земном, а планетарном, новом сознании,— не хочу читать. Сколько еще не хватает додумать про-

стому земному сознанию, как много недоделано на матери Земле, не исправлено испорченного, исковерканного на ней, не создано «возвратителей» на ее лоно; верю, что существуют они, эти возвратители,— могучие силы ума для возвращенья исчезающих воды, воздуха, того, что модно зовут биосферой... И возвращенья человечности, доброты, честности, правдивости, уваженья к жизни, ленинской братской организации ее... И вспоминается слово Ленина, что не все н о в о е прогрессивно...

Так вот, первая легенда — крылышки, а вторая (не на одной картинке!) — пишущая машинка. Никогда в жизни не писала я сама на пишущей машинке, не терплю никакого средостения между концами моих пальцев, ощущающих простую школьную ручку со школьным пером,— пишу, чувствуя ритмические очертания каждого слова, разнообразного множества их, уместности на бумаге, передачи своей мысли, напоенной чувством, как перо напоено чернилами, даже больше того, каждую букву ощущаю в ее складывании словом, и главное — почерком, этим движеньем письменного разговора на бумаге, переживаю связь со своим читателем. Поэтому в почерке у меня постоянно присутствует борьба за ясность, за понятливость, и эта борьба в почерке за ясность прочтения написанного связана с интимнейшей стороной моего писательского творчества — с потребностью ясно, доходчиво, додуманно выразить мою мысль. Тут все не мелочь, не личные капризы в ответ на нелепый шарж, а глубокое и принципиальное нечто. Хотелось бы остановиться на нем еще несколько минут и просить у читателя терпения.

Вопрос о ясности доведения до понимания читателем важных для меня, может быть, сложных мыслей — не внешний вопрос почерка и синтаксиса. Долгая жизнь профессионала открывает ему многие тайны его труда. Для меня, например, писание многочисленных очерков и статей по хозяйству, экономике, строительству не прошло даром. Я заметила одну особенность: когда написанное нравилось мне, я его давала в печать, а когда не нравилось, я его бросала в корзину. Эта особенность, с первого взгляда вполне личная (нравится — не нравится), мне кажется, может быть интересной для каждого творческого очеркиста. Почему? — вот главный вопрос, на который я тотчас стала искать ответа. Почему не нравится? За что в корзину? В шестой части моих воспоминаний, если помнит читатель, я рассказываю о том, как растила кристаллик. Он рос нормально, пока раствор был насыщен. И тотчас искривлялся, когда раствор был п е р е насыщен или н е д о насыщен. «Недо» и «пере». «Раствор», в котором рождался и рос мой очерк, прежде всего состоял в з н а н и и т о г о п р е д м е т а, о к о т о р о м о н г о в о р и т. Знание может быть п о л н ы м (в смысле полной достаточности) и н е п о л н ы м (в смысле недостаточности). И в многолетнем труде я не могла не заметить, что при слишком переполнении знании (в смысле множества цепляющихся при чтении учебников, научных исследований, архивных материалов, особенно газет, мелких фактов, штрихов, касающихся вашей темы, но уводя-

щих вас в сторону от генерального развития главных мыслей вашей темы) пропадает интерес читателя к чтению, и, как это ни странно, подробности, сами по себе интересные, кажутся ему скучными, отнимают у него чувство следования за целым. Самое опасное — когда вам жалко эти подробности выбрасывать. Но не в писании — вы должны даже в памяти не жалеть выбрасывать их, не хотеть знакомиться с ними, если они не влекут вас вперед, к развитию вашего знания о главном. Об этом я рассказывала где-то в предыдущей главе в связи с провалом моего предисловия к бальзаковскому роману «Утраченные иллюзии». Я поддалась там гурманству многознания не самого романа, а материала, на котором Бальзак написал свой роман. Поглотила множество сведений из газет того времени — и не сумела переварить их, потому что были они избыточны. И предисловие вышло скучным, а редакция его не приняла. Другой пример — когда написанное мне не нравится и я выбрасываю его в корзину от недонасыщенности моего «раствора», попросту говоря — от неполноты, недостаточности знания материала. О нем я сама рассказала в очерке «Янтарный берег»[3]. Приехала, все, казалось бы, внимательно осмотрела, записала, наблюла, начиная с руды и ее промыванья, и очерк написала как будто интересный, а вот — не нравится, не хочу печатать. В его предпоследней главке написаны вот такие слова: «Вне сознания темным облаком вставало и мучило сознание чего-то упущенного, непродуманного, пока вдруг подсознательное «облако» не засветилось перед глазами серо-голубым пятном и я не сказала себе: «Голубая земля!»...»

До этого мне (по трафарету услышанного от работников янтарного комбината) думалось, что главная проблема на нем — это нехватка художников с хорошим вкусом для изготовления экспортных украшений из янтаря. Но я питалась чужой подсказкой. А застряло у меня самой совсем другое впечатление — о голубой земле. Рудная масса, в которой покоились кусочки янтаря, была почему-то не обычного темного землистого цвета, а светилась серо-голубым. Я это сразу запомнила, сразу застрял в памяти вопрос: почему земля, из которой отмываются куски янтаря, голубого цвета? Здесь был вопрос, был вспыхнувший интерес для поиска ответа, была проблема. А какая проблема в недостатке хорошей учебы для выработки вкуса у моделистов янтарных украшений? И голубая земля привела меня к дальнейшему изучению проблемы, к открытию, которым наша экономика пренебрегала до сих пор, к плодотворной мысли: зачем плавить янтарь на разные химические продукты, масло, кислоты, если сама земля, которую мы сейчас выбрасываем, содержит их и могла бы технологически обрабатываться, чтоб дать их, а драгоценный янтарь сохранять на украшения? Одним словом, голубая земля! Под носом у нас! Не выбрасывать ее! Использовать ее! И это стало ключевой мыслью очерка,

---

[3] Мариэтта Шагинян. Очерки разных лет. М., «Советская Россия», 1977.

тем, что до сих пор никем не было высказано. Очерк пошел в печать как действительно проблемный, до полного додумыванья его материала.

2

Юбилей моего девяностолетия принес мне много возможностей разделаться с легендами еще при жизни. Пришлось знакомиться с очень большим количеством юбилейных статей, так или иначе касавшихся и моего творчества и моей биографии. Было много общих фраз, но среди них и кое-что ценное, помогшее мне самой увидеть себя со стороны. И опять же легенды, легенды, небылицы — в лицо еще живущему человеку. Среди них одна просто нестерпимая, неудачно, на мой взгляд, пущенная в ход прекрасным автором «Зависти» Юрием Олешей: «Ни дня без строчки!» Ну можно ли пустить в свет такую несусветную чепуху! Даже робот, если не заводить его, не может, слава богу, «ни дня без строчки». А уж человеку надо быть безнадежным идиотом или чурбаном, чтоб сделать это «ежестрочие» правилом поведенья. Человек, по Карлу Марксу,— это «сила природы», а не машина. Заставить себя смолоду привыкнуть к труду, как к раннему просыпанью, как к другим хорошим привычкам,— одно из важнейших дел самовоспитанья. Но привычка не закон, а даже закона нет без исключения, и только *исключение* как таковое делает действительно реальным закон как таковой. Строчка только тогда стоит того, чтоб ее написали, когда эта строчка *заслуживает*, чтоб ее прочитали. Строчка не первичное — она результат работы духа, сердца, органов чувств, всего человека, если речь идет о писательской строке. У Гёте, великого трудолюбца, были дни, которые он обозначал для себя словом vertändelt, то есть «потрачено попусту». Но время делает свое дело даже тогда, когда человек думает, что он потратил его попусту. Как строительный материал процесса жизни каждый его обломок куда-нибудь да годится — то на минус, то на плюс человеку, а главное, идет в копилку энергии, не истраченный ни на что. Пауза не пустота. Пауза в музыке, в поэзии, в кирпиче, в цементе — строительный материал формы, двигательный нерв ритма... И человеку нужны паузы, «траты попусту», перерыв в действии, а главное — оседание накопленного, минута того не предусмотренного в плане бюджета времени, когда человек говорит: «Дайте подумать!» Потому что мозг его совершает свою работу во времени, а не где-то в безвременной вечности, и часто в планированнии, в педагогике, в учете минут и часов на производстве мы совершаем гигантские ошибки узкого бюджета времени, где не учтено простора для мышленья.

В каждой семье есть свой домашний фольклор. В юбилейные дни, когда мне приклеили неудачное правило Юрия Олеши «ни дня без строчки», мой старший зять Витя Цигаль, художник, и его друг Феликс Пресс, инженер-стихотворец, вместе сочинили очень симпатичную сатиру на эту наклейку на меня. Она так удачна (хо-

тя и чересчур хвалебна в конце), что мне хочется привести ее здесь для читателя.

КАК СТАТЬ МАРИЭТТОЙ ШАГИНЯН

1

Даем рецепт, надежный лет на сто.
Возьмите круглый, неудобный стол
И завалите дрянью всякой так ли, сяк ли,—
И сядьте с краешку, и, перышком водя,
Следя, чтоб в пузырьке чернила не иссякли,
Пишите день и ночь, без устали трудясь.
Вы поняли? Как будто просто.
И так без устали лет девяносто.

2

А если дело не пойдет, то, омрачив чело,
На лоб завяжете чулок
И, закусив на кухне в промежутке,
Пишите полтора листа за сутки.
Вы поняли? Как будто просто.
И так как минимум лет девяносто.

3

И будьте широки и глубоки, как Волга.
При малом росте — высоки!
И так живите долго-долго
Завистникам и эскулапам вопреки!
Вы поняли? Как будто просто.
И так как минимум лет девяносто.

Рецепт составили Ф. Пресс и В. Цигаль
2 апреля 1978 г.

Этот семейный фольклор доставил мне много приятных минут. Он, как отповедь шаржам и пародиям, очень правдив. Все верно: и круглый московский обеденный стол, заваленный «так ли, сяк ли» (нет в Москве у меня письменного); и «перышком водя» (читатели, дорогие читатели завалили меня сотнями коробок с перьями, спасибо, довольно, довольно!); и школьная ручка; и пузырек с чернилами; и чулок на голове; и перекус чего-нибудь на кухне... И все это точь-в-точь, но только когда я работаю в Москве (изредка), не на даче, где все удобней. Я люблю так работать, неудобство помогает мне, но это когда пишу в свой «камеральный», как любят говорить геологи, период работы. Кабинетный. А между этими периодами — поиски, исследования, изученье, поглощенье материала, поездки за ним, отвоевыванье его (иногда в секретном архиве Ватикана, как это было для книги о композиторе Мысливечке) и поездки, поездки, поездки чуть ли не во все страны Западной Европы, во все библиотеки и архивы этих стран, приключения в этих поездках, отложение их в очерках, сколько событий, узнаваний, открытий, слагаемых для выведения итогов и «формул» опыта. У меня нет ни единого очерка, для которого я не провела бы большой «поле-

вой» (опять слово геологов) работы в разъездах и разведках материала.

Эта вторая часть моего труда как-то меньше учитывается критиками, чем сидячая, за столом, с чулком вокруг головы для согревания мозга.

Но я упомянула о «зернах истины» в критических статьях обо мне во дни девяностолетнего юбилея. Были они во многих статьях: у К. Серебрякова, Л. Скорино, М. Горячкиной и др., но мне хочется упомянуть об одной — в «Комсомольской правде» от 19 марта, написанной И. Жуковым.

Узнавание себя и своего в словах другого человека всегда переживается как неожиданность или совместное открытие. Жуков, заговорив о главном герое моих книг, сказал, что этот герой — мысль. И не только сказал, но и очень подробно описал ее:

«Мысль смело ориентируется в жизненном разнотемье — социальном, философском, этическом, педагогическом, эстетическом, и стрелка ее компаса всегда знает верное направление пути — «куда», что совсем не исключает творческих испытаний и напряжения. Мысль становится героем произведения — со своей судьбой и сложно, драматично, через ошибки и трудности идет к цели, к истине».

Это удивительно верно и удивительно точно. Читая, чувствуешь, что автор статьи не только листал, но изучил то, о чем пишет, сумел войти в мышление другого человека, думать с ним вместе. Вероятно, это и есть «совместное открытие». Революционные демократы давным-давно так работали. Наши великие критики открывали для истории русской литературы пути мыслей писателей, их движущийся, развивающийся облик, их направление. Отблеск такой творческой критики блеснул мне в статье Жукова.

Главное у него не только то, что он узнал и назвал как героя моих писаний мысль. Но и то, что он взял мысль не вообще, а в ее судьбе. Судьба мысли, ее движение — и не просто движение, а развитие «через ошибки и трудности», «сложно и драматично», целенаправленно к истине. Так о себе я вообще нигде и ни у кого не читала.

И тут с помощью моего критика подхожу еще к одному моему секрету — лабораторному опыту десятков лет творческого процесса, главному критерию своей самооценки, основной причине «нравится — не нравится», почему некоторые свои страницы считаю неудачными, рву и бросаю в корзину, а другие сдаю в печать и даже на протяжении жизни беру иной раз и перечитываю. Опять спросит читатель: «Ну а почему? Где критерий удавшегося и неудавшегося, нужного и ненужного, хорошо написанного или плохо? Эстетический он или философский? В содержании дело или в форме? Общий для всех творческих работников или собственный?» Я где-то раз или два ответила на этот вопрос очень просто и прямолинейно, а вот сейчас, в глубокой старости, увидела, что он не так легок, он очень глубоко лежит, в той глубине, где, может быть, объясняется вся человеческая жизнь. Набрела я на этот глубин-

ный ответ не сразу, а очень постепенно. Мне кажется, началось это понимание, или смутное приближенье к пониманию, с шахматной партии Пауля Морфи. Вот как это было.

3

В октябре 1859 года в парижской Grande Opéra шел «Севильский цирюльник» Россини, а может быть, я ошибаюсь,— «Свадьба Фигаро» Моцарта. Это не праздный вопрос, потому что воздействие музыки на то, что произошло в одной из лож Большой Оперы, по-моему, тоже в какой-то степени могло иметь место. В этой ложе сидел герцог Карл Брауншвейгский со своим приятелем графом Изуаром, оба хорошие шахматисты. И с ними был еще один человек, менее знатный, но гораздо более знаменитый, имя которого облетело шахматные круги Парижа. Судя по его портрету, это был молодой человек с чем-то детским и в то же время замкнутым в лице, особенный игрок, не для денег и не для славы,— он купил, например, своему поверженному сопернику на свой собственный выигрыш полную обстановку для дома... Пауль Морфи. Может быть, герцог пригласил его в ложу послушать музыку. Может быть, хотел, знатный, помериться силами со знаменитостью. Но вот они уселись за шахматную доску. С одной стороны, черной, два игрока — герцог и граф; с другой — Пауль Морфи. Так родилась всемирно известная, а на мой дилетантский взгляд лучшая партия в мире, № 157 по книге венгра Мароци[4].

Я никогда не была хорошей шахматисткой, хотя всю жизнь возилась с шахматами. Мой мозг не был математическим. Иногда по какому-то творческому вдохновению мне вдруг удавалось дать неожиданный, случайный для меня самой, блестящий, по определению партнера (настоящего шахматиста), мат; а чаще всего школьник четвертого класса давал мне банальнейший мат, когда я и оглянуться не успевала. А в общем, шахматисткой я была никакой, как уже сказала.

Но Пауля Морфи я полюбила за биографию, за его трагический конец еще молодым, за что-то европейское в этом рожденном американце. Он не был похож на американца. В нем был какой-то прочный, наследственный аристократизм духа. И партии его, особенно ту, музыкой в опере порожденную, 157-ю, я любила не за блеск его комбинаций, а, странно сказать, за э т и к у. Пауль Морфи умел отдавать, все отдавать до последней рубашки, и «голым» выигрывал, выигрывал не только победу, но и стиль самого себя — получение самого себя, жертвенный метод победы. Не так ли побеждают великие отдающие — на плахе, на кресте, на виселице? Я обожала коротенькую, всего на семнадцать ходов, партию № 157.

И вот однажды, отдыхая от своей собственной работы, сидела я за этой партией, играя ее сама с собой взамен трех игроков — герцога, графа и Морфи. Партия была, в сущности, не только

[4] Г. Мароци. Шахматные партии Пауля Морфи. М., «Прибой», 1929, с. 155.

очень короткая (семнадцать двусторонних ходов), но и очень простая на вид. С классическим началом. Перед нею стоит «защита Филидора». Такая невежда в шахматах, как я, никогда не могла запомнить имена великих шахматистов, давших свои названья разным началам и защитам, никогда наизусть не помнила разных популярных окончаний, да и не нужно мне было все это, меня интересовала данная мысль данного мастера в лежавшей передо мной партии. Напомню читателю эту 157-ю.

Пауль Морфи	Герцог и граф
1. e2—e4	e7—e5
2. Kg1—f3	d7—d6
3. d2—d4	Cc8—g4
4. d4 : e5	Cg4 : f3
5. Фd1 : f3	d6 : e5
6. Cf1—c4	Kg8—f6
7. Фf3—b3	Фd8—e7
8. Kb1—c3	. . . . . .

Здесь комментатор делает остановку. Он замечает, что Пауль Морфи совершенно прав, не принимая герцогского приглашения на размен королев. И не беря пешки. Он говорит — может быть, азбучную истину,— что «каждый размен является облегчением для более слабого игрока, теряющего голову при осложнениях или при полной доске». Поскольку я даже не слабый, а вообще никакой игрок, я сперва и усмотреть не могу, где тут герцог предлагает размен, и спокойно смотрю, как он ответит на отказ Морфи. А он ходит:

8.	c7—c6

Все это мне кажется пока спокойным развитием игры, и где тут был Филидор, где он кончился, не знаю да и знать не хочу.

9. Cc1—g5	b7—b5
10. Kc3 : b5	c6 : b5
11. Cc4 : b5+	Kb8—d7
12. 0—0—0	Лa8—d8
13. Лd1 : d7	. . . . . .

Тут комментатор восклицает, что «Морфи в своей стихии». Его «блестящая комбинация с жертвами» делает эту партию «одним из красивейших достижений» в истории шахматной игры. Красивейших! Значит, венгерский шахматист воспринимает эту партию Морфи лишь с эстетической стороны: я вспомнила тут одного из талантливых молодых физиков, который учил меня понимать, почему великие физики любят какие-то для меня загадочные завершения теоретических проблем,— потому что это красиво. У них свои понятия красоты. Но мне, полной невежде, до его (Морфи) рокировки еще не было (да и позднее не было!) видно никаких блестящих комбинаций. Я знала, проигрывая десятки партий разных знамени-

тых шахматистов, как проглядывает в них этническая сторона через характер игры. Осторожность, скупость, практичность у прославленных теоретиков; риск, авантюризм у агрессивных игроков, таких, например, как ранний Таль; что-то по-старчески умное у Ласкера — я чувствовала добрую, злую, скромную, хитрую игру по атмосфере, привносимой личностью игрока, простирала эту особенность первого впечатления даже на ту сферу, где отнюдь не была невеждой,— на музыку с ее исполнительской стороны. Помню, как много лет назад меня спросили после концерта видного музыканта: «Ну как?» Концерт был великолепный, а у меня вдруг вырвалось неожиданно для меня самой: «Ломанье и самодурство». Это действительно как-то пахнуло на меня как ветром из манеры игры до восприятия ее красоты. Так вот, до рокировки я еще не почувствовала комбинации. Повторяю — черные ответили на рокировку:

12.	Лa—d8
13. Лd1 : d7	Лd8 : d7
14. Лh1—d1	Фe—e6

Тут комментатор усомнился в целесообразности хода черных королевой и поставил после него знак вопроса. Ну а если б другой ход? Я пробовала так и сяк, но у меня ничего хорошего для черных не получалось. Черные были обречены, они были обречены страстной силой жертвенности Пауля Морфи. Так защищают больше чем шахматную партию — так, жертвуя собой, защищают убеждения, веру, принцип, достоинство своей правды. Осталось всего два с половиной хода, но каких! Со стороны можно было подумать, что Пауль Морфи сошел с ума. До сих пор он бросал в пасть противнику коня, ладью, а сейчас каким-то стремительным броском — слона за слоном, безумно, расточительно, на явную смерть — королеву! И последним, «голым» ходом двинул ладью. Мат герцогу и графу, мат даже не ладьей, мат неожиданный, просто позорный для титулованных противников,— от закрытой чужим слоном дороги, оттого, что «некуда деться». Мат, напомнивший мне, как создаются в кибернетике алгоритмы. Не от смертельных бомб, не от ядерного оружия, не от пушечного огня! Он, такой безоружный, но беспощадный, создан «общим положением», тем, что противнику «деваться некуда». Урок для всяческих гонок вооружений:

15. Cb5 : d7	Kf6 : d7
16. Фb3—b8+	Kd7 : b8
17. Лd1—d8×	———

Сколько раз я проигрывала эту партию! Сколько раз наслаждалась ею, наслаждалась человеком Морфи. А потом задумалась. Как странно! Шахматная доска не территория Франции или Парижа. Она даже не территория обеденного стола. Обычный ее размер — сложи и в ящик положи. В ней всего (всего!!) шестьдесят четыре квадратика. А фигур у нее и того меньше — по шестнадцать у каждого из двух партнеров, тридцать две штуки в целом. Сколько лет играют люди в эту чудесную игру? Начиная с древних вре-

мен — две тысячи, три тысячи, может быть, три... Три тысячи лет миллионы людей на маленькой доске в шестьдесят четыре квадрата, с тридцатью двумя фигурками от королей и до пешек этого миниатюрного государства играют, играют — *и ни разу на памяти человечества не повторили*, создавая свою игру, какую-нибудь известную чужую партию, разумеется бессознательно. Я представила себе все наше человечество в его современном наличии. Ведь непреложно, а можно сказать, что во множестве его нет абсолютных дублей, нет близнецов, во всем, от ноготка на ноге до волоска на голове, абсолютно совпадающих. Двойники... полные, абсолютные, отражающие свое тождество друг в друге, не существуют. Нельзя найти даже двух листьев на дереве, совпадающих друг с другом не только в форме, но и химически, структурно, в полной своей материальной сути... Нет, не было, не могло быть не только двух Пушкиных, но самого последнего Иванушки-дурачка в двух его тождественных экземплярах... Значит, весь процесс становления Вселенной не идет от повторимого к повторимому, он идет от сотворенного к новому. И даже руками человека... Вот спальный гарнитур. Их продают десятками. Они схожи, их, может быть, делал один и тот же мастер одними и теми же инструментами. Но попробуйте поспорить, что вы найдете два экземпляра абсолютно, во всех смыслах одинаковых, где бы точная одинаковость их материала, формы, обработки была доказана под микроскопом или математической, химической, технической, структурной и всякой другой экспертизой, вы наверняка проиграете пари. Как проста, как задушевно, сказочно проста 157-я партия Морфи, но ее сыграл только Морфи и никто бессознательно не сыграл вторично. Говорят, кто-то в Одессе вторично открыл дифференциальное исчисление, хотя оно давным-давно было всем известно, но это миф или пустое дело внеисторического человека.

Я задумалась над всем этим, потому что как раз в тот злополучный день полетели в корзину гранки моей статьи. Мне пришлось долго объяснять по телефону, что я напишу снова, что в таком виде она мне не нравится, что ее нельзя, ну нельзя печатать, а на вопрос почему, если набрана и принята, если это не авторский каприз...

Это не было авторским капризом. Я вспомнила свой прямолинейный ответ, данный где-то читателю: «*Если по перепечатке на машинке, или в гранках, или даже в уже напечатанном виде моя собственная работа мне не дает ничего нового, чего я бы еще не знала в процессе ее написания,— значит, дрянь работа, и никуда она не годится, и жалко, что я ее напечатала*». Тут все совершенно точно. И все-таки, может быть, для большинства читателей непонятно.

Творческая работа на опыте многих десятков лет моего собственного труда, казалось бы, дает в результате то, что в нее вложено: изученный материал, возникшие в мозгу образы, мыслительный процесс над этим материалом и образами, ваш дар во-

площения всего этого в связном произведении, ваша тщательность отделки — словом, все то материальное и реальное, с чем вы садитесь за письменный стол, что у вас уже есть и в чем вы уверены, что оно есть. Но созданное вами может доказать правоту этой уверенности и оказаться полным убедительным поглощением имеющегося у вас материала, отдачей его в произведенном труде. И может появиться другое произведение, где, кроме уже вам известного, кроме всего вложенного и использованного вашим сознанием, налицо еще что-то, возникшее как бы помимо вас, без вашего ведома, словно нежданный-негаданный гость в дом... Напрашивается банальное разделение: механическая работа, не дающая ничего нового, как бы стоящая на одном месте, и творческая работа, всегда приносящая что-то новое. Но невольно спрашиваешь себя: а есть ли вообще на земле чисто механическая работа, ничего не приносящая нового, кроме того, что было в нее вложено сознательно?

Посмотрим на самый, казалось бы, простой, примитивный труд на земле, все равно — сколком кремня или новейшей сельскохозяйственной техникой производимый, разглядим самое показательное в нем. Почему он нас кормит? Что с нами было бы, если б мы посеяли одно зерно, которое выросло бы тем, что было посеяно, тоже одним-единственным зерном? Что было бы с нами, если б мы посадили одну картофелину и выросла бы из нее тоже только одна картофелина? Зачем тогда сеять и сажать? Великая тайна природы, тайна земли в том, что природа, мать-земля, отвечает трудом на труд, процесс, совершающийся между ними, обоюден, вершится двумя силами, хотя одна считается живой, а другая неживой. Земля размножает зерно, размножает картошку; армянский пахарь из села Чалтырь под родным городом моей матери Нахичеванью-на-Дону, когда я как-то воскликнула: «До чего же тяжел ваш крестьянский труд!» — ответил мне: «Он нам не тяжелый. Потому что, видишь ли, земля отвечает». Земля отвечает. Металл отвечает резцу. Глина отвечает пальцам скульптора. Бумага отвечает под пером поэта, писателя. Человек отвечает человеку... Все отвечает на посеянное вами, доброе и злое. Великий мудрец века в эпоху так называемого закавказского (восточного) Ренессанса не зря, не на ветер сказал о зерне:

Не сей никогда с сатаной на устах —
И ты с одного будешь при семистах!

«Всухомятку» (нетворчески) мыслящий ученый назовет все эти рассужденья глубокой старости наивными по-детски. А мне, например, кажутся наивными рассуждения некоторых биологов, совершающих кощунственное разложение живой клетки и мнящих объяснить все разнообразие людских особей вложенными в них генами. Нет, никакие гены не покроют того икса небывалой новизны, возникающего в акте создания нового человека, никакие гены семейства музыкальных Бахов не укажут и не объяснят вам той неповторимой особенности, какая хрустально сияет в полифониче-

ских жемчужинах Иоганна Себастьяна Баха, выделивших его из всех остальных Бахов.

Наивным может быть изложение моих мыслей, но не самые мысли. Я постигла их не из пустых абстракций, не рождением мысли от мысли... «Судьба» этих мыслей — в личном опыте, ясно и реально пережитом мною: вот беру гранки собственной, мною написанной работы, где как будто все мне наизусть известно, каждая строка, любой абзац. Читаю — и словно в первый раз. Совсем неожиданный поворот мысли, н е з а м е ч е н н ы й (как это необыкновенно!) в процессе писания, открывающий новую ее дорогу, внезапный, неизвестный для меня вывод, как просвет голубого между облаками,— новое, интересное, способное заинтересовать (как рикошетом!) самого автора, двинуть его вперед. Что это? Творчество? Неужели только у немногих? Ну нет, я убеждена, мне предстает это как неоспоримость,— механической работы вообще нет на земле, творческой энергией начинен каждый атом материи, может быть, сочетание этих атомов, творческая сила рождения нового в них у одного явления природы (в том числе человека) больше и потому заметней, у другого меньше и потому незаметней...

Итак, два критерия, две истины, рожденные опытом многолетней, упорной, все более и более счастливой для автора творческой работы, осознанные мною на старости. Мера насыщенности познавательным материалом (ни перенасыщенности, ни недонасыщенности!) — для зарождения момента полноценного творчества, полноценной отдачи. И присутствие в каждой работе добавочного икса н о в о г о, чего не было вложено сознательно в материал.

Два критерия, за которые могу поручиться. Испытала их на себе... Может, и невелика щепотка на ладошке — за девяносто лет. Но много ли, мало ли, а кое-что на ладошке осталось. И третий вывод — а к нему дорога долгая. Невольно хочется совершить плагиат и привести две строчки семейного фольклора для окончания этой подглавки:

Вы поняли? Как будто просто.
И так как минимум лет девяносто...

4

В начале тридцатых годов, для того чтоб организованно и в коллективе прочитать «Капитал» Маркса, все три его тома, я поступила в только что созданную Плановую академию. Меня оформили студенткой, единственную беспартийную среди сотен членов партии, взятых из всех наших республик с ответственных постов. Никто из нас не знал, что такое планирование. Не знали этого и наши профессора. Предметов у нас на энергетическом отделении было множество, помню, что мы проходили практическую геологию, геодезию, машиностроение, электротехнику, математику, физику, физическую географию, черчение, французский язык и еще что-то, не считая политэкономии. Большие практики советского хозяйства были в азбучном классе по теории. Создавались затяжные кон-

фликты на кафедрах, где вместе с нашими профессорами мы воинственно в спорах и дискуссиях вырабатывали предмет, собравший нас под одной крышей и еще не рожденный учебником,— планирование. При всех неумениях и незнаниях, как использовать все учебные предметы для искусства социалистического планирования, мы дорожили нашей учебой, любили все, что с нею связано, аккуратно посещали нашу Плановку.

С той поры храню много толстых общих тетрадей, исписаных моею ученической рукой. Пишу «ученической», потому что главным для нас было то, что мы, взрослые, даже пожилые люди, учились, учились, как учатся дети и юноши,— безмятежно, заинтересованно, требовательно к государству, как дети к отцу. Нам давали все что нужно: карандаши, ручки, перья, чернила и чернильницы, линейки и чертежные инструменты, карты и научные пособия, талоны на приобретение нужных книг в книжном киоске и главное — тетради, чудную писчую бумагу. Любимым был у нас «газетный час», обсуждение получаемой каждое утро и читаемой газеты. Прочитанное обсуждалось, комментировалось, принималось близко к сердцу. А я — мне выпала завидная, двойная задача. Я пришла в эту любопытную школу подковывания практиков теорией вовсе не из «практики», не из какого-нибудь служебного учреждения. Но я пришла от письменного стола писателя, от практики изучения нового человека, советского типажа, героев советской действительности, ну если не героев — действующих лиц нашей новой, советской социальной системы. На уроках политэкономии меня пугала подвинутость моих товарищей по учебе в вопросах учрежденческого руководства, финансирования, знания разных служебных функций, бухгалтерии, кадров. Но те же, кто пугал меня своими практическими знаниями, становились в тупик перед какой-нибудь теоретической проблемой, где сама я плавала, как рыба в воде. Чтение «Капитала» — главное, для чего мне захотелось пойти на старости доучиваться и засесть за парту,— казалось мне музыкой. И было страшно, по-ученически обидно, что наша строгая преподавательница никогда не замечала, не хотела заметить и похвалить, «выдвинуть» мое теоретическое превосходство над наивными потугами больших наркоматовских чиновников, руководителей трестов, понять и правильно ответить на самые простые философские вопросы. Отметки она мне ставила всегда такие же, как членам моей бригады, учились мы тогда в нашей Плановке побригадно, то есть небольшими, в несколько человек, совместно изучающими предмет коллективами.

Но зато какой беспомощной приготовишкой чувствовала я себя, когда мы ездили на практические занятия — то на различные заводы и производства проверять какие-то контрольные цифры, то в мастерские Института имени Плеханова составлять «электрические системы»,— сколько поту пролила я, стремясь разобраться в них, и мои товарищи по бригаде, туркмен, узбек и русский, буквально водили моими пальцами, чтоб помочь мне...

Но чтение «Капитала», счастье простого для меня и очень сложного для моих друзей смысла двух кардинальных положений —

производственные отношения и производительные силы — и разыгрывающейся между ними диалектической драмы! Я видела эту драму, как шахматную партию, как музыкальную форму, наслаждалась ее логикой, блеском ее развития. Мне казалось, что своим открытием взаимоотношения этих двух факторов и абсолютной реальной необходимостью их развития Карл Маркс одним ударом, как богатырь из народной былины, раз-раз — и разнес в пух и прах капитализм. Товарищи-студенты возражали: все хорошо на бумаге, а в действительности... Но диалектика никогда не была для меня «на бумаге». Капиталист эксплуатирует рабочую силу — факт? Ну факт. Это производственные отношения между капиталом и трудом. Капиталисту выгодно, чтоб рабочий вырабатывал все больше и больше, чтоб прибыль была все больше, чтоб прибавочная стоимость уходила побольше в его карман,— ведь факт? Ну факт. Это производительные силы. Ну так вот, производительные силы растут и растут на пользу капитала, покуда их росту не начинают мешать препятствия. А какие препятствия? Да самый рост этих производительных сил, вот!!! — торжествовала я. Он мешает себе дальше расти, потому что упирается в устаревшие, уже не годящиеся для его роста производственные отношения! Устарели, потолок, помеха — и производительные силы упираются в этот потолок, они взрывают его. Революция, конец капитализму! Я наслаждалась, как если б играла прелюдию Баха. А мой товарищ, только что обучивший меня, как сделать осветительную систему, снисходительно улыбался: на бумаге хорошо, ну а в жизни, милая моя, это сложнее...

У меня сохранилась очень интересная тетрадка с заданиями по политэкономии. Не знаю, как обучают сейчас и увлекает ли это учащихся. Уроки эти захватывали меня иногда до философского восторга. Учительница, правда, указывала от — до в чтении материала и самого Маркса и при указании ошибочных решений у Гильфердинга, но я глотала целиком и Маркса и всех его исказителей и комментаторов, сама разбиралась что к чему — аналитический разбор мне был по-настоящему, юношески интересен. Листаю тетрадь: о кризисах. Идет целый ряд вопросов, на которые нужно ответить. Указания, что для этого прочитать (от — до). И дальше следуют мои ответы, написанные — в возрасте сорока пяти лет — почти детским, необыкновенно аккуратным и выразительным ученическим почерком. А вот другое задание... Да простит меня читатель! Я увлеклась. Уже не сорок пять мне — за девяносто лет, и вдруг страшно захотелось похвастаться перед читателем, переписать сюда эту любопытную страничку, ведь сейчас, может быть, уже так не преподают и так не отвечают, а мои товарищи-плановики тех лет еще живы (они были моложе меня) и, как ветераны советской учебы, обрадуются кусочку доброго старого времени...

> Да, были люди в наше время,
> Не то, что нынешнее племя.

Как мы тогда учились! Переписываю из тетрадки:

«Задание № 7

Всеобщий закон капиталистического накопления

Целевая установка: 1) изучить процесс капиталистического воспроизводства и развитие в процессе накопления капитала его противоречий; 2) изучить сущность капиталистического закона народонаселения и процесс обнищания рабочего класса при капитализме; 3) изучить сущность всеобщего закона капиталистического накопления; 4) изучить закономерности изменения жизненного уровня трудящихся в СССР в процессе социалистического накопления.

Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос. Что такое простое и расширенное воспроизводство? Почему даже при простом воспроизводстве капитал является капитализированной прибавочной стоимостью?

2. Ответ. Простое воспроизводство есть такое воспроизводство, при котором прибавочная стоимость от капитала целиком потребляется капиталистом на его нужды. Расширенное воспроизводство есть такое воспроизводство, при котором прибавочная стоимость (или часть ее) идет на расширение авансированного капитала (вкладывается в производство). Но даже и простое воспроизводство является по существу капиталистическим, потому что извлекаемая прибавочная стоимость базируется на неоплаченном труде рабочего...»

Здесь кончается первая страничка, очень примитивная, а за ней следует еще много страниц ответа на первый вопрос, очень интересных сейчас для меня самой, но совсем неинтересных для читателя. Я привела эту первую страничку из толстой общей тетради по политэкономии, чтоб показать особый метод и стиль нашей тогдашней учебы, где положения капиталистической экономики, взятые у Маркса, тут же, параллельно с ним сопровождались изучением — а как обстоит это сейчас, в нашем социалистическом производстве? Такой параллелизм при изучении «Капитала» был интересен, поучителен, содержателен для цели нашего учения. Хоть и не было еще нашей советской теории планирования, не было никакого учебника или научного пособия для него, но мы, незаметно для себя переходя на живую почву современности и сравнения, неизбежно постигали возможности для планирования нашего социалистического производства.

Для меня же это был период развития моей мысли и того, что комсомольский критик назвал в своей статье «судьбою мысли». Эта судьба привела меня в те годы — начало тридцатых — к особому теоретическому чтению, то есть, верней сказать, к особому чтению теории, экономической, эстетической или философской, с тут же, в процессе самого чтения, возникающей потребностью проверить ее практически. Причем практика часто заменялась у меня понятием «опыт». И если практическая проверка совершалась где-то вне Плановки, в физических кабинетах или мастерских других инсти-

тутов, где они имелись (базой для нас был Институт имени Плеханова), то опыт часто происходил внутренне, путем наблюдения над самой собой, своими чувствами и действиями и соотношением этих чувств и действий с их результатами. Все время происходила обобщающая, анализирующая работа мозга. Я заметила, например, в процессе обучения самым разным специальностям, переходя из класса энергетики в класс физики, из класса физики в класс механики или машиностроения, иногда в один и тот же день, что каждая из этих наук говорит подчас об одном и том же понятии, но облекает это понятие в другой термин. Мало того, иногда в одной и той же специальности имеются смежные виды научных отраслей, а, скажем, в физике или биологии очень много таких разветвлений, и каждое из этих отдельных научных разветвлений пользуется одним и тем же понятием, но в замаскированном виде, названном совсем другим термином. И вот, употребляя свою терминологию, двое ученых — оба физиологи, или биологи, или физики,— бывает, не знают или не понимают теории друг друга. Так случилось, например, со мной, когда я реферировала Международный пятнадцатый конгресс физиологов в Ленинграде для «Правды», пытаясь узнать у одного физиолога о теории его смежника, профессора другой отрасли физиологии.

Я приставала к своим преподавателям с предложением размаскировки терминов, объяснения их в первые уроки, чтоб шире раздвинуть горизонт учащегося, помочь ему связно разбираться в общей панораме наук... Я беседовала об этой необходимости приведения каждого термина к его основному, корневому понятию и объяснения уже после, какие отличительные (специальные) черты привели это общее понятие к разным названиям в разных смежных науках, с нашим умным, любившим пофилософствовать математиком Березовским. И, должно быть, порядком надоедала ему.

Помню, например, такое свое рассуждение: «Вот посмотрите: ваши длинноногие абсцисса и ордината и более скромные функция и аргумент и тому подобные, даже в ткачестве уток и основа,— что в них наглядно, начертательно на глаз общего? Разве не точка *пересечения*, не *пересечение* вообще? Ну и дайте ученику перво-наперво ясно понять, зримо понять общую философскую суть пересечения, увидеть перед собой самое простое *соотношение горизонтали и вертикали*, а уж потом объясняйте, почему это соотношение замаскировано в разных науках разными терминами! Куда легче будет осваивать разницу, если понимаешь лежащее в основе их главное общее действие». Я утверждала лектору по механике, что термин «рычаг» имеет свою аналогию в анатомии (в строении скелета), в бетховенских сонатных и симфонических кодах (длительных обобщающих окончаниях),— словом, чувствовала великое наслаждение гегельянца, научившегося владеть диалектикой.

Эти мои умственные копанья во всевозможных терминах, скрывающих под собою одинаковое первоначальное действие, точнее — отвлеченно скрывающих его под собою, привели меня к некоторым

моим печатным работам, например об унификации научных терминов, об историческом изложении науки, вырастающей из практической необходимости (в книге Лурье о дифференциальном вычислении у древних), о настоятельной нужде создать наш, социалистический научный компендиум... Впоследствии эта эпоха нового, вторичного университетского «переобучения» для меня выросла в педагогическую, дидактическую страсть к советской педагогике, ко всему новому, что есть или появляется в ней, к блестящему методу диалектического обучения арифметике у калмыцкого ученого Эрднеева, к поискам знаменитой харьковской школы и болгарских педагогов строить обучение у ребят на развитии самостоятельного мышления, на умении схватывать проблемы и быть ими захваченными — словом, ко всему, что углубляет и, углубляя, *облегчает* для учащегося усвоение учебного процесса, а для учителя — ведение этого процесса, поскольку сам он неизбежно становится мыслящим, находящим удовольствие в мышлении, по-настоящему образованным педагогом. К этому периоду относятся мои новые чтения Гегеля, сверка разных переводов его сочинений на русский, ловля ошибок в этих переводах, где главный, излюбленный гегелевский термин *werden* (становление) часто заменялся термином *sein* (быть, существовать, бытие вместо протяженного и меняющегося во времени понятия «становиться», «становление»). Смотри большую мою статью «О природе Времени у Гегеля». Но особенно горячо я занялась метаморфозами терминов, когда — случайно, хотя случайностей нет в судьбе мышления,— уже с угасающим зрением, с лупой в руках напряженно трудилась (чтение стало огромным трудом!) над маленькой английской книжкой Д. Линдсея о Джордано Бруно.

5

Д. Линдсей (со своими комментариями) перевел на английский язык одну из главнейших книг Бруно, его знаменитые «Пять диалогов», под общим заглавием. По-русски это заглавие переведено так: «О причине, началах и едином»; по-английски у Линдсея: «Cause, Principle and Unity». Он отбросил предложный падеж (о ком, о чем) и перевел это заглавие именительным, что помогло ему найти правильный термин для передачи третьего слова оригинала. В оригинале (Бруно писал по-итальянски) заглавие это звучит так: «Della causa, principio ed uno», где третье слово может ввести в заблуждение переводчика и сойти за «одно» (uno) в смысле единицы, хотя по-итальянски это не единица, потому что для единицы есть отдельное слово unico. Что же это за слово uno? У Линдсея — «юнити», единение, единство. По-русски «единое» совсем не то, что единица, и как-то философичнее, глубже английского «единства», что склоняется к единомышлению, единогласию, а в «едином» — соединение множества, синтез. Первое слово «причина», causa,— тоже очень устойчивый термин, у Спинозы он даже «первопричина», сама себе причина, causa sui. Ну а вот *принцип*.

Простой читатель удивится, прочтя его перевод — «начало», ему это покажется «плагиатом» от causa, «причины». Именно в смысле первой причины, или основы Вселенной, у древних философов называли огонь, воду, воздух принципами, началами. Философ Владимир Соловьев, ведший в словаре Брокгауза отдел философии, дал такое объяснение термину «принцип» в его метафизическом понимании:

«При всех ее (философии.— *М. Ш.*) успехах со стороны формального развития умственной деятельности, принцип бытия доселе получает в различных системах лишь те или другие одностороннние определения, не представляющие существенного прогресса сравнительно с воззрениями древних мыслителей... Неудовлетворительность... выставляемых в новейшее время принципов доказывает, что философия еще имеет перед собою будущность» [5].

А вот наш «Русско-итальянский словарь» взял это соловьевское пророчество как быка за рога и в переводе слова «принцип» напечатал так: «Принцип, principio, социализма: от каждого по способностям, каждому по труду» [6].

Здесь, в примере для читателя, метафизика слова «принцип» уже совпадает с современным, практическим ответом: «Я имею убеждения и своим убеждениям верен, я принципиальный человек». Так обстоит дело с «принципом» в философии и в жизни. И в этих терминологических изысканьях я постепенно вернулась к забытому мной Фрошаммеру.

Конечно, претерпеть такую огромную историческую метаморфозу, как «принцип», термин «фантазия» не мог. Если на свое изменение термин «принцип» потратил столетия, то «фантазия»... а впрочем, «фантазия» у древних философов тоже понималась глубже и, хотя не так, как «принцип», имела какое-то свое действенное значение. Она дошла до нашей разговорной речи тоже вульгаризированной, хотя «принцип» возвысился, занял твердую положительную позицию по смыслу, а она спустилась в быту человека чуть ли не до ругательства. Однако в столетие, когда Фрошаммер поставил ее во главу угла мирового процесса, большие люди — Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Гёте, а позднее наш Ленин — отводили ей очень реальное, очень нужное, очень уважительное место в гносеологии, теории познания, даже в социальном, практическом мышлении и поведении. Так мои философские раздумья над метаморфозами терминов неизбежно привели меня к моей заброшенной диссертации.

К ней вел и весь опыт наблюдений над собственным творчеством, чувство пригодности, нужности его, когда чтение собственной напечатанной вещи одаряло чем-то новым, что как будто не существовало, не имелось в подготовительном материале, не светило,

---

[5] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. 49 (XXV). С.-Петербург, 1891, с. 238.

[6] «Русско-итальянский словарь». Составили С. В. Герье и Н. Л. Скворцова. М., Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1953, с. 479.

не было «ни на спичку», ни на короткую вспышку света в моем ясном сознании, когда писалось это, ни в замысле, ни в исполнении труда, а вот вдруг повеяло свежим ветром со страниц как будто знакомых, собственной своей рукой написанных,— все, все вело к Якобу Фрошаммеру. Вела к нему и «шахматная» мысль, почему не повторяется, ни разу не повторилась комбинация атомов в человеке, если даже комбинация всего тридцати двух фигур на доске всего из шестидесяти четырех квадратиков не повторилась за тысячелетия? И это вело к Фрошаммеру. В мое время произошло самое страшное в истории человеческой науки — разложение живой клетки, попытка вывести человеческую индивидуальность из наличия генов, и разве ум человеческий не видит, не понимает, что эти самые гены (как весь подготовительный материал к творчеству, все — узнанное до полной ясности, бумага перед носом, чернила перед вашим носом) не исчерпывают всего в человеке, в произведении, в индивидуальности, а всегда еще всплывает над всем этим присутствие икса небывалости, икса невоосуществимости, икса — неведомо как, из чего, из каких тайников материи возникшего ростка продолжаемости уже бывшего, в прибавляемости к нему еще не бывшего? И это все тоже приводило меня десятками тропинок к забытой диссертации, как к заброшенной шахте неутомимого золотоискателя: а вдруг в ней содержится золото? А вдруг фантазия — что фантазия?..

И даже предмет, под названием которого как под крышей сидели мы и учились,— план, планирование — приводил меня каким-то боком к Фрошаммеру. В Плановой академии мы так и не поняли, что такое план, и еретики среди нас частенько поговаривали в минуты нашего «газетного часа»: «Да ну его, план, учат нас тому, что преподается в каждом политехническом институте, только беспорядочней. Фантазия — этот план». Но у меня были свои мысли о плане. Я боялась, что их назовут еретическими. Вообще меня частенько били и прорабатывали за свежие мысли, выскакивавшие из нашей системы обучения классике марксизма от — до. Стараясь держаться за перила этого узкого мостика от — до кусков из классических творений Маркса и Ленина, я все-таки думала о плане. У нас изменились производственные отношения. Значит, планирование социалистическое должно строиться на новых производственных отношениях: нет эксплуатации, нет погони за прибылью, есть живой новый человек, вышедший на авансцену истории — трудящийся, рабочий человек. Поэтому начало планирования — в изучении потребностей народа. Вот откуда в первую очередь нужно вести графики цифр названий, вычислений, а не сразу с контрольных цифр предприятий. Уже зная — и хорошо, с толком зная — потребности народа, можно планировать то, что создается для этих потребностей, с запасом, с резервами, и маневрировать, увеличивая или уменьшая возможности каждого производства. Ведь растут и умножаются потребности! Ведь незнание потребностей — первый шаг к созданию перепроизводства и кризисам... «Чепуха,— возражал руководящий работник, сидевший на скамье первого семест-

ра,— чепуха, утопия — изучение потребностей. Это приведет к стадному формализму. У меня, например, потребность найти ошейник и хлыст для собаки, ищу, ищу — нет в магазинах, а кто будет учитывать такую потребность?» — «Эх ты, собачник,— отвечала я с возмущеньем,— а перепись населения! Это величайшее дело — перепись населения, но надо ввести умную, разветвленную графу по учету потребностей. Да притом это понадобится, когда дойдем до перехода в коммунизм. Вспомни: от каждого по способностям, каждому по потребности. А у тебя, кстати, какая способность?» Руководящий работник, ставший студентом, повернул ко мне спину.

Планировать... И это вело к Фрошаммеру. Мне любопытно было, как он «спланирует» произвольные действия фантазии.

Плановку я оставила на третьем семестре. Мне казалось, главная цель выполнена. Три тома «Капитала» в зеленоватой бумажной обложке первых изданий, исписанные на полях, в загогулинах, безжалостных перегибах, разрознивших брошюровку, лежали передо мной прочитанные. Я воображала, что поняла Маркса, освоила Маркса, а за стеной нашей академии воздвигалась первая пятилетка, звали очеркиста острые, нужные, захватывающие мысль проблемы нашего стремительного движения вперед. Любопытно закончился для меня третий семестр Плановой академии: «Гидроцентраль» давно вышла в свет. Широкое русло советской литературы несло в своем половодье возникавшие корабли нашей литературы — «Поднятую целину», «Бруски», «Энергию», «День второй», «Человек меняет кожу», «Людей из захолустья», «Танкер «Дербент», один за другим, много, много кораблей в будущее, еще не нашедших своих Белинских, своего Чернышевского, чтоб измерить их действие, описать их могучую роль в великих материальных летописях социалистической стройки эпохи...

Я давно покинула Дзорагэс. Но она не вошла в список ударных строек пятилетки, и ее заявки на необходимое оборудование бездейственно лежали на одном из харьковских заводов. В каникулярное летнее время я помчалась в Харьков. В те дни в Зангезуре произошло очень сильное землетрясение. В Харькове еще помнят, как я использовала его («землетрус» в Армении) для страстного выступления перед рабочими, прося их сверхурочно выполнить заказ первой большой стройки Армении. Моя «речь» сохранилась в заводской многотиражке, и «бедной Дзорагэс» помогли дорогие моему сердцу харьковчане, хотя пусть они простят горячего оратора, Дзорагэс была очень далеко, чуть ли не на другом конце Армении, от пострадавшего Зангезура. Но в этом событии нашей рабочей советской солидарности было и еще одно доброе советское качество, которое можно назвать сейчас борьбой с показухой: главный инженер Дзорагэс, зная, что стройка еще не готова к пуску, а ее, как на свадьбе, уже нарядили в праздничные одежды, к открытию в срок,— речи, знамя, пионеры, гости, тосты, список награждаемых, статьи собственных корреспондентов ждали мгновенья,— главный инженер, невзирая на свое начальство, не открыл

пусковую стройку, а закрыл ее открытие до действительного окончания. И я особо использовала это.

В газете «Известия» я поместила большой, двухподвальный проблемный очерк «Вместо открытия», где рассказала о важном значении этого маленького события — строить, создавать, бороться за выполнение плана, но мужественно не давать ходу показному, обманчивому его выполнению «в срок». «Известия» не только напечатали мой огромный очерк и редактор не только не коснулся его острием своего карандаша, но и дирекция Плановой академии засчитала мне мой очерк как очередную *семинарскую работу третьего семестра*. Таким было мое расставание с Плановкой. И так мы работали, стараясь помочь нашему молодому социалистическому государству. Так понимали мы, молодые будущие плановики, формулу «кто не трудится, тот не ест», стараясь, чтоб труд наш шел на пользу, реальную пользу родине, делом, а не показухой.

Еще надо сказать о Плановке. Мы отнюдь не зря провели в ней свои студенческие годы. Мое собственное положение было, правда, парадоксально — одна-единственная беспартийная, как белая ворона, в коллективе не только партийцев, но и людей с большим опытом советской практической работы за плечами. Но я наблюдала, училась у них, многое принимала и брала себе в толк от одного только огромного факта — пребывания и учебы в *коллективе*. И тот, «собачник», повернувший ко мне спину (я как беспартийная была для него неисправимой идеалисткой), был по-своему лучшим марксистом, чем я. Он считал, что в одном факте планирования хозяйства, в одной возможности создать такое учреждение, как Госплан, уже заложено социалистическое понимание *новых* производственных отношений. Я помню много наших честных, открытых выражений своих взглядов на план — даже не взглядов, а скорей поисков своего взгляда — в спорах и дискуссиях. И те, у кого был опыт управления заводом или наркоматом, приводили примеры из своей деятельности, а те, кто от доски до доски прочитал учебную литературу, критиковали и отвергали эти примеры в связи со своими теоретическими познаниями. Студенты, державшиеся, как и я, мнения, что изучение потребностей должно предшествовать планированию производства, считали, что это изучение вещь очень сложная, требующая огромных социологических, психологических и даже литературных знаний: я любила приводить в наших спорах примеры не из хозяйственной практики, цитировала шекспировского «Короля Лира»:

Дай человеку то лишь, без чего
Не может жить он,— ты его сравняешь
С животным...

На это мне отвечали спорщики других взглядов, что «при капитализме такое изучение происходит непроизвольно и неизбежно, только слово «потребность» там заменяется словом «спрос», и поэтому, хочешь не хочешь, можно скатиться к апологии капитала».

Вообще Плановка приучала к пользе думать и спорить. Я обрадовалась, когда нашла много позднее у Ленина такое замечательное место. Осинский, занимавший в 1921 году ответственный пост в Наркомземе, написал Владимиру Ильичу «истерическое» письмо о невозможности работать в этом наркомате из-за «склок» его сослуживцев, шедших наперекор его мнению. Ленин ответил ему, что он, Осинский, видит интриги там, где их нет, что нельзя сводить противоречивые мнения к склокам и интригам, а, наоборот, надо их уважать, к ним прислушиваться. Он писал:

«Вы сделали ошибку, настояв на удалении Муралова, видя «интригу» там, где ее не было ни капли. Но чтобы вести такой наркомат, как Наркомзем, в таких дьявольски трудных условиях, надо не видеть «интригу» или «противовес» в инакомыслящих или инакоподходящих к делу, а ценить самостоятельных людей»[7].

Ценить самостоятельных людей! В томе 54 полного ленинского собрания эти строки подчеркнуты у меня густо-густо красным карандашом. Если б я могла, я отлила бы их в золоте. Потому что эта конкретная истина слита с вечной всеобъемлющей истиной диалектики — исторического развития общества...

В Плановке, почувствовав узкое место нашей учебы, чтение от — до, я поставила себе целью прочесть весь «Капитал» вторично, с карандашом в руках, не жалея свои старенькие, уже потрепанные загибами и ушками три моих тома. И они постепенно, из года в год покрывались у меня на полях записями, в тексте — подчеркиваниями. Одно подчеркивание было взято в такую густую рамку, так измусолено всякими изображениями моих восторгов, восклицаниями, кляксами, растекающимися из-под пера чернильным потоком, сменившим карандаш, что я долго, долго, словно глазам своим не веря (глаза мои еще хорошо видели!), вглядывалась в мелкие буквы трудного узкого шрифта, читала и читала это место.

Мне тогда было восемьдесят пять лет. Люди, радуйтесь своему богатству, если вы видите и слышите в эти годы, если ноги у вас идут себе не спотыкаясь, колени не дрожат, как у пожилых генералов, и не хнычьте на какие-то старческие пустяки. Вы еще молоды! Я была молода в свои восемьдесят пять лет. И ноги и глаза работали на славу, слух — я к нему привыкла и даже любила свою глуховатость, потому что она, как хорошее кухонное ситечко, пропускает в мои уши только главное, а не разный разговорный хлам, какой не заполняет, а «проводит» драгоценное время. Я была так молода, что казалась самой себе моложе прежних двадцати лет, потому что была охвачена глубоким неутомимым интересом к жизни. Как раз в этот год в процессе моих писаний с особой силой встала у меня в мышлении проблема труда. Газеты и книги чуть не каждый день напоминали о ней. Мы, советская пишущая братия, начиная с Горького, касались этой проблемы, думали о труде различными формулами, создаваемыми нашей эпохой. Чего только нет о труде в моих собственных книгах, вся «Гидроцентраль» и ее ге-

[7] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 54, с. 72—73. Письмо № 136.

рой Рыжий — это философия труда в лицах, в действиях. А вот главного, что сказано о труде, о проблеме труда,— ни в «Перемене», ни в «Гидроцентрали», ни в «Месс-Менд», где (незаметно для читателя, но — в дыхании книги, в воздухе самого сюжета) все насыщено рабочим кислородом труда, ни слова не упомянуто о том главном, что сказал о труде Карл Маркс. А ведь он много неожиданного, точного, классического писал в «Капитале» именно о труде, о том, что такое труд. Правда, это была особая проблематика. Словно в детективном романе он прослеживал «тайну прибыли», с волнением писал, что пора наконец открыть ее, тайну, а не какую-нибудь ординарную «сущность» или «происхождение». И тогда я взяла густо подчеркнутое мною место в первом томе «Капитала». Отдел третий, нужная мне глава пятая и начало ее, первая подглавка «Процесс труда». Пусть вернется читатель к первому эпиграфу этой моей завершающей главы, взятому из потрясшей меня пятой главы третьего отдела первого тома «Капитала» Маркса. Признаюсь, я читала ее много раз, эту главу. Но глубокое понимание пришло ко мне только пять лет назад, в мои восемьдесят пять лет. Как объясняет Маркс, что такое труд? Он исходит прежде всего из двух данных — природы и человека: «Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Веществу природы он сам противостоит как сила природы...»

Здесь противостоят у Маркса вещество и сила. «Для того чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы»[8].

Здесь естественные силы человека перечисляются как руки, ноги, голова и пальцы. Но только ли они?

«Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти... Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю. И это подчинение не есть единичный акт. Кроме напряжения тех органов, которыми выполняется труд, в течение всего времени труда необходима целесообразная воля, выражающаяся во внимании, и притом необходима тем более, чем меньше труд увлекает рабочего своим содержанием и способом исполнения, следовательно, чем меньше рабочий наслаждается трудом как игрой физических и интеллектуальных сил»[9].

---

[8] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 188.
[9] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 188—189.

В этих строках, выписанных, к сожалению, из общего текста, который весь, каждым своим словом поражает глубиной развивающейся мысли, очень много сказано. Труд определяется многими своими свойствами. Он и соотношение человека с природой, соотношение, в котором он не только изменяет природу, но изменяется сам пробуждением дремлющих в нем самом сил. Труд — это и наслаждение, способное увлечь того, кто трудится, и своим содержанием и способом его исполнения, но труд может быть и неспособным увлечь рабочего, механическим. И целесообразная воля, необходимая для свершения труда, оказывается более необходимой в рабочем, чем непривлекательней его труд. И труд называется «игрой физических и интеллектуальных сил», когда он трудящегося увлекает. В небольшом приведенном из Маркса отрывке темы для десятка диссертаций,— соблазн разделения труда на творческий и механический, урок психологии труда, разгадка его утомляемости (какой труд труднее). Целесообразная воля, называемая вниманием, вещь очень напряженная: глаза и ум, наблюдение и соображение тем сильнее, чем больше требуется в работе, которая совершается без удовольствия. Наслажденье трудом снимает физическое и умственное напряжение труда, отодвигает точку утомляемости. Но кроме этих простых комментариев к сказанному Марксом примешивается невольный вопрос: а что, какая сила обнаруживается в процессе труда, которая прибавляет к двум слагаемым — природе и человеку, материалу и труду — нечто третье, некий икс, рождающийся в результате их взаимоотношения? Предмет, произведение, новую данность, кроме материи и человеческого труда, приложенного к ней, приносит с собою не только голое сочетание этих двух начал, но и нечто новое, третье, такое, чего нет ни в материи, ни в человеке как таковом и что, как электричество от трения, порождается актом его труда, его творчеством? Страницы всей этой подглавки «Капитала», названной у Маркса «Процесс труда», полны еще самых гениальных мыслей, проследить за которыми в чтении доставляет огромное наслаждение. Но одну мысль, по-моему самую главную, самую гениальную изо всего, что когда-либо было сказано о труде, я здесь приведу.

Как и все читатели «Капитала», я, конечно, не забывала за чтением его страниц, что подходит Маркс к проблеме прибыли как экономист, что прибавочная стоимость, обогащающий капиталиста уворованный у рабочего неоплаченный труд, прячется, как в цифровых подсчетах, в самом характере капиталистического производства. Но гений Маркса был не только политико-экономическим — гений его был философским, и величайшее заблуждение было у тех недалеких современников, кто отдавал ему дань как экономисту и умалял его значение как философа. Именно философской глубиной его размышлений о труде замечательны страницы «Капитала». Как пример приведу одно место на странице 196 той же подглавки: «Куплей рабочей силы капиталист присоединяет самый труд как живой фермент к мертвым, принадлежащим ему же элементам образования продукта» (разрядка моя.— *М. Ш.*).

Живой фермент! Вот главное, что определяет творческую суть труда. Слово «фермент», как и слово «принцип», пережило немало исторических метаморфоз. Заходило оно и в чуждые материализму области и в мертвое царство химии, но корни его гнездятся скорей в области морфологии, близкие к формующему, воздействующему «катализаторскому» вмешательству в вещество. А присоединение слова «живой» к слову «фермент» уводит нас от словарей; оно постигается простым человеческим воображением как дающий жизнь, как грибок, закваска, жизнедеятельное начало у человека и, значит, творящее начало, тот самый икс, который всегда создает новое, небывалое, не бывшее ни в каких генах папы и мамы, вытащенных из убиваемой клетки... Икс движения к будущему, роста, развития, становления...

Пусть смеются надо мной ученые. Но я должна признаться: «живой фермент труда», созидающее начало у Карла Маркса в его «Капитале», как ни невероятно это, был последним толчком, заставившим меня наконец в восемьдесят пять лет вернуться к моей покинутой диссертации о Якобе Фрошаммере. Я взяла командировку в Швейцарию, в милый моему сердцу Цюрих, чтоб засесть наконец за Фрошаммера в цюрихской библиотеке, где любил заниматься Ленин.

6

Целью моей командировки — официальной — было продолжение моих «Зарубежных писем» для четвертого их издания прибавкой «Швейцарских писем». Готовиться к ним и одновременно к Фрошаммеру я начала с сентября, а сентябрь в том году (1973) выдался чудесный. Билет мой Москва — Париж — Женева, через Брест, Кёльн, Аахен, Париж, был на отдельное купе (Single), и я расположилась в нем как в рабочем кабинете. Дочь моя Мирэль, старавшаяся постоянно держать свою старую мамашу в курсе новинок литературы, сунула мне в русском переводе роман одного из крупнейших писателей Швейцарии, Макса Фриша, «Штиллер», а внучка Леночка, со своей стороны, просветила насчет Фриша, что это очень умный, замечательный, хорошо к нам относящийся, не так, как вторая швейцарская знаменитость, Дюрренматт, хотя и писавший хорошие детективы, но не такой глубокий и к нам относящийся плохо.

В понедельник вечером, 1 октября, я выехала с большим комфортом в своем «сингле», отодвинув в сторонку «Штиллера» и захватив для себя на ночь из вагонного коридора, где были книги для путников, уютный томик Ленина «Что такое «друзья народа»...». «Штиллера» я прочитала на следующий день залпом. А в дневнике моем на следующий день стояло разбросанными от вагонной качки каракулями: «Солнце! Солнце!» — потому что все купе мое было залито, как оранжевым апельсиновым соком, густыми, полнокровными потоками солнца.

Те, кто ездит у нас очень часто за рубежи,— дипломаты, журналисты, туристы — наверно, поймут меня, когда я проснулась с особым, деловым чувством привычности; не в первый, не во второй раз все эти Кёльны и Аахены, да и сам Париж. Все знакомо вокруг, все изъезжено вкривь и вкось, Париж осточертел, дорога знакома и переезжена — да и задолго до революции, через Варшаву, Подволочиск, старый Гельсингфорс,— и в окно не глядишь и на часы не смотришь, где и на сколько их переводить, где и в каком часу остановки. Мысль уже у цели, в цюрихской библиотеке,— обдумыванне, разбег, как для прыжка,— и только постепенное нарастание чувства отдыха, ленивый и бездельный вагонный режим, старомодная привычка к чайку со своей снедью, к соленым огурцам на своих станциях, уже недоступным... Но не все в этой поездке оказалось для меня обычным. Переставлены на два часа назад ручные часики, в окне засерели парижские предместья, тут мне пересадка на Женеву — с переездом на другой вокзал... Но — ни души на перроне, никто не встречает, наконец знакомая, но очень расстроенная фигура секретаря посольства... Железнодорожники бастуют (в скобках: это очень хорошо, но...), и поезд на Женеву не идет. «А я машиной»,— отвечаю без всякого огорчения. Какой по счету поездка машиной из Парижа в Женеву будет у меня? Первой, второй, четвертой? И дорога машиной езжена-переезжена, только раз после революции ехала я поездом из Парижа в Базель, кажется... «Да,— отвечает работник посольства,— но дело к вечеру, ехать ночью...» И вот мы в посольстве, добрый и благожелательный Степан Васильевич Червоненко отпускает машину, тот же секретарь идет делать свои дела, потому что он же, тов. Лилоян, будет сопровождать меня в Женеву. И пока то да се, действительно темнеет, подкатывает машина с шофером Станиславом, садится Лилоян со своим саквояжем, и мы трогаемся в путь-дорогу.

Замечательная путь-дорога, наизусть ее знаю, но, во-первых, тьма-тьмущая и ни зги не видно, во-вторых, я все это не раз уже видела. И старинный городок Доль, очень небольшой музейчик великого Пастера в доме, где он родился и рос в семье кожевника, его отца, и где построен в стиле модерн (по-моему, оскорбительном для настоящих верующих) храм апостола Иоанна; и ресторан-замок «У форелей», где вас обдерут как липку; и Ферней, знаменитое поместье Вольтера, где он жил и творил и куда вас не пустят, потому что Франция не сделала из Фернея мирового музея, а оставила его в руках частновладельца; и шоссе в Швейцарию, к озеру Леман, к Женеве, куда из Парижа течет поток автомобилей. Все это я двадцать раз (фактически шесть туда и обратно) видела, проезжая засветло, и даже описала в очерке. А поэтому, усевшись в машину, спокойнейшим образом заснула и спала до тех пор, покуда машина не остановилась в глубокой ночи у подъезда внушительного здания советского представительства. На пороге нас ждала взволнованная Зоя Васильевна Миронова, наш постоянный представитель в Женеве в ранге посла, одна из умнейших и милейших женщин, каких я встречала в жизни. А взволнована была она по-

тому, что о нашем приезде звонили из Парижа, но мы опоздали, и ни шофер Станислав, ни секретарь Лилоян не знали точно, где находится наше представительство, и машина блуждала по улицам спящей Женевы глубокой ночью, под прелестями знаменитого женевского «плохого климата» — моросящего капельного дождя-тумана, тускло пронизанного заплаканными слепыми фонарями.

Много было пережито и в самой Женеве за два дня, и в необычайном по прелести погоды путешествии через Лозанну в Берн, и в самом Берне, но я не хочу разбрасываться по воспоминаниям ярким и дорогим, отдаляющим меня от цели путешествия. Из Берна в Цюрих, и в Цюрихе опять в том отеле, где останавливалась много раз раньше, пережившем тоже свою «историческую метаморфозу», как понятия «принцип» и «фермент». По тому, как менялся этот отель, можно было бы проследить общее изменение характера самой немецкой Швейцарии, постепенное угасание хорошего национального духа швейцарской старины.

В дневнике моем стоит: «6 октября, суббота, 1973. Начинается цюрихский период жизни». Длился этот период около месяца. Моя гостиница, расположенная каким-то незаметным углом, неподалеку от вокзала, на Зильштрассе, называлась раньше общим популярным именем «безалкогольной» (alkoholfrei) и принадлежала к идеологическим или этическим, касающимся нравственности в общественном быту, милым выдумкам немецкого Запада. Девушкам, путешествующим в одиночку, можно было останавливаться в таких отелях, как «христианские хосписы», где у них был общий стол, молельная комната, начальница — нечто материнское,— или вот эти кафе и гостиницы, не державшие алкогольных напитков. Что-то старомодно-нереальное, вроде романов Е. Марлитт, царило в этих уголках. Помню, в Веймаре в 1914 году двери в таких хосписах не имели замков, они завязывались тесемкой (там, где обычно крючок и железная петля), аккуратным бантиком. Но времена и люди меняются. Раньше вокруг моей безалкогольной были скромные магазинчики, где вместе с покупкой вы получали брошюрку, как и чем надо питаться для поддержания светлого духа в теле, великолепный и дешевый вегетарианский ресторан, а в газетном киоске вы могли получить добрую литературу для антикурения, антипьянства, впрочем, и тогда, кажется, игнорируемую большей частью населения. Сейчас все это отошло в далекое, забытое прошлое. Цюрих поспешает за Европой в целом. В кино людям чистоплотным просто нельзя ходить, секс пролезает во все печатные щели, национальные традиции вызывают у цюрихской левой молодежи краску стыда. Вильгельм Телль с его яблоком на голове у сына — не следует даже и помыслить о нем: все это устарело, все это слащаво, выдуманно, все это «конформизм», смешно, старо, постыло. И в магазинах книжных с трудом раздобудешь даже «Зеленого Генриха» — классику былой Швейцарии... Но в одном моя безалкогольная гостиница, потерявшая свой демократический облик и четырежды вздорожавшая, сохранила свое главное достоинство. Она — только мост перейти — была совсем недалеко от ста-

рого особняка, с двумя пологими к его входу лестницами, по этим лестницам взбегали быстрые ноги Владимира Ильича, в этом доме он сиживал не раз, это была городская библиотека, до сих пор не собравшая вместе разбросанные по городу свои филиалы. И для меня это было главное достоинство моего местожительства.

Я пошла в нее на второй день по приезде. И узнала, пока пересылали меня из комнаты в комнату, от одного седовласого швейцарца к другому, что философа Якоба Фрошаммера у них нет в каталогах и никто его вообще не знает — видом не видывал, слыхом не слыхивал. Понадобилось четыре дня, обращение (письменное, заказным!) в бернское Центральное управление библиотечными фондами и книгохранилищами (пишу по памяти), понадобилась помощь местного журналиста Альфонса Маппа, к которому у меня было письмо, чтоб мне прислали из Берна официальную справку: «Книги философа Якоба Фрошаммера имеются в городской библиотеке города Цюриха». И уже с этой справкой в руке на пятый день тревог и страданий явиться в тот же двухлестничный особняк, к тому же седовласому швейцарцу. Он был сконфужен. Вытер пот с лица, пока долго и с удивлением смотрел на справку. Я привожу этот вступительный эпизод в мою фрошаммериаду для утешения наших домашних учрежденческих бюрократов — учрежденческих, потому что в наших родных советских библиотеках бюрократов я никогда не находила.

И тут меня окружила просто вакханалия удач. Мною заиялась милая ученая девушка Дорис Кун. Передо мною легли не только «Фантазия, как основной принцип мирового процесса», но и другие — полемические, педагогические, психологические — труды Якоба Фрошаммера, но и найденная специально для меня и сфотографированная с помощью Дорис Кун, лежащая сейчас передо мной большая его карточка. И подробная биография... И опять, если читатель хоть отчасти заинтересован моим неведомым философом, я должна временно разочаровать его. Прежде чем подробно поделиться всем, что заканчивает судьбу моей мысли и приводит к концу эти воспоминания, хочу рассказать о встрече с Максом Фришем, не попавшей в мои «Зарубежные письма». В Цюрихе из газет я узнала о том, что Дюрренматт, который тоже как писатель интересовал меня, выступил недавно в печати с недостойным выпадом против Советского Союза. Я вычеркнула его из своей цюрихской программы. Но вот — Макс Фриш. Залпом прочтя его «Штиллера» в вагоне, я сразу очутилась в атмосфере литературы думающей, чувствующей то, что происходит на нашей планете Земле, участвующей в своем времени жизни не только Европы, но крохотного местечка, родины автора — республики Швейцарии. Макс Фриш и подкупил и оттолкнул меня. С детства я любила Швейцарию как немецкую страну, хотя первое мое пребывание в ней семнадцатилетней девушкой было в Лозанне и ее альпийском окружении — Веве, Монтрё, Роше-де-Не, Шильонский замок, Руссо с его «Эмилем»,— словом, все французское по языку, по литературе. И все-таки побеждало все немецкое — это природа немецкой Швей-

царии, овеянная белизной Альп, пушистыми эдельвейсами на ее неприступных скалах, Вильгельм Телль, стрелявший в яблоко на голове сына, и народные собрания на полянах, все то, что Энгельс называет «борьбой упрямых пастухов против напора исторического развития...» [10].

Каким-то отступничеством от чистого, народного духа Швейцарии казалась мне ее французская часть. Но современные швейцарцы — сердце республики, ее немецкая часть — сами стали отступниками. Еще в Москве я услышала о том, что немецкие швейцарцы считают Женеву более культурной, более европейской частью республики, стараются породниться с ней через браки своих дочерей с женевцами — через обязательное знание французского языка, через тягу «туда, туда», где вершатся дела мировой дипломатии, где рукой подать до Парижа. А тут еще мода на фешенебельную Лозанну... В Лозанне лучший в мире климат, лучшие американские отели, шикарнейшие магазины, самые богатые люди в мире оседают на житье в Лозанне, самое великосветское общество собирается в Лозанне, описывается в модных романах... И этот местный, «швейцарский» европеизм, так усилившийся в милом, простом, еще недавно таком мелкобуржуазно-нравственно чистом в общественной жизни, так безжалостно попран сейчас в Цюрихе, так осмеян в «Штиллере» — это отталкивало меня от Макса Фриша. А в то же время, что сразу привлекло меня к этому потомку «упрямых пастухов», хотя и поддавшемуся «напору исторического развития», это его анализ и критика американской стороны этого развития, его острая критика американизма. Со времен Диккенса не переставали европейцы ощущать этот отвратный дух заокеанской цивилизации.

Наш Пушкин давным-давно в своей блестящей публицистике описал проступающие через раннее увлечение свободами Америки зловещие пятна загнивания этой цивилизации. Я помнила пророческую цитату из «Капитала» Маркса о пресловутых правах человека в Америке (в том же первом томе «Капитала», на странице 196) и не могу отказать себе в старческом удовольствии списать еще одну цитату — из Пушкина. Почему-то и ее мы не берем на свое духовное вооружение, как не взяли у Маркса. Пушкин пишет:

«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим ее положением, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких

[10] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, с. 351.

предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую, подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой,— такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами» [11].

Какая точность попадания — снайперский пушкинский прицел! Через многие десятки лет у Макса Фриша это тихий, тонкий анализ, сделанный почти шепотом, но подобный снятию скальпа. Или вскрытию ланцетом гнилостной язвы в человеческих отношениях. Он пишет об одной из своих героинь, приехавших на житье в Америку уже в наше время:

«Она любила Нью-Йорк. Первое время ей казалось, что нет ничего проще и легче, чем общаться с американцами. Все были так прямодушны, благожелательны, от друзей не было отбоя, так, по крайней мере, ей казалось... со временем ей стало недоставать чего-то неуловимого, чего-то, что присутствует в атмосфере даже в Швейцарии... Все эти открытые прямодушные люди, видимо, и не ждали ничего иного от человеческих отношений, ведь эти дружественные отношения ни к чему развивать, углублять... через двадцать минут ты сближаешься с человеком, и через полгода, через много лет к этой близости ничего не прибавляется... Все равно за душой у них не найдется ничего, кроме стандартного, ни к чему не обязывающего оптимизма...» [12]. Все это относится в тексте у Фриша к любовным отношениям, но это *глубже*, это перекликается с бессмертными страницами об Америке у Диккенса в «Мартине Чезлвите».

И как похоже это на политику, на общественные отношения, на образ жизни сегодняшних Соединенных Штатов! Этим Макс Фриш привлек меня, и мне захотелось с ним встретиться. Уже упомянутый дружественный нам журналист Альфонс Мапп со своей очаровательной женой Симоной устроили мне эту встречу. После всего пережитого за чтением Фрошаммера в цюрихской библиотеке, когда я укладывалась к отъезду, Симона Мапп зашла за мной, и мы втроем по узким старинным улочкам направились в прошлые времена, в те времена, когда молодой, полный жизни, озорной Гёте ездил — «мирское дитя», как он назвал себя,— между Базедовом и Лафатером в коляске; привозил своего герцога в Цюрих и обедал в маленьком, старфеньком ресторанчике. Этот старенький ресторан-

[11] А. С. *Пушкин*. Сочинения. Редакция текста и комментарии М. А. Цявловского и С. М. Петрова. Огиз. Государственное издательство художественной литературы, 1949, с. 797—798.

[12] *Макс Фриш*. Штиллер. М., «Художественная литература», 1972, с. 285, 286, 287. Написан «Штиллер» в 1954 году.

чик — гётевская комнатка — и был выбран Максом Фришем для угощения меня обедом. Мы взобрались по лестнице на второй этаж старого цюрихского острокрышего дома, где помещалось это знаменитое заведение с ласковым «ли» на конце своего названья (так ласкают швейцарцы свои слова: Stube — Stübli). Небольшая, с немногими столиками комната, украшенная в старинном духе: расшитые скатерти, картинки на стенах, наряд розовощекой хозяйки у буфета, дерево, резьба, фаянс, вышивка. И вот сам Макс Фриш, совсем не похожий на мое представление о нем,— небольшой, полный, поседелый и уже чуть лысый со лба, в очень острых очках, а за круглыми стеклами странные, незрячие глаза (может быть, с линзами? или с оперированными хрусталиками?). Крупные круглые незрячие глаза в круглых крупных стеклах, по-детски круглое полное лицо, похожее овалом на Виктора Шкловского,— и страшный рот, в первую минуту испугавший меня, в полоску, узкой черточкой, без губ. Орлиный нос благородного очертанья — единственное в лице, что обличает в нем, когда он поворачивается ко мне в профиль, характер, чувство независимости и стойкости. Я переписываю это нескладное описание прямо из дневника, где оно наброcано наспех перед отъездом, по первому впечатлению — и, должно быть, неверно.

Я не умею вести беседу за столом, не ожидала «светского» приглашенья к обеду и вела себя из рук вон плохо. Ни слова не сумела сказать о том, что собиралась сказать. Но зато он вел себя как европейский хозяин, говорил много, очень интересно, для меня,— и опять я прибегаю к рабочему дневнику, переписывая оттуда, что сумела записать перед отъездом.

Говоря, он как-то, не глядя на вас, подкидывал глаза над очками; из-за тонкого безгубого рта казался все время улыбающимся, да и действительно улыбался. В уголке стиснутого рта висела вечная трубка, синела струйка очень ароматного табака, и говорил он как бы внутрь себя — очень трудно мне было услышать его. Альфонс Мапп, сидевший напротив, громко повторял его немецко-французскую речь, изредка подшвейцаренную диалектизмами. Начал он сразу:

«Я видел Ленина. Это было в 1917 году, и мне было шесть лет. Я играл с мальчишками на улице, и мимо нас часто проходил в соседний дом небольшого роста человек с острой бородкой. (Макс Фриш жестом показал собранными в ладошку пальцами от подбородка вперед.) Мой отец, Kleinbürger,— он был мелкий буржуа, «буржуй» (последнее слово по-русски, с растяжкой на последнем слоге),— как-то увидел меня играющим, показал на проходящего мимо человека с бородкой и сказал: «Da geht ein Welterschütterer» — вот идет «сотрясатель», или потрясатель, мира...»

Но мне, грешным делом, показалось, что это один из легендарных рассказов Штиллера своему другу Кнобелю (роль Кнобеля в данном случае играла я). И все-таки мне было жгуче интересно, потому что оно могло быть так. А Фриш продолжал: «Моя мать умерла, когда ей был девяносто один год. Звали ее Луизой, она

была из Южной Германии, из Вюртемберга, немка. Отец был швейцарец».

Фамилию он назвал, но я ее не запомнила. Как странно, что она, как и моя mademoiselle Mouchet из Женевы, в гимназии Ржевской, тоже была гувер660нанткой. Дальше рассказ передан у меня не прямыми словами Макса Фриша, но его пересказом, и я ставлю в кавычки только его собственные слова. Как странно, что она оказывается немкой, тоже служившей, как моя Луиза Муше, гувернанткой в богатых русских семьях. Мать Макса Фриша служила в Харькове, в семье Киселевых, у какого-то крупного чиновника, богатого человека. Потом была и в Одессе, и у нее «сохранился альбом с карточками Одессы и других русских видов. Был я в детстве очень больным, и я должен был много лежать в постели, и, помню, мать мне показывала этот альбом. Мою жену зовут Marianne, я ее зову коротко Marie, ей около тридцати лет (по словам Симоны, она вдвое моложе его), она переводчица с английского на немецкий и тоже немка из Германии. Сейчас она в госпитале — я должен из ресторана отправиться к ней в госпиталь. Она как-то неудачно села и вывихнула или сломала себе бедренную кость, но не серьезно и она скоро поправится». Он как-то очень сдержанно, а в то же время как-то по-детски доверчиво сообщал все эти подробности, я их не расслышала и узнавала лишь в передаче Симоны. Сама Симона все время говорила со мной в ресторане по-французски, как бы подчеркивая, что она Welsche (территориально-языковое превосходство над немецкой Швейцарией?). «Сейчас, за последнее время,— продолжает Макс Фриш,— я написал рассказ из жизни Тессина — Erzählung, aber sie ist noch nicht beendigt,— я еще никому не отдал. Это из жизни итальянских швейцарцев. Sie muβ noch bearbeitet sein (она — «рассказ» в немецком языке женского рода — должна еще быть обработана). И я мечтаю писать мемуары, раз уже написал их за годы 1945—1949».

В моей книжке «Штиллера» на русском языке есть биографические сведения о Фрише, но их очень мало. Я убеждена, что эти короткие, наспех набросанные слова самого Макса Фриша, если даже где-нибудь я не расслышала или спутала, имеют какой-то интерес для читателя. Макс Фриш — очень сложное и глубокое явление, сложное и национально и этнографически. Он мыслит, ищет, и хотя речь его имеет тот модный (или нажитый) оттенок иронического западноевропейского скептицизма, в самом человеке Фрише просвечивает что-то народношвейцарское, привлекательно-доброе. Но вот он перешел в разговоре на свои «русские впечатленья» (синяя струйка из его трубки потекла как-то слабее, на убыль), и это было как бы финальными, послеобеденными Nachtisch — немецкими пряниками и орешками, подаваемыми уже после еды:

«Я дважды был в Советской России — один раз по приглашению на какой-то памятный день Горького (не разобрала), другой раз на симпозиум (кажется, дело шло о конференции по роману). Познакомился кое с кем из писателей. Мне показалось, что среди

писателей много чиновников (Beamten, ведомственных служащих). Ленинград очень красивый город, но чересчур тихий».

В этой беседе понравилось мне, что он не задавал никаких каверзных вопросов, довольно равнодушно спросил обо мне, кто я такая. В конце ее первый распростился, чтоб побежать к жене в госпиталь. Через три дня я пустилась в обратный путь (Берн — Лозанна — Женева — Париж), но он успел прислать мне своего великолепно изданного «Штиллера» на немецком языке, небольшой дневник (Tagebuch 1946—1949), вышедший во Франкфурте-на-Майне в 1972 году (переизданный с 1950 года). На моем русском «Штиллере» уже стояла принятым и четким, открытым и располагающим к себе почерком надпись:

«Frau Marietta Schaginian
Cordialement
Max Frisch.
Zürich, 22. X. 1973».

Между немецкими словами все-таки втиснулось как-то очень привычно французское «сердечно» — cordialement.

В Швейцарии стояла зима. Было холодно, мокро, дождливо, промозгло, пронизано ледяными вспышками ветра. Все посерело вокруг, и за стеклами, забрызганными крупными каплями, не на что было смотреть. Той же дорогой, тем же маршрутом — мимо бернских выхолеиных мишек в яме, сейчас, наверное, изрядно промокших, мимо соблазнов уже совсем не нарядной Лозанны, мимо серой под серым небом волнистой глади Лемана. Все как-то нахохлилось под дождем, а у меня в этот последний (вероятно) отъезд из Швейцарии все пело внутри, тепло согревало сердце, словно давнишний долг выплатила наконец, очистила совесть. В сказочно немногочисленные дни октября — правда, каждый день был насыщен, как неделя,— я наконец нашла своего Якоба Фрошаммера. Цюрихская библиотека, почти весь рабочий день (с утра и до сумерек), уже знакомые старые тома с закладками, брошюры, собственные мои маленькие толстенькие тетрадки, где (сгущенное в формулы, расшитое вставками цитат) оседало в конспектах мое чтение, и драгоценный конверт со снимком, завернутым в папиросную бумагу (портрет Фрошаммера),— все это возвращалось со мной, ехало в Москву, отвоеванное у прошлого. Увиденное, прочитанное, продуманное, записанное, запертое, как на замок, в памяти. И что за дело мне было до дождя и слякоти, до ледяного ветра, до собственного насморка наконец, когда я, простуженная, невероятно счастливая, триумфально возвращалась домой. Есть вещи в биографии каждого человека, никогда и никому до самой его смерти не ставшие известными, особенно дни его счастья или скрытых, до крика сдерживаемых сжатыми губами страданий. Не надо это кому-нибудь знать, потому что это общее, реальное, у всех, у каждого. И все-таки мне хочется тут признаться. Я ехала невероятно счастливая, держа в сумочке, поближе к себе, чтоб все время чувство-

вать их и не потерять, маленькие мои швейцарские тетрадки, мелко-мелко исписанные,— документы! Всем и обо всем, что есть во Фрошаммере, о Фрошаммере, выписки, конспекты, длинные места из немецких оригиналов, снабженные крестиками, исчисленные в их важности звездочками (три, четыре, пять...), как крепость армянского коньяка. Мне казалось, я все взяла и обо всем получила полное понятие. Я была переполнена счастьем, а счастье в большинстве случаев, как сердце красавицы, «склонно к измене и перемене...».

Пять лет продолжалось накопление материалов для диссертации. Среди самых увлекательных работ, откликов на нужды страны, на запросы газет, писанья захватывавших меня статей — о новой пятилетке, о новой Конституции, на юбилей Гейне — и продолженья «Человека и Времени» я находила свободные промежутки, чтоб снова погрузиться в Якоба Фрошаммера, в его письма, педагогические работы, высказыванья о нем,— в Публичной библиотеке Ленинграда, в читальном зале Немецкой библиотеки Берлина, в Ленинской библиотеке Москвы. Казалось — вот-вот уляжется материал готовым для творческого обобщения, как насыщенный раствор для роста кристалла. И минута пришла.

Пережив свой юбилей, перешагнув за девяностолетний рубеж, я собрала все написанное, села за работу — и почувствовала, что глаза мои не могут осилить накопленное, не видят своего собственного мелкого почерка. Я — ослепла. Но не совсем, читатель. Все еще вижу вокруг природу живую и мертвую, солнце и листья на деревьях в золотых пятнах солнца, темные облака, посеревшую от дождя землю под ногами, но — ни одной буквы, как ни поворачивай голову, ни двигай глазами. Чтение совершенно исчезло из моей жизни. Чтение даже собственной рукописи, даже правка ее мне почти недоступны. Но писать могу, хотя вкривь и вкось, наезжая (к мукам моей переписчицы) строкой на строку. И счастье сменилось трагедией, беспомощностью перед грудой материала. Я стала вытряхивать из памяти все, что сохранила в ней от прочитанного, проработанного и продуманного.

7

С получением официального извещения из Берна о наличии в городской библиотеке Цюриха чуть ли не всего Якоба Фрошаммера и торжественным предъявлением этой бумажки запыленному седовласу в очках атмосфера изменилась. Климат потеплел. Людям (их было очень немного по счету, поскольку я имела дело только с первым этажом читального зала) стало ясно, что старая дама со слуховым аппаратом на ушах, громкоголосо пристававшая к ним с каким-то допотопным Фрошаммером, из таинственной страны Совдепии, с красным паспортом, вовсе не была «чуть-чуть» (тут люди постукивали обыкновенно себя по собственному лбу), а, наоборот, всерьез и подкреплена центральным учреждением... Сперва

молчаливый библиотекарь принес мне откуда-то, чуть ли не с полки, очень старый по виду и совершенно девственный внутри том «Фантазии, как основного принципа мирового процесса», изданный в Мюнхене Теодором Аккерманом в 1877 году, а потом повел меня по крутой лестнице на второй этаж, к другому администратору профессорского вида, по фамилии Нагели (Nageli), в отдел каталогов. Там я получила в руки более обжитой, огромного размера томище «Всеобщей немецкой биографии». Оглавление его не такое короткое, и для желающих привожу его целиком: «Allgemeine deutsche Biographie. 24 Lieferung, Band XLIX. Kaiser Friedrich der III — Dr. Fr. Frantzischek. Leipzig. Verlad von Dunker und Humbolt. 1904». И в этом томище на странице 172 я нашла наконец моего Якоба Фрошаммера, уместившегося на страницах 172—176 и половине 177-й.

Забыв все на свете, жалея, что носовой платок слишком мал, чтоб повязать его вместо чулка на голову,— а мозг явно просился в теплоту, чтоб согреться,— я целиком, нагнувшись над мелким шрифтом, ушла в страну... в маленькую деревушку под названием Иллькофен, лежащую где-то между городами Регенсбургом и Штрейбингом. Там в зажиточной крестьянской усадьбе в зимний день 6 января 1821 года родился слабый ребенок, Якоб, мать которого умерла через два года после родов. Видно, некому было особенно заботиться о его здоровье. Отец, по всему описанному в книге, занят хозяйством: заливной собственный луг неподалеку от Дуная, богатый скотный двор, конный завод. Сказано только, что мальчик из-за слабого здоровья поздно пошел в школу. А до тех пор отец взял от него сколько можно. Мальчик, как и многие, многие поэты и ученые, стал пастухом у отца. Сказано деликатней: «...сторожил отцовских коней и коров на отцовском лугу недалеко от Дуная». Кони и коровы, да еще во множественном числе! Должно быть, ездил в ночное на неоседланном жеребце, босыми пятками упираясь в его сытые бока, поил его, загнав в мелководье, а вверху сияли звезды, и колебались их отраженья внизу. Но, может быть, так бывает только с русскими мальчиками, а Якоб сидел в немецких ботиночках где-нибудь на берегу. И как звал отец сына? Якоб — библейское имя. В нем есть та фонетическая суровость, какую на немецком не представляешь себе в ласковом уменьшительном виде. У мальчика был дядя-священник. И, должно быть, поняв, что работником в богатом крестьянском хозяйстве слабый (а уж наверняка мечтательный, полюбивший природу) сын не будет, отец с дядей, посоветовавшись, решили сделать его духовным лицом, священником. Семья была католическая — значит, не простым лютеранским «гейстлихен» на селе, а католическим патером, членом могущественнейшей церкви в Европе, членом какого-нибудь ее ордена с обетом безбрачия, с полнейшим рабским подчинением теологической догме. Времена, конечно, были уже не феодальные, первая четверть просвещенного XIX века, наследника XVIII, вошедшего в историю как эпоха Просвещения.

Но вот XX век. На наших глазах — рукой подать — к безо-

ружному Ярославу Галану, острому писателю-антицерковнику, вошли двое и зарубили его насмерть. XX век. Месть — за обличение Галаном в продажности и мракобесии католической церкви.

Страшные страницы пришлось мне прочесть в простой и несложной биографии Фрошаммера, профессора философии в Мюнхенском университете. Страшные не столько потому, что в середине века (в эпоху расцвета немецкой идеалистической философии, английской физики, эволюционной теории Ламарка и Дарвина, гигантского явления — Маркса) можно было запутаться в сетях навязанного, нелюбимого, не выбранного по своей вольной воле, а как бы подставленного чужой волей под ноги состояния, куда ты сам сунулся. Фрошаммер не оказался героем в первой части своей биографии. Он уступил в детстве натиску отца и дяди, в юности — отца и мачехи, в зрелые годы — собственному желанию иметь прочный кусок хлеба. И лестница этих уступок шла у него параллельно с трезвой любовью к науке, с умным и «еретическим» преподаванием психологии и философии, с первыми опытами в области метафизики, с поиском единого принципа для природы и человека, органического и неорганического мира, в процессе их мирового развития и нахождением того единого принципа в «фантазии, понимаемой несколько расширенно», как пишут о нем его ученики и толкователи.

Оставлю пока это «расширенное» понимание фантазии и вернусь к его биографии. Скатываясь к принятию орденства (Ordination) и вступив в ряды теологов, Фрошаммер, по его собственным словам, приведенным в биографии, «сделал самый тяжелый и ошибочный шаг в своей жизни, превративший эту жизнь в цепь конфликтов, борьбы, преследований и препятствий». Но вся его последующая жизнь была искуплением этого ошибочного шага.

Одна за другой работы его включаются церковью в список запрещенных. На него смотрят с недоверием, когда он получает кафедру философии в Мюнхенском университете. Клерикальные круги видят в нем изменника и еретика; светские — сомневаются в научной ценности его работ. Он яростно сражается за свободу научной мысли. Основывает в Мюнхене журнал «Атенеум» и в третьем номере печатает — одну из первых в то время — хвалебную статью о Дарвине, излагает теорию эволюции. Сам ли послал он свою статью Дарвину, или Дарвин, не избалованный в те дни положительными откликами, услышал о ней и прочел ее (верней всего это последнее), но вот 27 апреля 1863 года он получает от Дарвина письмо. Великий естествоиспытатель благодарит Якоба Фрошаммера, католика, бывшего патера, за правильное понимание его теории, революционизировавшей в то время науку...

Все это очень бегло и коротко я повторяла себе в памяти, когда ехала по зимней дороге из Цюриха. И представляла себе его смерть. Из чтения его писем, трагических в последние годы его жизни, я знала, как он болел глазами: он ездил лечить их в Bad Kreutz, не-

мецкий курорт. Но не вылечил. Он умер, как пишет его биограф, полуслепой, «с пером в руке» 14 июня 1893 года...

Но память везла с собой не только главные черты его жизни. Она хранила в воображении его облик, фотографию, лежавшую в папиросной бумаге на дне моей сумочки, фотографию, которой мне все время в чтении Фрошаммера мучительно недоставало. Вот он, каким я вижу его сейчас,— похожий на себя и становящийся по мере чтения похожим все больше и больше. Лицо, обращенное слегка в сторону, но не в профиль. На три четверти, en trois quart, как говорят французы. Опушенное с боков донизу пушистой темной профессорской бородой. Глаза, невидимые под очками, но видно, что они слабы, что это глаза совсем не острые и не блестящие. Крупный нос. И лоб — как описать прекраснейший лоб патриарха, весь очень высокий, но совсем не пологий, не начинающий лысеть вверх, а наоборот, окаймленный вверху живыми, очень тонкими, слегка вьющимися темными прядками. Открытый, ясный и нервный лоб,— вам кажется, вы видите вспухшие жилки и капельки пота, проступающие на нем от напряжения мысли. Все недоступное глазам (острота наблюдения, упор, протест, радостное озарение мысли), доброе, приветливое выражение внимания к вам дано этому лбу для передачи в общенье. А больные глаза, наверное с красными веками, короткими, на слабых корнях, негустыми ресницами, глядят в сторону, они не борцы.

Я сдружилась с этим обликом патриарха. Он, кстати, совсем не германского типа. И, начав изучать Фрошаммера не с его сочинений, а с него самого, я прежде всего стала искать в его «Фантазии, как основном принципе мирового процесса» взятые им к своему труду эпиграфы, эти окна в душу автора. Если автор высок, то и окна его очень высоки, в них трудно заглядывать, и, должно быть, поэтому читатель часто проходит мимо эпиграфов. Я сама, когда начинаю писать, высовываюсь в эти окна... И тут, как на портрете, меня ждало радостное открытие. Он взял к последней (третьей) части своей книги удивительный, незнакомый мне самой эпиграф из Гёте. Не знаю его, не знаю откуда. И в сноске не указано. Так как перевести точно почти невозможно, сперва дам его в оригинале:

«1. Ob nicht Natur zuletzt sich doch ergründet?
2. Die Erdentiefen und die Himmelsphären
Nur ein Gesetz der Menschenbrust bewähren. Goethe».

Эти не совсем понятные в своем синтаксисе мысли понятны для гётеанца. Здесь в первом абзаце Гёте — материалист, верящий в конечное познание истины, а во втором как будто идеалист, для которого недра земные и сферы небес подчиняются как бы единому закону, поверяемому душе человеческой. Та же двойственность и во всем введении в «Фантазию» Фрошаммера, а потом и в его письмах, полных мрачного отчаяния. Помню, я записала где-то во время чтения: чувствуешь, как бьется о стенки идеализма и религии ищущая мысль наивного эмпирика-материалиста, каким неволь-

но становился в своем мышлении Фрошаммер. Может быть, я не совсем до конца понимала его, читая и конспектируя читаемое, но его собственное мнение о самом главном, о том, на что надо обратить внимание в его «Фантазии», что он считает **новым**, принесенным в теорию познания, изложено очень четко самим Фрошаммером в одном из его писем [13]. Абзац этот велик для переписки его сюда. Он полон убеждения, и в нем на первом месте не абстрактные категории, а указания на психологию, на анализ связи душевных, чувственных восприятий с работой мозга, на не только познающую, но и действенную, строительную роль воображения (фантазии) в общем поступательном ходе развития мировой действительности. Эмпирика, опыт своей собственной душевной жизни, прослеживание роли этой функции человека в субъекте и в объекте природы, где никогда и ничто на протяжении тысячелетий не дублируется,— вот, по его мнению, «расширенное» понятие фантазии, строительная функция воображения, главный принцип мирового процесса. Эмпирика — но без социологии, что могло бы приблизить его к Марксу. Мужественный вызов церкви — нет бога-творца, есть вложенный в человека творческий инстинкт свободного движения, вольных построений всего нового и нового, небывалого и неповторимого, вечно развивающейся материи.

Я не ручаюсь за точное изложение мыслей Фрошаммера, перечитать его сейчас и свои размышления о нем не могу. Но в памяти моей есть точность моя собственная, точность развития собственных моих мыслей на основании попутно и параллельно читаемому, потому что одновременно с этой подготовкой к своей работе шла и развивалась и судьба моей собственной мысли. И диссертация всей моей жизни. Вот я сижу над подготовленным и гляжу на него слепнущими глазами. Вижу перед собой слабые, слепнущие глаза самого Якоба Фрошаммера и его руку, сжимающую перо.

Какой огромный материал, целый склад материала, накопленного за все эти годы! Не просто выписки из Фрошаммера — это как бы полуфабрикат, уже готовый для «выпечки» из него диссертации. Я завещаю его, как и весь мой архив, Антигоне моей старости, верной помощнице, заменившей мне Лину,— милой внучке моей Леночке Шагинян: быть может, ей встретится философ, знающий немецкий, как русский, способный полюбить Фрошаммера, и он захочет использовать и эти выписки, и библиографию, и комментарии, сопровождающие эти конспекты, уже для своей... вот опять сложный термин, тоже претерпевший историческую метаморфозу: Диссертация — что она такое?

---

[13] Письма Я. Фрошаммера, сухие по форме, трагические по непрерывной, тяжкой и неуспешной борьбе с догматикой Ватикана, с иезуитами, изданы в Лейпциге Минцем и Гумбольдтом в 1897 году. Письмо, о котором я говорю, написано Фрошаммером из Мюнхена 17 декабря 1876 года. В книге с. 39.

8

Диссертация — это, конечно, не только то, что говорят о ней словари: «Ученый труд, написанный на соискание научного звания». У диссертации есть одна присущая ей особенность, без которой нельзя ее себе представить: защита. Она должна быть защищена — и это придает ей особую связь с человеком. Пушкин не очень-то уважительно отозвался о ней. В эпиграмме на монархиста Надеждина он сказал:

...Засим принес семинарист
Тетрадь лакейских диссертаций...

Это было в эпоху, когда «пострадавший от ума» Чацкий произнес свою знаменитую фразу: «Служить бы рад — прислуживаться тошно». Эпитетом «лакейские» заклеймил Пушкин, конечно, не диссертацию вообще, а прислужническую, холуйскую, подхалимскую манеру писать на потребу начальства... А диссертация вообще недаром начинается с маленького слога «ди», означающего двойство, два, нечто, рождаемое в борьбе, в споре. Защита диссертации — это как раз обратное лакейству. Это не угодничество своим сочинением начальству. Это собственное, самостоятельное мнение, умственная работа, поиск, находка, которую надо защищать. И только тогда обретает она плоть. Настоящую диссертацию надо выстрадать, сделать своим убеждением, детищем своей мысли и долгого труда, ставшим научной верой, доказуемым, испытанным, проверенным, за что готов «лезть в драку» с оппонентом. В былое время, когда защита научной диссертации еще не превратилась в мирную академическую форму, кончающуюся тайным голосованием и традиционным пиршеством, которого ждут оппоненты от счастливого отпотевшего диссертанта, в далекие, далекие времена, лет эдак двести — триста назад, разве не была диссертация casus'ом belli — причиной борьбы, куском жизни ученого, драмой его совести, кончавшейся иногда на дыбе, на голгофе, на костре? Ведь научные открытия Галилея, Коперника, Джордано Бруно, мученический путь многих открытий (необходимость защиты, борьбы за то новое, что возвестил их автор) частицы «ди», говорящей о наличии спора, отпора, противостояния,— разве нельзя увидеть в них зарождение той носящей в себе необходимость дискуссии и защиты научной формы, какую зовем мы сейчас термином «диссертация»?

«Эк куда хватила! — скажет читатель.— То открытия, а это ведь простая научная работа на степень. Нужная, как ступенька на лестнице. И не страдать за нее, а, наоборот, радоваться, что полезное дело сделал, внес свой вклад». Да, конечно, читатель, если есть полезное дело и внесен свой вклад. Я несколько «занеслась» — ведь и мой Фрошаммер не был гением, не перевернул страницу науки, не сложил голову на плахе и не сожгли его на костре, как Джордано Бруно... И не был он похоронен своей возлюбленной, монахиней Элоизой, как романтический борец с церковью, средне-

вековый мыслитель Абеляр. Но и Якоб Фрошаммер, пусть песчинка, был золотой песчинкой в русле сопротивляющихся окаменевшей догме, держащей в железных тисках свободную мысль ищущего человечества. И он внес нечто новое и не бывшее до него в историю этой мысли. Приложил к мертвой материи «живой фермент труда» — создал ту прибавочную стоимость, неоплачиваемую, которая возводит камень за камнем, мазок за мазком вечно строящееся, вечно живое здание мирового процесса...

В массе прочитанного у него и о нем я нашла для себя еще одну жемчужину. Драгоценную. Стоило прожить на земле много лет, чтоб найти ее для себя. Читатель найдет ее в предисловии к письмам Фрошаммера, а может быть, и у него самого,— слабеет моя память, и не могут помочь глаза.

Есть, вернее — был на свете, замечательный тирольский поэт Адольф Пихлер, и я почему-то рада, что он тирольский, принадлежит, как у нас в прошлом сказали бы, к национальному меньшинству. Я о нем раньше никогда не слышала, у нас его, кажется, не переводили. И этот поэт оставил человечеству гениальнейшее четверостишие, мудрость, которую можно применить как совет, как указание каждому человеку:

Jung ist nur der Werdende
Auch mit weissen Haaren!
Wer in seiner Zeit erstarrt —
Mag zum Grabe fahren.

(Молод только тот, кто находится в процессе становления, в процессе роста, кто продолжает развиваться, хотя бы и с седыми волосами. А тот, кто недвижно пребывает (окопался, окаменел, застоялся) в своем времени, в узком кругу *своего* времени, тот пусть себе ложится в гроб.)

Это стихотворение имеет себе равными по мудрости и созвучными по смыслу только знаменитые стихи Гёте из «Фауста»: сера, мой друг, всякая теория, вечно зелено лишь дерево жизни. Тирольский поэт говорит как будто о наличии *двух* времен: одного с большой буквы, развивающегося из прошлого в будущее, и другого — сейчасного, только сегодняшнего, «своего», узкого, своих узких интересов, узкого видения и понимания жизни, в котором застаивается, окаменевает человек, как муха в клее.

И у Гёте — всякая теория может застояться, окаменеть, превратиться в свою противоположность, если не проверять и не развивать ее вечно зеленым критерием — деревом жизни, той истиной вечного становления, о которой Ленин сказал: истина — конкретна.

Я долго жила на свете, и у меня, как у каждого старого человека, накопился опыт жизни. Но мудрее тех истин, которые открывались мне по дорогам ненаписанной диссертации, ставших постепенно судьбою моей мысли, не знаю. Две тысячи лет назад некий римский вельможа Пилат спросил у стоявшего перед ним вожака

из простого народа, рыбацкого проповедннка: что есть нстнна? Тот, кто стоял перед ним, не смог ответнть. Он молчал. Может быть, поэтому проповедь его, оргаиизовывавшая две тысячн лет человеческое общество, застоялась, перешла в свою противоположность.

В иаше время пришел человек, по-иовому оргаиизующнй общество. Он дал ключ к тому, чтоб его теория никогда не застаивалась. Ои ответил на вопрос, что есть истиив: истина — конкретиа.

Вот о чем я хотела бы написать свою последиюю кингу, еслн бы какой-нибудь чудодей вериул мие зрение с монм собствеиным опрозрачеиным хрусталнком.

Dixi.

Конец

90 лет и 4 месяца,
Переделкино — Москва,
31 июля 1978 г.

Содержание

Мариэтта Сергеевна Шагинян

ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ

М., „Советский писатель", 1982, 560 стр.
План выпуска 1982 г. № 142

Редактор *А. Д. Зеленов*
Худож. редактор *Е. Ф. Капустин*
Техн. редактор *Н. В. Сидорова*
Корректоры *Р. Г. Рагимова* и *И. Ф. Сологуб*

ИБ № 3351

Сдано в набор 03.06.81. Подписано к печати 24.11.81. Формат 60×90 1/16. Бумага тип. № 1. Академическая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 35. Уч.-изд. л. 42,39. Тираж 200 000 экз. Заказ № 2956. Цена в пер. № 5 — 2 р. 80 к., в пер. № 7—3 р.

Издательство „Советский писатель", 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28

ЕМЯ • ЧЕЛОВЕК
ВРЕМЯ • ЧЕЛО
К И ВРЕМЯ • ЧЕ
ЕМЯ • ЧЕЛОВЕК
ВРЕМЯ • ЧЕЛО
К И ВРЕМЯ • ЧЕ
ЕМЯ • ЧЕЛОВЕК
ВРЕМЯ • ЧЕЛО
К И ВРЕМЯ • ЧЕ
ЕМЯ • ЧЕЛОВЕК
ВРЕМЯ • ЧЕЛО
К И ВРЕМЯ • ЧЕ

И ВРЕМЯ•ЧЕ
ЕК И ВРЕМЯ•
ЛОВЕК И ВРЕ
И ВРЕМЯ•ЧЕ
ЕК И ВРЕМЯ•
ЛОВЕК И ВРЕ
И ВРЕМЯ•ЧЕ
ЕК И ВРЕМЯ•
ЛОВЕК И ВРЕ
И ВРЕМЯ•ЧЕ
ЕК И ВРЕМЯ•
ЛОВЕК И ВРЕ